



И. А. Ильин. 1934. XI. 4.
Рисунок М. Хризогонова, Белград.

И.А.ИЛЬИН

Собрание сочинений

СТАТЬИ
ЛЕКЦИИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
РЕЦЕНЗИИ

*

(1906–1954)

Москва
·РУССКАЯ КНИГА·
2001

УДК 1/14
ББК 87.3
И 46

Составление и комментарии
Ю. Т. Лисицы

Именной указатель
О. В. Лисицы

Художник
Л. Ф. Шканов

Ильин И. А.

И 46 Собрание сочинений: Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии (1906 — 1954)/ Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы; Имен. указ. О. В. Лисицы; Худож. Л. Ф. Шканов. — М.: Русская книга, 2001. — 560 с.; 1 л. портр.

В том включены статьи, лекции, выступления И. А. Ильина, его рецензии на труды Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина, С. Н. Булгакова и других философов.

ISBN 5 — 268 — 00468 — 9 **УДК 1/14**
ISBN 5 — 268 — 00486 — 0 **ББК 87.3**

© Лисица Ю. Т., 2001 г., составление и комментарии.
© Шканов Л. Ф., 2001 г., оформление.
© Лисица О. В., 2001 г., именной указатель.
© Издательство «Русская книга», 2001 г.

О КНИГАХ И УЧЕНИЯХ

Р у д о л ь ф Ш т а м м л е р. **Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории.** Рус. пер. (со 2-го нем. изд.) М. К. Покровской, А. А. Мейера и И. А. Давыдова, под ред. и со вступ. ст. И. А. Давыдова. Кн<игоиздательст>во «Начало», т. 1 и 2. СПб., 1907. Стр. 404; LXXII+344. Ц. по 2 р. за том.

Сочинение профессора Штаммлера[1], появляющееся, наконец, полностью в русском переводе, есть несомненно выдающееся сочинение; с ним следует ознакомиться всякому, кто интересуется проблемами социальной философии и научной методологии. Но не потому, чтобы попытка Штаммлера могла дать удовлетворительное решение этих проблем, а потому, что она есть одна из наиболее значительных попыток дать таковое. Огромная и разносторонняя начитанность позволяет автору поставить во всей широте вопрос о сущности и взаимоотношении позитивной социологии и социальной философии и занять для решения его известную позицию в теории познания. При этом сам Штаммлер считает себя учеником Канта.

Наука об общественной жизни людей находится, по мнению автора, в неудовлетворительном состоянии, ибо она не в силах ответить на вопрос: какой основной «всеобщезначимой» (allgemeingültig) **закономерности** подлежит социальная жизнь? **Закон**, говорит Штаммлер, есть единообразное **понимание** отдельных сменяющихся явлений; найти для социальной жизни некоторую безусловную точку зрения, с которой было бы возможно такое понимание ее явлений, — значит обрести в ней закономерность. Такова задача социальной философии: обрести закономерность всего нашего **познания** в сфере социальной жизни людей; решение этой задачи даст возможность закономерно построять общественную жизнь, наметить путь к решению социального вопроса. Для этого необходимо выяснить характерные особенности социального познания, как такового, и прежде всего определить основные понятия социальной науки. Понятие социальной жизни как особого объекта само-

стоятельного научного исследования должно иметь прочный признак, отличающий его от объекта естественных наук — **природы**. Такой признак есть исходящее от людей внешнее регулирование совместной жизни, **стремящееся** определить их взаимоотношения и установить среди них известный порядок. Сожительству, регулированному известными внешними **правилами**, противостоит обособленное существование, подлежащее не социально-научному, а естественнонаучному рассмотрению. Образование социально-научных понятий возможно только в том случае, если при этом **предпосылаются** внешние правила сожительства. Эти правила и образуют то, что следует считать **формой** общественной жизни. Формальным моментом Штаммлер называет момент, отличающийся устойчивостью и постоянством, составляющий сущность и основное условие понятия, момент обусловливающий. Противоположность ему составляет момент материальный. **Формой** социальной жизни (исторически) является **право**, а изменчивой материей — совместная деятельность людей, направленная к удовлетворению их потребностей, т. е. социальное хозяйство. Форма и материя общественной жизни не составляют двух отдельных объектов, но образуют единство, единый объект социальной науки — «внешним образом урегулированное хозяйство». При этом рассмотрение формы отдельно от материи возможно, оно составляет задачу формальной юриспруденции; рассматривать же социально-экономические явления вне регулирующей их правовой формы — нельзя: социально-экономических **законов**, независимых от содержания данного **правового регулирования**, — нет. Поэтому «всеобщезначимую» **закономерность** социальной жизни можно обрести только в связи с ее **формой**; только форма ее имеет «всеобщезначимость», только она делает возможным в социальном познании понятие закона. Закономерность социальной жизни есть закономерность ее формы. Но взаимоотношение хозяйства и права следует представлять себе не по категории причинности, а по категории «обусловливающей формы и регулируемой материи»: это вытекает уже из их единства. Такова первая основная ошибка исторического материализма с точки зрения Штаммлера: нельзя каузально связывать хозяйство

(материю) с правом (формой), ибо само понятие «хозяйства» включает уже идею формальной регулированности. Регулирующее воздействие права в свою очередь относится не к хозяйству, а лишь к отдельным членам общества. Второй коренной ошибкой материалистического понимания истории является отождествление понятия закономерности с понятием закона причинности. На самом же деле, говорит Штаммлер, принцип причинности есть только одно из всеобщих основных правил, образующих фундамент нашего научного опыта. И так как он может относиться только к эмпирическому, данному в созерцании материалу, а в сфере будущего, ожидаемого, желаемого, должного — эмпирического материала нет, то в области предполагаемых к совершению действий и в сфере выбора закон причинности не имеет применения. Здесь начинается компетенция целевого рассмотрения, целеполагания, оценки. Закономерность в этом смысле есть единая высшая точка зрения, которой подчинены отдельные целеполагания. В каждом отдельном случае целеполагание и выбор являются закономерными или правомерными в том случае, если соответствуют «общезначимой» конечной цели. Цель есть объект, подлежащий осуществлению, представление же о таком объекте или направление сознания на него Штаммлер называет волей. В основании идеи должного лежит известная оценка, систематическая же оценка предпосылает идею единой безусловной высшей цели. Целесообразность каждого отдельного хотения с точки зрения этой высшей цели придает ему «объективную правомерность», делает волю «свободной» (от чисто субъективного определения). Социальная философия и должна формулировать как формальный масштаб для оценки и как неосуществимую руководящую идею, эту безусловную «всеобщезначимую» формальную (т. е. свободную от всякого эмпирического содержания) цель, по отношению к которой должны стать объективно-правомерными и целеполагание индивидуума и регулирование совместной деятельности людей. Этой целью является идея «общины свободно хотящих людей», т. е. идея известного регулирования совместной деятельности людей, при которой внешнее определение каждого таково, что он должен

был бы согласиться с ним, если бы стал определять себя «свободно». Отсюда два вывода по отношению к праву. Во-первых, право как совокупность регулирующих норм, «значимых» — т. е. имеющих силу (в противоположность конвенциональному правилу) независимо от согласия подчиненного индивидуума, — является объективно правомерным средством потому, что только оно, благодаря своей общеприменимости, создает возможность **формального** закономерного регулирования социальной жизни. Во-вторых, создается идея «естественного» (долженствующего быть) права, с меняющимся содержанием; это право обретается для каждого отдельного случая решением вопроса о том, какие правовые нормы соответствовали бы при данных эмпирических отношениях высшей цели социальной жизни.

Таково в своих основных чертах социально-философское учение Штаммлера. Книга его, вышедшая первым изданием уже более десяти лет тому назад (1896), в свое время обратила на себя всеобщее внимание, вызвав восторженное преклонение со стороны одних, оплодотворив изыскания других, встретив основательные критические замечания со стороны третьих. В настоящее время критический анализ идеи Штаммлера достиг высокой зрелости, и результатом этого явилась напечатанная в этом году статья профессора Гейдельбергского университета Макса Вебера*, подвергающая систематической критике основные тезисы Штаммлера. Критика профессора Вебера интересна прежде всего тем, что производится с точки зрения близкой Штаммлеру по своим исходным пунктам, но несравненно глубже, основательнее и последовательнее продуманной. Там, где у Штаммлера — **одно** понятие с весьма расплывчатым содержанием, порождающим нередко парадоксальные утверждения, — Вебер искусно вскрывает целый ряд самостоятельных, логически обособленных значений, смешение которых недопустимо для мыслителя, считающего себя учеником Канта. Критика Вебера логически дифференцирует слитную природу штаммлеровских понятий.

* Max. Weber. «R. Stammlers Überwindung der materialistischen Geschichtsauffassung». Archiv für Socialw. und Socialpolitik. B. XXIV. H. 1. 1907.

Штаммлер стремится обрести **закономерность** в социальной жизни. Но что есть **закон**? Что значит «единообразное **понимание** явлений»? Обобщение, отвлеченное от отдельных явлений, и категория причинности, лежащая в основании объяснения событий, — могут одинаково дать некоторое «понимание» явлений: но как может ученик Канта отождествлять **эмпирическое обобщение** с **априорной категорией**? Далее, закономерность **остальной жизни** предполагает закон, индуктивно добываемый и господствующий в мире **объектов**, а закономерность **социального познания** имеет в виду закон, значимый в сфере **познания**, **норму** познания. Как может социальная философия отыскивать норму **познания** для того, чтобы иметь возможность **построять** социальную жизнь (использовать в известных социально-политических целях **познанные** уже эмпирические **каузальные связи**), или для того, чтобы решить **социальный вопрос** (обрести практическую **норму действования**)? Далее, как понимать, спрашивает Вебер, что юридическое правило (т. е. некоторая **норма**) есть «**предпосылка**» социального **познания**? Это может означать, что правило является предпосылкой **классификации** или что содержание его помогает **отграничить объект** познания (напр<имер>, правила известной игры дают основные признаки для выделения из многосложной действительности того, что существенно для данной игры, составляющей объект изучения). Или это может означать, что норма дает понятие об **идеальном типе**, сличением с которым помогает нам в **познании объекта**. Или, наконец, что **сознание** правила является моментом, **причинно** определяющим объект. В первых трех случаях юридическое правило является **нормой**, т. е. идеей **должного**: но право как идея **должного** не может быть **формой** социального **бытия**. В четвертом случае право есть эмпирически сознаваемая максима и как таковая является **одним из** моментов, **причинно** определяющих поступки людей, т. е. опять-таки **не формой** в смысле Штаммлера. Вебер разлагает таким же образом идею «природы» как объекта естествознания и показывает, что «внешнее регулирование» не есть признак, отличающий объект социальной науки от объекта технического изучения (напр<имер,> машина) и т. д.

Статья Вебера не кончена еще и не все важнейшие тезисы Штаммлера разобраны им. Но и показанного достаточно. Путь к пониманию и научной оценке социальной философии Штаммлера лежит именно через дифференцирующий анализ его основных понятий, и статья профессора Вебера совершает в этом отношении целое завоевание для науки.

Что касается перевода, то он в общем удовлетворителен, хотя не свободен от некоторых дефектов. Главы, переведенные г. Мейером, удались вообще хуже других: меньше тщательности и осторожности в выборе терминов. Есть несколько крупных промахов. Напр<имер>, (т. I, стр. 135) «Zwangsregel» передано — «автократическое установление» (вм<есто> «принудительное правило»), «Zwangsgebot» — «абсолютное повеление» (вм<есто> «принудительное повеление»). В т. II, стр. 153 неверно передано мотто из Канта. Между прочим: «Gesichtspunkt» нередко передается «угол зрения» (вм<есто> «точка зрения»), «Einzelzweck» — «частная цель» (вместо «отдельная цель») и т. под.

По-видимому, автору вступительной статьи — статья Вебера осталась неизвестной.

Ф и х т е. **Назначение человека.** Пер. с нем. Л. М., под ред. Н. О. Лосского. Изд. Жуковского. СПб., 1906. Стр. 133. Ц. 50 к.

Ф и х т е. **Основные черты современной эпохи.** Пер. с нем. Л. М., под ред. Н. О. Лосского. Изд. Жуковского. СПб., 1906. Стр. 832. Ц. 78 к.

Выход в свет перевода двух сочинений Фихте Старшего составляет целое событие в русской философской литературе. С этими сочинениями должен познакомиться всякий, кто имеет хотя небольшой интерес к философии. Правда, по ним нельзя составить себе цельного представления о системе великого философа и об ее эволюции. Но помимо того, что они относятся к числу самых зрелых его работ, помимо их внутреннего захватывающего интереса и художественной формы изложения, сочинения эти интересны особенно тем, что они стоят (главным образом, «Назначение человека») в центре

того перелома, который пережила система Фихте в 1797—1804 годах. Сущность этого перелома в общих чертах состоит в следующем.

Вся философская атмосфера после Канта дышит и живет стремлением к систематическому единству в философских построениях. Этим стремлением был захвачен с самого начала и Фихте. Найти единую основу всего познания и бытия и этим путем построить систему критического идеализма так, чтобы непримиренности, оставшиеся у Канта, превратились в сплошное дедуктивное единство — таково первоначально основное стремление Фихте. Вечное творчество, неустанная активность в искании и преодолении — такова основа **личности** Фихте; та же вечно творческая активность, но в углубленном метафизическом значении, ложится в основание его **системы**, как ее верховный принцип. «Наукоучение» Фихте стремится посредством установления дедуктивной связи между основными философскими понятиями уловить, исчерпать и закрепить в систему основные акты познания и деятельности человеческого духа. При этом человеческий дух берется в целом, как единство теоретическое и практическое, в нем предполагается система и из него выводится все бытие, как из источника всякой реальности. Вне субъекта, вне духа — нет никакого бытия; вещь в себе — есть идея противоречивая. Таков в своем разрезе синтез, устанавливаемый Фихте в «Наукоучении» 1795 года.

Этот синтез держится и может держаться лишь до тех пор, пока не выяснено и не разложено чрезвычайно сложное содержание его основных понятий и особенно понятия: «*Я*» или «**самосознания**». Смешение двух основных значений этого понятия: «*Я*» как **отвлеченного принципа**, верховной предпосылки всякого **познания** («трансцендентальное единство апперцепции» Канта) и «*Я*» как всей **совокупности** познанного духом **бытия**, — представляется особенно важным и недопустимым с точки зрения Кантовой логики. А между тем весь первоначальный синтез Фихте покоится на таком смешении: **отвлеченное понятие** является здесь единственным источником всякой **реальности**.

Перелом, совершившийся в системе Фихте в последующие годы, и состоит, главным образом, в возвраще-

нии к различениям, установленным Кантом. Отвлеченное начало перестает быть в глазах философа единственным источником реальности, и понятие «*Я*» вновь распадается («Второе введение в Наукоучение» 1797 года) на отвлеченный трансцендентальный принцип и на регулятивную идею о совокупности познанного бытия. Последствия совершившегося перелома были необычайно велики и важны. Гордый и победоносно самоуверенный тон философа (в «Наукоучении» Фихте, напр<имер>, прямо говорит, что никто и никогда не опровергнет его системы, WW B. I, s. 285) сменяется тревожным и трагически смятенным исканием новых путей, новых начал, новой реальности. На смену всемогущего рационализма выступает признание самостоятельного значения за иррациональными, неразложимыми до конца, данными непосредственных переживаний, и отсюда совершается переход к религиозным построениям.

В самом деле, если логическое отвлеченное начало нетождественно с началом реальным, то познание по необходимости распадается на два составных момента: формальное логическое понятие и противостоящую ему данную реальность; возврат к теоретико-познавательной схеме Канта налицо. Но проблему данности нельзя уже решать при помощи воздействия (afficiren) «вещи в себе»: идея «вещи в себе» разложилась как внутренно-противоречивое понятие и превратилась в иррациональный составной момент познания еще у Маймона[1], крупнейшего из кантианцев — предшественников Фихте. Рационалистические построения уже не в силах дать единую систему человеческого духа, теоретические искания приводят к обособлению нереальных, пустых понятий, в которых нельзя найти ответа на высшие практические запросы духа: «что такое я сам и каково мое назначение?» («Назн<ачение> чел<овека>», стр. 5). От этих запросов не уйти, ибо «голос совести взывает» о них неустанно (там же, с. 81); а между тем теория в своей обособленности, которой «рассудок не может противопоставить ни малейшего возражения», «приводит в отчаяние» (71) утверждением полной и безызъятной необходимой определенности «меня и всего, что я называю моим» (13), отрицанием свободы (18) и «превращением всей реальности в грезу» (70). И из

этого трагического противоречия между практическими запросами и выводами неумолимой теории Фихте находит выход («Назн<ачение> чел<овека>», кн. 3) в вере, в «добровольном удовлетворении естественно представляющимся нам мнением» (76); все то, что требуется, как реальное, голосом моей совести — Бог, свобода, нравственный миропорядок, — становится реальным, получает реальность так же, как непосредственная вера всех вообще людей в реальность окружающего их мира, дает реальность этому последнему (77).

Таким образом, непосредственное иррациональное переживание убежденности вне убеждений, веры — становится источником и органом подлинной реальности. Систематическое единство в человеческом духе распадается на резкие противоположности — теоретического, рационального, и практического, иррационального. Центр тяжести философствования сдвигается и перемещается с общего на особенное, с отвлеченного на конкретное, которое всегда неповторяемо, единственно в своей своеобразности. **В человеческой душе** это конкретное является средством сближения с высшей божественной реальностью; **вне человека** — нравственное сознание полагает мир разумных, взаимодействующих существ, именуемый человеческим родом. Единая жизнь божественного разума «раздроблена для земного воззрения на множество индивидуальностей» («Осн<овные> черты», стр. 21, 119), сосуществующих в пространстве и времени; и вот в этом сосуществовании философ должен обрести и обретает некоторое единство, мировой план или «понятие единства всей земной жизни человечества» (там же, стр. 5). Проблема конкретного становится проблемой истории как «всей совокупности времени с наперед определенным, но постоянно развивающимся заполнением» (5); возникает философия истории как истолкование того единого плана, по которому «шествует жизнь человеческого рода» (15). Отсюда различные эпохи постепенного приближения человечества к высшей цели, оценка и обоснование различных средств на пути к ней. Ценность из мира отвлеченного низводится в конкретный мир развития, становления, процесса. В результате — возврат Фихте к логическим расчленениям Канта приводит его к постановке проблем, предваряющих систему Гегеля.

Таково значение этих двух сочинений в развитии системы Фихте Старшего. Трагический разлад между последовательной теорией и метафизическими запросами выражен в них с необычайным подъемом и силой. Вся личность великого философа с ее глубоким и цельным темпераментом, с ее страстной верой в свою правоту и в силу истины — отразилась как в зеркале в обоих сочинениях, особенно в «Назначении человека». Фихте-проповедник, Фихте-философ-агитатор создает здесь образец популярно-философского изложения. И насколько вообще глубина мысли может ужиться с популярностью изложения — настолько она уживается у Фихте.

Перевод выполнен в общем прекрасно, легким, литературным, подчас даже художественным слогом, с большим философским пониманием и тщательно. Иногда хотелось бы несколько большего педантизма в выборе терминов.

Бердяев Николай. **Новое религиозное сознание и общественность.** СПб., 1907. Стр. L+233. Ц. 1 р. 50 к.

Г. Бердяев является одним из наиболее талантливых среди современных русских философствующих публицистов, и книга его несомненно представляет интерес, ибо она характеризует известное направление в искании некоторых кружков нашей интеллигенции. Настоящая книга есть сборник статей, отчасти уже напечатанных раньше в различных журналах, объединенных руководящей религиозной идеей.

Автор пытается дать своеобразное освещение и разрешение некоторым из основных вопросов политики, общественной философии и морали, отправляясь от известных переживаемых им религиозно-мистических настроений, которые он сам, впрочем, относит к проявлениям «объективной, вселенской религии» (стр. IX) как «абсолютной реальности» (с. X) и характеризует, как «трансцендентное ощущение окончательной радости бытия» (с. XXVIII). С этой точки зрения автор стремится дать конечное разрешение проблемам: церкви, государства, социализма, анархизма, пола и теократии.

Прежде всего автор объявляет себя «мистиком по философским убеждениям и религиозным верованиям»

(XI), понимая при этом мистику как такое «объективное состояние природы человеческой и природы мира» (XI), которое «покоится на тождестве субъекта и объекта» и является «слиянием человеческого существа с универсальным бытием», общением его с миром при посредстве «интеллектуальной интуиции, не обусловливающей и не рационализирующий мир» (XIII, прим.). Мистика, по мнению автора, есть «первоначальная стихия, общая у человека с мировым бытием» (XII), «трансцендентная искренность» (XII), «реализм, ощущение реальностей, слияние с реальностями» (XIV); она «непримирима с позитивным, рационалистическим сознанием» (XV). Мистика должна быть «положительной, творческой, **религиозной**» (XXX). Религия есть «не отвлеченное, а конкретное, органически полное постижение и испытание смысла жизни личной и мировой» (XVII), она есть «откровение объективных реальностей» (XX), «таинственный внутренний акт рождения Логоса в нашей внутренней мистической стихии, это наш мистический опыт, осмысленный Разумом» (XXI), «откровение Разума во мне» (ib<idem>[1]). Автор отвергает «моралистическое понимание религии» (XXV), которым «прегрешил и многих отравил старый Кант» (XXVI), ибо «мораль допустима лишь как функция подчинения» (XXV); отвергает аскетизм, ибо «Бог требует от нас творчества, созидающей свободной любви, а не жертв и страданий» (XXXI), и полагает в основу религиозной жизни «обожение человеческого в Боге», «утверждение своего мистического я в божественном космосе» (XXXV). «Сущность мира и человека есть целестремительное воление» (XXXVII) и отдельные волящие «**свободные** монады мира собираются и соединяются в полноту и гармонию бытия», идут во имя Смысла, Логоса, «**к соборности**» (XXXVIII). Сущность всемирной истории и лежит в этом постепенном воплощении Смысла.

Отсюда можно было бы уже сказать заранее, каково будет положительное общественное построение автора. Он подходит к нему все время путем отрицания противоположного. Три искушения должна преодолеть истинная религиозность: она не должна заменить «хлеба небесного хлебом земным» (10) и подменить «собирание

свободных в своей сущности человеческих личностей в Богочеловечестве» (12) — «самообоготворением человеческим» (11); она не должна соблазниться насильственным счастьем и отказаться ради него от «абсолютной ценности свободы совести» (11); она не должна вступить «на путь человековластия» и «обоготворения государства» (16). Первым грешат социализм и демонизм; вторым — государственный социализм и научный позитивизм; третьим — исторические церковные организации и идеологи позитивной государственности. К обнаружению этого сводится вся критическая часть книги. В частности, г. Бердяев ведет поход, главным образом, против государственного социализма и государственности.

Социализм, как религия, не знает «святыни высшей, чем человечество» и «обоготворение (им) пролетариата есть устремление к новому земному Богу» (76); социализм «чужд настоящего историзма», ибо «отрицает накопление вневременных ценностей в истории» (78); социализм непоследователен в своем стремлении к равенству, ибо «устанавливает преимущество пролетариата перед остальным человечеством» (79); эсхатология марксизма стремится к «закреплению навеки испорченного мира» (82); марксизм базируется на этом начале в человечестве и потому повинен в демонизме (83); пафос его чисто отрицательный, он слишком малого требует в духовном отношении (84—85); он не чтит личности как абсолютной цели (86, 88), крайние цели его — буржуазны (89) и, несмотря на то, что за ним есть великая правда, — ибо он борется с существующей неправдой, — его стремление к принудительному осуществлению одинаковой для всех сытости содержит великую ложь (93 и др.) и т. д.

Стремление к принудительности, к власти ставит его рядом с поклонниками позитивной государственности. Г. Бердяев берет государство как «особое, отвлеченное, насильственное начало, ничему не подчиненное и все себе подчиняющее» (41). Такая «суверенная, неограниченная и самодовлеющая государственность есть результат обоготворения воли человеческой» (41), ибо «сущность ее в том, что в ней властвует субъективная человеческая воля, а не объективная сила правды, не абсолютные идеи» (42); такой порядок безнравствен, и государство

«должно смирить свою власть перед властью Божьей, т. е. превратиться в теократию» (42). Автор противопоставляет далее «государство» как выражение воли человеческой «праву» как «выражению воли абсолютной, объективно разумной» (46) и отрицает «суверенность» государства, понимаемую в том смысле, что «право происходит из государства» (такова, например, по его мнению, точка зрения марксизма, 44, 45), а не государство подчиняется праву «как абсолютной правде, заложенной в глубине нашего существа» (48). Хотя «отпавшее от Бога человечество может развиваться только с помощью государства, переходя через разные его ступени» (60—61), это будет так лишь до тех пор, пока человечество «не примет внутрь себя Христа» (59). Когда же это совершится, явится «Вселенская церковь» (95), установится «теократия». Теократия есть «органическая общественность», «отмена всякого человеческого закона и человеческой власти» (219) во имя власти Божией; Божья власть не есть в сущности власть, ибо «теократия анархистична», но не в смысле хаоса, а в смысле «окончательной свободы и уничтожения всякого принуждения» (220); теократия есть «трудовая община» (222), «связанная силой любви» (221), «святое-хозяйство во имя Бога» (113) на основах «общинного, внегосударственного социализма» (95), «подчиненного религии» (113), с устранением «классов и классовой эксплуатации, с коллективизацией производства» (121), при полной замене «государственного права — гражданским» (96). Теократия будет «преддверием хилиастического тысячелетнего царства[2]» (223), «явлением в мир Богочеловечества» (225), путь же к ней лежит через внеполитическое развитие «здорового земского хозяйства, органическое уважение принципа федерализма» (63), через внегосударственную не принудительную «социализацию общества» (125), через «кооперативное и профессиональное рабочее движение» и через «муниципальный социализм» (126). В то же время «нужно органически воспитывать человечество в направлении безвластия» (151), должен расти «соборный дух, основанный на любви» (95). «Только в связи со святыней православия, с этим крепким базисом, может открыться для нас новое», — говорит автор в конце книги (218).

Переходя теперь к критическим замечаниям, установим с самого начала, что ко всяким философским построениям следует относиться, по принципу, с самой широкой терпимостью и беспристрастием. Каждый разрешает вопросы общего миросозерцания так, как хочет и может, проблемы же метафизические открывают мыслителю особенно широкий простор. Единственно, чего можно и должно требовать от мыслителя, который хочет, чтобы к его произведениям относились серьезно, это чтобы искания его стояли в связи с наукой и научной философией. В частности, если мыслитель обращается к метафизике как поэзии понятий, и мистике, как поэзии настроений, то он должен вскрыть и проследить те пограничные линии, которые отделяют его искания от проблем, разрешимых средствами рационального мышления, и установить правомерность своего ухода в область иррационального. Только при соблюдении этого условия искания его сохранят связь с научностью; без соблюдения же его построения ищущего рискуют превратиться в произвольные нагромождения идей, ни для кого, кроме их автора, неприемлемые. Искания г. Бердяева окончательно утратили всякую связь с научностью и построяются во всех своих частях по принципу чистого усмотрения. Г. Бердяев предвидит это возражение: «Будут, конечно, говорить, — читаем мы в предисловии, — что идеи моей книги бездоказательны и ненаучны, но сами не знают, что говорят, сами не обосновали, убедительно ли, заразительно ли, истинно ли только «доказательное». А что, если истина усматривается и видится, но не выводится и не доказывается?»[3] Однако мы и не думаем **упрекать** г. Бердяева в ненаучности его творений: можно ли упрекать певицу за то, что она «неверно» поет? Она всегда может нам возразить, что мы не обосновали, приятно ли, заразительно ли, прекрасно ли только «верное» пение. Мы просто констатируем, что философствование г. Бердяева утратило связь с научностью: оно не связано с научной философией ни внешне, в порядке логического отмежевания, ни внутренне, по методу построения и обоснования. Утверждения г. Бердяева нельзя опровергать, с ним нельзя спорить: ибо опровергать можно лишь то, что доказывается, и

нельзя спорить против того, что «усматривается и видится»; произвольному утверждению можно или противопоставить столь же произвольное, или просто отвергнуть его на основании того же произвола, на котором она утверждена. Истина г. Бердяева не есть вовсе научная или хотя бы «науко-образная» истина, ибо та и другая стремятся прежде всего к обоснованности.

Характерной чертой философствования г. Бердяева является далее то, что точнее всего было бы обозначить, как «философский максимализм». Г. Бердяев не знает частичной, относительной истинности, он не знает границ, пределов, он не знает даже трудности и сложности: все проблемы, в том числе сложнейшие, решаются им быстро и цельно, из единого прозревающего настроения, и притом решение его всегда стоит под знаком «абсолютного», «откровения», является плодом пророческого вдохновения. Он ведает всегда полную и абсолютную «вселенскую» истину. Счастливый дух! Он принадлежит к числу тех мыслителей, к которым особенно милостив св. Антоний Падуанский[4], покровитель ищущих и обретающих. Г. Бердяев обретает скоро и непререкаемо; он сам признает это: «Искатель лишь тот, кто находит», говорит он в предисловии. Но не менее скоро и просто он низвергает чужие утверждения. Вполне достаточным критерием для него является в этом случае кажущаяся «неблагородность, уродливость» чужого воззрения (V), «пресность» известного образа жизни (рационального, XLII); «щемящая скука сосет от этих фраз», говорит он про декадентство (25), или отвергает «опостылевшую, нежеланную» государственную власть (46) и т. п.

Одним словом, г. Бердяев чрезвычайно субъективен, непосредственен и иррационален как в утверждениях, так и в отрицаниях. Красивый и полный, на первый взгляд, синтез, воздвигнутый им в нескольких изящно и талантливо набросанных статьях, самое большее — может «заразить» нескольких читателей, подверженных больше воздействию формы. Но удовлетворить он не может никого. Исходный пункт г. Бердяева неоригинален. Учение об интеллектуальной интуиции и тождестве субъекта-объекта взято им целиком у Шеллинга. Учение о религии как об исторически воплощающемся начале заимствовано у Гегеля. Мистические настроения, учение об обожест-

влении человеческого и т. п. заимствованы у старых мистиков Экхарта и Бёме. Следование Достоевскому, Соловьеву, Трубецкому видим на каждом шагу. Но в этом синкретическом сплаве все элементы чужих систем постоянно теряют в своей глубине и целостной обаятельности, особенно, например, учение о Логосе или Разуме.

Укажем, наконец, еще отдельные неправильности и дефекты. Критикуя чужие учения, г. Бердяев берет их всегда как религиозные системы, утверждающие будто бы абсолютные истины или ценности; от этого удары его идут нередко мимо, как, например, в критике учений, защищающих государство, в частности марксизма, для которого государство является лишь временным преходящим средством. Само понятие государства не определено г. Бердяевым с надлежащей точностью, и критика его производит впечатление борьбы с каким-то трансцендентным, мистическим началом. Возражения против учения о государственном суверенитете или «суверенности» , как говорит г. Бердяев, также покоятся нередко на недоразумении, ибо берут это понятие как утверждающее какую-то высшую религиозную ценность; современная наука государственного права не знает такого понятия. Самая удачная глава («Социализм как религия»[5]), содержащая немало верного, проигрывает иногда оттого, что г. Бердяев не подтверждает своих возражений ссылками; в результате получается некоторая утрировка в изложении марксизма (например, 75, 97 и др.). Наконец, такие утверждения, как «презрение Маркса к людям не имеет пределов» (28), или: «анархическая философия М. Штирнера есть солипсизм[6]» (145), являются не столько произвольными, сколько совершенно неверными. Г. Бердяев хороший стилист. Книга издана изящно.

Булгаков С. Н. **Карл Маркс как религиозный тип. (Из этюдов о религии человекобожества).** Изд. Д. Е. Жуковского. СПб., 1907. Стр. 55. Ц. 25 к.

«Этюд» проф. Булгакова представляет несомненный интерес как по затронутой теме, так и по выполнению. Основная мысль очерка состоит в том, что личность Маркса совмещает в себе черты положительного религиозного творчества с чертами отрицательными и что

«духовному лицу» его свойственны и те и другие в своеобразном сочетании. Эта основная мысль затемнена, однако, с одной стороны, привходящими теоретическими соображениями и исследованиями, с другой — субъективно-религиозными построениями. Задавшись критико-психологическим вопросом о том, каковы были религиозные переживания Маркса и какое место занимали они в его индивидуальном облике (стр. 7, 8, 46), автор отмечает «почти полное отсутствие документального материала» (8), необходимого для решения поставленного вопроса; это обстоятельство не останавливает, однако, автора, и в результате мы имеем дело не столько с анализом психологии Маркса, сколько с анализом его учения; отсюда неизбежная неопределенность и даже некоторая шаткость основной характеристики. К этому присоединяется недостаточная ясность в определении понятия религии. Автор дает два определения этого понятия: одно формальное, согласно которому религия — это те высшие (в каком смысле? — *Рец<ензент>*) ценности, которые человек признает над (?) собою, и его практическое отношение к ним (5); другое — материальное, согласно которому религиозная проблема и есть проблема индивидуальной человеческой души и ее отношения к Богу (14); эти два определения автор не разграничивает с достаточной отчетливостью. Когда же затем он говорит о враждебном отношении Маркса к религии вообще (18, 33, 35, 37, 42), то для читателя остается неясным, что следует разуметь при этом под религией: первое определение слишком широко, ибо отрицать у Маркса наличность высших ценностей и практического отношения к ним — нельзя; второе определение слишком узко, ибо оно выражает содержание не всякой религии вообще, а определенной, субъективно разделяемой автором религии. Что же касается атеизма Маркса, то он не говорит еще ничего о безрелигиозности последнего, ибо религия может быть и атеистична, что признает сам автор. Укажем еще в возражение проф. Булгакову, что «бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности» (12) *на практике* вовсе не связано логически с «устранением проблемы индивидуального» (12) *в теории*. Понятие «индивидуального», построяемое в целях теоретически-познавательных, может быть наполнено совершенно иным содержанием,

чем понятие «индивидуального», построяемое в метафизической этике или религии. Так, например, можно не считаться *в познании* с ролью личности-феномена и *верить* в «абсолютную ценность» личности-нумена[1].

Положительный интерес очерка лежит в выделении идейной близости Маркса к Фейербаху (в философском и религиозном отношении) и отсутствии такой близости между Марксом и Гегелем. Очерк значительно выиграл бы, если бы автору удалось изолировать в рассмотрении субъективный момент веры и симпатии.

М. Штирнер. **Единственный и его собственность.** Пер. Гиммельфарба и Гохшиллера. Ч. I с прил. биогр. Штирнера, сост. Маккэем. Комментир. изд. «Светоча». СПб., 1907. Стр. 365. Ц. 1 р.

М. Штирнер. **Единственный и его собственность.** Пер. Г. Федера. Изд. Яковенко. СПб., 1907. Стр. 268. Ц. 80 коп.

М. Штирнер. **Единственный и его достояние.** Пер. Н. Г-ой. Изд. Саблина. М., 1907. Стр. 345. Ц. 75 коп.

М. Штирнер. **Единственный и его достояние.** Пер. Л. И. Г. Изд. «Инвалид». М., 1907. Стр. 478. Ц. 1 руб.

М. Штирнер. **Единственный и его собственность.** Пер. В. Ульриха. Изд. «Мысль» Миллера. Лейпциг—СПб., 1906. Стр. 244. Ц. 1 руб. 50 коп.

Книга «Единственный и его собственность» вышла в 1844 году в Германии в то время, когда еще назревала революционная волна сорок восьмого года; в свое время это произведение одинокого мыслителя вызвало сенсацию, но было скоро и надолго забыто, забыто настолько, что даже историки философии не упоминали скромного имени Каспара Шмидта, укрывавшегося под псевдонимом Макса Штирнера. В последнее десятилетие прошлого века о нем вспомнили, заговорили, вышла составленная Маккэем[1] из сохранившихся отрывочных сведений биография его, и в настоящее время о нем пишут все историки и идеологи индивидуализма и анархизма. Но настоящего научно-философского освещения его доктрины еще не существует.

Обыкновенно принято помещать Штирнера на самом крайнем, так называемом «левом» фланге гегелианской школы. Но такая характеристика очень скудна и

поверхностна и не дает сколько-нибудь определенного представления о его доктрине. Штирнер обдумывал и вынашивал свою книгу одиноко и замкнуто, и хотя связь его с великими системами немецкого идеализма, отрицанием которых, по-видимому, только и живет его книга, — велика и несомненна, но важнее всего определенно выяснить сначала самостоятельную сущность его учения; а в этом направлении до сих пор не сделано почти ничего.

Учение Штирнера есть философское учение о ценности, но не теоретической ценности, а практической. Вопросы познания, теории, науки как самостоятельные проблемы философии совершенно чужды исканиям Штирнера. Это не значит, конечно, чтобы он не пользовался известными теоретико-познавательными предпосылками; но он не ищет их и не обосновывает, а только пользуется ими так же, как пользуется правилами формальной логики в силлогизмах. Отсюда уже ясно, что Штирнера нельзя называть «абсолютным нигилистом», не погрешая против действительности. Штирнер доказывает и аргументирует и тем самым предпосылает значение формальных логических законов; Штирнер построяет, хотя и мимоходом, основные понятия теории познания; он постоянно оперирует с понятиями онтологии и тем самым занимает известную определенную позицию в обеих отраслях философской мысли. Не следует придавать большого значения тем формулам Штирнера, которые содержат, по-видимому, категорическое и безусловное отрицание всех ценностей: они являются всегда продуктом или искреннего увлечения последовательным скептицизмом, или некоторой свойственной Штирнеру вообще рисовки; учение его не есть отказ от всякого утверждения, как такового, но содержит и принципы оценки и целый ряд положительных утверждений ценности.

Штирнер отрицает категорически и безусловно только то, что совершенно не уживается с его основным принципом практических построений, что, так сказать, с ним полярно. Принцип же его может быть формулирован так: «из глубины души идущее, свободное изволение самоутверждающегося эмпирического, конкретного индивидуума». Все то, что по смыслу своему или по практическим результатам стремится иметь значение для

эмпирического индивидуума вне его самочинного свободного изволения, — отрицается Штирнером, за исключением самой эмпирической природной данности: от нее Штирнер отправляется, против нее не восстает, с ней примиряется, как с отправным уровнем своего философствования. Так, он не бунтует против смерти как конца, неизбежного для эмпирического индивидуума, примиряется с ограниченностью последнего и его потенции, с потребностями и т. д. Учение его говорит, напротив, эмпирическому индивидууму о том, как он может, отправляясь от этой данности, наилучшим образом организовать морально и общественно удовлетворение потребностей своего конечного «*Я*», суверенного, единственно ценного, неповторяемого «единственного». При этом физические потребности, обычные желания, духовные запросы, по-видимому, равноценны в его глазах, если только они подсказаны свободным внутренним побуждением: «долой все, что морально и социально стоит на пути к их беспрепятственному проявлению и удовлетворению», — вот лозунг Штирнера, исчерпывающий в значительной степени его практическое учение. С этой точки зрения Штирнер отрицает ограничивающие индивидуума нормы; но нельзя говорить поэтому, что он уничтожает всякую нравственность, ибо, напр<имер>, акты милосердия, сострадания, самопожертвования отрицаются им только в том случае, если они не являются для совершающего их — актом свободного самоутверждения; свободное самоутверждение индивидуума есть высшая норма в моральной проповеди Штирнера. Можно возражать против неопределенности этого принципа или прямо-таки доказывать его непригодность, но нельзя видеть у Штирнера отсутствие положительного морального учения. С точки зрения своего главного принципа Штирнер отрицает далее всецело принудительную организацию общежития и, в частности, государство; но не следует думать, что он отрицает и всякую общественность: он построяет ее только по принципу чистого эгоизма, объясняя каждое моральное настроение и каждое социальное побуждение сознательным или бессознательным себялюбием индивидуума. В этом нельзя не признать самого слабого пункта Штирнеровской доктрины: психологическое **объяснение** моральных переживаний он

постоянно принимает за философское **обоснование** морально-должного и учение его остается почти необоснованным. Отношение Штирнера к праву есть самый сложный вопрос его доктрины и предпосылает юридический анализ идеи договора; мы можем указать здесь только на его скептическое отношение к принудительному моменту в праве и на положительное значение такого скепсиса в наукѐ философии права: вопрос о правомерности, поставленный в его книге с таким блеском и с такой последовательностью, должен заставить каждого юриста подумать о необходимости более глубокого философского обоснования правового принуждения, как такового.

Из первых четырех переводов лучше других перевод г. Федера в издании Яковенко[2]. Перевод в издании «Светоча» выполнен (по крайней мере, в первом томе) тщательнее других; однако и ему в упрек нужно поставить бледность и заурядность передачи.

Ш е л л и н г. **Философия исследования о сущности человеческой свободы.** Пер. Л. Меерович а. **Бруно, или О божественном и естественном начале вещей.** Пер. О. Давыдовой, под ред. Э. Л. Радлова. С предисловием П. И. Новгородцева. Изд. Д. Е. Жуковского. СПб., 1908. Стр. X+164. Ц. 1 р.

Две особенности характеризуют философствование Фридриха Шеллинга (род. 1776 — † 1854) — вера в силу человеческого познания и непрестанное развитие основных воззрений. Шеллинг не был рожден рационалистом, и мысль его никогда не останавливалась специально на теории познания. Интуитивист по преимуществу, он всегда был чужд тому трагизму рационалистического самоограничения и тому духу дифференцирующего проникновения в философские проблемы и понятия, которым характеризуются искания Канта. С самого начала Шеллинг воспринял учение Фихте о том, что человеку доступно интеллектуальное созерцание недр своего духа, и с легким сердцем расстался с **абсолютным вне субъекта** (вещь в себе), получив взамен постижение абсолютного внутри субъекта (Ich[1]). С этих пор и до конца **истинное** познание было для Шеллинга всегда **абсолютным познанием абсолютного**; вера в доступность человеку такого познания ни разу не поколебалась в его глазах и обнару-

жилась с особенной силой в ту эпоху (1802—1809), к которой относятся настоящие сочинения. **Идея научной достоверности** нераздельно сливается у Шеллинга с **субъективной убежденностью** в верности своего прозрения и с **ощущением целостности** в своем построении; в данную эпоху эта идея исчезает совершенно, и хотя сам философ думает, что построение его (трактат о свободе) опирается на разум, однако тут не может быть и речи о доказуемости: достоинства построения скрыты совсем не здесь, а в трагической остроте настроения, целостности и глубине замысла, мистической поэзии выполнения. Второй особенностью философствования Шеллинга является постоянное развитие его основных воззрений. Почти невозможно найти у него два трактата, которые были бы связаны строгим и выдержанным единством; философствование Шеллинга — это непрестанное развитие: пополнение, углубление, объединение, завершение. При этом почти всегда остается впечатление, что главное и последнее еще не сказано, что оно еще впереди; и действительно, следующий трактат дает, по существу, новое, открывает новые вопросы, новые провалы и горизонты. К этому присоединяется способность Шеллинга органически усваивать системы других мыслителей. Сперва Шеллинг значительно поддается влиянию продуманного философа; но затем он претворяет его идеи и, не сохраняя системы целиком, но и не отвергая нацело, амальгамирует ее в ее ценных частях со своей точкой зрения, так что впоследствии бывает нелегко сказать, что же именно было им позаимствовано. Так Шеллинг претворил идеи Фихте, Спинозы, неоплатоников, Дж. Бруно, мистиков — Экхарта и Бёме, — и Лейбница. Диалог «Бруно» являет нам все эти влияния как раз в состоянии противоборства и неуравновешенности. Философствование Шеллинга началось с усвоения им точки зрения Фихтева «Наукоучения». В значительной степени предваряя систему Фихте, Шеллинг развивает в своих первых трактатах его обожествляющую человеческий дух концепцию **абсолютного субъекта**, обнаруживая в то же время склонность придать этому понятию значение **абсолютной божественной субстанции**, понимаемой в духе Спинозы. В результате борьбы этих двух влияний идея

духа приобретает у него два оттенка: с одной стороны — это абсолютное в **человеческом духе**, начало творческого **процесса**; с другой стороны — это дух **божественный**, чуждая процессу **завершенная** полнота бытия. Сочетать эти два понимания Шеллингу не удается в первых трактатах; в философствование его врастают постепенно новые области познания и новые проблемы, требующие дедуктивного систематического построения: природа, история и прогресс, государство, искусство, проблемы нравственной свободы и происхождения мирового зла. И по мере того, как верховное начало Шеллинга охватывает все новые области, оно становится все более абстрактным, все более бедным и менее определенным в своем содержании. Так, уже в эпоху натурфилософии, последовавшую за первыми трактатами, абсолютное утрачивает коэффициенты **«человеческого»** и «божественного» и становится искомым началом, сочетающим идеальное с реальным, дух с материей. Шеллинг усматривает такое начало сперва в идее **«живого организма»**, потом в идее **«бытия, как высшей конструирующей активности»** и соответственно в идее художественного творчества, наконец, в высшей и абстрактнейшей идее **«абсолютной индифференции»**, безразличия, в котором не содержится ничего, — ибо все противоположности мира в нем нейтрализовались, — но из которого диалектически можно получить все. Провозглашение последней идеи и попытка выведения из нее мира в целом more geometrico явилась для Шеллинга тем озарением, которое он вынес из общения с Гегелем и которое представлялось ему самому новой гранью в его творчестве (1801 г.). На самом же деле абстрактность и сухая рассудочность этой неоконченной попытки могла только отвратить поэтичного Шеллинга от подобных рационалистических увлечений. Как бы в виде реакции на нее, в следующем же (1802) году появляется диалог «Бруно», в котором метафизический и мистический размах мысли достигает еще небывалого размера. В этом диалоге прошлое и будущее Шеллинговых исканий встречаются в виде ряда искусственно обособленных и противоборствующих сторон миросозерцания, и внимательному читателю ясно, что, хотя единство и остается недостигнутым, хотя остается ряд вопросов, только поставленных и не разрешенных, но руководство

принадлежит уже не рационалисту Лукиану и не натурфилософу Александру, а метафизику Ансельмо и еще больше — мистику Бруно. Все последующие искания Шеллинга и в период бурного творчества (1802—1909), и в последовавший за ним долгий период медленного и молчаливого вынашивания (1809—1854) стоят под знаком мистического прозрения. Начиная с «Бруно», абсолютное вновь обогащается в содержании, получает значение живого миротворящего начала и нераздельно сливается с Божеством; проблема отношения Божества к конечному миру и человеку выдвигается на первый план. В стремлении примирить идею Божества как абсолютного первоисточника «всяческих» с существованием конечных вещей и с наличностью в мире начала реального зла — Шеллинг пишет два по настроению и мысли самых глубоких своих трактата: «Philosophie und Religion[2]» (1804) и «Философские исследования»... (1809), тесно связанные между собой. «Выведение» получает здесь ярко выраженный характер метафизического историзма, и в этой перспективе открывается возможность осмыслить жизнь и прогресс человечества. Наконец, идея восхождения, возврата к Божеству человечества, первоначально от него отпадшего, ведет Шеллинга в позднейших его произведениях к историческому оправданию необходимости воплощения Божества, и этим завершаются его искания: от обожествления человеческого к вочеловечению Божества — вот краткая схема его пути.

Переводам, честь издания которых принадлежит Д. Е. Жуковскому, предпослана интересная вступительная статья, принадлежащая перу П. И. Новгородцева. Она служит прекрасным и необходимым введением в изучение обоих трактатов, освещая их содержание и значение. Перевод «Бруно» вполне удовлетворителен, но несколько тяжеловат. Зато перевод «Исследований» выполнен художественно. Благодаря глубокому проникновению переводчика в идеи и настроение автора перевод совершенно не производит впечатления перевода. Несколько спорных передач не могут быть здесь отмечены.

С т о л и ц а З. **Очерки по философии идеализма**. Изд. т-ва М. О. Вульф. СПб. и М., 1908. Стр. 95. Ц. 50 к.

Перед нами небольшая книжка, написанная в защиту этического идеализма. Автор, по-видимому, не претендует

на научность или философскую обоснованность излагаемых идей, но просто сводит воедино отрывочные заметки обывателя о философии, литературе, искусстве, религии.

Являясь сторонником метафизически-этического идеализма в духе Фихте и Вл. Соловьева, автор пытается в очень популярном и далеко не всегда связном изложении ограничить разделяемую точку зрения от ряда одноименных течений в философии и этике; попутно он дает много широких историко-философских обобщений, страдающих значительной поверхностностью и произвольностью, и касается самых различных произведений эстетического творчества, пытаясь дать им посильную оценку. Перед нами проходят: Достоевский, Толстой, Репин, Васнецов, Дузе[1], Сара Бернар[2], Вагнер, Лейбниц, Комиссаржевская и другие. Нередки философские промахи и ошибки: так, Кант является противником этического идеализма (66); социология близка к нормативной этике (32) и т. под. Не обходится и без курьезов, например, «Фихте... умер на своем посту... сраженный гибельной бациллой» (71).

Ц о к к о л и Г е к т о р, проф. **Анархизм.** Пер. с ит. Ф. Гурвица, под ред. В. Тотомианца. Изд. Глаголева. СПб., 1908. Стр. 422. Ц. 2 р. 25 к.

Приступая к составлению настоящей монографии, проф. Цóкколи был проникнут желанием «вывести историю и оценку анархизма из тьмы невежества и открытой неприязни под яркие лучи научного и беспристрастного анализа». Нельзя не приветствовать того, кто ставит себе подобную задачу. Представления о сущности анархизма до сих пор крайне сбивчивы и неопределенны, научное изучение отсутствует почти всецело: так, мы не имеем ни исчерпывающей истории анархистических **идей**, ни обстоятельной истории анархического **движения**, ни углубленной философской **оценки** анархистской доктрины по существу. Страстная критика, беспощадный скепсис, прямолинейное отвержение, характеризующие анархическое учение, содействуют этому немало: критика вообще вызывает легче контр-критику, чем склонность к беспристрастному теоретическому анализу. Подпольное состояние учения довершает дело и не дает ему выступить в сферу гласного и всестороннего рассмотрения.

По беспристрастию и объективности сочинение проф. Цо́кколи стоит наравне с лучшей научной работой об анархизме — сочинением проф. Эльцбахера, хотя в последнем симпатии автора устранены с бо́льшей тщательностью. Проф. Цо́кколи, как видим из нескольких замечаний в тексте (стр. 389, 412, 415) и из прямого заявления в предисловии к русскому изданию (стр. 4), совершенно не сочувствует анархистическому учению, но это не помешало ему ограничиться одним изложением и оставить в стороне критическую оценку. Вторым достоинством сочинения является значительная полнота использованных источников. Следует отметить также обстоятельное изучение анархического движения за последние полвека, и в частности справедливое освещение террористической идеологии.

Книга не свободна, однако, от целого ряда больших недостатков. Сюда относится прежде всего отсутствие метода и обобщений. Автор не приводит никаких оснований в пользу того, что изложенные им пять доктрин (Штирнера, Прудона, Бакунина, Кропоткина и Тёкера) действительно являются анархистическими и что они исчерпывают собою все выдающееся в этой области; понятие анархизма, не определенное им в начале книги, остается без определения и в конце ее, и читатель, не знакомый с работой Эльцбахера, останется без ясного представления о том, что есть анархизм. Глава вторая, содержащая изложение «анонимных» идей «повседневной пропаганды», оставляет впечатление настоящего хаоса; она неудачна по замыслу, ибо в повседневную пропаганду анархистских кружков входят идеи, не имеющие между собою ничего общего и не поддающиеся объединению; она неудачна по выполнению, ибо автор скоро забывает заданную «анонимность» и излагает под рубрикой «право и долг» — идеи Жирара[1] и Сорена[2], под рубрикой «религия» — взгляд Моста[3], под рубрикой «искусство» — идеи Альбера[4], Рихарда Вагнера (!) и Мориса[5] и т. д. Отсутствие научного метода достигает здесь апогея. Отметим еще отсутствие исторического очерка; умолчание о Годвине[6] и упоминание лишь вскользь о Толстом; философски неверные и неточные характеристики излагаемых пяти доктрин (в названиях глав); тяжелое и неясное изложение доктрины Штирнера.

Перевод выполнен в общем удовлетворительно, если не считать несколько досадных искажений (может быть, корректурного характера?). Так на стр. 12 вместо «гегелеанцев» стоит «итальянцев», вместо «Бауэр» — «Гаур». Нельзя не пожалеть, что все названия иностранных сочинений в подстрочных примечаниях переведены на русский язык: это создает такое впечатление, как будто переведены и самые сочинения, и в то же время лишает возможности пользоваться книгой как богатым библиографическим указателем.

Очерки по философии марксизма. Философский сборник. Кн<игоиздательст>во «Зерно». СПб., 1908. Стр. 328. Ц. 2 р. 50 к.

За последнее время в русской литературе то и дело появляются сочинения по «философии марксизма» и обилие их свидетельствует о том, что теоретическая сторона доктрины удовлетворяет уже немногих. Сознание того, что что-то в ней должно быть пересмотрено, перестроено и добавлено, может быть признано теперь господствующим среди самих марксистов. Прежняя «твердокаменная» непоколебимость их в исповедании теоретических основ доктрины и уверенность в том, что именно здесь у них все обстоит благополучно — сменилась сначала неуверенными и несмелыми полупризнаниями, затем коренным теоретическим разладом и, наконец, теперь настоящим идейным разбродом. Чистый марксизм встречается ныне все реже и становится исключением. И Маркс, имевший всегда достаточно оснований для отречения от своих последователей, имел бы их теперь больше, чем когда бы то ни было.

Три черты характеризуют совершающийся пересмотр: во-первых, он направлен за крайне немногими исключениями не в центр доктрины, а на периферию; во-вторых, он совершается не в научных целях, а в публицистических; в-третьих, он отличается опять-таки за очень немногими исключениями значительной несамостоятельностью и поверхностностью. К этим трем характерным особенностям некоторые марксисты присоединяют еще развязный тон и стиль вульгарных памфлетов и делают этим свои творения совершенно неудобочитаемыми. Наглядным подтверждением всего этого может служить настоящий сборник.

Оговоримся с самого начала, что при оценке достоинств и недостатков статей, помещенных в нем, мы совершенно и вполне отвлекаемся от рассмотрения и критики тех практических — политических и социальных — постулатов, с которыми обыкновенно связывается теоретическая доктрина марксизма. Мы имеем в виду не то, **что** выводится, но только то, **из чего** выводится, не то, **что** обосновывается, а единственно то, **на чем** обосновывается марксистами их практическое построение, и эту теоретическую основу мы берем не в ее обычном и полном идейном составе, а лишь со стороны того якобы обновляющего «философского» материала, которым привносится в нее нео-марксистами. Итак, мы пытаемся рассмотреть настоящие статьи с чисто теоретической точки зрения.

Первое, что мы замечаем, это то, что пересмотр доктрины, поскольку он имеется налицо, направлен не в центр доктрины, а на ее периферию. Так, прежде всего в статьях гг. Богданова[1] («Страна идолов и философия марксизма») и Суворова[2] («Основания социальной философии») — исходный пункт и методологическая позиция марксизма сохранены в принципиальной неприкосновенности и только подновлены и дополнены идеями, заимствованными у Авенариуса и Маха.

Г. Богданов с обычным у марксистов самодовольным глубокомыслием приводит изменение некоторых отвлеченнейших и сложнейших философских понятий в связи с развитием условий производства, ничуть не смущаясь тем, что в итоге получаются все те же избитые тривиальные выводы; по-прежнему марксизм выдается за течение, вносящее переворот в научные воззрения, по-прежнему восхваляется и применяется «**социально-объяснительная критика**», эта непростительнейшая из философских наивностей. Зато точка зрения г. Богданова подновлена заимствованным у Авенариуса учением об интроекции[3], которое он, однако, видоизменяет и сплетает со своей точкой зрения, построяя «психологию социально-трудового процесса»; отметим еще, что термин «интроекция» автор передает постоянно русским словом «постановка», по-видимому, не отличая у Авенариуса понятие «интроекции» от идеи «субститута[4]». С Авенариусом гг. марксисты обращаются вообще весьма непринужденно, и это явление приобретает особый интерес, если мы добавим, что не-

смотря на самые тщательные поиски мы не нашли во всем сборнике **ни одной** ссылки на основное сочинение его «Kritik der reinen Erfahrung»[5].

Что касается обновления, вносимого в обычную марксистскую точку зрения г. Суворовым, то оно исчерпывается всецело попыткой сблизить истолкование социального переворота, данное Марксом, с принципом экономии сил, развитым у Маха и в одном из первых сочинений Авенариуса. В остальном и у него остается все по-старому, если не считать нескольких новых смешений и недоразумений, существенной роли не играющих.

Такой же приблизительно характер носит пересмотр доктрины и в статьях гг. Базарова[6], Юшкевича[7] и Гельфонда[8]: мы имеем здесь не пересмотр основных проблем **по существу**, а только более или менее удачные попытки **приладить** некоторые выводы современной философии к неизменным или во всяком случае лишь слегка исправленным в формулировке позициям марксизма. Редакционное предисловие так именно и формулирует цели и задачи авторов. Последние обращаются к философствованию потому, что рассматривают социализм «как зарождение новой социально-экономической формации, как новый тип общественного бытия, которому **должен соответствовать и новый тип мышления**». Установить этот новый тип мышления и должно, следовательно, философствование неомарксистов; оно не представляет при этом «какой-либо вполне законченной философской «системы», но объединено воззрением на предстоящую задачу. Необходимо, думают авторы сборника, «завоевать» «стихийные силы природы и общества» и обратить их «на службу человечеству». И вот, все то, что «в методах так называемой «положительной» науки» «действительно расширяет власть человека над внешней и социальной природой» — все это признается «прогрессивным» и подлежащим «усвоению» со стороны марксизма. Война объявляется на две стороны: во-первых, иррационалистам как «принципиальным противникам научной методологии», во-вторых, тем марксистам, которые пытаются закрепить в своей доктрине некоторые устарелые понятия и категории.

Уже из предисловия ясно видно, таким образом, чего хотят авторы сборника. Цель их явно **не** научная, а пу-

блицистическая. Ибо целью науки и научных исканий является **истинное**, т. е. **правильное познание**, причем необходимыми условиями последнего являются прежде всего доказательность, углубленность и ясность науко-творящей мысли. Наука имеет свои особые самостоятельные критерии и цели, мышление же, направленное к расширению власти человека над природой, есть или **техническое**, или **публицистическое** рассмотрение; из общего смысла предисловия и из содержания статей явствует, что мы имеем дело именно с последним. Точно так же наука совершенно не знает деления своих итогов и выводов на «прогрессивные» и «реакционные»; она заботится лишь о верности своим **познавательным** критериям и правилам, предоставляя технике **практическое использование** добытого, а публицистике установление **практических оценок**.

Итак, задача, которую поставили себе авторы настоящего сборника, ненаучна с самого начала. Какими же путями думают они идти в своих «философских» исследованиях. И это ясно из сказанного: они думают приобщить к марксистской точке зрения кое-что из методов положительной науки и именно то, что в этих методах «действительно — прогрессивно». Таким образом, пересмотр научных позиций сводится у них к **ассимилированию** некоторых, с публицистической точки зрения прогрессивных, приемов внемарксистской научной философии — основным приемом марксистской доктрины, и этим по существу исчерпывается их задача.

Нельзя не признать, что предисловие составлено удачно, ибо оно верно характеризует содержание всех статей, за исключением, впрочем, статьи г. Бермана[9]. Так, прежде всего, полемическая тенденция статей, представленная главным образом у г. Базарова («Мистицизм и реализм нашего времени»), действительно направлена на две стороны. С сосредоточенной важностью и не без воинственного пафоса г. Базаров обсуждает «философскую систему» г. Плеханова, относительно которой он сам считает необходимым разъяснить (стр. 4 прим.), что она изложена «главным образом в полемических статьях против Конрада Шмидта[10] и примечаниях к книге Энгельса о Фейербахе». Уничтожив эту «систему» на 14 страницах, г. Базаров обращается против русских неомисти-

ков, т. е. гг. И. Давыдова[11], В. Иванова, Г. Чулкова[12] и Н. Бердяева; расправа с ними еще короче, и справедливость требует признать, что она основана подчас на недоразумениях и вульгаризациях. Этим исчерпывается полемическая часть статьи, да и сборника вообще. В дальнейшем г. Базаров обращается к сочетанию марксизма с эмпириокритицизмом, и трудно сказать, что характернее для его «философских» упражнений: философская малоосведомленность или обилие вульгарных выходок. Первая иллюстрируется: определением априоризма, основанном на чистом непонимании (44); фантастическим утверждением о кантианцах (39); утверждением, что Авенариус положил в основу своей теории познания принцип наименьшей траты сил (стр. 69; это совершенно неверно для основного сочинения Авенариуса, которое, по-видимому, автору незнакомо) и другими. Выписывать все вульгарности г. Базарова не стоит; за философские аргументы у него сходят при нужде и «чижик в лодочке» (20) и «си-бемоль, вырастающий из щеки обывателя после второго удара, нанесенного по ней городовым» (28) и т. д.

Критический по преимуществу характер носят статьи гг. Луначарского («Атеисты») и Гельфонда («Философия Дицгена[13]»).

Г. Луначарский известен своим литературным темпераментом. О чем бы он ни писал, он вносит всегда в свои статьи много полемического задора и нередко вульгарного остроумия. В настоящей статье он остается верен себе: в ней есть все что угодно — и стихи, и остроумие, нет только серьезности, научности и философии. Разбирая книгу Ле-Дантека «Атеизм», автор хочет установить правильное отношение «пролетарски-чувствующего философа», которому надоело «все зады твердить» (161), к религиозной проблеме; в итоге он приходит к необходимости «сбросить ветхий плащ серого материализма» (160) и к утверждению «религиозного атеизма, притом с полнейшим отрицанием метафизики» (156); автор рассчитывает, что в результате такого миросозерцания личность получит «самое интенсивное и многоцветное содержание» и придет «к религиозному отрицанию себя во имя высшего, богатея и расцветая в силу этого отрицания». Это насквозь субъективное и совершенно не марксистское

построение нашло себе у автора весьма изящное изложение: выражения вроде: «свиньи» (108), «психологический крюк» (109), «карканье идеалистического воронья» (110), «какому дьяволу» (110), послать «к черту» (132) и т. под. в изобилии украшают его «философское» творение.

В противоположность г. Луначарскому, статья г. Гельфонда написана без всяких непристойных выходок, тоном серьезного искания. Автор делает опыт оценки философских произведений Дицгена, причем стоит на той точке зрения, что «сочетание Маха с Марксом» «является единственно возможным» и **это**, по его мнению, придает философским построениям новейшего позитивизма «огромную ценность». Такая точка зрения ассимилирующего философствования закрывает автору путь в глубину марксистской доктрины, уводя его по необходимости на периферию. Тем не менее статья его не лишена интереса, хотя она значительно проигрывает, с одной стороны, от переоценки вульгарного и примитивного философствования Дицгена, с другой, от ряда довольно элементарных философских ошибок; так автор смешивает **бытие** и **протяжение** в учении Спинозы и находит у последнего **тождество** протяжения и мышления (250); думает, что Гегель понимал «причинность как движение» (245) и т. д.

Из остальных двух статей статья г. Юшкевича содержит изложение самобытной теории познания автора, выступающей в свет под именем «эмпириосимволизма». Судя по тому, что статья эта напечатана в настоящем сборнике, можно предположить, что автор рассчитывает когда-нибудь впоследствии и где-нибудь в ином месте приладить свою гносеологию, возникшую через исправление идей Оствальда[14] идеями Маха, к марксизму. Напрасно искали мы в самой статье указаний на этот пункт: содержание ее есть, может быть, **философствование марксиста**, но к марксизму оно отношения не имеет.

Действительно научный вклад в философию марксизма представляет только статья г. Бермана («О диалектике»). Автор задался целью выяснить значение диалектического метода для современного научного миросозерцания, и нельзя не признать, что он вполне прав, обращаясь при разрешении этого вопроса прежде всего к Гегелю. Автор делает далее несомненный шаг вперед в деле пересмотра философских основ марксизма, изобличая

Энгельса в неправомерном пользовании диалектической формулой Гегеля. Необходимо указать, однако, что работа автора не свободна от некоторых спорностей и промахов. Автор излагает Гегеля без ссылок, и это приводит его к рискованным и даже неверным утверждениям; так, например, откуда известно ему, что для Гегеля «кроме понятия — нет ничего»? Мы могли бы подтвердить противоположное ссылками и на феноменологию (стр. 26—27), и на Энциклопедию (I, 319), и на Философию Истории (стр. 21), и т. д. Далее на стр. 87 автор не отличает закона тождества от закона противоречия, а на стр. 78 и 87 смешивает понятие «нормы» с понятием «постулата»: это создает впечатление некоторой неясности в основных логических понятиях.

Тем не менее статья г. Бермана есть оазис в сборнике, и путь, по которому движется его искание, есть единственный путь к философскому углублению и пересмотру доктрины марксизма. Это путь не «ассимиляции», не «эклектизма» и не апологии: это путь самостоятельной, серьезной и беспристрастной проверки.

Штирнер Макс. **Единственный и его собственность.** Издание комментированное. Библиотека «Светоча». Т. 1. Стр. 365. Ц. 1 р. Т. 2. Стр. 542. Ц. 2 р. Пер. с нем. Гиммельфарба и Гохшиллера. С прил. 1) Д. Г. Макай. Макс Штирнер, его жизнь и творчество. Пер. Розова. 2) Обзора литературы о Штирнере. 3) Статьи Гиммельфарба и Гохшиллера «Основы учения Штирнера». СПб., 1907—1908.

Это пятый по счету русский перевод знаменитой книги Штирнера. Нельзя не признать, что он значительно лучше вышедших ранее. То, что предложили русскому читателю вместо книги Штирнера книгоиздательства «Мысль», «Индивид» и «Саблина», стояло на самой низкой ступени философской и литературной ценности, являло грустное и возмутительное зрелище. Даже перевод в издании Яковенко оставлял желать очень многого, и настоящий перевод в издании «Светоча» должен, в сущности говоря, найти книжный рынок почти нетронутым в смысле спроса на «Единственного». Вряд ли, однако, так окажется: широкая публика спешит обыкно-

венно купить первый вышедший перевод и, не умея разобраться в достоинствах и недостатках, в годности и негодности, получает набор безграмотных и бессмысленных фраз в награду за свою поспешность...

Признавая, однако, пятый перевод лучшим, мы должны добавить ограничительный термин «сравнительно». Ибо, несмотря на свои положительные стороны, перевод этот не свободен от ряда недостатков. Переводчик Штирнера должен быть непременно превосходным стилистом и вдумчивым мыслителем. Здесь мало тщания и добросовестности, мало общего знакомства с воззрением философа, мало грамотного слога. Конечно, и это все качества и качества, которыми русские переводчики отличаются далеко не часто; но для того, чтобы дать перевод, могущий заменить подлинник, — этого мало. Тот внутренний и внешний блеск, блеск мысли и ее выражения, которыми славится «Единственный», требует от переводчика почти исключительной изощренности, тонкого вкуса, чувства меры, а главное, философского таланта. Этого нельзя выразить иначе: тот, кто берется переводить Штирнера, должен суметь глубоко продумать одну из самых тонких, остроумных и парадоксальных доктрин, какие знает история мысли. И при этом он будет предоставлен исключительно собственным силам: ибо Штирнера читают все и критикуют многие, ибо о нем писали и пишут, но до сих пор философский анализ и освещение его доктрины остаются проблемой.

Недостатки настоящего перевода таковы. Прежде всего он тяжел и местами шероховат; он недостаточно чуток и гибок. Легкая творческая игра Штирнеровского остроумия приобретает в передаче казенный и вымученный оттенок. Ежеминутно чувствуется, что это перевод; от этой мысли, от этого привкуса нельзя отвлечься, его нельзя забыть. Это, правда, удовлетворительный и добросовестный перевод, но... но невольно вспоминается выражение: «язык родных осин». Тот, кто читал Штирнера по-немецки, — не простит переводчикам таких стилистических гирь: «Ничто — вот на чем я построил свое дело» (I, 201); или «зуб критика, которым он раздирает догматика» (I, 361); или «Знаменито то клятвопреступление, которое совершил Франциск I по отноше-

нию к Карлу V»[1] (II, 167) и т. под. К этому общему недостатку присоединяются, далее, отдельные промахи и неправильности более или менее существенного характера. В целом их немного, но отметить их необходимо. Так, в т. II стр. 68 целый абзац переведен неправильно: «Berechtigt oder Unberechtigt» — «уполномочен или не уполномочен» — передано «прав я или нет»; «ermächtigt» — передано «обретать право». В т. I стр. 364—365 важный абзац передан без достаточного соблюдения единства в терминологии. «Bei der Rechthaberéi bleiben» не значит — «превратиться в болтунов» (II, 46). И некоторые другие.

Переходя теперь к приложениям, отметим следующее. Мысль дать в виде приложения единственную и полную биографию Штирнера, составленную в апологетическом духе Джоном Маккэем, нельзя не признать очень удачной. Все сведения фактического бытового характера, сообщаемые о Штирнере, почерпаются из этой работы, и читатель, имея ее, имеет **все**, что о нем известно. Перевод книги Маккэя (транскрипция «**Макай**» неправильна) выполнен удовлетворительно, за исключением нескольких небольших курьезов вроде «право это «клепка»» (127) и т. под. **Комментария** эта книга, однако, из себя не представляет, и когда вышел в свет первый том (в 1907 г.), то мы с интересом ожидали комментария во втором. Однако **ни** обзор литературы о Штирнере, **ни** статья переводчиков не содержат комментария к «Единственному», ибо сбор всех мнений о книге, к которому авторы обзора присоединяют еще и свое, — весьма мало может помочь читателю разобраться в идейном содержании доктрины. Перед нами хаос разнородных и противоречивых суждений, в большинстве случаев поверхностных и произвольных, которые уже по одному тому не в состоянии создать более углубленное понимание книги, что авторы их отправляются от самых разнородных философских предпосылок. Обзор составлен, в общем, полно и тщательно, хотя **не** носит исчерпывающего характера; в него не вошли некоторые новейшие сочинения, например, книга Ruest'a, а статьи русских авторов отсутствуют почти всецело. Указать на них следовало бы, хотя бы в виде библиографического перечисления. Основным недостатком обзора и статьи переводчиков

является их тенденциозность. Составители стремились изобразить Штирнера как идеолога революционного пролетариата, как последовательного демократа, отправляющегося чуть ли не от классовой точки зрения. Штирнеру, думают они, следует отвести место наряду с Марксом и Бакуниным. Такое понимание, или точнее — **непонимание**, является по существу своему результатом весьма предвзятого и поверхностного знакомства с идеями Штирнера: не знаю, чего здесь больше: недоразумений или произвольности. Такому общему искаженному представлению о доктрине Штирнера соответствует и совершенное отсутствие сколько-нибудь углубленного проникновения в ее философские основы. Именно с этой точки зрения является весьма характерным, что составители обзора видят в критике Маркса, направленной против Штирнера — окончательное метафизическое ниспровержение доктрины последнего. То, что говорит Маркс о Штирнере, должно быть отмечено, наоборот, как нечто весьма незначительное в философском отношении: ни педантичное преследование за игру словами, ни попытки свести силлогизмы Штирнера к тавтологии, ни поиски в психологии мыслителя с целью ее окарикатурить, ни, наконец, желчные и в литературном отношении некорректные выходки Маркса, — которые всегда были ему очень свойственны, — все это не кажется нам ни глубоким в философском отношении, ни тонким или разительным в отношении полемическом. Весь обзор в целом имеет, однако, свой интерес, ибо как нельзя лучше свидетельствует о том, как мало до сих пор сделано было для философского понимания и преодоления доктрины Штирнера. Здесь все еще впереди, — а объективности и беспристрастному проникновению во все должно быть отведено первое и самое почетное место.

Т э к э р В е н и а м и н. **Вместо книги. Написано человеком, слишком занятым, чтобы писать книгу.** Пер. и ред. М. Г. Симановского. М., 1908. Стр. XVI+632. Ц. 3 р. 25 к.

Перед нами хорошо переведенный и изданный сборник статей известного американского анархиста Вениамина Тэкера[1]. Этот сборник, содержащий «отрывочное изложение философского анархизма», составлен из

статей и заметок, помещенных автором за 1881—1893 годы в бостонском двухнедельном журнальчике «Liberty». «Слишком занятый» для того, чтобы посвятить систематическому изложению своей доктрины достаточное количество времени, автор выпустил эту книгу «вместо» книги, оговаривая в предисловии, что она представляет из себя не «симметричное и законченное литературное здание», а «нагромождение мыслей, более или менее связный агрегат, каждая часть которого создавалась почти без всякого отношения к другой». К этой ауто-характеристике мы должны со своей стороны добавить, что огромное большинство статей и заметок сборника написано ad hoc[2], по поводу, так сказать, не самочинно, но в виде ответов на письма и вопросы читателей; при этом связь между вопросами и ответами так велика, что, не зная первых, нельзя разобраться и во вторых, а потому все эти письма вопрошателей включены в книгу целиком. В результате из 631 страницы текста свыше 150 стр. принадлежат не автору, а его корреспондентам, и книга в общем производит впечатление какой-то хаотической толчеи обрывков, содержащей бесконечное число повторений, возвращений, недоговоренностей и уклонений. Развитие мысли питается все время чужими сомнениями и недоразумениями; автор не столько идет вперед, сколько отмахивается во все стороны, не столько построяет, сколько опровергает, отчитывает, полемизирует. Таким образом, уже одно литературное обличие книги способно навести на сомнения в ясности и цельности исповедуемой и проповедуемой Тэкером доктрины. Напрасно Джорж Шумм, автор предпосланного сборнику «краткого очерка жизни и деятельности», пытается предотвратить такие сомнения противоположными уверениями. «Насколько, — пишет он, — Тэкер ясный и смелый мыслитель, настолько же он ясный и изящный писатель. В писаниях его вы едва ли отыщете какую-нибудь двусмысленность... По силе логики и последовательности он не имеет соперников». Мы не будем, однако, отрицать, что идеи Тэкера не лишены некоторой своеобразной ясности; именно на вопросы: «чего требовать? что делать?» из его писаний можно без труда добыть ряд определенных и с виду несложных лозунгов. «Долой государство, долой монополию во всех ее видах, да

здравствует равная для всех свобода, да здравствует индивид, идите путем пассивного сопротивления»... вот, в сущности говоря, и весь Тэкер, и мудрено ли, что неприхотливый ум практического склада находит здесь большую ясность и определенность. Ибо, в самом деле, кто же не знает, что такое государство, монополия, свобода и индивид? Ведь это все термины, ясные всякому сколько-нибудь сознательному человеку.

Мы не можем, однако, забыть о том, что всякое практическое учение, всякая политическая доктрина имеет в своем основании ряд использованных теоретических утверждений самого разнообразного характера и содержания, заимствованных у юриспруденции, социологии, политической экономии, этики и отчасти философии. Эти теоретические основы должны всегда признаваться настолько важными и существенными, что от их устойчивости и неустойчивости зависит судьба всей доктрины: ибо не ясно ли, что весь смысл и все содержание последней меняется самым радикальным образом в зависимости от того, что мы будем понимать под государством, как определим понятие индивида, что нам даст проверка тех социологических связей и явлений, вредоносность которых провозглашает критикуемое учение и т. д. А это уже несомненно проблемы, не поддающиеся иному решению, помимо теоретического.

Однако мы не имеем здесь возможности входить в подробный и основательный анализ доктрины Тэкера; для этого нужна была бы целая статья. Поэтому мы наметим только те вехи, по которым, думается нам, должно ориентироваться критическое рассмотрение его учения.

Тэкер отрицает государство — это одна из основных посылок его учения. Но что он понимает под этим отрицаемым и отрицает ли он государство целиком? На оба вопроса мы **не** находим единого ответа. Понятие государства складывается, по Тэкеру, из двух признаков (26): во-первых, «нападение», во-вторых, «присвоение исключительной власти над данной территорией, обыкновенно осуществляемой с двоякой целью — наиболее полного угнетения подданных и расширения границ». Таким образом, государство есть «воплощение принципа нападения в одной личности или банде людей, дерзающих действовать в качестве представителей или гос-

под всего народа, живущего на данной территории» (28). «Нападение, захват, управление — все это однозначащие термины» (27). Тщетно стали бы мы доискиваться какой-нибудь «ясности» в этом определении: оно явно носит метафорически-описательный или мистико-метафизический характер, — ибо в качестве genus[3] для понятия государства указана категория «воплощения принципа в человеке или людях», и читатель не знает, принимать это определение всерьез или констатировать просто, что оно заменено метафорой и описанием. Но, если мы не будем слишком придирчивы и попробуем установить самостоятельно, что разумеет Тэкер под государством, то мы увидим, что он разумеет всюду принцип «агрессивности» и принцип «принудительности». Однако первый остается у него неопределенным, а последний, в известных пределах, утверждается и в анархистическом строе. Правда, «нападение» автор определяет (80) как «вторжение в ту сферу индивида, внутри которой его свободная деятельность не вступает в конфликт с свободной деятельностью ближнего», но это определение только отодвигает решение вопроса: ибо где же этот предел, как усмотреть его, где критерий для этого? Дать такой критерий автор категорически отказывается (109) и признает, что между несомненной агрессивностью и явной не-агрессивностью остается «неясная полоса колеблющегося света» (186). В результате в этой части своей программа Тэкера расплывается в неопределенность: агрессивность отрицается безусловно, но что такое агрессивность — это остается не менее безусловно неопределенным. Как же обстоит дело с принудительностью? Она отрицается, но уже не безусловно. **Анархистический строй Тэкера включает в себя момент принуждения.** Как бы ни ограничивать это допущение, но оно налицо. «Единственное принуждение индивидов», читаем мы на стр. 82, «которое анархизм признает, заключается в **принуждении нападающих индивидов** воздержаться от нарушения принципа равной свободы». Или еще: «единственным союзом **добровольных кооператоров**, который сумеет приобрести **силу**, достаточную для того, чтобы **принуждать к исполнению своей воли**, будет именно тот союз, который или совершенно воз-

держится от вмешательства, или сведет его к минимуму» (143 и др.). С этой точки зрения Тэкер допускает отчуждение индивидом своего права в пользу совокупности (73, влияние Руссо); признает «социальный остракизм» и суд присяжных (78, 79); признает «обязательную силу» за некоторыми «социальными соглашениями» (88); допускает полицейские меры, тюрьмы (103), наказания (71) и даже убийство (216) — все в применении к нападающему. Мало того, в одном месте он даже заявляет, что анархисты выступают против государства лишь до того момента, как оно требует власти над не-агрессивными элементами и что если бы государство ограничилось «принуждением к исполнению закона равной свободы», то анархисты стали бы его поддерживать (114). Здесь мы, наконец, добираемся до настоящей сути. **Тэкер не отрицает государства как принудительную организацию целиком**, а желает только ограничить его деятельность известными тесными пределами, за которыми начинается господство принципа «laisser faire»[4]. Отсюда понятно, почему он определяет анархизм как «последовательное фритредерство»[5] (482) и как «последовательное манчестерство»[6] (517); отсюда ясно также, что определение анархизма как «абсолютной свободы» (498) и т<ому> п<одобные> заявления являются в его устах пустой и противоречивой риторикой. Заметим еще, что принцип «принудительности» свелся у нас к принципу «агрессивности», а так как последний остался без определения, то вся конструкция оказалась висящей в воздухе. Тэкер не только не изложил ясно, но и сам не продумал как следует своего учения о государстве.

В этом же роде обстоит дело и с другими частями его доктрины. Постоянно употребляя термин «индивидуализм», он (28) считает излишним дать ему какое-либо определение. Постоянно употребляя термин «право» в смысле санкционированного полномочия (например, 211), он не прочь иногда разъяснить изумленному читателю, что право есть не что иное, как социальная целесообразность — т. е. ряд обобщений, добытых из фактов (179—180); впрочем, у него можно найти и несколько других фантастических определений этого понятия (например, 29, 202—203, 283). Так же обстоит дело и с

понятием договора, и с понятием собственности, и с понятием добровольности, равенства и т. д. Между прочим, Тэкер решительно не сознает своей социологической наивности, состоящей в том, что государственность как явление-фактор общественной жизни рассматривается у него только как причинно-определяющий момент и совсем не признается моментом причинно-определенным; благодаря этому, а также благодаря предустановленной тенденциозности в освещении, и оказывается возможным видеть в нем причину **всех бед**, а в свободе — причину всех благ. Впрочем, и относительно своей социальной панацеи — свободы Тэкер допускает оговорку: «Дайте нам свободу и **если мы потерпим с нею неудачу — мы откажемся от нее**» (524). Но стоит ли подымать столько шума из-за средства, могущего оказаться негодным? И что же остается после этого от всей доктрины?..

В о л ь с к и й С. А. **Философия борьбы. Опыт построения этики марксизма.** Книгоизд. «Слово». М., 1909. Стр. VIII+311. Ц. 2 р.

Разрешение задачи, которую поставил себе автор настоящего исследования, сопряжено, при правильной ее постановке, с чрезвычайными трудностями. Трудности эти обусловливаются, во-первых, современным состоянием этики, во-вторых, современным состоянием марксизма. Построяющему **этику** необходимо считаться в настоящее время с целым рядом вновь устанавливаемых сложных расчленений в области предмета этики и ее метода, необходимо установить целый ряд самостоятельных определений — например, понятий ценности, цели, нормы, воли, действования и т. д., словом, необходимо произвести большую и ответственную аналитико-философскую предварительную работу. Другой ряд уже специальных трудностей предстоит преодолеть морализирующему **марксисту**. Марксизм, как таковой, давно уже перестал быть известной, определенной группой экономических и социологических идей, связанных с именем Маркса как их автора. К первоначальному, действительно марксовскому ядру этих идей неомарксисты присоединили столько истолкований, добавлений, асси-

миляции чужих идей и т. д., что каждый выступающий от имени «марксизма» писатель должен теперь специально оговорить, какие именно из всех идей, находящихся в широком обороте среди марксистов, он включает в исповедуемую им доктрину и почему и какие исключает. Современный «марксизм» есть **изменчивый** и **субъективный** подбор идей, нередко имеющих между собой очень мало общего (например, в сочетании его с «энергетизмом»[1] или эмпириокритицизмом), подбор **проблематический** для каждого марксиста и всегда чреватый неожиданными оборотами. Легкое ли дело «философствовать» с таким, полным сюрпризов, багажом?.

Однако можно подойти к решению той же проблемы, не ставя ее en grand[2] и освободив себя от докучных анализов и осложнений. Побольше обывательской непосредственности и простодушного эклектизма, побольше социологических трюизмов, состоящих в таком высоком почете у размышляющего марксиста, и поменьше философии; вот и все — и тогда дело пойдет гораздо легче и проще, без ненужных уклонений в область «буржуазных» тонкостей, опасных и пагубных для истинно «пролетарского» философствования.

Автор лежащего перед нами «опыта» избрал именно второй путь, и занятая им точка зрения представляется в следующих чертах. С самого начала автор ставит перед собою вопрос о **тех** нравственных **нормах**, которые могут быть установлены и должны быть признаны марксистом. Мораль эту он представляет себе обусловленною историческим моментом, ограниченной пределами одного класса — пролетариата, с необходимостью, определенной экономическими тенденциями и вытекающей в то же время из конечного идеала марксиста — из социализма (стр. 11, 13 и др.). Ввиду всего этого методом своего построения, как основным методом марксизма, автор объявляет «метод классовой объективации». это значит, что для построения морали пролетариата нужно определить «реальные условия его существования, роль его в данной исторической эпохе и соответственно этому» сделать «выбор из классовых традиций» (10). В то же время автор разъясняет, что мораль пролетариата построяется как совокупность средств, ведущих к еди-

ной «общеобязательной» цели; что марксизм дает пролетарию «метод самотворчества» и устанавливает две морали: общеклассовую, при помощи которой «индивид создает из себя классовую полезность», и индивидуальную, при помощи которой индивид «творит из себя цельную гармоничную личность» (15 и др.). Вслед за тем автор переходит к изложению по существу и в целом ряда глав, образующих ядро сочинения, исследует, привлекая и пчел, и муравьев, и Критику чистого опыта, и законы Ману, и Дидро, и немецкий идеализм, и «товарища» Богданова, и протозоа[3], и Якова Бёме, и Спенсера, и Упанишады, — различные формы морального сознания с точки зрения их обусловленности социально-трудовым процессом. При этом исследуются не только моральные переживания и не столько они, сколько вся психика отдельных групп и главным образом «доминанта» каждой типичной психики, т. е. совокупность господствующих в ней переживаний. В последних двух главах автор переходит к своей основной задаче и характеризует мораль пролетариата. Оказывается, что производственная роль рабочего развивает в нем «особый метод мышления» (251), научает его хотеть (251), вырабатывает в нем классовое самосознание, приводит его к коллективной борьбе; «необходимыми» предпосылками последней являются: отказ от личных задач, солидарность мысли и действия и т. д. Но эти предпосылки не суть ни добродетели, ни ценности (272). Далее: доминанта пролетариата является самоцелью, она «социальна», «активна», мораль ее есть «мораль военного лагеря» (287). Наконец, вместо того, чтобы указать обещанные нормы этой морали, автор считает возможным указать те нормы, которыми **будут** регулироваться отношения людей будущего общества. Здесь он указывает на то, что одни **формы социального принуждения** будут постепенно сводиться к минимуму, а другие будут содействовать росту индивидуализма и дифференциации психик; к этому присоединится то, что в социалистическом обществе индивиды будут любить своих врагов как диалектически-необходимую ступень собственного роста.

В этом построении обращает на себя внимание прежде всего полное игнорирование всей философской

части этики как учения об известного рода **ценности**. Ни предмет этики, ни метод ее совершенно не продуманы и не выяснены автором. О чем трактует этика как философская дисциплина? Только ли о нормах или еще о чем-нибудь? И что такое **норма**? Откуда берутся нормы в этике? Как обосновываются? И что значит **обосновать** этическую норму? Что такое **цель** и является ли она **первым** звеном этической дедукции? **Все** эти вопросы и многие другие не затронуты автором **вовсе**. По-видимому, он даже не сознает, что начинать необходимо именно с них. Отсюда постоянные недоразумения и quaternio[4] в основных понятиях и самые наивные смешения в проблемах. Так, автор думает, что установить **норму** и описать нечто **будущее** — одно и то же; что вместо того, чтобы говорить о **морали**, можно говорить о **социальном принуждении**; что этика есть непременно **телеологическая** этика; что в этике говорится о **необходимом**, причем под необходимым он разумеет то **должное**, то **неизбежное**; что **норма** есть что-то вроде **средства**, соответствующего цели; что **обосновать** цель значит установить **неизбежность ее наступления** и т. под. На этих молчаливо признаваемых предпосылках покоится все исследование с его хаотическим и уводящим в сторону развитием, с его классовой философией, с его уходом сначала из нормативной этики в теоретико-социологическую, а затем и совсем из области этики в область социальной психологии, экономии, марксистской публицистики и т. д. Можно было бы, конечно, считаться со всеми подобными предпосылками, если бы автор их устанавливал, мотивировал, обосновывал открыто; но он просто **не видит** во всех этих понятиях и тезисах **никаких** проблем, он исповедует свои предпосылки где-то там за текстом, в глубине своего сознания, и поэтому мы должны отметить ту **выдающуюся философскую наивность**, с которой написано все исследование.

Если мы теперь обратимся к итогам его построения, то скудость их окажется вопиющей. Все эти рассуждения о социально-трудовом процессе и буржуазной психике избиты до тривиальности, и воспроизвести их по трафарету ничего не стоит. Но они и не идут совсем к делу. Ведь **нормативная этика** — вот предмет исследования. Какие же нормы установлены г. Вольским для про-

летария? Где-то вначале (20) автор роняет такую заповедь: «относись к каждому из членов твоего класса так, как если бы ты жил в социалистическом строе». Впоследствии он не возвращается к этой норме, а говорит просто, что пролетарий должен питать классовую солидарность и вредить «как можно больше» буржуазии (286). Вот и все, что нам удалось найти по части норм.

Укажем еще на то, что «марксизм» у г. Вольского так же субъективен, как и у других современных марксистов. Через все исследование проходит стремление автора отстоять значение **личности** и **личной** морали в «социально-трудовом процессе»; в VI главе имеется попытка сочетать марксизм с эмпириокритицизмом. Такие и аналогичные уклоны выводят автора из рядов «правоверных» марксистов и придают особенно комичный оттенок манере его говорить от лица «марксизма».

Наконец, нельзя не упомянуть о тех постоянных грубых искажениях, которые автор вносит в изложение чужих систем и взглядов. Почти все, что он говорит о Канте (215—217), Фихте (44, 217—221), Гегеле (222—234), Штирнере (242—243) и т. д., является продуктом неосведомленности и фантазии автора, и та искажающая критика и то вульгарное высмеивание, которым он подвергает философию немецких идеалистов, вносят большую долю в общее отрицательное впечатление от книги.

Бутру Э.[1] **Вильям Джемс и религиозный опыт.** Перевод с франц., под ред. Н. Соловьева. Книгоизд. «Творческая Мысль». М., 1908. Стр. 42. Ц. 30 к.

В 1902 году в Америке вышла книга известного психолога Вильяма Джемса под заглавием «The varieties of religious experience. A study in human nature» («Разновидности религиозного опыта. Этюд о человеческой природе»). Имя Джемса знакомо русскому читателю по двум переведенным сочинениям: «Психологии» и сборнику статей под общим заглавием «Воля к вере». Настоящая же брошюра профессора Сорбонны Бутру, содержащая его статью, напечатанную в журнале «Revue de Métaphysique et de Morale» за 1908 г., дает возможность ознакомиться со взглядом Джемса на религию и религиозный опыт.

Джемс является одним из тех психологов, в сочинениях которых с особенной яркостью обнаруживается связь между исповедуемой **теорией** и **субъективным умонастроением** автора. Традиционная проблема о роли и соотношении эксперимента и интроспекции как методов психологического познания решается у таких мыслителей не только в результате теоретических рассуждений и, может быть, даже **не столько** при помощи их, сколько под влиянием субъективных особенностей **психики** самого исследователя и его общих душевных уклонов. Известно, какое большое значение Джемс придает **в теории** психологическому эксперименту; на практике же — самое значительное и оригинальное, созданное Джемсом, является продуктом интроспекции, им самим индивидуально примененной. Такова его теория эмоций, таково же его определение религии. Явная склонность Джемса к религиозности — и притом не как к объекту познания, а как к совокупности настроений, дополняющей общие основы миросозерцания — обнаружилась уже вполне в вышеуказанном сборнике статей, вышедшем еще в 1897 г. При этом и тогда уже сочетание эмпиризма с религиозностью давалось у него непосредственно. посредствующий член в лице спекулятивной метафизики выбрасывался Джемсом открыто и пренебрежительно. Стоит только припомнить его курьезный отзыв о философии Гегеля. он уверяет там, что ему удалось получить суждения и высказывания, вполне аналогичные философствованию Гегеля, экспериментальным путем — от субъекта, опьяненного действием известного рода газа. Философствование Джемса является, таким образом, своеобразным сочетанием чистого эмпиризма с религиозностью. Это одно могло бы уже пробудить a priori сомнение в том, что к изучению религии он подходит с чисто-психологической точки зрения без обращения к тому, что должно быть названо **религиозной спекуляцией**. Если в изложении Геффдинга[2] («Современные философы») подчеркивается общий эмпирический характер в новом исследовании Джемса, то изложение Бутру не оставляет сомнения в том, что в трактование религии автор вносит не только психологический анализ и этико-прагматическую оценку, но и религиозно-спекулятивный элемент, почерпну-

тый из внутреннего опыта. Это обнаруживается как в попытке поставить якобы «гносеологический» вопрос о достоверности содержания религиозных переживаний, так и в том определении религии (их вообще **несколько** у Джемса), согласно которому в ней открывается нечто, не исчерпывающееся субъективными состояниями религиозного индивида. Термин «опыт», употребляемый Джемсом в обычном смысле, но применяемый также и к религиозным переживаниям (на этом-то и основывается поставление религии рядом с наукой, как особого самостоятельного способа «открыть сокровища вселенной») — несет в себе вообще quaternio, которое должны вскрыть критики Джемса. это есть с одной стороны — **практика**, с другой стороны — **теория**. Религия определяется и ценится Джемсом как известного рода практика, это есть практикование известного рода субъективных состояний, оправдываемое с этической точки зрения и **не** преследующее целей рационального познания. Между тем **наука** должна быть признана прежде всего по существу своему **теорией**, не нуждающейся в этических оценках и преследующей самостоятельными путями самостоятельные, чисто познавательные цели. Религия относится к науке, как практика к теории, как субъективное к объективному, как иррациональное к рациональному — и отсюда все различие их целей и путей. Подводить же и религию и науку под общее родовое понятие опыта значит смешивать их различную природу и объединять их на эфемерной в логическом отношении почве Этому смешению теории и практики содействовали у Джемса общие основы его прагматизма, нуждающиеся, конечно, в самостоятельном научном анализе. Самым интересным пунктом религиозной теории Джемса является, по-видимому, его учение о подсознательных психических состояниях, о так называемом сублиминальном Я. О необходимости их привлечения к психологическому изучению давно и настойчиво твердил такой сравнительно мало популярный мыслитель, как Дю-Прель[3], и вступление Джемса на этот путь, быть может, чревато неожиданными последствиями, могущими перевернуть многое доселе признававшееся. К сожалению, перевод брошюры оставляет желать многого.

О СОВРЕМЕННЫХ ТЕЧЕНИЯХ В НЕОКАНТИАНСТВЕ

В последнее время в русском обществе много говорят о так называемой «марбургской» философской школе[1] и новое течение сделалось недавно предметом особого доклада, прочитанного в московском психологическом Обществе проф. Е. Н. Трубецким. Оживленные, даже страстные прения, обилие интересующихся, общий подъем внимания свидетельствуют о том, что новое философское направление находит себе и в России сторонников и последователей, и это дает нам повод сказать несколько слов о новом явлении. Так называемая «марбургская школа» признает своим главой марбургского профессора Германа Когена. Последователи его склонны считать его родоначальником всего неокантианского движения в философии и утверждают обычно, что единственное правильное понимание системы Канта вообще и «Критики чистого разума» в частности обретено именно их главою. Мало того: некоторые из них идут еще дальше и отказывают целому ряду современных мыслителей, как-то: Виндельбанду, Риккерту, Ласку и др., считающих себя неокантианцами, в этом названии, характеризуя их как последователей Фихте Старшего, как неофихтеанцев. Таким образом, в недрах самого неокантианского движения складываются необособленные и несогласные между собой группы, и звание «правоверного кантианца» становится предметом споров, утрачивает то с виду ясное и определенное содержание, которое усматривали в нем сначала.

В сущности говоря, нельзя не приветствовать эту зародившуюся и возрастающую идейную дифференциацию среди неокантианцев. Там, где мысль живет, растет и углубляется, — там не может быть единения и согласия; может быть, начало отпадения и обособления и несет с собою возможность ошибок и односторонностей, но именно всегда через своеобразные уклонения движется мысль, и все выдающееся носит на себе печать односторонности. Нужно только пожелать, чтобы прекратились бесплодные споры о том, кто именно является счастливым обладателем ключа к тайнам Кантовой мысли; надо перестать jurare in verba magistri[2], надо при-

ступить к утверждению на *свой* страх и не прикрываться тенью кантовского гения. Критика должна побудить последователей марбургской школы, — и кое-что в этом направлении уже сделано, — открыто признать, что кантианство не есть повторение идей Канта, что различия между обеими системами *весьма* велики и существенны и что излишни и бесплодны споры о том, кто лучше постиг «дух» Кантова учения. Характерным в этом отношении является уже то, что сам Коген, посвятивший *все* свои первые сочинения истолкованию Канта, истолкованию, необходимо добавить, предвзятому, одностороннему и насильственному, — выпустил недавно особый самостоятельный комментарий по Канту и как бы признал тем самым, что его первые произведения истолковывают Канта недостаточно и неудовлетворительно.

Интересно далее отметить, что в обеих разошедшихся группах неокантианцев обнаруживается наклонность отодвигать на задний план то, что им обще, то, что их объединяет, и выдвигать вперед пункты разногласия. При всей естественности такого стремления в период зарождающейся и растущей идейной дифференциации мы не должны, однако, упускать из вида, что проблема, на *разрешении* которой стороны расходятся, объединяет их в одно философское течение уже тем одним, что как те, так и другие, как гейдельбергская школа[3], так и марбургская школа, видят в *самой постановке* этой проблемы центр, душу философских исканий, в противоположность философским группам чисто-позитивного или позитивно-критического умонастроения. Проблема, объединяющая обе группы кантианцев, характеризуется обыкновенно как проблема «трансцендентального» и сводится к обоснованию достоверности научных утверждений. Всякое знание, как таковое, должно быть *истинным*, *достоверным* знанием, а всякое достоверное знание предполагает *критерий достоверности*, критерий познавательной ценности. Отсюда центральной проблемой философии, как учения о знании, является обретение и обоснование критериев познавательной ценности, этих необходимых предпосылок всякого научного ведения. В вопросе о том, как формулировать эту проблему, как подойти к ней и разрешить ее, расходятся обе группы неокантианцев.

При этом марбургская школа предлагает готовую, почти уже законченную и монически построенную систему, — в трактатах Когена. Гейдельбергская же школа не имеет готовой системы и обнаруживает стремление уйти в углубляющийся пересмотр принципиальных основ отдельных отраслей знания. В марбургской школе преобладает уклон к подведению итогов, к синтезу, объединению и законченной систематизации, гейдельбергской же школе чужда эта тенденция, и стремление замкнуться в монистическую систему для нее не характерно.

Мы и не думаем закрепить в краткой газетной заметке сущность философской распри, происходящей между неокантианцами, здесь можно только указать на некоторые черты, характеризующие *дух* этого течения. В системе Когена есть нечто, что с силою привлекает к ней одних и делает их фанатическими и догматическими «когенцианцами» и что, наоборот, резко отталкивает других и вызывает с их стороны страстную критику и отповедь. К таким чертам системы относится, например, ее неуклонный и выдержанный *рационализм*. Принципиальное превращение всякого трактуемого начала в *понятие*, и именно в *методологически допускаемое понятие*, вызывает со стороны противников системы упрек в узости и «панметодизме», а отказ от метафизических спекуляций вызывает стремление обрести в понятиях системы скрытую и замаскированную метафизику. Споры затрудняются и осложняются благодаря тому, что произведения Когена нелегко поддаются пониманию. Трудность эта объясняется, однако, не глубиной или оригинальностью излагаемых *мыслей*, но обусловливается всецело *неясностью* самой мысли и ее *выражения*. Коген не обладает тем удивительным даром философского таланта, который дает возможность помещать каждую мыслимую и выражаемую идею в *фокус ясности*, для которого «помыслить» значит внести в мыслимое свет, определенность, граненость. Читая Когена внимательно, нельзя не усматривать все время какого-то давящего тумана в излагаемых целях и постоянных двусмысленностей в формулировках и выражениях. Характерной в этом отношении является, например, его манера нанизывать существительные в родительном

падеже, относительно которых изучающий никак не может решить, что перед ним: genitivus subjectivus[4] или genitivus objectionis[5]. Неудивительно, что прилежно изучившие Когена приходят нередко к самым противоположным выводам и утверждениям: это *отсутствие недвусмысленности* есть первое и основное, что делает систему неудобопонятной, а споры о ней — мало продуктивными. Коген сам лишен вполне той «Schärfe des Gesichtspuncts[6]», которую он считает столь важной, и бороться с его системой в целом можно и нужно именно «durch scharf festzuhaltende Unterscheidungen[7]». Такой прием будет, несомненно, продуктивен и окупит затерянные усилия, и только таким приемом, внимательным, придирчивым, кропотливым анализом, - можно будет с неопровержимостью установить, удалось или не удалось Когену избежать метафизики и психологизма, и насколько глубина его рационализма вознаграждает мысль за отказ от вненаучного разрешения так называемых «вечных» вопросов философии.

И л ь и н В л.[1] **Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии.** Изд. «Звено». М., 1909. Стр. 438. Ц. 2 р. 60 к.

«Эмпириокритицизм есть реакционная философия» — вот основной тезис книги, принадлежащей перу известного русского марксиста и партийного лидера. Это учение реакционно потому, что повторяет старые ошибки идеализма и прислуживает «фидеистам» (исследователям, отводящим в своем мировоззрении известное место *вере*) в их борьбе против материализма вообще и исторического материализма в частности.

Материализм есть для автора последнее и высшее слово философии. Все, не исповедующие эту доктрину в той или иной ее разновидности, суть «реакционеры» и «путаники». Такими реакционерами и путаниками являются и *эмпириокритики* Мах (?) и Авенариус. Они — идеалисты: учение Маха есть плагиат (?) у Беркли (33), а что исходная точка зрения Авенариуса идеалистична, это, по мнению автора, «*общепризнано*» в философской литературе («общее» признание подтверждено ссылкой

на два имени, стр. 40). Целых три главы автор посвящает полемическому упрощению и ниспровержению эмпириокритической теории познания. Упрощение идей Авенариуса лишает всю аргументацию автора объективной ценности; признание учения Авенариуса за идеалистическое, материалистическое или смешанное зависит от тех двух посылок, которых автор не дает в своем сочинении. в первой посылке должно содержаться развитое определение материализма вообще и его разновидностей, во второй — должна быть дана добытая внимательным и отнюдь не вульгаризирующим исследованием формулировка наиболее существенных и центральных в этом отношении пунктов эмпириокритического учения и прежде всего вопроса об отношении элементов Е к системе С. При таком отношении выводы могли бы получиться иные и, во всяком случае, представляли бы не чисто субъективный или партийный интерес. Нельзя не обратить внимания на тот удивительный тон, которым написано все сочинение; литературная развязность и некорректность доходят здесь поистине до геркулесовых столпов и иногда переходят в прямое издевательство над самыми элементарными требованиями приличия: словечки вроде «прихвостни» (36), «безмозглый!» (41), «безбожно переврал» (177), «лакей» (254) попадаются буквально по нескольку раз на странице, а превращение фамилий своих противников в нарицательные клички является далеко еще не худшим приемом в полемике г. Вл. Ильина.

Проф. Н. И. Палиенко. **Учение о существе права и правовой связанности государства.** Харьков, 1908. Стр. III+342. Ц. 2 р.

Перед нами интересная и поучительная попытка подвести итоги современному состоянию основной проблемы правоведения вообще и философии права в частности: определению «существа права». Эта проблема есть поистине одна из наиболее трудных научных задач и, несмотря на то, что бесконечное множество учений пыталось разрешить ее, возможность прийти к прочным выводам и до сих пор еще может казаться далекой и неосуществимой. Автор настоящего исследования пола-

гает, что «науке права суждено прогрессировать... путем долгой и упорной борьбы мнений и учений ее представителей» (стр. II), и надеется, по-видимому, что рано или поздно она все же вступит «на путь согласного и правильного разрешения» своих основных вопросов (стр. III). Признавая вполне естественность и, может быть, даже необходимость такой надежды, мы склонны думать, однако, что *правильность* этого пути важнее, чем его *согласность*: ибо если признать, что при установлении, хотя бы и основных только, научных утверждений следует стремиться ко всеобщему признанию и согласию, то придется вообще отказаться от их установления, ибо какое же из них и когда собирало и может собрать вокруг себя действительно communis opinio[1], хотя бы одних специалистов? Ценность научных определений должна иметь, конечно, какой-нибудь другой, не чисто эмпирический и количественный критерий более или менее «всеобщего» признания, и установление этого критерия есть одна из первых задач общей и специальной методологии. Работа по отысканию этого критерия естественно распадается на две части: критическую, вмещающую пересмотр и анализ имеющихся решений проблемы, и конструктивную, дающую опыт построения, а также общего и специального обоснования юридической методологии.

Сочинение проф. Палиенко содержит, собственно говоря, лишь первую часть этой работы, ибо анализ его направлен не столько на решение методологической проблемы по существу, сколько на критическое ориентирующее рассмотрение выдающихся и наиболее влиятельных современных философско-правовых доктрин. Мимоходом и попутно он выясняет, однако, в основных чертах и свою точку зрения, не останавливаясь, впрочем, надолго над этим выяснением. Рассмотрению чужих теорий он предпосылает схематический обзор учений о сущности права, начиная с древности, и обзор этот служит ему как бы введением к основному анализу.

Центральным пунктом, на который направлен интерес автора, является противоположение естественного права положительному и борьба между различными тео-

риями за признание первенства того или другого. Автор прослеживает общую судьбу естественного права, его неизменное возрождение в самые различные эпохи и его постепенное очищение от ненаучных элементов, по замечанию Виндельбанда, оно являлось «лозунгом всех реформаций и революций» (стр. 9), а его прогрессивное историческое значение не решается отрицать даже такой «решительный противник» его, как Бергбом[2] (стр. 61). Автор указывает далее на связь между «естественно-правовой школой» и «новейшим формально-логическим направлением в юриспруденции» (стр. 66), останавливается на исторической школе юристов и отмечает (стр. 108), что современное позитивное направление в правоведении, признав правом только право положительное, устранило дуализм основного противоположения, но не могло разрешить целого ряда самостоятельных проблем, установленных естественно-правовым течением, и этим открыло путь к его возрождению. Неудовлетворительность современного состояния правоведения признается с разных сторон и засвидетельствована критиками самых различных направлений. Одних не удовлетворяет рационализм юридического метода; другие возражают против чрезмерной историзации права; третьи настаивают на очищении правоведения от всех естественно-правовых остатков; четвертые, наоборот, стремятся возродить естественное право на более научных основах. Останавливаясь на теории сторонников такого возрождения, автор характеризует воззрения Новгородцева, Евгения Трубецкого, Петражицкого, а из западных ученых теории Штаммлера, Спенсера и Фулье[3], и после ряда отдельных возражений дает общую оценку новейшего естественно-правового течения. Две последние главы содержат критический анализ различных определений права, господствующих в современной юриспруденции, и отдельных учений об основании правовой связанности государства. Здесь автором дается целый ряд интересных замечаний, воспроизвести которые мы не имеем возможности, и потому отсылаем читателя к самой книге.

Если же мы обратимся к взглядам самого автора, то получим приблизительно следующее. Самое противопоставление естественного права положительному кажется

автору неудачным, ибо оно вызывает представление о том, что положительное право «неестественно» (стр. 185). Кроме того, неправильным представляется автору то, что некоторые из современных ученых сближают идеально-правовые представления с нравственными нормами и признают как те, так и другие — факторами, обусловливающими генезис положительного права (стр. 133, 177, 180). Автор видит здесь смешение и думает, что оно должно устраниться, если понятию права будет дано ясное и точное родовое определение. В то же время он относится скептически к склонности теоретиков естественного права придавать своим критериям абсолютное значение; критерии для оценки права должны иметь, по его мнению, всегда относительное значение (стр. 158, 196) и базисом для их обретения должны служить положительная наука и действительность, «под воздействием» которой мысль человека выясняет и конструирует «принципы желательного и необходимого». Понятию права автор дает затем следующее определение: нормы права суть нормы внешнеповелительного или внешне-императивного характера, являющиеся для членов общения по самому смыслу своему принудительными, т. е. необусловленными в своей обязательности исключительно субъективным признанием определяемого лица (стр. 256—265). Согласно этому определению все нормы, обладающие в сознании группы или индивида указанными свойствами, суть правовые нормы как для них, так и для тех лиц, на которых их сознание распространяет значение этих норм (стр. 259—260). Отсюда вывод: естественное право есть не право, а лишь правовой идеал, ибо в основании его не лежит сознание извне установленной обязательности. Всякое право есть «внешне-положенное» и потому положительное, применяется оно фактически или нет.

Нельзя не признать, что в таком воззрении есть известная последовательность, но убедительным оно все же нам не представляется. Прежде всего самое определение права является слишком бедным в содержании и слишком широким по объему. Оно недостаточно отграничивает правовую норму от нравственной, ибо не указывает на различие в содержании предписаний; оно

совсем не отграничивает правовое предписание от произвольного, ибо последнее также внешне-императивно и не обусловлено в своей обязательности согласием определяемого лица. Далее шатким кажется нам превращение *факта внешнего установления* нормы в простое *сознание* ее внешней императивности; в этом нельзя не заметить влияния психологической теории Петражицкого. Оба эти недостатка лишают убедительности определение автора: придать известной норме оттенок внешней императивности в сознании людей может любой субъект, и не снабженный правотворческими полномочиями, и автор должен будет признать положительное право там, где по существу его не будет (а будет, может быть, лишь произвольное предписание). Точно так же многие иллюзии народного правосознания состоят именно в том, что свойство внешней императивности живет только в нем и не имеет в своем основании никакого объективного фактического состава и т. д.

Наконец, автору следует сделать еще одно возражение. Противопоставление естественного права положительному, являясь действительно характерным для современного правоведения, не исчерпывает, однако, собою состояния его в целом. Автор, конечно, знает это и не раз отмечает в своем произведении. Но принципиально он не придает этому обстоятельству достаточного значения. А между тем методологическое расхождение в науке права ушло теперь уже так далеко, что примирение возможно только в порядке сосуществования и совершенно невозможно в порядке исключительного преобладания какого-нибудь одного метода. Открытого и принципиального признания *методологического* плюрализма мы не находим в сочинении проф. Палиенко; мало того, он даже стремится устранить так или иначе дуализм из правоведения, отрицая естественное право как право. Проф. Палиенко считает, по-видимому, возможным дать *одно-единое* определение понятию права, не считаясь с тем, что если бы даже оно удовлетворило юриста, оно не удовлетворит политика, историка, социолога, философа, моралиста. Мы вообще думаем, что если юристы не сговорились до сих пор по вопросу об определении своего основного понятия, то это не потому, что господствовали спекулятивные приемы мышле-

ния (стр. 229), а потому, что не были с достаточной ясностью осознаны: во-первых, соотношение между предметом и методом в общей методологии и, во-вторых, необходимость признания методологического плюрализма. Право будет ценностью, целью, социальной силой, суждением, рефлексом экономики, психическим переживанием и т. д. в зависимости от того, на какую познавательную точку зрения станет исследователь. И вот различие этих точек зрения и правомерность их научного сосуществования не признаны у автора определенно. Отсюда, думается нам, невозможность согласиться с некоторыми из его утверждений. Так, рассмотрение идеально-правовых построений с точки зрения их нормативного значения и с точки зрения их влияния на генезис положительного права является, по нашему мнению, не только не смешением, но необходимой полнотой их научного освещения. Напротив того, стремление автора базировать обретение критерия идеально-правовой ценности на социологическом познании действительности представляется нам неправильным. Философское рассмотрение права не руководится социологическим и не зависит от него: здесь необходима, по нашему мнению, полная и точная дифференциация на принципе обоюдного признания и терпимости. Сам автор близок к такой точке зрения, когда, например, возражает Штаммлеру, что «история права... не может наперед дробить материал по важности или неважности для прогрессивного развития» (стр. 121), или когда настаивает на теоретическом значении формального изучения права (стр. 116).

ПРЕДПОСЫЛКИ АНАРХИЗМА
(Психологический очерк)

Отшумевшее недавно общественное движение оставило после себя в наследство богатый материал для социально-психологического анализа и объяснения. Как ни остро, как ни трагично переживалось это движение по существу, как ни свежи еще в памяти его отдельные потрясающие страницы и тот моральный подъем, с которым оно протекало, но объективное рассмотрение его внутренних психологических основ должно быть признано

не только возможным, но и желательным и прямо-таки необходимым. Теоретический интерес и практическое значение такого уяснения и понимания прошлого не нуждаются в обосновании и мотивировке. В настоящий момент нас интересуют известные черты и уклоны в общественной психологии, вызывавшие и укреплявшие то увлечение идеями анархизма, как практического лозунга, которое недавно происходило на наших глазах, и мы попытаемся установить здесь некоторые соображения и пункты, которые могут содействовать пониманию и, может быть, критическому преодолению этого увлечения.

Анархизм, как учение об идеальном будущем, не есть новое создание нового времени, продукт капиталистического строя, вызвавшего к жизни люмпен-пролетариат с его идеологией и т. п. Это — исторически древняя, тысячелетняя мечта человечества, все вновь возрождающаяся, все более и полнее определяющая свой идейный состав, все разностороннее и утонченнее развивающая свою сущность. Выделить логически основное ядро этого учения есть задача, которую можно было бы, с публицистической точки зрения, признать ныне разрешенной юридически блестящим, но философски сухим и схематичным сочинением Эльцбахера. Если принять те определения права и государства, которые он устанавливает в начале своего исследования, то окажется, что единственным пунктом, объединяющим *все* анархические учения, является отрицание государства для нашего будущего, в остальных же пунктах *все* или многие анархические учения расходятся, нередко доходя до непримиримости. Если остановиться на этом определении и не касаться *философской* сущности доктрины анархизма, т. е. не сосредоточиться на ее идеальной стороне, на ее отношении к моральной проблеме, к конечным целям человеческого существования и т. д., то основная черта анархистской психологии, — склонность к *идеалистическому утопизму*, — окажется совершенно непонятной. Государство, в его юридическом понимании, — категория, научное понятие, как бы некоторая отвлеченная пустота, — не способно вызвать ни в утверждении, ни в отрицании широкого и глубокого энтузиазма. А между

тем анархисты во все времена славились своим практическим, действенным энтузиазмом, своей неизменной верой не только в реализуемость своего идеала вообще, но именно в его *немедленную* реализуемость. История полна примерами этого действенного энтузиазма: начиная с религиозного коммунизма карпократиан[1] (II век), нигилистической религиозности общин, основанных знаменитым Амальрихом (начало XIII века), и адамитов[2] и кончая современными течениями и группами, так или иначе примыкающими к анархизму: русскими духоборами, последователями Тэкера в Америке и т. д. Анархисты всегда были людьми, для которых на первом плане стоит вопрос «что делать?». До самого последнего времени их группы характеризовались *интенсивной действенностью* и сравнительно *элементарным теоретизированием*. Очень нередко бывало так, что теоретическая догма, созданная *одним* наиболее выдающимся человеком, находила себе свободный отклик или, может быть, доверие среди других, и орган, несущий теоретическую функцию движения, оказывался количественно единым и резко отдифференцированным от остальной группы. Отсюда объясняется очень многое: так, с одной стороны, становится понятной удивительная скудость источников по истории анархизма (литературная плодовитость есть явление уже нового времени); с другой стороны, объясняется и тот налет непосредственной взаимности, который обыкновенно присущ в философском отношении теоретическим выступлениям анархистов и который ведет у них нередко к курьезным противоречиям в утверждениях. В психологии анархиста очень часто преобладает импульсивный уклон и национальная окрашенность; именно поэтому анархист — более агитатор, чем пропагандист, и убежденность нередко заступает в нем место мотивированного убеждения.

В связи с этим «*практицизмом*» стоит в непосредственной связи «*идеализм*» анархистов. О чем бы ни говорил анархист и как бы ни интересовался он известным научным вопросом самим по себе, в нем ни на минуту не угасает сознание того, что первенство остается за вопросом о *должном*. Проблема *идеала* — вот

основное содержание анархистической психологии. Познание сущего, предречение будущего, изучение прошлого — все это для него лишь орудие для обоснования своего идеала. Интерес к конечной цели жизненного действования окрашивает каждое переживание его души. И здесь для него важно опять-таки не отвлеченное обоснование должного вообще, или в его формальном смысле; не доказательство философской ценности своего идеала, а подтверждение его жизненности, реализуемости, иногда неизбежности его наступления. Эта окрашенность проходит через все сочинения анархистов, начиная с Хельчицкого[3] и Годвина и кончая Штирнером, Кропоткиным и Тэкером. Таким образом, понятно, что и в реалистических, позитивно-научных исследованиях или даже просто отдельных (напр<имер> социологических) утверждениях у анархистов обыкновенно чувствуется уклоняющее влияние этого «идеализма». Страстная вера в идеал, пламенная любовь к нему оказываются обыкновенно у большинства людей не очень надежными спутниками в теоретических исследованиях. Только люди с огромной *теоретической* силой ума и с внутренно дифференцированным душевным складом могут изолировать свой познавательный процесс от такого влияния. И вот даже тогда, когда, например, Кропоткин с свойственной ему чуткостью и тонкостью подмечает и констатирует известные общественные явления, действительно не замеченные ранее и верно им схваченные, — научно дисциплинированный читатель редко может отделаться от ощущения некоторой, иногда почти незаметной сдвинутости в его утверждении, переливающееся иногда в прямую тенденциозность. Анархисту, как социологу, свойственно то умонастроение, которое представлено в России П. Лавровым и которое характеризуется термином «субъективной социологии».

Третьей чертой, характеризующей обыкновенно психологию анархистов, является тот «утопизм», о котором мы только что упомянули. Не всякая склонность к конкретному начертанию идеала может быть названа этим термином. Утопизм в умонастроении состоит в известном неправильном построении перспективы, в склонности выбрасывать в лестнице средств и целей,

развертывающейся в будущее, средние звенья и сближать таким образом конечный пункт — высшую идеальную цель с отправным пунктом — современностью. Это своего рода болезнь перспективы, позволяющая представлять себе далекое как близкое, иногда превращающая просто нереализуемый, быть может, идеал, недостижимую путеводную звезду (в данном случае идеал «свободы») в досягаемое, стоящее у порога, может быть уже осуществившееся событие. Есть натуры, которые не могут примириться не только с тем, что идеальное, как таковое, в полноте своей неосуществимо, т. е. с необходимостью мыслить идеал как неосуществимое *вообще*, но даже с тем, что идеал осуществим *не скоро*. Мыслить идеальное, как сильное, как жизненно могучее, которое придет неизбежно, вот уже близится, грядет, наступает, — такова одна из основных потребностей, присущих всем пламенным реформаторам, начиная с Платона. А между тем нельзя безнаказанно выбрасывать из целевого ряда промежуточные ступени; идея последовательности, постепенности и непрерывности в развитии, раз отвергнутая, оставляет в перспективе зияющую пустоту и порождает этим ряд специальных затруднений, с которыми приходится считаться всякому утописту. Чтобы доказать близкую реализуемость идеала свободы, анархист должен приблизить черты идеального порядка к чертам современного строя. И он идет к этому тремя путями: во-первых, он незаметно для себя и вполне bona fide[4] выделяет в своем понимании *действительности* то, что обращено вперед, к его идеалу, то, что обещает ему осуществление, и отодвигает то, что скрывает в себе отказ и безнадежность; во-вторых, он, сам того не замечая, вносит в идеальное построение некоторые оговорки, смягчающие его абсолютную окрашенность, сообщающие ему более реализуемые черты; в-третьих, он вынужден бывает обратиться к некоторым принимаемым на веру предпосылкам, без которых не может устоять осуществимость его утопии. Такие предпосылки есть у каждого утописта, и в нашем случае они слагаются так.

Чертой, которая была присуща всегда всем анархистам, является их *обостренное свободолюбие*. Анархист

всегда и неустанно восстает против всего, что он называет «принуждением», «недобровольностью», «оковами», «путами» и т. д., может быть, мы не ошибемся, если скажем, что лозунг «самоопределение» был одинаково близок всем анархистам. Это самоопределение понимается далее различными анархическими течениями разно. Одни из них сосредоточиваются главным образом на отрицании *внешнего* вмешательства в жизнь индивида или группы; другие проводят эту идею дальше и в самой внутренней жизни человека различают представления и переживания, возникшие самопочинно и навязанные «насильственно», — будь то извне или морализующей волей самого индивида. И в том и в другом случае анархисты говорят в огромном большинстве случаев о необходимости очистить указанную сферу самоопределения от *всякой* недобровольности, — решительно и до конца. Вместе с этим для них является проблема. доказать, что те элементы внешней и внутренней (правовои и моральной) дисциплины, которыми насыщена душевная атмосфера современного человека, не нужны, а может быть, и прямо вредны. Проблема эта осложняется тем, что определяющее значение этих дисциплинирующих элементов настолько сильно, что сами анархисты признают необходимость напряженной борьбы с ними Нельзя выкинуть эти элементы и ничем их не заменить, ибо общественное значение их ощущается слишком ярко: наличность их обусловливает устойчивость существующего строя, и как Штирнер и Кропоткин прекрасно сознают необходимость дать ответ. что же именно, какие элементы душевной жизни могут обеспечить порядок и стройность в общественной жизни при отвержении «недобровольной» дисциплины. И Кропоткин указывает на свободную солидарность, а Штирнер — на свободный эгоизм. Так воскресает в современных анархических течениях вера в *естественную гармонию человеческого общежития*, и именно в этом и лежит та предпосылка анархического утопизма, о которои мы только что упомянули. Анархисты верят в то, что возможность полного самоопределения вызовет в человеческой душе именно те свойства ее, которые учредят порядок общественного благополучия при свободе. Ка-

кой-то трагической иронией окрашено то обстоятельство, что такую зиждущую силу отдельные течения анархистов видят в прямо противоположных движениях человеческой души, и вера в то, что с падением внешней и внутренней дисциплины все устроится благополучно на основах всеобщей любви к другим или к самому себе, принимает, по существу, *религиозную* окраску.

Естественно, что при таком религиозно-окрашенном свободолюбии психология анархистов оказывается насыщенной сконцентрированным *протестом* и *недовольством*. Ибо, с одной стороны, их утопизм, с другой — их эмоциональная действенность ставят их в положение людей, которые, последовательно говоря, не в состоянии *ничего* принять из современной действительности. А так как всякая деятельность предполагает необходимо *отправной пункт*, а окружающее как будто не дает такого пункта для движения в сторону *созидания*, то отсюда становится психологически понятным, что у наиболее активных и прямолинейных натур, как у Бакунина, *вся* деятельность получала деструктивный уклон. Самое созидание превращается тогда в разрушение, и таким образом слагается верование в то, что устранение существующего должно само по себе неизбежно породить именно то идеальное, ради которого предпринимается разрушение. Так, утопизм порождает реформаторский радикализм, а радикализм обратно закрепляет в сознании утопическое верование.

А между тем нельзя не признать, что если даже всякая созидающая деятельность и предполагает устранение или разрушение старого, то правильное соотношение между этими уклонами будет такое, при котором конструкция составит содержание *программы*, а деструкция самое большее найдет себе известное место в *тактике*. Непонимание тех принципов, по которым построяется содержание «программы», характерно вообще для психологии анархистов. Люди утопического склада не могут понять, что *идеал* вообще *не может* стать содержанием *программы*, что программа, всякая программа есть всегда компромисс между идеальными требованиями и реализуемостью, ибо включать в программу нереализуемое нелепо. Партия, которая имеет одну только «программу-максимум», не имеет, в сущности говоря, никакой программы, а имеет лишь формулированный в тезисах

идеал. И если бы партийная дифференциация совершалась по различиям в идеалах, то оказалось бы неизбежно, что к одной и той же партии принадлежат люди с различными программами. так, можно себе представить человека, который является анархистом в идеале и признает в программе государственную организацию общежития необходимой. И сами анархисты, говорящие и мечтающие об устранении *всякого* принуждения, допускают его per compromissum[5]. Штирнер говорит о сохранении недобровольности в союзе эгоистов, Кропоткин открыто признает принуждение, организованное ad hoc, а Тэкер соглашается даже сохранить государство, ограничив его известными функциями. Непоследовательность эта знаменательна в высокои степени мечта, низведенная в программу, теряет свои абсолютныи характер, урезывается оговорками, а программа, поглотившая мечту, получает черты утопичности и неосуществимости. В интересах идеала и в интересах программы следует поддерживать их обособление.

Но именно основные черты той психологии, которая породила и выносила их сращение, не терпят этого обособления. И именно с этои психологическои точки зрения становится понятным, что анархисты-индивидуалисты, ведущие свое идейное начало от Штирнера и более последовательно продумавшие принцип «свободы», оказываются более склонными к признанию различия между программой и идеалом, анархисты же коммунисты и сформировавшаяся под их влиянием русская группа максималистов держатся твердо за единую программу-максимум. Теоретическое углубление и последовательность — вот первое и основное, что должно быть внесено в психологию анархистов, и возможность для них выйти в литературном отношении из состояния подпольной загнанности могли бы сыграть здесь большую и благодетельную роль.

Наконец, при выяснении этих общих основ анархистической психологии нельзя, конечно, не упомянуть о том общеизвестном наблюдении, что успех крайних направлений по размерам своим оказывается всегда прямо пропорциональным размерам политического гнета в стране. Естественно, что крайнее свободолюбие имеет больше всего шансов развиться именно там, где

проводится наиболее резкое отрицание свободы, и в этом смысле не раз указывалось на то, что Россия дала наибольший процент анархистов; можно было бы указать еще, что Штирнер выносил свое крайнее отрицание государственности именно в предреволюционный период сороковых годов и что крайние анархистические секты имели особенный успех на Западе в эпоху наибольшего гнета, исходившего от католической церкви. Но явления общественной психологии вообще гораздо сложнее, чем это может показаться, и объяснение их происхождения не может останавливаться на указании таких общих тенденций и связей. Более внимательный анализ показал бы нам, что политическое давление в низшие трудящиеся классы содействует росту именно коммунистического анархизма, сосредоточивающегося на *социальной* проблеме и ее разрешении через организации солидарности; что индивидуалистический анархизм есть, скорее, порождение интеллигентных слоев, и именно отдельных личностей, страдающих не столько от политического гнета, сколько от недостаточно тонкой и подвижной общественной дифференциации. Отсюда ясна и перспектива будущего для обоих течений.

Но задача социально-психологического анализа таких общественных явлений, как анархизм, может быть здесь, конечно, не решена, а только поставлена.

ИДЕЯ ЛИЧНОСТИ В УЧЕНИИ ШТИРНЕРА
(Опыт по истории индивидуализма)

I

Может быть, на протяжении всей истории философской мысли нельзя отыскать двух более различных, более полярных, более непримиримых, по-видимому, и, в то же время, более последовательно развитых учений, связанных притом единством эпохи и национальной культуры — как учения Гегеля и Штирнера.

Еще при жизни Гегеля появились первые признаки разложения того цельного и победного метафизического духа, который, казалось, приобретал окончательное и незыблемое господство в немецкой философии. Первые сочинения Фейербаха, его дерзновенные сатирико-

теологические двустишия, предвещали весь дальнейший ход философской мысли, уставшей от поклонения абсолютному, от героических попыток облечь религиозные искания в научно-метафизическую форму, — тяготевшей к относительному, человеческому, земному. Едва 13 лет протекли со смерти Гегеля и разложение достигло своего апогея в сочинении Макса Штирнера «Der Einzige und sein Eigenthum»[1]. Эта книга была последним, крайним звеном той реакции против гегельянства, которая сама вышла из *его* недр, *им* питалась, на *нем* базировалась. И реакция была тем более страстной, тем более отвергающей, она тем сильнее стремилась уйти на другой, противоположный полюс исканий, чем шире и прочнее был первоначальный успех системы Гегеля, чем необъятнее разрослись ее претензии, чем более несокрушимой и исключительной казалась сила мысли этого конструктивного гения. И может быть, сами восстающие, отвергая и ниспровергая, чувствовали себя движущимися в русле отвергаемого учения. Мысль Штирнера, оплодотворенная немецким идеализмом, коснувшаяся учения Гегеля и сохранившая на себе совершенно определенную печать его влияния, дышит, движется и живет отрицанием и аналитическим разложением того духа, который ее породил*. Строительство сменяется в ней нещадным разрушением, догматическое утверждение — ни перед чем не останавливающимся скепсисом, апофеоз — кощунством. Постепенно, шаг за

* Внимательное чтение книги Штирнера не оставляет никакого сомнения в том, что Штирнер знал учения немецких идеалистов, в особенности Фихте и Гегеля. Фихте он называет прямо 2 раза: Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum. Изд. Reclam. ss. 213, 353 и несколько раз намекает на его сочинения и воззрения: ibid. ss. 68, 82, 85, 178, 273 и др. Гегеля он называет по имени 14 раз: ibid. ss. 61, 90, 90, 111, 115, 125, 258, 275, 393, 397, 398, 407, 411 и 425; и много раз указывает и намекает на него, не называя: например, ss. 85, 101, 102, 103, 104, 277, 397 и др. Благодаря свойственной Штирнеру манере не приводить точных ссылок и указаний — трудно сказать, какие именно сочинения обоих мыслителей были ему знакомы непосредственно. Тем не менее здесь можно говорить об усвоении духа учения и даже об усвоении терминологии.

шагом, останавливаясь, возвращаясь, повторяясь, все снова формулируя свою мысль, местами углубляя ее и вновь пересматривая анализируемое, Штирнер идет к некоторой определенной единой цели, силясь оправдать что-то осужденное, реабилитировать, восстановить в правах что-то отвергнутое и задавленное, освободить что-то от какого-то гнета, и радуется, и торжествует, когда ему удается хоть немного подвинуться вперед в этом деле. Увлекаясь полемической диалектикой, Штирнер временами как будто забывает о положительной цели своего исследования; тогда его мысль предается безудержному, хаотическому разрушению, и кажется, что критика его — самодовлеюща, что это — критика ради критики, что конечным выводом ее должно быть даже не *отрицание* всего, а *отсутствие всего,* может быть, даже отсутствие утверждения и отрицания. Тогда в его мысли обнаруживается известная внутренняя рисовка, ему нравится, по-видимому, сознавать себя более крайним, чем он есть на самом деле, и он начинает отрицать те философские и этические основы, без которых невозможно самое его учение. В такие моменты мысль Штирнера кажется захлебнувшейся в потоке своего разъедающего сарказма, она как будто оказывается неспособной владеть теми силами диалектики, которые вызваны ею к жизни, и рискует погибнуть в развалинах произведенного ею самой разрушения. А между тем внимательное изучение его доктрины не может не обнаружить в ней две стороны: сторону деструктивную и сторону конструктивную, и критика, обычно останавливающаяся на первой и опускающая вторую, не отражает, быть может, самого интересного в этом парадоксальном учении. Учение Штирнера преследует не только отрицательную задачу, но и положительную; оно имеет свой особый позитивный центр, свое жизненное ядро, вокруг которого вращается его *утверждающая* мысль. Вскрыть эту положительную часть доктрины значило бы, между прочим, создать возможность нового освещения того отношения, в котором теория Штирнера стоит к системе Гегеля. Ибо если в своей деструктивной части это учение является полным антиподом системы Гегеля, то в своей конструктивной части оно обнаруживает такие

черты, которые позволяют говорить уже не о противоположности и непримиримости, а заставляют проследить известные тонкие нити идейного сродства и, может быть, даже продолжательства. Могло бы, например, обнаружиться, что учение Штирнера имеет известные точки отправления, которые не были настолько чужды автору «Философии Истории», как это принято считать, и звание гегелианца, обычно дающееся Штирнеру, получило бы, возможно, более серьезное освещение и оправдание.

Обнаружить это и подтвердить с силой несомненности невозможно, конечно, в пределах данного очерка. Здесь мы можем попытаться вскрыть лишь *первую* половину тезиса с тем, чтобы этот анализ наметил в общем материал, необходимый для подтверждения второй половины. При этом для того, чтобы сообщить анализу и выводам большую определенность, мы возьмем доктрину Штирнера как самостоятельное, обособленное и как бы замкнутое в себе логическое построение, оставим в стороне политическую и идейную атмосферу его времени и в самой доктрине его выделим ту центральную и основную проблему, в недрах которой скрыт, с одной стороны, путь от Гегеля к Штирнеру, с другой стороны, жизненный нерв исследуемого нами учения. На этой проблеме мы и сосредоточим свое внимание.

II

Доктрину Штирнера принято характеризовать, как учение *крайнего индивидуализма*. При этом под *индивидуализмом* разумеют обыкновенно учение, утверждающее примат или первенство личности. Согласно этому *крайний* индивидуалистический характер будет носить учение, утверждающее исключительность этого первенства, или, кроме того, не останавливающееся еще перед всеми последовательно вытекающими из такого примата выводами. Такое понимание индивидуализма представляется нам недостаточно определенным и излишне широким. Оно является недостаточно определенным в лице обоих терминов: *примата* и *личности*. Термин первенства может иметь не одно, а целый ряд самостоятельных значений в зависимости от внутренней сущности тех коррелятивных моментов, известное соотношение которых

утверждается самим приматом. *Логический* примат одного понятия перед другим, *методологический* примат понятия перед изучаемой совокупностью «предметов», *генетический* примат одного конкретного момента перед другим конкретным моментом и, наконец, *трансцендентальный* примат одной ценности (в том или ином ее значении) перед другой — все это настолько различные (и методологически, и по существу) представления, что объединять их подведением под родовое понятие «первенства вообще» не представляется нам целесообразным в познавательном отношении. Индивидуализмом, думается нам, следует называть только *философскую* (в тесном смысле этого слова) доктрину, т. е. учение, утверждающее не примат личности вообще, или один из первых трех указанных приматов, а первенство личности в ряду ценностей, или соответственно — целей. Индивидуализм является с этой, более узкой и определенной, точки зрения — не формально логическим и не методологическим, и не генетическим (и, соответственно, вообще не позитивно-научным) термином, а философско-научным. И вот, если охарактеризовать доктрину Штирнера как индивидуалистическую с этой, более узкой, точки зрения, то мы заметим тотчас же, что индивидуалистическое учение не может быть *чисто деструктивным*. В самом деле, утверждая известную ценность как первую и положительную, в противоположность другим моментам, которым отводится второстепенное место, и в противоположность другим учениям, ценности которых отвергаются, индивидуалистическая доктрина, какой бы крайний характер она ни носила, будет производить свою критику именно ради этой утверждаемой ценности: она будет по необходимости двигаться в ряду созидающем, а не разрушающем только. Отсюда вывод: если учение Штирнера с философской точки зрения есть учение индивидуалистическое, то оно должно иметь *конструктивную* часть, в которой будет устанавливаться *философский примат личности*. В дальнейшем мы дадим этому и апостериорное подтверждение.

Однако недостаточная определенность указанного выше определения индивидуализма этим не ограничивается. Самые понятия: индивидуума или личности

(приравняем условно эти два термина), с одной стороны, и ценности — с другой, далеко не являются однозначными. Прежде всего в пределах самого философского индивидуализма к понятию «ценности вообще» возможны различные подходы в различных рядах рассмотрения, и нетрудно было бы убедиться, что в связи с этими подходами может меняться и внутренняя структура понятия личности, и характер утверждаемого примата. Мы имеем в виду те различия, которые вносятся в индивидуалистическое учение в зависимости от того, построяется ли оно в ряду *ценностей, норм* или *целей*. Но не в этом лежит у нас в данный момент центр тяжести, и мы условно оставим в стороне этот путь, как требующий самостоятельного и сложного анализа и являющийся для нас сравнительно второстепенным. Нас интересует сейчас то дальнейшее определение и подразделение индивидуалистических учений, которое зависит от способа построения самого *понятия личности*.

Индивидуалистическое учение может видеть *сущность личности* или в известных определенных свойствах человека*, или во всей совокупности его свойств как таковой.

В *первом* случае в понятие личности войдут в качестве его признаков только те определенные свойства конкретного человека, которые признаются имеющими особую важность по тем или иным соображениям. Принцип отбора этих свойств может состоять (ограничиваемся двумя наиболее простыми и типичными случаями): или просто в признании этих свойств общераспространенными — и в этом случае перед нами пример обычной, «безразличной» к изучаемому материалу эмпирической индукции (образование *родового* понятия путем «отвлечения» общих признаков от элементов многообразной множественной данности), или в придании особой философской ценности тем или иным

* Мы условно оставляем в стороне вопрос о тех основаниях, которые могут оправдать эту новую подстановку: представления о *человеке* на место представления об *индивидууме* или *личности*. Эти основания могут иметь психофизиологический, психологический, этический, метафизический или религиозный характер — в данный момент это для нас безразлично.

свойствам людей как сложных существ; при этом свойства людей, получающие такую философскую ценность, могут быть в свою очередь отобраны эмпирически-индуктивным или специально умозрительным путем. Далее, свойства людей, образующие искомую «сущность» личности, могут мыслиться в их идеально-очищенном виде, в том виде, в каком они, может быть никогда и не встречаются в действительности, или в их реальном, обычном виде; причем привнесение «очищения» в эмпирически-индуктивный «безразличный» путь заставляет его (нередко это совсем не сознается) утратить его научную безразличность и приближает его к философскому пути. Наконец, совокупность этих свойств (безразличных в смысле философской ценности или философски ценных) может представляться и просто отвлеченным понятием, а сущностью, гипостазированной, наделенной реальностью — чем-то вроде средневековых universalia[2], или платоновских идей*.

Во всех этих пониманиях конкретное естество отдельного человека разрывается на «части», на отдельные свойства, и «индивидуальным» признается не все его сложное существо в целом, а только известная группа отдельных свойств. С этой точки зрения конкретный человек оказывается «индивидуумом» лишь в меру наличности этих общих свойств; лишь постольку он и признается затем верховной ценностью, или, соответственно, целью индивидуалистического построения. При этом, особенно в случае идеализирования установленных свойств, создается возможность того, что далеко не все конкретные люди оказываются «индивидуумами» в высшем смысле этого слова: люди разделяются тогда на таких, которые обладают этими важными и ценными свойствами, и таких, которые ими не обладают. При индуктивном же и эмпирическом, так называемом «безразличном», образовании понятия, особенно если соблюдается полнота индукции, может быть зато гаран-

* Все эти пути и подразделения, которых мы не можем проследить здесь подробно, могут, конечно, переплетаться и скрещиваться и образовывать новые сложные образования В нашу задачу не входит их исчерпывающее перечисление.

тировано, что каждый *человек*, как таковой, будет обладать этими важными свойствами и что, следовательно, индивидуумами окажутся *все* люди. Отсюда возможность аристократической и демократической окрашенности в индивидуалистической доктрине.

Другим типом индивидуалистического учения является тот тип его, который видит сущность личности не в той или иной специфической группе свойств, добытой аналитическим разложением представлений о конкретных людях, т. е. «разрывом», произведенным в целостной ткани конкретного индуктивной обобщающей мыслью, — а во всей совокупности свойств каждого конкретного человека, как такового. Сущность личности с этой точки зрения состоит во всем, взятом в целом *своеобразии каждого отдельного человека*. Каждый человек представляет из себя в своей конкретности *единственное* в своем роде, неповторяемое сочетание свойств. Каждое из этих свойств входит в его сущность не потому, что оно обще ему с другими и не постольку, поскольку оно общераспространено, и не потому, что оно имеет какое-нибудь особливое *преимущество* перед другими свойствами, основывающееся на его сравнительно большей устойчивости и повторяемости; и не постольку, поскольку оно обладает исключительной высшей ценностью, обоснованной научно, выведенной метафизически или постигнутой в религиозном порядке, — но потому и постольку, поскольку оно входит наличным членом именно в этот данный своеобразный, конкретный комплекс свойств. Наличность, *данность* этого свойства в известном отрезке конкретного, сочетающем его своеобразно с другими наличными свойствами, есть ultima ratio[3] приятия его в искомую *сущность индивидуума*. Не общее важно в человеке и его свойствах, а частное; и частное не в меру только своей оригинальности и своеобразия, а в меру одной своей наличной данности. При таком понимании в человеке не производится разрыва на существенное и несущественное; в нем *все* существенно в меру одной своей наличности. И люди при последовательном проведении этой точки зрения не разделяются на причастных и непричастных высшим свойствам, на высших существ и низших. Ценностью и целью объявляется в таких индивидуалистических доктринах — каждый конкретный человек во всем своем своеобразии.

Не следует думать, однако, что в таких доктринах нет вообще понятия индивидуума, наполненного родовыми признаками. Такое понятие есть и здесь — сознается оно или не сознается — и содержание его заполнено общими признаками, добытыми анализом, но анализом специфических свойств представления «человек», или «духовное в человеке», и анализом общего «формального» свойства *конкретности* всякого человека, как части конкретной действительности. Индивидуум в таком понимании есть не человек в меру своих видовых свойств, но человек в меру своего *родового свойства конкретности*. А так как мера этого свойства у всех людей одинакова, то отсюда гарантия того, что «индивидуумами» окажутся все люди без изъятия: восхождение к родовому признаку гарантирует здесь полноту объема понятия*.

Однако и в этом случае возможен процесс мысли, аналогичный первому. Именно отдельные признаки, входящие в состав понятия о конкретном, мыслятся первоначально как свойства, принадлежащие *всему конкретному,* как таковому: таковы признаки сложности, своеобразия, неповторяемости и т. д. Но после того, как индивидуум *именно в меру своей конкретности* объявляется верховной ценностью и целью, — общие свойства конкретного начинают получать постепенно в противовес другим специфическим свойствам человека значение *особой,* преимущественной *ценности* и, соответственно, в отнесении к тому, что мыслится во временном процессе, — оттенок нормативности, долженствования. Слагается опять представление о том, что если человек ценен именно в силу одних своих свойств, родовых, а не в силу других, специфических, «человеческих», то он будет тем ценнее, чем сильнее эти ценные свойства будут преобладать над неценными. А в этом представлении уже содержится целиком, в виде предпосылки, допущение того, что сочетание ценных свойств с неценными

* Мы не входим здесь в рассмотрение того соображения, что «конкретность» есть признак с несравненно более широким объемом, чем представление о людях или даже о всех живых существах. Здесь индивидуализму раскрываются несравненно более широкие перспективы, чем решение социального вопроса, и мы условно отодвигаем эту проблему.

может быть у людей различно и что, следовательно, один человек может быть более «конкретным», а другой менее «конкретным». Суждение — «всякий человек конкретен и постольку ценен» превращается постепенно в другое — «всякий человек *должен* быть «конкретным» и постольку *будет* ценным». Упрочивается представление о том, что хотя все люди одинаково конкретны в *обычном* смысле слова, но не все одинаково «конкретны» в *высшем, нормативном* смысле. Понятие конкретности со всеми своими признаками удвояется, сначала методологически — переходя в новый ценностно-нормативный ряд, — потом и по существу; признаки сложности, своеобразия и т. д. получают новые оттенки, новое значение, *нормативная конкретность,* может быть, даже обогащается в своем составе новыми признаками, уже вполне нормативно-телеологического значения, и выдвигается новый идеал, идеал *истинной конкретности.* Складывается *новое* философское учение о ценности, или, определеннее говоря, новое положительное учение о нравственности.

Таковы два типа индивидуалистических доктрин.

III

Если мы отвлечемся теперь от анализа и классификации других видов философского и нефилософского индивидуализма и попробуем применить добытую схему к учению Штирнера, то вопрос, который нам придется решить, будет состоять в следующем: к какому из этих типов стоит ближе учение Штирнера. И для этого нам придется обратиться к рассмотрению его понятия личности по существу.

Штирнер не знает терминов «индивидуум», «личность». Любимый термин его для выражения представления есть термин Я, «Ich». Опасность такого словоупотребления бросается в глаза с самого начала. Системы немецкого идеализма использовали этот термин с такой широтой и вкладывали в него такое разнообразное и многоцветное содержание, что оттенков его нельзя перечислить вкратце. Штирнер сам чувствует это и обращается несколько раз* к отмежеванию своего «Я» от «Я» Фихте, называя Фихте открыто и по имени. И

* См., например, Stirner. Der Einzige. Ausg. Reclam Ss. 178, 213 и др. В дальнейшем все страницы будут указаны по этому же изданию.

тем не менее у Штирнера нельзя найти сколько-нибудь систематически развитого и формулированного учения о личности Весь труд по собиранию и анализу разбросанных там и сям оговорок, указаний, случайных разъяснений и т. п выпадает на долю стороннего исследователя И если сопоставить собранныи таким образом материал, то можно прийти к следующим выводам

Основное определение штирнеровского «Я» состоит в том, что оно «единственно». Эту «единственность» личности пытались понимать самым различным образом и часто совсем неправильно.

Так, прежде всего, ее не следует понимать в смысле теоретико-познавательного субъективизма Проблема *познания* или, тем более, научного познания не играет у Штирнера ни первенствующей, ни сколько-нибудь самостоятельной роли. Правда, к числу ниспровергаемых им ценностей принадлежит и теоретическое представление об истине, и Штирнер не устает возвращаться к аргументации против нее и издевательству над ней* Но отвержение ее является для него лишь последовательным выводом из более общего тезиса, содержащего отвержение «объективных» сущностей и ценностей вообще. Построение Штирнера имеет целый ряд теоретико-познавательных предпосылок, окрашенных определенно в оттенок логического номинализма, но о *теории* познания здесь, конечно, говорить не приходится Невозможно говорить также в применении к нему о *гносеологическом субъективизме* Штирнер знает тот субъективистический переворот, который был подготовлен в новой философии английскими эмпириками и закреплен Кантом**, он сам иногда пользуется аргументами субъективистического характера, указывая на то, что предметами состояний нашего сознания или нашей «души» являются наши же представления, не больше***. Но он нигде не останавливается серьезно на последовательном познавательном проведении этого примата, и основные проблемы гносеологического субъективизма — определение

* Der Einzige Ss 47, 59, 100 u a О науке см , например ibid S 5, 198

** Срв , например, Der Einzige S 104

*** Срв Der Einzige S 5, 68 или 214 и др

понятия «субъекта познания», разложение всего познаваемого на состояния субъекта, реконструкция и обоснование так или иначе понимаемого «объективного» момента в познании и друг<ое> — нисколько не интересуют его мысль. Скользнув мимо них, он просто и легко ведет обыкновенно свою аргументацию в терминах наивного реализма и тот «субъективизм», которым действительно пропитана его разъедающая критика, лежит, по существу, вне плоскости теории познания. У последней он заимствует лишь от времени до времени ее критическое оружие, но с его стороны это не более как полемический прием, который может облегчить ему борьбу с противостоящими ему сущностями; при этом он не забывает указать на то, что его совершенно не удовлетворяет критика гносеологов-субъективистов*. Одним словом, субъективизм Штирнера имеет не теоретический и познавательный характер, а *практически боевой*, и теоретические ценности беспокоят его лишь постольку, поскольку это может быть важно для программы практического борца.

Точно так же не следует понимать «единственность» Штирнера в смысле, близком к *солипсизму*. Под солипсизмом разумеется такая *онтологическая* точка зрения, которая приписывает *реальность* только *одному* субъекту, именно тому, который исповедует или *утверждает* эту точку зрения. Бытие, приписываемое субъектом себе самому, может иметь характер (берем законченные формы солипсизма) метафизический или эмпиристический. *Метафизическое* бытие, построяемое из понятия, есть вообще один из тех моментов, которые отвергаются Штирнером неизменно и ежеминутно; в частности, он с особенной силой и отчетливостью настаивает на том, что в его учении «Я» не имеет значения метафизически абсолютного**. Почти не вызывает сомнения вопрос о том, может ли учение, отвергающее метафизическое бытие *вообще*, утверждать метафизическую реальность (или, соответственно, *исключительную* метафизическую реальность)

* Например, Der Einzige. S. 104.
** Der Einzige. S. 213.

единичного, именно утверждающего, *субъекта*[*]. У Штирнера нам не удалось найти никаких следов такого противоречия. Но и *эмпиристически* понимаемого солипсизма у Штирнера нет. Правда, он выражается иногда так, что можно подумать, будто он действительно исповедует единственную, исключительную реальность *своего эмпирического «Я»*. Так, преодоление мира дает Мне, по его словам, возможность стать «безмирным» (Weltlos)[**], себя и все другое Я создаю из себя сам, и вновь сам все разрушаю и разрешаю[***] и т. д. Но для понимания таких выражений их нужно брать в контексте и в связи с основными идеями учения. Тогда мы увидим, что «единственность», самодеятельное творчество и «самотворчество» — не составляют принадлежности одного только единого (может быть, принадлежащего самому Штирнеру) «Я». Такое же «Я» Штирнер признает за каждым буквально человеком, даже независимо от того, сознает он его в себе или не сознает; и это «Я» в каждом из нас единственно[****]. Все должны рассматривать себя как единственных, говорит Штирнер, всякий должен общаться с другими и подходить к другим как единственный[*****]. Следовательно, «единственность», по Штирнеру, не есть атрибут, принадлежащий или свойственный *количественно единому* моменту. «*единственных*», по его учению, должно быть *много*, и это обнаруживает с совершенной ясностью, что анализируемый термин выдвинут из плоскости *количественной* и перенесен в сферу *качественности*. Единственность штирнеровского «Я» нельзя понимать количественно, в смысле отрицания возможной двойственности или множественности таких

[*] В виде возражения против этого аргумента нельзя было бы сослаться на систему Фихте Старшего. Фихте отвергал категорически не метафизическую реальность *вообще*, а метафизическую реальность *объекта*, т. е. вещи в себе. Это не лишало его возможности перейти к утверждению метафизической реальности *субъекта*.

[**] Der Einzige. S. 113.

[***] Der Einzige. Ss. 14, 41, 213, 271 u. a.

[****] Der Einzige. Ss. 159, 243, 285 u. a.

[*****] Der Einzige. S. 159

«Я». И когда он говорит о том, что действительно, реально только «Я», то он разумеет под этим не «Я» автора, а «Я», которое живет в каждом отдельном человеке, — «Я», которое живет в «Ты», «Мы», «Вы»* и т. д. Он говорит иногда прямо: «Ich, der Mensch[4]»**. Поэтому он так часто ведет аргументацию не от первого лица, а безлично, обращаясь к «Ты», к другому, другим, убеждая, проповедуя, приписывая ему, или им, все свойства этого «Я». Реальность и *исключительную* реальность Штирнер признает не за одной *количественно* определенной личностью, а за *каждой личностью в меру ее эмпирической конкретности*. Но если так, то ясно, что нельзя говорить о солипсизме у Штирнера, ибо солипсизм включает в себя именно количественную единственность реального субъекта. Помимо этого, следует всегда иметь в виду, говоря о Штирнере, что самый термин «реальности» не имеет у него чистого и выработанного *онтологического* значения, но получает иногда определенно выраженный ценностный, или, соответственно, телеологический смысл. Это должно уясниться в дальнейшем. Теперь же заметим только еще, что можно было бы без труда доказать, что Штирнер всегда трактует и мир природы как имеющий независимую от личности реальность, и «творческое поглощение» мира, о котором он любит говорить, получает в его устах также не онтологический, а телеологический смысл. Одним словом, Штирнер нигде не отрицает ни реальности других личностей, ни реальности мира природы, и на этом мы можем остановиться в нашей отрицательной характеристике.

Но какой же смысл имеет в таком случае в его устах термин *единственности*?

Определение личности как «единственной» есть для Штирнера то определение, которое сосредоточивает и преломляет в себе все остальные ее свойства и определения. Это — идейный фокус понятия, в котором собираются все лучи, сходящиеся сюда и расходящиеся отсюда по всем пунктам периферии доктрины. Пере-

* Der Einzige. S. 229 u. a.
** Der Einzige. S. 178.

брать основные оттенки этого термина значит найти и определить *идейный центр* всего учения. Штирнер сам, по-видимому, думал так и поэтому выдвигал это представление во всех суммирующих учение формулировках.

Личность единственна у Штирнера прежде всего потому, что она *качественно неповторяема*. Это значит, что подобной ей другой личности не может существовать и потому нельзя и найти. Казалось бы, что этот тезис, продуманный последовательно до конца, должен привести к некоторой нелепости. В самом деле, можно ли утверждать полное отсутствие подобия между какими бы то ни было данными содержаниями сознания, тем более между двумя представлениями о живых людях? Можно ли ставить внешние границы и определенные запреты одной из основных функций познающего разума — отысканию сходного и подобного во множестве? А если не поставить этих границ и запретов, то мысль, индуктивно изучающая и аналитически разлагающая познаваемый предмет, всегда найдет известные сходства и подобия в данном материале познания, ибо подобие есть всегда подобие *в чем-нибудь определенном*. Но именно это-то возражение и оттеняет позицию Штирнера. Говоря о подобии и неповторяемости, он имеет в виду не подобие в чем-нибудь одном, определенном, или не какое-либо одно определенное подобие, а подобие *во всем целом и сложном комплексе свойств, как таковом*. Штирнер берет личность человека во всей ее цельности, не разрешая и не разлагая ее на отдельные стороны и свойства. И *в таком виде* утверждает ее неповторяемость, ее единственность. Именно эта, получающаяся таким образом особливость, своеобразность, неповторяемость и выдвигается Штирнером на первый план. Каждый, говорит он, исключителен и эксклюзивен в своей единственности*; каждый единственный настолько разнится от всех других единственных, что образует по отношению к ним последнюю и самую решительную противоположность**; как единственный ты не имеешь ничего «общего» с другими, настолько, что даже о про-

* Der Einzige. S. 241.
** Der Einzige. S. 243.

тивоположности в настоящем смысле нельзя говорить* (ибо противоположность есть вид логического объединения в третьем, общем). Общего между личностями только одно — это их неодинаковость, но и она существует только для третьего лица, сравнивающего**. Здесь у Штирнера обнаруживается то диалектическое увлечение, о котором мы говорили выше. Мы увидим сейчас, что личности имеют между собой гораздо больше общего по его собственному признанию, чем могло бы показаться. Пока же установим, что в основании тезиса о неповторяемости у Штирнера лежит внутренний, категорический отказ подвергнуть представление о личности какому-нибудь аналитическому разложению. Здесь именно тот пункт, перед которым останавливается острие его аналитического ума. Его учение, все пропитанное духом разложения, несущее с собою какое-то победоносное опьянение анализом, устанавливает здесь некоторый запрет, познает здесь аскез и воздержание. Это особенно интересно для тех, кто не отводит должного места конструктивной стороне штирнеровского учения: наиболее аналитическая доктрина имеет всегда такой пункт, который сознательно или бессознательно не подвергается в ней анализу; этот-то пункт и интереснее всего бывает осветить, ибо с него начинается положительное построение. В частности, для Штирнера подвергнуть анализу известное представление, разложить его на его составные моменты значит обесценить, «entweihen», скрывающееся за ними переживание ценности. Тем знаменательнее то чувство негодования, с которым он восстает против всякого разрыва, всякого разложения личности на составные моменты. Это представление он хотел бы оставить в неразложенном, слитном, *интуитивно переживаемом* виде, и, конечно, потому, что он больше, чем кто-нибудь, знал и чувствовал, как обесценивается иногда то, на что открыто и безжалостно посягнуло рационализирующее, разлагающее рассмотрение. Бесчисленное множество раз Штирнер возвращается к утверждению той мысли, что нельзя видеть сущность личности в

* Der Einzige. S. 243.
** Der Einzige. S. 243.

каком-нибудь отдельном свойстве ее, оторванном от остальных и получившем значение родового признака. Ни добродетельность, ни нравственность, ни святость, ни участие в обществе, ни гражданская принадлежность, ни признание, исходящее от государства, — словом, ни одно свойство и определение человека не образует и не может образовать ее сущности*. *Сущность личности нельзя найти через ее разложение* — вот одно из основных убеждений Штирнера, и верность нашей формулы не нуждается ни в каких ссылках и подтверждениях, ибо ею проникнута каждая страница книги. Анализ не есть тот путь, который ведет к обретению этой искомои сущности. Здесь необходим путь *непосредственного синтеза,* путь целостного, неразлагающего восприятия личности во всей ее единственности и неповторяемости.

Но каждая личность, каждое «Я» именно потому неповторяемо, что бесконечно сложно, и именно потому бесконечно сложно, что конкретно.

Индивидуум конкретен, это значит у Штирнера, он имеет эмпирическое бытие, эмпирическую, созерцательную действительность. И прежде всего он имеет действительность, реальность. Штирнер без конца повторяет, что «Я» — это действительный человек, «der wirkliche Mensch»[5], что «Я» — это живое реальное человеческое существо**. Мало того, и вообще реально только то, что имеет такую эмпирическую конкретность. Реально, по Штирнеру, только единичное, только конкретный эмпирический экземпляр; всеобщее же («das allgemeine») — нереально в его глазах ни как родовое отвлеченное понятие, ни как конкретная совокупность. Вся книга его может рассматриваться как стремление отстоять эти два тезиса. Понятие есть лишь мысль человека, «моя» мысль, «мое» создание: «Я» его творю и «Я» же его разрушаю***. Только от человека, от «меня» мысль получает свою реальность: «Я» захочу — и разрушу ее телесность****, и она разлетится как дым. Всеоб-

* См., например: Der Einzige. S. 207 u. v. a.
** См. хотя бы. Der Einzige. Ss. 115, 202, 240, 291 u. v. a.
*** Der Einzige. S. 22.
**** Der Einzige. Ss. 22—23. Также S. 168.

щее как понятие есть лишь нечто отвлеченное, пустое, безжизненное, и от груды этих безжизненных всеобщностей должен быть освобожден живой индивидуум*. Он сам, человек, реален не как «человек вообще», а как единичное существо**. И именно от него, от *единичного* человека, в единственности которого «человек» впервые получает существование, реальность***, и зависит дать бытие понятию или не дать. Борьба с гипостазирующим пониманием мысли, с превращением понятия в нечто самостоятельно существующее, реальное, — ведется Штирнером на протяжении всей книги. Но и конкретные совокупности — партия, общество, народ, человечество — не имеют у него реальности, особой, самостоятельной, отдельной от реальности «входящих» в них единичных существ. Они — только мысли, призраки; действительность их — только в единичных, конкретных существах****. Род — ничто*****; ни он, ни одна из этих совокупностей не есть «Я» и не имеет «Я»******. *Логический реализм* и *социальный универсализм* — вот два смертельных врага Штирнера. Освободить из-под их ига конкретное человеческое существо — вот его цель, его мечта, его задача. И освобождения этого он думает достигнуть тем, что критика его лишит *родовые понятия* и *социальные образования* сначала независимой от отдельного эмпирического человека *реальности,* а потом (по отношению к Штирнеру точнее было бы сказать: и вместе с тем) независимой от его признания *ценности* и значения или, соответственно, независимого от его признания «примата».

Итак, реально только единичное. В мире людей — реален только единичный человек, единичные *люди*******, и притом реальностью эмпирической. Личность у Штирнера эмпирически-конкретна. Она отнюдь не общее понятие; еще менее это — гипостазированная

---

* Der Einzige. Ss. 269, 213 u. a.
** См., например: Der Einzige. Ss. 95, 149, 175, 235, 238, 285.
*** Der Einzige. S. 285.
**** См., например: Der Einzige. S. 291.
***** Der Einzige. 213.
****** Der Einzige. Ss. 207, 271.
******* Der Einzige. Ss. 5, 235, 285, 292.

сущность. «Я» — это *живое* я*; это — *единичный* человек**; *отдельный* человек — ибо только он и есть человек***; не человек, как экземпляр рода****; это — Ты, Я, Мы*****; это не мысль, не идея******, не идеал, не принцип*******, это — *этот* человек, — *это* «я»********; это — *живое* «я»*********; «я как я есмь»**********; «Hans oder Kunz[6]»***********, это — телесное я************, «der leibhaftige Kunz[7]»*************; человек, взятый целиком со всем его телом и жизнью**************; телесный дух***************; не дух только, больше чем дух****************; и не тело только*****************; больше, чем *только* дух и *только* тело: «ganze und leibhaftige Person[8]»******************; leibhaftiges Ich[9]*******************; это — «Я» конечное, преходящее********************, смертное; наличный человек********************* и т. д. Словом, личность Штирнера — это эмпирически конкретный человек, взятый во всей своей сложности, со всеми своими свойствами, стремлениями, желаниями, с телом и душой. Именно эта-то личность, о которой Штирнер говорит, что ее нельзя *определить,* а можно *только описать*********************, и становится у него затем верховной ценностью и целью.

---

* Der Einzige. S. 196.
** Der Einzige. S. 129. u. s. v. a.
*** Der Einzige. S. 132.
**** Der Einzige. S. 132.
***** Der Einzige. Ss. 240, 255 u. s. v. a.
****** Der Einzige. S. 175.
******* Например: Der Einzige. S. 178.
******** Der Einzige. S. 203 u. s. v.
********* Der Einzige. S. 166 u. v. a.
********** Der Einzige. S. 204.
*********** Der Einzige. S. 202.
************ Der Einzige. Ss. 202, 203, 205 u. a.
************* Der Einzige. S. 204.
************** Der Einzige. S. 21.
*************** Der Einzige. S. 2.
**************** Der Einzige. S. 42.
***************** Der Einzige. Ss. 62, 74, 91, 92, 199.
****************** Der Einzige. Ss. 51, 158.
******************* Der Einzige. Ss. 203, 205, 364, 417, 425.
******************** Der Einzige. S. 213.
********************* Der Einzige. S. 283.
********************** Ibid. S. 201.

Но если личность Штирнера есть нечто эмпирически-конкретное, то в ней должны быть раскрыты еще новые и более глубокие свойства, присущие всему эмпирически-конкретному, как таковому. Эти новые свойства могут быть охарактеризованы одним общим термином: *иррациональность*. Именно те свойства конкретного эмпирического, о которых с таким осуждением говорил Гегель, Штирнер воспринимает радостно, как самое высокое и самое ценное, и ставит во главу угла своей доктрины. Конкретное эмпирическое мыслилось Гегелем как некоторая сложная полнота моментов, как нечто чувственно реальное с неопределенным множеством сторон; это конкретное бытие есть у него подвижное, изменчивое, текучее «бывание» и «становление», несоизмеримое в своей единичности разумным формам мысли, всеобщему; неуловимое в рациональных терминах, неспособное даже стать субъектом логического суждения. Оно роковым образом самое богатое и перед лицом разума — самое бедное. Все богатство, вся полнота конкретного эмпирического была в глазах Гегеля философски бесценна, ибо он ценил только то, что могло жить в форме разумного, и, иррациональное, неспособное к рационализации, представлялось ему самым жалким из всего мыслимого. У Штирнера как раз обратное.

Нигде не сказывается с такой силой полярность этих двух учений как именно в отношении к конкретному*. Иррациональная глубина и сложность конкретной, эмпирически реальной личности вызывает у Штирнера не осуждение и не отвержение, а восторг и пафос. «Личность» Штирнера богата именно тем богатством своеобразных текучих распыляющихся и разрешаемых ею самою свойств, которое не уловимо в рационалистические формы и рамки. Здесь нет ничего прочного, застывшего, коснеющего, связывающего. Личность Штирнера творит все сама**, она каждый момент творит

* Заметим здесь, что, говоря о полярности учений Гегеля и Штирнера, мы все время имели в виду, что применительно к Философии Истории Гегеля этот тезис нужно будет изменить самым резким образом.

** Der Einzige. S. 14.

себя вновь*; обнаруживает себя, открывает себя**; все разрушает и разрешает***, про нее никогда нельзя сказать, *что она есть*** или *какова* она; она — сплошное саморазвитие, самодеятельность, самотворчество*****; она не позволяет ни одной части своей собственности стать устойчивой и чувствует себя хорошо только в разрешении******. Словом, она как фонтан, играющий на солнце, как взрыв самоутверждения и творчества. И в этом вечном изменении своем, в этой бесконечности неожиданных уклонов и прихотливых сочетаний — она неподводима ни под какое понятие, она неопределима, непостижима; она есть некоторая эмпирически данная бесконечность. Штирнер произносит, по-видимому, свои самые заветные формулы, говоря о том, что личность *«неизреченна»*, «неназываема». Она не имеет имен, выражающих ее сущность; понятия, слова, названия не исчерпывают ее и не могут исчерпать. Здесь лежит путь в *несказанное*. «Жалкий язык не имеет для меня слова, и Слово, Логос — для меня лишь голое слово»*******. «Я — человек, и ты — человек, но «человек» есть лишь мысль, всеобщее; ни Я, ни Ты—Мы не можем быть высказаны. Мы *неизреченны,* потому что только *мысли* изречены и состоят в речении»********. «О Боге говорится: «Не называют тебя имена». Это относится ко Мне: ни одно *понятие* не выражает Меня, ничто не исчерпывает Меня из того, что выдают за мою сущность; все это только названия». Так, за эмпирической конкретностью личности раскрывается ее иррациональная неисчерпаемая полнота. И эта бесконечная сложность личности, взятой статически, усиливается ее динамической изменчивостью; личность Штирнера — это поток, в который, по замечанию ученика Гераклита, Кратила, нельзя войти и единожды.

---

* Ibid. S. 178.
** Ibid. S. 190.
*** Ibid. S. 213.
**** Ibid.
***** Ibid. S. 230.
****** Ibid. S. 168.
******* Ibid. S. 215.
******** Ibid. S. 364.

Теперь понятно, как вырастает у Штирнера учение о неповторяемости личности. Личность конкретна, поскольку бесконечно сложна в своих свойствах и притом неделима. Нужно или брать ее целиком, или утратить ее конкретность, поставив на место последней абстрактную разложенность. Личность с этой точки зрения есть живая *неповторяемая бесконечность*. Никто не может быть тем, чем другой*, каждый несравним, единствен**. Своеобразие — это вся моя сущность, мое существование, это — Я сам***. Оно порождает неравенство, раздельность, особливость, но этого совсем не нужно уступать и отказываться от самого себя****. Отсюда-то Штирнер и приходит к признанию того, что всякий сам по себе вполне оторван, одинок и отрешен. Каждый имеет нечто перед другим. себя самого или свою единственность, в этом он останется исключителен и эксклюзивен*****. Мы противоположны другим, и наша слабость не в том, что эта противоположность существует, а в том, что она не полна и не цельна, т. е. в том, что мы не всецело от них оторваны (Geschieden)******. Противоположность исчезает в полной и совершенной оторванности и единственности*******. Здесь перед Штирнером и раскрывается необходимость признать, что каждый имеет только одну-единственную, доступную ему сферу творчества, любви, искания и наслаждения; иррациональное бесконечное богатство своей эмпирической личности. И, уйдя в эту бесконечность, Штирнер чувствовал моментами, что перед ним открывается некоторая, уже мистическая глубина в недрах человеческого существа. Он не только теоретически, отвлеченно сознавая, но и в действительности, интуитивно, ощущал в себе тогда некоторую углубленную сферу молчания, в которой умирают слова и исчезают мысли, и из которой родится впервые на-

* Der Einzige. Ibid. S. 164
** Ibid
*** Ibid. S. 185.
**** Срв.: ibid. S. 242.
***** Ibid. S. 241.
****** Ibid. S. 243.
******* Ibid.

стоящий и цельный порыв. Тогда сфера мысли и догматизированной веры представлялась ему долгой ночью, и он начинал говорить о ликовании безмыслия, о творческом безмыслии и о дающемся в нем освобождении*.

Но раскрыть в себе и для себя эту сферу и вырастить из нее нечто цельное и, при всей интимности, общечеловечески глубокое — было делом, которое не могло ему удаться. Понимание личности как эмпирической конкретности, представляющей иррациональную и бесконечную сложность сторон и свойств, не гарантирует вступления на этот уводящий в глубину путь. И Штирнер, сосредоточивший свое внимание на внешней периферии личности, весь ушедший в ее *центробежный* уклон и преимущественно в его отрицательное обоснование, *оставил почти нетронутой культуру центра*. Вся сила его ума, вся работа его души ушла главным образом на *отрицание* и *разрушение* того, что, казалось ему, стоит на пути свободному росту и развитию личности, и даже конструктивная часть периферического уклона личности осталась у него местами недоработанной. К этому присоединяется еще то обстоятельство, что отказом от метафизики и, следовательно, — в применении к внутреннему миру — от использования метафизической спекуляции для разработки и закрепления того, что может быть добыто интроспективной интуицией, Штирнер лишил себя необходимых орудий и средств для такого углубленного понимания личности. Его логическая точка зрения открыла для него возможность понять личность человека как своего рода бесконечность, коснуться бесконечного в человеке; но общие особенности его умонастроения лишили его возможности уйти в эту бесконечность и дать теоретическое выражение и закрепление ощущенным глубинам человеческого существа. Эта идея и это ощущение бесконечного остались у Штирнера в виде ряда неразработанных намеков и получили почти всецело эмпиристическое истолкование. Отсюда та печать суховатой и подчас неглубокой рассудочности, от которой не свободен даже лиризм и пафос его философствования.

* Der Einzige. Ibid. Ss. 175, 396, 405.

И это выражается прежде всего в том безразличном и трезвом настроении, с которым Штирнер констатирует эмпирические границы человеческой личности. С признанием бесконечной сложности живого человеческого существа у него совмещается острое и хладнокровное сознание его эмпирической ограниченности. С значительной, несвойственной ему вообще уравновешенной здравостью Штирнер отдает себе отчет в имманентной наличности этих границ и, может быть, только раза два на протяжении всей книги обнаруживает сознание того, что границы этой природной данности могут угнетать живое самочувствие личности. С легким сердцем говорит он нередко о том, что от *всего* все равно нельзя освободиться*, например, от силы тяжести**, от телесности, от смерти и т. д. Абсолютная свобода нелепа и невозможна***, Нужно примириться с этим, думает Штирнер. И если у меня нет сил взорвать скалу — что ж, я обойду ее****. Все, что можно, я заставлю служить себе*****, с прочим же примирюсь, поскольку природная данность является для меня непреодолимой, — вот формулировка его точки зрения. И с этим же примирительным, компромиссным отношением он подходит и к вопросу о пределах *личной* потенции. Говоря: «я хочу быть всем и иметь все», он добавляет: *«чем могу и что могу»*******, и пределы природной и личной данности и одаренности оказываются той преградой, перед которой легко и скоро утихает буря штирнеровского бунтарства. Эти границы, эти пределы личной потенции, о которых не любили говорить немецкие идеалисты и о выходе из которых они всегда втайне мечтали, конструируя его то в родовых, то в индивидуальных терминах, то в трансцендентном, то в психологическом, то в эстетическом ряду, — признаются Штирнером без всякого ощущения трагического характера. И самое пред-

* Der Einzige. S. 185.
** Ibid. S. 360.
*** Ibid. Ss. 360, 359.
**** Ibid. S. 195.
***** Срв., например: Ibid. S. 195 u. a.
****** Ibid. Ss. 164, 167, 168.

ставление о том, что эмпирическое преходяще не только в отдельных атрибутах своих, что эмпирическая личность, как таковая, имеет неизбежный, «естественный» конец, что она конечна, смертна — не говорит ничего его душе. Освобождение личности, к которому он стремится, движется не в этом направлении, а выражается в постепенном и полном очищении человеческой души от известного рода представлений и внутренних состояний. От каких именно — ясно уже отчасти из всего сказанного; указать на это обстоятельнее — значит перейти от логического состава идеи личности к ее философскому, в узком смысле этого слова, рассмотрению.

IV

Посредствующим звеном, соединяющим учение о том, что представляет из себя личность в своей внутренней сущности, с установлением того, в чем ее ценность и каков путь ее долженствования, является основная посылка Штирнера, содержащая категорический отказ от всякого аналитического разложения или разрыва личности на более или менее существенные составные части и свойства. Отказ этот привел уже к признанию единственности, неповторяемости, бесконечной сложности, своеобразия, отрешенности и эмпирической ограниченности личности. Теперь этот отказ должен быть последовательно проведен в учение о *ценности* и *долженствовании*.

Верховной ценностью, определяющей весь ход разрушения и созидания в исканиях Штирнера, является именно конкретная единственная личность во всех своих перечисленных свойствах. Личность как верховная ценность берется целиком во всем своем своеобразии и во всей своей эмпирической полноте. В ней недопустимы разрывы на более ценные и менее ценные части и свойства. Она ценна, как таковая, сверху донизу, с душой и телом, во всей своей данности и наличности, без отбора и расслоения. Все учение Штирнера могло бы быть сведено к тому верованию и выражено в том требовании, что конкретный человек, со всем своим внутренним и внешним миром, «должен быть оправдан весь, чтобы можно было жить». Необходимо, по его мнению, «принять» *все* в эмпирическом человеке, не отвергая

одно в нем как зло и не одобряя другое в нем как добро. Истинная личность, ценная личность — не отвлечение, не понятие, а эмпирически цельная, живая личность: «der Mensch, wie er liebt und lebt[10]». Но ведь личность — это каждый; следовательно, *в каждом* ценно все как оно есть. Отсюда-то и вытекает у Штирнера *отвержение добра и зла*.

Ибо где же место добру и злу, если нельзя ценить одно как зло, а другое, в противоположность ему, как добро? Добро и зло можно понимать или как общие идеи, критерии оценки, отвлеченные масштабы, приспособленные для измерения всего другого, или как подведенный под них, оцененный и получивший от них свое самостоятельное значение материал эмпирического или иного характера, в нашем случае — живые части живой личности, ее внутреннего мира и внешних отношений. Но общие идеи, лишившиеся уже своей независимой реальности, лишаются у Штирнера и своей объективной ценности; а в живой личности нет «частей» и, следовательно, не может быть и *разноценных* частей. Добро и зло падают, таким образом, в обоих возможных значениях; они лишаются смысла вообще. Личность — это конкретная эмпирическая личность; личность — это высшая ценность; личность нельзя разрывать в рассмотрении и оценке. И вот эта «ценность» неразрывной конкретной эмпирической личности получает новое истолкование и освещение в смысле ее полного «оправдания», и из этого оправдания Штирнер думает вывести полное отвержение добра и зла, не только как объективных по своему значению идей-критериев, но всецело и вообще. В его учении обнаруживается *аморалистический уклон*.

Конечно, остается еще исход — именно, что идея этически ценного сохранит свое положение не как объективно значимая, а как *субъективно значимая*, т. е. как зависящая в своем значении от утверждения и признания ее отдельным человеком. Но Штирнер не всегда сознает, что этот исход не только возможен, но даже неизбежен для того, кто, отвергнув объективное значение ценности нравственного ряда, не желает в то же время впасть в *«моральную афазию»*. Ему нередко ка-

жется, что с этической ценностью он покончил, и притом раз и навсегда. Всех предшествующих ему моральных новаторов и скептиков он неустанно изобличает в том, что они низвергали и низвергли только *определенное этическое содержание,* только известную, специфически определенную, моральность, а не самую моральную ценность вообще, как таковую. Сам же он думает выполнить именно это последнее, окончательное низвержение. Он считает своей задачей «потрясти самую истину»*, напасть на «самую нравственность»**. Самое представление о нравственности*** должно быть истреблено и упразднено в людях, ибо нравственность — это есть некоторое преклонение, унижение и подчинение****, это есть появление чего-то высшего над самым высшим — конкретной личностью. Нет ценности, которая была бы выше самой высшей; а конкретная личность — есть самая высшая ценность. Поэтому все внешнее, предписываемое ей, утверждающее свою ценность, свое значение независимо от ее признания — низвергается и упраздняется. Моральное предписание Штирнер понимает именно как «внешнее»*****, он понимает «объективность» морального закона как *независимость его значения от признания конкретной личности,* а это независимое значение истолковывает в том смысле, что оно *утверждено* чьей-нибудь чужой, *внешней индивидууму волей.* Отсюда в его аргументации постоянно обнаруживающаяся склонность сблизить и даже слить нравственность с правом, как совокупность «внешних», навязываемых личности ценностей и норм******. Высшая ценность и есть высшая именно потому, что все остальное ценится через нее и благодаря ей «получает» свою ценность, посредственно или непосредственно, от нее. Поэтому все то, что претендует на независимое от признания конкретной личности значение — долг, цель, назначение, норма, оценка, заповедь, обязанность, обя-

* Der Einzige. S. 59.
** Ibid.
*** Ibid. S. 106.
**** Ibid. S. 98 u. a.
***** Ср., например: Ibid. Ss. 338—339.
****** Ср., например: Der Einzige. S. 262.

зательство, нравственность, право, государство, власть и т. д. — вычеркивается Штирнером самым решительным образом. Иногда он выражается так, что, по-видимому, не остается сомнений, что он отвергает не только оценку, раздробляющую личность на отдельные свойства и черты, не только оценку, не основанную на критерии, признанном со стороны личности, — но *всякую* оценку вообще, как таковую*. И непонятным делается в такие моменты диалектического увлечения, как можно, отвергая оценку, *как таковую*, ценность вообще, *как таковую*, утверждать потом *высшую* ценность чего бы то ни было. Штирнер не замечает этого противоречия и, увлекаясь последовательным отвержением всех норм, как таковых, пытается иногда истолковать даже те нормы и ценности, которые устанавливает сам, — в смысле *реальных тенденций* всякого развития или в смысле конститутивных *принципов* рассмотрения, *объяснения* или описания всего действительного и живущего**. Он наслаждается всенизвержением, изливает целые потоки блестящего остроумия и сарказма, кощунствует***, рисуется своим нигилизмом — и не замечает, что каждая строчка его книги несет в себе или логическую аргументацию, убедительность и победоносность которой апеллирует к теоретическим, мыслительным критериям ценности, или проповедь новых моральных ценностей, а иногда и то и другое вместе.

Интереснее всего при этом то, что, как мы только что указали, Штирнеру нет никакой необходимости отвергать всякую оценку, как таковую: он не только не доказал неизбежности этого вывода, но самое учение его предполагает, в том виде, как он его высказал, отвержение этой нигилистической позиции: ибо ясно, что последовательный нигилист не может выступать с каким бы то ни было положительным учением. Мы увидим сейчас, как совершается у Штирнера этот переход; предварительно проследим у него аморалистическую

* Ср., например: Ibid. S. 214.

** Ср., например: Ibid. S. 382. Также S. 201 — применительно к «самобытности» (Eigenheit).

*** См., например: Ibid. Ss. 52, 88, 117, 191, 215, 261, 281, 336.

линию. Штирнер додумывает ее местами до конца. Если человек не имеет «призвания» и назначения, то он *ни к чему* и не должен стремиться; если он не имеет «цели», то он ничего не *должен хотеть*; если он не имеет нормы, то он вообще свободен от всякого долженствования, внутреннего и внешнего; если нет для него ценности, то нет и моральной ценности, нет моральной оценки, нет в нем доброго и злого. В конкретной личности нет совершенного и несовершенного «Я», «Я» сущего и «Я», долженствующего быть*. Казалось бы, что на этом следовало бы остановиться, ибо дальше остается только движение в ряду конститутивного познания, позитивного рассмотрения, описания и объяснения. Но тут-то внезапный оборот мысли обнаруживает в Штирнере — скрывшегося за гордой формулой нигилизма — моралиста и проповедника. Нет добра и зла; следовательно, выводит он, *я — совершенен*. Но для того, чтобы сделать этот вывод, не нужно, да и нельзя говорить. «нет *добра и зла*»; достаточно сказать: «нет зла». Сказать «я совершенен» — значит сказать: «всё во мне или, соответственно, в каждом конкретном человеке — добро». Это значит произвести *оценку* и, следовательно, использовать критерий ценности. Тот, кто это проделал, обязуется, кроме того, если он не хочет попасть из этических скептиков или нигилистов в этические догматики, постараться не только вскрыть, но и обосновать использованный критерий. И во всех таких случаях утверждаемому, добру, всегда так или иначе логически противопоставляется — отрицаемое, зло. Ибо если в «конкретном человеке» нет зла, но все добро, то это не значит, что зла нет *вообще*. Если в сфере *конкретной личности* ничто не подлежит осуждению, то это *не* значит, что Штирнер вообще не осуждает ничего. Последовательно рассуждая, мы должны были бы сказать, что и в сфере конкретной личности Штирнер отвергает как осуждаемое, как зло, целый ряд внутренних и внешних состояний и переживаний, которые не воплотили еще в себе идеал «своеобразия», «эгоизма» и «самобытности». Но если так, если Штирнер знает добро и зло, одобрение и

* Der Einzige. S. 178, 262.

осуждение, то он вступает тем самым в область некоторого *положительного* нравственного учения и совершает переход от деструкции к конструкции.

И переход этот содержится уже всецело в утверждении *совершенства* конкретной личности. Смысл этого утверждения состоит, само собой разумеется, не в том, что «совершенным» объявляется некоторый отвлеченный, идеальный, подлежащий осуществлению «человек» или прообраз человека. Такое представление Штирнер отвергает как составляющее сущность религии и религиозного*. Поэтому-то он и указывает в одном месте, что «нет совершенного и *не*совершенного я»**, противостоящих друг другу. Нет. Человек совершенен как конкретная эмпирически данная, живая личность во всех своих свойствах и со всеми своими качествами. «Если религия, — говорит Штирнер, — установила суждение, гласящее, что все мы, без исключения — грешники, то я устанавливаю в противоположность ей другое: все мы, без исключения, — совершенны»***. «Все мы без исключения совершенны, и на всей земле нет ни одного человека, который был бы грешником»****. «Ибо в каждый момент мы — всё, чем мы можем быть, и нам и не нужно совсем быть чем-нибудь большим. Но так как в нас нет недостатка, то и грех не имеет смысла»*****. Совершенный, если он *совершенен,* не имеет ничего, что было бы совершеннее; путь *вверх,* к лучшему, не существует для него. Но не существует для него и пути вниз; ибо если бы совершенный мог совершить что-нибудь, что было бы хуже или ниже его природы, что было бы несовершенно, то он сам имел бы в себе, хотя бы в потенции, нечто несовершенное. Итак: совершенному закрыт путь как вверх, так и вниз. Он не знает и не может знать никаких уклонений с прямого пути своего совершенства. При этом совершенство его есть совершенство всего его существа: внешнего и внутреннего, воли и

* Der Einzige. S. 284.
** Ibid. S. 178.
*** Ibid. S. 420.
**** Ibid. S. 421.
***** Der Einzige. S. 420.

мысли, поступка и настроения. Ему ничего не может быть *позволено,* ибо позволенность предполагает, с одной стороны, запрещенность, с другой — «внешнюю» позволяющую волю; ему ничего не может быть и запрещено: ибо он — полное и свободное самоопределение сверху донизу*. Для него нет нормы, как и греха, ибо ему доступно только одно: самоопределение, вытекающее из недр его собственного совершенного существа. Он определяется к действованию *только своей внутренней природой и ничем больше.* И потому он — как Бог. «Если, — поясняет Штирнер, — говорят, что... Бог действует по вечным законам, то это относится и ко мне, ибо и я не могу вылезти из собственной кожи, но имею свой закон во всей моей природе, т. е. во мне»**. «О Боге говорят также, что он совершенен и не имеет призвания стремиться к совершенству. И это относится только ко мне одному»***. Конкретная личность получает, таким образом, в учении Штирнера известные атрибуты Божества, мало того, занимает во всей доктрине то положение «ценнейшего-реальнейшего» начала, образующего интимное средоточие мировоззрения, которое занимает идея Божества в религиозном миропонимании. Штирнер устанавливает это вполне недвусмысленно и открыто во вступлении к своей книге, указывая на то, что личность в его доктрине получит значение «всего во всем», тогда как обычно такое значение принадлежит Богу или человечеству****. При этом множественность конкретных личностей предполагает неизбежно признание множественности таких центров. Ибо если каждый, следуя указаниям Штирнера, признает себя совершенным и богоподобным центром, то для его мировоззрения, приобщившегося таким образом религиозному моменту, может возникнуть основная и, может быть, неразрешимая проблема всякой религиозной философии: проблема примирения между *множественностью и различием религиозных утверждений,* с одной стороны, и

* См., например: ibid. S. 128 u. v. a.
** Ibid. S. 190.
*** Ibid. S. 429, срв. еще на той же странице.
**** Der Einzige. S. 14.

притязанием каждого из них *на абсолютное значение* — с другой. Однако у Штирнера эта проблема не только не образует никаких затруднений, но даже не появляется вовсе, ибо для него с самого начала только и остается открытым путь того религиозного субъективизма, который впоследствии отстаивал Гюйо в своей «Иррелигиозности будущего». Исповедуя богоподобие или божественность своего эмпирического существа, каждый человек — по общему смыслу и духу его доктрины — не заботится о признании своего исповедания истинным со стороны других эмпирических личностей и не нуждается в этом, предоставляя им исповедовать божественность своих эмпирических сущностей и стараясь только использовать их возможно лучше и полнее через посредство свободно устанавливаемых и свободно разрешаемых «эгоистических» союзов и соединений. И здесь у Штирнера теоретическая, философская проблема опять отодвигается, или даже почти не ставится, как представляющая самостоятельный интерес, а на практическую — переносится весь центр тяжести.

Установление тезиса о человекобожестве является кульминационным пунктом в доктрине Штирнера. В утверждение того, что каждый эмпирический человек может и должен рассматривать себя, во всей своей эмпирической определенности, как Божество, лежит высший предел его посягания и в то же время наличность основного раздвоения и перелома всего учения. Ибо это утверждение, которое, с одной стороны, является как бы заключительным звеном логического определения личности, лежит, с другой стороны, в основании всего философско-конструктивного уклона доктрины. Из него последовательно вытекают все те дальнейшие предписания, которые придают учению Штирнера характер *положительной нормальной доктрины* и которые, по существу своему, оказываются первоначальными *логическими* определениями конкретной личности, получающими теперь значение *ценностных и нормативных* определений.

Так, если прежде термин «единственность» выражал неповторяемость конкретной личности, то теперь он получает новое значение: он выражает теперь *телеологическую исключительность* эмпирического человека.

Каждый человек единственен так, как единственно высшее вообще, как единственна *высшая цель,* как единственен центр мировоззрения — Божество. Для него нет в его желаниях, стремлениях, поступках ничего высшего, чем он сам: он ни для чего другого, все — для него; такова его точка зрения. В этом смысле он и оказывается «das Nichts von allem Andern[11]»*. «Что же, в конце концов, может быть исключительнее, — спрашивает Штирнер, — чем исключительная, единственная личность!»** И от нее только зависит, сумеет ли она, и насколько она сумеет, использовать мир и заставить его служить себе как средство — высшей цели. Для достижения этого человеку открыты все пути и разрешены все средства***. Именно для того, чтобы призвать каждого к такому телеологическому перемещению центра, Штирнер и производит это неустанное разложение и ниспровержение, обесценивая все, что может стать или уже стоит на пути к такому перемещению: создать пустоту в душе, опустошить ее ото всего другого с тем, чтобы затем заселить ее новой жизнью и новым содержанием, — вот цель его критики. Деструкция, предпринятая им в его книге, осмысливается при таком понимании как необходимый этап для последующего созидания, и соотношение разрушающей и созидающей частей его доктрины напоминает в своей *формальной схеме* мистический путь Мейстера Экхарта. Пусть, учил тот****, все умрет в человеческой душе, весь мир, все понятия, все чувства и представления; и тогда, когда она дойдет до полной отрешенности, тогда Бог войдет в нее и овладеет ею, и все воскреснет в ней вновь, но уже в аспекте Бога. Это умирание всего, чуждого высшей ценности, и стремится вызвать в человеческих душах Штирнер, подходя к ним для этого извне со своим нещадным анализом и сарказмом; и, пройдя с ними этот этап, он призывает их потом к новому заселению образовавшихся пустот и каверн, к заселению новой ценностью, подлежащей

* Der Einzige. S. 14.

** Ibid. S. 159.

*** См., например: ibid. Ss. 195, 229 и др.

**** Meister Eckehart. Schriften und Predigten. Leipzig, 1903. B. I. Ss. 9-23, 24-31 u. a.

культуре и ращению, своеобразной, самобытной, совершенной, единственной личностью-божеством.

И вот, если нормативно понятая единственность получает по направлению *вовне* значение телеологической исключительности, подлежащей открытому установлению и последовательному проведению со стороны каждого в своем внешнем поведении, то по направлению *вовнутрь* она получает значение нормы, предписывающей культивирование известных форм внутренней жизни. *Центростремительность* устанавливается как должная форма отношений к другим личностям и как должная форма жизни в изолированно-взятой душе отдельной личности. Здесь она получает значение призыва к *самобытности* (Eigenheit).

Если первоначально каждый индивидуум, как таковой, как бесконечная сложность эмпирически сочетавшихся свойств, мыслился в силу этого, по самой конститутивной сущности своей, как *уже* самобытный, то теперь он получает в самобытности указание на что-то, еще *подлежащее* выработке и созданию. Самобытность есть основной вывод из предписания телеологического примата и исключительности, предписание центростремительности: отделения в себе того, что составляет «меня», от того, что мне чуждо, и последовательного предоставления первенства и господства во внутренней жизни «моему», «собственному». Внутренняя жизнь должна быть целиком согласована с тем, что «мое»; она должна быть сплошь заполнена «собственным». Все, что *не* «моя собственность», должно быть отмечено в этом своем качестве и получить новое освещение и подчинение через приобретение свойства «моей собственности». Вот почему Штирнер говорит, что поставить себя по отношению к чему-нибудь «ganz eigen[12]» — значит предпринять «разрешение и истребление объекта»*. В этом же смысле, но по отношению к «объективным нормам» он ставит самобытность в один ряд с анархией и беззаконностью**; в этом же смысле он

* Der Einzige. S. 79: «eine Autlösung und Verzehrung des Objekts».

** Ibid. S. 126.

требует, чтобы «ты, я, мы» стали свободны от всего, что не Ты, не Я, не Мы*, с этой точки зрения он определяет самобытность как *действительность*, которая «сама устраняет от себя как раз столько не-свободы, сколько ее стоит в виде помехи поперек дороги»**. То, что остается у самобытного, — он принял сам, это — его выбор, его *изволение****. Свобода есть самоосвобождение; я могу иметь лишь столько свободы, сколько я сам добуду себе через свою самобытность*****. Отказавшись, таким образом, от всякой недобровольной, непризнанной им самим связи, самобытный становится, или стал, точнее, *должен стать* в глазах того, кто несамобытен, — необузданным, преступным «Я»******, он имеет в виду только себя******* и заботится только о хотении и нехотении своего «Я», о «Befriedigung des ganzen Kerls[13]», как выражается Штирнер. И в повторное, неутомимое описание того, какова самобытная личность в своем внутреннем и внешнем поведении, Штирнер непрестанно вводит и сплетает элементы призыва, проповеди, нормы и т. д. Напрасно он оговаривается местами********, что самобытность не идея, не норма, а только «описание» самобытного; наряду с такими оговорками он оказывается не в состоянии скрыть того, что мнит себя приносящим *новое практическое, освобождающее человеческий мир учение*. Вся книга его, все распределение материала в ней пропитаны тем представлением, что эта книга начинает собою новую эпоху, и весь обзор предшествующей истории философии обнаруживает тенденцию — расположить материал в *восходящем* порядке: последнюю ступень этой лестницы представит учение Штирнера. И если действительно он хочет сказать только то, что самобытные *фактически* эгоистичны, что эгоизм есть фактически действующая во всех сила, или соответствую-

* Ibid. S. 192.
** Ibid. S. 193.
*** Ibid.
**** Ibid. S. 197.
***** Ibid. Ss. 233, 236 u. a.
****** Ibid. S. 269 u. a.
******* Например: Der Einzige. S. 201.

щий всеобщий принцип объяснения всей человеческой деятельности*, то откуда же наряду с этим призывы, устанавливающие долженствование: «Стряхните это! Не ищите свободы, которая непременно лишит вас самих Вас в самоотречении, но ищите самих себя, станьте эгоистами; пусть каждый из вас станет всемогущим Я»**. Или: «Почему Вы не хотите собраться с духом и сделать *себя* совершенно и вполне центральным пунктом и главным делом»***. Или еще: «Освободи себя настолько, насколько ты можешь, и тогда ты сделаешь свое дело»****. Или: «Пусть каждый возвратится в себя»*****... и т. д.

Долженствование, которое Штирнер устанавливает, не имеет, конечно, ни трансцендентального обоснования, ни категорического характера; но оно имеет в известном смысле всеобщее значение — ибо оно обращено ко всякому конкретному человеку, как таковому; оно имеет характер нормы и получает значение критерия оценки. Если самобытность лучше, чем подчинение другому, если эгоизм лучше, чем самоотверженная любовь к ближнему, если неустанное критически-протекающее самоопределение, самодеятельное творчество лучше, чем покорное догматическое рабство всеобщему-отвлеченному (идее) и всеобщему-конкретному (обществу, государству), если сила, дерзание, ниспровержение — лучше, чем слабость, робость, преклонение и т. д. и т. д., то самая наличность таких суждений дает основание говорить об оценке и ее критериях. У Штирнера не может не обнаружиться потребность в органическом примирении двух тезисов: с одной стороны, «все совершенно в каждом конкретном человеке», с другой «есть состояния лучшие, недостигнутые, рекомендуемые». Штирнер не дает этого примирения, и в его учении параллельно уживаются различные уклоны: во-первых, *аморалистический*, во-вторых, моралистически-всеоправдывающий и, в-третьих, моралистически-проповеднический и, следо-

* См., например: Ibid. Ss. 343, 351.
** Ibid. S. 194.
*** Ibid. S. 189.
**** Ibid. S. 167.
***** Ibid. S. 269.

вательно, осуждающий. Ибо он знает не только один положительный результат от применения критерия ценности, но и отрицательный; не только всеобщее одобрение и одобряемое, но и осуждение, и осуждаемое. Это осуждение, каким бы термином оно ни передавалось, — «слабость», «связанность», «рабство», «чуждость» и т. д., — падает при этом прежде всего во внутренний мир людей: осуждаются здесь именно волевые и эмоциональные (хотя и не они только) содержания людских сознаний и вытекающие из них способы внутреннего и внешнего действования*. Иными словами, Штирнер знает и практикует *моральную оценку,* он знает в людях морально осуждаемое и морально одобряемое; моральная ценность делается в его устах постоянно предметом проповеди**, предметом призыва и нормативных суждений. С этим вместе обнаруживается одно из основных противоречий в его учении: или все конкретные люди действительно совершенны, но откуда же тогда одобрение и неодобрение, зачем же звать их к лучшему, откуда проповедь и т. д.? Или же конкретные люди в действительности не так уже все вполне «совершенны» и каждый из них может все-таки стать чем-то большим и лучшим, — например, более свободным, самобытным, менее рабствующим, более самоопределяющимся и т. д., — чем он есть на самом деле. Но тогда как же утверждать его совершенство и неспособность его стать чем-нибудь большим и лучшим?

И вот, если «конкретность» личности состоит, по Штирнеру, в том, что она есть некоторая реальность с бесконечным множеством определений и сторон, рационально неисчерпаемых, а самобытность должна усилить именно эту потокообразность личности, заставить личность неустанно стремиться вперед в разрушении найденных самоопределений и в обретении новых, то невольно возникает вопрос, не намечается ли у Штир-

* Мы можем условно удовлетвориться здесь этим для наших целей достаточным попутным определением морального, по отличию в оцениваемом объекте.

** Ср., например: Der Einzige. Ss. 117, 150, 167, 168, 189, 190, 193, 194, 197, 223, 240, 269, 289, 300 u. v. a.

нера новое понимание *конкретности* как известным образом усовершенствованного, *идеального* способа существования? Штирнер нигде не дает этого тезиса в готовом виде, но он намечается сам собой в результате нашего анализа. С одной стороны, каждый единственен, ибо неповторяем; с другой стороны, — каждый *должен* стать «единственным», т. е. познать в себе свою цель, провозгласить свою телеологическую исключительность. С одной стороны, каждый бесконечно сложен, ибо эмпирически конкретен; с другой стороны, он должен усилить в себе момент сложности культивированием в себе изменчивости и легкого, свободного саморазрешения. С одной стороны — мы все бессознательно эгоисты; с другой — мы все должны открыто и сознательно стать эгоистами и т. д. Если мы условимся теперь объединить вместе с Штирнером все определения личности в термине «единственности», то мы должны будем сказать, что «единственный» у Штирнера — это, с одной стороны, каждый конкретный человек как он есть, с другой — это есть *нормативно мыслимая полнота и завершенность* тех свойств, из которых слагается самое мыслимое существо конкретной личности. То, о чем мы говорили вначале по поводу обращения фактического в нормативное, и совершается у Штирнера. Основные черты, определявшие сущность фактически существующей конкретности, получают теперь нормативный уклон и значение. «Всякий человек единственен, эгоистичен и т. д., и постольку ценен», — вот его первоначальный тезис; «всякий человек *должен* быть единственным, эгоистичным и т. д., и постольку *будет* ценным»*, вот тезис его после обращения. В известном, выясненном ранее смысле каждый человек единственен; в новом же смысле единственны лишь очень немногие, хотя *должны* быть единственны все. «Конкретная» личность со всеми этими обновленными свойствами получает значение *критерия ценности* и далее превращается в *нормативно-регулятивную* идею. Этой-то идеей и определяется отрицательное и положительное учение Штирнера.

* Der Einzige. S. 194 u. a.

В то же время в соответствии с тем, что появляется новый критерий ценного и неценного и что образуются новые нормы внутреннего и внешнего поведения, — оказывается, что новое ценное или должное сохраняет вполне так называемый «формальный» характер, иными словами, из этой новой ценности и из этих новых норм совершенно нельзя вывести, как из таковых, определенных правил для единичных личностей и их единичного действования. В моральном предписании или, если угодно, призыве, установленном Штирнером, содержатся только определенные, общие, основные требования, подлежащие исполнению, и исполнение их одних гарантирует индивидууму одобрение со стороны штирнеровской морали. Эти требования могут быть формулированы в виде одного единого следующим образом: *должно быть налицо из глубины души идущее, свободное изволение ничем, ни внешним, ни внутренним, нестесненного, самоутверждающего индивидуума, изволение, последнею целью которого является его собственное так или иначе определенное благополучие.* Ничего большего не дает и не требует моральное учение Штирнера. Все остальное предоставляется субъективному, эмпирически определенному и, в принципиальном отношении, случайному заполнению со стороны индивидуума. На *что* должно быть направлено это изволение, или, соответственно, *в чем* индивидуум должен видеть свое благополучие — этого учение не устанавливает. Да это и несущественно. к чему бы оно ни было направлено, в чем бы ни усматривалось это собственное благополучие — если налицо формальное общее условие «самоопределения», то моральность в поступке дана. Этим учение Штирнера отличается самым резким образом от тех доктрин, которые, исповедуя моральный эгоизм, наделяют его известным обязательным содержанием, например, от морального учения Аристотеля.

Этот моральный «формализм», с одной стороны, создает Штирнеру возможность воспринять в свое учение содержание норм обычной морали, с другой стороны, он вызывает известный вопрос, по-видимому, им не предвиденный. Оказывается, что многие ценности, упраздненные Штирнером с такой категорической по-

бедоносностью, оживают опять, но в новой форме. Так, «любовь к ближнему» принимается, но в рамках эгоистической самобытности: т. е. любовь отвергается как объективно-обязательная заповедь любви, как норма, и утверждается как свободное самопочинное движение души, лишенное всякой тени долга*. Критерий этой самопочинности — постоянная наличность *возможности самоосвобождения***. Точно так же нравственный закон вообще отвергается как объективная ценность, как чуждое, навязанное, внешнее; но «самоопределение» личности остается, и притом именно не как хаотическое только, не регулированное ничем метание, а как ряд правил, установленных личностью для себя самой. Правда, эти правила теряют свое связующее значение в тот момент, когда личность отказывает им в своем признании, но в период признания — они остаются добровольно принятою *обязательностью,* связью. Так, самобытная личность несет у Штирнера только то, что она для себя выбрала и на себя наложила, но то, что ею признано, — то уже ее выбор и изволение*** и, следовательно, имеет для нее известное значение. Штирнер говорит, например, о нравственном значении свободного обещания: «Позорно обмануть доверие, которое мы вызвали по своей доброй воле»****. Или: «Честное слово, клятва представляют что-нибудь лишь для того, кого я уполномочил принять их»*****. Отсюда напрашивается вывод: если я уполномочил кого-нибудь на принятие обещания, т. е. обещал добровольно, то обещание имеет для него, а следовательно, и для меня известное значение. При этом, конечно, Штирнер не устает напоминать, что и любовь, и элементарная честность имеют оправдание только при эгоистическом обосновании и вне его пусты и мертвы для самобытного эгоиста; но хотя и с этой оговоркой и под знаком субъек-

* См.: Der Einzige. Ss. 98, 301, 335, 336, 339, 340, 341, 342—344, 345.

** Ibid. S. 340.

*** Der Einzige. S. 193, см. выше.

**** Ibid. S. 353.

***** Ibid. S. 355.

тивного признания, но убитые ценности все же воскресают вновь, *разрушение* не совпадает здесь с *уничтожением*, и учение Штирнера получает от этого в своем целом значительно скрашенный вид.

В связи с этим стоит некоторое затруднение, вытекающее для этой доктрины из ее вышеуказанного морального формализма. В самом деле, если момент свободного самоопределения гарантирует, как таковой, независимо от эмпирического содержания, моральность акта, то невольно возникает вопрос, сохранится ли, по учению Штирнера, моральная ценность за такой личностью, которая свободно обретет свое самоопределение в самоотречении, в *отказе* от самоопределения и от свободной самочинности? Штирнер нигде не касается этого затруднения; он как бы постоянно проникнут верой в то, что самоопределение есть та форма внутренней жизни, которая наиболее соответствует сущности человеческой души. И в этой вере в возможность найти *единую всеобщую* наилучшую *форму* жизни, могущую *удовлетворить всякого и вскрыть в каждом лучшую из его потенций*, звучит один из тех предрассудков, которые свойственны всем утопистам, не учитывающим иррациональное, алогическое в данном им материале человеческих душ, переносящим центр тяжести на априорную, нивелирующую схему. Это, конечно, не единственная черта, роднящая Штирнера с другими утопистами.

Так приходим мы в общем и целом к подтверждению той характеристики, которую мы установили вначале применительно к Штирнеру. Конструкция представлена в его учении, хотя и не в той разработанности, как деструкция. И если можно вообще рассматривать аморализм не как окрашенность в умонастроении и не как один из уклонов, представленных в известной доктрине, а как полное и законченное учение, отрицающее целиком моральное, как таковое, как особую сферу ценностей и, может быть, даже как особую область исканий, — то Штирнера нельзя признать аморалистом. Последовательный аморализм выливается неизбежно в моральный нигилизм, а при последовательном проведении — в «моральную афазию», и всякое нарушение этой последовательности обнаруживает неизбежно всю ту совокуп-

ность затруднений, в которую попадает мыслитель, раз вступивший на этот путь. У Штирнера аморализм образует лишь один, не преобладающий и не проведенный последовательно уклон, и этот уклон доктрины нельзя принимать за ее сущность в целом.

М а р к е л о в Г. **Личность как культурно-историческое явление. Этюды по истории индивидуализма. Т. 1.** СПб., 1912. Стр. 240. Ц. 2 р.

Взгляд автора на задачу и значение его книги расходится с тем впечатлением, которое оно производит при чтении. Подготовляя «большой труд по истории индивидуализма» (стр. 4), автор выпускает в свет «подготовительные этюды» к нему; задачей этих этюдов является дать «историю эмансипации личности, историю индивидуализма в философии, религии, искусстве, праве» (стр. 4) или, иначе, «общий абрис истории духовной культуры» (ibid.). Автор понимает, что ему «приходится быть знакомым с самыми разнообразными проявлениями человеческого духа — философией, наукой, религией, искусством»; но это его не смущает и не останавливает, и он предупреждает, что будет «пользоваться историческим материалом лишь по мере надобности» (ibid.). Из вступительных разъяснений обнаруживается еще, что автору предносится начертание философии истории с точки зрения освобождения в истории личности; при этом проблема культуры совпадает для него с проблемой индивидуализма (стр. 3) и «человек» объявляется «мерилом культурных ценностей» (стр. 2). Книга распадается на 7 глав, посвященных Египту, Китаю, Индии, Израилю, Греции, Риму и христианству.

Из чтения книги г. Маркелова выносишь впечатление, что она может служить недурным подспорьем для тех, кто *впервые* начинает знакомиться со всеобщей историей, но при условии, что наряду с этой книгой будет прочтено что-нибудь более серьезное в научном отношении и более содержательное в философском отношении. Изложение автора движется по методу, смешанному из непринужденной интуиции и освобожденной от подтверждающих и проверяющих ссылок компиляции. В результате каждая глава представляет собою элементар-

ный очерк соответствующей культуры, суммарно и всегда в самых общих чертах ее характеризующий. Сколько-нибудь самостоятельного анализа было бы напрасно искать. К этому присоединяется одно существенное недоумение, остающееся у читателя: почему эта книга объявлена автором историей *индивидуализма*, когда об индивидуализме в ней говорится поразительно мало. Задача, поставленная в начале книги, незаметно распыляется, теряет свои очертания и почти не приближается к разрешению от характеристик, даваемых автором. К тому же внимательный и немного более осведомленный читатель наверное удивится, узнав, например, что в Греции «человеческое достоинство ни в ком не было унижено» (стр. 88), что «грек был плохой политик» (стр. 101), или, прочтя, например, на стр. 7, что «политические установления, и науки, и искусства — все это в конечном счете определялось для египтянина религией и освещенными последней обычаями», а на стр. 17, что «из самого характера египетской религии с очевидностью становится ясным, что она не могла быть сильным фактором в земной жизни в смысле развития тех или иных форм последней». После этого более осведомленный читатель поспешит, пожалуй, предупредить начинающего, что при пользовании книжкой г. Маркелова нужна осторожность.

Нам думается, что самый замысел автора грешит против того такта, который должен быть присущ научному исследователю: есть темы, которые требуют так много сил и знания, что приступать к ним нужно с чрезвычайной обдуманностью и бережностью.

А. Л у н а ч а р с к и й. **Религия и социализм. Том II.** Изд. «Шиповник». СПб., 1911. Стр. 398. Ц. 3 р.

Книга г. Луначарского представляет собою памфлет, написанный бойким публицистом на тему, требующую разносторонних и серьезных познаний, самостоятельного и объективного анализа, гибкой, но дисциплинированной интуиции. Это сочетание темы и ее трактования уже само по себе ставит читателя в положение какой-то затруднительной раздвоенности и во всяком случае делает излишней научную критику такого произведения.

Г. Луначарский делает в этом, втором, томе своей обширной брошюры исторический смотр самым различным видам соединения религии с социализмом, с тем: 1) чтобы установить, что «научный социализм» есть высшая форма религиозности, полагающая центр не в Боге и не в личности, а в коллективе, «*вокруг*» (*курсив рецензента*) которого «личность вращается», но с которым она «чувствует свое коренное единство» (стр. 338); 2) чтобы выяснить с точки зрения «людей пролетарского чувствования» (стр. 67), насколько и чем именно «полезны», «вредны» и «опасны» (сравните, например, стр. 210, 229, 259, 166, 169, 173 и многие другие) все иные религиозно-социалистические воззрения.

По прочтении этого произведения не остается сомнений, что автор его действительно и искренно интересовался своей темой, что он неуклонно боролся на протяжении всей работы с прорывающимся в нем от времени до времени религиозным настроением и что он прочел довольно много разных книг, прежде чем написал свое произведение. И несмотря на все это его работа может представлять интерес разве только для «партийных» людей. Ибо, с одной стороны, весь материал, привлеченный им, или взят из вторых рук и компилирован, или же сильно упрощен и искажен в темпераментно-полемической передаче, столь характерной для г. Луначарского (например, страницы, посвященные гностикам, 73—74 и другие, или немецким идеалистам, 243, 244, 252, 257); полное отсутствие точных ссылок на подлинные источники и манера излагать «свое» вперемежку с «чужим» делают какую-либо точность и проверку невозможными. С другой стороны, оценка по степени вредности или просто «партийной» приемлемости первенствует настолько, что автору прочее и не очень важно. Не столько важно, *что* думал Кант, а важно, что думал он *плохо*. Таким образом, для научной культуры эта книга мертва и безразлична.

Сергей Воинов. **Христианство и культура.** М., 1911. Стр. 146. Ц. 80 к.

В этой книжке изложено целое религиозное мировоззрение, изложено искренно и живо; многое оставлено, конечно, лишь намеченным и невыясненным. Автор

начинает с философско-исторической концепции и кончает морально-практической. Пытаясь сблизить библейские сказания при помощи их аллегорического истолкования с основами эволюционной теории и ссылаясь повторно на суждения отцов церкви, он признает, что за первоначальным блаженным состоянием первых людей последовало грехопадение, состоявшее в решении достигнуть истинно-богоподобной жизни *внешним* способом; это грехопадение первых людей повлекло за собой утрату ими внутренней гармонии, прикованность к чувственному способу познания, возобладание низших душевных и физиологических потребностей и частичное подчинение природному процессу. Однако путь вверх не был закрыт окончательно павшему человеку, и от него самого зависит выбрать истинное и ближайшее направление к цели. Путь *культурного творчества* — материального и духовного — есть путь долгий, ненадежный и содержащий в себе порок внутренней противоречивости: нельзя выйти из-под власти низшего бытия, оставаясь в его сфере, не отрекаясь от него, удовлетворяя и утончая свои «потребности» только для того, чтобы они проснулись затем с новой силой. Сами по себе безразличные, культурные завоевания обслуживают человека, устремившего свой путь на земное, на низшее и греховное, и потому они подобны «ножу в руках разбойника». Христианство открыло человеку иной путь, «*прямой путь богоподобления*». Вступая на него, человек должен перестать интересоваться культурой и ее созиданием, он должен отречься от голоса своего низшего существа и осуществить последовательно полный аскез, доходящий до изгнания всякой чувственности, игр, смеха, изящества жизни. «Жизнь должна быть обеднена внешне, чтобы обогатиться внутренно».

Трудно обсуждать воззрения автора по существу в кратком отзыве. Затронутые им проблемы слишком существенны и значительны и требуют самостоятельного рассмотрения; таковы, например, вопросы о происхождении зла в мире и о сущности зла, о сущности и ценности культуры, о моральной и психологической сущности аскеза и др. Все эти вопросы автор или разрешает мимоходом, или совсем не касается их. Может быть, именно поэтому труд его носит печать некоторой

суммарности и, если угодно, наивности. Попытка согласовать библейские сказания с эволюционной теорией несостоятельна теоретически, чужда основной религиозно-моральной концепции и только излишне обременяет собою изложение этой последней. Далее читатель невольно выносит впечатление, что в основе аскетического настроения автора лежит, с точки зрения психической, его собственное неумение или неспособность жить в восприятии *истинного, прекрасного* и естественного (т. е. *природного*) так, как он живет в устремлении к *моральному* совершенству. Религиозное содержание оказывается в его понимании близким только нравственности, и моральная одухотворенность человека выдается за одухотворенность par excellence[1].

Е. С п е к т о р с к и й. **Александр Львович Блок[1], государствовед и философ.** Варшава. Печ. по опред. совета унив. 1911. Стр. 60.

Очерк, посвященный научному жизнеописанию русского ученого и профессора, мало известного широким кругам интеллигенции, но сыгравшего видную роль в университетском преподавании Царства Польского, заслуживает живого внимания со стороны читателя. Отец поэта А. А. Блока, бывший руководитель профессоров Тарановского и Спекторского, покойный занимал в течение 31 года кафедру государственного права в Варшавском университете. В 1874 г. он был оставлен при Петербургском университете проф. А. Д. Градовским за сочинение на тему «О городском управлении в России». В 1876 г. он выдержал магистерский экзамен, о котором Градовский отзывался с большой похвалою. В 1880 г. он защитил первую диссертацию о Лоренце Штейне[2], в 1884 г. вышла его вторая книга «Политическая литература в России и о России». С 1888 г. покойный не печатал ничего, кроме нескольких рецензий; он работал в течение этих двадцати с лишком лет над трудом, посвященным общей классификации наук. Труд этот, быть может, увидит свет в будущем.

В краткой заметке не место, конечно, входить в обсуждение тех работ покойного, которые вышли в свет при его жизни. Характеристику его идей читатель найдет у

Л. Слонимского в III томе «Критико-библиографического словаря русских писателей и ученых», у Н. Болдырева в «Журнале Министерства народного просвещения» (1910, № 3) и у автора настоящей брошюры. Последняя представляет интерес не только как живо и ярко написанная апология научной индивидуальности, но и как опыт характеристики тех этапов, через которые прошла русская государственная наука.

В рядах последней покойный принадлежал к позитивистическому крылу. Последовательный позитивист в понимании научных задач и конституционалист в практической политике, А. Л. Блок, согласно характеристике г. Спекторского, был одним из тех людей, которые в силу своей разносторонней одаренности и душевной подвижности не укладываются в рамки одной определенной профессии, и объективные проявления которых неадекватны скрытой за ними внутренней жизни. Такие люди, если им приходится жить в эпохи безвременья, в стране с неразвитой общественной самодеятельностью и дифференциацией и с невысоким, неустойчивым научным уровнем, оказываются предоставленными исключительно самим себе, и найти то научное и жизненное творческое место, которое дало бы им возможность развернуть *все* их духовное содержание, становится для них почти невозможным. Мысль историка со скорбью остановится перед этим вопросом: отчего в русской науке живые и одаренные люди с таким трудом находят свой творческий путь и погружаются иногда на долгие годы в какое-то сосредоточенное и томительно-выжидательное молчание?..

Проф. Леопольд Визе.[1] **Сущность политической свободы.** Перев. с немец. А. Малинина. М., 1911. Стр. 31. Ц. 25 к.

В брошюре проф. Визе говорится не о *сущности* политической свободы, как можно было бы ожидать по заглавию, а о тех условиях, при которых она является осуществимой и сравнительно более прочной. Автор стремится выяснить, что последовательное осуществление как аристократической организации государства, так и демократического строя, как свободы, так и равенства, — ведет к реакции и социальным конфликтам, и приходит

к тому не слишком новому и самостоятельному выводу, что спасения нужно искать в «чувстве меры» и в организации государства, «смешанного» из «монархии, аристократии и демократии».

Слабой стороной брошюры является отсутствие подхода к проблеме *по существу*. Прошло уже то время, когда можно было говорить «свобода», «равенство», полагая, что всем известно, что это такое, и ныне можно быть уверенным, что здесь всякая неясность в мысли неизбежно отмстит за себя. «Стремиться к идеалу равенства — значит, в сущности, идти против природы!» — восклицает автор. «Вводить равенство — значит нивелировать и принижать до среднего уровня все стоящее выше его». Остается недоумение: какое же равенство столь противоестественно и пагубно — равенство ли в объеме и гарантированности «неотъемлемых» прав личности? или равенство в количестве и качестве труда? или же равенство в потреблении? или равенство в «активных» политических правах, например, равенство в голосовании? или имущественное равенство? равенство ли в воспрещаемом? или в предоставляемом? или же равенство в житейском смысле — культ одинаковости?

Брошюра интересна отдельными верными замечаниями и указаниями: признан известный кризис, переживаемый либерализмом; верно отмечено принципиальное значение победы демократического начала (стр. 22) и верно, хотя и смутно, намечена судьба аристократического принципа, имеющего не погибнуть, но возродиться в основном критерии отбора «лучших». Автор в основных воззрениях своих следует политике Аристотеля, сохраняя даже ее классификации. Чтение брошюры может иметь свою пользу. Перевод ее выполнен хорошо.

Россия и латинство. Сборник статей. Берлин, 1923. Стр. 219[1].

Среди множества книг, выходящих в русском рассеянии, настоящий третий сборник статей, выпущенный группою «евразийцев», заслуживает исключительного внимания и сочувствия. На этот раз замысел, объединяющий авторов, нельзя характеризовать как «симпатичный», «прекраснодушный», «увлекательный»; нет,

замысел *зрелый* и *значительный*; проблема определенная и центральная; ответ мужественный и верный, хотя и чисто отрицательный, воинственно-отвергающий. Может быть, потому и определенный и верный, что отрицательный; но ведь всякое определение должно начинаться именно с отрицания. В наши же дни произносить религиозно-цельное и сильное «нет» есть первое, что необходимо. И из чем большей глубины, из чем большей предметности будет сказано это «нет», чем больше любви будет в отвергающем огне, тем осуществимее будет прозрено в «да». В наши дни идеологическое творчество должно быть как никогда сосредоточенно-интенсивным, непритязательно-самоурезывающимся, подлинно-опытным, шахто-образным. Надо начинать с огненного, на смерть идущего «нет»; и потом медленно, очистительно, осторожно проникать взором в самые корни этого религиозного героизма. Иначе выйдет не идеология, а беспочвенное мечтание или выдуманные конструкции.

Авторы настоящего сборника *правы* в самом существе своего отвержения: в настоящее время нет никаких оснований для соединения церквей — православной и католической. Самое обсуждение этого вопроса является ныне *лицемерием* со стороны католика и *малодушием* со стороны православного. Обе стороны, если они обсуждают «религиозную унию», обсуждают унию *не религиозно*, ищут *не*религиозного единения и потому обманывают друг друга и сами себя. Католик не может и не хочет дать православному то, что обещает (волевую силу религиозного бытия); а православный не может взять у католика то, чего ищет, ибо искомое он может найти *только в самом себе*, только *извлечь из себя самого*. Зато католик непременно постарается сообщить православному все вековые недуги своей религиозности (для того замышляет и унию), а православный актом унии предаст всю глубину и чистоту своих древних достижений. Это значит, что самая идея «унии» порождена в наши дни тем, катастрофически легко объяснимым, измельчанием и ослеплением душ, в силу которого все говорят о *средствах* и *путях*, забывая о *цели* и об *идее*, подменяя священную цель — отрицательной тактической задачей («чтобы того-то не было»), отдавая главное за подчи-

ненное и предавая вечное за временное. Это ослепление обнаруживается во всех областях духовно-культурного строительства и, конечно, всего противоестественнее, всего непростительнее оно в сфере религии. Ибо в религии больше, чем где бы то ни было, *все* временное должно быть насыщено вечным, *все* внешнее получает свое значение от главного, все есть живая риза и живой знак божественного.

Вот почему настоящий сборник является актом необходимой религиозной и *национально-религиозной самообороны*. Пришла пора восстановить многовековые окопы, ограждавшие русскую православную церковь от в высшем смысле беспредметных и, следовательно, противорелигиозных посяганий католичества. Необходимо вспомнить и зорко рассмотреть безбожную природу этих посяганий, разрушительную для веры и духа: католичество искони предпочитало причисленного к своей церкви атеиста — подлинно, но автономно верующему православному; оно и теперь готово отдать родовую глубину религиозности и христианства за видовые черты латинства, так, как если бы *безрелигиозный* и *противо-христианский* униат-латинец оставался религиозно-измеримой и осмысленной духовной величиной. Папский престол, как и четыре века тому назад, не ценит и не бережет ту духовную природу религиозности и христианства, в силу которой человеку свойственно *быть*, а не считаться; *любить*, а не бояться; *видеть*, а не ослеплять себя; *гореть*, а не ожесточаться; быть *сыном*, *а не рабом*. И не усматривая этой природы, папский престол строил и строит католичество принудительной регистрацией и страхом, ожесточением и слепотою, косностью и покорностью. И потому он, зная, что в эпоху духовного расцвета православные не начнут униатствовать, выбирает для своей «святой» пропаганды именно эпохи упадка, смуты и шатаний. И именно в такие эпохи спокойное, мужественное разоблачение его «религиозной» политики является совершенно необходимым. Ныне, как в старину, папский престол сумеет найти себе ловкого агента в любой организации: и в крайних течениях, и в центре; и такого, который будет призывать к монархии, и такого, который учредит Общество Возрождения самостийной Украйны на основах

униатства (как в настоящее время в Вене)... Борьба с этой пропагандой должна вестись и отрицательно и положительно. Отрицательно — критикой и разоблачением, открытым установлением правды в сфере догмы, истории и текущих событий. Положительно — противопоставлением католицизму. с одной стороны, основ подлинной религиозности, как таковой (задача философии религии), с другой стороны, основ русского православия (задача исторической апологетики), с третьей стороны, активной творческой работы над своим собственным религиозным опытом, над возрождением в нем подлинной религиозности, подлинного христианства и подлинного православия.

Авторы настоящего сборника поставили перед собою только отрицательную задачу. От этого их работа и выиграла и проиграла. Она выиграла в определенности, воинственности и остроте, она проиграла в философической глубине, национальной и конфессиональнои апологетической зоркости Неприемлемость «унии» вскрыта и установлена, но обреченность традиционного католицизма, но преимущественная правота православия, но историческая — религиозная, государственная и жизненно-бытовая — мудрость *русского* православия остались незатронутыми и необнаруженными. Но именно поэтому сборник, дав в известных пределах удовлетворение и грань, не вызывает в душе чувства силы, зоркости, постижения и уверенности. Авторы совсем не касаются (может быть, и в силу недостаточной осведомленности) той трагической катастрофы, которую переживает личный состав (священства и мирян) православной церкви в России, той катастрофы, которая побуждает одних говорить о кризисе (якобы) всего православия, а других повергает в отчаяние и в униатствующее смятение. Эту катастрофу необходимо признать, как наличную, измерить опытом, взором и разумом ее глубину, и только тот, кто сможет и сумеет это сделать, только тот найдет настоящий подход к религиозному строительству в России, ибо ему откроется до глубины и недуг настоящего, и природа подлинной, все более утрачиваемои человечеством, *целостной* религиозности, и древняя мудрость, сила и слава восточного христианства.

Было бы, может быть, несправедливо требовать всего этого от одного, в сущности, наскоро написанного, негативно и практически задуманного сборника. Тут предстоит еще очень глубокая и ответственная работа, перспективы которой начнут только раскрываться по мере подхода к ней. Однако тот, кто вступает на первые ступени, проходит по ним совсем иначе, если знает о том, что это *лишь первые ступени*.

Первое, что необходимо отметить в содержании статей, это наличность известных существенных разноречий. Так, А. В. Карташев и кн. Н. С. Трубецкой совершенно различно понимают и *наличную раздельность церквей* и *перспективу возможного и осуществимого единения*. Для кн. Н. С. Трубецкого наличное разделение церквей поистине «доходит до неба» (стр. 126) и может быть исцелено только «в порядке чуда» (137) и только «в последние дни» (137, 139, 140). Напротив, спокойный и мудрый взор А. В. Карташева открывает ему «онтологическое сестринство» церквей (150), их «благодатное единство» в «подпочвенной глубине невидимой Церкви» (147); и это позволяет ему говорить о *совсем иных* перспективах *делания*: о «координировании усилий в борьбе с антихристом», о грядущем «возрастании благодатного единения в союзе веры», в котором созреет и «историческое воссоединение» и «реальное единство кафолического сознания» (150, 151). К этому воззрению приближается, по-видимому, и Г. В. Флоровский, когда утверждает, что «Господу... Единому... ведом состав Его Тела» (163) и когда считает правильным «благоговейно умалчивать о составе Церкви Невидимой» (164), в то же время отклоняя совместно с А. В. Карташевым (151) принцип «унии», как таковой.

Второе расхождение, к сожалению не вскрытое, касается утонченной проблемы «церковного самочувствия», обнаруживающегося у А. В. Карташева и у кн. Н. С. Трубецкого. А. В. Карташев с присущей ему глубиною опыта и дерзающим смиренномудрием полагает «законным» вопрос «о немощах и грехах церквей в истории», об их «истощении» (кеносис[2]), об «уничиженном, немощном и греховно-человеческом» в

них (148, 149); присоединяясь к Н. П. Аксакову, он не советует богословам «застилать себе глаза догматом о непогрешимости Церкви» (149) и прямо утверждает, что «окрыляющие перспективы» открываются «лишь за порогом трудного покаяния церквей» (150). Некий комментарий к этим формулам можно найти в его же превосходной, полной религиозного творчества, статье, помещенной во *втором* сборнике «евразийцев». Статья кн. Н. С. Трубецкого таит в себе как раз обратное настроение; он именно обнаруживает ту склонность, о которой пишут Аксаков и Карташев, и, по-видимому, полагает, что все беды могут быть сведены к «внешним... нестроениям» и «личным недостаткам» (138).

Обращаясь к каждой из этих статей сборника в отдельности, необходимо отметить следующее.

Вступительная статья П. Н. Савицкого написана со свойственным ему жаром убежденности и подкупающею благородною искренностью; именно этот огонь негодования позволяет ему коснуться некоего трагического подобия между «большевизмом» и «латинством», коснуться, не превращая суровый укор в оскорбление (11—12).

Статья П. П. Сувчинского сильна трепетом живой скорби и предметною остротою целого ряда формул. Верно, что «устой России был подготовительно подточен» (19); верно, что «русское Православие пребывало в многолетнем соборном цепенении» (22); верно, что русское Православие нуждается «во внутреннем углублении и возношении» (37), в «накоплении» и сосредоточении «духовных сил своих» (39), в «концентрации воли и веры» (19). Автор ошибается, однако, когда утверждает, что «та Россия, которая не приняла коммунизм, ушла в Церковь» (20) и что «закладка» «монолитной духовной Церкви» в России «уже произведена» (21). Он ошибается, полагая, что исцеление может наступить «мгновенно» (22), как только у «всех» будет опять «восстановлен» «религиозный позвоночник» (22). Хотелось бы также указать автору, что *водевой* характер религии может и должен выражаться совсем не в беспринципном «миссионерстве», а в религиозной энергии мироприятия, в воспитании могучего и цельного характера, в исповеднической неустрашимости, в постоянной готовности к смертному подвигу.

П. М. Б и ц и л л и аргументирует, как серьезный историк — фалангой объективных, справедливо и беспристрастно освещенных (61) данных. Превосходно его понимание «идейной причинности» в истории вообще и в истории католичества в особенности (62). Автор подходит здесь к центральной категории исторического толкования религий — к категории *религиозного акта*, т. е. конфессионально-типического духовно-душевно-бытового *строя* личной религиозности, функционально-специфического способа религиозно быть, видеть и действовать. Думается, что систематическое вскрытие структуры «католического» религиозного акта открыло бы и все остальные (кроме иезуитизма) причины «угасания Римской Церкви» (70).

Объективна и поучительна статья Г. В. В е р н а д с к о г о. Традиционная политика папства в «унии» освещена с недвусмысленною наглядностью. Уния всегда бывала «вынужденной и неискренней или просто подготовительною ступенью для перехода в латинство» (120). К сожалению, в сборнике совсем не освещена деятельность «латинян» в России в эпоху смуты, при Александре I и в наши дни.

Логически наиболее стройная и нещадная статья кн. Н. С. Т р у б е ц к о г о превращает именно эту силу свою в источник слабости. Она написана, как и прежние публицистические работы автора, в порядке дедуктивного рассуждения, отправляющегося от некоторых, якобы самоочевидных понятий (в данном случае — от понятия «церкви»); победоносная дихотомия, отвлеченная аргументация, несколько ожесточающаяся прямолинейность выводов — все это отодвигает на дальний план, как несущественное, и серьезную предметность опыта, и зоркость живой интуиции, и осторожность беспристрастной индукции. От этого происходит тот нежелательный эффект, что читатель, с самого начала *принимающий* основной тезис автора, уносит, по ознакомлении с его аргументацией, чувство протеста и сомнения — *так* препарированный, этот тезис кажется спорным. Так, идея «церкви» не есть ни нечто простое, ни нечто самоочевидное: видимое разделение может не совпадать с невидимым единством; состав невидимой

церкви таинственен; «непогрешимость Церкви» *не* совпадает с непогрешимостью исторически-наличного персонального субстрата *видимой* церкви; сама церковь знает авторитет, более авторитетный, чем постановление, принятое наличным составом видимой церкви, — это авторитет Божьего Откровения, благодатное новообнаружение которого всегда остается возможным. Не считаясь с этими глубокими осложнениями, опытно и интуитивно упуская их, автор делает свою аргументацию малоубедительной (ибо в «понятии» церкви заложена многократная quaternio terminorum, стр. 128, 131 и др.). Другой пример: соединение церквей «не может быть совершено» «только человеческими средствами», «а совершится лишь руками Божьими» (139, 140). Рассуждение построено на несостоятельной дихотомии: или «чисто человеческие средства» (отвергаются), или чистое чудо Божие (приемлется). Между тем есть *третий* путь, издревле известный христианству и православию: Богу угодные и Богом вдохновленные человеческие усилия. Еще пример: автор призывает к отказу от «бренного ума», к подавлению «соблазна всеобъясняющего человеческого разума» (139, 140); но ведь великие учителя православия (Антоний Великий, Макарий Великий, Григорий Синаит, Блаженный Диадох, Исихия Иерусалимский) знали еще «боголюбивый ум», составляющий самую «сущность души», и в его лице они именно утверждали «человеческий разум в вопросах веры» (126). Диалектика кн. Н. С. Трубецкого вообще не считается с необходимостью и значением *религиозного творчества, церковного и православного*, но не сводящегося к католическому воспитанию в себе гетерономной слепой покорности.

Статья А. В. Карташева, краткая и сдержанная, есть во всем сборнике центральная по глубине и значительности.

Статья Г. В. Флоровского написана с большим, взволнованным чувством. Именно поэтому она больше поет, чем мыслит, больше заражает, чем доказывает. Неубедительны его соображения о невозможности веры без догмата: на самом деле религиозный опыт может быть еще *не* облечен в логические одеяния истины (срв. 160), как и было до Никейского собора; а принци-

пиально говоря, *догмат может быть и неадекватен религиозному опыту*. Точно так же неубедительна по существу и не верна традициям православия, и особенно русского православия, тяга автора к мироотвержению и государство-отвержению: великие облики Сергия Радонежского, Петра, Алексия, Филиппа, Гермогена и других святителей всея Руси должны были бы научить нас всех обратному. Неосторожно касается автор и принципа ex opere operato[3]; ироническое отношение к нему было бы понятнее в устах протестанта.

Интересна по замыслу и, к сожалению, скомкана в выполнении статья В. Н. Ильина о проблеме литургики. В первой половине статьи автор дает ряд тонких феноменологических определений мифа, догмата, культа и ритуала, не во всем выдержанных и ясных, но, безусловно, продуктивных; вторая половина растеривает все в потоке деталей, и мысль тонет в материале. Автор повторяет неосторожность Г. В. Флоровского о принципе ex opere operato и допускает несколько филологических небрежностей («нумен» вместо правильного ноумен от νοέομαι[4]; ens realissimuss[5], стр. 188; in barba magistri[6], 206 etc.).

Весь сборник несомненно выиграл бы от объединяющей, организующей и исправляющей редакторской руки.

Карсавин Л. **Диалоги.** «Обелиск». Берлин, 1923. Стр. 112.

В назидание потомству книжка увековечивает два диалога. Первый озаглавлен: «Об основных свойствах русского народа и царственном единстве добродетелей» и помечен «Петербург, 1920 г.». Второй озаглавлен: «О прогрессе и социализме» и помечен «1922. XII. 12».

Из самого текста первого диалога видно, что главному участнику его присуща манера говорить о Боге, о добре и зле, о таинстве и молитве с какой-то «постоянной полуулыбочкой» (стр. 8), «поселяющей в читателе подозрение, что автор издевается над самой темой» (8), и притом именно «над нею самою, а не только над формою ее выражения» (стр. 11). Оказывается, что эта отвратительная и неприличная манера присуща не только герою диалога, но и всему русскому народу и что

проистекает она из присущей ему «стыдливости или стыдливой сдержанности», которая порождает «неумение наше спокойно и серьезно говорить о возвышенном» (10). Русскому человеку, поясняет герой диалога, свойственно ощущать неполноту своего религиозного познания, растеривать от этого свой пафос, негодовать на свое бессилие, а иногда и без негодования восстановлять «гармонию душевного бытия» улыбкой (17). Эту «стыдливость» можно преодолеть только религиозным «исступлением», которое всегда превозмогает стыд (19). Но к исступлению способен не всякий; тогда к «стыдливости» примешивается «лень» (лѣнь), улыбочка начинает относиться к самому Богу и становится «окончательным актом мысли и жизни» (17—27). Отсюда возникает и «Богоборчество» (18), и дикий безумный смех (23), и боевое бесстыдство (27). Герой диалога ссылается на «камаринского мужика, подергивающего штанишечки», называет и Федора Карамазова (22); но всячески отстаивает свой тезис, что «наша» (?! *Рец.*) «усмешечка и ужимка» есть «особый вид Богопочитания» (10). Вслед за тем начинаются длинные отвлеченно конструктивные рассуждения этико-теософского характера, с цитатами из Франциска Ассизского и блаженной Анджелы; эти рассуждения героя сами собеседники его характеризуют, как «чревовещание» (21, 23). Но герой чувствует себя «мистагогом» (24). Резвясь и хихикая, он договаривается до «злого блага» и «злого смирения» (39); он стремится показать, что «большевизм» как национальное явление» порожден «нужною стыдливостью» и «постоянством Богообщения», от соединения которых жизнь «обесценилась и обесплодилась» (30) (?! — *Рец.*); он пытается даже дать «дедукцию Троичности», утверждая, что «Отец избирает Сына», «избирает и Духа» (51) (?! — *Рец.*). Диалог пересыпается остротами вроде: «от Куликова поля очень недалеко до Царствия Небесного» (10); и анекдотами вроде: «Людовик XV не стыдился «ventre pellere ventos»[1], опираясь на руку дамы. Попробуите последовать его примеру, гуляя под руку с мужчиной. В нынешнее время при растительном питании все следуют примеру короля-солнца» (Людовик XIV? — *Рец.*)...

Второй диалог изумляет своею пустотою и бесплодием. В ворохе гипотетически формулированных частно-утвердительных суждений (может быть, прогресс отчасти есть, а может быть, его отчасти нет; может быть, будет период международных войн, etc.) выделяется одна серьезная мысль: «есть своя правда и в фарисействе» (стр. 87); и одна, с позволения сказать, «шутка» (стр. 79): «мартышки неизменно предаются мастурбации» (стр. 78).

Прочтя эту книжку по суровой обязанности рецензента, выносишь впечатление тяжелого сна. Что это такое? Издевательство? Над кем? Над собою? Над читателем? Над издателем? Нет, прежде всего — над *Предметом*. Эти «диалоги» — кощунственны не только потому, что они пытаются затушевать бездну между кощунством и некощунством; но и потому, *как* они пытаются сделать это — превращая самую затею в новое кощунство. Или, может быть, все это сугубое кощунство есть тоже порождение «истинной и нужной стыдливости»?! Но тогда критик *обязан* указать автору диалогов на то, что его «улыбочка» уже перенесена «с определения на определяемое» (стр. 17); что *каждое* литературное деяние есть акт *духовной* культуры и что *каждый* акт *духовной* культуры есть в высшем смысле *окончательный* акт мысли и жизни.

В известном отношении автор «Диалогов», однако, прав: *есть* в русском духовном творчестве такой уклон и такой угол, мимо которого проходишь с отвращением и исследовать который призван психо-аналитический метод Фрейда. В этом углу, отнюдь не характеризующем *ни* высоту, *ни* средину, а только *низину*, только депрозорий русской духовной культуры, все понятия перевернуты и все подходы извращены: здесь стыд бесстыдно подмигивает, а бесстыдство притворяется стыдом; здесь кощунствуют о целомудренном, а нецеломудренное смакуют и «размазывают» (срв. у Достоевского); здесь разврат принимают за религиозное достижение, а религию низводят до разврата. Этот уклон действительно подготовлял все извращения русской революции, или, вернее, зловеще предвыявлял ее надвигающиеся мерзости. Придет день, и зоркий критик обнаружит эти залежи революции, скопившиеся до революции. Но вычистить эту духовную проказу можно только великим всенародным религиозно-очистительным деланием, огненным и длительным...

Трагедия России была в том, что этот больной уклон духа нашел себе осуществителей, сторонников и апологетов в составе русской интеллигенции; и то, что Достоевский вскрыл как недуг и язву, было подхвачено и насаждено в качестве духовного достижения.

В. Розанов был прав не тогда, когда предавался этому уклону, а когда, обернувшись на свое прошлое, содрогнулся и признал, что его «темы» требуют прежде всего духовной *чистоты ока* и что он сам только напортил, касаясь их. А между тем за ним брели и доселе бредут еще некоторые круги русской интеллигенции, впервые, однако, устами автора «Диалогов» открыто признавшие сродство *этого* бесстыдства с бесстыдством революции.

Да, большевистская революция, как Федька Каторжный, «поснимала зеньчуг[2]» с Божиих икон на Руси. Но «мышь пустил» за стекло иконы именно Петр Степанович Верховенский...

Как хорошо, что эта книжка напечатана по «новой» орфографии...

ПАМФЛЕТ РУССКОГО О РОССИИ

П р о ф. С. К. Г о г е л ь. **Причины русской революции 1917 года**. (Книга вышла на немецком языке[1].)

В эпоху распада и унижения, когда Россия стала жертвой и орудием интернациональных проходимцев и в то же время вожделенной добычей для других государств, — как трудно, как ответственно писать и говорить о ней для иностранцев! Тут необходимо, прежде всего, повышенное чувство национального достоинства, уверенность в духовных и государственных силах русского народа; политическая вдумчивость и дальновидность; острое сознание того, что говоришь **чужому и непонимающему о своем, о родном, временно униженном**; желание привлечь к России сочувствие и уважение, а не обнажать ее стыд и ее язвы... И потому тут необходим с самого начала и до конца — **такт, такт** и **такт**! И главное — **национальная гордость**... Без этого — лучше молчать во избежание сугубого вреда, соблазна и стыда.

Вопрос о причинах революции есть особенно деликатный и больной вопрос. Ибо революция есть такое

(хотя бы и временное) национальное **крушение**, у которого **не может быть благих причин**; это крушение могло возникнуть только из **отрицательных** данных: затруднений, слабостей, неумений, ошибок и злой воли. Говорить об этих причинах иностранцам — что может быть ответственнее и опаснее? Как сочетать здесь научную истину с национальным интересом? Односторонность темы (о причинах **зла**) с величием и красотою предмета, именуемого Россия? Убедительность анализа с необходимым бережным умолчанием?! А если это невозможно — то лучше проглотить свой язык и молчать...

В предисловии автор сообщает о себе, что он в течение целого ряда лет вплоть до 1912 года занимал пост помощника статс-секретаря Государственного Совета. С 1908 года он наряду с этим «консультировал» у «прогрессивных» партий в Государственной Думе. Весь пафос его принадлежит требованиям **первой** Думы (стр. 95—104); правда, и она была созвана на основании закона, составленного «бессовестно, нечестно и скороспело» (95), но роспуск ее был все-таки «грубым преступлением» (106). С этим согласуются и другие политические оценки автора.

Итак, перед нами произведение левого **бюрократа**, утвердившегося за революцию на прежних левых позициях.

Автор указывает иностранцам две причины революции: во-первых, бюрократию, господствовавшую в стране на протяжении XIX века; и, во-вторых, органические уродства русского характера, происхождения которых автор не касается.

Что касается первой причины, то все беды пошли от того, что при Александре I Сенат был лишен общего контроля за центральным управлением. Отсюда бесконтрольное и безнаказанное правление бюрократической «касты», длившееся до самой революции и породившее крушение России. Бюрократия в России составляла «феодальную партию» (44, 75), с особыми, чуждыми русскому народу и Русскому государству интересами (34, 36, 49); она смотрела на русский народ, как на «чуждое тело», заслуживающее презрение (79), и думала только о

поддержании своей власти (79, 86). Она ставила себя выше всего (32, 33, 36), а Русское государство было для нее только красивой фразой, которою она пользовалась в официальных бумагах (33). Русская бюрократия была «стаей волков» (59), бессовестной «бандой» (107), чужеродным телом в России (34, 125); она «физически и духовно-морально высасывала русский народ» (120); это был «ползучий рак» (49, 120, 126), поглощавший все соки организма (49). Россиею правили люди с «духовным горизонтом, почти равным «мужицкому» (37); люди, лишенные всяких убеждений (66), секта духовных скопцов (66, 114). Они создавали атмосферу «уродливой низости» (67) и отравляли Россию «бессовестной, бесстыдной ложью» (51, 86). Царь был для них не более, чем «каучуковый штемпель с резолютивной формулой **быть по сему**» (55). Царь и «милейшие» Великие Князья (80) были не более, чем «не особенно» влиятельными членами этой касты (77). Это была «бюрократическая олигархия» (74, 77, 89, 113), которая называла себя «монархией Романовых» (113) и погибла «под грязной рубашкой» Распутина (113)...

Особое внимание автор обращает на Государственный Совет, о членах которого он сообщает, что они были — и притом «не в виде исключения» (65) — продажными людьми и ловкими денежными хищниками (65).

Автор не обошел своим вниманием и русскую армию. «Военная бюрократия стояла еще ниже, чем общая» (117 -- срв. 217), сообщает он иностранцам. Тут царило невежество и легкомысленная халатность, а злоупотребление родственными связями заходило «за геркулесовы столпы» (117). По родственной протекции и по политической благонадежности не только невежды становились профессорами Академии Генерального Штаба (117, 136), но на этих же основах «отбирался и весь генералитет» (117); «не потому ли он и оказался таким неспособным в мировой войне и не потому ли Верховный Главнокомандующий Николай Николаевич позволял себе работать хлыстом (mit der Reitpeilsche zu arbeiten)?» (117). Не естественно ли, что в армии царила «дисциплина кнута» и «палки» и что солдат приходилось выгонять из окопов палкою (135); а русские офицеры не находили в этом даже ничего особенного (135).

Все это пересыпано всевозможными «обличительными» анекдотами, якобы подтверждающими характеристику бюрократии. Тут и скандальное словечко ген. Драгомирова[2], сказанное им по поводу гибели адмирала Макарова[3] (64); и исчисления любовниц министра Плеве (57); и сплетни о «попойках» Императора Николая II (53); и что хуже всего, прямая ложь об алкоголизме Императора Александра III. И каким тоном это рассказывается! «Даже у такой геркулесовской натуры» (как Александр III) «бутылка водки не должна всегда торчать за голенищем сапога» (32 — срв. 41)...

Вторая причина революции, это глубокие уродства русского национального характера. Автор считает необходимым хорошенько разъяснить иностранцам, что русский человек не одарен организационными способностями (133, 134 и др.) и питает отвращение ко всякому порядку и системе (131, 132); и что потому он «совершенно неспособен к единению» (138); в жизни и поступках «каждого русского» идея нации и национальной гордости «не играет никакой роли» (139). Среди русских царит «всеобщее отсутствие достоинства» (allgemeine Wurdelosigkeit), беспринципность и непочтительность (141). Автор подробно останавливается на нашей «славянской безмерности, некультурности и полной социальной невоспитанности» (155) и объявляет русскую интеллигенцию «совершенно» несостоятельной (158). Он не забывает привести и деморализованные поговорки: «что за честь, когда нечего есть», «стыд не дым, глаза не выест» и т. д. (141, 142). Он объявляет, что «люди, живущие под гнетом Москвы и Петербурга, знали только один мотив для своих действий — страх» (143). Он рассказывает, что наша интеллигенция «совершенно беспринципна» и «истерична» (154); что наша средняя школа находилась в разрухе (156), что ее учителя были «бестактны» и не умели внушать к себе уважения (136). Сам он нашел в России только одного истинного педагога и тот, как потом оказалось, имел со стороны матери **немецкую** кровь! (136). И, чтобы все поняли, что именно он хочет сказать, он нарочно подчеркивает и поясняет, что его изобличения относятся именно к русским «по крови» (139); и, наконец, прямо ставит вопрос: да можно ли вообще

«говорить о великороссах, как о народе?» (143) — ведь у них не было ни согласия, ни национального тяготения; все держалось одним гнетом, а новых «жизненных форм» ни Москва, ни Петербург не создали. ... (143) И это «народ-богоносец»?! (44, 183). Да, разве лишь в том смысле, что он носит в себе бога беспорядка» (140).

И опять все это пересыпается скандальными анекдотами, из которых должно явствовать, что «русские не умеют вести ученых заседаний, являются пьяными на банкеты, не умеют уважать ни себя, ни свое имя» (154). «В какой другой культурной стране это возможно?» — спрашивает автор (154). Привожу один рассказ дословно. Дело происходит в дореволюционной России.

«Один бесспорно талантливый профессор, читающий лекции, издает иллюстрированный журнал. Мне показывали несколько номеров. Один из них начинался статьею профессора, озаглавленной: «Как проводят время наши студенты и девушки, изучающие науки?» К этому иллюстрации: сначала пустая аудитория, на кафедре некий профессор, какая-то студентка спешит в его объятия; внизу два изображения: на одном студент и студентка лежат в неприличной позе; на другом снят студент, лежащий на спине с пустой бутылкой в руке» (154 — 155).

Вот еще несколько образцов стиля и тона. Екатерина II, «несмотря на невероятное число лиц, пользовавшихся ее женской благосклонностью, была дамой, с которой нельзя было шутить» (124). Или еще (речь идет о бессилии Императора Николая II перед окружающей его бюрократической средою): «Так-то вот обстоит с твоей инициативой, уважаемый император!» (56). Или: «Даже Николай II повторял еще, как попугай, что он первый дворянин России» (211).

В конце книги автор пытается оправдать себя характером своей темы и бегло исчисляет на двух с половиной страничках (218—220) различные добрые свойства и достижения русского народа. Что же касается всего своего произведения в целом, то на него он смотрит, как на акт «всеобщего и публичного покаяния» (143)...

Мучительно читать такую книгу, написанную на иностранном языке русским, русским ученым и русским, хотя бы и левым, сановником. И зачем? Зачем

ученому писать для иностранцев памфлет о своей собственной родине? Как может русский сановник писать **таким тоном** о язвах своей страны, о бедах и недугах своего государства? Разве не ясно, что **чужие** и **неосведомленные** люди непременно обобщат всякий анекдот и воспримут все неосновательные и претенциозные обобщения автора как **доказанный факт**? Разве не ясно, какой вывод напрашивается сам собою из этой книги? Вот он: только люди другой крови могут дать русскому хаосу истинную дисциплину и государственную форму.

Если кто хочет «публично каяться» за Россию и от ее лица, тот пусть начинает с **самоочищения**: пусть освободит прежде всего **самого себя** от тех пороков, в которых он хочет обличить русскую «бюрократию» и русскую «интеллигенцию». Тогда он сразу поймет, почему не следует «публично каяться» на иностранном языке и почему партийно пристрастный памфлет о своей родине есть дело не научное и не справедливое, не подобающее ни ученому, ни сановнику.

У всякого народа есть свои слабости, свои недочеты, свои задворки. Но кто же, будучи патриотом, оглашает их или выносит их на показ? Да еще тоном ненависти или тоном анекдота... Так писала некогда о России русская бульварная радикальная пресса; но ведь **по-русски** и **до революции**. Неужели же мы страдали и гибли только для того, чтобы тем же тоном заговорить о **поверженной** родине в **иностранное** всеуслышание?

И какие вороха неправды? Неправда об Императоре Александре III. Неправда о Великом Князе Николае Николаевиче. Неправда об Академии Генерального Штаба, где нередко бывали выпуски с 18% дворян. Неправда о русском генералитете: ген. Скобелев был внуком солдата; Начальник Главного Штаба Кондратьев[4] был сыном фельдфебеля Павловского полка; ген. Лечицкий[5] был сыном сибирского священника; М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов и многие другие славные фигуры русского генералитета не происходили ни из каких феодальных «каст». Неправда о «неспособности» наших генералов. Неправда о дисциплине кнута в русской армии. Неправда о русской бюрократии в целом (ибо порочные и слабые люди могут быть всюду). Неправда о русской

учащейся молодежи. Неправда о разрухе в дореволюционной средней школе. И больше всего — неправда о неспособности русского человека к **добровольной, свободной организации**.

Вот ответ на это: русский монастырь, русские хоры, русские симфонические оркестры, русские театры, русские артели, русские кооперативы, московские клиники, русское земство, московское городское хозяйство, русские частные учебные заведения. И **русская белая армия**. Мучительно читать такую книгу. Тягостно писать о ней. Тягостно видеть ее в витрине иностранного книжного магазина.

И что мы будем говорить иностранцам, когда они будут ссылаться на книгу **русского профессора** Гогеля? Мы будем говорить, что это безответственный памфлет, написанный пристрастным левым пером, и что мы категорически отрицаем верность его содержания и что мы просим на него не ссылаться.

Проф. Гогель счел уместным упомянуть на обложке своей книги, что он является профессором Русского Научного Института в Берлине... Но было бы неверно и несправедливо возлагать ответственность за его памфлет на академическую коллегию Института и судить по этой книге о содержании, о направлении и о тоне работ русской берлинской профессуры.

ГЕНИЙ И РАНЫ РОССИИ

«...Лучшей школой патриотизма служит испытание иноземной власти, иноземного насилия».
В. И. Гурко[1]

Когда удается остаться одному и уйти от повседневности, всегда невольно и естественно обращаешься к ней, к нашей изумительной и бесконечно несчастной родине; и скорбно спрашиваешь себя в сотый раз: «как могло **это** случиться? откуда это взялось? как могли мы не предчувствовать, не предвидеть, не помешать этому? где причины? чем мы можем объяснить это? чем можем мы оправдаться?»

Год за годом ставлю я себе эти вопросы, допытываясь и исследуя, стремясь **познать** и раскрыть, объяснить себе и другим, — уходя то в историю, то в

климатологию, то в религию, то в науку о хозяйстве, то в учение о расе и о характере России! Какие противоположности! Какая монументальность и какая шаткость... Какая глубина и какое легкомыслие... Какая патриотическая верность и какое обилие предательства... Какая чистота и какое падение... Богатство и нищета; доброта и свирепость; религиозность и безволие; храбрость и малодушие; Петр Великий и Бакунин; Пушкин и Пугачев; старчество и комсомол; Кремль и третий интернационал...

В такие часы бывает иногда трудно выносить одиночество. И я читаю политические записки, документы, дневники, воспоминания, записки. Сколько живого страдания, сколько мрака, сколько беспомощности и подчас запоздалой мудрости. Гегель говорил, что «сова Минервы начинает свой полет всегда слишком поздно»... Но, может быть, и не всегда.

И в каждом таком документе есть поучительное, иногда трепещущее жизненною мудростью, иногда отвратительное, иногда глубокое. Надо уметь читать; надо уметь видеть и слышать. Историческая правда живет и в дурном и в хорошем, и в малом и в большом, и в падении и во взлете. И сквозь детали конкретного рассказа нередко сияет гений и зияют раны нашей России.

Хотите, пойдем вместе и посетим эти незапылившиеся архивы и постараемся читать и учиться...

Начнем хотя бы с замечательных воспоминаний В. И. Гурко (Архив Русской Революции. Изд. Слово. Берлин. Том XV)[2].

Перед нами русский государственный человек, крепких правых убеждений, с придворным знанием и министерским прошлым. Он умен, очень умен; очень выдержан и объективен. Весь рассказ его дышит какой-то суровой, подчас угрюмой простотой и стальной честностью. Здесь нет чувствительных излияний; здесь чувства таятся; зато есть воля и много скорбной, горькой мысли. Ни словесности, ни позы, ни фразы. О себе, о своих «предвидениях», поступках — скудно, объективно, правдиво; иногда даже прямо о своих «ошибках» — мужественно и подробно. Вы все время чувствуете рыцарские латы, шлем; но забрало поднято, — на вас смотрит умный устремленный взгляд и несколько глу-

хой, как бы отрешенный голос сдержанно повествует вам о фатальном крушении великой страны...

Это один из государственных деятелей дореволюционного времени, которые были причастны и «общественности», и «правительству», но которых либеральная общественность не любила за правизну. Это один из тех, которые были причастны настоящему искусству управления и которые (как немного их уцелело!) ныне хранят в себе живые традиции этого искусства.

И притом это **мыслитель**. Тот, кто спрашивает себя о причинах нашей трагедии, тот выносит от чтения его воспоминаний такое чувство, как если бы он беседовал с умным и зорким человеком, с патриотом, говорившим значительные и правдивые слова о родине и о ее крушении. И при всем том — никакой претенциозности, простота, мера и... чувство фатума...

Гурко видит ошибки и недостатки окружающих; и говорит о них строго и точно. Но мысли его постоянно возвращаются к общим, неотвратимым или трудно одолимым условиям.

И прежде всего «ширь» русских пространств, которая влечет человека не к сосредоточенности, а к распространению и приучает его бессознательно «отдавать предпочтение количеству перед качеством». Отсутствие естественных горных преград и потому открытость страны для постоянных набегов соседних племен, разрушительных, прерывающих и угашающих накопление устойчивого уклада и правопорядка. Недостаток камня, обилие леса, деревянные постройки и их эфемерность; и суровый климат, неблагоприятствующий многолетним, интенсивным культурам, — все это мешало установлению духа собственности, консервативному духу, блюдущему традиции. А с Запада проникала страсть к наживе; но умения и способов трудового наживания и накапливания русский народ не перенял с Запада — и вот мы стали «игралищем» «первобытных инстинктов и присущих нам безбрежных вожделений» (25)...

Природе русского человека свойственно не удовлетворятся частью, а всегда требовать целого: и «уж если забирать чужое добро, то все, а не часть его, уж если попирать чужие права, то все, а не часть их. Уж если

изменять социальный строй, то до корня, а не только некоторые его внешние проявления» (26)...

А тут еще «основная причина» — «беспросветное невежество» русских народных масс (46)... И та особая политическая беспринципность правящего интеллигентного слоя, которая свидетельствует «о глубоком разложении, о гнилости рухнувшего режима» (66)...

Вот основное настроение, которым проникнуты все воспоминания, но которого автор не обобщает: Россия гибла от **безволия**, от политического безлюдия. Благородные деятели-генералы, руководившие добровольческою армиею, страдали отсутствием политического опыта и держались за «дон-кихотскую» верность «союзникам» (14, 15, 68), тогда когда Ллойд Джордж обдумывал наиболее выгодный для Англии способ расчленения России (69). А люди, обладавшие настоящим политическим и дипломатическим опытом, правые, были устранены и забракованы революцией, и вследствие этого ими владела «психология побежденных» (72). И даже попытки свержения большевиков должны были проводиться и проводились монархистами «под флагом социалистов-революционеров» (19).

Запад не помогал России; он интересовался **своею** борьбою. Англия оставалась верна себе: она «если и оказывала когда-либо помощь другим нациям, то лишь во вред им»; ее обычай — поддерживать в другой стране гражданскую войну и помогать «лишь настолько, чтобы не дать упрочиться» в ней порядку (34). Французы интересовались только новым вовлечением России в мировую войну (47) и, забыв о своих спасителях, умели только поносить гибнущую русскую армию «за пьянство» (55). А немцы субсидировали «монархическую «южную армию» (в которую лучшие элементы офицерской среды шли неохотно, стр. 30) только для того, чтобы ослабить добровольческую армию... А потом их самих постигло разложение, и германские офицеры поспешили безропотно подчиниться» всем унизительным распоряжениям своей солдатчины (46)...

Русская же либеральная и социалистическая общественность оставалась верна себе: десять дней спорила в Яссах о никому ненужной политической резолюции;

учреждала «самостийную Украйну» без «единого звука» украинского языка; а «кадеты были озабочены прежде всего захватом власти в свои руки» (39)...

Гурко не предлагал и не предлагает «рецептов спасения». Но он зорко всматривается в людей и видит им цену. Иные лапидарные характеристики его прямо перейдут в историю, напр<имер>, «медоточивый» Астров с обычной ему «беспокойной ласковостью во взоре» (14); иные рассказы его (напр<имер>, о тщеславии и бестактности Милюкова, гл. 5 и 6) косвенно прольют свет на очень многое...

Но всего сильнее и поучительнее он в своих политических афоризмах, роняемых мимоходом. «Когда верность государства принятым им на себя обязательствам смертельно вредна интересам народа, соблюдение этой верности правителями является ничем иным, как предательством по отношению к своему народу». «В основу международной политики должны быть положены не чувства, а сухой, черствый расчет». «Лучшей школой патриотизма служит испытание иноземной власти, иноземного насилия».

Вам это кажется жестким, суровым, «не моральным»? Тогда уйдите совсем и навсегда от политики: ибо она **не терпит сентиментальности**. И если политическая мудрость этих афоризмов, рожденная подлинным национальным страданием, не умудряет вас, — то будьте уверены, что найдутся другие, которых она умудрит.

ГИБЕЛЬ ОТ НЕВЕЖЕСТВА

Россия рухнула прежде всего от невежества. От **общего невежества**, от необразованности и темноты. Но еще более от **политического невежества**, от политической бессмысленности в народе и от государственного невежества русской «интеллигенции».

Суровый урок; жестокий урок. Горе нам, если не сумеем понять и осмыслить его... Горе нам, если «правые» или «левые» предрассудки помешают нам сделать из него верные и притом **волевые** выводы...

На протяжении столетий Россия как держава строилась и держалась не правосознанием и не разумною волею, а **политическим инстинктом** русского народа. Этот ин-

стинкт наш могуч и даровит, особенно у великорусского племени; он дан нам вместе с расой и кровью; он возрос в наших северных лесах; он закреплен дыханием наших морозов; он освящен мудростью русского Православия; он прошел суровую историческую школу; он одолел опасности и соблазны нашей равнины. Но — остался **инстинктом**, во всей его бессознательности, неоформленности, смутности и, главное, удобопревратности... И из этого инстинктивного состояния он только **начал** выходить на протяжении девятнадцатого века; причем выход этот был затруднен и обременен — и стомиллионною массою народа, и пестротою племен, и равнинною разбросанностью, и неукрепленностью мелкой земельной собственности, и пережитками военно-крепостного уклада прошлых столетий, и революционно-демократическою пропагандою, которая торопилась политически **развратить политически** невоспитанную **душу народа**...

А между тем **современное государство не может держаться одним политическим инстинктом массы**; этот инстинкт должен быть превращен в **правовое сознание** и в **государственную волю**; он должен научиться понимать, оценивать, предпочитать и выбирать верные государственные цели; он не может оставаться в состоянии смутной сбивчивости, удобосовращаемой бессмысленности, бесформенности и неустойчивости — «веди меня, проходимец», «бери меня, сатана»... «А мы — люди темные»...; и «нас черт попутал»... Весь вопрос стоит теперь так: или мы, русские, сумеем оформить и воспитать наш могучий и даровитый политический инстинкт и придать ему характер зрелой духовной воли; или мы не сумеем сделать это, и тогда мировые духовные бактерии будут иметь в недрах бывшей великой России вековечный «бульон» для своих ядовитых и гибельных культур...

Ибо мы должны знать и помнить, что мир **не скоро** справится со своим внутренним брожением; что социалистические и интернационалистические течения суть не случайное и не кратковременное явление на мировом горизонте; что они суть проявления глубокого, мирового, **социально-духовного кризиса** и распада; и что революция, выдыхающаяся ныне в России, была с их стороны лишь **первою пробою пера**...

Нам же нельзя думать только о сегодняшнем политическом дне; уже по одному тому, что он таит в себе уроки на завтра и задания на послезавтра. Нам необходимо **предвидеть** — если не политический, то духовный облик грядущей, здоровой и желанной России; нам необходимо **предвидеть волевую линию нашего будущего образа действий**...

И вот, главное, что нам предстоит — это **государственное воспитание** русского простого народа. А для этого необходимо, прежде всего, — **государственное самовоспитание русской интеллигенции**. Ибо — может ли соль, потерявшая свою силу, осолить что-нибудь? Вот почему я неустанно возвращаюсь к этому вопросу.

Когда я утверждаю, что революция есть дело политического невежества, то я хочу сказать этим следующее.

Февральский переворот 1917 года передал власть русским радикалам, людям теоретически интеллигентным, но государственно наивным, легкомысленным, неопытным и, главное, безвольным. Среди них было немало законоведов; но совсем не было людей, способных к государствоведению. Кабинетные теоретики, иногда блестящие и кристально-чистые (как покойный Ф. Ф. Кокошкин), а иногда совсем негерои и негении, с боярским честолюбием и барской сентиментальностью, нереалистичные и почти сплошь вывихнутые налево, — они не знали, за что они берутся, и не подозревали того, **каких** духов они вызывают и что подарит им взломанный ими ящик Пандоры. И еще — они не учитывали того, что за ними, за радикальной интеллигенцией по пятам идет **революционная полуинтеллигенция** и ведет за собою настоящее полное **революционное невежество**.

И вот весь ход русской революции определяется тем, что **интеллигентный, но безвольный радикал** (включая сюда и партию эсеров, и меньшевиков) был сброшен **неинтеллигентным, но волевым революционером**.

О классовом и моральном составе этого революционного слоя я уже писал в «Возрождении». Это была **смесь** из революционно-профессиональной **полуобразованности** и простонародной **необразованности**; из полу-уго-

ловных революционеров и полу-революционных «уголовников». Но зато это были люди трезвые, прозаические, «реальные»; люди жадные и черствые. Они достаточно уже насиделись в революционном, тюремном и социальном подполье; им надоели последние роли и арестантские пайки. В их душах все было грубо, элементарно, плоско и пошло. И когда октябрьский переворот был ими совершен, тогда в их ряды повалила **вся та масса невежественного радикалья**, которая накапливалась по щелям старой России и накапливала в своих душах завистливое «подполье» (в смысле Достоевского): тупую злобу и гложущую ненависть плебея, духовно не справляющегося со своим низшим рангом. Неустроившиеся семинаристы, недоучившиеся студенты, писаря, фельдшера, школьные учителя, фармацевты, приказчики, конторщики, почтальоны, «квалифицированные» рабочие и всевозможный «третий элемент». Из них-то и вербовался тогда основной кадр коммунистов — всех этих «кожаных» комиссаров, «револьверных» комендантов и одержимых «товарищей»...

Волевое невежество свергло безвольную интеллигенцию; трезвый хам сверг мечтательного барина; революционный хапуга сбросил радикального теоретика. Ящик Пандоры раскрылся и злые духи подполья вырвались из него вихрем: все застарелые гнезда сословной зависти, личной неудачливости, тупого безбожия, самодовольной писаревщины (от слова «Писарев») и ограниченной чернышевщины (от слова «Чернышевский»), нахального коротковмыслия и претенциозного пустословия, духовной беспочвенности и революционной натасканности — все это истощило тогда свои людские сокровища; все это хлынуло к власти и к обогащению. А интеллигентный радикал, стоявший у власти, взявший власть и потому принявший на себя обязанность вести и спасать, призванный к тому, чтобы **умереть на своем посту** в борьбе за русскую государственность... — признал в этом «народную волю» и преклонился **перед волею сынов погибели**...

Говоря о волевом невежестве революции, я отнюдь не делаю исключения для ее коммунистических вождей.

Не только потому, что среди них имеется множество само-учек и само-неучей, но и потому, что наиболее образованные из них при ближайшем рассмотрении прямо **поражают** своим полуинтеллигентным укладом ума и мысли: эта замечательная упрощенность всех вопросов и ответов; эта законченная неспособность к самостоятельному наблюдению и исследованию (к индукции); это исключительное умение танцевать от одной печки и выводить все из одной и притом **заимствованной** идеи (дедуктивный марксизм); эта завершенная слепота в вопросах духа (опошление человека и культуры); эта абсолютно пустая, революционная словесность и трескотня, где предмет заменен понятием, а понятие подменено словесным термином; эта умопотрясающая тривиальность их «науки» (Ленин, Бухарин) и неправдоподобная пошлость их «искусства» (Луначарский, Мейерхольд) — все это обнаруживает такую глубокую малокультурность ума и души, для которой эпитет «полуобразованность» является еще безмерно снисходительным. Это люди с умственным развитием Петра Верховенского и Шигалева и с духовным содержанием Смердякова. И если это учесть, то станет сразу понятным, почему вся большевистская революция неизменно производит впечатление **величайшей политической и экономической безграмотности**.

Еще недавно мне пришлось пересмотреть книгу Ленина о государстве и революции[1], написанную этим «планетарным гением» в расцвете его сил, как раз перед совершением «великого дела» (июль—сентябрь 1917 года). И что же? Свыше полутораста печатных страниц занято поношениями по адресу тех «идиотов», которые пытаются истолковывать такие-то и такие-то слова Карла Маркса в эволюционном, а не в революционном смысле... Этим книга и исчерпывается. Этот «гений» всю свою жизнь жил **схемами** и **трафаретами**, а не предметами и не реальностями; и все эти схемы и трафареты были всегда **заимствованными** и притом всегда из одного и того же источника. Он всю жизнь только и делал, что нахлобучивал логические колпаки Маркса на явления реальной действительности; он всю жизнь **не видел факта** и начал его видеть впервые в 1921 году, когда понадобилось спасать «нэпом» шкуру коммунистической партии.

Этот «гений», умевший обходиться только с жадником, завистником и подлецом в человеке, всю жизнь комбинировал несколько чужих обобщений, с тем чтобы потом навязать людям свои мертвые выводы с лукавым упорством и моральной бесчувственностью сумасшедшего...

И таков был их вождь, умственному, жизненному и даже трупному культу которого они теперь предаются...

Революция есть дело невежества, дело политической и экономической безграмотности, дело духовного и умственного варварства. С октября 1917 года Россией правят **волевые неучи** и правят они ею на ее погибель и на благо мировой революции.

И вот, самое появление их у власти политически убило, именно так, **политически убило** русскую радикальную интеллигенцию. Коммунисты в России прошли к власти **по трупам** русских радикальных партий. Я разумею не физическое убиение таких людей, как Ф. Ф. Кокошкин, Н. Н. Щепкин, А. И. Шингарев и А. А. Виленкин, которые сознательно шли на смерть и по предсмертному слову Ф. Ф. Кокошкина (лично мне сказанному) действительно «заплатили своею жизнью за свои иллюзии и заблуждения»... Нет, я хочу сказать, что русский революционный радикализм погиб в 1917 году: **так** добиваться **власти**, взять ее и **так** потерять ее; в роковые исторические дни обнаружить **такое** бессилие и безволие, **такое** государственное ничего-не-понимание и **такую** неспособность к борьбе; проявить **такое** нежизненное и противогосударственное доктринерство и передать Россию в **такие** руки — значит поистине понести такое поражение, от которого партии не оправляются. В течение восьми месяцев русская радикальная идеология, теория и практика были обличены, скомпрометированы и раз навсегда извергнуты из духовного облика России. Здесь образовалась некая духовная пустота, брешь; и сколько бы ни старались отдельные зарубежные представители этой пустоты сделать вид, будто эта пустота живет, говорит, действует и, главное, все еще **весит** что-то на весах государственности и истории, — их «партии»

остаются на самом деле **политическими покойниками**. И ожить они могут только на путях покаянного отречения и глубокого обновления.

Россия рухнула от государственного невежества, царившего и в простом народе, и в среде радикальной интеллигенции. В народе царило и теоретическое, и политически-практическое невежество. Радикальная интеллигенция теоретически что-то «знала» и «понимала»; но в **деле государственного опыта, строительства и ведения отличалась полным невежеством**. С развязною самоуверенностью дилетанта она протолкалась к государственной власти и ухватилась за нее; и потерпела жестокое, трагическое крушение. Из-за спины **ученого невежды** встал **круглый невежда**. Безвольный радикал привел за собою волевого революционера. Претенциозное заблуждение расчистило дорогу предателю и злодею. Негерои и негении отдали Россию в кабалу «планетарным гениям»... Легкомыслие породило преступление.

Отвертывайтесь же, отвертывайтесь и впредь от того зеркала, которое я держу перед вами... Зажмуривайте глаза и воображайте себя русскими «героями» и «гениями».

Но помните, что суд потомства впереди и что он будет беспощаден.

«ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ В РОССИЮ»

Книжка глубокой любви к России, подлинной, как бы звенящей искренности*. Автор ее — участник гражданской войны, выпустивший свои воспоминания в томе VII «Белого Дела» под псевдонимом Леонтия Мечова. И тогда уже его записки обратили на себя общее внимание тем беззаветным, правдивым прямодушием, тою особою «поднятостью забрала», которая заставляла верить каждому его слову и даже наблюдению. Прошли годы; и настроение, одушевлявшее его тогда, оформилось в целый национально-патриотический «символ веры».

* Л. Н. Ш и ш к о в. Почему мы верим в Россию? О смысле истинно-русского бытия и о современных прогнозах будущего возрождения России. Рига. Издательство М. Дидковского. 1937. Стр. 56.

Россия таит в себе и несет с собою некую внутреннюю Правду, правду бытия, которая верна перед Лицом Божиим. Этою Правдою она спасалась на протяжении своей истории, эта Правда восторжествует и над сатанинской революцией. Россия не призрак, не случайная комбинация народностей, не беспочвенное смятение событий. Она имеет свою живую субстанцию, связующую ее с Господом. Идеальное завершение этой субстанции автор называет «Русской Истиной». Русская истина состоит в «мирном развитии, согласно божественным законам». В этом смысл и цель русского бытия. С этой возвышенной точки зрения, связующей нашу мысль с Достоевским и Соловьевым, автор пытается обозреть ход русской истории, ее революционный провал и ее грядущее органическое восстановление. Большевизму противопоставляется вся священная традиция России; и притом не в смысле «отвлеченного идеала», а в смысле живой, по-прежнему ведущей русскую душу силы.

«Советской власти не удалось и никогда не удастся обмануть русский народ»: его духовная субстанция жива, и уже преодолевает все опасности и соблазны, вступая в жизнь в облике национального чувства.

Книжка проникнута верою, бодростью и великим чувством национальной ответственности. В наши темные дни, дни предательства и уныния, ее должен прочесть каждый любящий Россию!

НЕПРАВДА О РОССИИ

(О статьях г. А. Салтыкова)

С великим вниманием прочел я статьи г. А. Салтыкова[1] «Le secret de la Russie»[2], и сердце мое горестно сжалось: мне захотелось **просить прощения** за его воззрения, — у моих соотечественников, русских и православных, и в особенности у русского народа, о коем публично высказаны страшные и несправедливые слова, высказаны заглазно, в столь тягостную и мучительную для него историческую эпоху.

Тысячу лет пребывает русский народ в свете Евангелия, в свете Христова откровения — и вот, оказывается,

не пробудилось в нем ни любви, ни жажды истины, ни чувства красоты и ранга... Он остался детищем небытия, вечной смерти и хаоса! Какие страшные слова в устах **христианина...** Простят ли нам христиане других исповеданий это кощунство против Христа?

Мы, русские и православные ученые, читаем писания г. Салтыкова вот уже скоро пятнадцать лет (ибо как публицист он стал известен только в эмиграции). Но доселе мы, — в силу деликатного отношения к престарелому поэту, — не нашли еще достойных слов для ответа ему и отмежевания от него. И в этом мы, русские ученые, виноваты перед нашими соотечественниками.

Наш родной русский народ вот уже двадцать лет жертвенно и мученически борется со стихиею мирового сатанизма... Он никогда не считал себя ни достойным, ни призванным, преимущественно перед другими народами, к этой борьбе за Христа против диавола. Но час пробил, и он ответил на преследования потоками мученической крови. Как тягостно читать о нем **такое**, в **такое** время... И вот, чтобы хоть несколько восстановить истину, я и берусь за перо.

Прилежно изучая историю культуры моего народа, я посвятил немало лет на то, чтобы соследить и установить в особенности исторические (и духовные, и материальные) **причины русской революции***. И я должен был прийти к выводу, что русский народ был издревле поставлен в очень тяжелые условия бытия и имел трагическую историю; но что дух большевизма он получил извне, из Западной Европы.

Расселенный на огромной равнине без естественных границ и без выхода к морю, теснимый отовсюду соседями, он должен был вести бесконечные оборонительные войны. С 1055 года по 1462 г. он выдержал 245 нашествий и войн; из них 200 приходятся на годы 1240—1462, что дает почти ежегодный сполох (alarme). В течение дальнейших 525 лет Россия провела в оградительных войнах 329 лет, т. е. почти **две трети** своей жизни. Она с ними справилась и сложилась в большое христианское госу-

* См. мои «Три речи о России». И еще: «Творческая идея нашего будущего».

дарство. Справедливый историк сразу скажет вам, сколько жертвенности, храбрости, дисциплины, патриотического чувства, верности и государственного чутья понадобилось для этого... Кто же поверит г. Салтыкову, что русская душа — нигилистична, чужда порядку и иерархии, и ненавидит государственный авторитет?..

Россия прошла через 250 лет монгольского ига, сбросила его и перетерла напор кочевой Азии. Чем победила она? Силою христианской веры, внутренним укоренением в Боге и во Христе, силою христианской церкви и верностью своим христианским государям. Вот откуда эта всенародная русская легенда о священном городе Китеже, который был спасен Господом от татар и уведен на дно озера, откуда и ныне доносится благовест колоколов. Другие народы должны понять, что этот город есть живой символ нашей веры и жизни. И что этот Град и ныне живет в русских душах. Двадцать лет длятся гонения на веру в советской России, гонения **исторически** невиданные и неслыханные: ибо они закреплены социалистической системой хозяйства, т. е. всеобщей повальной нищетой, всеобщей **абсолютной зависимостью** от **монопольного работодателя,** монополией печати, пропагандой по радио, системой террора и ссылкой в концентрационные лагеря миллионов людей. И что же? Осенью 1937 года коммунисты публично признали, что 2/3 сельского населения (около 80 миллионов людей) и 1/3 городского населения (около 10 миллионов людей) открыто признают себя **верующими.** И там, где храмы разрушены, люди молятся в лесах, в оврагах, в поддонном Китеже своей собственной души. Кто же, зная это, поверит г. Салтыкову, что русская душа — детище небытия и духовного безразличия?

Кто знает Россию, тот знает, какой день называется у русского народа «праздников праздник и торжество из торжеств». Это день, к которому каждый год готовятся 49-дневным постом и покаянием. В этот праздник богослужение длится всю ночь, три дня звонят колокола, и все люди от нищего до Царя обмениваются трикратным поцелуем. Этот праздник есть мистический и метафизический центр русского года и русского бытия. Это Воскресение Христа Спасителя, — живой символ, живое

обетование всем народам и нам, русским, в особенности: ибо вся наша история прошла под знаком муки и жертвы, смерти и воскресения. Другие народы не знают о нас то, что мы знаем о себе: наша вера и наша история научили нас **незримо возрождаться в зримом умирании** — да славится в нас Воскресение Христово! Это воскресение совершится и после революции, и пусть тогда г. Салтыков еще раз назовет русских — «детьми вечной смерти»...

Свое горе и страдание русский народ искони выплакивал в молитве и в **песне.** Вот уже почти сто лет прошло с тех пор, как европейские ученые музыканты впервые изумились самобытным тональностям (**не** западноевропейским и не греческим!) русской **простонародной песни,** ее бесконечному мелодическому богатству, ее ритмике и ее самобытным, дерзновенным гармониям. Еще в 1879 году профессор Рудольф Вестфаль, сравнивая музыкальное богатство русской песни с сокровищами Греции и И.-С. Баха, писал: «Таких гармоний мы не встречаем ни у одного народа». Русский крестьянский хор поет без выучки, от себя, от природы, четырехголосные песни, свободно варьируя верхние подголоски, свободно передавая главную мелодию басам, как бы играя проходными септимами и нонами, — и все в тональностях и разрешениях, доселе не осмысленных музыкальными теоретиками; и поражающими их своею красотою. Ныне мир удивляется казачьему хору Жарова; мы **не** удивляемся ему, ибо он ушел от самобытного вдохновения простонародной русской песни и плывет в русле модернизма. Ему далеко до Петербургской Императорской капеллы, до Московского Синодального хора, до хора Московской Императорской оперы. Как стыдно нам читать у г. Салтыкова: «nous ne comprenons point la beauté: elle nous offense, comme toute inégalité»[3]...

Что же я скажу о русском храмовом зодчестве? Мне достаточно только упомянуть о деревянных церквах Русского Севера и об истинном чуде мира — о храме Покрова Богородицы на Нерли... Упомяну ли о русских иконах и о русском пейзаже? Назову ли Пушкина и всю русскую художественную литературу? Назову ли из му-

зыкантов Глинку, Мусоргского, Бородина, Рахманинова, Метнера? И что же: — мы знаем только le chaos et la destruction[4]!?..

И в царстве праведности — умолчу ли я о наших Святых: Сергии Радонежском, Иринархе Отшельнике, Серафиме Саровском и о монастырских старцах? Знают ли наши братья католики, кто была Юлиания Милостивая, кто был Ордын-Нащокин? Знают ли они, что на добровольные пожертвования в Москве был выстроен целый город университетских клиник и лабораторий? Знают ли они о бесчисленном множестве таких же больниц, богаделен и приютов по всей России? Знают ли они о нищелюбии русских монастырей и русских Государей? Знают ли они, что в беде пожара, метели, ледохода и войны русские люди всегда забывали всякую сословность и становились братьями? Знают ли они о самоотвержении русских докторов, в силу которого средний русский врач обычно стеснялся гонорара, а бедных лечил даром? И вдруг г. Салтыков приписывает нам «une absence d'amour»[5]...

Мне рассказывали германские и австрийские военнопленные последней войны, как простые русские бабы по собственному почину брали себе в «крестники» того или другого из пленных, оставшихся в концентрационном лагере: она не понимала чуждого языка, она могла видеть его только через решетку, но она заботилась о нем, носила ему еду, стирала и чинила его белье. «Господь пошлет, что и о моем муже кто-нибудь позаботится, если он в плен попадет»... Как трогательно мне было видеть слезы на глазах у тех, кто рассказывал об этом! Как дивно и гордо становилось мне за мой народ!

А знают ли наши братья католики молитву русского крестьянина во время сева: «Боже, устрой, и умножь, и возрасти на долю всякого человека трудящегося и гладного, мимоидущего и **посягающего**»... В этой молитве сеятель молится о том, чтобы хватило не только на всех голодных, но и на будущего похитителя или вора!.. И вдруг: «une absente d'amour»...

Систематически изучая коммунистические стенограммы, я нашел в 1927 году отчет о всероссийском съезде, где обсуждался новый советский закон о браке и

семье, закон безбожный, разлагающий, отвратительный. Один за другим поднимались простые русские крестьяне, рабочие и бабы и обличали погибельность этого замысла. Каждый говоривший знал, что ему грозит; и говорили открыто, честно и мудро: за христианскую семью! Но г. Салтыков «знает» обратное — «nous haissons toute forme»[6]...

И так во всем. Тот, кто знает, что Россия всегда строилась в местных делах **самоуправлением** сословий, а с половины XIX века — безсословным самоуправлением; кто знает историю русской **артели** и **кооперации**, историю русской **приходской школы** и историю **обычного права** у крестьян; кто знает, что до середины XIX века русский торговый и кредитный оборот не знал векселя и совершался по всей России **на слово** и **на честь,** — тому, я знаю это, будет очень трудно простить г. Салтыкову его статью. Он невольно будет спрашивать: **почему же** он написал ее? и **зачем** он написал ее?

Г. Салтыков принадлежит к тому течению в русской публицистике, которое возникло в России лет 50 тому назад и возглавлялось В. В. Розановым. Это писатели парадоксалисты, главное удовольствие которых состоит в том, чтобы «эпатировать» читателя. Не обремененные никакими точными знаниями, обо всем почитав и все «поняв» «по-своему», эти писатели берутся говорить обо всем и не питают **никакого интереса к предметной истине.** Им нравится беспредметное «заострение» всех вопросов и ответов; им присуща решимость быть односторонними до конца, причем каждый из них играет **своей** односторонностью на **свой** образец. Они не исследуют, а «конструируют»; они редко произносят верные суждения, лишь в виде исключения; они ничего не доказывают, но довольствуются более или менее темпераментным провозглашением; они нередко меняют свои конструкции каждые два-три года. Наивные люди увлекаются их парадоксами и не замечают того, что эти парадоксы подсказываются чисто личными настроениями. «Пессимизм» и «оптимизм», «материализм» и «идеализм», «национализм» и «интернационализм» — все приходит у них своей беспредметной чередой и так же исчезает в небытие. Мы давно уже привыкли не судить их писания

строгой мерой и не ждать от них доказательства и чувства ответственности. Именно поэтому мы с ними не полемизируем и беремся за перо против них только тогда, когда они переступают всякую границу терпимости и терпения.

Может быть, мы в этом не правы? Может быть, это наша ошибка? Но за эту-то ошибку нашу нам и приходится позднее отвечать и испрашивать прощения у серьезных и ответственных читателей.

P. S. Эта статья была написана для помещения ее на французском языке в том же органе, в котором, к несчастию, появились парадоксальные выходки г. Салтыкова. Но вот, в силу неизвестных мне обстоятельств, моему ответу не оказалось места там, где нашлось место противо-патриотическим и кощунственным статьям, направленным против России и Православия. Поэтому я отдаю эту статью в печать на русском языке и прошу всех моих соотечественников довести ее до сведения и уразумения тех бельгийских кругов, которые, подобно высокоуважаемому г. Жозефу Дуйе, имеют чуткое и справедливое сердце. Я был бы рад, если бы **точный** перевод статьи на французский язык стал бы, вопреки всему, достоянием гласности и появился в печати. Ибо в конце концов дело не только в нашем отмежевании от предающих Россию на поругание, а **в утверждении правды перед европейцами.**

Россия есть страна великой и самобытной христианской культуры, а не хаос, и не пустое пространство, и отнюдь не «исторически навоз», предназначенный для завоевания со стороны народов, преуспевших в машинной технике!

Изнемогая в гонениях антихриста, стойко исповедуя веру, приемля муки и подготовляя свое освобождение, Русский народ ищет ныне любовного понимания и братского сочувствия... **Дело России в борьбе с антихристом стало ныне частию единого и вселенского Дела Божия на земле**. И горе тем, кто этого не понимает или не хочет понять!...

«ПОДВИГ ЛЖИ» г. БЕРДЯЕВА

Бердяев родился в 1874 г. Ему сейчас 73 года. Он не получил почти никакого образования, не кончил гимназию и не работал в университете. Он самоучка — дале-

тант, всю жизнь предававшийся своим выдумкам и относившийся к ним с страстным увлечением. Это увлечение не мешало ему, однако, выдвинуть каждые три-четыре года какую-нибудь новую выдумку и отстаивать ее с пеной у рта. Он начал, как и многие тогда, с марксизма и, по-видимому, влечение к этой погибельной утопии возрождается в нем в его преклонном возрасте: «возвращается ветер на круги своя».

Все свои «зволюции» он проделывал, однако, не как скромный исследователь или искатель, а с помпой и треском тщеславного публициста. И куда бы он ни примыкал, — к «идеалистам», к «мистикам» или к православным богословам, — он всегда занимал крайнюю, крикливую, парадоксальную позицию. Он был всегда в высшей степени безответственным писателем. Считая себя пророчески одаренным «интуитивистом», он на самом деле оставался умственным авантюристом: что-то почитает, что-то вычитает, подхватит, раздует, преувеличит, по-своему переиначит, исказит и разразится пучком безответственных и часто соблазнительных парадоксов. Таким он всегда был, таким остался и теперь.

В дореволюционной России его принимали всерьез только совсем наивные люди. Все знали, что Бердяев возьмется доказывать, то он непременно исказит, скомпрометирует и погубит. Известно, что проф. Новгородцев отказался допустить его к магистрантскому экзамену. Один ученый сказал про него: «Когда Бердяев пишет о том, что я изучал и знаю, то я всегда слышу неосновательный вздор; я думаю, что он несет такой же вздор и в тех вопросах, которые я не изучал». А в Москве ему давно уже дали приятельское прозвище «Белибердяева».

Все видящие его впервые бывают потрясены тем страшным нервным тиком, которым он страдает: этим чудовищным раскрыванием рта с многократным вываливанием большого, белого языка и с судорожным подергиванием шеей и руками. Всякий на его месте мучительно стеснялся бы этого несчастного тика... Но Бердяев наоборот — всегда садится в общественных собраниях на самое видное место, лицом к публике, как если бы он нарочно хотел ошеломить и потрясти людей своей особой. Замечательно, что эта жажда импониро-

вать читателю своими вывертами и вызывающе шокировать общее чувство общественного приличия — характерна и для всех его писаний и выступлений. Рассказывают, в виде остроумного анекдота, что когда-то давно в Петербурге одна гадалка с завязанными глазами, не зная, кто перед ней стоит, прорекла Бердяеву. «обнаружитесь — и ахнут»... Однако известно как факт, много обсуждавшийся, что один православный глубокомысленный богослов говорил о нем. «в Бердяеве сидит бес, однажды все убедятся в этом и придут в ужас»...

Один русский ученый пишет мне из Рима. «Чего же Вы ждали от него? В 1909 г. он проповедовал в своеи книге бездетный брак как высшее достижение человека. Легко себе представить, какими остротами это было встречено в академической среде.

Так он нес всю жизнь безответственный вздор Почему же ему теперь не «открыть» и не печатать того вздора, который он теперь печатает на задворках парижской советской прессы?»

Здесь в Париже мне рассказывали еще из очень хорошего и чистого источника, что покойный П. Б. Струве порвал с Бердяевым еще в тридцатых годах, когда тот только еще начинал заигрывать с Советами Струве прямо объявил Бердяеву, что с его соблазнительными идеями он будет бороться всеми силами до самого конца жизни. А мудрый и спокойный князь Григорий Трубецкой, пользовавшийся исключительным доверием вел. князя Николая Николаевича, говаривал про Бердяева с своей тонкой усмешкой дипломата. «Бердяев как стрелочник, который каждый день пускает несколько поездов как раз в обратном направлении, чем это нужно»... Однако такого стрелочника давно уже уволили бы и отдали бы под суд, а печатное слово свободно может сеять соблазн...

За последние 15 лет книги Бердяева много переводились на иностранные языки, что создало ему за границей репутацию выдающегося русского философа Какое жалкое недоразумение! Это есть дело особой международной «кулисы», к которой Бердяев примкнул во второй половине двадцатых годов и которая сделала все, чтобы выдвинуть его на первое место. Характерно, что

ныне (а может быть, и тогда уже?) эта кулиса заняла определенно-просоветскую позицию: она поддерживает во всем мире всякую хвалебную неправду о Советах и подавляет всякую критическую правду. Именно в этой связи повернули к Советам и такие деятели, как Маклаков, Кривошеин (сын), Рощин, Ступницкий, Бердяев, Бунин, Тэффи (Лохвицкая).

Эта идеализация Советов и их политики совсем не случайна и не бессмысленна. Она преследует совершенно определенную, хотя до нелепости безнадежную цель — влиять на советскую политику посредством сближения большевиков с Европой и ликвидация противосоветской эмиграции; внушать большевикам идейную программу и гуманные замыслы; изображать их везде в самом приемлемом виде, скрывать правду о деятельности и о планах Советов и склонять большевиков к «эволюции». Мы, дескать, будем вас реабилитировать, а вы будете выслушивать наши советы, пускать «наших» внутрь страны...

Дело в том, что на свете есть много людей, которые до смерти боятся крушения большевиков и тех эксцессов, к которым это может повести внутри России. Они хотят во что бы то ни стало добиться их эволюции: медленно и безнаказанно вытащить большевиков и их сотрудников из революционной бездны...

К этим кругам принадлежит и Бердяев. Их поручения он и исполняет; через них он и получает «социальные задания» большевиков. От их-то лица он лжет, выдумывает и запутывается во всяческой неправде и полуправде. Прекрасно отметила у него А. В. Тыркова («Свободная Мысль» № 6) — «Отсутствие интеллектуального стыда» и «равнодушие к добру и злу», а Тыркова знает Бердяева давным-давно, еще с Петербургских времен лет сорок. Превосходно отделал Бердяева в том же номере «Свободного Слова» и прибывший недавно оттуда «Советский Интеллигент», с подлинным знанием дела, с настоящим патриотическим негодованием и полемической неопровержимостью. Он с истинным подъемом вскрывает у Бердяева «абсолютную ложь» и называет его писания «издевательством над горем и мучениями русского народа».

Бердяев, конечно, знает, что он лжет: он лжет обдуманно и сознательно. За последний год из его кругов

была выдвинута даже особая теория о «подвиге лжи»: они де взяли на себя подвиг лжи во имя высшей цели, — спасти большевиков и их ревностных сотрудников от кровавой всенародной расправы... Какая гуманная забота о палачах родного народа. Не о подавленном и вымариваемом русском народе, не о гибнущих поколениях русской молодежи, а о том, как бы не пострадали сами мучители. Какое предательство русского народа в руки этих самых палачей. Ну помучают еще лет 15—20, зато не будет никакой расправы...

«Подвиг лжи» означает не только, что «цель оправдывает средства», но еще, что ложь делает лгущего «героем». А за этим начальным «геройством» — какая предстоит ее фаланга «подвигов»? «Подвиг клеветы» — чем он хуже подвига лжи? А ложью уже осуществлен и «подвиг предательства». А как же можно будет избежать «подвига доноса»? А за этими пойдут новые неисчислимые позорные «подвиги». И вот перед нами развертывается весь этот фронт разложения и соблазна. И вспоминаются Евангельские слова о соблазнах и соблазнителях...

Но Бердяев является, конечно, только орудием, только передатчиком соблазна. Знающие его утверждают, что он исполняет «социальные задания» не из корысти, сослепу, в неистовстве очередного парадокса; что он с тою же «храбростью» высовывает ныне язык исторической правде и русскому народу, с какою он когда-то высовывал его на допросе Дзержинскому и Менжинскому[1]. Тем ужаснее, тем показательнее это отвратительное явление. Тем глубже озаряется перед нами всероссийская и всемирная смута...

РОССИЯ И ЕВРОПА

Перед нами любопытная и показательная книга, по внешней видимости — научное исследование, по существу и по замыслу — памфлет, направленный против русского народа и против Православия. Alexander von Schelting. Russland und Europa im russischen Geschichtsdenken. Bern[1].

Автор достаточно знает русский язык и русскую литературу, чтобы утратить право ссылки на свое «неведение». Он плохо знает русскую историю, но не

смущается этим. Философии и богословия он не знает совсем. Он — ученик Петра Чаадаева, сам называет его своим «вождем» и стремится внушить западным европейцам чаадаевское презрение к русскому народу, к его истории и культуре. Прослеживая спор между «западниками» и «славянофилами» (1836—1856), он кратко и иронически излагает воззрения Хомякова, Самарина, Тютчева, Гоголя, Данилевского и Достоевского, еле упоминает Константина и Ивана Аксаковых, и с каждым из них расправляется от лица Чаадаева и известного тогда «презирателя» России — маркиза де Кюстина. Этих двух он цитирует страницами, на все лады, превращая их в своего рода верховный и прозорливый трибунал.

С историческим материалом он не стесняется: то, что ему неудобно, он просто замаливает (например, ответ Пушкина Чаадаеву: «Клянусь Вам моею честью, что я ни за что не согласился бы — ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Бог»). То, что ему надо исказить, он стилизует до искажения (например, «Петр Великий ненавидел, преследовал и разрушал как только мог» все русское). Ему важна не правда о России, а его «шельтинговская» доктрина, которую ему подсказывают де Кюстин и Чаадаев. Вот она:

Вся история России состояла из унижений и рабства. Русский человек, этот варвар и раб, всегда мечтал вознаградить себя за эти унижения — завоеванием вселенной и деспотической эксплуатацией других народов. Экспансия и агрессия живут у него в крови, подобно тому, как именно агрессия и экспансия владели душами славянофилов. Все славянофильское учение, все их возвеличение Православия — проистекает не из религиозной веры и не из патриотизма, а из необузданного честолюбия рабов, из одержащей их жажды «компенсации». Русская интеллигенция вообще не способна веровать: Достоевский от лица Шатова сам сознался в этом: она только все пытается присвоить себе веру, чтобы злоупотребить ею политически и националистически. Таким образом — большевизм с его агрессивным посягательством был зачат в славянофильстве: там «мессианствовало» и «беспримерно» посягало на мировое водитель-

ство — русское православие, а ныне тому же самому предается русский коммунизм; надо «подставить» одно на место другого — только и всего.

И все эти беды и опасности произошли от того, что русский народ воспринял христианство от Византии, а не от Рима. Уж католицизм сумел бы привить русскому народу все элементарные основы повседневной жизни — честность, дисциплину и правопорядок, которые теперь ему (якобы! — *И. А. И.*) прививает по-своему коммунизм. А на «православную любовь» ссылаться нечего: она придет — потом, в теократии Царства Божьего. Автор приводит даже мнение московского доцента Густава Шпета, высказанное при большевиках, что св. Кирилл и Мефодий с их переводом священных книг на славянский язык были сущим несчастием для России...

Мы думали доселе (впрочем, будем и впредь думать!), что история России, как и у всех народов, состояла в постепенном освобождении, внешнем и внутреннем, и что сущее рабство, антинациональное и тоталитарное, принесли ей коммунисты. Но Шельтинг не хочет знать об освобождении — ни от татар, ни от поляков, ни от крепостного права; ему необходимо видеть в русском *вечного раба*. Мы думали, что это *к нам* вторгались Сигизмунд III, Карл XII, Наполеон, Вильгельм II и Адольф Гитлер; но по-видимому, в «агрессии» были повинны мы сами. Мы по наивности полагали, что Петр Великий горел любовью к России; но, может быть, он и вправду ненавидел родину и был «влюблен в Европу»?! Мы всегда считали, что Шатов является у Достоевского одним из «бесов», беспомощно пытающимся узреть Христа и далеко не исцелившимся от ставрогинских соблазнов; но Шельтингу нужно скомпрометировать русскую интеллигенцию суждением самого Достоевского, и вот лепет Шатова выдается за национальное самообличение. Мы всегда считали и ныне считаем Хомякова скромным и мудрым богословом, проповедником всероссийского покаяния и очищения (вспомним его поэтические призывы: «Не верь, не слушай, не гордись!» и еще: «Не говорите — то былое, то старина, то грех отцов»). Но Шельтингу надо надругаться над ним, как над беспримерным честолюбцем, жаждущим

экспансии для России и для Православия. Мы думали, что русский солдат, бежавший с фронта в 1917 году, сдававшийся в плен финнам в 39-м году и пытавшийся спасти Россию от большевизма массовым пораженчеством в 41-м году, — слишком ужасно обнаружил свою несклонность к империализму и агрессии. Но Шельтингу надо внушить европейцам страх, презрение и ненависть к православной России, которая будто бы вдохнула коммунистам свою завоевательную гордыню, и он ведет свою линию упорно.

Но в чем же спасение? Шельтинг отвечает и на этот вопрос: во всемирном распространении католичества. Католичество должно охватить всю Америку. К католичеству должны вернуться и европейские народы, осознавшие свое естество и грозящую опасность. Тогда и русский народ — *тем или иным путем* — найдет свое спасение в римской церкви.

Теперь будет понятно, откуда весь этот обличительный и презрительный поход на Россию и на Православие. Это обычный прием всех завоевывающих вселенную тоталитаристов: замышляя экспансию, они для отвода глаз приписывают соответствующие вожделения намеченной ими жертве. Практику этого приема мы всесторонне изучили за последние 32 года, и на востоке и на западе.

Можно поздравить Шельтинга; его книга не будет забыта в истории памфлетной литературы, враждебной национальной России и Православию. В ней сделано все для того, чтобы *углубить ров между Россией и Западом*, для того, чтобы *внушить Европе ложные представления о Православии и о России*, для того, чтобы *в будущем навредить русскому народу в военное и в мирное время*.

ОТЗЫВЫ О ЖУРНАЛЕ «ДЕНЬ РУССКОГО РЕБЕНКА»

«День русского ребенка». Вып. VI. Сан-Франциско, 1939[1].

Ваш шестой выпуск опять очень удачен. Классическое и современное составлено очень поучительно. Современное более чем удачно. Жаль, что я не успел послать свое. К следующему номеру пришлю. Обещаю.

Душевно Вас обнимаю и крепко жму Вашу руку.

Ваш Ильин.

«День русского ребенка». Вып. XIV. Сан-Франциско, 1947[2].

14-й выпуск очень богат и очень интересен. Темы статей захватывают жизнь всесторонне и широко. Осуществлены прекрасные замыслы: например, подлинный текст официальных актов переворота 1917 года дает возможность владеть первоисточником. Воспоминания Дерюжинского об Академии Художеств очень ценны; искренно, верно и сильно написал Завалишин; радует Исповедь Никифорова-Волгина (школа Шмелева); волнует судьба Монахини Марии; прелестен отрывок из воспоминаний бар. Будберга. Перепечатки из Толстовских книг для чтения очень ценны. Лирическо-искренно стихотворение Ветвинского. Конечно, уместно вспомнить слова покойного П. Струве: «Я, как редактор, не могу создавать авторов: я могу печатать только то, что дает живая Русская мысль».

«День русского ребенка». Вып. XVI. Сан-Франциско, 1949[3].

В XVI выпуске — целый ряд первоклассных статей, которые читались и всегда будут читаться (а это дороже всего — неумирающее!), с глубоким удовлетворением. Спасибо Вам!

«День русского ребенка». Вып. XVII. Сан-Франциско, 1950[4].

Глубокоуважаемый Николай Викторович!

Отзываясь на Ваш вопрос, спешу сообщить Вам, что я с большим интересом читаю печатаемые у Вас критические отзывы о Вашем журнале.

Должен сказать, как сотрудник и автор, что при нынешней разбросанности эмиграции, при отсутствии единого, устойчивого и зрелого общественного мнения и при засилии журналов и газет революционно-февральского направления мы отдаем в печать свои произведения без надежды на живой отклик. Подобно жюль-верновскому «Капитану Гранту» бросаешь в океан засмоленную бутылку с надеждой на то, что кто-нибудь из верных России и борющийся за нее «честно и грозно», — найдет твою бутылку, откупорит ее и прочтет... Тут уж дорожишь **каждым откликом.**

Но интересны и осуждающие отзывы. По этим отзывам можно видеть, научилась ли русская интеллигенция

критиковать **ответственно** и **предметно**, **строить** и **помогать** своею критикой, или же она осталась при своем старом обычае — критиковать безответственно, обывательски, недоброжелательно, из пустого самолюбия, чтобы «подсидеть» и помешать делу своим суждением. «как это такое — **без меня** обходятся, **меня** не спросили?! надо им показать!!» И начиналось...

Все делилось партийно на «наше» и «не-наше». «Наше» превозносилось, распространялось и, в случае провала, покрывалось и защищалось — будь то даже глупое, вредное и нечестное. А «не-наше» отвергалось и поносилось, — будь оно самое мудрое, верное и спасительное. Традиция эта — давняя, больная и погибельная. Невольно вспоминаешь Чаадаева, с его слепым поношением России и с его католическим пафосом; Герцена, с его революционной аффектацией самого дурного тона; покушения на русских Государей; поход на П. А. Столыпина справа и слева.

Вспоминая эту традицию и читая всякую «взаимокритику» в эмиграции, спрашиваешь себя: ну что же, научилась ли русская интеллигенция **помогать строящему**, а **не вредить делу**?.. А что, если все осталось по-старому и «добрые люди» опять будут мешать всякому, делающему живое национальное дело — недоброжелательством, изоляцией и безответственным «критикастерством»? Итак, пусть критикуют, но пусть помнят, что **они сами держат экзамен на ответственного и предметного деятеля — и могут провалиться**... Да ведь и проваливаются...

В XVII выпуске Вашего журнала есть немало ценных статей. Интересны статья Зеелера о Репине и Хорват о Куинджи. Драгоценны все статьи о русском Патриаршестве и о Святителе Тихоне, особенно статья Протопресвитера Михаила Польского, книги которого никогда не забудутся в истории Православной Церкви. Патриотической благодарностью согреты две статьи исторического характера — А. Н. Вагина, А. П. Лукина и неподписаннные. Поучительна статья Н. С. Арсеньева. Живая «земская» мудрость заложена в воспоминании Н. А. Цурикова. Живописен и трепетен рассказ И. С. Шмелева «Глас в нощи». Замечателен рассказ Б. Дудорова «Васо». в нем сочетаются художественная простота с глубокои национально-патриотической идеей, живая любовь с верным видением России.

Еще одно слово. По-видимому, есть отдельные читатели, недовольные тем, что русские люди с горячим чувством вспоминают «монархическую Россию»... А где же нам взять «республиканскую» Россию, которой никогда не было, и где взять воспоминание об этой небывшей химере? Как мы можем забыть великие заслуги русских Государей, отдававших России все свои силы, здоровье и самую жизнь? Или мы обязаны чернить и поносить наше историческое прошлое и клеветать на него только за то, что Россию вели Государи, а не выбранные президенты? Попробуйте предъявить такое требование **английскому патриоту**, и вы увидите, что он вам ответит. Избави нас, Боже, от **патриотической неблагодарности**, от **государственной неверности** и от **политического изуверства.**

С истинным уважением

И. А. Ильин

«День русского ребенка». Вып. XVIII. Сан-Франциско, 1951[5].

Глубокоуважаемый Николай Викторович!

Читая восемнадцатую книгу «Дня Русского Ребенка», чувствую и вижу, что журнал переживает **период полного расцвета**, и не могу не высказать этого. Радуюсь этому и поздравляю Вас и всю редакционную коллегию. В отличие от других эмигрантских журналов, выходящих в Нью-Йорке и в Париже, у Вас есть живое **духовное горение**. И Вы, и Ваши сотрудники — Вы умеете **любить Россию** и знаете, что писать о ней, — и о ее прошлом, и о ее настоящем, и о ее будущем, — **надо именно из этой любви**. Без любящего и созерцающего сердца **нет** русской души, **нет** русской религиозности, **нет** русского творческого акта, не будет и самой России... Только на этом пути можно найти те русско-национальные, священные **традиции**, от которых нам всем надо идти и строить новую Россию. Вот почему там, где у других выходит холодное и пустое, интернациональное умничание, у Вас струится жизнь и горячие огни.

Восемнадцатая книга настолько богата, что всего и не упомянешь. Необходимо отметить самое выдающееся. Поэзия графа А. К. Толстого является для этой книги критерием.

И вот, прежде всего отдел «Патриотика». Из горящего сердца возникла статья В. Еленина, осмысливающая трагедию Государя и его народа. Как жаль, что

он не привел дословно «требования союзников» в январе 1917 года и ответ Государя им. Но несомненно еще, что ни Николай I, ни Александр II, ни Александр III не разрешили бы русский народ от присяги, а потребовали бы ее соблюдения. Нельзя читать без волнения и благодарности статьи Айвазовского, Тарсаидзе, адмирала Дудорова, Марии Петровны Бок (Столыпиной) и Маевского (о Сенявине). С образцовым гражданским мужеством написана статья Борзова об Императоре Павле. Неуравновешенный характер этого Государя был **не причиною**, а только **предлогом** для цареубийства: Павел I хотел царствовать не для дворян, а для всего народа; вдали показалась идея отмены крепостного права; этого было довольно. Русское дворянство после Петра Великого желало все время **зависимых от него Государей** и, не заботясь о здравом престолонаследии, действовало посредством гласных или негласных переворотов (1725, 1730, 1741, 1801...).

Особого внимания заслуживаст статья В. П. Рябушинского о «Московском купечестве». Она написана в форме «воспоминаний». О, если бы все наши «мемуары» писались с такой любовью к России, с такой искренней правдивостью, с таким социологическим глубокомыслием, с таким патриотическим оптимизмом. Так пишут люди глубоко религиозные; и читатели должны знать, что Владимир Павлович создал в эмиграции общество «Икона», коего и состоит председателем.

С какою чуткою любовью написана статья проф. Андреева о Владыке Анастасии! С какою теплотою и дружескою верностью обороняет Н. В. Борзов память покойного И. С. Шмелева... Можно быть уверенным: Шмелев будет жить в русской литературе **всегда**, а человечки, клеветавшие на него, забудутся, как прошлогодняя опавшая листва. С глубокомысленной и лирической теплотой написан опыт известного русского портретиста Г. Г. Габричевского об отношении русской интеллигенции к иконе. Как много мыслей вызывают статьи Иеромонаха Константина (Зайцева) о Православном Пастырстве и проф. Г. Гинса о судьбе русских крестьян...

Поистине между редактором и его сотрудниками **есть понимание и единочувствие**. Почти всех ведет **сердечное созерцание**. Как не порадоваться на талантливые «этюды» Никифорова-Волгина («Под колоколами» и

«Святое Святых»); как не отозваться сердцем на коротенькие, но живоносные опыты Н. Горчакова, В. Вырыпаева, В. Корсака? А в юношеском и детском отделе дано целое богатство таких сердечно отстоявшихся «обликов» и «видений»: «Жоржик» Шмелева, «Абдулка» Е. Ч., «Няня Акулина» Раисы Стивенс, «Вишенка» Величко, «Галька» Клокачевой, «Дубонос» Елены Якубовской. Все это читаешь с благодарностью, тронутым сердцем — и невольно думаешь о старой художественной истине: **настоящее искусство требует прежде всего безыскусственности**.

Совсем особое место занимают в этой книге воспоминания протоиерея Михаила Польского о Соловецком Лагере. Какая подлинность, какая трагическая значительность и какая простота рассказа!...

Из всего обилия стихотворений — наипростейшие, суть часто наилучшие. Как художественно краток и созерцательно убедителен «Крестный ход» Иерея; нет ли у него и других видений?! Прелестны: «Весеннее» Елены Дарем, «Лесная картинка» Нелидовой-Фивейской, «Ломок и тонок» Елены Якубовской. Стихотворение Юрия Унгерна «Львиная смерть» — задумано в большом масштабе и, к сожалению, не выношено до конца и не завершено даровитым поэтом. Волнует отрывок «Встреча двух миров» Анонима.

Русские поэты должны раз навсегда отделаться от наследия Блока и Ахматовой: это прошлое, это отжившее страстное безволие; это такая же опасность для русских поэтов, как и сентиментальность. Но России нужно больше. она ждет новых поэтов **с пророческим глаголом**, с грозной мыслью обличения, с гимнами нового бытия. Для этого надо начинать с сердечного созерцания и искренней простоты.

Эту атмосферу создаете Вы, Николай Викторович. Спасибо Вам.

А как говорят сердцу иллюстрации! Жаль, что далеко не везде обозначены по имени живописцы.

И. А. Ильин

«День русского ребенка». Вып. XIX. Сан-Франциско, 1952[6].

Глубокоуважаемый Николай Викторович!

Только что прочитал новый выпуск Журнала и спешу отозваться на него.

Самое важное и драгоценное в нем это те живые и глубокие слова, которые сказаны в нем об **устоях**, о **направлении** и о **смысле** самого журнала. Это сделано в трех статьях. Во-первых, в **Вашей** статье «Мой благодарственный ответ». Все статьи, посвященные Вашему юбилею, хороши, задушевны и трогательны. Но в Вашем ответе, составляющем как бы духовный «хребет» всего выпуска, сделано **главное**: в форме совсем простой и звеняще искренней, с великой теплотою и истинно религиозной скромностью выговорены в виде личного исповедания основы и цели самого журнала. Потребность в этом была у читателей давно; ныне это свершилось. Основной дух журнала — это благодарность Богу за все посылаемое нам и благодарность России за все великое, созданное ею, ее Государям, ее народу, ее строителям за их верные и священные национальные традиции. Статья заканчивается молитвою... Могло ли быть иначе?... Какое знамя возможно без молитвы? А здесь развернуто именно русское национальное знамя.

Прекрасным дополнением к этому является прекрасная редакционная статья. Здесь мы читаем эти четкие, незабываемые слова: «Наш журнал ставит своей задачей показать прелесть своего родного, национального, религиозного. Почти 150 лет мы привыкали не только критиковать, но и не уважать высших представителей власти и даже Верховных Хозяев Земли Русской. Мы охотно верили всякой клевете по их адресу и не видели, не понимали или не желали понимать их бескорыстный и самозабвенный труд на благо всей России...»

Н. В. Борзов подтверждает это: «Сколько гнусной клеветы вылито на наших правителей, особенно на наших Венценосных Хозяев, и эту клевету журнал, по своим силам, должен разоблачать и уничтожать. И я рад, что работаю с составом Комиссии, разделяющим вполне мою точку зрения на задачи журнала»...

А. В. Карташев по-своему прекрасно и глубоко формулирует эту задачу: Мы должны иметь «мужество и искренность» — «высказывать, невзирая на лица, нашу интимную глубину; крепкую думу нашей Православной души: думу тысячелетнюю, по кровному наследству от праотцев в нас живущую; наше не книжное, не чер-

нильное, но заветное откровение нашего русского сердца, подлинно профетическое[7]. То, чего подменить нельзя, не убив творческих сил нации, не оскопив и не опошлив души народа, ее незаменимой, единственной, только раз на всю историю Провидением заданной ей миссии...» — «Это — не убожество консерватизма, это — не реакция. Это спасение национальной души... не только ее великодержавного политического тела, еще далеко не закончившего своего исторического свершения...» Без этой «национальной мистики» русское сердце «жить не хочет, и не может, и не будет!» А журнал Д<ень> Р<усского> Р<ебенка> как раз и поет эту «песнь русского сердца».

Все это важнейшее и главнейшее для нас, читателей и сотрудников. Мы рады этим словам и благодарны за них.

Именно при таком понимании мы видим и разумеем все личные образы, показанные в XIX выпуске: образ убиенного Государя, образ Елены Иоанновны, дочери Иоанна III, православной русской польской королевы, образ Суворова и всех наших замечательных современников... Шмелева, так художественно показанный Бальмонтом; всех наших славных ученых и исследователей: Ипатьева, Тимошенко, Спекторского, Зворыкина, Зароченцева, Митрополита Леонтия; наших доблестных воинов — генерала Флуга, адмирала Старка, капитана Апрелева и других. Особое освещение получают статьи о Гоголе — Пыпина и отца игумена Константина. В полном своем значении предстает перед нами подвиг Русского Офицерства (стр. 222). По-новому ценится превосходная патриотическая работа Федерации Русских Благотворительных Организаций в Соединенных Штатах. По-новому читается глубокомысленная статья Гребенщикова «Стержень Правды». Тронутое сердце с благодарностью отзывается на стихотворения Кирбицкой, Софии Борзовой, Елены Дарем, Мясоедова («Из Давних Странствий»), Родиона Березова («Тоска по родине»), княгини Наталии Волконской («Калики перехожие»), Васильева «День Матери» и Жаковского («О русском языке»).

Книгу закрываешь с глубоким вздохом и с чувством глубокой благодарности.

Ваш И. А. Ильин

О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЯХ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН
КАК ЧЕЛОВЕК И ХАРАКТЕР

Первый час

1

Дамы и господа!

В моей первой лекции[1] о Пушкине я попытался обрисовать вам *духовную сущность* и *культурное значение* этого необычайного человека.

Человек новой духовной проблематики, подлинно русской страстности и свободы, он по своему предметному созерцанию и по своему поэтическому дарованию был поэтом высочайшего ранга.

Он явился своему народу в ту трудную переходную эпоху, когда предстояло постепенно смягчить — ослабить и ликвидировать — затянувшийся период борьбы с твердо установившимся порядком жизни и установить новый строй с вновь расцветшей духовной культурой.

Таким образом, Пушкин был послан русскому народу, чтобы наделить его доверием к самому себе, продемонстрировать его чудесное предзнаменование и великое обетование, придать ему воли к совершенству, указать верное направление, заверить его в том, что он сможет даровано преодолеть все свои исторические превратности и невзгоды, а за свою широту, удаль и любовь к свободе получит возможность поисков и обретения совершенной формы.

Таким образом, Пушкин сделался лучеиспускающим центром в истории русской культуры, воплощением ее закономерности.

Словно огромный духовный резервуар, он вобрал в себя все подземные источники русской души; и скопившиеся в нем воды пришли в состояние благословенного творческого кипения, очищения и чудесной целительной гармонии.

Тем самым Пушкин стал проводником *свободной духовной очевидности* и *радости творческой* в русской истории.

В нем первом русский дух осознал себя во всей своей глубине и широте; в нем этот дух уверовал в свою природу и в свой творческий акт — акт, направленный на *совершенство формы, обусловленное сердечным созерцанием и достигаемое реально и с радостью только при наличии этого созерцания, только при желании его.*

Он был тем, кто указал русскому человеку духовный путь: «Свободно созерцай из своего страданием растревоженного сердца и — придешь к Богу»; «Твое твердое и неуклонное стремление к совершенству не напрасно — стучи, надейся и борись — ибо совсем рядом стоит Господь, близ, при дверех[2] твоей души».

В Пушкине первом встречается первобытное русское язычество (славянский миф, сказка, ритм древлеславянской души в целом) с русской светской, секуляризованной, культурой (поэзией!), чтобы вместе достичь благословенных берегов русского восточного православия и научиться у православия его духовной трезвости и мудрости.

Я сказал: Пушкин — воплощение русской духовной очевидности. Но очевидность эту он почерпнул не от веры, скорее наоборот — ведомый очевидностью свободного вдохновенного созерцания, он пришел к вере.

А совершилось все это и стало в нем событием потому, что древнее получило в нем освящение, а секуляризованность мирян стала причастной христианской мудрости.

Только благодаря этому русский дух пережил радость целостности своего становления и полноты своего бытия; свободно приняв на себя христианскую благодать, он получил исцеление, умиротворение, смог приобщиться к радости осознания своего Господа.

И если европейские народы всё еще не привели свое язычество под благословение христианства; если, как у германцев, до сих пор против образа Бога-Сына восстает и бунтует Вотаново начало и если в силу именно этого раздвоения бессердечная власть восстает противу полномочий сердца — то у русских — через Пушкина — достигнут и продемонстрирован этот *синтез под знаком свободного сердечного созерцания.*

А это как раз то, что дало Достоевскому, и не одному Достоевскому, полное основание взглянуть на Пуш-

кина, как на *первопроходца* и пророка: *свободная гармония*, почерпнутая в мире и творчески привнесенная в культуру, ведет к Богу и Сыну Его; однако органом этой гармонии является *искреннее поющее в любви сердце*.

С тех пор в русской культуре существует спасительная традиция — традиция Пушкина: всё, что движется в русле ее, служит раскрепощению и расцвету русского духа.

Пушкин учил Россию свободно, из сердца созерцать Бога и посредством этого созерцания укреплять и поддерживать свои Богом хранимые национальные и духовные силы.

Наперекор всем горестям, бедам, искушениям, из которых, кажется, соткана ткань русской истории, Пушкин каждым стихом своим, каждой поэмой и каждой драмой пел благословенную и радостную Осанну Господу.

Наперекор всем опасностям земным пел поэтически совершенный гимн, гимн очевидности; гимн победы над хаосом; гимн закона без принуждения, празднующего свой триумф над несвободой разнузданности.

Это было свободным возвращением к свободно созерцаемому Богу — Христу; свободная Осанна, пропетая поэтом и пророком, дитём и мудрецом — как о том мечтали древний Гераклит, а позже Шиллер и Достоевский.

И когда мы сегодня, в мировом масштабе, спрашиваем — куда ж теперь? С чего нам начинать, осиротевшим детям нового времени, — если вдруг словно гигантские обломки вынырнем из дьявольской дробилки нынешней мировой войны, — с чего начинать, куда идти? — то мы, *русские* по национальности, знаем, куда и как: мы будем и дальше жить в русле созидательной традиции Пушкина, как это делал весь XIX век; мы продолжим традицию свободного созерцания сердцем, традицию поющего и жаждущего совершенства сердца, с мощной, неколебимой уверенностью в том, что мы не сиротливые дети декаданса, а свободно созерцающие христиане; мы будем вместе с Пушкиным верить в высшее счастье совершенной формы, в ее созидательную силу: она благословенна, потому что угодна Господу, потому что ведет к Спасителю.

Это национальное заповеданное, которое нам оставил Пушкин: мы дадим возможность петь и светиться

нашему русскому славянскому сердцу как главному и как исходному источнику и древнему источнику культуры — будущей религии, искусства, науки, философии, государственности и экономики.

И путь этот тверд и незыблем.

2

Однако, если есть нечто, что выходит за рамки сугубо творчества и значения Пушкина, то не может ли появиться желание узнать и понять, кем же он был на земле, каковы его происхождение, жизненный путь, внешность, характер, увлечения, заблуждения, устремления, смерть — не захочется ли все это понять и сопережить. Я бы хотел, чтобы моя лекция стала маленькой лептой, если такое желание есть у аудитории.

Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве. В добропорядочной дворянской семье, чьи предки веками исправно служили государству. Точно известно место в Москве, где жили его родители, церковь, где его крестили, известно, как проходило его детство.

Со стороны матери в нем текла сильно разбавленная рядом поколений абиссинская кровь. А было так.

В XVII веке между могущественной турецкой империей и соседними с нею азиатскими и африканскими государствами существовали раздоры.

И вот однажды сын абиссинского князя (эмира) попал к туркам в плен; те обращались с ним как с рабом.

Тогдашний посол России в Константинополе выкупил мальчика и послал его, как чудо природы, в Петербург, Петру Великому.

Петр, будучи человеком неуемной жажды познаний, обладал безошибочной интуицией. Побеседовав с мальчиком через переводчика, он нашел, что тот умен, и решил дать ему хорошее воспитание и образование. Он привязался к нему, лично заботился о нем и под конец отослал его, как свою надежду и любимца, за границу для дальнейшего обучения и службы. Его звали *Ганнибалом*. Это имя и стало фамилией дворянской рода, а потомки юного абиссинского князя смешались по крови с представителями русского дворянства.

Пушкина считали негром, он им не был. Внучка Ганнибала, Надежда Осиповна Ганнибал, вышла замуж за

Сергея Львовича Пушкина, отца поэта, таким образом в жилах Пушкина текла одна восьмая абиссинской крови.

В 1937 году, когда весь мир отмечал день памяти Пушкина (100-летие со дня смерти), его отмечали и негры США (оставим в стороне вопрос, было ли для этого достаточно оснований в век размаха расовых доктрин).

И тем не менее проблему национальной принадлежности стоило бы, как мне кажется, решать не по крови, а по духу.

А приглядеться, то поневоле напрашивается вопрос, кто из нас может поручиться, что в его собственном происхождении не замешался какой-нибудь инородец, и неважно — per matrimonium или per concubinatium[3].

Во всяком случае известно, что абиссинцы не относятся ни к неграм, ни к арабам, ни к евреям, они не черного, а темно-бронзового цвета, сложная смесь с точки зрения расовости; по вере — христиане-монофизиты. Они далеко не безобразны внешне — еще у всех у нас на памяти лицо Расс-Тафари[4], черноволосы.

Это — к вопросу о расовых корнях Пушкина.

3

Сам он был невысок, роста скорее среднего 1 м 64 см (мне он доходил бы чуть выше подбородка); т. е. мог производить впечатление даже небольшого человека, но очень стройного, с прекрасным, гибким и пропорциональным телосложением; черноволосым он не был, его волосы были темно-русыми, завивавшимися от природы в крутые локоны; цвет лица его был совсем светлый с красивым белым оттенком, который от солнца же превращался, как у всех, или почти у всех русских, в настоящий коричневый загар, например, после поездок в Крым или на Кавказ.

Глаза его, судя по современным описаниям, были чудесны: голубые, сияющие, необычайно выразительные, они так и светились на его лице, которое не было большим, но очень тонко очерченным.

Красивая, соразмерная с лицом голова, с целой копной волос, ниспадающих мелкими локонами; небольшие бакенбарды, которые он обычно носил, были приличной длины, а однажды так отпустил бороду, что получился

настоящий русский старец — так он и возвращался в Петербург, чтобы показаться в новом обличье жене.

Почти никто из друзей и мемуаристов не отзывается о нем, как о «красивом мужчине», никто не называет красивым его лицо. Но большинство описывает его лицо как необычайно оригинальное и выразительное.

Он обладал быстрым, пронзительным, схватывающим на лету орлиным взглядом. Лицо его было на редкость переменчивым, подвижным, нервным, истинно зеркалом внутренних приливов и отливов; может быть, чуть полноватые губы, но тонкого красивого рисунка; очень нервный, то и дело играющий, мысль отражающий, живущий настроениями рот — всегда работа, всегда сосредоточенность, интенсивность переживания.

Это постоянное подрагивание губ подчеркивают многие.

Таким был он — всегда подтянут, всегда оживлен; жесты энергично нервны, стремительны, движения неожиданны, порывисты, внезапны; и все это — от избытка жизненной энергии.

Шаг его был легок, естествен, несколько, может быть, небрежен, не без заметной грации; в танцах — искусен, воздушен, будто окрылен.

И при этом — чрезвычайно милая, светящаяся добротой улыбка, и неповторимая, предельно искренняя, манера звонко смеяться — тогда обнажались его здоровые, с белым отливом, миндалевидные зубы.

Смеяться он мог, как никто другой, — чистосердечно, бурно, заливисто, с редкими всхлипами, до слез.

Профессор Хомяков, маститый богослов и ученый-историк, пишет: «Когда Пушкин хохотал, звук его голоса производил столь же чарующее впечатление, как и его стихи»[5].

А художник Брюллов говорил о нем: «Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны»[6].

Всю свою жизнь Пушкин считал, что «все, что у человека возбуждает смех, — позволительно и здорово, все, что разжигает страсти, — преступно и пагубно»[7]. И в то же время он легко предавался пламени страсти и мог легко понять ее, как мог искренно и по-детски играть с малышами.

Если уж пребывал в радости и веселье, отдавался ему, как никто.

Приведу в этой связи ряд аутентичных высказываний людей, хорошо знавших Пушкина.

Профессор Погодин так описывает свое первое впечатление: «Это был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, на концах несколько курчавыми волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, черном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстухе»[8].

Другой современник, офицер Юзефович, отмечает: «Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными, большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми, блестящими зубами...»[9]

А вот еще одно аутентичное свидетельство: «С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна, — его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: он умный человек. Такая скромность ему прилична»[10].

Великий русский романист Гончаров присутствовал как-то в Московском университете на лекции профессора Давыдова по эстетике. Внезапно, вспоминает он, в аудиторию вошел царский министр народного просвещения, а с ним — Пушкин. Лекция на мгновение прервалась. Министр, обратившись к студентам, сказал: «Здесь преподается теория искусства, а я привел к вам само искусство»[11].

«Для меня, — пишет Гончаров, — точно солнце озарило всю аудиторию»[12].

В перерыве между лекциями между Пушкиным и другим профессором, Каченовским разгорелся спор. В то время только что было найдено древнее «Слово о полку Игореве», и спор шел о том, была ли поэма, написанная на старославянском, подлинной или — кто знает — более поздней имитацией, возможно, даже просто подделкой. Каченовский пытался доказать, что это — подделка более позднего времени. Пушкин утверждал подлинность «Слова».

Вы только представьте себе этот импровизированный диспут в кулуарах: царский министр Уваров, профессор Каченовский, посредине Пушкин, а вокруг — огромная толпа студентов. Гончаров пишет: «Пушкин говорил с увлечением, но <к сожалению> тихо, сдержанным тоном <...>. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского благовоспитанного человека. <...> Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь»[13].

Подобные описания, в которых один мастер созерцания и слова дает портретное описание другого, всегда обладают несказанной прелестью. Отметим лишь, что более поздний анализ первоисточника заставил и здесь признать *безошибочность* тончайшей интуиции Пушкина. Он оказался прав: древняя поэма была подлинником.

А вот еще одно свидетельство, на этот раз — женщины. Вера Нащокина, умная, милая женщина, супруга одного из друзей Пушкина, часто принимавшая Пушкина у себя как гостя, так описывает внешность и манеры поэта: «Своею наружностью и простыми манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный барин, Пушкин сразу расположил меня в свою пользу». «Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика — особенно его удивительных глаз. Это были особые поэтические задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых его душою.<...> Говорил он скоро, острил всегда удачно, был всегда подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли сравниться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти..»[14]

Это — факт. Особенно длинный ноготь Пушкин отращивал на мизинце, а чтобы ноготь не сломался, прикрывал его маленьким элегантным чехольчиком. Вероятно, чтобы как-то оправдать эту свою маленькую слабость, Пушкин в одном из своих произведений написал:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей...[15]

4

И при этом постоянно — непритязательная любезность и изысканное чувство такта. В общении с ним люди находили «какую-то удивительную простоту, выпрямлявшую человека и с первого раза установлявшую самые благородные отношения между собеседниками»[16].

Беседа с ним просто завораживала. Госпожа Вера Нащокина пишет: «Более привлекательного человека и более милого и интересного собеседника я никогда не встречала»[17].

Особенно прекрасным он становился, когда читал что-нибудь из своих произведений. Вдохновение преображало и очищало его всего, существо его горело внутренним огнем; наружу пробивался скрывающийся в нем пророк, и перед слушателем открывалось святилище.

Он это чувствовал, он это знал — и потому больше всего не любил вслух читать свои стихи в большом, пестром, малознакомом обществе.

Тогда он делался вдруг замкнутым, неприступным, несколько надменным и холодным, только бы его не трогали, только бы оставили в покое. Броская пустота, светский снобизм, пошлое любопытство причиняли ему боль, он этого не выносил.

И вот однажды, когда все эти бесцеремонные, назойливые просьбы стали ему невмоготу, и его охватил гнев, он прочел свое стихотворение «Чернь»[18]. В этом стихотворении с эпиграфом «procul este profani» («Отойдите, непосвященные») он отстаивал духовную независимость поэта от приливов и отливов мнений черни, которой не дано ни властвовать над поэтом, ни что-либо навязывать ему.

Все, кто слышал чтение стихов самим Пушкиным, единодушны в том, что оно было музыкальным, в несколько певучем тоне, с приподнятой выразительностью — сердце слушателя сразу же покорялось этой пламенной искренности, этой серьезности созерцания, этой магически пророческой мелодии и пребывало в блаженстве до конца.

Как-то раз, вскоре после своей первой встречи с царем, Пушкин читал в небольшом, но избранном обществе свою только что законченную драму «Борис

Годунов». Профессор Шевырев, тонкий поэт, отметил в своей записной книжке, что Пушкин в этот вечер в своем вдохновенье был необычайно красив.

У профессора Погодина об этом же эпизоде читаем следующее: «Первые явления выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорьем всех ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков «да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной», мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчанье, то взрыв восклицаний, напр., при стихах самозванца: «Тень Грозного меня усыновила». Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались обьятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эван, эвое, дайте чаши!... Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на востроносой своей лодке, предисловие к «Руслану и Людмиле»: «У Лукоморья дуб зеленый»... Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм»[19].

Свидетельства других очевидцев говорят нам о том, как Пушкин рассказывал русские народные сказки — в прелестной манере, с фантазией, увлекательно; порою он импровизировал собственные сказки, многие из которых для нас потеряны — например, как сатана ездил по делам на дрожках в Петербурге и т. д.

5

Представление о внешнем облике поэта будет неполным, если не добавить, что Пушкин был прекрасно закален физически; был здоров и крепок. Особым удовольствием было для него — утром, восприв ото сна, принять холодную ванну с плавающими в ней кусочками льда.

Он мастерски фехтовал; метко стрелял из пистолета; иногда рано поутру лежа в постели, если не приходило вдохновение (а оно часто посещало его по утрам), он доставал револьвер и хлебными катышками палил в потолок над головой — каждый выстрел был точным, и потолок постепенно покрывался ровным фантастическим узором — своего рода игривой живописью по плафону.

На природе он часами упражнялся в стрельбе по мишени.

Носил тяжелую металлическую трость 4—4,5 кг весом, подбрасывал ее в воздух, ловил или упражнялся в броске на расстояние.

Был мастером верховой езды. Был неутомим в пеших прогулках. Пройти 30 км туда и обратно, в общей сложности 60 — было для него приятным променадом[20].

Будучи юношей, и позже, он мечтал о военной службе, а в 30 лет он подавал прошение царю, в котором просил позволить ему службу в армии на Кавказе. Царь отказал, Пушкин заболел от огорчения, и утешился только тогда, когда проделал это путешествие в штатском, — и в штатском же участвовал в сражениях — с необычайным мужеством.

Лучшим его портретом считается портрет, написанный талантливым художником Кипренским, а особенно — медная гравюра, репродукция, сделанная Уткиным. Эту гравюру с собственноручным рисунком автора — большую редкость — я принес, чтобы показать вам.

Пушкин предпочитал два вида одежды: если он был настроен классически, — костюм был строг и прост, выбирал он его с тончайшим вкусом, носил элегантно, но позже, став камер-юнкером при дворе, возненавидел эту форму и предпочитал темно-коричневый длинный сюртук; если же у него было романтическо-фантастическое настроение, он добывал себе всевозможных фасонов национальную одежду народов России — из Буха-

ры, Бессарабии; сегодня он оденется черкесом, завтра сидит дома в мехах самоедов.

Более всего, однако, он любил косоворотки с затейливым поясом и войлочную крестьянскую шляпу с широким рантом. В этом костюме он в 1820 г., например, проехал по всей России и прибыл в Екатеринослав, где намеревался служить.

Он любил вино; мог много выпить, но не пьянел, а становился лишь веселее, задорнее, начинал сыпать эпиграммами и пускался в озорные проделки.

Любимыми блюдами его были: печеный картофель, моченые яблоки, простокваша и клюква. Тот, кто приглашал его в гости, знал, чем его угостить.

Всегда в нервно-подвижном состоянии, всегда расточительный в силах, он нуждался в витаминах и потому всегда был готов без всяких ограничений поглощать фрукты.

Надо еще сказать пару слов об убранстве его комнаты. Едва ли не до самого брака, в 1831 г., он вел своеобразную бродячую жизнь — то в ссылке, то где-то в провинции в почти ни к чему не обязывающей обстановке, то в поместье своего отца. Обитал он обычно в 1—2 комнатах с самой необходимой, часто беспорядочной обстановкой.

Писал настоящим гусиным пером, которое затачивал сам и которое — в поисках легкой эфирной формы, или неожиданно ускользнувшей рифмы, — покусывая помаленьку, так изгрызал, что от него оставалось все меньше и меньше и, наконец, его едва удерживали пальцы.

Он довольствовался малым и чувствовал себя лучше в обычной комнате, с простой мебелью — здесь легче находило на него вдохновение. Все роскошное, тяжкое, давящее было не по нем: оно парализовывало и связывало его, лишало свободы.

Один из его друзей так описывает его комнату в поместье его отца: «Комнатка <...> маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат; а стол был ломберный, ободранный, на нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки»[21] и т. д.

Суммируя все эти впечатления, мы увидим перед собой человека, который настолько поглощен своею внут-

ренней жизнью, переживаниями и творчеством, что на остальное у него не хватает ни времени, ни забот.

С одной стороны — великие, ищущие выхода, бьющие через край человеческие страсти, сосредоточенное духовное созерцание, а с другой — вечная потребность или преодолеть все внешнее, подчинить телесно-материальное — волей, тренировкой, усилием — или же просто отстраниться от него, отринуть, освободиться, потому что все это — лишь горькая, недостойная человека ноша (тенденция античных киников — с той разницей, что они более педантично заботились о своем теле).

Внутренний жар его души требовал внешней свободы — он должен был стать независимым от всего незначительного, все несущественное должно покорствовать ему и служить, ничто не должно мешать; дух требовал суверенности, самоутверждения.

Источником жизни его — был дух; это было свободное созерцание сердцем, свободное излияние сердца. И это излияние в своей чистой духовности было совершенно искренним, совершенно безыскусным и ясным; каждый, кто обладал хоть толикой духовности, мог и должен был понять, что это такое.

Внешность Пушкина была верным отображением его внутреннего мира. Что же это был за мир? Что за характер скрывался за столь гениально-выразительной внешностью?

После краткого перерыва я попытаюсь ответить на этот вопрос.

Час второй

1

У Пушкина при жизни было невообразимое множество поклонников и друзей. Но только немногие обладали тем тонким чувством проникновения, которое помогало им верно понять характер поэта и его творчески-созерцательный акт.

В жизни обычно бывает так: глупец не понимает ни самого себя, ни умного; грубая натура не может проникнуться утонченностью чужого духа; было бы чудом, если бы злой хоть что-то понял в душе доброго; бездар-

ному же вовеки не понять, что приходится выстрадать и отстоять в борьбе гениальному человеку.

Поэтому гениальному человеку уготовано и совершенно особое одиночество; его не понимают и ложно истолковывают; он чувствует это и страдает вдвойне. А те, кто его не понимал, судят о нем пошло, неверно, злобно, завистливо. Чтобы правильно понять великого человека, надо долго и любовно вживаться в его своеобразие, научиться художественному созерцанию его, тщательно следовать тому образу, который рисуют тонкие, художественно одаренные натуры.

Чтобы понять Пушкина, надо брать за основу не внешние черты, а то, как воспринимался его внутренний мир.

Пушкин носил в себе своеобразное, глубокое и таинственное творческое созерцание, еще подростком он чувствовал, что в нем происходит что-то очень значительное, а его первые и лучшие друзья — чуткий сердцем поэт Жуковский (который был на 16 лет старше Пушкина) и благородный Дельвиг говорили ему об этом напрямик.

Это творческое созерцание, этот свет, ему данный, сам он считал идущими от Бога. Сначала, будучи юным, он в форме классической аллегории или в языческом духе говорил об Аполлоне, о Музе, о священной жертвенности. Позднее, став зрелым мужчиной и верующим христианином, он знал, куда ведет божественный свет и откуда он идет.

К сожалению, мы не располагаем непосредственным свидетельством — из уст ли его или из-под пера его, — как он сам воспринимал эти световые лучи, эти озарения и откровения: тут он становился строгим, целомудренным, скупым на слова; воспевать в стихах — это он мог, чаще всего аллегорически, порою прямо называя имя Божие.

Так, в «Пророке»:

«И Бога глас ко мне воззвал».

Или в прекрасном стихотворении о Кавказе:

«Туда, в заоблачную келью,
в соседство Бога скрыться мне».

Мы, однако, не знаем, в какую связь ставил Пушкин эти соприкосновения и эти посещения со своим земным, человеческим «я».

Мы знаем лишь, что он предельно точно знал различие — между *его земным, страстным, грешным* «*я*», о котором он сказал:

«И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он» —

(об одиноком, ночном, покаянном излиянии которого я уже вам как-то говорил), — и его пророческим, поэтическим, созерцающим Господа и призванным «я»:

«Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...»

В стихотворении «Пророк» соответствие это высказано точно — новое око, новый слух, новая речь и новое сердце — новое восприятие мира, новое предначертание.

Эти три основополагающие стихотворения-признания — «Поэт», «Пророк» и «Воспоминание» — я вам уже читал.

С поразительным провидением и честностью Пушкин не уставал повторять, что его земная, чувственная оболочка не доросла до высоты его пророческого дара. Он и судил себя и выносил приговор, и очищал свое одинокое сердце потоками слез по ночам.

И чем недостойнее он себя считал, тем достойнее становился на самом деле. Чем смиреннее, тем чище.

И все же эти двое были одним человеком. И этот один должен был нести в себе и оберегать свою великую святыню, переживая одновременно страсти и давая им волю.

В 1825 г., когда стало известно о том, что утеряны записные книжки лорда Байрона, Пушкин в своих собственных записал: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы*! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе»[22].

И он был прав. Ибо творчески страждущий и стоящий пред Ликом Господним человек — никогда не удаляется далеко от Господа, всегда носит в себе пламя Господне

и никоим образом не может причинить что-нибудь злое. Ему свойственны и страсти, и слабости — но он встает выше их даже тогда, когда кажется бессильным или сильно увлеченным.

2

В реальной жизни, с реальными людьми Пушкин оберегал эти тайны своего благородного и нежного сердца самым целомудренным образом, не профанируя их. Лишь самые близкие друзья знали, как нежна, как чутка, как ранима и целомудренно-скромна его душа, та самая душа, которая могла извергнуть пламя и повергнуть в пламя.

Поэт Глинка пишет: «Пушкин был живой волкан, внутренняя жизнь била из него огненным столбом»[23].

Другие его друзья отмечают его стеснительность. Профессор Плетнев пишет: «Пушкин был застенчив и более многих нежен в дружбе. Общество, особенно, где он бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство и оттого он оставался молчалив и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там долго»[24].

Нетрудно понять поэтому, что недалеким людям, видевшим его впервые, он мог казаться замкнутым и гордым.

Как и многие чересчур ранимые натуры, он вынужден был скрывать свои ощущения, как если бы стыдился их.

Он был добр и щедр; нищему подавал обычно 25 рублей (ок. 70 фр.), что для него было много, по тогдашнему курсу и ценам — целая куча денег.

Прочитав в газете, что слепой переводчик перевел книгу Иова[25], он тут же, не говоря никому ни слова, подписался на 25 экземпляров. И это притом, что старался выдавать себя за скупого, расчетливого человека, скрывая нежность своего сердца за наигранным цинизмом.

За три года до смерти он пишет жене: «... а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни»[26].

В юности он вообще встречал людей (как позднее скажет Достоевский) «с объятьями». Разочарования, которые при этом приходилось выносить его сверхчувствительному сердцу, бывали тяжелы и невероятно болезненны для него.

У нас есть его письмо, которое он, сам 23-летний мужчина, на великолепном, изысканном французском языке писал своему младшему брату Льву. Вот несколько изящных пассажей из него: «Vous aurez affaire aux hommes que vous ne connaissez pas encore. Commencez toujours par en penser tout le mal imaginable: vous n'en rabattrez pas de beaucoup. — Ne les juges pas par votre coeur, que je crois noble et bon ... mépriser les le plus poliment qu'il vous sera possible ... Soyez froid avec tout le monde: la familiarité nuit toujours ... N'acceptez jamais de bienfaits. Un bienfait pour la plupart du temps est une perfidie. Point de protection, car elle asservit et dégrade ... N'empruntez jamais, souffrez plutôt la misère ... Ce que j'ai à vous dire à l'égard des femmes serait parfaitement inutile. Je vous observerai seulement, que moins on aime une femme, et plus on est sûr de l'avoir. Mais cette jouissance est digne d'un vieux sapajou du 18 siècle ... N'oubliez jamais l'offense volontaire; peu ou point de paroles et ne vengez jamais l'injure par l'injure»...[27]

На этом остановимся. Письмо намного длиннее. Делается страшно, когда подумаешь, сколько пришлось вытерпеть от людей этому благородному и нежному сердцу, чтобы в 23 года внушать младшему брату такую житейскую мудрость. А с другой стороны, начинаешь понимать, откуда эта замкнутость, эти усилия скрыть свою внутреннюю жизнь от людей, их издевательств и вероломства, откуда это — с годами усиливающееся — отвращение к чуждому ему и пошлому grand-monde и beau-monde[28].

За год до смерти в своей записной книжке он напишет: «Когда же придет время перенести мои пенаты в деревню — поля, сады, крестьяне, книги; поэтические занятия — семья, любовь, религия, смерть...»[29]

Пушкин был большим знатоком людей. Он был великолепным физиогномистом, мог читать по лицам, и порою говорил им нечто такое, что приводило их в смущение, а он разражался радостным смехом.

Один из его друзей пишет: «Нравы людей, с которыми Пушкин встречается, он узнает чрезвычайно быстро; женщин он знает, как никто...»[30]

Так он и шел по жизни: безошибочно, насквозь угадывая сущность людей и пытаясь скрыть свою соб-

ственную — ранимую и чистую сущность; он знал, что будет не понят и превратно истолкован, и его жизненный опыт слишком часто был тому подтверждением.

Муравьев, лично знавший его, пишет: «Он чувствовал всю высоту своего гения, но был чрезвычайно скромен в его заявлении»[31].

Он мог смиренно выслушивать упреки и горькую, нелицеприятную правду. Его друг Пущин рассказывает, как он порою сначала внемлет справедливому упреку, а потом засмущается и «начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется...»[32]

3

Совершенное дитя! Таким он и был — большое и гениальное дитя! Многие так и описывают его. И вот он действительно идет к детям и начинает играть с ними в прятки — забирается под софу: ни найти его, ни вытащить.

Княгиня Вяземская — одна из близких Пушкину друзей, — придя однажды к себе домой, застала такую картинку: Пушкин и маленький Павел Вяземский катались по полу, боролись и плевали друг в друга.

В 1826 г. Пушкин останавливается в Москве у Соболевского и самым искренним образом ухаживает за только что появившимися на свет датскими курочками.

Пущин приезжает к нему суровой зимою в ссылку в деревню и видит его на крыльце в ночной сорочке: оказывается, он услышал колокольчик подъезжающей тройки, — предчувствие ему не изменило, — и выскочил прямо из постели, чтобы обнять запорошенного снегом друга, вылезающего в меховой шубе из саней.

Тогдашняя полиция (она называлась «жандармским корпусом») неустанно вела за ним наблюдение, зная радикальность его юношеских воззрений. Жандармский офицер, надзирающий за Пушкиным, записывает: «Он был в полном смысле дитя и, как дитя, никого не боялся»[33].

Его литературный недруг, если не враг, Булгарин, в адрес которого Пушкин сочинил немало ядовитейших эпиграмм, так говорит о своих впечатлениях от личной встречи: «Скромен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе»[34].

Его ближайший друг, талантливый поэт барон Дельвиг, о котором Пушкин говорит, что ближе его у него

нет никого, — пишет в письме Пушкину в ссылку: «Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т. е. делай, что хочешь; но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных!.. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, Бога ради! Употреби получше время твоего изгнания... Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить»[35] и т. д.

Даже представить себе невозможно, чтобы он изнывал где-нибудь в сибирской тюрьме. Нет, ему лишь временами не дозволялось жить в Петербурге, а потом он получал почетную должность где-нибудь в Кишиневе или в Одессе, где ему по службе и делать-то было нечего.

Дочь Пушкина, по мужу Арапова[36], пишет в своих воспоминаниях: «Считать Пушкин не умел. Появление денег связывалось у него с представлением неиссякаемого (золотого источника) и, быстро пропустив их сквозь пальцы, он с детской наивностью недоумевал перед совершившимся исчезновением»[37].

И здесь сказывалась его бесконечная доброта. «Помогать надо без шума», — говорил он. И — помогал; всем, и, конечно, родственникам, часто из последнего. Священнику в своей деревне он подарил 7 га земли. Или такой эпизод, из жизни в деревне: приходят к нему сельские ребятишки, приносят ягоды на продажу, он покупает их, и отдает детям назад — «кушайте, мол, ребятки, сами; деньги все равно уплачены»[38].

Приезжает он верхом к соседу, спешивается и отпускает коня одного домой. «И животное, — говорит он, — имеет право на свободу».

Так появилось на свет одно из самых трогательных небольших стихотворений «Птичка»:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть *одному* творенью
Я мог *свободу* даровать![39]

Мемуаристы так описывают поэта: «доброе и сострадательное сердце», «везде в беде поможет», «даже своих крепостных награждал за заслуги». Сам будучи в нужде, занимает деньги, чтобы помочь другим. В одном из писем к жене пишет: «Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости»[40].

Одна мемуаристка пишет: «Он был неописанно хорош, когда что-нибудь приятно волновало его»[41].

Порою, когда его охватывала буря чувств, он становился экспансивным, как ребенок, и у него появлялась «потребность высказаться первому встретившемуся ему человеку, в котором он предполагал сочувствие»... «Такая же потребность была у него сообщать только что написанные стихи»[42].

Профессор Погодин пишет: «Как воспламеняется Пушкин, — и видишь восторженного»[43]. Сухотин, сочинитель мемуаров, выходец из хорошего рода, рассказывает: «Мы с братом ходили каждый день купаться в большую купальню, устроенную на Неве против Летнего сада; один раз, барахтаясь в воде и кой-как еще тогда плавая, я не заметил, как ко мне подплыл какой-то кудрявый человек и звонким, приветливым голосом сказал: «Позвольте мне вам показать, как надо плавать, вы не так размахиваете руками, надо по-лягушечьему», и тут кудрявый человек стал нам показывать настоящую манеру; но вдруг от нас отплыв, сказал вошедшему в купальню господину: «А, здравствуй, Вяземский!» Мы с братом будто обомлели и в одно слово сказали: это должен быть Пушкин»[44].

4

Понятно, что такой экспансивный, живой как ртуть, человек не мог связывать себя великосветскими правилами приличия в духе «цирлих-манирлих»: ему это было ни к чему, он и не хотел и не мог себе этого позволить. Ему как гениальному дитяти Божьему следовало все прощать, им надо было восхищаться, радоваться ему и беречь его как драгоценность. Многие себя с ним так и вели. А ведь любая шалость-озорство гениального человека — достояние истории.

В 1819 г. — Пушкину едва исполнилось 20 лет — Пушкин и Александр Тургенев приезжают в Павловск (пригород Петербурга). Ночь. Они поселяются у поэта Жуковского, который позже так писал об этом: «Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра»[45].

Как-то много позже, будучи уже женатым и камер-юнкером, он приехал к своим друзьям Тимирязевым, а дома их на тот момент не оказалось, и Пушкину пришлось подождать. Вернувшиеся друзья нашли его сидящим в камине: сидя в нем, как обезьяна, с горстью орехов в руке, он колол их преуморительно с обезьяньими ужимками.

Одним штрихом мог набросать забавнейшие карикатуры — порой на скатерти ломберного стола.

Его сестра вспоминает, как она однажды пригласила Пушкина в гости и он в лицах изображал отца и некоторых знакомых: «Он весь искрился радостью и сиял, как медный грош...»[46]

Как-то он заболел тифом, ему пришлось обрить голову и носить небольшой парик. В театре он снимал его и пользовался им как веером от духоты.

В провинции у кого-то жил домашний попугай. Пушкин научил его паре неуместных выражений, и когда к хозяину пришел в гости епископ и заговорил с попугаем, то получил не вполне желательный ответ.

Или вот это: дети учатся рисовать и пытаются преуспеть в классической форме носов: Пушкин тут же пририсовывает к ним добавочку — свидетельство сильного насморка. «Иначе ваши носы ненатуральны», — поясняет он.

Во время путешествий он нередко оставляет на дверях, стенах или окнах презабавнейшие стихи и карикатуры.

Будучи на Кавказе, он явился к полудиким аборигенам в красном плаще и попросил переводчика сказать, что он есть сам шайтан. Длинные бакенбарды, длинные ногти, сверкающие глаза... Среди туземцев ужас, ярость, полетели камни, так что казакам с трудом удалось увести его.

Невежественный молдаванин в Бессарабии дерзит, и Пушкин тут же дает ему затрещину. В другой раз он переодевается старым евреем, бродит по саду, что-то тараторит как бы по-еврейски, подкрепляя свою тарабарщину соответствующими жестами.

Однажды, в какой-то компании, играя в шарады, решили изобразить Моисея, извлекающего воду из скалы в пустыне. Пушкин представлял скалу. завернулся в желто-серое покрывало и затих. Но только коснулся жезлом скалы Моисей, как Пушкин высунул из-под покрывала горлышко бутылки, и струи воды — под неудержимый хохот присутствующих — ручьем полились на паркет

И все это перемежалось экспромтами, эпиграммами, поэтическими анекдотами, нередко нецензурными стихами или настоящим жемчугом поэзии

Пушкин никогда не записывал своих импровизации Зато это делали другие — жадно переписывали, заучивали наизусть, особенно в школах, военных училищах и в армии.

В Царском Селе, под Петербургом — летней резиденции царя — постовые, когда он выходил на прогулку, вставали перед ним навытяжку и отдавали честь Один из друзей спросил у него. «С чего бы это?» Пушкин простодушно ответил. «Не знаю, наверное, из-за моеи трости»

5

Нетрудно понять, что его везде узнавали, что его острые словечки, импровизации, разного рода штучки — были у многих на слуху, не без преувеличений ходили в народе

Там, где его узнавали, во время поездок устраивались импровизированные почести. офицеры давали салют из пушек, носили его на руках, увенчивали его голову венками, а разгоряченная молодежь пыталась устроить ему ванну из шампанского и т. п.

Если он появлялся в театре или концерте — все внимание было только на него. Его письма рвали и брали обрывки на память. Член Академии, филолог Яков Грот, впоследствии знаменитость, рассказывает, как однажды при посещении Лицея, который Пушкин закончил раньше, он потерял штрипку, и как Грот, тогда еще студент, поднял ее, благоговея, как драгоценный сувенир.

Так было и после смерти Пушкина. за предметами его одежды, вышедшими из употребления вещами, локонами волос — просто гонялись.

Тогдашний цензор Краевский сразу же после смерти Пушкина писал друзьям. «Мне хочется иметь на память

от Пушкина камышовую желтую его палку, у которой в набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого»[47].

Член Государственного Совета, географ Семенов, тоже впоследствии знаменитость, рассказывает, что в молодости, приехав как-то в Петербург, гуляя по улице, он вдруг услышал доносившийся издали неясный гул толпы. Вскоре появилась и толпа. Сказали, вроде бы приветствуют царя. На самом деле происходило нечто совсем другое: толпа поклонников сопровождала Пушкина, вышедшего на прогулку, аплодисментами и криками «Браво, Пушкин!».

Россия уже тогда признала своего национального гения — народ почитал свое гениальное дитя, своего веселого, озорного поэта и ясновидца — кровь от крови и дух от духа русского славянства; он почитал его во всем его своеобразии — в его вдохновенности, его песне, его созерцании, его мужественной открытости, его лишенном зависти благородстве.

Пушкин был первым, кто признавал и поощрял малейшие ростки литературного дарования, и все его современники-поэты и прозаики — Жуковский, Кольцов, Дельвиг, Гоголь, Баратынский, Давыдов, Козлов, Погодин — имели счастье пользоваться его одобрением и расположением.

На всякое острое словцо он откликался веселым смехом. А в более поздние годы, страдая депрессиями, — он докучал своим друзьям просьбой «ну, выдай что-нибудь веселенькое».

Всякий чужой успех, всякое хорошее стихотворение, всякое богатство духа в другом ему в радость. И его друзья сумели трогательно поведать нам о его верности.

В спорах с ними он не знал поражений: живой, острый, проницательный, непревзойденный диалектик — он быстро одерживал над своим противником верх; порою этого казалось ему мало, тогда он кидал противника на диван, вскакивал на него верхом, щекотал его безжалостно и приговаривал: «Чтоб больше не говорил этого! Чтоб больше не говорил этого!» — и все смеялись до упаду.

6

Его интеллект нередко просто поражал его друзей и современников.

Жуковский сказал как-то Гоголю: «Когда Пушкину было 18 лет, он думал как тридцатилетний человек; ум его созрел гораздо раньше, чем характер»[48].

Один из мемуаристов пишет: «Речь его всегда столь жива, у него столько задумок и плодотворных идей», другой отмечает: «Это целый клад верных суждений и благородных помыслов».

Царь Николай в день своей первой встречи с Пушкиным сказал Блудову: «Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России»[49].

Знаменитый польский поэт Мицкевич пишет: «Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенной памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным», а когда он говорил о политике, казалось, что «слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах»[50].

Но самым главным в нем был его дар четко угадывать скрытую суть вещей, божественный луч света — основу бытия, предметный стержень мира и человечества. Пушкин заглядывал в глубину и судил обо всем, исходя из целостного; он был ясновидцем субстанционального.

То же можно сказать и о его памяти — в ней оставалось только самое верное, самое необходимое и вечное, неистинное в ней не сохранялось.

Поэт Жуковский рассказывает, что Пушкин мог без запинки повторить только что услышанные строфы чужого стихотворения, если же он забывал какую-либо строку, Жуковский уже знал, что строка была неудачной.

Друзья Пушкина знали, что он обладал непогрешимым, как критерий, умом, что он, в известной мере, может стать мерилом для любого. А Гоголь говорил об этом прямо.

Чрезвычайно любопытно отметить, что вдохновение заставляло его забывать обо всем; в эти минуты его лучше было не прерывать, иначе мог вспылить. Вдохновение наведывалось к нему в основном осенью — тогда он до обеда лежал в постели, бросая на пол исписанные листки, там они и лежали порой до вечера. Иногда писал в карете, в поездках, иногда сутками напролет. Стихи могли прийти к нему и ночью, во сне; тогда он просыпался и записывал их в темноте.

Одно из совершеннейших его творений — поэма «Полтава» — была написана за три недели. Импровизации по случаю он забывал, но их записывал Дельвиг и показывал ему, когда он считал их уже утраченными.

7

Пушкин был к тому же человеком страстным, со всеми слабостями и трудностями своего характера. Но все эти слабости имели один-единственный источник — неутолимую жажду интенсивной жизни, сжато-острых, головокружительно-экстатичных мгновений.

Не потому ли он любил вино, но крайне немногие видели его сильно захмелевшим. Его персидскому собрату — Гафизу — в этом плане было куда как хуже.

Не потому ли у него было так много любовных связей с женщинами и романов. Его невеста, а впоследствии, жена была, как сам он пишет, его 113-й любовью[51]. Подобно Достоевскому он был сверх меры ревнив.

Не потому ли его притягивали азартные карточные игры — в них предается человек неизъяснимым надеждам, внешне оставаясь хладнокровно-корректным джентльменом.

И не потому ль, возможно, у него было так много дуэлей.

Его манерой было — выстрелить математически точно мимо противника, но вплотную к нему, а потом в ожидании выстрела со стороны противника есть свежие вишни, выплевывать косточки. И вот он стоит с удивительной выдержкой под дулом пистолета, играя со страхом смерти, заглядывая в глаза вечности, презирая опасность, нечеловечески наслаждаясь бренностью жизни земной. При этом на редкость меткий стрелок — он никого никогда не ранил; об убийстве и говорить не приходится.

Лишь в последнем своем поединке — уже будучи смертельно раненным в живот — он напрягся и полулежа выстрелил в своего заклятого врага — даже сейчас не думая убить его наповал.

8

И мы, его потомки, его духовные ученики и благодарные почитатели, не чувствуем себя вправе судить этот сложный характер.

Будучи человеком доброго сердца, он обладал одновременно тонким, обостренным понятием чести. Его не стоило труда уязвить, тогда он мгновенно становился необычайно серьезным и требовал сатисфакции.

В последние годы жизни Пушкин женился на красавице, которая была далеко не умна и мало соответствовала ему как жена, и, появившись при дворе, она приобрела немало пустых поклонников: уступать она им не уступала, но и отделаться от них не могла — не умела. Вот тогда и обрушился на ревнивого поэта град искушений и оскорблений, вот тогда и вынырнули закулисные твари, находившие особое удовольствие в подлости — они травили и дразнили поэта анонимными письмами.

О последних месяцах, неделях, днях и часах его жизни мы знаем все точно. Но я не стану говорить вам об этой трагедии оскорбленной чести, разбуженной ревности, о трагедии гения, которого не смогли уберечь. И только по одной причине. Всякий раз, как я погружаюсь в историческую подоплеку этой трагедии, мое сердце охватывает такая неодолимая печаль и безутешная скорбь мировая, что я от слез не могу говорить. А в таком состоянии негоже говорить с публикой.

Что касается церкви, то он ушел из жизни так, как подобает самому прилежному христианину. Его духовник, давший ему последнее причастие, говорил позже, что ему самому хотелось бы так отойти в лучший мир, как Пушкин.

Перед его добротой, любовью, его тактом и самообладанием в тяжелейших страданиях склонялись в благоговении очевидцы. Он простил своего врага, он успокаивал свою жену, позаботился о детях и примирился с царем.

В первый день поклониться праху его пришли 32 000 человек. Чтобы пропустить такой поток людей, в его квартире пришлось убрать стену.

Цензор Краевский позволил напечатать в газете следующий некролог: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народ-

ная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!»[52]

Вдова известного историка Карамзина писала позже, что многие не поняли этой «огненной организации, этой честной, гордой и страстной души» и охватившего ее последнего, предсмертного пожара[53].

Почти все русские поэты — их в России было тогда превеликое множество — откликнулись на его смерть; пророчески — как Тютчев, громоподобно — как Лермонтов, лирически-описательно — как Жуковский. Вот что писал Жуковский: «Я сел перед ним и долго, один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха, после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это не было ни сон и ни покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое. Нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: что видишь, друг?..»[54]

Так выглядел, так жил, любил, страдал, творил и умер величайший поэт русского народа.

В нем сплетаются воедино все нити русского прошлого. Из него все они, словно лучи, уходят в будущее. Здесь — перекресток. Здесь нашли свое выражение сущность и своеобразие творческого акта. Здесь — дверь к пониманию русской культуры. Провозвестница-зарница будущего: природный темперамент, свободолюбие, сердечное созерцание, стремление к совершенству формы и свободное воцарение свободного разума в лоне христианства. От нигилизма — к вере. От ребяческого бунтарства и мечтательности — к мудрому консерватизму. Всеобъемлющее, доброе — не вымышленное, не выму-

ченное — братство. Неутолимая жажда знаний. Неисчерпаемый дар импровизации. Детская отвага. И искренний, глубинно-искренний характер.

Кто увидел, созерцал и ощутил Пушкина, тот открыл для себя прекрасный вход в русскую культуру.

У меня была потребность рассказать кое-что вам об этом входе.

Говорить о Пушкине — мало целого курса лекций. И — Deo favente[55] — в будущем я, возможно, прочту вам кое-что из его сочинений и прокомментирую.

Перевод с немецкого О. В. Колтыпиной

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО СТОЛЫПИНА

На днях исполнилось* пятнадцать лет со дня кончины Петра Аркадьевича Столыпина...

Пятнадцать лет, насыщенных теми событиями, которые он предвидел, о которых предупреждал и которые наверное были бы предотвращены его чистою, мудрою, железною волею...

Судьба судила иначе.

И ныне, когда после его смерти и вследствие его смерти непоправимое свершилось и худшие из его опасений стали историческою действительностью, нам надлежит обратить наш умственный взор к нему и к его государственному делу и осознать, что мы потеряли в его лице.

Государственное дело не есть ни святое, ни праведное дело, но дело духовно необходимое и правое: сознательно принятый духовный компромисс. Но именно поэтому для него особенно нужна *чистая воля и чистые руки*; тогда только оно может стоять на высоте. Такую волю, такие руки Россия имела в лице Столыпина.

Это был человек глубокой и искренней убежденности, открытый и прямой, бескорыстный и бесстрашный; больше всего презиравший интригу; строже всего преследовавший публичное воровство и взятки. Таким его знали все; таким его оценила международная дипломатия: и сами враги его признавали его моральную силу.

* П. А. Столыпин был ранен 1-го сентября ст. ст. и скончался от раны 5-го сентября.

Россия имела в нем правителя, который мог ошибиться (напр<имер>, назначение Кассо и университетская политика), но который не мог хотеть зла. И именно потому он мог *стать* и *стал бы*, вопреки всему — живым государственным центром нереволюционной России...

Его преданность родине и его личная незаинтересованность, эта способность к жертвенному служению, обостряли присущую ему государственную прозорливость и политическую дальнозоркость и сообщали ему умение выделять главное из неглавного, самостоятельно *видеть существо* дела и сводить его огромную сложность к *верной и ясной простоте*. Он никогда не был пленником интеллигентских схем, споров, трафаретов и психозов; он никогда не был человеком партии или кабинета. Он сам смотрел, сам изучал, сам видел и *верил в силу своего видения*; и имел *волю*, необходимую для крепкого решения и для осуществления решенного.

Столыпин был от начала и до конца *сильною и самобытною личностью*.

В то время, как никогда, России была нужна сильная и бесстрашная воля, зоркая и мудрая: ибо опаснее всего было правительственное *безволие* и государственная *безыдейность* наверху. Государство есть вообще функция *воли*, и потому оно всегда обречено на разложение, когда иссякает в нем волевое начало — потому ли, что вырождается и разлагается ведущий кадр, или потому, что партийное многоволие и парламентское многогласие упирается в тупик бесплодного, интригующего равновесия.

Так было в России перед войной, так обстоит ныне почти во всей Европе. Государствам нужна власть *идейная и сильная*, трезво и верно учитывающая реальную обстановку и не боящаяся ответственности; ибо целевая или тактическая ошибка честного и сильного правителя гораздо менее опасна, чем позорное болото безволия.

Горе тому государству, в котором иссякли источники государственной воли!

И счастье России состояло в том, что для ее кормила нашлась тогда идейная и волевая фигура, способная принять на себя ответственность за новый и смелый курс... Многие современные государства были бы счастливы ныне иметь у себя во главе правителя, подобного Столыпину, и едва ли некоторым из них будет это дано.

В то время *уже начался распад России*, ныне достигший своего завершения. И Столыпин видел это и понимал. Он понимал, что в революции не спасение России, а гибель; и что сроки, данные для возможного еще спасения, коротки. Он понимал, что уступать революции — значит, разжигать ее и углублять ее, и что необходимо противопоставить ее разрушительному напору — *созидательный*, а ее центробежной тяте — пробужденную и укрепленную *волю к единству и величию*. Он понимал, что необходим не беспринципный компромисс, составленный из подачек, но что надо *развязать и пробудить закрепощенные силы старой России и тем заткать новую Россию*. Он смотрел вглубь и вдаль, через головы кричавшей и интриговавшей, посягавшей и подсылавшей убийц, современности. И видел *верно* необходимое и грядущее; то, что осуществится и теперь, но только после позора и разрушения большевистской революции...

Столыпин хотел великой России.

Вслед за Петром Великим он мыслил Россию великодержавною. Вслед за Царем-Освободителем он полагал в основу великодержавной России свободное и сильное крестьянство, ведомое и воспитываемое наличными культурными силами страны. Вслед за Царем-Миротворцем он верил в политическую гегемонию русской национальности в пределах России и хотел для нашей родины мира.

Прав ли он был во всем этом?

Прав.

И он знал, что он был прав.

И именно поэтому он считал, что *достижение этой цели* важнее, чем та *политическая форма*, при помощи которой она осуществляется.

В то время Россия переживала сущий психоз политической формы. Люди затвердили и поверили, что помимо крайних форм демократии, парламентаризма и федерализма — ничто приличное и полезное совершиться не может, не может вообще, а тем более в России.

Эту веру довели до изуверства; от изуверства ослепли; в ослеплении потеряли и чувство справедливости, и свободу ума и духа, и чувство государственности. Столыпин стоял одиноко, на великом политическом водоразделе; верно и остро видел все направо от себя и все налево. И

правее от него все видело «спасение» в отмене Государственной Думы и в безыдейности реакции; и работало против него интригой и подкопом.

А левее от него все видело «спасение» в том, чтобы вызвать у правителя «паралич воли и мысли» и захватить власть в те самые руки, которые впоследствии погубили Россию в 1917 году; и работали слева зложелательной критикой, агитацией в стране и... террором. Достаточно вспомнить, что сам Столыпин погиб от *двенадцатого* покушения...

При таком положении дела *государственное «что»* неминуемо должно было стать выше *политического «как»*. И отсюда необходимость и оправданность «чрезвычайно-указного» пути: правительство *обязано* было выводить Россию из тупика смуты и безволия, вопреки смуте и вопреки безволию; оно обязано было не останавливаться и перед исключительными путями, предусмотренными законом. Но беспристрастный историк отметит не только издание чрезвычайных указов Столыпиным, а еще тот дух конституционности и законности, которому он при этом оставался верен до конца.

Столыпин твердо и искренно верил в государственную необходимость и жизненность народного представительства. Свободный от лукавого двоедушия графа Витте, от реакционности П. Н. Дурново и от бюрократической приспособимости И. Л. Горемыкина, Столыпин укрепил и поддержал Государя в его положительном отношении к Думе и впервые развернул перед народными представителями грандиозный, орлиный план государственного строительства. Он работал с Государственной Думой честно, откровенно, доброжелательно. С выдержанным спокойствием и терпимостью выслушивал он и критику, и личные нападки, и оскорбления; и с изумительным тактом отвечал всегда по существу, сдержанно, предметно государственно. Он не шел налево в политическом отношении, потому что считал, что первые две Думы достаточно обнаружили свою политическую неуравновешенность и свою государственно-деловую неработоспособность.

Стране предстояло усвоить только еще азбуку правосознания законности и конституционности; а членам

Думы предстояло еще впервые осознать деловую и волевую природу государственности, отрезвиться от политического угара, отвыкнуть от безответственного посягательства и от беспредметной левизны.

Словом, России предстояло *верно усвоить данную ей меру свободы*; и Столыпин выступил как настоящий *деловой воспитатель* русского лояльного конституционализма. он стремился *огосударствить политическое брожение*, оформить его и влить его энергию на колесо национального строительства. И в этом он выступал и поступал, как настоящий *борец за свободу*, отстаивая ее и от реакции справа, и от грядущего революционного деспотизма слева. Но он отстаивал не ту меру свободы, которои добивались левые, а ту, которая была *нужна России*, сочетая, таким образом, глубокий культурный консерватизм с умеренным политическим либерализмом, отстаивая и спасая то самое политическое «как», которое он считал необходимым для государственно-спасительного «что».

Но социально и экономически Столыпин уверенно и крепко *шел налево*. Его социальная программа сводилась к *раскрепощению крестьянства*, к созданию в России *свободного и сильного земледельческого слоя*. Этот слой он считал главной опорой будущей России и к созданию его он приступил с энергией настоящего великого преобразователя.

Столыпин верил, как мало кто до него, в огромные творческие силы русского крестьянства. Он не боялся «мужика», как крайние правые, и считал ядовитою и отвратительною ту сентиментальную демагогию, которую разводили слева. Он не верил в неизбежную «экспроприацию» мелкого земледельца, и «капитализацию» сельского хозяйства (социал-демократы) и верно видел хозяйственную и культурную реакционность крестьянской общины. Он видел спасение России в процессе *хозяйственной и культурной индивидуализации*, который должен захватить русское крестьянство и поставить его на ноги: сделать из темного и беспомощного общинника — *собственника и гражданина*.

Столыпин видел исход не в количественном передвижении имущества из рук в руки, а в создании на Руси *нового качества*, нового способа *быть и хозяйство-*

вать, нового хозяйственно-культурного и психологически-государственного типа.

Крестьянин должен иметь землю *в личной собственности* и в таком количестве, которое открыло бы ему путь к *интенсивному хозяйству*. Собственность развяжет его творческие силы и его инициативу; она сделает его граждански равноправным и полноправным; она даст ему свободу от ненужной опеки и от нищеты; она пробудит в нем *чувство собственного достоинства*, эту первооснову личности и правосознания... Всеобщее, доступное образование; избираемый низший суд; мелкая земская единица и кредит — довершат дело — и гражданственный атом новой России будет создан и станет на ноги.

Столыпин не был демократом. Но он был настоящим и глубоким *демофилом — народолюбцем*. Он непоколебимо верил в творческие и духовные силы русского простого народа и выступил в качестве его *раскрепостителя*. Но столь же непоколебимо он верил в государственную силу *монархического* начала и потому выступил в качестве его апологета и укрепителя. Он не делал себе иллюзий относительно дальнейших судеб поместного дворянства: но, как истинный консерватор, он ценил его и культурно, и хозяйственно.

Ложными и вредными считал он затеи левых — обездворянить Россию; напротив, он скорее считал необходимым *одворянить все крестьянство*. Ибо истинный консерватор не слепец и не идолопоклонник; он бережет всякую ценность до последнего мига и в то же время насаждает и растит ее в новых формах...

Идейный монархист и идейный народолюбец — вот политический облик Столыпина. И *русский* до конца сердцем, программою, поступками. В русской душе таятся еще невиданные и неявленные сокровища — вот во что верил этот националист и патриот. Надо создать такие условия жизни, чтобы они раскрылись и засверкали. А до тех пор блюсти великодержавное достояние России, добытое веками: ибо за него мы отвечаем перед потомством. Но блюсти его надо не угнетением малых народов и не обезличением их; пусть только каждый из них признает в *русскости* свое родовое, патриотическое лоно, и тогда все они станут равными сынами России, «гражданами первого разряда»...

В эпоху революционного брожения и развала, в эпоху назревающей гражданской войны — мог ли этот сильный и мудрый человек, вводивший Россию на спасительный путь *меры и середины*, не иметь врагов?

Но мог ли он считаться с ними и с их требованиями? Он знал своих врагов — и слева, они всю жизнь искали очернить и убить его; и справа — они пять лет плели против него козни и потом сумели не оградить его от левых убийц. Слуга царя, строитель и раскрепоститель России, герой веры и долга, он *каждый день*, выезжая из дома, мысленно прощался со своей семьей. Он знал свою судьбу и предвидел, как и где скрестятся пути его убийц.

«Меня наверное убьют, — говаривал он, — но убьет меня охранник»...

День за днем проводил я за чтением и изучением тех материалов, на основании которых ныне пишу о нем. И с каждым днем я убеждался все больше и все глубже, что государственное дело Столыпина не умерло, что оно живо — что ему предстоит возродиться в России и возродить Россию.

Петр Аркадьевич Столыпин — основал *государственную и политическую школу* в строительстве нашей родины и в управлении ею; эта школа имеет свои *действенные и программные заветы*; и по этим заветам, и по силе характера, которого они требуют, люди его школы узнают друг друга и будут работать сообща.

И память о нем не умрет среди нас.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

(Речь, произнесенная 22 мая в Берлине на чествовании памяти П. Н. Врангеля)

Все сокрыто от нас Божиим Промыслом. Мы смотрим вперед и вдаль — и видим только сгущающийся мрак, темную облачную завесу над нашей замученной и уничтоженной родиной.

Не видим мы путей, ведущих к ее освобождению и воскресению. Рассеянные, усталые, нищие, оглушенные катастрофой; не уразумев за десять протекших лет ни причин ее, ни последствий; не установив еще ни далеких целей, ни ближайших средств, — мы видим себя во

власти исторического рока, который влечет нас вперед, не спрашивая нашего согласия и не объявляя своих намерений.

Не мы «делаем»; нас влечет. Не мы решаем и выбираем: что-то решается за нас и совершается над нами.

Ураган идет над миром.

Черный вихрь истории вот уже четырнадцать лет крутит людей, как пыль в сухом смерче, бросая и подымая опять, и наметая пылевые сугробы.

«Возможно ли противостать ему — и противостоять? Открыта ли нам еще какая-нибудь возможность поступка? Не обречены ли мы все на пассивное приспособление, на растерянную суетню, на медленное замучивание? Разве в *человеческих* силах ныне — *бороться* и *поступать*? Разве в лицо этому черному вихрю и вздымающей его сатанинской силе возможно смотреть, не опуская взор? — этой стихии соблазна, скопившегося веками, этой стихии жестокости и низости, развязавшейся и все более развязывающейся в человеке!»

Не словами, нет, не словами можно отвечать на эти вопросы утомленного отчаяния. Не слов, не фраз ждет и требует от нас Господь, попустивший этому черному вихрю вскрутить человеческую пыль. В великой исторической трагедии мертвы слова, если за ними нет большего. И на искушение растерянности, слабости и уныния — ответить можно только *делом*, поступком, живой системой решений, усилий и достижений.

«Но в человеческих ли силах ныне бороться и поступать?» — шепчет голос соблазна...

Пусть так. Пусть обычных «человеческих сил» недостаточно для этого. Но «человеческими силами» и не исчерпывается вовсе то, что *благодатно* дано человеку. Ибо ему даны еще *сверхчеловеческие* силы!

Не всякий из нас знает об этом. Многие совсем не верят в это; не верят ныне, и не поверят до конца. Но силы эти в действительности даны нам; и время, переживаемое нами, есть время, требующее их жизни и проявления. Мы не умеем их находить в себе и живем всю жизнь, не помышляя о них. Но ныне история и, главное, *Россия* требует их от нас и мы должны научиться извлекать их из себя.

Одному, быть может, это дастся в минуту оскорбления и унижения; другому — в минуту опасности, грозящей близкому и любимому; третьему — на верном и открытом пути молитвы и созерцания.

Но горе тем из нас, кому это не дается совсем и до конца...

Сурово это требование истории; но неумолимо. И как бы в залог того, что это требование нечрезмерно и выполнимо — Провидение посылает нам *живые, личные очаги такой сверхчеловеческой силы — героев*, видящих, идущих и ведущих. При одном восприятии их все искушения пассивностью, все соблазны бессилия и уныния свертываются и исчезают: ибо нет доказательства более убедительного, нет пробуждения более действительного, как явление человека героической воли и героической решимости. При виде его и его образа жизни, при одном сознании того, что *это* возможно, что *это* реально, что должное, но сверхсильное *есть факт*, что оно уже совершилось и продолжает осуществляться — не удивление, нет, и не стыд за свое временное уныние и слабость просыпаются в душе, а именно те самые напряжения, которые только что казались «непосильными», именно те самые силы, которые необходимы для этих непосильных поступков. То, чего я «не могу» начать, это непомерное, требующее непомерных усилий, вот оно уже начато... Как же мне не влиться в него? То, что мне предносилось, как невозможное — вот оно уже совершено наполовину; значит — оно возможно и состоится.

Как во время взрыва — при детонации; как в хоре, где есть певец с абсолютным слухом; как в отклике стократного эхо; как в атаке, ведомой храбрым — люди незаметно извлекают из своей души именно те самые установки, именно те силы и напряжения, которые фактически осуществлены героем и вождем... Не зная как и не понимая — они ли это сделали сами, или он это сделал в их душах, сделал за них, над ними... но люди уже делают, и, вот, уже сделали необходимое и спасительное; и с радостью убедились, что казавшееся невозможным — реально! Вот оно — необходимое, сверхчеловеческое... Оно, оказывается, живет и во мне... И вот, я уже сильнее самого себя и больше самого себя... И, по-

трясенный, я вижу, что есть на свете способ, есть на свете возможность — *сделать невозможное возможным*; вынудить из исторических неосуществимостей желанное, благодатное, необходимое спасение!...

Эта радость одоления и окрыления дается героем негерою — в порядке примера, заражения, зова, приказа; не во сне, не в иллюзии, а в живой, исторически реальной, глубоко прозаической, повседневной борьбе с угрозами и опасностями черного вихря. А из этого возникает драгоценная и священная *связь с героем*, которая выражается в особом, своеобразном отношении к нему: это не зависть, — а *преклонение и радостная благодарность*; это не униженность, — а *вознесенность*; это не ревность, — а *любовь и доверие*. Как же мне не верить ему и не верить в него, когда в общении с ним я сам вырос и окрылился? Как же мне не радоваться, не любить и не благодарить, когда я благодаря ему научился верно измерять свои собственные силы; извлекать из себя нечеловеческие напряжения; уважать себя по достоинству; и служить моему делу и моей Родине так, как я к этому призван и как я до того не считал себя способным служить.

Герой всегда становится опорой других людей, их пробудителем, их окрылителем; живым мерилом, живым примером; залогом предстоящей победы; *творческим центром совокупного поступка*; личным источником всеобщего решения и свершения.

Иметь героя в своей среде — радость и счастье.

Потерять героя — горе и беда.

И вот мы потеряли его в лице Петра Николаевича Врангеля...

Об историческом человеке — слово принадлежит истории. Но и то — только предпоследнее слово. Последнее же слово принадлежит Господу, видящему сердца людей и судящему об их делах по их любви и намерениям.

А мы, современники, близко и иногда очень близко стоявшие к почитаемому герою, мы можем только сказать, чем он был для нас, что мы в нем осязали и видели, чего мы от него ждали и чего он хотел от нас... Мы

должны сказать это так, чтобы наши слова, и наши, связанные со словами, прошлые и будущие дела, — остались живым и удостоверительным материалом для будущих историков нашего лихолетья; мы должны все вместе сказать о нем то и так, чтобы правдивая прямота и открытая честность нашего свидетельства дали истории верный путь к уразумению ума и дара, сердца и воли нашего ушедшего полководца и Правителя; так, чтобы доблесть и крылатая мощь его были признаны и занесены на страницы истории в назидание будущей России, а чтобы нападки его завистников и недоброжелателей пали раз навсегда на их головы. И я верю в то, что мы все, знавшие и любившие его, искренно преклонявшиеся перед его несравненною духовною силою — найдем эти слова и соберем эти материалы, необходимые для его верного и яркого отображения.

Чем он был для нас?

Неисчерпаемым источником *веры, силы и уважения к самим себе.*

Благодаря ему мы верим в близящуюся победу нашей правой борьбы за Родину: ибо мы не только знали о ее правоте, но мы чувствовали ежечасно, что эта правота имеет в его лице изумительный, неутомимый волевой орган, что наше дело в руках призванных и могучих, что русская государственность со всеми ее славными традициями имеет в нем «Богов орган живой», как бы нарочито созданный для этого исторического часа и дела.

Мы верили *ему* до конца и мы верили в него до конца. И верили потому, что видели его дела и знали, какое сердце скрывается за этими делами. Мы говорили: «Господь послал нам испытания, но он послал нам и героя; нельзя любить Россию и не помогать ему...» И действительно — все, кто не помогал его борьбе за национальную Россию, за ее земное жилище и за ее духовное будущее, все будут отмечены историей, как люди, любившие *себя* больше родины, как люди, по слову Забелина, *кривившие в смутное время...*

Он был для нас источником силы — не только потому, что сам был весь напряженная сила, весь сосредоточенное горение, но еще и потому, что мы чувствовали, как растут наши собственные силы от содействия ему, от общения с ним, от сознания, что впереди стоит,

идет и ведет человек, умеющий *мудро решать, бестрепетно брать на себя ответственность и вести*; — вести не только к победе, но что еще гораздо больше, вести в беде, в неудаче, в промежуточные периоды вынужденного бездействия и видимого упадка.

Мы знали, что «он» впереди нас; и от этого в нас росло чувство уверенности в себе, чувство уважения к самому себе. Не лично у каждого к себе; но и лично. Не лично к себе, но к России и к русскому народу: ибо в годы национального крушения и развала русские люди сумели выделить из своей среды *такого* человека, признать его, принять его, возвести и добровольно подчиниться ему. Мы гордились им и знали, что в восхищение от него приходили и знавшие его иностранцы — и французы, и немцы, и англичане, и бельгийцы, — и правые, и социалисты. В кровавой борьбе и в государственном правлении; на родине и за границей — в его лице Россия была на высоте, на высоте своей исконной доблести, самопожертвования, организуемости и бесстрашного, волевого напора на судьбу. И как же нам, современникам этого нескончаемого позора, связанного с временным правительством и с советскою властью, и даже с новороссийским безволием и разложением, — как же нам, чье чувство национальной чести так остро изболелось и изголодалось, как же нам было не залечивать эти раны и не утолять этот голод возле имени, возле дел, возле доблести Петра Николаевича Врангеля?

Что мы осязали в нем и видели?

Законченное *совестное благородство; неистощимую волю; дальнозоркую и уточненную интуицию.*

В наше время, когда так бесконечно легко разувериться в чистых путях; когда на каждом шагу ждет соблазн — ухватиться за дурные и порочные средства в борьбе со злодеями, по бесстыдству своему превзошедшими все исторические образцы и уродства; когда люди озлобленные, политически безответственные и ограниченные, склонны проповедовать даже в белом лагере большевистские приемы борьбы и имущественный передел слева направо, — Врангель неукоснительно предупреждал, воспрещал и внутренне отвращался от этих мстительных, коварных и порочных путей. Он знал, что такое жертва; но не признавал посягательства. Он, как никто,

умел властвовать; но обязательство подчинения, свободно им данное, оставалось для него священным. Способный к взрывам огненного негодования, он, как никто, мог прямо и крепко судить и осуждать, ломать неверное и рвать недостойные нити; но он был органически не способен к кривизне и интриге. Он мог (как в Константинополе перед Крымом) связать свое имя с заведомо проигранным делом и, движимый любовью и честью, принять на себя бремя чужого безволия и бесталантности; но он не хотел вступать на путь компромисса и пререканий даже тогда, когда стали раздаваться нападки и личные инсинуации. И в воспоминаниях его друзей будет много раз отмечено, как он встречал все и вся — личные, общественные, политические, и организационные — нерыцарственные предложения, приходившие со стороны, и как он расценивал нерыцарственные способы борьбы...

Волю мы видели в нем, великий дар выбора, решения и ответственности; способность к *самостоятельному* выбору, к *одинокому* решению и одинокому несению ответственности *за всех*, в самых трудных и сложных жизненных положениях.

Он всегда выслушивал чужие советы, соображения и предложения; но решал всегда сам и один. И только потому, что он стоял *сам* и шел *сам*, он мог вести за собой и других.

И как у всех людей с могучей волей, у него не было разных желаний, а одна-единственная цель, определенная, *национальная*, которою он и был *одержим*. И именно силою этой единой и единственной волевой преданности своей, — Родине, России, — он становился *ее живым органом*, а жизнь его становилась служением и движением к ее спасению.

Отсюда эта изумительная сила, определенность, граненость его характера: его способность жить всегда не «состояниями», а *действиями*; его свойство — властно импонировать другим людям, и волевым, и безвольным; его обычай — не сторониться от обстоятельств, а идти им навстречу; его умение — не покоряться судьбе, а искать власти над нею и лепить ее; его нрав — не перелагать бремя на других, а самому поднимать главное бремя; его дар — двигаться по линии наибольшего сопротивления... И согласно общему закону, по которому *воля сама по себе есть источник силы* — он был и оста-

вался всегда гораздо более сильным, чем каждый из его сильных поступков...

Дальнозоркой и свободной *интуиции* удивлялись мы в нем. Владея неким верхним чутьем, острым видением человека, исторической проницательностью, — он всегда смотрел прежде всего вдаль, различая и предвидя там то, чего не видели, а иногда и не подозревали окружающие его люди. Ближайшие обстоятельства, текущая жизнь, короткие горизонты не заслоняли ему далей. Напротив, все то, что по времени и по впечатлению ближе, получало у него всегда своеобразную, умаленную оценку, мерилось всегда другим, большим, *главным* мерилом и масштабом.

Так, он всегда и во всем видел главное из-за неглавного — существенное, прочное, непреходящее, то, что всегда и навсегда. Он жил с большим и глубоким замыслом; с *волевою идеею* глубокого и священного значения; с долгим и сильным волевым дыханием.

И сколько раз, обсуждая с ним большие вопросы и темы, я изумлялся — не только его интенсивному, неутомимому созерцанию предмета, присущему только большим мыслителям; и не только поразительной остроте и быстроте его ума, и, выражаясь по Пушкину, точности его слова; и не только волевому способу рассматривать все вопросы, — но еще особенно его способности жить и думать *из русского инстинкта национального самосохранения*... Сколько раз думал я тогда о том, что современный нам русский народ растерял этот драгоценный и спасительный инстинкт, расшатавшийся в великой войне, соблазненный и обессиленный в революции; что этот инстинкт должен жить за всех в душе *героя* и *полководца*; и что, вот, я имею радость и счастье видеть перед собою такого человека. И сколько раз я вспоминал при этом отрывок стихотворения князя Вяземского «О мужестве»:

«Под бурей дуб растет и крепнет,
Под ветром падает лоза...
И где пред солнцем филин слепнет,
Орел глядит во все глаза!»

Чего мы ждали от него?

Как легко и как ныне мучительно больно отвечать на этот вопрос: *спасения России*!

Да, мы ждали того, что он, с его изумительным чувством чести, личной и национальной; с его способностью — в момент явного бессилия говорить от лица русской исторической силы и чести (как на Лукулле!); с его огромным политическим тактом и готовностью (согласно его фамильному, родовому девизу) сломать, но не согнуться; с его замечательным сочетанием — столь необходимой *гибкости* и *ширины*, и столь подлинной, качественной *идейности* и *проницательности* — сумеет найти и создать тот государственно-политический, национально-силовой выход, при котором, без распрей и партийности, без новых крушений и унижений завершится наше позорное лихолетье.

А чего он хотел от нас?

Одного: *верности нашей волевой идее*, и неличного, и непартийного *служения ей до конца*.

Надо ли что-нибудь добавлять к этому? И что можно к этому добавить? Не все ли сказано?

Но нет, еще одно.

Господь отозвал его, и мы потеряли в нем много, бесконечно много, слишком много! Но именно эта потеря, этот внезапный уход — раскрыл глаза многим, еще не совсем ослепшим от партийной страсти...

Подобно тому, как утрата нашего национального дома, нашего государства, нашей Родины — заставила нас ощутить со всею глубиною и остротою, что мы имели и что мы потеряли; так утрата этого героя как будто уже указала людям, чего они в нем лишились и *что им необходимо в дальнейшем*. В образе почившего вождя нам как бы дано некое идеальное мерило для того, чтобы узнать того, кто захочет, как признанный и отмеченный, спасать Россию волею и властию. И чем ближе он будет по духу к нашему почившему герою, тем вернее и безошибочнее узнаем мы его.

РУССКОМУ РЫЦАРЮ

Венок на могилу Петра Николаевича Врангеля

И воззрят нань, его же прободоша.
Захарии. 12. 10.

Душа не приемлет, ум не постигает его ухода. Весь сила, весь накаленность мысли, весь волевой огонь, — он был *реальнее* каждого из нас, он был сосредоточен-

ным горением жизни и воли. *Лучи* исходили от него; враги не принимали их; но и они чувствовали их силу и их свет. А те, кто их принимал, те накалялись и заряжались их благородной энергией.

Кто не знал его взгляда — смотрящего *через* события и *над* событиями, видевшего одно главное, одно существенное, и повелевавшего только мужественное, прямое и спасительное? Кто не испытал его стихию — требовательного служения, вдохновенного предвидения, ответственного властвования? Кто не знает его пренебрежения к опасности и смерти, его бурной прямоты, его отвращения к интриге? Rumpo, non plecto — «ломаю, но не гну» — вот его фамильный девиз, вот уклад его личного характера.

Скажем же сами себе: *гениальный* человек был дан России Провидением — с умом, потрясающим своей неутомимой силой, с волей истинного вождя, с глубочайшим государственным разумением; с совестью рыцаря, строжайшею к себе и другим. Узнали ли мы этот дар Творца? Сомкнули ли мы свои ряды вокруг этого человека? Сберегли ли мы священное горение его сердца? Сумели ли мы сберечь самую его жизнь?

Поняли ли мы его мудрое осуждение политиканства? Поняли ли мы, что спасение России требует великой *ширины* и великой *гибкости*, и что эта спасительная ширина и гибкость требует именно *его* рыцарственной *идейности* и *принципиальности*? Научились ли мы тому, что честолюбивое безволие гибельно и что изворотливое интриганство презренно? Уразумели ли мы, что дух партийности готовит России не спасение, а новую гражданскую войну или же болото предательского безволия. Или мы только в час его смерти вострепетали и почувствовали, что эта смерть превратила нас в исторический мусор и политический прах? Что люди, одержимые суетливым честолюбием и страхом куда-то «опоздать» — быстро стали жертвою беспринципных партийных вожаков и бесчестных демагогов?..

Горе тем, кто и теперь не почувствовал этого и не понял! Горе тем, кто и теперь не найдет в себе достойного клейма для обуревающего его духа праздности и уныния, любоначалия и празднословия; кто не сумел

сжечь в очистительном огне всю мелочь личных счетов, весь хлам личных обид, всю кривду ненавистных выдумок и партийных нашептов? И если много будет таких среди нас, тогда ход истории выразит и довершит суд Божий над русским зарубежьем.

Мир праху твоему, все совершивший и отошедший вождь!

Вечный свет духу твоему, русский воин и рыцарь!

Твое имя есть достояние Русской Истории. Твой облик навсегда пребудет в сердцах русских людей — зовом и заветом.

РЕЧЬ ПРОФЕССОРА И. А. ИЛЬИНА

Не умеют люди узнавать своих героев и вождей при жизни... Не умеют они беззаветно любить их, гордиться ими, беречь их, как зеницу ока, им и за них отдавать все... Те духовные и государственные горизонты, которые видны герою и вождю, не видны простым людям; и потому они лишь редко, очень редко, и то лишь в предчувствии осязают размеры *его* бремени и величия *его* задач...

И только тогда, когда герой уходит из жизни, самая смерть его, это пронизывающее душу сознание, что жизнь его оборвалась, что земной полет его навеки закончен, что бремя его падает отныне на оставшихся, — заставляет людей содрогнуться, пробудиться от духовного сна и хоть на миг заглянуть в те горизонты, в которых жил и творил почивший герой. Как молния озаряет нависшие аспидные тучи, и виден становится весь край земли под облаками до самых дальних гор, — так в смерти своей еще в последний раз воссиял великий Король Югославии, чтобы показать нам величие тех претрудных заданий, к разрешению коих он шел верною, нетрепетною стопою Государя и мученика...

С неизреченной скорбью видим мы, что жизнь его пресеклась *до* разрешения и *до* завершения Его югославского и общеславянского, и европейского и общечеловеческого дела; что надеждам нашим не суждено было осуществиться... Но знаем, что только враги и только бесчестным убийством могли помешать ему в его деле,

могли отсрочить, да, именно, только отсрочить осуществление наших надежд.

И вот, что мы видим в дали, озаренной молнией его мученической кончины...

Мы видим, что человечество нуждается прежде всего и больше всего в *мире*, в свободе от военных судорог и напряженных с ними духовных и политических смут. Без мира расползется и рухнет в бездну то, что мы ценим и утверждаем как духовную культуру вселенной. Мы видели великую европейскую войну. История не знает такой войны. Но она будет лишь слабою тенью той войны, которая намечается в будущем; ибо будущая война будет стремиться не к ратной победе, а к духовному разложению, к порабощению или истреблению целых народов. Фурии ее распечатают в каждой стране тот сосуд, в котором печать Сулеймана удерживает шайтанов гражданской войны и социальной революции; — и тогда мир захлебнется в крови и грязи...

Мир нужен человечеству. И великий Король знал это; он видел и разумел все опасности и все пропасти, грозящие нам, всем народам, на нашем пути. И он стал Королем-Миротворцем. Он, умевший воевать, как самые славные полководцы истории; Он, видевший самую страшную из войн во всех ее тягчайших проявлениях и крайних выводах, — Он стал миротворцем. Таким мы знали и любили Его — мудрым предотвратителем войны, прозорливым Государем, постигшим все соблазны и все угрозы мирового большевизма, все это сплетание нитей в фатальный клубок воинствующего безбожия, мировой революции, хозяйственного кризиса и вечно голодного империализма...

Но для того, чтобы удержался и утвердился мир во вселенной, необходимо утвердить прежде всего и больше всего *европейское равновесие*. Не равновесие непрощеных обид и бессильного озлобления; не равновесие страха, лихорадочного вооружения и политических убийств; но равновесие *жизни, справедливости и созидания*, равновесие *творческих исходов*, в котором каждому народу открыт путь к культурному росту и духовному расцвету; равновесие взаимного уважения и доверия...

Это возможно в Европе только тогда, если четыре великих этнических элемента найдут *каждый себя* и *друг*

друга, — элемент славянский, элемент германский, элемент латинский и элемент англо-саксонский. Эти элементы призваны не истреблять друг друга, а творчески сотрудничать, соревновать, но не завидовать и не злобствовать друг против друга, — выстрадывать и вылепливать каждый по-своему духовную и материальную культуру мира. Ни одному из этих великих этнических элементов Европы нельзя и не должно отречься от своего духовного и исторического лика; но каждому из них предстоит научиться: чтить лик своего соседа и не искажать своего собственного лика судорогой страха, ненависти или презрения.

В этой борьбе за творческое равновесие Европы, в лагере европейского славянства Югославия вот уже 15 лет вступила силою вещей на место *старшего друга во Славянстве*: и голос ее, и национальный инстинкт ее жизни в рыцарственном Короле ее Александре Первом. Эта великая и претрудная задача требовала всей Его мудрости и всего присущего ему благородства. Это была задача — сразу югославская и всеславянская, всеевропейская и мировая. И мы знали, в чьи доблестные руки она передана историей. И зная, мы верили Ему и верили в Него.

И вот, для того, чтобы Югославия на выпавшем ей историческом посту могла разрешить эту задачу, она должна была прежде всего утвердить *себя*: свое державное бытие, свой единый национально-славянский организм, свое государственное единство, свою духовную волю; и сделать это — *вопреки* всем своим внутренним различиям, или, лучше, именно *через посредство* всех своих различий, племенных и вероисповедных, ибо живой организм не только не отрицает своих различий, но сращивает их восдино, на основах взаимодополнения и взаимопитания.

И мы дивились и восхищались тем государственным чувством и тактом, той политической мудростью, с которой великий Король разрешал эту сложную национально-политическую и духовно-культурную задачу, — задачу Короля-Объединителя. Ибо мы знали и понимали, что *югославянское* единство стоит в предверии разрешения *всеславянских* заданий, а потому и все-европейских заданий.

Вот как это слагалось, что успех Короля Александра Югославии, успех его творческого дела — русские люди,

сущие в рассеянии, переживали как успех не только Югославии, но и Югославии, и России, и всей Европы сразу, как успех общеевропейского замирения и духовной культуры человечества. Они верили в то, что Король-Рыцарь, доказавший на деле мужеством и подвигом свою силу и свою волю, свою способность жить со своим народом и умирать *вместе с ним*, и, более того, умирать *за него*, за его благо и расцвет, — они верили, что Он призван выковать из своего трехчленного народа органическое единство и превратить это живое органическое единство в орган общеевропейского замирения и общеевропейского мирного сотрудничества, и этим вывести югославское государство на пути истинного великодержавия.

Ибо, поистине, *великодержавие* определяется не просто объемом территории и не просто числом жителей, но особенно высотою народного духа, способностью народа и его правительства брать на себя бремя великих международных задач и творчески справляться с этими задачами. Великая держава, утверждающая *свое* бытие, *свой* интерес, *свою* волю, вносит *творческую*, зиждущую, *правовую* идею во весь сонм народов, во весь концерт держав. Ее голос ведет как бы мелодию этого концерта, утверждая симфоническое начало в международном общении.

Именно такова была миссия великого Короля Александра. Скажем это открыто, утвердим это над его священною мученическою могилою; в Нем и с Ним Югославия выходила на пути великодержавной политики — национально крепкой и творческой и в то же время международно-верной и мудрой.

Именно он — Рыцарь — рыцарственно отвергший соблазн мировой смуты и столь модной в Европе лицемерной игры с нею; именно Он — Король — по-новому, вдохновенно показавший, что исторически не изжито и не устарело призвание королевской власти; что духовно ответственное единодержавие таит в себе великую, примиряющую и объединяющую силу; что монархия может быть *народною*[1] и призвана быть народною; что Государь, крепко и кровно связанный со своим крестьянским народом, может поднять и совершить бесконечно многое; именно Он — мог вести свою страну по этим путям...

Вот какие задания поставила история перед Его духовным взором. Вот что видели в нем мы, *верные России*

русские люди, где бы мы ни жили — в рассеянии или под ярмом коммунистов. Вот на ступеньках какой исторической лестницы мы видели его восходящим. Вот от каких великих дел оторвала его пуля убийцы.

И вот почему в наших русских сердцах так жива, так сильна потребность сказать нашим братьям югославянам. Пусть не удалось нам сегодня собраться сюда в ваш Белый Город от всех стран нашего рассеяния, со всех четырех ветров Божиих; пусть помешали нам препятствия пространства и времени... Тем ответственнее, тем сильнее пусть звучат наши голоса, здесь сегодня говорящие: «Вы не одиноки в вашем горе... Мы, русские люди, верные исторической России, не соблазнившиеся соблазнами интернационализма и коммунизма, где бы мы ни находились, — мы знали вашего великого Короля; мы видели и Его призвание, и живые лучи, исходившие от Него; мы любили Его и чтили Его, как нравственную опору всех *тех* русских людей, которым пришлось в суровой борьбе за родину временно покинуть ее пространства и удалиться за рубеж, в рассеяние... И ныне, когда злобное дыхание задуло вашу дивную свечу; когда преступная рука опрокинула вашу священную лампаду; когда неисповедимым решением отозван к Господу ваш великий Король, — наши сердца вместе с вашими хранят в себе духовные лучи, исходившие от Его личности. Эти лучи мы сумеем сохранить и передать их грядущим поколениям России. Имя Короля Югославии Александра есть уже достояние и мировой, и русской истории. Духовные нити, связывающие его с русским Государем, благоверным Александром Невским, его святым и покровителем, не прервутся никогда.

Кланяемся Королю, мученику и рыцарю! Но не токмо праху его, в мире почиющему ныне в чудесной усыпальнице Опленца, а еще более духу Его, который будет вечно жив и пребудет с вами, дорогие братья Югославяне!..

О НАШЕМ ЛЮБИМОМ ПАСТЫРЕ

В наше смутное, непроглядное время, когда все замешалось и сдвуличилось, когда самый воздух общечеловеческой жизни напоен заведомой ложью и лицемер-

ными соблазнами, — как светло, как легко, как радостно нам сказать чтимому и любимому духовному отцу о своем почитании и о своей любви; сказать ему, что видим свет духа, исходящий от него, что радуемся этому свету и созерцаем его, как свет Православия и свет России!.. Ибо знаем, что этот живой свет Православия и России — и в прошлом крепил и очищал русские сердца, и верим, что он и в будущем поведет нас к возрождению и новому творчеству.

Радостно нам поклониться пастырю доброму и мудрому, зоркому и независимому, ибо трагические судьбы нашего времени и скорбные явления наших дней научили нас ценить в православных священниках превыше всего эти *качества духа*, сообщающие ему истинные силы духа и делающие его истинным оплотом в деле нашего общего, — о, сколь трудного и ответственного!.. — стояния и противостояния. Мы идем к нашим пастырям за *молитвенною силою,* за *живою любовью*, за *свободною христианской совестью*; и когда находим в них *эти* дары и *иные связанные с этим* силы духа, то прилепляемся к ним духосыновнею любовью и благодарностью, видя, как наш колеблющийся и скудеющий огонь силится их Светом и разгорается их Пламенем.

Вот почему все те, кто знает Отца Сергия Иоанновича Орлова, чтут его и любят его.

Нет лучшего религиозного научения, нет более верного и неотразимого миссионерства, как *искренность и сила молитвы*. Ибо вера крепнет и множится не от аргументов, и не от волевого самозаставления, и не от повторения словесных формул, а от живого восприятия Бога в молитве, от вознесения и преображения сердца, от претрепетного предстояния. А это всегда и дает своим прихожанам и богомольцам служение отца Сергия. Кто внемлет его служению, тот слышит душу трепетно предстоящую, душу смиренно припадающую и вдохновенно богохвалящую, — и слыша, и видя, сам, незаметно входит в поток живой молитвы, в теплоту веры, приобщается искреннему и умиленному вознесению. В этом осуществлении первоосновы всякого духа и всякого пастырства: учить и научить может только тот, кто сам творит и сотворяет; и не только молитва родится из веры, но вера крепнет и углубляется от осуществляемой молитвы. Истинный пастырь есть *живой источник молитвы*.

И еще. нет лучшего христианского просвещения и насаждения, как *живая щедрота любящего сердца*. Ибо до тех пор, пока сердце черствеет в умственно-отвлеченных построениях, в ожесточении суда и ненависти, — ничто не откроется ему в откровении Христа Сына Божия Здесь все закрыто бессердечному, здесь все недостижимо себялюбцу, здесь все открывает только живая любовь. Вот что всегда дает нам общение с отцом Сергием — и в храме, и на исповеди, и за домашней трапезой. чувство прикосновения к **сердечной** купине, к доброте душевной, к существу, снедаемому жаром внутреннего огня Кто общается с ним, тот входит в струю **любви**, кто в горе, тот утешается, кто просит, тому идет навстречу живая помощь Это школа христианской отзывчивости, сердечного такта, любовной мудрости И все это — верно и прекрасно, ибо истинный пастырь есть *живой источник любви*

С этим у нашего духовного пастыря сочетается *совестная зоркость, справедливость в оценках и живая, дерзающая, независимая ни от чего сила суждения* Его духовное око издали видит соблазн и смуту, по оттенкам узнает неискренность и нечестность, — но никогда не преувеличивает дурного в людях. Отвергая, отец Сергий всегда прежде всего вспоминает о своем «недостоинстве», о своей собственной слабости и греховности, осуждая по долгу и призванию, он прежде всего просит прощения за совершаемый им суд В суждениях же своих меряет единою совестью, единою верою, единою преданностью своей родине, и потому судит не как пристрастный осудитель, но как *дерзающий исповедник*, — призывая в одобрении, в благословении, в сочувствии и содействии, свободный от всякого угождения и потакания, и когда судит и осуждает, то сам больше всех и больше всего *страдает за чужую низость или глупость* И все это верно и прекрасно — ибо истинныи пастырь есть *живой очаг христианской совести.*

Вот почему все те, кто знает отца Сергия Иоанновича Орлова, чтут его и любят его. И в наше смутное, ожесточенное и всесоблазняющее время мы ждем от наших пастырей именно молитвенной силы, именно живой любви, именно свободной и пред Лицом Божиим дерзающей христианской совести. И где мы находим такую неопалимую купину православного пастырства,

там мы прилепляемся к ней доверием, любовью и духовным почитанием. И там в нас просыпается душевная потребность — светло, легко и радостно сказать нашему пастырю: «Спасибо Тебе, Отче, за свет, за силу и за чистоту духа, идущие от Тебя; знаем, откуда они; знаем, что и Ты знаешь об их Источнике; и потому кланяемся Тебе — и за них и за истинное смирение твое!»

КУЛЬТУРА СЕРДЦА

Светлой памяти Протопресвитера Отца Сергия Иоанновича Орлова

I

В наше смутное, непроглядное время, когда все замешалось, растерялось и сдвуличилось, когда самый воздух общечеловеческой жизни напоен заведомой ложью и лицемерными соблазнами, завистью и ненавистью, властолюбием, страхом и жестокостью, — является истинною отрадою и утешением обратиться духом, сердцем и мыслью к человеку светоносному, сердечно-благостному, сильному в молитве и свободному в совести; к человеку, для которого жизнь была служением и утешением; к пастырю, воспринявшему традиции русского православия, утвердившему себя в них и утверждавшему их во всяком и перед всяким, с кем он вступал в общение.

Все мы, знавшие его и общавшиеся с ним, всегда осязали, что от него исходит некий **свет** и что за этим светом живет и греет некое живое **пламя**, которое то вспыхивает истинным вдохновением, то смиряется в тихой, до конца искренней и детски-претрепетной молитве, сосредоточивается в зоркой, совестной мудрости одобрения или осуждения.

Воспринимая его личность, его слово, его молитву, я всегда изумлялся этому сочетанию старческой мудрости и духовной юности; и еще: этому соединению душевной чистоты со строгим судом над собой, с тревожным чувством собственной греховности; и наконец — его сердечности, и в доброте и в строгости.

Кто молился с ним вместе, тот не замечал времени молитвы и не чувствовал усталости от сосредоточения и напряжения; кто делал в его присутствии доклад или

читал лекцию, тот поражался его духовной зоркости, остроте внимания и немедленному ответному трепету его духа; кто вел с ним деловые переговоры, тот заранее мог быть уверен, что совестная доброта будет сочетаться у него с жизненным тактом и практичностью.

И большинство из знавших его и не думало и не ведало о том, что это был образ **классический для России и для ее истории**. Ибо такими пастырями, игумнами и митрополитами строилась издревле наша Россия. Их совестной доброте и строгости, их государственному и национальному чувству, их практической, хозяйственной энергии, их такту и особенно их молитвенной силе русский народ обязан многим благом и спасением, — и особенно своей **культурой сердца**.

У них училась и научилась русская интеллигенция своему **идеализму**, т. е. вере в то, что **верность идеалу** победит все трудности и препятствия жизни; — что быть правым, верным и спокойным в жизни — есть не только путь к победе, а **уже сама победа**; — **что доброта сердца есть первоисточник всякой культуры** и что живая любовь может и должна проникать собою все — и науку, и медицину, и воспитание, и искусство, и хозяйство, и государственное дело, и военное...

Отец Сергий был живым носителем такой традиции, такой веры и такой воли. И поэтому мы не можем ничем и никак лучше почтить его светлую память, как поднять сложенное им знамя, благоговейно развернуть его, укрепить его древко, стать под него и понести его дальше, чтобы знала Россия свои священные традиции и хранила верность им. Чувствую сердцем и совестью, что дух его, ныне здесь незримо присутствующий среди нас[1], ждет от нас не личных похвал, смущавших его смирение еще при жизни, а крепкого и зоркого исповедания, того учения и того пути, которые в наше смутное, непроглядное и соблазнительное время всеобщего шатания — были, есть и будут единственно верными и спасительными... Да и в самом деле, что остается человечеству, пережившему последние тридцать лет современной истории, как не **исповедать открыто и осуществлять культуру сердца**?..

О ПОЛИТИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПИСЬМА О ФАШИЗМЕ

I. Страница борьбы

(*От нашего корреспондента*)[1]

Я присутствовал вчера во Флоренции на похоронах Джиованни Лупорини.

Весь город в национальных флагах, магазины и кафе закрыты и по улицам длинной змеей движется траурная процессия с гробом. Сам Фариначчи[2] приехал из Милана расследовать дело, распорядился похоронами и посетил семью убитого.

Я стоял и смотрел на эти бесконечные ряды фашистов с разноцветными знаменами, с эмблемами древнеримских ликторов, с венками и музыкой. Вот пекаря, стекольщики, гончары, сапожники, разносчики, оружейники, прислуга гостиниц, парикмахеры-хозяева, парикмахеры-служащие, газетчики, носильщики, железнодорожники, артисты, трамвайные служащие, телефонисты, телеграфисты, ночные сторожа... И еще, и еще. Маршируют быстро. Множество простого, рабочего люда. Держатся серьезно и просто; всегда с достоинством, иногда с некоторою важностью, часто с выражением воли и убежденности. Ни аффектации, ни вызова, ни развязности. Есть и женщины, и молодежь. Это не «погромщики»; но смести они могут многое. Это и не толпа; а *народ*. Не «весь» народ; но *сам* народ — сверху донизу — и интеллигенция, и сенаторы, и генералы, и простонародье.

Они шли уже час мимо Понтэ-Веккио и все еще не было конца. И ни тени беспорядка; и ни одного инцидента. И на соборной площади, перед колокольней Джиотто и куполом Браманте, после богослужения, когда, свершая партийный обряд, политический секретарь фашистов воззвал над гробом громким и взволнованным голосом: «Camerata Luporini!», и многотысячная толпа из единой груди ответила за убитого: «presente!» («есть» или «здесь»), и склонились знамена, — это был не внешний обряд, а таинственный акт единения живых в умершем.

Не думайте, что все флорентийские фашисты были исчерпаны процессией; нет, это были только *делегации*. Вы знаете этот жест фашистского приветствия: правая рука, вытянутая вперед и вверх, наискось, с ладонью, обращенною вниз, — сразу, жест подъема, стремления, клятвы, отдачи, единения, решимости, привета... Если бы вы видели, как толпа, не участвовавшая в процессии, встречала этим жестом гроб убитого... Вот простая девушка, может быть, швея; сколько искренней сосредоточенности в этом жесте... Вот мужчина, с молодым, интеллигентным лицом и седыми волосами; сколько скорбного огня в этом приветствии гробу... Вот в толпе, на плечах, там и сям дети; как прост и трогателен у них этот жест...!

Что же случилось? Излагаю то, что установлено, сверив разные источники.

Борьба между фашистами и масонами развертывается. На обеих сторонах есть жертвы; и Джиованни Лупорини — одна из них.

26 сентября с. г. флорентийский комитет партии за подписью «директора» расклеил по городу огромные воззвания против масонов. Воззвание открыто обвиняло масонов в интернациональных интригах, в предательстве итальянских интересов при заключении Версальского договора[3], в недавней попытке сорвать валюту и разорить итальянские финансы; их деятельность прямо характеризовалась, как заражение страны «моральным сифилисом», и говорилось о новых, подготовляемых ими, заговорах. И потому (так кончилось воззвание) «предписывается, чтобы все фашисты, оставив всякий произвол и насилие, старались бы, вместо этого, установить тех недостойных, которые причастны к какому бы то ни было масонству, чтобы лучше определить меры полезного противодействия им и подготовить радикальный, решительный и необходимый карающий акт (azione punitiva)».

В это же время в руки фашистской директории во Флоренции попал некий масонский циркуляр, лично адресованный известному здесь масону шестидесятилетнему бухгалтеру Бандинелли. Борьбою с масонами заведовал секретарь здешней директории очень популярный фашист «первого призыва» Лупорини, и ему было поручено съездить к Бандинелли и пригласить его в директорию для дачи разъяснений.

Второго октября вечером Лупорини и его помощник Гамбачиани приехали вдвоем к Бандинелли, застали его дома и передали ему это приглашение, удостоверяя его в том, что ему при этом не сделают зла. Бандинелли наотрез отказался и от явки, и от объяснений. Во время возникших от этого переговоров находившийся в квартире у Бандинелли железнодорожный служащий Беччиолини, которого правительственное сообщение характеризует как «известного масона и свирепого антифашиста» (feroce antifascista), выхватил револьвер, ранил Гамбачиани и убил почти наповал Лупорини.

Во время возникшей суматохи оба масона скрылись, причем Бандинелли доселе так и не найден. Убийцу же нашли через полчаса спрятавшимся на чердаке и по пути в квестуру он был убит револьверными выстрелами из сбежавшейся толпы возбужденных фашистов.

Известие об убийстве Лупорини с страшной быстротой разнеслось по Флоренции. Наиболее страстные элементы немедленно взялись за отмщение, или, как тут говорят, «обратились к репрессалиям». В тот же вечер был убит максималист адвокат Консолэ (бывший редактор *Аванти*), тяжело ранен социалист-коммунист, бывший депутат Гаэтано, разгромлены пять адвокатских контор, принадлежавших «масонам-заговорщикам» (правит<ельственное> сообщение) и целый ряд «враждебных» магазинов: витрины разбивались, вещи выбрасывались на улицу, разламывались и сжигались.

На следующее утро я видел эти вороха бумаги и обломков, заливаемые пожарными, и всюду дежурила полиция; но было уже кончено. Погромы были остановлены еще ночью партийными приказами Муссолини и Фариначчи, а также карабинерами, но на улицах все еще раздавались пламенные речи, слышались крики и толпился народ.

Лупорини было всего 30 лет. Участник великой войны и похода на Рим, с безукоризненной репутацией, привлекательным, открытым лицом, он был любим и уважаем в партии. «Цветов и венков нашему Джиованнино!» призывают плакаты на стенах Флоренции»... Он женился всего несколько месяцев тому назад, весело, торжественно. А теперь семья его телеграфировала Мус-

солини: «Отец, мать, брат и вдова Джиованни Лупорини, удрученные великим горем, возобновляют перед Вами, славный Вождь, свою священную клятву».

Свежая, кровавая страница гражданской войны развернулась перед моими глазами. Не скоро еще конец этой борьбе, ибо она ведется не только с людьми, а с *проблемами*. Здесь мало одолеть коммунистов, социалистов, либералов, масонов... Здесь надо справиться сначала с политическим, а потом с социальным строительством. Не эксцессами решается дело, и нельзя ими ослепляться. От фашизма же, — это надо признать, — не веет ни вырождением, ни разложением, ни крушением. Но нужно, чтобы хватило патриотизма, дисциплины и творческого дара для того, чтобы *реально и не социалистически* дать трудящимся массам *живое осязание справедливости*.

А посмотрите, как фашизм уже подходит к этой проблеме.

II. Месяц спустя[4]

Возвращаясь к моим письмам о фашизме, я не могу не осветить, хотя бы совсем кратко, совершенное месяц назад покушение на Муссолини. Личные обстоятельства помешали мне написать о нем своевременно.

Надо знать атмосферу здешней социально-политической борьбы, надо видеть и ощущать ее непосредственно, и тогда только можно по достоинству оценить, сколь неумны голоса нашей левой прессы, «отрицающие» самый факт покушения.

Италия переживает период *революции и гражданской войны*; и только сверхъестественному напряжению своей гражданственности она обязана тем, что эта революция *возглавлена королем* и что эта гражданская война проходит *без* всякого военного фронта и сражений. Надо это усвоить и помнить: *резня остановлена диктатурой*, а диктатура санкционирована королем[5]. Это *не* значит, что возможность междоусобия совсем устранена, что страсти не кипят и что внутреннее примирение состоялось. Но все это властью удерживается в состоянии «анабиозы». Задача же диктатуры в том, чтобы остановленная в 1922 году и как бы «замороженная» резня так и не «оттаяла» бы больше и совсем не пришла в движе-

ние... Такова первая, неоспоримая, но, конечно, лишь поверхностно определенная задача фашизма; а для того, чтобы разрешить ее, необходима вся остальная, огромная и сложная социальная работа...

Легко сказать: «выветрить накопившуюся атмосферу гражданской войны»... не давая ей разрешиться! После того, как международная война «удешевила» жизнь и приучила к крови; среди народа темпераментного и эмоционально невероятно горючего; при колебании всех устоев во всей Европе; вопреки всероссийскому пожарищу и коммунистической заразе. Но этого мало: это все твердые, исторические данные, которых диктатура не в силах изменить: есть *внутренние* данные, затрудняющие борьбу, с которыми диктатура политически может бороться. Это — внутренние интриги тех партий, которые отстранены от власти диктатурою.

Есть скрытая логика вещей. Диктатура это прежде всего *единство воли*; формула ее: «*я, а не ты*»; «*я приказываю, а ты исполняешь*». Неспособный занять такую позицию — не может быть диктатором; диктатор, который колеблется в этом *формальном* вопросе, как бы «полезна», «умна», «симпатична» ни была его программа по существу, — обречен на падение.

... «А не ты». Отсюда неизбежность устраняющих жестов и целая система обиженных, разоренных, разозленных осиных гнезд. Такова скрытая логика вещей: в Италии или начнется гражданская резня, или будут жужжать и жалить разозленные политические осы. Властною рукою Муссолини сдерживает гражданскую резню; следовательно — надо ждать осиных нападений. Диктатор, который этого не предвидит и к этому не готов — наивен и недальновиден. Будьте уверены, что Муссолини прекрасно это понимает и нисколько этого не боится.

Одно из таких осиных гнезд, на которое фашистская диктатура наложила руку несколько месяцев тому назад, — это здешнее масонство. И когда это состоялось, в виде декрета об обязательной регистрации всех масонских лож и их личного состава, то люди, знакомые с тайными пружинами итальянской политики, уверенно говорили, что в течение этого же 1925 года будут произведены покушения на Муссолини. Конечно, не в том смысле, что-

бы какой-нибудь масон покусился на жизнь диктатора; это совсем не в их духе... А в том смысле, что покусится именно *не* масон...

Ганнибони не масон. Он бывший депутат той партии «объединенных социалистов», *верхи* которой где-то переплетаются с левыми масонскими ложами. Он храбрый офицер, альпийский стрелок, доблестно сражавшийся на фронте и принимавший страстное, но безуспешное участие в розысках тела покойного Маттеоти[6]. Но вы, пожалуй, спросите, умен ли он? Трудный вопрос. Известно только, что с полгода тому назад, будучи кавалером ордена Св. Аннунциаты и имея, по сему званию, доступ к королю, он явился к нему с длинной и страстной речью, разоблачавшей «гибельность» фашизма. Король слушал его долго и... молчал. Наконец, смутился и докладчик: «Я, кажется, утомил Ваше Величество; я, может быть, много говорил». «Troppo molto, troppo molto![7]» — ответил ему король и встал, кончая аудиенцию... Через полгода он был арестован в отеле Драгони с бинокулярным ружьем, наведенным на балкон Муссолини.

Вы спросите, что было бы, если бы Муссолини был убит? Отвечаю: прежде всего *невероятное кровопролитие* по всей Италии. Дни и ночи прошли бы прежде, чем Фариначчи удалось бы остановить резню. Газета «Секоло» была права, указывая на то, что это была бы катастрофа для *всех* недругов фашизма. Но, может быть, возник бы отпор фашистам? Тогда Италия закипела бы настоящей гражданской войной. Фашисты сейчас наиболее организованная партия. В девять тысяч фашей входит круглым счетом около одного миллиона взрослых итальянцев не моложе 17 с полов<иной> лет. Личный состав этого миллиона периодически и по всякому поводу пересматривается и чистится; фашисты не только не зазывают к себе, но очень строги и разборчивы при приеме. Они сильны в войсках и на железных дорогах; они имеют непрерывное дежурство на *каждой* железнодорожной станции. Кроме того, они *все* вооружены, *все* умеют стрелять и имеют за собой опыт великой войны. И у них есть правило: «никогда никого не провоцировать; но в ответ на провокации и нападения врагов — собираться и реагировать крепко» (reagire vigorosamente).

Известно ли все это покушавшимся? Конечно. Значит, они шли на эти последствия? Шли. Но в таком случае надо думать, что они предпочитали массовое кровопролитие — фашистскому режиму? Да, именно это. Но почему?

Как-нибудь в другой раз я вскрою сам причины той ненависти, которую итальянские масоны питают к фашистам и особенно к Муссолини. Скажу только, что эта ненависть так велика, что при слове «Муссолини» хороший масон бледнеет и опускает глаза. А ведь еще Цезарь знал, что бледность может быть «опасна» (о Бруте).

Бывают такие моменты в жизни партий и общественных организаций, когда становится ясно, что надо или давать бой и *идти на все*, или терять много, слишком много, может быть — *почти все*. В такие моменты люди бывают склонны биться головой об стену, если они не могут планомерно бить: и патриотическая мудрость римского философа Фавония[8], дружившего с Катоном[9] и утверждавшего, что «гражданская война всегда хуже, чем произвольная власть» — не говорит тогда людям ничего.

Это момент, когда для них решается вопрос — *быть или не быть*..

Но этот вопрос вряд ли стоит теперь для самого Ганнибони. Во-первых, в Италии нет смертной казни, тем до известной степени объясняется и радикализм фашистских «репрессалий» по нынешнему времени, говорят многие, тюрьма не «обезвреживает»... Во-вторых, всем известно, что Муссолини — враг кровопролития и всегда был великодушен («e molto generoso») с врагами, а особенно с *личными* врагами...[10]

Но обдумать свой поступок в заключении — неудавшемуся «бруту», наверное, придется...

III. Борьба с масонами[11]

В прошлый раз я коснулся вопроса о борьбе фашистов с масонами в Италии и обещал вам пролить некоторый свет на происхождение той ненависти к Муссолини, которая живет в масонских сердцах.

Поистине это столкновение двух противоположных стихий, двух политических воззрений, двух различных способов организовываться и захватывать в свои руки

власть. Я, по крайней мере, не вижу возможности, чтобы эти две стихии примирились или ужились друг с другом в Италии. Во всяком случае история их отношений доселе — говорит против такой вероятности.

В чем же эта история?

Говоря о масонстве вообще, надо помнить, что масонство *не есть* политическая партия и что оно даже неохотно признается в своих занятиях политикой. Нормально говоря, политическая партия есть союз явный, гласный и открытый; и даже ведя временно нелегальное существование, всякая партия желает выступить открыто, опубликовать свою программу и открыто бороться за власть. Масоны же работают втайне; они не открывают другим своих целей и своей программы; и *открыто* за власть не борются.

В теории они составляют тайный орден, разрабатывающий некую более или менее гуманную «духовную» «идеологию»: они «созерцают истину», «упражняются в добродетели» и лелеют «идеалы красоты». Все это — для детей. Для взрослых же это есть тайное международное общество для всяческой жизненно-бытовой взаимопомощи. Масон — масону «брат», «брат» — «брату» содействует в устроении его земных дел, отдавая, конечно, *не все* свое достояние, но избытки своего «влияния», своих «связей» и своих «услуг». Многого на этом пути нельзя получить, но ведь жизненный успех нередко слагается из множества отдельных «немножечков». Одолженный же, предполагается, так и будет чувствовать себя одолженным и в эту меру зависимым; и, соответственно, он сделается внимателен и для некоторых прямых «указаний», и для неуловимых «инструкций», исходящих из незримого центра организации.

Масонство не партия; но оно и не сверхпартийно в смысле *патриотической* государственности. Оно само проникает во *все* партии и включает в себя людей самых противоположных партий, — от монархистов до коммунистов включительно. В этом его «высшая терпимость»; но в этом и его тайная сила: ибо вкрапленные повсюду, масоны вносят с собою струи государственного *интернационального* сговора, коими они пропитывают свою деятельность, незаметно сдвигая все, в *одну*, желатель-

ную им сторону. И это получает особенное значение в виду того, что среди отдельных «отраслей» масонской «взаимопомощи» оказывается и политика, — и политическое финансирование и политическое голосование...

В масоны может попасть и сильный человек, особенно в таких странах, как Франция, Швейцария и, пожалуй, Италия, где масонство довольно широко распространено и где почти отсутствует «крайняя правая», имеющая обыкновение поносить вслух всяческое масонство. Но ужиться сильному человеку в масонстве — всегда трудно: ибо у сильного всегда имеются самостоятельные, внутренние источники для решений и поступков, индивидуальные, «дикие», идущие вразрез со всеми этими шорохами, шепотами и неуловимыми веяниями закулисных соглашений и незримых центров. Того и гляди — встанет, встряхнется, пойдет и передавит масонскую посуду; а масоны этого терпеть не могут...

Вот это и случилось с Муссолини. Мне не удалось узнать, в какие именно годы он принадлежал к ложам левого течения. Но когда разрыв его с масонством состоялся, то масоны опубликовали и его фамилию, и фамилию Фариначчи как бывших своих сочленов, в прошлом весьма «одолженных» в порядке политической поддержки.

Этот разрыв наметился давно: еще с самого начала войны. Известно, что в то время итальянское масонство левого течения высказывалось определенно *против* вмешательства в войну и заняло позицию строгого нейтралитета, резко разойдясь в этом с французскими ложами «Великого Востока». Известно также, что в то время социалист-интернационалист Муссолини пережил некий глубокий душевный кризис (в дальнейшем я попытаюсь осветить вам весь его жизненный путь) и что он повел бурную и успешную кампанию *за* вмешательство (intervento). Тогда это закончилось исключением его из социалистической партии на заседании миланской секции, выходом его из редакции газеты «Avanti», основанием новой патриотической газеты «Popolo d'Italia» и социалистическою клеветою, обвинявшею его в продажности. «Посуда» была опрокинута и разбросана, но еще не побита и не передавлена.

Продолжение и завершение состоялось уже после войны. Началось «красное трехлетие» (trentio rosso) —

1919, 1920 и 1921 годы. Италия кипела послевоенным разложением: демобилизация, безработица, бестоварье и безвольная растерянность власти. Дело открыто шло — или к попыткам коммунистического переворота, или, в лучшем случае, к гражданской войне. В это время, когда зарождались и складывались фашистские организации, необходима была и материальная, и организационная поддержка; и итальянское масонство, бессильное само создать «добровольческую армию», но располагающее, по своим связям в буржуазном мире, известными средствами, сочло необходимым и правильным помочь созданию спасительного противовеса, могущего не допустить к власти коммунистов.

Остальное в общих чертах вам известно: фашизм вырос и взял власть, а когда отодвинутое масонство начало борьбу, фашизм ответил искореняющими мерами.

Один из старых и верных друзей Муссолини печатно выражается об этом так: «Было бы несколько трудно утверждать, что масонство в течение долгого ряда лет не поддерживало дела и борьбы Муссолини»...

Язык цифр договорит остальное. В 1919 году итальянские масоны обоих течений насчитывали в своих рядах около 32 000 членов; фашистов же было 40 человек. К концу 1925 года фашисты насчитывают в своих рядах около 1 000 000 членов (а могли бы, если бы захотели, иметь около четырех миллионов); а масоны исчисляют свои силы десятками *распущенных* и ликвидированных лож...

Не ждите от меня «моральной оценки» и «негодования». Для того, чтобы обратить громы осуждения на «неблагодарных фашистов», я должен был бы знать, обязался ли Муссолини 1. слушаться масонов «по гроб жизни» и 2. по-братски разделить с ними грядущую власть; и, далее, если обязался, то не было ли со стороны масонов совершено каких-либо поступков, которые нарушали бы этот предположительный договор. Может быть, история однажды и выяснит это.

Впрочем, политика имеет и свое, особое мерило: спасительны или гибельны для Италии возвышения фашистов и диктатура Муссолини? И может быть, было бы умнее и глубже судить о государственном человеке не по размеру тех политических компромиссов, через которые

он перешагнул на своем пути, а по искренности его патриотизма, по силе его воли, по зоркости его политического взгляда и, главное, по национально-государственным последствиям его правления...

Во всяком случае перед нами столкновение двух стихий: фашистской, подобной огню; и масонской, подобной воде.

Фашизм есть стихия национального каления, патриотической страсти и исключительности; он горит, шумит, бурно распространяется и зажигает огни на национальных алтарях. Он, как лава Везувия, вытекает *за* пределы, многое сожигает и во время извержения не блюдет граней и форм.

Масонство есть стихия интернационального разлива; оно распространяется незаметно, беззвучно, потихоньку пропитывая души и приучая их иметь ориентацию на некий *не*-национально-патриотический центр. Оно блюдет конституционные формы и демократически-парламентарные видимости; ибо эти формы гораздо удобнее для его тихого и незаметного разлива...

Но напрасно было бы думать, что фашизм «аристократичен», а масонство «демократично»... Нет, оба течения, организуясь каждое по своему, стремятся создать свою, особую, новую «элиту», новый отбор, как бы слой людей, *своих* людей, и поставить их к *власти*.

Могли ли эти стихии не столкнуться в Италии в процессе борьбы за власть? Когда долго выдерживавшаяся в погребах масонская «элита» вдруг увидела себя отодвинутою властью, регистрируемою, публично относимою к проявлениям «морального сифилиса» и потом распускаемою и вынуждаемою к бегству под страхом «конфискации имущества у эмигрантов»?..

Не правда ли, исторически поучительная страница?

IV. Биография Муссолини[12]

Нельзя понять что бы то ни было в истории фашизма, в его сущности и предназначении, не подойдя с безнравственным интересом к личности Муссолини. Он есть олицетворенная душа фашизма, носитель его идеи, двигатель ее воли. Кто не видит и не разумеет этой ис-

торической фигуры, тот мало что видит и разумеет в современной Италии.

Конечно, никто не знает, сколько еще лет жизни отведено в книге судеб этому замечательному человеку и куда поведет Италию его острый взор и стальная воля. Мы знаем, что враги его хотели бы урезать этот срок и вырвать Италию из его рук; мы знаем, что завистники ни за что не хотят отдать себе и другим отчет в размерах и силе этой фигуры. Но, оставляя все это в стороне, мы должны сказать, что Европа имеет полное основание с величайшим вниманием подойти к личности Муссолини, изучить ее и оценить по достоинству. Здесь есть что увидеть и понять; здесь есть чему научиться и что предусмотреть.

Бенито Муссолини всего 42 года. Он родился в 1883 году в Романье, в маленьком городке Форли. Отец его, простой рабочий, был кузнецом и имел свою мастерскую. Убежденный социалист, прямой, честный и горячий, он не допускал компромиссов в жизни и не раз платился тюрьмою и одиночкою за свои бурные, волевые взрывы и протесты. И до конца дней он оставался в Форли излюбленным кандидатом на общественные должности. Люди, близко знающие его семью, утверждают, что Бенито унаследовал от отца кованую волю и веру в социализм, а от матери чуткую интуицию и быстрый ум; и еще, что отец чуял размеры сына и предсказывал ему великую будущность.

Совсем юношей Муссолини сдает экзамен на народного учителя и отправляется странствовать. Два раза принимается он за учительскую лямку и два раза бросает ее. Он радикал, революционер, социалист; он не выносит принуждения, педантических обязанностей, дисциплины. Его влечет к анархизму, и он способен скомпрометировать себя внезапной и пламенной речью о цареубийстве. Его тянет на свободу, в пространство, вдаль; и он эмигрирует.

Начинаются годы бродяжничества, годы молодого кипения, искания и блуждания. Муссолини беден, как поденщик; и волен, как птица. Он силен и здоров; он кормится физическим трудом: среди итальянских эмигрантов многие и доселе помнят его носильщиком на станции, землекопом, чернорабочим. В эти периоды черной

работы он живет жизнью итальянской эмиграционной богемы, — нищета, лохмотья, растрепанные балы, огненные споры и юношеские, опьяняющие мечты. Но он тратит не все, он откладывает, бережет и потом исчезает; он учится, он студент. Он слушает лекции; он запоем читает в библиотеках, где сторожа недоверчиво поглядывают на его лохмотья...

Так в Лозанне он аккуратно посещает лекции известного социолога Парето[13] и, может быть, впервые вместе с ним продумывает исторический закон о периодическом истощении и крушении правящих государством слоев... Он учится жадно; он овладевает французским и, потом, немецким языком, — он поглощает массу, но без системы. Система тяготит его: он **сам** лучше знает, что ему нужно; он **сам** строит свою личность и наслаждается ее умственной и общественной независимостью... Потом опять приходит голод, и он опять среди чернорабочих.

И так — год за годом. Через всю Европу. Мимоходом, под влиянием Эдгара По, он пишет рассказы и озаглавливает их «Злые новеллы», но политика поглощает его все больше и больше. Его огненная революционность тревожит полицию всех стран: его статьи волнуют и создают ему репутацию опасного агитатора; за ним следят и, наконец, два швейцарские кантона отказываются терпеть основанную им революционную газету и высылают его.

Тогда он возвращается на родину. Ему 25 лет. И душа его переживает свой первый глубокий кризис. 1908-й г<од> отмечен в его жизни как год сосредоточенного молчания. Он живет в маленьком местечке, ведет жизнь отшельника и отдается какой-то незримой, внутренней работе. «В течение долгих, долгих месяцев, — пишет один из его близких друзей, — он укрощает своего внутреннего демона» музыкой: в нем просыпается страстный скрипач; и только по ночам люди видят в горах его одинокую фигуру. Его пытаются вовлечь в социалистическую работу; в полемику; не оставляя скрипку, он бросает в ответ: «социализм не делается болтовней».

Внезапно он появляется в Болонье и блестяще сдает при университете экзамен на право преподавания фран-

цузского языка. Ряд лестных предложений, от которых он отказывается. Его влечет к латинскому языку и *латинской культуре*, и он страстно отдается их изучению. Преподавание не манит его, и всякая «профессия» попрежнему внушает ему отвращение...

Но надо зарабатывать, и он нехотя принимает место секретаря по рабочим делам в Триенте (тогда Австрия) и становится редактором местного социалистического листка. Это начало 1909 года. Он входит в жизнь местного итальянского населения, униженного и безвольного, он осязает шовинистический напор пангерманизма на юг, и в нем зарождается будущий патриот великой войны. Он развертывает в Триенте социалистическую пропаганду, приходит в столкновение с кругами немецких католиков, и через несколько месяцев его постигает изгнание из Австрии.

Снова период одинокого молчания в Форли. Он переводит на итальянский Шопенгауэра и Фихте, но для себя, не для издателя. И с трудом сдерживает в себе публицистический вулкан. Это период литературных замыслов, гневного нетерпения. Муссолини чувствует себя созревшим к действию и томится в вынужденной пассивности.

С января 1910 года он начинает издавать в Форли **свой** журнал, — социалистический еженедельник «Классовая борьба». И с этого момента вся жизнь его — стремительное и бурное восхождение, и каждая неудача, каждый удар, каждый разрыв — только сосредоточивают его успех и закрепляют его популярность.

До самого начала великой войны, в течение четырех лет — это путь революционного социалиста, которыи проповедует активную, наступательную, бескомпромиссную борьбу пролетариата за власть. Он презирает парламентское копошение либералов, масонов и реформистов, он с отвращением клеймит политическое болото, расчетливую, недерзающую стряпню, сентиментально-безвольное пустословие «радикалов». В 1911 году, когда начинается война из-за Туниса, он, верный своему социалистическому «пасифизму», идет во главе демонстрантов, чтобы задержать, «не отпустить» поезд с мобилизованными солдатами и расплачивается за это месяцами тюрьмы И сидя в тюрьме, он пишет свою книгу о Яне Гусе

Мало того, в июле 1912 года по его настоянию итальянский социалистический конгресс в Реджо Эмилия исключает из партии умеренных социалистов-реформистов — Биссолати, Бономи, Кебрини и Подрекка. Партия поворачивает налево, Муссолини становится во главе партийной газеты «Аванти!» (Вперед) и делается фактическим вождем партии.

Он редактирует «Аванти» два года, и подписка на газету поднимается до ста тысяч. Его публицистический вулкан раскрылся и работает. Но он не делает себе иллюзий, он понимает, что пролетариат темен, корыстен, неидеен и пассивен; он говорит прежде всего о воспитании; моральном, религиозном и политическом, о чувстве ответственности, об идее жертвы, о подготовке новой «элиты», зрелой и волевой. И снова, как и прежде, в минуту борьбы, в мае 1913 года Муссолини идет во главе миланской демонстрации бастующих рабочих и проводит ее среди штыков без кровопролития.

Война застает его обожаемым вождем пролетариата. Муссолини с первых же дней опознает в Германии нападающего врага и зажигается сочувствием к Бельгии. Он **знает**, что вся его прежняя идеология, — классовая, социалистическая, интернационалистическая, — подсказывает ему позицию невмешательства, выжидания и, может быть, даже пораженчества. Но стихийный патриотизм уже проснулся в нем, и глубокое государственное чутье, столь характерное для него, зовет его на совсем иные пути.

Он ищет какого-то синтеза между революционным социализмом и идеями «нации» и «Родины», он переживает глубокий затяжной духовный кризис и говорит о нем публично с изумительной искренностью, прямотой и храбростью.

Но партийная директория не с ним: и он расходится с нею...

Большинство миланской партии тоже против него. Бурное заседание, огненная речь — и он исключен. Муссолини принимает все последствия: он теряет **все**, выходит из редакции «Аванти» и остается на улице с 20 лирами в кармане. И только дружеская ссуда выручает его семью из нищеты.

И уже через несколько дней нашелся издатель, а через три недели вышел первый номер новой редактируемой

им газеты «Пополо д'Италия», газеты национальной, патриотической, воинственной и... социалистической, более того — революционной, но только весь революционный пафос вложен в войну, ибо война понималась как война между *прошлым* (немецкий империализм) и идеальным будущим (истинная демократия, истинный социализм). И уже тогда Муссолини настаивал на организации «действенных фашей» (пучков, ячеек, союзов), **внепартийных**, отстаивающих вмешательство в войну.

Война началась, и Муссолини идет рядовым добровольцем. Он проводит в траншеях 19 месяцев. Его статьи и письма оттуда проникнуты бодростью, подъемом и волею к победе, он наслаждается «дикою и анархическою» жизнью окопов, не замечает лишений; но тревожится о воинском духе солдат, которые возвращаются из отпуска «с ядом в душе». Он не только воюет, но еще и борется за войну. И с отвращением говорит о «циммервальдской» позиции итальянских социалистов[14]: «Нет, нет. Чтобы спасти социализм, необходимо убить **эту** партию». Он уже предвидит гражданскую войну и внутренне готовится к ней.

В феврале 1917 года Муссолини был тяжело ранен, его увезли с фронта, жизнь его была в опасности, и целый год он мужественно выносил лютые страдания... И по-прежнему продолжал бороться с пораженцами и обдумывал необходимый отпор.

Тогда Муссолини первый понял, что на первом плане стоит проблема «демобилизуемого ветерана войны», героически дравшегося, переутомленного и возвращающегося домой в качестве все потерявшего, безработного пролетария. Страна обязана выйти ему навстречу, дать ему покой, почет, заработок и влияние. Соратник — соратнику брат, друг и единомышленник. «Мы увидим, — говорил он, — как гарибальдийским энтузиазмом восстанет Общество ветеранов Отечественной войны! Италия завтрашнего дня будет управляться теми, кто на войне отдал все»... Страну должен повести тот, кто строит ее своим **трудом** и кто умеет идти за нее **на смерть**. И соответственно этому уже с июля 1918 года его газета открыто выражает не голос «социалистов», а голос «соратников и производителей».

Война и траншея излечили Муссолини от классовой и интернациональной идеологии и отодвинули для него социализм — вдаль. Мир заключен, начинается «красное трехлетие» — общее брожение, бессилие и безволие правительства. Все шатается, все кипит, озлобление снизу и паника сверху. Один Муссолини стоит твердо: он знает, что делать, он понимает, что делает. Он презирает политическую дряблость Рима и уверенной рукой насаждает по всей Италии «фаши соратничества». И когда коммунисты приступили к террору, одни фашисты смогли, захотели и сумели дать им отпор.

Был момент в 1920 году, когда Муссолини во главе пятидесяти человек дал бой тысяче коммунистов на улицах Милана. Это было физическое поражение и моральная победа: отпор начался по всей стране.

Безволие власти, нарастание силы фашистов и утомление от гражданской войны довершили дело: в октябре 1922 года марш фашистских легионов на Рим и мудрое признание короля передали власть в руки Муссолини.

Вот краткая схема его жизненного пути. Многое уже видится сквозь нее, не правда ли? И его личность, и его идеология, и духовная атмосфера фашизма...

Но об этом и о другом скажу отдельно. Мое письмо и так слишком затянулось.

V. Личность Муссолини[15]

В жизни народов бывают исковые эпохи, когда нация стоит перед лицом приближающейся или близкой опасности, а *инстинкт национального самосохранения* молчит или болезненно мятется и заблуждается в душах массы. И бывает так, что именно в это время этот инстинкт таинственно сосредоточивается и верно показует в душе *одного человека*.

Не всегда такой человек становится политическим вождем и спасителем страны: безвольно созерцающий мудрец, может быть, все поймет, но ничего не предотвратит и ничего не создаст. Необходимы еще два условия: во-первых, у такого человека должна быть *способность и воля к власти*; во-вторых, власть должна быть для него более или менее *доступна*.

Но если все три условия соединяются, тогда осуществляется та живая тайна *объединения множества людей в одном человеке,* которая лежит в основе настоящей монархии; это объединение создает народного вождя, (который может и не называться «монархом»), а воля вождя овладевает шоковой ситуацией. Именно таково было, например, возвышение Октавиана Августа и Наполеона Бонапарта.

Муссолини стал итальянским народным вождем потому, что все необходимые для этого условия соединились в его личности.

Прежде всего — это человек *страсти* и *воли.* Не человек «страстей» — множества разнородных, хотя и ярких, влечений и порывов. Нет, «страсти» его изжились в бурный период эмиграции и год возвращения в Италию, год сосредоточенного молчания довершил в нем работу по собиранию и объединению личности. Необходимо было, чтобы страсть стала *единою* и чтобы не она владела волею, а *воля овладела бы ею.* Это есть основное условие сильного характера. И Муссолини достиг этого: его ведет *воля,* но эта воля сильна, как *страсть*: можно было бы сказать, что он «одержим» своею страстью, если бы он сам не умел держать ее в своей власти.

Но мало сказать: «страсть», «воля»... Чем дышит его страсть? На что направлена его воля?

Сильная, самобытная, темпераментная личность неотличима от ее страсти; и потому нередко со стороны может казаться, что такой человек — «эгоист», что он «любит» только себя и «служит» только себе. Или, как выражаются вульгарные завистники, что он «просто» — «честолюбец» и «карьерист». Они не понимают главного, что у большого человека его *личность* и само *Дело* — суть *одно*: именно *Дело* есть его *личное* дело; и *личность* его, вливаясь в Дело, изживает себя именно в этом Деле. Инстинкт настоящего вождя одержим благом и спасением его родины, и «вынуть» родину из его страсти и из его воли значит погасить самую душу его.

Лучший биограф Муссолини, лично знающий его на протяжении десятилетий, пишет о нем: он «готов проиграть свою жизнь, каждую минуту, — так было вчера, я уверен, что так обстоит и сейчас, — за ту страсть, которую

он представляет». Он «есть совершенно то же самое (utto una cosa), что его страсть», «можно сказать, что он чувствует свое «я» превыше всякого дела», но только это свое «я» он «умеет отдавать на служение вéликим делам»...

В каждую данную эпоху своей жизни Муссолини становился живым и *властным органом* того дела, которому служил. Именно *служил*; но служил *властно*. И потому сам становился *властью*. И люди это чувствовали; и незаметно, и с удовлетворением подчинялись ему. Было бы неточно сказать, что он «любит» власть; он всегда *властен*, когда поступает; он *дышит* властью; это его атмосфера. И объясняется она тем, что он тверд в *направлении* своей воли и силен в самом *хотении*. Огромное большинство людей хочет многого, и хочет слабо и понемногу; и именно поэтому оно всегда склоняется перед тем, кто хочет *одного* и хочет *сильно*. Такой человек не «страдает честолюбием» или «властолюбием», а спокойно требует власти и берет ее; почести же сами несутся за властью.

К сильному человеку власть идет *сама*: она возникает в незримом импонировании, в естественном склонении, в силу его личной силы. И бывает еще так, что он не умеет взять ее в роковой момент, как было с Наполеоном 18-го брюмера[16].

Но беря власть как нечто принадлежащее ему, Муссолини добавляет: «можно перейти из палатки во дворец, но при условии, чтобы быть готовым перейти из дворца в палатку; иначе нам будет грозить духовное оскудение». Это значит, что он приемлет восхождение и успех только при условии *жизненности* и *верности* служения.

Чувство реальности и чувство ответственности свойственно ему в высшей степени.

Муссолини не имеет «учения», «доктрины» или «системы». Мало того, он не только не ценит всего этого догматического груза, но прямо питает к нему отвращение. Никогда ни социализм, ни марксизм, ни демократизм, ни какой бы то ни было другой «изм» не делали его своим пленником или поклонником. Он не занимается «чистой теорией»; и ни одна секта не увидит его своим приверженцем; он — практик и совершенно не верит в «вечные позиции»: для него это — басни («storie»). Он

живет без предрассудков, с восприятием, всегда открытым для действительности. он *реалист*. Его лучшии биограф, Торквато Нанни, так и формулирует это ему присуще «шестое чувство» — «реалистическая интуиция». Муссолини хочет видеть человека, как он есть, и жизнь, как она есть. Но отнюдь не для пошлого «фактопоклонства», а для того, чтобы верно ввести в жизнь свою страстную волю, в качестве направляющего и решающего фактора. Он *чует* действительно *волею* Или иначе. он всегда ищет в жизни опору для своего рычага и точку для приложения своей волевой силы Он всегда прежде всего *созерцает* и видит, что есть, но видит не с тем, чтобы сказать «есть вот что», а чтобы *превратить сущее в желанное*. Можно сказать, что он мыслит волевыми образами, или волевыми сновидениями, или, как говорит Нанни, — он «видит» свое будущее «действие».

Именно этим объясняется то обстоятельство, что он не раз за месяцы и за годы начинал говорить о таких жизненных заданиях, которых никто, кроме него, и не усматривал. Именно этим объясняется, почему он в трудные периоды и минуты жизни уходит в себя и — молчит: в это время он погружается в волевое предвидение своей грядущей борьбы. Живет он решениями и поступками, он человек действия, и может быть, самые сильные потребности его — это потребность в *независимости* и потребность в *борьбе*. К борьбе он готов всегда, и в момент борьбы он отличается изумительным самообладанием. спокоен, уравновешен, неумолим, непримирим и никогда не растрачивается на мелочи, — перед ним главная цель, и сам он целиком уходит в вечное движение. И в случае неудачи и гибели — никто не увидел бы от него ни отчаянных, ни театральных жестов мужественно и спокойно он умер бы завтра же в спартанском молчании. Эту черту отмечают у него все

С чувством реальности он сочетает глубокое *чувство ответственности*. И это объясняется его своеобразным, характерным для него идеализмом. Муссолини — религиозная натура, но религиозность его не церковная и не сентиментально-мистическая, он не имеет ни догмы, ни канона. Он пламенно верит в свой волевой идеал, в его правоту, исключительность и жизненность. То, что он

всегда проповедует и требует от людей — это вера в идеал и верность идеалу. Это он и называет «religione» и «fede». Он — спиритуалист и никогда не верил в первенство материи, тела, животности, «хозяйственной потребности». Напротив, он всегда был уверен в том, что человек без духовного идеала и без религиозного отношения к нему выродится и погибнет. Он верит в то, что миром управляют идеи; что качество выше количества; что к власти призваны не хитрые и богатые, а духовно и морально лучшие; что историю всегда делали «*элиты*», создававшие иерархию; и, наконец, что спасение его страны — в создании *новой волевой аристократии, способной на жертвенную борьбу и несущей с собою справедливость и духовный расцвет.* Создать все это — в Италии (а может быть, и не только в Италии?) призван он, Муссолини.

Вот откуда проистекает его повышенное чувство ответственности. Он, как это обычно бывает у сильной личности, — «индивидуалист»; всякое иго, стесняющее его самобытность, противно ему; «голосованиями» он тяготится и в творческое значение их не верит; членом партии он может быть лишь постольку, поскольку *он* ведет ее; Фихте, Шопенгауэр, Штирнер, Ницше — постоянно гостят на его столе, но было бы грубым недоразумением и даже клеветой — говорить, что он «безответственный деспот». Напротив, именно чувство ответственности характерно для всей его борьбы. Он презирает одинаково — и безответственную болтовню, и безответственную агитацию. Он не мыслит действия иначе, как *подготовленным*, с определенной целью и при 90 из 100 за успех. И всегда, чтобы он не начинал, наиболее рискующим оказывается он сам: и в демонстрации, и на войне, и в гражданской стычке, и на высоте власти. Он всегда «расплачивается своей персоной»... И не было случая, чтобы он не избежал или не остановил кровопролития там, где хоть что-нибудь можно было сделать. Ему в высшей степени свойственно *чувство меры*, это драгоценное достояние итальянского духа: он всегда остро видит, где «еще нельзя» и где «уже не надо» и железной рукой вычерчивает предел. Именно поэтому его политика пластична, рельефна: она состоит из *личных* поступков, ярких, законченных, самобытных и

часто со стороны — неожиданных; но эти личные поступки всегда суть в то же время *деяния* руководимых им *масс*, и притом организованные, и на ходу все еще организующиеся, деяния. Муссолини присущ дар *политического скульптора*, оригинальное, завершающее дерзновение Микельанджеловской традиции. Поступая, он знает то, чего хочет и умеет, то, что задумал. И массы формируются под его руководством в когорты и легионы; а зритель осязает въяве органическое единство римской истории и римского духа...

Еще несколько черт, и портрет Муссолини окончен.

Вся жизнь его есть проявление храбрости и презрения к опасности. «В самом ужасном затруднении он, что называется, глазом не моргнет», — отмечает один из его наблюдателей. И за этим бесстрашием скрывается некий «светлый фатализм», некое приятие своей судьбы, независимо от того, что именно она ему принесет. На протяжении своей жизни Муссолини далеко не всегда мог ясно формулировать и обосновать свою «программу». Им руководит скрытый, но внутренне жгущий его, хотя и смутно осязаемый им идеал, — *волевой миф*, который может однажды стать реальнее самой действительности. Ему Муссолини предан — цельно, религиозно, насмерть. Отсюда его чувство собственного предназначения, непоколебимая вера в свои идеи и то, характерное для него, сочетание вечной внутренней накаленности с властной, спокойной выдержкой, которое так безмерно импонирует окружающим. В этом — он *сам*, он *весь*; и из этой глубины своей он говорил друзьям в часы своего величайшего внутреннего кризиса: «Могу сказать вам, что я тот же, какой был вчера, и что завтра я буду тем же, чем сегодня. Моя вера неизменна»...

Люди, подходящие к нему впервые, нередко поражаются чрезвычайной быстротой его ума: просмотр писем; постижение нового вопроса; решение труднейшей проблемы в совете министров... другие еще спорят, в воздухе витают недоразумения... а он уже излагает готовый план действия, точный, зрелый, в диалектически сжатой форме... и только сверкают огромные глаза.

И всю жизнь он был *беден*: и в эпоху своего «социализма», и в период войны, и в течение красного

трехлетия; так что едва успевал сделать новый долг, чтобы покрыть старый. А близко знающие его друзья, в самый момент своих политических разногласий и расхождений с ним, доныне громко заявляют об «адамантовой чистоте его намерений и решений»...

Таков его духовный облик.

VI. Проблема Тироля[17]

Ораторская дуэль между германскими министрами Хельдом и Штреземанном[18], с одной стороны, и Муссолини, с другой стороны, обратила на себя общее внимание, и мне приходится отложить на время историческое и принципиальное освещение фашизма и отвести место злобе дня.

Это общее внимание к министерской дуэли объясняется не только полемическою заостренностью выпадов и не только тем, что вопрос шел о Южном Тироле[19], этой жемчужине, которая может украсить собою любую страну. Нет, страсти отзывались на нечто несравненно более глубокое и значительное, для чего проблема Тироля служила только символом: на то болезненное размежевание Европы, которым завершилась великая война.

Все столкновение министров было лишь отблеском, или, если угодно, всплеском подпочвенного колыхания вод, медленно, но верно нагревающихся в предчувствии будущего кипения. Политические верхи, осведомленные и ответственные, знают, что теперь не время ссориться, угрожать и бряцать оружием: к войне сейчас никто не способен, — ни удрученная и урезанная Германия, ни почти раздавленная Австрия, ни переутомленная войною и медленно оправляющаяся Италия.

Но неответственные и задорливые «националистические» круги никогда ничему не научатся и всегда будут с упоением расковыривать, — не без лжи и не без аффектации, — больные для национального самолюбия места. Такова уж их ядовитая профессия: эти люди всегда и во всех странах останутся демагогами и вульгаризаторами собственного и общенародного патриотизма, международными сплетниками и переносчиками, задиралами, поджигателями и фанфаронами... И всегда из крайних правых...

Уже более полугода велась обостренная националистическая кампания с обеих сторон — и будьте уверены, что от этой кампании больше всего страдали новые итальянские граждане, немецкие жители Тироля (простите, в Италии нельзя говорить «Тироль», надо говорить «Альто Адидже» с ударением на «А»)...

Эти немцы совсем не похожи на северных; они ближе к горным баварцам, но только еще грузнее, добродушнее, сосредоточеннее и... **самобытнее**.

Италианизация их — дело безнадежное: они стиснут зубы, будут молчать, проявят величайший такт и лояльность и останутся теми же, что были и раньше. Нажимают ли на них в действительности? Да ведь что называть «нажимом»? В конечном счете все сводится к вопросу о том, заставят ли их вести все **школьное** преподавание целиком на итальянском языке, или допустят бифуркацию (как кто захочет), или установят компромисс (часть предметов по-итальянски, часть по-немецки).

Знать **оба** языка им приходилось и раньше; теперь же это станет необходимостью. Но ведь три четверти прежней Австрии говорило на двух языках по крайней мере: все австрийские славяне говорили по-немецки, и все-таки блюли свой язык и доселе преображаются в лице, радостно прислушиваясь к родным звукам чистой русской речи... И тот, кто взялся бы доказывать, что это «ужасно» и «возмутительно» — превращать **бытовую потребность** в двух языках в **административно-культурную необходимость**, — вряд ли справился бы с бременем доказательства...

Альто Адидже и без того был пронизан многоязычием. В долинах Фассы, Эннеберга и Гродена живут «ладины», остатки древних римлян, с их своеобразным искаженным латинским говором. В провинции Триента в дивных горах Доломитах и раньше жили итальянцы, трудно поддававшиеся поглощению и ассимиляции. Ныне вся эта страна станет двуязычною, причем административное преобладание будет за итальянским языком. Можно понять, что это неприятно: думать и жить по-немецки, а учиться по-итальянски, но нам, умеющим ценить и тяжеловесную глубину германцев, и дивную гармонию итальянского духа, трудно усмотреть «зловредность» и

«гибельность» совершаемого «насилия». Италия приобрела 180 000 немецко-тирольских граждан. Этим людям предстоит, **не утрачивая** своей «германскости», приобрести многое из богатства итальянского духа. Это не есть «ужасная судьба». И все сводится к чувству **меры** и к чувству **такта** со стороны итальянских властей. Найдется ли у них эта мудрость?

Что тирольские немцы, в огромном большинстве своем горные крестьяне и некрупные промышленники, не рады новому подданству, — это само собою понятно. Удрученность и беспокойство переживались ими с самого начала. Стихия фашизма, разлившаяся по Италии с 1922 года, обострила это беспокойство.

Еще не чувствовалось никакого напора, а уже пошли по Тиролю шепоты и предчувствия, и только самые трезвые и рассудительные понимали, что вспышка итальянского национализма предотвращает горшую беду революции.

Прошло два года, и националистический напор не усиливался. Медленное наступление началось только с конца 1924 года: пришлось итальянизировать все вывески. Там, где было Hôtel-Pansion (читай этот волапюк по-немецки), приписывалось «е», и получалось «пенсионе»; нередко немецкая реклама заклеивалась бумагой, ветер отрывал бумагу, и немецкие слова не без радости выглядывали на свет Божий.

Замазали всюду словечко «Тироль»... Почтовые чиновники получили право «не понимать» по-немецки. Понемногу стала переходить на итальянский язык полиция с ее документами. В 1925 году появились итальянские финансовые инспектора и придирчиво стали взыскивать новые налоги. Население затосковало и замечтало... А тут же, под боком — наслаждается немецким языком и северный Тироль, и западная Каринтия... До осени 1925 года один Боцен издавал три немецкие газеты, сдержанно, но упорно тянувшие **не** к Италии. Теперь осталась одна, и выживет ли она еще?

В своих последних речах, бурных и резких, как у студента на сходке, Муссолини определил дальнейшую перспективу этого нажима: «мы будем применять там методически и корректно (onestamente), с тем методом и с тою выдержкою, которые должны составлять стиль

фашизма, все наши законы, которые вы голосуете и еще проголосуете». 8000 тирольцев, которые были искони итальянцами и денационализировались под немецким подданством (критерий: акты о гражданском состоянии и надписи на кладбищах), подлежат обратной итальянизации. К остальным будет применена «римская политика строгой справедливости».

Если сопоставить это с его полемическими ссылками на школьные притеснения датчан и поляков немцами-пруссаками, то получается впечатление, что действительно готовится нажим; и может оказаться так, что строгость возобладает над тактом, а справедливость не найдет верную меру... Когда человек обосновывает свой грядущий поступок чужими грехами, то это означает, что он сам стоит накануне греха... И что же тогда?

Проблема национального меньшинства всегда была и всегда будет экзаменационной проблемой для всякого политика. После Версальского мира это имеет особое значение. Ибо теперь провал на таком экзамене будет обозначать не внутреннюю слабость того или иного деятеля или режима, а несостоятельность всего нового европейского уклада с его выкройками и прикройками. Чем острее и нетерпимее будет напор в этой области в разных странах, тем скорее пойдет назревание нового европейского столкновения, тем явственнее обнаружится, что разумелось под «самоопределением национальностей».

Кто хочет действительно **приобрести** окраину с национальным меньшинством, тот не должен будить в ней ненависти. Напор готовит самому себе отпор; и кто добивается слишком многого, может потерять **все**. Конечно, немецкая агитация, сентиментально и преувеличенно расписывающая мнимые «ужасы» итальянского «террора» в Тироле, — только дразнит фашистов; и тирольцы, понимая и чувствуя это, умоляют немцев оставить их в покое и предоставить им самим найти выход из теснины. Но, как бы ни сердиться на немцев (а итальянец всегда питал к немцу органическую, эстетически-расовую антипатию...), мудрость остается мудростью и экзамен останется экзаменом.

Я не уверен, что этот тирольский экзамен будет сдан фашистами.

Почему? Об этом, позвольте, до следующего письма.

VII. Одна из опасностей[20]

Я хотел вам написать позднее особое письмо об опасностях фашизма, ибо нельзя закрывать себе глаза на то, что такие опасности имеются налицо. Но, видно, жизнь обгоняет всякие литературные замыслы и торопится проявить и подчеркнуть то, зачем не угналось медлительное перо корреспондента.

Я признался в предыдущем письме, что у меня нет уверенности в успешной сдаче фашистами экзамена «по национальному вопросу в Тироле». Почему? Потому что среди них царит настроение **победителей**, и это может им во многом помешать и многое испортить. Победителей — не во внутренней борьбе; это было бы естественно; а в великой международной войне — и в этом одна из основных опасностей фашизма.

Когда читаешь последние, столь нашумевшие речи Муссолини, особенно первую, то невольно спрашиваешь себя: почему, и зачем, и откуда такая резкость? Что случилось? Оскорблено ли достоинство Италии? Посмел ли кто-нибудь поставить ей унизительный ультиматум? Покусился ли кто-нибудь на ее территорию?..

Послушайте только: «Мы заявляем, что будем каждый раз отплачивать за потерю одного глаза — двумя глазами, а за потерю одного зуба — всею челюстью (tutta la dentatura). Или еще: «на бойкот мы ответим бойкотом в квадрате, а на возможные репрессии — репрессиями в кубе». «Если окажется необходимым, фашистская Италия сможет вынести за пределы свое трехцветное знамя, но никогда не спустит его»... И конечно, вся палата на ногах, крики, рукоплескания и гимн к юности («Giovinezza»).

Ведь после таких речей **сказать** уже больше нечего. Палитра дипломатического слова исчерпана; все драгоценные возможности дипломатического умолчания, намека, вопроса, указания, предложения, доведения до сведения — погасли; после этого остается не говорить, а **бить**; мало того, такая речь, сама по себе, более похожа на удар кулаком по доске, чем на шахматный ход...

Ну, хорошо, пусть агитация немецких газет за последние месяцы была раздражающа, бестактна, несносна и даже лжива (последнее открыто признал и Штреземан)...

Никогда фашисты не разрушали памятника Вальтеру фон дёр Фогельвейде[21] в Боцене — Больцано; никогда они не запрещали елок на Рождество; и фашистский «террор» в Тироле состоит не в устрашающих поступках фашистов, а в опасениях обывателей... Но ведь **с газетами не воюют**; лгунов позорят, давят или покупают, но не грозят им наступлением трехцветного знамени. И смешивать баварского министра Хельда с газетными крикунами тоже не приходится; ведь Хельд сам указывал на вредность провоцирующих агитаторов... Нет, положительно это говорил не «министр иностранных дел», а «министр военный, морской и авиации».

Мало того, это говорил **победитель с побежденным**. И в этом-то и кроется психологическая подкладка дела. Говоривший знал, что на угрозы противник **не** ответит угрозами, а будет уклончиво сдержан и тактичен. И у всех было такое чувство, как если бы фашистский тигр зарычал на поверженного и связанного германского льва. И надо отдать справедливость Штреземану, что, отвечая от имени связанного льва, он проявил и выдержку, и такт, и достоинство.

Психология международных победителей владеет фашистами...

С одной стороны, эта психология была необходима для Италии и спасительна. Это было чувство **неутраченной воинской и национальной чести**. И именно это чувство удержало Италию от послевоенной, красной деморализации; именно оно дало ту точку опоры, которую использовал Архимед фашизма — Муссолини. Можно быть совершенно уверенным, что **проигранной войны итальянцы не вынесли бы**: воинское, национальное, патриотическое унижение неизбежно бросило бы их в объятия революционного бесчестия и красного позора.

Но **выиграть войну и победить** — не одно и то же; и этого нельзя забывать.

Что произошло за четыре года 1914—1918 в Европе?

После невиданного в истории, титанического сопротивления Германия была сломлена — 1) благодаря совокупным усилиям пяти-шести великих и многих мелких держав, 2) благодаря внутреннему голоду и 3) благодаря социалистической пропаганде. Кто из держав Антанты в

отдельности может считать себя победителем Германии? Никто. А кто выложил на стол козыри победителя? Все сообща и каждый в отдельности. И замечательно, что выкладываемые козыри и предъявляемые счета бывали иногда тем больше, чем глубже у предъявляющего было сознание того, что он сам **не победил, а только выиграл войну**... Можно не сомневаться, что то же самое произошло бы и при обратном исходе войны; и мы выдвигаем наши соображения не для того, чтобы что-то осуждать или чему-то сочувствовать, а только для того, чтобы вскрыть психологическую подкладку известных событий.

Всем известно, что для духовно сильной страны сознание своей военной неудачи бывает очень полезным: начинается пересмотр всего военного, а иногда и политического, и социального уклада; национальное самолюбие и чувство ответственности вызывают к жизни творческую **волю**; все чистится, подтягивается, улучшается. Горе, стыд и потери гонят вперед; а патриотизм и чувство собственного достоинства не позволяют предаваться отчаянию и бесчестию. Проигранная война обнажает язвы, учит выдержке и строгости к себе; она и учит и лечит...

Понятно, что победитель этих преимуществ не имеет: перед ним всегда остается опасность — поверить, что у него «все обстоит благополучно», почувствовать себя на вершине «силы и правоты», вообразить себя «непобедимым Роландом» и почить на лаврах. В сказке Андерсена кошка и утка считали себя (и без всякой победы) — **половиною** мира, и притом **лучшею** половиною...

Но возможен еще и такой исход, что **народ выиграет войну, не победив, но усвоит психологию победителя**. И понятно, что тогда страна лишится всех преимуществ проигрыша и подвергнется всем опасностям, присущим победе...

Помню, как еще в 1923 году один подвыпивший со мною в кабачке итальянец объяснял мне, что Италия одержала блестящую победу над соединенными австро-германскими полчищами, несмотря на то, что все союзники ее предали, и первая предала Россия. Напрасно я пытался напомнить ему кровавое наступление Брусилова летом 1916 года, наступление, предписанное из ставки Государем по телеграмме итальянского короля, умоляв-

шего в критический час о помощи... И слышать не хотел... «Мы, мы, мы...» «А Россия только делала вид, что воевала; если бы она сразу, добросовестно мобилизовала свои войска — война была бы окончена в один год...»

Я не очень спорил с ним; стоило ли? Но это было характерно...

«Италия победила...» Это сознание поддержало фашистов во время «красного трехлетия». Но это сознание стало и их **национальным** самочувствием, и определило их партийную программу: священное прошлое одержанной «победы» укрепило их волю и осветило их будущее. А тут еще победа на «внутреннем фронте», завоевание власти, подъем труда и промышленности...

Надо признать, что на войне итальянцы дрались героически: тут было все — и наследственная гражданственность, и прирожденный темперамент, и храбрость, и выдержка. Тот, кто раз проезжал через Доломиты и видел суровый массив горы Коль-ди-Лана (2500 метров), на которой и **вокруг** которой в течение двух с половиною лет шла самая ожесточенная и безумная по смелости и выдержке бойня — тот никогда не забудет этого театра войны и этих кладбищ...

Но была ли это «победа» одного народа над другим, победа, которая оправдала бы тон победителя по отношению к побежденному? Тон вызывающий и угрожающий...

Вряд ли и победа дала бы основание «хвалиться, на рать идя». А выиграть войну совсем уж недостаточно для воинственного самомнения и угроз. Угрожающий чаще раздражает, чем пугает. Мало того, он нередко раздражает **не тех**, кого хотел напугать; а ведь в Швейцарии, например, уже три года косятся на юг и размышляют о своих итальянских кантонах; а ведь есть и другие соседи. И еще одно; что сделает завтра тот, кто сегодня грозит? И если по газетным воробьям бить из пушки, то чем встретить серьезного противника?

Расточающий угрозы в знак своей «моральной силы» — рискует создать против себя коалицию. И что тогда? Ведь такой борьбы не выдержала даже Германия?

Можно понять, что среди фашистов есть своя воинственная группа и что от этой группы идет нажим на вождя. Но вождь не есть воск; вождь ведет и пресекает,

а не рабствует нажимам. Вождь, рабствующий нажиму, превращается в креатуру нажимающих..

И только беглые итальянские масоны могут радоваться таким резким выступлениям и воинственным фанфаронадам[22].

VIII. Муссолини социалист[23]

Муссолини был левым; и каким левым! Он был социалистом; и каким социалистом! Надо прочесть в оригинале его статьи и речи за 1908—1914 гг., чтобы почувствовать за этими четкими кованными формулами — неукротимый пафос революции, одержимую волю к массовому действию, бурелом налево... Это радикализм, воинствующий радикализм последней непримиримости, разжигающий классовую борьбу и скрепляющий каждое слово смелым и жертвенным поступком. Читая эти статьи и речи, чувствуешь и понимаешь, как это должно было действовать на массы...

Ему все было мало; все наличные формы «левизны» и «демократичности» его не удовлетворяли. Проблемы «нации» и «государства» для него не существовали, идея «Родины» отвергалась, и притом с классовой точки зрения; обычные формы «демократии» — осмеивались; вера в парламентаризм клеймилась с презрением; профессиональные союзы рабочих (синдикаты) осуждались, как вносящие «буржуазный» дух в социалистическую партию.

Свою задачу он видел прежде в том, чтобы укреплять социальное недовольство (fortificare il melcontento sociale), чтобы восстанавливать братские массы против братских масс (1913 год), чтобы отучать пролетариат от благовоспитанного социализма и приучать его к позиции внутреннего врага (nemico interno)... Он звал «идти в народ» (andare al popolo) и ссылался на пример русских революционеров. Он стремился подготовить пролетариат к «прямому действию» (azione dizetta) и предсказывал наступление «героического и исторического дня» (una giornata eroica e storica)...

Газета и площадь всегда были для него выше парламента. Темперамент уносил его за пределы реальности; а пробелы трезвой мысли заполнялись парадоксами: «может быть, иллюзия и есть реальность жизни!» Или:

«вся история есть невозможность, абсурд, непредвиденное, ставшее реальностью...»

Не правда ли, знакомая картина?

Напрасно было бы отрицать ту эволюцию, которую Муссолини действительно пережил в дальнейшем. Эта эволюция глубока и значительна. От «социал-предательства» и от «парламентского кретинизма» его спас целый ряд благоприятных условий, и внутренних и внешних.

Во-первых, итальянская кровь; во-вторых, живое чувство реальности; в-третьих, присущий ему духовный аристократизм; в-четвертых, активная и властная воля. И далее, — историческая гражданственность Рима; патриотическая традиция гарибальдийства, умевшего браться за оружие ради конкретной родины, а не во имя рассудочной химеры; и, наконец, война.

Муссолини, с самого начала, был социалистом по чувству справедливости (он сам называет это «потребностью сердца») и — революционером в силу волевого темперамента. Для него социализм никогда не был порождением личной жадности или завистливой злобы. Но он не был для него и орудием расчетливой и порочной демагогии. Муссолини никогда не кончался и не исчерпывался там, где значилось «обобществление орудии производства» или «распределение продуктов по трудовым бонам»; можно с уверенностью сказать, что самая психология этого хозяйственного короткоумия и плоскодушия была ему всегда чужда. Он никогда не видел в социализме догмата и никогда социализм не был для него окаменевшим теоретическим построением, в котором замуровывается раз свихнувшаяся отвлеченная мысль.

«Революционный социализм» обозначает для него прежде всего **новую веру и новый подъем духовной самодеятельности в народе**. «Зачем это нужно пролетариату, — пишет он в 1912 году, — понимать социализм так, как понимается теорема? Мы хотим **верить** в него, мы должны верить в него, человечество нуждается в некоем **верую**»...

Партия, как церковь, должна быть не «общностью интересов», а «общностью идей»; она должна прежде всего беречь и укреплять свою религиозную душу. Без «идеалистических мотивов» социализм «выродился бы» в своекорыстную борьбу рабочих из-за «лишней минуты»

и «лишнего сантима». Миром владеют **идеи**. Массы нуждаются больше всего в гражданском воспитании и гражданском подъеме (elevazione civica); а для этого ей нужен **«далекий идеал» и вера в него**; и, далее, самодеятельная борьба за его осуществление.

В то время Муссолини понимал **социализм** как **осуществление справедливости**, а **справедливость** как **равенство**, как «полнейшее искоренение всякой тени социального неравенства»... И ради этого был «революционером».

Его революционность проистекала не только из импульсивной прямолинейности и не только из волевой активности. Она выражала его отвращение к той мелочной партийной стряпне, к тому политиканствующему перешептыванию, к той хитрой и в то же время безвольной машине, в которую превратился итальянский, а может быть, и не только итальянский парламент. Вся эта периодическая погоня за благосклонностью голосующей массы; все это партийное чванство и узколобие; все эти старания не дать другому сделать то, чего мне тоже сделать не дадут; вся эта система **интригующего безволия** и **бессильного равновесия**, — все это заставляло его искать **внепарламентских** путей для своей партии. «Если бы я не был революционным социалистом, — пишет он за месяц до войны, — итальянская демократия заставила бы меня сделаться реакционером»...

Что же совершилось в его душе с тех пор?

Война пробудила гарибальдийскую и, еще глубже, древнеримскую гражданственность в его «бессознательном». Она же научила его ценить междуклассовую солидарность. Его итальянская кровь вдруг заговорила языком почти шовинистического патриотизма. «Социал-предательское» сидение между двумя стульями было чуждо ему искони: для этого у него не было ни достаточной политической нечестности, ни достаточного политического безволия. Реальная беда и острая необходимость оторвали его от «далекого идеала» и, не поколебав в нем «веру», поглотили всю его энергию. Его взору открылась перспектива последовательности, закон постепенности: прежде «жить», а потом — «жить справедливо»; только сумасшедший может желать «социализма» ценою гибели «облагодетельствованного» народа. И наконец, война же

открыла его аристократическому чутью тот уровень, на котором находится ведомая им масса: иногда бывает полезно быть изгнанным из партии и оклеветанным, полезно бывает увидеть человеческую душу в ее настоящем виде — в окопах, в лазаретах, в отступлении и в состоянии послевоенного утомления и разложения...

То, что теперь осталось в его душе от социализма — это **воля к социальной справедливости** и глубокое понимание той опасности, которую таит в себе **хозяйственная и социальная анархия**.

Подобно всем крупным людям, прошедшим в молодости через увлечение социализмом, Муссолини вынес из своего прошлого некое драгоценное свойство: он видит и разумеет ту **проблему**, над разрешением которой работают социалисты, но которую они неверно разрешают в сторону **противоестественного отрицания собственности**.

Он знает, где лежит тот узел, который составляет проклятие нашей эпохи и наших поколений; он понимает, что этот узел нельзя игнорировать; но он понимает также, что социалистическое разрешение проблемы — противоречит неизбывному человеческому инстинкту, что оно нереалистично, ибо отправляется не от реального, а от **выдуманного человека**. И при всем том **социальная справедливость**, уже не сводящая к равенству, остается по-прежнему задачей его «воли» и его «веры».

Муссолини ищет новых решений для старых проблем. Найдет ли? История покажет это. Подождем.

Но не понятно ли, что идолопоклонники отвергнутых им мнимых решений («парламентаризм», «социализм») — ненавидят его всеми силами своих ожесточившихся в идолопоклонстве душ? И добро бы он возражал им теоретически — словами, аргументами, статьями... или демократически — агитацией, пропагандой, голосованием... А то — волею, актом, волевым поступком, устранением с поля битвы... взял и выполол, как сорную траву: и коммунистический чертополох, и либеральный лопух, и масонскую повилику...

Нет, уж лучше большевистская карикатура на «наш идеал», чем эдакое фашистское обхождение — с корнем вон и в мусорную яму истории...

Разве не так?

IX. Вопрос качества[24]

Русские патриоты, интересующиеся фашизмом, должны понять и раз навсегда усвоить, что фашизм есть *ставка на качество*. Без этого он не победил бы в прошлом. Если в будущем это изменится, то он выродится и повлечет свою страну в пропасть. Так будет повсюду. Или качественный отбор удастся: и тогда в стране начнется расцвет; или же качественный отбор *не* удастся, и тогда страна пройдет через стадии гражданской войны и революции.

С самого 1922 года, когда совершился фашистский переворот, многие из русской эмиграции и многие в самых различных странах Европы стали чувствовать себя «прозревающими» и, вот уже, «прозревшими»: они решили, что они «поняли», что именно «надо делать». И, по-видимому, приступили «к делу». Что же именно «надо делать»? А вот что: волевое меньшинство должно сорганизоваться (лучше, если в пределах армии), выбрать удобный момент и совершить переворот; а потом уже «все просто» — ликвидируй коммунистов и делай по форме приблизительно то самое, что коммунисты делали, но только уже не слева, а справа... т. е. сажай всюду своих, отменяй народное представительство, дави свободу и «валяй» партийную диктатуру...

Тот, кто знает Италию и видел фашизм, видел его в жизни и на деле, кто побывал в его стихии, — идейной, эмоциональной и волевой, — тот не может относиться к такому пониманию иначе, как с *презрением* и *гневом*. Ибо это понимание — есть полное *непонимание*; это есть *пошлое* и *порочное* искажение фашистского духа; обезьянья догадка о великом деле; углубление болезни, а не излечение ее. И мы, научившиеся уважать и любить идею фашизма, должны своевременно и всячески предупреждать наших русских патриотов, что фашизм совсем не то же самое, что черносотенство, и что партийная диктатура может при известных условиях *только ускорить гибель страны*.

А между тем и в наших рядах, и в западноевропейских странах этого, по-видимому, не учитывают. Упускают из вида или уже упустили главное: государственную *идейность* фашизма и его *ставку на качество*. Все свелось к тому, чтобы «поскорее» и «поздоровее» сорганизоваться

«под кем-нибудь» и — «крути, Гаврила», «стряпай переворот», а «там видно будет». И начали. сегодня у Эгейского моря, завтра на Висле, послезавтра у Атлантического океана. Выйдет — значит, переворот, не выйдет — значит, недоворот. Если случится недоворот — значит, «недостряпали» (Польша): тогда надо как-нибудь «достряпывать», по правилу «недосол на столе». А уж если «достряпается», тогда все просто. «дели вотчину», «сажаи своих» (тех, кто вовремя услужил); да не забудь отблагодарить *всех* нужных, а то кто-нибудь неустроенный — новый переворот начнет готовить...

И вот, как дождевики после дождя, начали вскакивать всюду захватчики и переворотчики. По-видимому, есть два главных условия. надо быть военным (лучше — генералом) и иметь известную сумму денег, а остальное не так важно. как-нибудь само выйдет. По Европе заходила настоящая «переворотная» зараза. Большои идеи нет, а предприимчивость есть. Слагается дух авантюризма и своеобразного, продешевленного и рассеянного, преторианства, общая послевоенная расшатанность правового уклада и правосознания, психическая утомленность и соблазн вооруженного вмешательства в политику довершают остальное... Кажется, что все эти «перевороты» только для того и делаются, чтобы вызвать новые «пере-перевороты», и трудно поверить, чтобы все это было началом оздоровления.

Во всяком случае все это совершенно *не* фашизм и прямо противоречит всем основным правилам Муссолини Во-первых, нужна *идея* и *религиозное* отношение к неи Во-вторых, дух *рыцарственной жертвенности* (sacrifico) В-третьих, *качественный* отбор людей («la qualita») В-четвертых, *точная цель* («meta precisa») В-пятых, взвешенность и подготовленность акта («azione ben ponderata»), до 90 процентов вероятности успеха И тогда, исторический день и начало *новой эры* (а не новои клики) национальное единение (а не классовое торжество), неуравнивающая справедливость и подъем творческих сил.

Именно поэтому безыдейный захватчик и беспринципный переворотчик не имеют основания считать себя фашистами. *Авантюризм не есть фашизм*, и какие бы поверхностные сходства и внешние подражания ни обна-

ружились бы, *качество* и *дух* останутся иными, а потому иною будет и судьба.

И, точно так же, никакое количество сгрудившихся жадников и карьеристов не создаст фашистского течения. Фашизм есть движение гражданственного и более того — рыцарственного духа; а *не духа интриги*, нашепта, посула и пачкотни. Фашизм есть начало *служения* и *жертвы*, а не пролазничества, не забегания и не приобретательства. И, например, наше русское черносотенство — является во всем этом прямою противоположностью фашизма.

Но главное значение имеет *качество*. «Ну да, — скажут мне, — нужны решительные, сильные люди!» — Нет, отвечу я; большевики тоже решительны и сильны; разбойники тоже сильны и решительны. Этого *абсолютно недостаточно*. Решительный человек (а ведь эта решительность сводится часто к крику и стуку) — может быть проходимцем и мошенником. Сильный может быть *сильным* во зле; и фашизм совсем не сводится к грубой беззастенчивости. Нужна не сила, а *благородная сила*. Нужна не просто «воля», а *честная* и *патриотическая* воля. Энергичный и беззастенчивый напор черносотенных карьеристов не спасет ни одну страну, а погубит всякую. Качество человека определяется прежде всего тем, *чего* он хочет, а потом только *силою его хотения*; и история знает немало людей, которые именно *силою* своего хотения заслужили себе проклятие из рода в род; и так будет всегда, когда жадные и бесстыдные люди будут браться за государственное дело.

А для фашизма характерно как раз обратное: ибо он сложился именно в борьбе с жадностью и бесстыдством; и его успех объясняется не просто «силою», с которой он выступил, а прежде всего *государственною верностью его воленаправления*. Напор спас здесь потому, что он был направлен к верной цели. Горе народам, если они научатся у фашизма только напору! Ибо всеобщий беспредметный напор породит всеобщий беспредметный отпор, и человечество замешается в столь желательной большевикам предбольшевистской каше!..

И прежде всего для фашизма важно, драгоценно, необходимо *качество* вождя... Все пошло бы в Италии иначе, если бы Муссолини не совместил в своем лице

эту умственную остроту и тонкость, и эту интуитивную зоркость, и это личное благородство, и эту волевую энергию. Будь он грубым, невежественным крикуном с уездным горизонтом; или жадным и слепым демагогом; или человеком со взятками и депутатской продажностью в прошлом; или хитрым и изворотливым интриганом, разъезжим шептуном и сикофантом — фашизм не стал бы фашизмом, ибо внутри его не удался бы *качественный отбор*. К темному проходимцу идет темный же проходимец (к Ленину — Радек); невежда в центре — окружит себя неучами и обскурантами (Махно); к продажному потянутся все, кто продаются; интриган нанижет на свою нитку интриганов... Словом, грязь прилипнет к грязи — и большевизму противостанет новая редакция того же самого. Противостанет ли? Не растворится ли, не смешается ли, не амальгимируется ли в новую гибельную и презренную смесь?..

Вы хотите ощутить, что представляет из себя вождь итальянского фашизма? Сделайте так. Как только приедете в Италию, на любой итальянской станции, хотя бы самой маленькой — отыщите очередного дежурного по станции фашиста (они называются «национальными стражами» и узнаются по черной рубашке и черной шапке) и обратитесь к нему за помощью и советом; характер вашего затруднения или недоразумения безразличен — с билетом, с багажом, с разменом денег, с отысканием носильщика или врача. Скажите ему, пожалуй, что вы иностранец. И вы сразу почувствуете себя в атмосфере рыцарственно-вежливой доброжелательности, спокойной заботливости, которая знает свою власть и с талантливою быстротою устраивает ваше дело. Но если не хотите быть грубо-бестактным — *не* предлагайте на чай. Потом поезжайте дальше с чувством изумления, уважения и благодарности. И сообразите, что этот отбор уже произведен и все еще продолжает производиться *во всей стране*. Я знаю, что после этого вы приобретете и сохраните на память портрет того, кто своею волею и зоркостью произвел этот отбор... и кто *сам* таков, что нашел *в себе* масштаб для отбора таких людей.

Да, это была ставка на качество. Вы скажете, что были и ошибки? *Могли* быть; ибо люди не боги. Но эти

ошибки все время на ходу исправляются. И поймите еще этот рок, согласно которому *качество* и *волевая активность* вождя *создают организацию*, ее дух и ее победу. Ибо победа не кончается переворотом, а только начинается: и определяется она тем, что будет делаться *после* переворота; и если победит Муссолини, то он создаст фашизм, а если победит обезьяна, то она создаст (по Ремизову) «обезьянью великую и вольную палату» («обезвелволпал»).

И как не тревожиться, видя эту тягу к безыдейным и не подготовленным переворотам, которая носится в европейском предгрозовом воздухе? И что, если все эти перевороты и недовороты начнут порождать повсюдные «обезвелволпалы»? Если желанная и необходимая реакция на большевизм будет авантюристически, мракобесно и противогосударственно продешевлена, опошлена и сорвана? Отдаете ли вы себе отчет в том, *кто* заинтересован в этом срыве; *кому* нужна справа не мудрость, а смута; *кто* всегда готов выдвинуть авантюриста на место вождя?..

Но не называйте же всего этого «фашизмом»!

КАТОЛИК О ПРАВОСЛАВИИ

I

Несколько месяцев тому назад президент Восточного Института при папском престоле в Риме г. Мишель д'Эрбиньи выпустил в составе цикла «Orientalia Christiana[1]» книжку под заглавием «L'âme religieuse des russes d'aprés leurs plus récentes publications[2]»; первая часть ее посвящена «русской верующей душе», бьющейся под гнетом советских преследований, вторая часть — религиозному состоянию эмиграции.

Какая благодарная и какая трудная тема! Русская религиозная душа раскрылась ныне в падении и в страданиях, как никогда раньше; обнажились бездны и разверзлись высоты; все въяве — и «гад морских подводный ход» и полет горних ангелов. Но без любви к России и русской душе — не понять первого и не увидеть второго. И сколько надо зоркости, чуткости, критической осторожности, благородства, истинного доброжелательства и конгениальности, чтобы не наговорить общих мест, са-

моуверенного вздора, мертвого резонерства. *Искренность* нужна; и подлинное христианское чувство. При отсутствии их — умнее молчать; скромнее и вернее.

Г. Мишель д'Эрбиньи не кто-нибудь: этой видной духовной особе доверено руководить подготовительным образованием, которое дается от лица папского престола представителям католической церкви, имеющим работать на Востоке. Посмотрите приложенную программу экзаменов: тут и два курса сравнительного богословия, и восточная патристика, восточная литургика, каноническое право, история церкви, археология и языки: арабский, сирийский, греческий, русский. Здесь сосредоточено научное и богословское знание о Востоке, здесь клад сведений, живой источник понимания, объяснения, прозрения и наставления. Здесь вооружаются те, которые понесут нам, грешным, свет, любовь и научение... Словом, суждения д'Эрбиньи — это лучшее, что может сказать католик о России; католик, желающий нас просветить, обратить и сопричислить. И что же он говорит?

II

Представьте себе, что перед вами в светском салоне сидит католический аббат с несколько ироническим, несколько скучающим, впрочем, подчеркнуто-благочестивым обличием и снисходительно, с видом большого знатока, рассказывает все, что ему удалось собрать из вторых и третьих рук о «врагах» своей церкви. Он собрал, по возможности, и статейки самих «врагов»; и все это он не без некоторого пренебрежения перелистал; так сам и пишет: «feuilletons[3]» (стр 54)... Особенно доверчиво он отнесся к показаниям врагов своих «врагов» и данные о православной Церкви, сообщаемые в «Известиях», привлек щедро и без критики (стр. 24, 26, 38); мало того, перепечатал даже целые статьи, в которых православная Церковь именуется «сифилитической» и «развратной» (стр. 22); и все это — вполне «объективно». Привлечены и частные письма, которые приводятся (конечно, из деликатности) в строго анонимном виде; правда, они нередко малоинтересны, ни фактов, ни мысли, но зато в них излагаются обывательские настроения с уклоном в сторону католицизма; а уж если

автор письма сообщает и какое-нибудь свое наблюдение, узенькое, маленькое, но подходящее, то оно немедленно обобщается (18, 41— 43).

Перелистал автор и оригинальные русские статьи и их использовал; конечно, при этом «Былые годы» (Н. Н. Львова) превратились в «Белые годы» («Années Blanches», стр. 46), «бабушка» в «бабу» (52); упомянут даже «Георгий Победитель» (47). Правда, публицистические статьи поняты и изложены гораздо вернее философских; но ведь нельзя же требовать и слишком многого. Собраны и слухи; приводятся и сплетни: то сообщается, что в эмиграции «монархических партий» еще больше, чем республиканских (82); то рассказывается вопреки истине, что преосв<ященный> митрополит Антоний не сочувствовал рукоположению архим<андрита> Тихона во епископы берлинские (83); а глава XI — «братские распри» сплошь составлена из такого, не без вкуса излагаемого материала. И *никакого* критического отношения к источнику, *никакой* исторической чуткости... Нет даже элементарного беспристрастия.

Впрочем, автор и сам замечает это, и во второй части книги сам стыдит себя: ведь «милосердие не радуется беде» (82); но это не мешает ему со злорадной улыбкой излагать споры о юрисдикции константинопольского Патриарха (59—70) и преподнести дословно все гнусности «митрополита» Евдокима о Св. Патриархе Тихоне (25), не добавив ни слова осуждения. Читаешь все это, отмечаешь и невольно спрашиваешь себя: если ученый вождь и учитель *так* исследует и *так* освещает современные, *не отжившие* данные, то чего же можно ждать по отношению к исторически угасшим фактам? Или беспристрастие и добросовестность историка возрастают в этой школе по мере того, как факт уходит в прошлое и становится все более трудно уловимым и доказуемым? Читатель, конечно, обязуется при этом не вспоминать истории лжеисидоровых декреталий и т. п.

III

Таковы источники, таков метод г. Мишеля д'Эрбиньи.

Каковы же его открытия по существу? Начнем с России.

Православная Церковь обречена на разложение и гибнет. «Все официальное православие скользит по направлению к коммунизму» (26), и большевики господствуют над всею Церковью. Красницкому удалось подчинить своему авторитету Патриарха Тихона (25), Патриарх же заточен в Петербурге (25). Верные ропщут против него и даже подозревают его в измене (40, 41). Число верующих в России стремительно уменьшается (40); в массе царит овечья стадность (16) и свойственная ей крайняя покорность (38). Комсомольские кощунства вызывают взрывы веселья (37) и успешно сеют безбожие. Конечно, были среди духовенства и стойкие противники большевиков: замучено до 28 православных епископов, и в одном только 1920 году убито до 1275 священников. Но это не спасет православия. «личное мужество некоторых епископов не гарантирует вечного существования национальной Церкви» (20), она построена не «на Петре», как католическая, единственная истинная Церковь, и в этом ее обреченность (20)...

Есть ли хоть что-нибудь верное в этой картине? Самая поверхностная видимость событий, и притом в освещении большевиков, схвачена и передана. Но мы-то *знаем*, что все это ложь. Ведь среди нас есть живые люди, прожившие в России в самом центре событии без перерыва, по пять, по шесть, по семь лет, люди, *участвовавшие* во всем, видевшие *своими глазами* то, о чем в римских католических салонах и не подозревают, люди, знающее о *скрытых* сторонах движения и о *подлинном* процессе в массах. По понятным соображениям мы не можем изобразить обратную картину, но она *вся* оказалась бы столь же непохожею на ту картину, которою утешается г. д'Эрбиньи, сколь не соответствует действительности его сообщение о заточении Св. Патриарха в Петрограде. Где же ему, напр<имер>, знать, что Красницкий и Введенский суть агенты ГПУ; что епископ Антонин[4] еще ранее дважды лечился в доме умалишенных, что в России *никто* не позволил себе ни судить, ни осудить акта Св. Патриарха, «признавшего» советскую власть, ибо русские люди вспомнили поездку св. митрополита Алексия в Орду и склонились перед решением Патриарха? Где же знать г. д'Эрбиньи, что советская власть *сама уже* сократила комсомольцев, ибо *не смехом*

встретила их Россия? Где же ему видеть, что мнимой стадности и покорности русских людей приходит конец?.. Чтобы все это видеть, понимать и знать — надо не презирать Россию и не «перелистывать»; надо *любить Россию* искренно, перед Лицом Божиим, и *нелицемерно* молиться за нее; не предвкушать ее обреченность и ее религиозное разложение, а беспристрастно изучать.

IV

Есть у г. д'Эрбиньи и прогноз: он предсказывает судьбу русской религиозной души.

Она достанется в добычу не протестантам, а диаволу. Напрасно протестанты в лице методистов объявили себя сторонниками Ленина и Троцкого (27); напрасно они стараются присоединить к себе православную Церковь. Россию ждет иная судьба: эта судьба определится как смесь из советской безрелигиозности и полупротестантского индифферентизма (109); или еще хуже и еще страшнее: православие вольется в религию Ленина как бога (29—30); отвергнув христианство, оно восстанет и пойдет на штурм папства, т. е. христианства («contre le Christ, contre le Pape[5]», 30). Оно понятно и естественно: весь религиозный кризис наших дней сводится к тому, что люди не признают Папу; отрицающий Папу отрицает и Христа; кто против католичества, тот и против христианства (30, 45, 94). Только наивные люди могли думать, что Россия была страной христианской; только слепые могут не понимать, что папство есть единственный и неодолимый оплот христианства. Спастись — значит признать верховенство Папы; признать верховенство Папы — значит спастись.

Теперь уже понятно, какой смысл имеет молитва, которой гордятся католики и с ними автор книги: «Боже, Спаситель мира, спаси Россию». Мы знаем, мы, православные, о чем мы молимся, когда душа наша молитвенно стонет к Богу о России. Не о том молятся католики: они просят о том, и нам предлагают молиться о том (срв. стр. 43, 44), чтобы нам привелось спастись в лоне папского водительства; «спасти Россию» значит привести ее под власть римского престола. Можем ли мы молиться об этом вместе с католиками? Можем ли мы желать, чтобы наша «духовная жизнь» возрождалась под

руководством «Кардинала Московского» (стр. 44)? Те, кто молятся об этом, — *не знают сами, что делают*; они не знают православия и не разумеют католического духа. Это молитва уныния, малодушия, отчаяния и слепоты: «возьми от меня сокровища Твои, сними с меня призвание Твое, искази духовный лик мой, но успокой меня в подчинении чуждой Тебе и лицемерной гордыне!»

Тот, кто может молиться этой молитвой *усталого раба*, тот уже не в православии.

V

Г-ну д'Эрбиньи легче говорить о религиозности русской эмиграции: тут у него есть непосредственные впечатления. И притом подчас отрадные. Вот, напр<имер>, г. Бердяев стал гораздо лучше понимать католицизм и обнаруживает даже «полную зрелость мысли» (102, 103). Вот и князь Г. Трубецкой полагает, что православие и католицизм различны не в смысле религиозном, а скорее «как цивилизации»: и что намечается уже их «высший синтез» (59)...

Но есть и «враги». Общая картина нехороша. Православные и здесь бегут из храмов, спасаются во все религии, обращаются в иудейство, мусульманство, протестантство, буддизм (83). И православное духовенство не обращает на это никакого внимания (83); напротив, некоторые «русские прелаты» (sic!) даже поощряют занятия оккультизмом и спиритизмом (70). И только тогда, когда кто-нибудь переходит в католичество, на него обрушиваются анафемы, угрозы Божией карой; его позорят, как «продавшегося», и преследуют (84). Вот почему в широких кругах эмиграции наблюдается «почти болезненный страх перед католицизмом» (70). Иногда этот страх сгущается в какое-то наивное отвращение, как, напр<имер>, у «евразийцев» с их нашумевшим сборником «Россия и латинство»; может быть, такие критики и искренни в своих нападках (73), но метод их есть метод советского журнала «Безбожник»: приписывать другим пороки и украшаться мнимо-философскими формулами (71, 76, 78). Но больше всего автора все же беспокоит, по-видимому, деятельность преосв<ященного> митрополита Антония...

Автор не критикует этих врагов; он только ядовито цитирует их, пожимает плечами и сожалеет об их не-

мудрости и непросвещенности... *Идейной* встречи с ними он даже и не допускает: не возражать же людям, признающим католичество ересью, да притом еще *злою* ересью. Единственное «серьезное возражение», которое он им делает — имеет характер посторонний и неприятный: он попрекает их *благодеяниями*, которые оказываются католическою церковью или самим противникам, или их соотечественникам. «Крикам ненависти», якобы идущим от «евразийцев», противопоставляются труды кардинала Мерсье на благо русской молодежи. А преосв<ященному> митрополиту Антонию прямо сообщается, что папа распорядился «оказать особливую помощь» его родственникам, находящимся в трудном положении в пределах Совдепии (79, 81).

Как поучительны эти «возражения»! Свести идейную встречу на «смиренный» попрек своим благодеянием. Истолковать *религиозное отвержение* как акт *личной вражды* и ненависти и противопоставить ему свою «христианскую» доброту... Что же, г. д'Эрбиньи думает, что он поставил этим своих *противников* в трудное положение, а *не себя самого*? Что же, он полагает, что благородный поступок двух католиков должен ослабить силу религиозной очевидности у верующего православного? Или ему кажется, что материальная помощь *весит* на весах исповедания? Мы, православные, считаем и христианина-еретика братом во Христе, хотя и заблуждающимся братом; и не затрудняемся ни помогать брату во Христе, ни принимать от него помощь. Но никогда не думаем мы, что нравственная доброта еретика обязует нас признать его *не* еретиком или ослабить остроту религиозного расхождения с ним.

Г-н д'Эрбиньи рассказывает о том, как опасливо отнеслись к католической общественной помощи в Риме русские православные (93). И удивляется. Но мы-то не удивляемся этому, ибо знаем, что у католиков эта *материальная помощь* получает рано или поздно истолкование в смысле некоторой *религиозной преимущественности* или *церковного преобладания и водительства*. И разве сам г-н д'Эрбиньи не подтвердил этого своей книгой?

VI

Грустно читать его рассказ о том, что к католикам являются православные и предлагают «продать» свои души. Но их не покупают, стыдят и отвергают... Тогда они «продаются» другим и после бранят католиков за попытку к подкупу (72—73).

Низкие, грубые, глупые люди найдутся всегда и всюду. Но никогда нам не приходилось слышать, чтобы приходили люди «продавать» свою душу в православие, и чтобы православному духовенству приходилось выслушивать *такие* предложения и делать такие отказы. По-видимому, самая идея о том, что *вероисповедная принадлежность «котируется» материально*, чужда, совсем чужда атмосфере *православной* Церкви. И понятно почему: она не агрессивна, не властолюбива, не посягающа; она не ценит формальную сопричисленность, как таковую; она не расценивает всего с точки зрения своей власти над людьми: и религиозным шантажистам в голову не приходит являться к ней со своими предложениями. Хорошо делает католическое духовенство, что отвергает этих жалких людей; но как же не пожелать ему, чтобы не нужно было и самых этих отвержений?

Интересную книгу выпустил г-н д'Эрбиньи. Вдумчиво следует читать такие книги. Может быть, от одного *пренебрежения к обсуждаемым варварам, к нам, наивным дикарям*, — скрытый лик католицизма проступает здесь явственно и наглядно. Это не наивное самодовольство; это горделивое снисхождение; это сдержанное злорадство; это лицемерное доброжелательство; это исчисление своих благодеяний; эти срывающиеся признания... Нам, православным, надо учиться по таким книгам; учиться и... не слишком верить тем двум дамам, которые вместе с автором книги (стр 111, 114) думают, что «уния» есть дело необходимое, легкое и быстрое... И «спасительное».

ИДЕЙНЫЙ ОПОЛЗЕНЬ

(О «евразийцах»)

I

По-видимому, пришло время высказать о них все до конца, без всяких умолчаний и попущений, приложить к их писаниям ту меру умственной, нравственной и по-

литической критики, на которой воспитывалось наше дореволюционное поколение и которую мы восстановим в России после революции.

Они имели и время и место для того, чтобы высказаться и обнаружить свое идейное лицо: они подвизаются уже пять лет; ими выпущено пять книг и три брошюры, всего свыше 1500 печатных страниц. И ныне, после выхода их последних произведений, старшее поколение ученых и мыслителей обязано высказаться об их писаниях по существу.

Я говорю о той группе публицистов-агитаторов, которая выступает под присвоенной ими самим кличкою «евразийцев»[1].

Поясню с самого начала. Среди людей, склонных прилагать к себе эту уродливую кличку, я строго различаю три концентрические группы. Во-первых, вожаки-агитаторы; их трое: г. П. Савицкий, г. Н. Трубецкой и г. П. Сувчинский. Во-вторых, взвинченные ими и поддавшиеся им (может быть, временно?) начинающие публицисты: г. Флоровский, г. В. Н. Ильин и г. Я. Садовский. И в-третьих, неопределенный кадр патриотической зарубежной молодежи, — молодая аудитория, сочувствующая «всему высокому и прекрасному» и не разглядевшая еще характер преподносимых ей идей. Это — среда и объект «евразийской» агитации.

Серьезных ученых, считавших доселе возможным печатать свои статьи в их сборниках, как-то: А. В. Карташева, Н. С. Арсеньева, Э. Сеземана, Г. В. Вернадского, П. М. Бицилли и М. В. Шахматова, я здесь совсем не имею в виду. Их статьи имеют объективный, ответственный, религиозно-патриотический характер и могли бы появиться в любом русском национальном журнале.

Точно так же все, что я считаю необходимым высказать в дальнейшем, совсем не относится и к широким кадрам «сочувствующей» молодежи. Это не они выдумали «евразийские идеи» и не они несут за них ответственность. Но им необходима осторожность и вдумчивость для того, чтобы увидеть, какие плоды произрастают в соблазнившем их древе, и понять, какое толкование дают их чувствам господа «евразийцы»; и потом им необходимо еще гражданское мужество для того, чтобы

признать свою ошибку и не соскользнуть по ней туда, откуда духовного возврата нет.

Итак, я говорю здесь только об изобретателях «евразийства» и их литературных единомышленниках. Но на них ответственность ложится в полную меру.

II

О них нельзя более молчать из «литературной деликатности», или «умственной терпимости», или из снисходительности к их «национально-патриотическому» настроению. Нельзя потому, что есть степень безответственности, которая должна вызывать в других чувство ответственности и тревоги; нельзя потому, что больное дерево принесло ядовитый плод, и на ядовитость этого плода необходимо открыто указать.

Появление такого плода для нас, мыслителей старшего поколения, не является неожиданностью; напротив. Я помню то впечатление, которое произвели на нас их первые книжки, когда они появились в Москве.

Это было нечто, совершенно не соответствующее тому живому страданию, той смертной серьезности, тому молитвенному молчанию, с которым религиозная Россия принимала и выносила иго сатаны. Искусственная надуманность брошюры г. Н. Трубецкого («Европа и человечество»), с ее самодовольными парадоксами в стиле толстовского умствования, производила впечатление мертвого резонерства: человек ходит посуху, видит тонущих и вызывающе тешит себя элементарными логическими ошибками (общеотрицательными выводами из частноотрицательных посылок). И первый сборник их «Исход к Востоку» произвел неприятное впечатление своею несерьезностью, своею претенциозностью, своим глядением поверху, склонностью к материализму и схематизму: грустная претензия взлететь выше того, чем могут крылья; и главное — непонимание того, что они *совсем не понимают* свершающейся трагедии. Удивляла и их прохладная, неопределенная позиция по отношению к белой борьбе...

С тех пор вышло еще четыре сборника, и особенности их писания, огорчавшие уже там, проявлялись все с большей силою и отчетливостью. Читая статью за статьею, все более приходилось уговаривать свой ум,

протестовавший против легковесности, произвольности, неосновательности их утверждений; свое чувство, возмущавшееся против отвержения великого и против соблазнительных уклонов; свою волю, требовавшую живого отношения к подвигу, сосредоточенности и дисциплинированности... Все труднее становилось склонять себя к «терпимости» и «примирению»: не следует-де требовать слишком многого; ведь это же люди «симпатичные»; они по-своему любят Россию, хотят добра и сами увлечены своим «прекраснодушием»; да и вреда особенного нет от их эмоциональных излияний и выкриков. Особенно удавалось уговорить себя ссылкою на их отношение к Православию: в Православии имеется такой вековой запас мудрости, глубины, чистоты, силы и правды, что, пребывая в нем, хотя бы в форме внешней церковности, человек удержится от известных заблуждений и крайностей...

Правда, подойдя к Православию, господа «евразийцы» не пошли дальше публицистики, и все, что они сумели сказать верного, это то, что уния с католичеством религиозно неверна и неприемлема. Ни о правоте, ни о мудрости, ни о чистоте, ни о силе Православия, и особенно *русского* Православия, они не сумели сказать *ничего*. Их позиция была часто отрицательная, а по существу довольно поверхностная и беспомощная. И нападки их на католичество формулировались резко, но не были ни глубоки, ни разительны. Они не изучали тот предмет, о котором писали. А зоркий взгляд П. Б. Струве и в этом, сравнительно лучшем сборнике их отметил такие «уклоны мысли», которые являются «уродливыми и опасными одинаково и с религиозно-церковной и с государственной точки зрения».

III

Уже в третьей книжке «Евразийского Временника», вышедшей в 1923 году, среди обычного множества произвольных и недосказываемых утверждений попадались такие, которые заставляли тревожно насторожиться. Чувствовалось, что господа «евразийцы» от своих отвлеченных выдумок хотят обратиться к реальностям нашей конкретной борьбы за Россию; что они считают свои

«высшие идеи» (восток, «романо-германство», «национальное своеобразие», «быт») раскрытыми и что близится час их политического «выступления»...

Но какого?

Первое, что замечалось уже тогда, это то, что большевистская революция *подавляет их* и *импонирует им*. Наряду с общим осуждением и даже подчас отвращением от этого величайшего в мире злодеяния они тогда уже пытались вложить в революцию свой особый «евразийский» смысл. Так, г. Сувчинский полагал, что в революции «можно усмотреть» порыв народа «скинуть с себя чужие и чуждые формы и привилегии не своей культуры» (?), а также «религиозное стремление» народа «найти *свою* правду общественно-государственного бытия» (стр. 48); он считал, что «русская революция, конечно, таит какое-то верное зерно национального гения» (48); мало того, он находил, что «большевики удивительно сумели придать жизненность своей мертвой доктрине»... (49); ему уже тогда казалось, что «все и всё в России так или иначе коммунизмом деформированы, отравлены или искажены» (38); и сами большевики уже казались ему «несомненными *героями* (курсив г. С<увчинского>) зла и разрушения» (48). И уже тогда говорил он о том, что «творческая реакция должна стать в России *подлинной* революцией — взамен революции *ложной*» (30, курсив г. С<увчинского>; стр. 28 у г. Трубецкого).

Наряду с этим г. Савицкий находил, что «в коммунизме имеется такая широта идейного горизонта» (стр. 12), по сравнению с которой «побежденный» Деникин был идейным «провинциалом» (12); он утверждал, что «даже крупные сами по себе личности некоторых вождей белых армий пали в ничтожество» (sic) и объяснял это «падение в ничтожество» отсутствием у них «вдохновенной исторической идеи» (9, «евразийской»); он считал, что в коммунизме заложено некое «*мировое чувство*», правда — «в извращенной форме», но что это «*мировое чувство*» «возрожденная национальная Россия должна в полной мере» (sic) «сохранить в положительном виде» (12)...

Уже тогда я с тревогой отмечал эту склонность усмотреть в революции (издали! ничего не видя!) не то, что она подлинно есть и что мы там испытывали и про-

веряли годами, а что-то свое, как бы положительное, приемлемое, такое, что по «евразийскому» дурному обычаю прикрывалось неопределенными словами и поэтому давало возможность что-то «чувствовать» и чему-то «сочувствовать».

Это есть «религиозное искание правды»... Какой? — Неизвестно какой; но какой-то правды. В чем же она выражается? В бегстве с фронта? В разграблении чужого добра? В «зеленой» армии? В повальной продажности советских чиновников? В спекуляции? В комсомоле? — неизвестно; но г. Сувчинский это *чувствовал*!.. Протест против «не своей культуры»? Что же, во имя «евразийской»? Но все, видевшие борьбу на месте, знают, что это эмигрантская выдумка. «Какое-то зерно гения»... Какое же? В чем оно проявилось? Неизвестно; но г. Сувчинский *чувствовал* и это...

Хотелось спросить: а не кажется ли г. Сувчинскому, что ответственный публицист, обуреваемый такими чувствованиями, обязан поехать в Россию и проверить свои мнимые прозрения *непосредственным*, *подлинным* опытом? Не кажется ли ему, что отвлеченные выдумки в таких вопросах *безответственны* и *предосудительны*?

А если бы он поехал в Россию и пристально всмотрелся бы в зрак сатаны, то, может быть, оказалось бы, что никакой «удивительной жизненности» нет и что далеко *не все* и *не всё* в России искажено и отравлено коммунизмом; что священное слово *герой* совсем неприложимо к международным разбойникам. И когда революция развернула бы перед ним свое окаянство и свою мерзость, то он, может быть, понял бы, что православному человеку *неприлично* мечтать о «*подлинной*» революции... Или издали «прозревать» удобнее?

Хотелось спросить г. Савицкого: что же он сам, чему сочувствует — «идейному провинциализму» «побежденного» Деникина, или «широте идейного горизонта» победивших, так сказать, большевиков? Ведь генерал Деникин, по неверному и глубокому выражению г. Савицкого, «пал в ничтожество»; а большевики... *не* пали в ничтожество? Ведь они... *победили*? Ведь они, по собственному выражению г. Савицкого, стали «крупными историческими фигурами» (стр. 9)? У них ведь даже есть

«мировое чувство», которому надо только придать «положительный вид»?

Хотелось указать г. Савицкому, что религиозная верность и благородство идеи *не* измеряются объемом ее размаха; что «провинциальная» идея может быть религиозно-священной (например, «провинциальная» идея *святой Руси*), а «мировая идея» может быть гнусной и дьявольской; что в этой идее «объема» и «размаха» до г. Савицкого уже заблудились сменовеховцы — Устрялов и Потехин...

Но я удержал себя: это ведь — случайные обмолвки «симпатичных молодых патриотов»... несправедливо было бы «придираться»...

IV

Но вот четвертая книга «евразийского временника» принесла продолжение и развитие всех этих «исканий». Идейный оползень обозначился отчетливо и резко.

Начнем с того, что белые генералы «пали в ничтожество» вследствие своего «идейного провинциализма». Теперь узнаем больше: белые армии «обличены» и «приговорены».

Правда, «порыв, проявленный добровольчеством», «был и жертвенным и героичным, но исторически он был обреченным уже потому, что сам основывался только на порыве» (sic) «и благородных рефлексах»; «добровольчеству приходилось быть «самому себе предком» и оно неуверенно выставляло свои не всегда основоположные лозунги борьбы»... И отсюда его судьба. «Вместе с концом белого движения закончилась руководящая роль дворянско-бюрократического правящего класса старой России, ибо в лице белых армий потерпели поражение, были внутренно обличены и приговорены не только поколения современности и недавнего прошлого, но и вся двухвековая традиция русского культурно-правительственного водительства в духе европеизации» (стр. 34—35, г. Сувчинский).

Итак, вот наша белая борьба: порыв, основанный на порыве; идейная беспреемственность и шаткость, дворянско-бюрократический дух и дух европеизации. И все это «обличено» и «приговорено»...

Возражать господам «евразийцам» не стоит. Они сами обязаны понимать, что «порыв», длящийся восемь лет и закрепившийся в организованную систему бытия и действия, есть не порыв, а живое национальное движение; они обязаны знать, что русский православный меч не впервые был поднят русскими патриотами, что белая армия гордится своими религиозными и государственными предками и уверенно носит в сердце свою основополагающую идею; они обязаны видеть, кем и для чего был выдвинут классовый поклёп на белую армию и куда ведет поддержание этого поклёпа...

Но, уходя в стан врагов белой армии, им захотелось прибавить свой особый «евразийский» укор: в лице армии обличен дух «европеизации»... Кого же армия думала европеизировать? Когда? Зачем? В чем это выразилось? В лозунге «единая, неделимая» («империализм»!)? В погонах? В пении «Коль славен» и «Боже, царя храни»? В чем же? В чем ее героический дух, ее любовь к России, ее религиозная борьба — тянули к «романо-германству»? В неполучении снабжения от стран бывшей Антанты?

Стыдно даже подметать этот «идейный» мусор, брошенный «евразийцами»...

Им *не по пути с белой армией*. Это естественно; они *никогда и не были белыми*.

Но куда же они сами теперь тянут?

V

Они тянут к тому, чтобы найти общую почву с революцией и общие задачи с большевизмом. Это они открыто и выговаривают. Конечно, на первом месте стоит проблема «признания революции».

Революция есть для них «неустранимый «геологический» факт». «Признать это вынуждает чувство реальности и элементарное государственное чутье». «Но факт во многих случаях» (?) «исходит из мерзости и преступления. В этом тяжесть проблемы. Но раз мерзости и преступлению дано было по Воле Божией» (sic!) «превратиться в объективный исторический факт — нужно считать, что признание этого факта не противоречит Воле Божией. Какая-то мера прямого *фактопоклонства*» (sic!) «лежит в

эмпирических необходимостях эпох, которым предстоит найти *выход из революции*». И потому «европейцы» объявляют, что из всех действенных групп не «революционного» духа», они, «евразийцы, быть может, дальше всех» (sic!) «могут пойти по пути радикального и объемлющего» (sic!) «*признания факта*». И через это «искушение» они надеются «пройти, не соблазнившись» (стр. 22—23, г. Савицкий, курсивы подлинника).

Да, революция есть объективный исторический факт. Этот факт совсем не только «исходит» из мерзости и преступления, а *весь состоит* из преступлений и мерзости. Казалось бы, сказать «мерзость», «преступление» — значит идейно оценить и идейно отвергнуть факт. ибо *идея выше факта*, она не только регистрирует и изучает факт, но и судит его, и вот — осудила его. У господ «евразийцев» дело обстоит не так: «из фактов рождается их идеология» (стр. 20, г. Савицкий). Но ведь всяческое предательство, замучивание праведников, кощунство, рабство, развращение детей, фальшивомонетчество и культ сатаны — *тоже* являются *объективными, историческими фактами*... Ведь эти факты *тоже* чреваты соответствующей идеологией? Почему же только мерзости революции заслуживают «радикального и объемлющего» признания?

Но, впрочем, довольно и этого. ибо революция вся состоит из сплошного предательства, замучивания героев и праведников, кощунства, порабощения, развращения детей, фальшивомонетчества и культа сатаны... И это подлежит «радикальному» признанию? Но почему же?!

Потому, отвечает г. Савицкий, что все это стало фактом — «по Воле Божией»...

Откуда же известно г. Савицкому, что человеческие низости и преступления «становятся фактами» «по Воле Божией»? У кого из Апостолов или Отцов Церкви вычитал этот «православный» публицист такую мудрость? Уж не смешал ли он, от чрезмерной вдумчивости, идею *воли* с идеею *попущения*? Ведь, если он прав, то «по Воле Божией» совершаются *все злодейства, без исключения*, и тогда «признание» их тоже не может «противоречить» Его Воле! А если злодейства совершаются по Воле Божией, то допустимо ли с ними *бороться*? Разве это не значило бы идти *против Бога*? Ведь религиозный человек не может идти против Божией Воли. перед нею он *преклоняется*!..

И, как бы для того, чтобы не было сомнения, в каком смысле говорится здесь о признании революции, г. Савицкий ставит термин «*прямое фактопоклонство*», сознательно и вызывающе переступая тот предел, об опасности которого неустанно повторял П. Б. Струве Нет, у Г. Савицкого дело именно *не* в простом регистрировании, изучении, принятии к сведению, и *не* в трезвом, практическом учете данного («дано то-то; как быть дальше?»); для всего этого не надо особливо ссылаться на Волю Божию; к этому не надо нарочито призывать, все это мы делаем давно, с первого дня революции, и странно было бы догадаться об этом на восьмой год, да еще в проповедническом тоне; и к тому же все это отнюдь не связано с фактопоклонством... Нет, здесь идет разговор именно о *приятии*, *о прекращении борьбы*, о *волевом преклонении*, о *приспособлении*, о практическом фактопоклонстве...

Фактопоклонство... Но разве гений Петра Великого и его дело во всем его величии и с некоторыми его ошибками — *не факт*? И дивная русская культура, расцветающая на протяжении 200 лет после Петра, во всем ее глубоком, русском своеобразии, насажденная и вскормленная Православием и закрепленная монархическим правосознанием, — *не факт*?! Почему же господа «евразийцы» не преклоняются *этому* факту? Почему же они предпочитают «поклоняться» разрушительным гнусностям третьего интернационала? Почему из этих двух событий («фактов»), *созидающего Петра* и *растлевающего Сатаны*, они выбирают для «поклонения» именно сатанинское растление? Что же ими руководит. *неотменимость факта* или *идейное сочувствие*?

И через это поклонение революционным мерзостям господа «евразийцы» собираются «пройти не соблазнившись...» И не видят, что они *уже соблазнились* сами и проповедуют соблазн другим...

VI

Трудно было бы «евразийцам» не признать революцию. ведь у них с большевиками есть *общая польза* и *общие задачи*. Об этом обстоятельно говорит г. Н. Трубецкой.

«Евразийство сходится с большевиками в отвержении не только тех или иных политических форм, но

всей той культуры, которая существовала в России непосредственно до революции и продолжает существовать в странах романо-германского запада и в требовании коренной перестройки всей этой культуры. Евразийство сходится с большевизмом и в призыве к освобождению народов Азии и Африки, порабощенных колониальными державами» (стр. 76—77).

«Если общими задачами большевизма и евразийства» (sic!) «является отвержение старой и создание новой культуры, то большевизм может выполнить только первую из этих двух задач, а второй выполнить не может. Но выполнение одной задачи разрушения без одновременного созидания, разумеется, не может привести к благим результатам» (78, 79).

И потому: «хотя разрушительная работа большевиков часто направлена именно на те стороны» (sic!) «принятой в России европейской культуры, которые и европейцы считают подлежащими искоренению» (sic!), «евразийство все же не может приветствовать этой разрушительной работы» (79).

Вдумаемся в эти любопытные признания.

Есть ли *общие* задачи у белой армии и у большевиков?.. Какой дикий вопрос! Разве у патриота, ведущего борьбу за восстановление родины, и у интернационалиста, строящего свой разбойничий успех на ее гибели — могут быть «общие» задачи? Может ли православный иметь общие задачи с сатанистом? Воспитатель с деторастлителем? Монархист с цареубийцею? Врач с заразителем?

Нет, нет, конечно — не могут!..

А если патриот, православный, монархист, воспитатель, врач начнут *все-таки* настаивать на том, что они «сходятся» со своим ожесточенно противодействующим врагом и имеют с ним «общие» задачи, что тогда?

Тогда... — или интернационалист, сатанист, деторастлитель, цареубийца и заразитель перестали быть собою и *изменились* к лучшему, или же...

Что значит сказать «общая задача»? Это значит не только сказать, что «я хочу того же самого, чего и ты хочешь», но еще сказать: «я *соглашаюсь* хотеть того-то и того-то *совместно с тобою*». Именно такова глупая и фальшивая позиция пораженческого студента, посылающего во время японской войны сочувственную телеграмму

Микадо; именно такова фальшивая и глупая позиция озлобленного эмигранта, повторяющего: «молодцы большевики! чем хуже, тем лучше!»...

Но чего же именно господа «евразийцы» соглашаются хотеть *вместе с большевиками*?

«Отвержения» и «искоренения».

Искоренения чего же? «Всей той культуры, которая существовала в России непосредственно до революции». Ибо это есть культура «романо-германская»; она привита насильственно «при условии искусственной бессловесности и пассивности народных масс» (стр. 68, г. Трубецкой) и опираясь «на рабство и милитаризм» (стр. 71, он же). С тем вместе «евразийство идейно отталкивается от всего послепетровского, санкт-петербургского, императорско-обер-прокурорского периода русской истории» (71).

Итак — разрушение и искоренение русской культуры, совершенное за восемь лет большевиками, *скреплено подписью господ «евразийцев»*. Эта подпись дается с некоторыми оговорками: ведь невоздвигающий разрушитель мог разрушить и то, «что надлежало бы сохранить» (79); и потому эта работа прямо не «приветствуется»... Но, поскольку «часто» разрушалось «именно» то самое... — постольку *солидаризация состоялась и провозглашена*.

VII

Я видел это разрушение и искоренение на месте; годами выносил этот напор, боролся с ним, проклинал его и презирал тех бесстыдных обезьян, которые его творили. Нас было там немало, боровшихся и презиравших. И все мы, как никогда, осязали национальную самобытность, силу, величие и красоту русской культуры, творчески раскрывшейся за последние двести лет, после Петра Великого. Мы вместе с Пушкиным благоговели перед Петром и вместе с Достоевским говорили, что Пушкин — это наше *все*. Мы патриотически и национально *гордились* тем, что мы обороняли и за что шли в тюрьму и на расстрел.

Мы гордились Россиею Ломоносова, Сергея Соловьева, Хомякова, Потебни, Чичерина, Лобачевского, Ключевского, Менделеева, Павлова, князя Сергея Трубецкого; мы созерцали красоту и глубину России Дер-

жавина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева и Достоевского; мы видели богатство России в Глинке, Мусоргском, Чайковском, Бородине, Римском, в Щепкине, Кипренском, Боровиковском, Серове и Врубеле; мы понимали, какой подвиг несли наши великие Государи и их славные сподвижники — Шувалов, Суворов, Сперанский, Милютин, Столыпин и многие другие, и за ними герои Корнилов и Колчак. И Россия стояла перед нами органически единая от Владимира Мономаха до Николая Второго; и от Феодосия Печерского до Патриарха Тихона и наших святителей; от иконописца Дионисия до Нестерова; от киевского распева и плача Ярославны до Всенощной Рахманинова и сонат Николая Метнера; от соборов во Владимире на Клязьме до Сухаревой башни и Кремля; и от среднерусской усадьбы до Сената и Зимнего Дворца...

И все это было поругано, попрано и унижено.

Вздорно думать, что Петр сломал или исповредил русскую духовную культуру! *Никогда* и *никуда* не исчезала русская национальная самобытность на протяжении веков, ни *до* Петра, ни *после* Петра. И русский гений продолжал творить свою великую, национальную, русскую, а не «романо-германскую» культуру и *после* Петра, *благодаря* Петру, благодарно и благоговейно на него озираясь. И хороша была бы сила русского гения и мощь русской самобытности, если бы чужестранная прививка могла быть опасна ей и гибельна...

За всю русскую историю был всего *один* провал в русско-национальной культуре; *один* раз разверзлась бездна, пытаясь поглотить наше бытие и наше достояние... Это — *революция наших дней*! И с ее очумелым, кощунственным, злодейски-разрушительным деянием господа «евразийцы» считают возможным «сходиться» и солидаризоваться...

Пусть они хотят «искоренить» нашу русскую культуру не за ее мнимую «буржуазность», а за ее мнимую «романо-германскость»; пусть они хотят заменить ее не «пролетарским» кощунством, а «европейскими» выдумками... Самое «*искореняющее*» намерение их — остается покушением на русское национальное достояние; оно остается затеей революционной, и потому — извращен-

ной, отвратительной и гиблой. И они могут быть уверены, что каждый из нас, боровшихся там за Россию, узнав об их намерениях и о провозглашенной солидаризации с «наркомпросом» и «главпрофобром», — ответил бы им из глубины одиночной тюрьмы *отвращением*...

Мало того, они могут быть уверены, что в деле дальнейшего разрушения и «искоренения» «всей» дореволюционной русской культуры они встретят с нашей стороны такой же отпор, какой встретили их предшественники — большевики. Нам безразлично, *кто* искореняет русскую культуру и во имя *каких* извращенных «идей» — «пролетарских» или «евразийских». Пусть они думают о том, что говорят, и пусть готовятся к *нещадной борьбе с нами*...

VIII

Напрасно они воображают, что идеи добра и зла могут быть заменены интеллигентскими словечками «евразийство» и «романо-германство». Какая духовная слепота, какой легкомысленный произвол, какое «снижение, схематизация и безответственное упрощение подхода» стоит за этим (слова г. Сувчинского, стр. 28).

Отвергать западное надо совсем не постольку и не потому, что оно «романо-германское», а лишь потому и постольку, поскольку оно религиозно-несостоятельное, ложное, пошлое, больное или нам ненужное. Но критерий религиозной несостоятельности, ложности, пошлости, болезни и ненужности не есть ни географический, ни этнографический. Это критерий *духовный*, религиозно-философский, а *не материальный*. Добро и зло не имеют «востока» и «запада»: зло и на востоке зло; добро и на западе добро. И искать спасения «в Азии» и «на востоке» можно только от духовной беспомощности и *материалистического* склада души, опыта и мысли. Но именно такой склад и характеризует «евразийцев» со всеми их подходами и «идеями»; и он-то прежде всего и сближает их с большевиками...

Самая основная «идея» их — имеет характер *географический* и *этнографический*. Они спрашивают, не в чем *качественная* природа добра и зла, а в какую *сторону света* повернуться; они ищут не верного строения духа (об этом не проронено ни слова!), а *верный материк*;

они признают победителем не верного и сильного духом, а сильного числом. Ими, как и большевиками, владеет пафос *силы*, *объема*, *числа*, пафос «планетарного» *размаха*. Как и все несильные люди, они не выдерживают длительного торжества злодея и в «победившем» злодее они готовы искать приемлемые черты. Сколько таких, духовно слабых, людей видел я в России при большевиках... и все они кончали одинаково.

Напрасно называют они это «чувством реальности». Ибо то, что они именуют «реальностью», есть обманная видимость, морок разлившегося зла. Они видят, что зло временно закрепило за собою материальную силу, объем и число; и это подавляет их настолько, что они из-за «победы» перестают видеть *отвратное качество зла* и приступают к процессу *внутреннего приспособления*. И как наивно звучат при этом их хвастливые саморекламации, вроде «евразийцы в предельной степени ощущают реальность зла в мире» (стр. 20, г. Савицкий). Именно чувство зла действует у них слабо и бредет по ложным путям...

Как это наивно уверять себя и других, что «романо-германский» запад покинут Богом, а восток им взыскан. Какая ребячливая гордыня, какая гимназическая склонность к схеме, какая слепота к самостоятельной трагедии востока! Преждевременно покинув Россию, не высидев в революционном котле никаких сроков, они не видят и не понимают, что русская революция состоит в том, что *европейская зараза* проникла в *азиатски рыхлое, бесформенное, несопротивляющееся тело*; что революция произошла от соединения дремавшей *азиатской безбожности, бесхарактерности и неистовости* с *европейски осознанным умственным безбожием и волевым злодейством*. По-интеллигентски проводя свою излюбленную схемку, они не хотят признать, что *азиатское безбожие* и *азиатская вседозволенность* не привнесены в Россию с Запада, а только *оформлены* и *возглавлены европейскою вседозволенностью* и закреплены *европейским безбожием*. Они не видят качества революции, потому что они берут его не вблизи, не личным, жизненно-смертным опытом, а издали, упрощающею фантазиею и интеллигентскою выдумкою. И потому их исторический «диагноз» стоит столь же мало, как и их исторический «прогноз». И по-

тому, видя, как новая, европейски-азиатская (подлинно «*европейская*») амальгама большевистского злодейства захватывает в свою власть Китай, они не находят ничего лучшего, как «призывать» (77, 79, г. Трубецкой) «народы Азии и Африки» «к освобождению»... — «сходясь» в этом с Зиновьевым...

Нет, спасение России не в «романо-германстве», и не «в Азии», и не в «евразийской» «подлинной» революции (III. 30, г. Сувчинский; III. 28, г. Трубецкой). Вообще не в «географии», и не в «этнографии», и не в демагогическом приспособлении к новой амальгаме зла. А в духовном очищении, и религиозном укреплении — в возрождении и верном разумении русского Православия.

Но ведь «евразийцы» и есть «православные люди» (стр. 18, г. Савицкий)... Разве не так?

IX

Мы уже видели, что величайшее мировое злодейство они приписывают «Воле Божией» и что на этом основании они готовы «фактопоклонствовать» и даже солидаризоваться с делами третьего интернационала.

Это затрудняет их тем менее, что примкнувший к ним г. Карсавин убедил их, будто «русская революция вовсе не безрелигиозна» (IV. 87). Правда, ее пафос есть всего-навсего «пафос религиозного атеизма, т. е. богоборчества» или, попросту говоря, это есть «воинствующий материализм»... Но, когда надо построить мост, то хорошо бывает перебросить и веревочку. А если еще оказывается, что в этом коммунистическом безбожии есть и «жадное искание Бога и вера в истину» (там же), то у «православного евразийца» может стать и совсем легко на душе...

И до того легко, что он поспешит приравнять красный цвет, и красный флаг, и даже рог дьявольского безбожия — кресту, гвоздям и копию, орудиям мучении Христовых...

Так, г. В. Н. Ильин пишет:

«Рог» есть символ высшего нечестия и дьявольской гордыни и в то же время символ благочестия. В литийных молениях церковь просит: «возвыси рог христиан православных», а в каноне на утрени поет: «вознеси рог верных твоих, Блаже». Красный цвет — цвет революции,

в то же время и цвет Пасхи Христовой (в Пасху полагаются красные облачения). Красный флаг — символ социализма, интернационализма, — он же есть стяг великого князя Московского. Под этим стягом победили воины Дмитрия Донского».

«Страстотерпчество России проходит под красным цветом Пасхи Христовой и стяга великого князя Московского, христианнейшего из государей. Надо иметь вечную память об орудиях мук, которыми просияли на Руси новые бесчисленные угодники. Надо полюбить эти орудия» (sic!) «приникнуть к ним, поклоняться им» (sic!). «Если мы поклоняемся кресту, гвоздям и копию, орудиям мучений Христовых и в то же время всем сердцем отрицаем иудино предательство, то, поклоняясь новомученичеству России и орудиям ее мучений, мы должны соответственно относиться и к предавшим ее интеллигентам революционерам» (IV. 222—223).

И все это обосновывается тою декадентскою выдумкою, что «символы сами по себе значения не имеют и служат тому началу, к которому они мифологически приурочены» (там же).

Посмотрите, как глубоки и прозорливы эти «православные» идеи... Как легко и естественно дается этим «православным» писателям примирение между христианством и комсомольством, между православием и сатанизмом.

И знаете, кто во всем виноват? Вы не поверите...

«И если бы не близорукая политика, скажем прямо, провокационная политика последнего царствования» (sic!), «произошло бы то, чему надлежало произойти уже давно» (sic). «Революционный смысл красного знамени был бы забыт и вспомнился бы его старый русский смысл, а рог дьявольского безбожия стал бы вновь «рогом христиан православных» (222, 223).

Какая замечательная попытка включить вещественные символы черной мессы в состав православного обряда и обихода! Как это тонко задумано! Как убедительно раскрыто!..

Невольно возникает в уме картина: вот оргия комсомольцев, — «поют, играют, и в этой мерзостной игре» несут красные флаги и дьявольские роги... В процессе участвует и В. Н. Ильин — и принимает ее... за Православный Крестный Ход.

Хорошо, что такие картины возникают в душе только после чтения премудрых статей «евразийского временника»!

X

Сколь же тягостное впечатление производит четвертая книжка «временника», однако следующее за ним «евразийское» произведение, озаглавленное «Наследие Чингисхана» (Берлин, 1925), заставляет вспоминать об этом впечатлении, как о чем-то сравнительно отрадном.

Автор этой брошюры, так сказать, неизвестен: он укрылся за инициалами «И. Р.», но обладает удивительной способностью целиком воспроизводить умственные и литературные манеры изобретателей «евразийства». И вот, этот совокупный псевдоним, рассматривая Россию как «евразийский улус Чингисхановой империи» (56), понося Петра Великого и с успехом приближаясь к большевистской фразеологии, проявляет и закрепляет соглашательскую тенденцию с такою нестесняющеюся определительностью, что всякие возможные разногласия о «евразийских» намерениях должны прекратиться.

Так, глава XII дает прямое перечисление *здоровых стремлений* и *заслуг* советской власти во внутренней и внешней политике, и в упрек ей ставятся лишь два уклона: к *европеизации* и к *коммунизму*. Нужно совсем немногое: «если бы советская власть отказалась от коммунизма, порожденного европейской цивилизацией, то отняла бы и связь советской власти с этой цивилизацией и началась бы работа по укреплению и развитию национально-исторического бытия России» (стр. 50). Азиатская агитация третьего интернационала прямо характеризуется как выполнение «исторического русского дела» (52) и грядущей «евразийской» России прямо ставится в обязанность — бороться «с международным капиталом» в «полном» союзе с «европейским пролетариатом» (57) и «организовывать» «чисто азиатские страны» в «противодействии против европейской цивилизации» (58).

И весь этот тон советской публицистики находит себе (не для распространения ли в России?) и подобающую орфографию...

XI

Так слагается весь этот новый идейный оползень, сползающий в духовный провал революции. И мудрено

ли, что после выхода последних созданий «евразийского» пера в зарубежной России стал обсуждаться вопрос о том, в чем различие между «евразийством» и «сменовеховством». Тем более, что вопрос этот был поставлен в самой «четвертой книге» г. Карсавиным.

Обсуждая сущность русской революции, он пишет дословно следующее:

«Мы должны осознать и понять происходящее, найти в нем правду и ее осуществлять в нашей деятельности. Осознать же и понять правду происходящего не значит безоговорочно «сменить вехи» и сделаться потерявшими свое лицо прихвостнями коммунистов» (IV. 85).

Это естественно и понятно: никому не хочется выйти в «прихвостни», да еще к «коммунистам». И г. Карсавин поступает правильно, что не желает этого от лица господ «евразийцев». Но сознание того, что состоялось некое приближение к сменовеховству и потребность отмежеваться от них — почувствована самими «евразийцами».

В чем же состоит этот отмежевание?

Те «потеряли свое лицо»; «евразийцы» этого не хотят. Сближение должно произойти с сохранением «евразийского облика»: ведь «евразийство» это есть великое созидательное *завтра* русской государственности и русской культуры...

Те «сменили вехи» «безоговорочно»; «евразийцы» меняют свою позицию «с оговорками».

Те стали «прихвостнями»; «евразийцы» думают осуществлять «правду» «по своему» разуму и по своей совести, отказываясь от того, что хотя и дорого, но относительно и обречено на гибель, и не поступаясь вечным, абсолютно значимым (85, г. Карсавин).

Все это неопределенно по содержанию, но ясно по форме: *идейный оползень открыто признан*, но *пределы* его *еще не обозначились* и подлежат, очевидно, дальнейшему «евразийскому» творчеству. Граждане «чингисханова улуса» завершат свое самоопределение в духе последней брошюрки и затем начнут пытаться действовать по своему разуму... Не захочет же «советская власть» нарушать свободу их разума и совести...

Но неужели же господа «евразийцы» думают, что Ключников и Потехин, Достовалов и Добровольский

склонны признать себя *не* действующими по *своему* разуму? Пусть перечитают они сборник «Смена Вех»: что же, там не было оговорок? Что же, авторы его не считали, что они отрекаются *только* от «временного» и «относительного»?

Или, может быть, они думают, что советский Чингисхан только и ждет от них идейного толчка, для того, чтобы исправиться, сменить коммунистические схемы на «евразийские» и пригласить в свой улус?

XII

Но, может быть, кто-нибудь скажет, что это я выбрал из их писаний «случайные» фразы, «неудачные» выражения, непродуманные формулы, нечаянно сорвавшиеся у неопытных авторов?

Казалось бы, появление «чингисхановой» брошюрки содержит уже ответ на это предположение... Однако это еще не все. Написав все эти фразы, выражения и формулы, господа «евразийцы» имели возможность проверить себя. Они показали их одному из самых авторитетных и всеми уважаемых членов Российской Императорской Академии наук, чей политический и литературный опыт вне споров. И он прямо указал им на опасность, соблазнительность и зловредность такого уклона, советуя им остановить оползень в самом зародыше...

Они выслушали и вслед за тем напечатали свои формулы. И, далее, раскрыли их в псевдонимной брошюре. Они *знали, что делали.*

И тем не менее я еще не склонен «безоговорочно» сближать или смешивать «евразийцев» со «сменовеховцами».

Мне кажется, что между ними есть еще различия.

Те отдавали себе отчет, с каким огнем они играют; и все-таки играли; и доигрались.

Я надеюсь, что господа «евразийцы» не отдают себе отчета, с каким огнем они играют; я надеюсь, что они поймут это и перестанут играть с ним; и не доиграются.

Они могут еще удержать свой идейный оползень.

Но для этого им надо не только по-новому истолковать свои оползающие формулы и усилить элемент «оговорок»; и не только гневно и четко (о, чем с большим гневом, тем лучше, тем утешительней!) «опроверг-

нуть» критические указания П. Б. Струве, В. В. Шульгина, И. Д. Гримма, М. В. Шахматова и мои...

Нет, для этого они должны научиться умственной *скромности* и *строгости* к себе; и предаться на время литературному и «проповедническому» воздержанию. Нельзя принимать всерьез каждое свое впечатление, каждую свою выдумку; нельзя впадать в наивный восторг перед слегка подновленными тривиальностями; нельзя думать, что ссылка на православие все покроет и оборонит; нельзя выступать с безмерными, комическими претензиями. Прежде, чем учить и учительствовать, надо самому учиться; надо пройти долгую школу *аскетического воздержания*, *самокритики* и *самоурезывания*, надо воспитать и укрепить свой духовный опыт и очистить свое духовное видение.

«Новое мироощущение», «новое мировоззрение», «новая система мысли и действия» — не изобретаются в порядке скорого думания и борзого писания. Для этого необходимо нечто несравненно большее. И прежде всего, *отсутствие нарочитости* и *претензии*. И далее, *чувство духовной ответственности* за каждое сказанное и напечатанное слово.

Иначе произойдет только то, что душевная смута выльется в литературу: возникнет беспочвенная агитация и идейный оползень.

ЧЕРНОСОТЕНСТВО

I

Для того чтобы одолеть революцию и возродить Россию, необходимо очистить души — во-первых, *от революционности*, а во-вторых, *от черносотенства*.

От черносотенства?.. Но разве за этим словом скрывается какая-нибудь реальность? Разве теперь, после революции, после массового отрезвления и поправения, можно говорить о «черносотенстве»? Разве не оказалось (спросит иной, ожесточенно и безмерно правеющий обыватель), что «правые» *во всем* были *правы*?

Нет, этого совсем не оказалось. Справа допускались великие упущения и поддерживались совершенно больные уклоны, на радость и на укрепление революционной ле-

визны. И слово «черносотенство» не только не обессмыслено, но обозначает по-прежнему одну из *причин революции* в прошлом и одну из величайших *опасностей* в будущем. И это необходимо понять и продумать до конца.

Черносотенство есть *противогосударственная, корыстная правизна в политике.*

Это совсем не означает, что *всякая* правизна есть черносотенство; только пристрастная, инсинуирующая полемика левой печати может изображать дело так, что все правые суть люди своекорыстные, холопы и жадники. Можно не ценить демократию и отрицать парламентаризм — совсем не из классовой, или групповой, или личной корысти, а из любви к родине, именно ради всенародного, общеклассового, национального интереса; и вся благородная правая публицистика в России именно так всегда и ставила этот вопрос. Дело обстоит совсем не так, что всякий «недемократ» есть тем самым «черносотенец», но так, что всякий, *предпочитающий свою корысть благу государства и родины* и проводящий ее на политически-*правых* путях — есть черносотенец именно постольку, поскольку он это делает. Вопрос решается совсем не политической правизной, а ее программным наполнением; не тем государственным *строем*, который человек считает необходимым, или лучшим, а тем *интересом*, ради которого он его отстаивает и одобряет. Словом, это вопрос *цели*, а не средства, вопрос политического *содержания*, а не политической формы.

Правая политика может быть черносотенной, но *может и не быть черносотенной*; и при этом она *не должна* быть и *не смеет* быть черносотенной.

Государство и государственная власть суть учреждения не классовые, а всенародные; их задача в созидании *общего* блага, а не личного, не частного и не классового. Люди могут расходиться в *понимании* общего блага, но не смеют ставить чью бы то ни было частную корысть выше интереса родины. И если они это делают, то они разрушают государство и родину, безразлично — делают это правые или левые.

Если корыстная политика справа есть *черносотенство*, то корыстная политика слева есть *большевизм*; это явления политически однородные, ядовитые и разруши-

тельные; и притом обе эти склонности могут укрываться и в оттенках.

Если черносотенец служит личному интересу, то он *карьерист*; но черносотенному карьеризму соответствует слева — революционный и большевистский карьеризм. Если черносотенцы служат групповому интересу, то они создают власть правой *клики*; понятно, что правлению черносотенной клики соответствует слева — правление революционной и большевистской клики. И точно так же *классовой диктатуре* справа соответствует классовая диктатура слева. И в этом смысле можно было бы сказать, что большевики суть «черносотенцы слева», а черносотенцы суть «большевики справа».

II

Легкомысленно и поверхностно было бы сводить весь вопрос о черносотенстве к *диктаториальному* правлению или к правлению *меньшинства*: и диктатор, и «меньшинство» могут править государственно, служить общенародному интересу, мудро и целесообразно строить жизнь народа. История знает тому множество примеров, и не нашему веку, видевшему, напр<имер>, реформы Александра Второго, возвышение Японии при Мутсу-Хито[1], политику Бисмарка и Столыпина, — было бы позволительно забывать это. Черносотенец и большевик изменяют делу своего народа и государства во имя частной (личной или классовой) корысти, — или явно, как это делают большевики, открыто выговаривающие свой образ действий, или тайно, как это обычно делают черносотенцы, то скрывающие свою корыстность, то изображающие свой частный прибыток, как дело общенародной пользы. Все это есть *извращение* государственного дела, *политическая кривда*, которую вместе с нашею допетровскою Русью можно назвать «воровским обычаем»...

И вот приписывать этот «воровской обычай» *каждому* диктатору или «меньшинству» можно только или от исторической наивности, или ради политической лжи.

Эта кривда, этот обычай — губительны и слева, и справа. Но в истории бывает нередко так, что черносотенство является подготовительной стадией, за которою

следует стадия революции. И тогда черносотенство уходит в подполье и в эмиграцию, выжидая, чтобы революционные злоупотребления, выросшие из *безоглядной левизны*, вызвали в виде реакции слепую тягу к *безоглядной правизне*. И к этому моменту черносотенство готовится, иногда даже пытаясь вступать в соглашения с вождями революции...

Русские черносотенцы не перевелись и поныне. Но их немного; и в зарубежной России они, слава Богу, выделились в отдельную клику и завели даже свой особый «флаг» и свою «словесность».

Они изображают себя особливыми приверженцами «закона» и «законности» и уверяют всех, что Россию надо спасать возвращением к букве предреволюционных законов. На основе этого они уже пользуются определенным именем, за которым и укрывают свою «политическую» стряпню.

Политически для них характерна, прежде всего, проповедь *нерассуждающей покорности*. Они сами изображают эту покорность как «преданность», доведенную до «обожания»; они требуют покорности и от других и подкрепляют свое требование грубою бранью и угрозою «перевешать» непокорных. Но сами они совсем не верят ни в свой флаг, ни в выдвигаемое имя и охотно поносят и чернят свое собственное знамя — то в глумящейся «поэме», то в отвратительном памфлете (напр<имер>, Снесарев), то в личных беседах...

Проповедуемая покорность прилепляется у них к «форме» и к «букве». Они рассуждают, как старые подьячие, как крючкотворцы и буквоеды. И в каждом слове их звучит полное неверие в отстаиваемое дело. Чтобы идти за ними, надо быть или слепым, или таким же, как они сами. И за всей этой «проповедью» скрывается полное отрицание живого духа, живого правосознания, человеческой личности, ее самодеятельности и свободы; той живой личности, которая может *повиноваться* по убеждению и из любви, но не умеет *покоряться* сослепу и трепетать перед мертвою буквою.

III

Русский черносотенец, как и прежде, — обскурант, и именно эта обскурантская стихия удерживала и удержа-

ла русское простонародье в состоянии, благоприятствующем расцвету большевизма. Именно эта стихия, неспособная к воспитанию своего народа, создавала ту атмосферу культурного притеснения, от которой страдали малые национальности великой России.

Русский черносотенец не понимает и не приемлет общенародного интереса. Ему нужен «царь» для того, чтобы «царь» закрепил и обеспечил, во-первых, — его личную карьеру, во-вторых, — интерес его клики, в-третьих, — интерес его класса. И так как все эти интересы суть частные, а не всенародные, — то черносотенец враждебен всем другим классам и всегда злится и ругается, говоря о простом народе. И если он обращается к простому народу, то обращается, как *демагог*, и эта демагогия его всегда проникнута плохо скрываемым презрением. Он мыслит «направо» потому, что ему нужна классовая диктатура, беззастенчивая и безжалостная...

Естественно, что все это связано у них с политическою неразборчивостью в средствах. Ныне, после революции, они мечтают о формальной и существенной реставрации; и не все ли равно, *какими* натяжками, уловками, посулами, сговорами и деяниями провести ее в жизнь? Лишь бы победить: а там — «победителя не судят»... И потому они готовы идти «хоть с чертом» против революции. И трудно даже вообразить, какая личная и классовая злоба, мстительность и жадность сидит за этою готовностью...

Таков облик русского черносотенства. Низок его политический уровень: это уровень *черни*. Пагубны его политические намерения: во имя личных интересов держать народ в состоянии *черни*. *Образованная чернь хочет диктаториально править необразованною чернью*, и притом *мимо родины, во имя свое*. И ради этого предается дело сверхклассовой государственности, дело родины и общего спасения...

И, как понятно, что люди такого уклада и образа мыслей с самого начала революции договаривались с большевиками и шли к ним на службу: напр<имер>, тот жандармский генерал, который из начальников охранного отделения поступил к большевикам в Смольный; или тот офицер лейб-гвардии, который был в Москве членом главной коллегии чека... И разве не сродни им

те эмигранты, которые бормочут и шепчут «по секрету» о том, что у них уже подготовлен переворот «из ГПУ», что все коммунисты «перекрасятся» в черносотенцев и что потому каждый должен скорее взять у шептунов «письменную» заручку, удостоверение о том, что он еще в эмиграции кого-то «признал» и куда-то «приписался»?

Русские правые круги должны понять, что после большевиков самый опасный враг России — это черносотенцы. Это исказители национальных заветов; отравители духовных колодцев; обезьяны русского государственно-патриотического обличия. Не надо договариваться с ними; не следует искать у них заручек; надо крепко и твердо отмежеваться от них, предоставляя их собственной судьбе. Не ими строилась Россия; но именно ими она увечилась и подготовлялась к гибели. И не черносотенцы поведут ее к возрождению. А если они поведут ее, то не к возрождению, а к горшей гибели. У них не мудрость, а узость; не патриотизм, а жадность, не возрождение, а реставрация!

И благо, что они поспешили обособиться...

ОНИ НАС ОБЛИЧАЮТ

I

Всякий, читавший письмо аббата Кенэ к Митрополиту Евлогию и письмо епископа Шапталя[1] к А. В. Карташеву (март—апрель 1925 года), легко поймет, как трудно спорить нам с католическими кругами. Искони заблудшие, упрямые, неискренние, неблагодарные, невежественные, полные ненависти, «неизлечимой глупости и злобы» (Кенэ), лишенные «достоинства и сердца» (он же), мы вторглись в Европу, в этот отчий дом католицизма, для того, чтобы надругаться «над честью католиков» (Шапталь), оскорбить их недоверием (он же), «оклеветать» их доброту и милосердие, и, не соблюдая даже «элементарных приличий» (Кенэ), расположиться у них на правах хозяев (он же). Можно ли выносить это? Как поступить с нами? Чего заслуживаем мы? Ведь если бы все это произошло несколько сот лет тому назад, то разве с нами стали бы разговаривать? Нас давно сделали бы невольными участниками самой назидательной и

вместе с тем самой страшной из всех католических церемоний, и запылали бы мы на кострах, которые Прескотт, историк Филиппа II, сравнивал с кровавыми игрищами цезарей. А теперь, когда советская власть нигде не хочет нас жечь, нас остается только карать «молчаливым презрением» (Кенэ) и лишением русских православных беженцев материальной помощи.

И конечно — нас обличают. И как обличают! С такою озлобленностью, с таким поношением и, скажем прямо, с таким искажением истины, что если бы мы были католиками, то нам давным-давно следовало бы, если и не подумать об аутодафе для наших поносителей, то уж во всяком случае найти какие-нибудь формы «материального» воздействия на оппонентов. Но у нас это не так: мы не думаем, чтобы верование или разумение могло вымогаться физическими муками, поощряться материальными субсидиями или лишением их. В духовных делах мы ценим только то, что имеет духовный вес, а к аргументам физической боли и кармана мы относимся с «молчаливым презрением»...

Я сказал, что они обличают нас со *злобою*, *поношением* и *неправдою*. Посмотрите хотя книжки патера д'Эрбиньи (одна из них была рецензирована в прошлом году в Новом Времени моим собратом Пересветом[2]) или журнальчик русско-католической пропаганды «Вера и Родина». Одна из них, напр<имер>, была целиком занята статьею известного русского конвертита князя П. В., разбиравшего ответ отца Булгакова Велеградскому съезду; вся книжка была полна такими искажениями правды и такою обличительною злобою, что только с величайшим трудом можно было заставить себя дочитать ее; и напрасно автор думает, что разбросанные там и сям словечки о «любви», о «единении», о «России» могли здесь что-то исправить или затушевать: *сладость в злобе дает только ощущение фальши*. Или вот это письмо аббата Кенэ: знаете, к кому он отнес слова о «неизлечимой глупости и злобе»? К одному из самых благородных, тактичных и уважаемых русских людей: к князю Григорию Николаевичу Трубецкому (он называет его «некий кн. Трубецкой»). Наконец, возьмем предмет моего настоящего разбора: № 24 «Веры и Родины», озаглавлен-

ный «Лондонское Столпотворение». Автор не назвал себя. Думает ли он, что он нам неизвестен? Подумал ли он о том, что полное отсутствие подписи под такою статьею в таком журнале дает нам право приписать все его выходки *не ему лично, а руководителям католической пропагандой на Востоке?* Он может быть спокоен: пока — мы не разоблачим его анонима. Мы ответим ему только по существу: но не аргументами *пытки* и *кармана*, а аргументами разума, совести и веры.

Но пусть он думает другой раз, право, о том, что он пишет.

II

Можно понять, что руководителям «католической пропаганды на Востоке» неприятно тяготение английского протестантизма к Православию, особенно когда оно выражается в таких открытых и реальных формах, как на лондонских торжествах (июль 1925 года), посвященных тысяча шестисотлетию Никейского Собора. Психологически мы можем понять здесь и тревогу, и даже гнев: ибо лондонские торжества вслед за Велеградским съездом явились прямым подтверждением *неудачи католиков* в деле вовлечения русского Зарубежного Православия в унию. Столько было проявлено папским престолом «любви», «снисхождения», «уступчивости» и, главное, «милосердия» во всех формах; столько было «разъяснено», так много было обнаружено «утонченного такта» — и вдруг празднование верности древним истокам правой веры переносится православными иерархами не в католический Рим, а в протестантский Лондон. Психологически можно понять здесь и разочарование, и протест. Психологически; а церковно? Чем ответили католики церковно на обнаружение и подтверждение их неудачи?

Подумали *ли* они хоть на миг о том, что *их собственный образ действий мог быть неудачен и бестактен?* Что, может быть, они сами подошли к вопросу о сближении с православными фальшиво, грубо, неумело, горделиво, заносчиво? Что, может быть, православное сознание не привлекается, а только отвращается этим *высокомерным «снисхождением»* со стороны людей, право которых «снисходить», наверное, стоит под знаком вопроса? А что,

если они сами далеко не сделали всего необходимого для того, чтобы их «любовь» не казалась нам *словесным прикрытием властолюбия*, чтобы их «уступчивость» не вызывала в нас определенного чувства *расчетливости* и *фальши*, что их постоянные попреки денежным «милосердием» не поднимали в нас с самого дна души чувства человека, *совесть которого пытаются купить*? Допустили ли они хотя бы на миг, что их «такт» есть *непрерывная бестактность*, а их «утонченность» есть *грубоватое и всем понятное лукавство?*

Нет! Когда они по Велеграду и Лондону поняли, что уния с Зарубежным Православием неосуществима, они ответили на это так: в октябре патер Мишель д'Эрбиньи помчался в Москву совращать в унию живоцерковных агентов Гепеу; в декабре некий анонимный автор выпустил брошюру «Лондонское Столпотворение» с поношениями против наших зарубежных иерархов; а <в> марте—апреле аббат Кенэ и епископ Шапталь под предлогом, казавшимся им благовидным, поставили перед православными беженцами *угрозу иссякшего «милосердия»*. И все это — конечно не «разрозненные факты», а единый ответ католичества зарубежному Православию. Так это есть; и так мы все это поняли; и пусть католики знают, что мы это поняли именно так, а не иначе. И, главное, пусть они будут уверены, что когда большевики падут, а уния с живоцерковными агентами Гепеу, которым католики разрешат «сохранить восточный обряд», останется, когда наше изгнание кончится, мы, конечно, расскажем нашим братьям внутри России, с какою «любовью» и с каким «тактом» нас звали в «мироспасительную» унию.

Но нигде эта «любовь» и этот «такт» не выразились с такою наглядностью, как в брошюрке о «столпотворении».

Автор этой брошюрки знает, конечно, что́ из себя представляют большевики и как мы их воспринимаем. Он знает, что они лжецы, политические шулера, грабители и садисты; он знает, что это каторжники, с предательскими душами, с грязным прошлым, с бесстыдным настоящим и с злодейскими намерениями; он знает, что они сделали с Россией, с русской Церковью, с русским Царем, с лучшими русскими людьми, с русской культурой, с русским народом, с русскими детьми. Он не мо-

жет этого не знать; он не смеет этого не знать. Он знает также, какой религиозный, нравственный и политический смысл присущ слову «большевик», «большевистский». Он знает, что эти слова являются позорящими, унижающими, скверными словами. Это, как в старину говорили, *«подлые» слова*, последняя хула и поношение.

И вот, захлебываясь от ярости, он до семи раз прилагает эти характеристики и слова *то к протестантским, то к нашим православным Иерархам*; особенно к нашим, к их деятельности, образу мыслей и выступлениям на торжествах. Мало того, он договаривается до того, что признает деятельность православных иерархов чем-то еще худшим, ибо, по его мнению, она «опаснее и позорнее большевистского гонения» (стр. 301). Думал ли он о том, что пишет? Думали ли его духовные руководители (напр<имер>, редактор журнальчика господин Ж. Броган) о том, что́ они разрешают к печати? А что сказали бы господа аббат Кенэ и епископ Шапталь, если бы мы, не одобряя образа действия католических иерархов, стали поносить их подобными хульными словами? Если бы мы, зная о единовластии и строжайшей субординации в католической церкви, отнесли бы *всю остроту нашего неодобрения* к Св. Отцу в Риме и высказали бы о нем то, что позволяет себе выкликать о наших иерархах журнал «католической пропаганды»?

Но мы никогда не совершим ничего подобного. Мы не впадем в такую *неприличную ярость*. Мы не забудем до такой степени ни достоинства обсуждаемого предмета, ни собственного достоинства, ни достоинства инославного иерарха, вызвавшего наше неодобрение. И не случится этого с нами потому, что *ярость неудачливого властолюбия* не владеет нами в вопросах религии и церкви...

Выходки анонимного автора являются, однако, не случайною полемическою непристойностью. Они обнаруживают то внутреннее отношение «восточной пропаганды» к нам, которое католики сами любят прикрывать словами «любовь» и «милосердие». Человек в аффекте нередко *проговаривается* о том, что скрывается всею его организациею, что обычно сквозит в оттенках и полусловах и вдруг вырывается в момент озлобления открыто и бурно. И тогда неискушенный читатель с изумле-

нием спрашивает себя: «Откуда это презрение и эта злоба? Откуда этот поток хулящего высокомерия? Откуда эта атмосфера ненависти? Пусть автор не сдержался, но ведь духовная цензура пропустила?!» И вдруг все оттенки и недомолвки *выстраиваются* в ряд, осмысливаются, освещают *весь дух целой организации*. Многое, многое становится понятным — и в предшествующем, и в последующем: и в поездке патера Дербиньи в Москву, и в выступлениях Кенэ и Шапталя.

Обличая нас, не обличили ли они себя?

А наши иерархи смиренно и мудро обошли эту выходку полным молчанием...

III

Итак, перед нами выпущенная органом католической пропаганды брошюра анонимного автора, поносящая православных иерархов за их участие в Никейских торжествах в Лондоне и за желание пойти навстречу англиканской тяге к Православию («Вера и Родина» № 24. Декабрь 1925 года). Это произведение воинствующее и обличительное. И первое, в чем обличаются православные иерархи, это в *отрицании папства*.

Оказывается, что «отрицание папства» есть «основной догмат мировой революции» (стр. 295) и что «в презрении к верховнику Отцов участники лондонского съезда сравнялись с большевиками» (стр. 313), мало того, они нанесли своим поведением в Лондоне такой «удар по Православию», который «опаснее и позорнее большевистского гонения» (стр. 301).

Итак: «мировые революционеры», «большевики»... Да падет же стыд за эти слова на главу их произносителя!

Величайшее бедствие, и искушение, и испытание мировой революции поднято и вынесено нашею русскою Православною Церковью. Вот уже скоро десять лет она переживает гонения, подобные гонениям первых веков христианства. Умучено до пятидесяти епископов, свыше восьми тысяч служителей алтаря и бесчисленное множество православных мирян. Умучено за неприятие большевизма и революции, за изобличение безбожников, за непокорство злодеям, за верность вере. И от лица всех этих безвинно казненных, исповедников и мучеников, навеки

прозвучали благоуханные слова приговоренного Митрополита Вениамина: «Христос наша жизнь, свет и покой. С ним всегда и везде хорошо... Веры надо больше, больше ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией»...

Лицом к лицу с сатанинскими силами, идя на страдания и на смерть, славили Бога наши мученики и исповедники, являя миру силу Православной веры и церкви. Все бремя, вся неистовость мировой революции и большевизма обрушились на них и встретили героический отпор; и история покажет еще, что этим Православие духовно победило мировую революцию, ибо оно противопоставило ей силы, неуступающие даже и до смерти.

Кто же из этих мучеников и исповедников, духовно победивших мировую революцию и большевизм, кто из них был католиком? Кто признавал папу главою вселенской церкви? Кто из них хотя бы склонился к унии с Римом? Никто. Но в таком случае все они исповедовали «основной догмат мировой революции»?! Сколь же велика та духовная *пустота*, и *слепота*, и *злоба*, которая дерзает поносить чужое только потому, что оно имеет свою, самостоятельную веру и организацию?..

Нет, основной догмат мировой революции есть отрицание не папы, а Бога; не папы, а Христа. Ибо Христа можно иметь, верить в Него, любить Его, служить Ему, идти на смерть, находя в Нем жизнь, свет и покой — помимо папы, помимо латинских догматов, помимо католической организации. И не в единении с папой черпали наши мученики свои сверхчеловеческие силы, а в единении с Богочеловеком, Христом Спасителем. И ныне не от папы и не через папу, а вне его и помимо его в мире засияла величайшая, лучезарная сила из восточного русского Православия. И ныне эта сила влечет к себе все живое в Христианстве: и в Европе, и за ее пределами. Ибо сказано: «по плодам их узнаете их». А Православие показало миру свои плоды.

И вот откуда все это беспокойство католиков, их тревога, их усиленная пропаганда, прилив их «любви» и «милосердия» и, наконец, их гнев, доводящий их до настоящего самообнаружения и самообличения. Их смущает и беспокоит, что не в их церкви воссияла бла-

годать мученичества и исповедничества, что не через них протекли в мир новые источники живой воды; *не через «папу», а вопреки папе.* И в этом корень их похода на нас. Если бы только они могли, они и теперь двинули бы на нас крестовый поход, как в свое время на Альбигойцев или Вальденсов: чтобы *стереть с лица земли самую идею о том, что можно быть религиозным помимо них*; а в нашем случае, чтобы и не слышно было на земле о Христовой благодати помимо папы и вопреки папе... Но не двинуть им на нас крестового похода, прошли те времена инквизиции, о которых когда-то восклицал Антонио дель Пальяричи, что «почти невозможно, будучи христианином, умереть в своеи постели». Времена эти прошли, но *дух католицизма не изменился*, изменилась только его тактика, и надо признать, что *лукавство иезуитов владеет ныне не одними иезуитами, а стало общей техникой всего католического духовенства.* И за их «любовью», и за их «милосердием» по-прежнему жива властная свирепость кардинала Караффы. Это чувствуется всеми, хотя отчетливо сознается не всеми. И те, кто чувствует это, те не верят ни их «любви», ни их «милосердию». Надо быть до наивности лишенным самосознания для того, чтобы воображать, будто этот дух можно скрыть за «милосердною» словесностью. И вот откуда эти наивные восклицания монсеньора Шапталя. «нам не верят», «сомневаются в нашем прямодушии и искренности»... Он как будто впервые заметил и понял, что в прямодушие и искренность католического духовенства *не верит никто, кроме католиков*, ни одно другое исповедание, ни одна другая церковь! И может ли быть иначе после столь изумительно разработаннои *теории* и столь совершенно выработанной *техники лжи*!?..

IV

Вот откуда их поход на нас. Вот почему они ныне решаются сопричислять к «большевикам» и «революционерам» наших иерархов за то, что они не отдают и не отдадут нашего Православного духа в обладание папскому престолу, вне которого и вопреки которому этот дух благодатно созрел и расцвел в веках. Православие словом и делом засвидетельствовало о своем отношении и

к революции, и к большевикам; засвидетельствовало и во внутренней, и в зарубежной России; и история найдет о сем правдивые слова.

Однако мы можем быть уверены и в том, что история найдет такие же правдивые слова и для отношения католического духовенства к большевикам.

Началось с появления епископа генуэзского монсеньора Синьори в 1922 году, во время Генуэзской конференции, на обеде в честь товарища Чичерина, с той знаменитой любезной беседы, в которой монсеньор «уговаривал» очередного советского дьявола прекратить гонения на христиан в России, а советский дьявол уверял наивного монсеньора, что в советской России царит «свобода совести»... (срв. «Вера и Родина». Август—сентябрь 1926 г.).

В 1923 году русские патриоты Конради и Полунин убивают в Швейцарии следующего советского дьявола Воровского. Но он был советским торгпредом в Риме, и Св. Отец *торопится выразить советским дьяволам свое живейшее соболезнование.*

В 1924 году президент Восточного Института при папском престоле в Риме патер Мишель д'Эрбиньи выпускает книжку о русской религиозности и положении Православной Церкви в России, в которой *целиком использует и перепечатывает* целые статьи из советской прессы, именующие Православную Церковь «*сифилитической*» и «*развратной*», и воспроизводит все гнусности *живоцерковца Евдокима* о Св. Патриархе Тихоне. Вывод почтенного патера был таков: Православная Церковь сдается коммунистам и обречена на разложение и гибель...

В 1925 году осенью русский католик г. Романовский на средства католического епископа Шапталя едет в Москву на большевистский живоцерковный «собор» в качестве представителя *парижских живоцерковников.* Могли ли католики не знать, что́ есть живая церковь? Ведь мы открыто уведомляли их, что это есть *отделение Гепеу...* Ни один православный епископ не участвовал на этом «соборе» прислужников дьявола; но католические монсеньоры имели там своих представителей. Ибо в октябре же на 20 дней в Москву едет уже сам патер д'Эрбиньи. Впечатления свои он с тех пор опубликовал. Все его сочувствие на стороне «обновленческой церкви», руково-

димой предателем и убийцей «митрополитом» *Введенским*; а в настоящей Православной церкви он усмотрел только «сухость», «жесткость» и «доносы»; и самые важные вопросы в Православии — это, по его мнению, «ношение длинных волос» и «сохранение старого стиля». История, впрочем, вскроет в деталях деятельность г. д'Эрбиньи среди «обновленцев», опишет его трогательные беседы с Введенским и сумеет оценить то обстоятельство, что *сей ученый иезуит*, по его собственным словам, присутствовал в качестве «почетного гостя» на всех заседаниях пресловутого большевистского собора...

В конце ноября прошлого года выяснились предварительные результаты процесса, затеянного в Нью-Йорке красным «епископом» Иваном Кедровским. Ссылаясь на живоцерковный «синод», давший ему приказ стать во главе православной церкви в Америке, Кедровский потребовал от Митрополита Платона передачи ему всей православной епархии в Америке, с собором в Нью-Йорке, с тремястами церквей и митрополичьими покоями. Около двух лет тому назад он потерпел в этом неудачу, потому что судья г. Форд после долгого изучения данного вопроса *отказал* ему в иске. Кедровский обжаловал это решение в апелляционный отдел верховного суда. И вот результаты: благодаря четырем судьям католикам (г. Мак-Авай, председатель Кларк, г. Моррель и г. Доулин) большевик Кедровский выиграл процесс, тогда как пятый судья, *еврей Мартин* остался при особом мнении. Таким образом, четыре католика, основываясь на письменном предписании большевистского «синода» и имея мотивированный приговор Форда перед глазами, передают во власть большевика всю американскую православную митрополию, не считаясь с волею Патриарха Тихона, назначившего Митрополита Платона главою православной церкви в Америке. Они же постановляют изгнать последнего из нью-йоркского кафедрального собора, так же как и настоятеля собора, протоиерея Леонида Туркевича.

Разрушение православной церкви — тревожит ли, страшит ли католиков? Нисколько — никак не более, чем *разрушение православного собора в Варшаве*. Долгие месяцы длилась эта кощунственная работа: взрывали, ломали, сами гибли, крушили. Вступился ли католический Рим? Сказал ли слово протеста? А помните, как мы

переживали разрушение собора в Реймсе во время войны? А что сказали бы мы, если бы кто-нибудь попытался разрушить храм Петра в Риме? А ныне на чьей стороне наше сочувствие — на стороне притесняемых *мексиканских католиков или их гонителей*? И что сказали бы мы, если бы кто-нибудь из нас начал злорадствовать по поводу этих гонений и помышлять о том, чтобы сманить малодушных из среды мексиканцев — в Православие?

Мы сказали бы, что это злорадство, эти помыслы и затеи — суть проявление *духовной низости и пошлости*; что это дело безбожное и противохристианское; что так не строят церковь; что это есть сущее вырождение религии и религиозности!

Именно так: не благодатна та церковная организация, которая ищет власти во что бы то ни стало — злорадством, лукавством, интригою... и готова дойти даже до «соборного» единения с дьяволами из Гепеу...

Продолжайте же «обличать» нас словами, мудрецы из «Веры и Родины»: делами — вы разоблачите и изобличите только сами себя[3].

САМОБЫТНОСТЬ ИЛИ ОРИГИНАЛЬНИЧАНИЕ?

В сердце русского зарубежного патриота живет глубокое и верное чувство, что *за Россию надо бороться*, что ее надо как-то *спасать и творить*. Редко кто, мало кто может сказать, что именно надо делать, *как* бороться, *как* спасать, *как* творить. Здесь часто больше мечты, чем воли; больше тоски, чем видения и разумения; больше тревоги, чем дела. Заряд чувства налицо; но опыта, умения, уверенности, волевого разряда не хватает. Отсюда некоторый бесплодный застой, обилие «настроения» и, как всегда в таких случаях, симптомы *брожения и разложения*.

Многие чувствуют, что необходимо бороться, спасать и творить — и *внешними* поступками (политическая и военная активность), и еще каким-то *внутренним деланием*. Но каким? В чем оно состоит? Надо, как будто, что-то «доказывать», куда-то «тянуть», чему-то «предаваться», что-то внутри себя «культивировать», что-то «восхвалять» и что-то «осуждать».... Но что? Но куда? Но к чему? Проснувшийся *патриотический инстинкт*, оглушенный и подавленный великим крушением, оч-

нувшийся в условиях зарубежного труда и зарубежной оторванности, — беспомощно силится найти духовно-верный исход и, не находя, мятется и болеет. Это естественно: не так легко вообще дается инстинкту *духовная культура,* т. е. духовное *прозрение,* духовное *умение,* духовное *делание.* И, в частности, русская публицистика последних пятидесяти лет, а особенно последних двадцати пяти лет (за немногими столпообразными исключениями), вела русскую интеллигенцию в сущее болото — в царство мниморелигиозного выверта и противогосударственной химеры... И потому современная беспомощность, смятение и боление — более чем естественны: неизбежны...

И, как всегда, в такие периоды всплывают на поверхность прежде всего и легче всего — публицистические *знахари,* они же *демагоги;* всплывают для того, чтобы подсказать прозревающему, но еще не прозревшему инстинкту самую *легкую,* самую *дешевую,* самую *плоскую* формулу; чтобы толкнуть его по линии наименьшего сопротивления; чтобы указать ему такой исход, который тешил бы его самодовольство, закрывал бы от него наличные язвы и предстоящие трудности и опасности, разжигал бы в нем слепую страсть и нелепые пристрастия и проваливал бы все дело его прозрения и воспитания в новую яму, в новое, нередко обратное заблуждение и блуждание...

В наши дни именно таково дело «евразийских» знахарей и демагогов.

Спасение от этой опасности в том, чтобы воззвать к таинственному и сокровенному *уму* здорового инстинкта, воззвать к нему, чтобы он блюл свое зрение, чтобы он трезвением охранял свои пороги, чтобы он не позволял оглуплять и продешевлять себя, чтобы он от малодушия не торопился вступать на путь наименьшего сопротивления...

Всякая великая национальная культура — *самобытна.* Но тайна самобытности такова, что кто начнет ее нарочно искать, выдумывать, высиживать, расколупывать, сочинять для нее рецепты и стряпать ее по этим рецептам, — тот неизбежно впадет в самое жалкое *оригиналь-*

ничание. Безразлично, *каков* будет этот рецепт: протяженно-сложенный или коротенький; витиевато-интеллигентский или обскурантски-упрощенный; отвлеченно-туманный или обидно-ясный; бойкое, ходячее словечко или жест кулака. Все равно. Ибо на этих путях духовная самобытность *не* создается, а утрачивается. Такому «искателю» — если искателем можно называть того, кто с радостью хватается за первый попавшийся вздор — самобытность не дается, как клад, который от каждой новой неумелой попытки только уходит все глубже в землю...

Духовная самобытность есть *живая тайна:* она впервые обнаруживается в непосредственном цветении простонародного духа; она явлена и оформлена у национального гения. Но рассудочные приват-доцентские выдумки — чужды ей и мертвы перед ее лицом; и чем они притязательнее — тем они курьезнее и поучительнее в своей немоши. Конечно, застоявшееся «настроение» может ухватиться и за такую выдумку, принять ее всерьез и даже «уверовать» в новое «откровение». Но кроме путаницы и соблазна, а главное, безнадежного продешевления из этого ничего не получится...

Да и на сей раз *уже* не получилось.

Какая глубокомысленная, какая прозорливая «теория»!.. За последние двести лет Россия якобы утратила свою самобытную культуру потому, что она подражала Западу и заимствовала у него; чтобы восстановить свою самобытность, она должна порвать с германо-романским Западом, повернуться на Восток и уверовать, что настоящими создателями ее были Чингисхан и татары...

Рецепт дан. И все те, кто достаточно легковерны и простодушны, а главное, кто *достаточно плохо знает историю России*, — могут с успокоенной душою принять этот рецепт и «новую» кличку и «уверовать» в «новый путь»...

Подумайте, в самом деле, как все убедительно и ясно. Весь вопрос о самобытной духовной культуре сводится к тому, *куда именно надо всем шарахнуться*: вот двести лет (якобы) шарахались на Запад; ясно, что вышел провал; значит — надо шарахнуться на Восток. Ведь

это по компасу — и то уже видно. А ведь в человеческой жизни так обстоит *всегда* и *во всем:* спасение всегда состоит в том, чтобы удариться в другую противоположность. Переголодал — значит, теперь объедайся; кутался — значит, теперь ходи голым; страдал манией преследования — спеши развить в себе манию грандиозу; фальшивил на полтона вверх — спокойно фальшивь теперь на полтона вниз. Так и тут: обезьянничал у Запада — ясно, начинай немедленно обезьянничать у Востока. Разве не так? Ведь вопрос духовной самобытности есть вопрос *географического* и *этнографического припадания.*

Но почему же нельзя без припадания? Разве самобытность не в том, чтобы *быть перед Лицом Божиим — самим собою,* а не чужим отображением и искажением? Ни восток, ни запад, ни север, ни юг... *Вглубь* надо; в *себя* надо; к *Богу* надо!.. Почему же именно в Азию, почему на Восток?..

Странные вопросы... Нас погубил Запад, нас погубила Европа. Так? Ну так значит — надо на Восток.

Но откуда же известно, что нас погубил Запад, а не наше собственное, неумное подражание? Из чего же видно, что наша самобытность за двести лет *погибла?*

Странные, придирчивые вопросы... Ну, а в чем же выразилась наша самобытная культура за двести лет? Ни в чем! Ничего русского! Ничего самостоятельного! Ничего первоначального, почвенного! Сплошное подражание гнилой германо-романщине: вся государственность от Петра I до Столыпина, вся поэзия от Державина до Пушкина и Достоевского, вся музыка от Глинки до Рахманинова, вся живопись от Кипренского до Сомова, вся наука от Ломоносова до Менделеева и Павлова... Где во всем этом здоровая и самобытная *стихия Чингисхана?* Где здесь национальное самосознание *татарского улуса?* Где здесь слышен визг татар, запах конского пота и кизяка?!.

Каждый раз, как я вижу эту «теорию» и вхожу в ее атмосферу, я невольно вспоминаю некоторые жуткие моменты пребывания в советской Москве. Бывало так, что из-за грубых, невежественных и глупых распоряжений и рассуждений советской власти вдруг на момент выгля-

дывало недвусмысленное и неприкрытое *издевательство* над нами, над обывателями, слушателями и читателями: вдруг становилось *совершенно ясно*, что все это, сумасшедшее и глупое, говорится и делается *нарочно*, с полным сознанием безумия и глупости; что говорящий *сам* знает, что все это вздор и погибель, знает не хуже нас и даже не скрывает свое знание; и потешается; и хихикает; и все-таки говорит; и все-таки доведет все до конца...

Мы, пока еще, слава Богу, не подчинены «евразийцам»; комсомол еще не весь «уверовал» в чингисханство, не передал еще власть над русским улусом изобретательным приват-доцентам и не развернул еще своего грядущего урало-алтайского чингис—х-а-м-с-т-в-а... Но разбираясь в «евразийских» построениях, я обычно испытываю чувство, подобное московскому: эти вызывающие парадоксы, это щеголяние заведомыми историческими искажениями и умственными трюками, эта манера рисоваться своими вывертами, этот грубый схематизм, эта подчеркиваемая «бесстрашная» прямолинейность, этот географический материализм, все снижающий и упрощающий; и иногда — особенно у одного из этих мудрецов, — явное подсмеивание над слушателем, над самим собою (говорящим) и над всею «доктриною» в целом...

Но только от этого подсмеивания — делается не жутко, а наоборот: наступает некоторое успокоение — «это нарочно, это на смех, на это нельзя сердиться, ни ополчаться; сам себе лукаво подмигивает и всех дразнит»... Это просто большевистская манера думать и писать, школа и стиль Ленина.

И если бы все «евразийские» речи и писания были таковы; и если бы все слушатели это заметили и поняли, — тогда мимо этих «спасительных рецептов» можно было бы проходить молча... Ведь нельзя же помешать людям хворать по-своему.

Но, к сожалению, это не так.

Кто-нибудь из зарубежных русских историков выберет однажды минуту досуга и покажет всю непростительность той исторической неправды, которою играют «евразийцы» в вопросе о значении татарского ига на Руси.

Нам же достаточно указать на *духовную* несостоятельность их практического рецепта.

Русскому человеку можно и должно быть русским. Но невозможно и нелепо натаскивать себя на «русскость». Или он по бытию своему *уже* русский; тогда ему *нечего* натаскивать себя на это. Или же он по бытию своему уже *не* русский; и тогда ему не стоит трудиться с этим натаскиванием. А русский человек — и в своих гениях, и в своей массе, — конечно, оставался русским на протяжении последних двухсот лет. И если бы сущность его души могла действительно измениться и стать «романо-германскою», то обратная русификация ее была бы делом безнадежным.

Натаскивать себя можно только на *чужое*, на то, чего ты сам из себя *не* представляешь. Например: на татарское. И умный рецепт «евразийцев» состоит именно в том, чтобы *русский человек, желая вернуть себе свою утраченную русскость, начал натаскивать себя на татарщину.* И безнадежно, и фальшиво, и смешно.

Этот рецепт совсем не противопоставляет русскую самобытность — заимствованию; нет, он противопоставляет одно заимствование и подражание, *неодобряемое* — другому заимствованию и подражанию, *похвальному*: долой пресмыкание перед Западом! да здравствует пресмыкание (кизяк!) перед Востоком! Перестанем быть полунемцами, полуфранцузами! Станем *истинно русскими татарами*!

Для чего это? Не бред ли это?

Ведь если бы эта вздорная затея удалась, Россия поистине утратила бы себя целиком и до конца. И дух, и характер, и быт заменились бы какими-то полутатарскими вывертами; русское творчество заменилось бы татарообразным штампом; вместо русской формы и русского стиля — воцарилась бы мнимо-татарская схема и манера. И кому, и зачем нужен был бы этот денационализированный остаток бывшей России? И для того ли мы 350 лет одолевали татарщину и ее нашествия (последнее нашествие на Москву Казы-Гирея имело место в 1591 г.), чтобы искать спасения в ее одоленной и отмершей стихии? Поистине среди реакционных и противоестественных идей, приходящих в голову досужим людям, нетрудно найти идею более умную и патриотичную.

Нет, русскую самобытность нельзя создать на путях *татаризации* русского духа. Самая мысль эта есть больной и оригинальничающий выверт; и то, что она предлагает, повело бы самое большее к таким же болезненным, оригинальничающим вывертам в среде совращенной в «евразийство» рабфаковской молодежи. Ибо надо признать, что для увлечения «евразийством» нужны два условия: склонность к умственным вывертам и крайне незначительный уровень образованности, уровень рабфака и комсомола.

Нам, русским зарубежным изгнанникам, надо понимать и помнить, что духовная самобытность нарочито не выдумывается и не вымучивается. Она осуществляется сама собою, нечаянно и непроизвольно. Она нисходит, как дар, и осознается не *до* своего обнаружения, а *после* него.

Чтобы жить и творить самобытно, надо быть тем, что тебе *уже дано*, но быть страстно, цельно и интенсивно. И в этой страстной цельности *искать Божественного*, о Нем помышлять, Ему служить, Его создавать. И тогда окажется — непроизвольно и незаметно, — что *в тебе* жил и *тобою* творил национально-самобытный дух твоего народа.

Только не ищи своего *личного, особенного*; не ищи нарочно ни своей личной, ни национальной самобытности; и главное: отложи тщеславие и не оригинальничай.

А ищи Предмета. И питай свою душу созданиями русского всенародного и личного гения: молитвою, песней, стихом, сказкой, историей, подвигом, зодчеством, пляской.

И тогда национальная духовная самобытность расцветет сама в твоем видении и в твоем делании.

О МЛАДОРОССАХ

Бобчинский: «Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками».

«Ревизор» Гоголя

Меня не раз спрашивали устно и письменно — почему я не высказываю своего суждения о младороссах. Ответ мой прост: опыт жизни научил меня тому, что надо меньше гоняться за чужими ошибками и заблуждениями и больше работать самому. Это верно при всех

условиях. Но в эмиграции это получает чрезвычайное значение. Души слишком потрясены, нервы слишком взвинчены. Силы — как будто и есть: но точки для их приложения — как будто и нет. А фигурировать хочется. Отсюда эта кружковая шумиха и беспредметная суета. И сколь многие вместе с Репетиловым шумят, и вместе с ним воображают, что делают «государственное дело».

В первые годы зарубежной жизни мне казалось, что можно уговорить людей успокоиться, сосредоточиться, договориться друг с другом и взяться за самое важное и неотложное. Впоследствии я убедился в том, что в наше больное время многие будут болеть и изболевать свое смятение до конца и что надо им предоставить суетиться и «фигурировать», а самому присоединиться к немногим, делающим ответственное дело.

Все опасности и искушения, заложенные в так называемом «младоросском движении», были мне ясны с самого начала. Но если бы я стал высказывать мой диагноз тогда же, то мне, может быть, и не поверили бы. Всякое явление жизни должно созреть и развернуть свое скрытое естество; и тогда оно само будет судить себя, и притом с такой наглядностью и неотразимой убедительностью, которая превзойдет всякую критику.

За последний год младороссы начали совершать этот суд над собой; этот суд еще не закончен, предстоят еще дальнейшие обнаружения. Но я буду говорить только о том, что уже состоялось.

Состоялось двоякое: во-первых, — вступление в «единый фронт» с большевиками, во-вторых, — «решительные» выступления на церковной паперти в Париже. Ни в том ни в другом я не вижу «случайной выходки»; наоборот, — считаю, что и того и другого следовало ожидать. Начну со второго.

С самого начала младороссам была присуща некая повышенная самоуверенность, некий наивный апломб. Унаследовав от покойных евразийцев их заносчивость, они уверовали, что владеют каким-то всеисцеляющим средством, спасительным рецептом. Россия только и ждала их появления. Они начало самоновейшей ис-

тории: разрешители проблем, рассекатели гордиевых узлов. Они не писали, а вещали; не говорили, а поучали. Они выступали как носители некоторого политического правоверия; все прочие были для них просто еретики, или устарелые еретики. Этот наивный апломб ничего не продумавших и не видевших юношей (хотя среди них далеко не все «юноши») внушал тревогу с самого начала. То, что они писали — было совершенно элементарно, часто искренно, но почти всегда нескромно и заносчиво; нередко — просто комично, но, к сожалению, они лишены чувства юмора: комического элемента, присущего всякой ходульности, они не видят.

Думалось: если это «детская», то пусть посуетятся и перекипят; но если это начало новой серьезной политики — то это может принести в будущем неисчислимый вред.

В самом деле: Россия порабощена международною бандою, которая, быть может, по международному поручению и при явно международном содействии подрывает и выкуривает все основы русского национального бытия; полмира поставлено на голову войною, большевизмом и кризисом; все связи и интересы скрестились и переплелись настолько, что разобраться в них трудно даже самому опытному и дальновидному политику. А тут люди, прежнюю Россию не видевшие; большевизма не испытавшие и его методов совершенно не понимающие и потому неспособные определить качество того, что <и> кто им в данный момент нашептывает: не подозревающие, что почти каждое слово их бьет мимо и что каждый шаг их есть ложный шаг; не имеющие понятия о том, что такое аскез силы суждения и судящие обо всем с кондачка; всякий вопрос превращающие в вопросик, чтобы дать на него легкий штампованный ответ; составляющие из избитых фраз трехкопеечные катехизисы и «генеральные линии» и выдающие все это за монархическую идеологию и партийную программу – и вот эти люди принимают себя за водителей и спасателей. Что мог я видеть в этом, кроме типичной предреволюционной интеллигентщины, которая уже не раз погубила монархию, интригуя против нее, а теперь собирается скомпрометировать ее во второй раз, интригуя за нее (о младоросских интригах см. хотя бы брошюру младоросса Стерлигова «Младоросская Правда»)?

Этот самоуверенный тон, это плохо скрываемое презрение ко всем иначе мыслящим, этот политический нахрап — должны были неминуемо вылиться в поступки, что и случилось на паперти русской церкви в Париже. Монархист, пытавшийся доказать правоту свою кулачным нападением на беззащитных людей, да еще при выходе их из церкви, — не имеет никакого отношения ни к религии, ни к идее монархии. Православное богослужение есть для него повод к политической агитации и партийной драке. Государственность он мыслит как насилие. Свободу личного убеждения он не ценит ни во что. И по-видимому, даже не понимает законченную пошлость всей этой генеральной линии.

Младоросские драки на церковной паперти равносильны и равноценны той угрозе правой стенкой, которая была произнесена на зарубежном съезде. На терроре можно построить кровавую диктатуру — монархию ни построить, ни поддержать системой террора нельзя; этим ее можно только деградировать и опозорить.

Но мне, впрочем, давно уже ясно, что младороссы принимают за монархию ее внешнюю и мертвую оболочку — ее формальную схему, ее словесность, ее пустую видимость. Они и не подозревают, что монархия есть нечто большее, чем формальное преемство власти по родовому старшинству или посулы «социальности» в будущем. Они не понимают, что они впитали в себя идею монархии в том самом больном виде, который уже погубил однажды монархию в России и который скомпрометирует и погубит ее еще сто раз: ибо монархист не тот, кто носит партийный значок и ежеминутно произносит слова «Ваше Величество», а тот, кто сумеет воспитать в себе верное и живое монархическое правосознание. А в младороссах (по крайней мере в тех, кто говорит и пишет от их лица) я не вижу и следов такого правосознания.

Мало того, впитывая в себя предреволюционную, искаженную и опустошенную идею монархии, младороссы пропитали ее и продолжают сознательно пропитывать и отравлять большевистским духом, большевистскими постановками вопроса, большевистскою словесностью. Они пытаются это принципиально обосно-

вать и вменяют себе это в заслугу. Они, по-видимому, воображают, что идут по стопам Бонапарта, и не понимают, что Бонапарт встал изнутри революции, как имманентная ей сила, встал, временно бросая ей ее словечки, но внутренно презирая ее. Бонапарт не приклеился к революции извне, он не приспособлялся к ней, сидя в эмиграции. Войнами и победами извлек он достоинство Франции из революционного позора, он воскресил и обновил в душах чувство чести — и тем спас и честь народа, и самую Францию. На галльской воинской чести построил он свою империю, а не на революционном бесчестии; не на «пореволюционном человеке», а на вечном и священном в душе француза.

Нельзя строить Россию и русскую монархию на приятии революционного бесчестия; идейное, волевое и словесное купание в нем только заразит самих купающихся и затянет их в трясину большевизма. Наивно думать, что русский народ стал верить по-большевистски и думать по-коммунистически; и что он ждет спасения из того самого угла и от людей того самого неистово-изуродованного уклада, которые мучают его, унижают его, надругиваются над ним и вымаривают его вот уже четырнадцать лет...

Господа «младороссы», не жившие под большевистским ярмом, совершенно не представляют себе, что происходит в душе русского подъяремного человека, прошедшего через большевистское чистилище. Он жаждет прежде всего и больше всего гражданского воздуха — личных субъективных прав; права не быть насилуемым, т. е. права на свою честь, на веру, на труд, на свое имущество, на свободное мнение. Революционного насилия, ограбления, выжимания соков, революционного бесчестия по отношению к Богу, к родителям, к родине, к учителям, к церкви и к храмам, революционной лжи и революционной продажности — в России не нужно никому; и вся эта подлая и пошлая словесность революционного бесчестия, которою люди живут там по необходимости, — она по душе только одним заядлым коммунистам. Россия есть ныне прежде всего море крестьян, ограбленных чуть не до нитки раскулачиванием и коллективизацией; они знают, что они ограблены и вверг-

нуты в крепостное состояние. Коммунистические бригады отнимали у одних мужиков все, чтобы легче отнять у других землю. Вот уже десять лет, что в России не мужик грабит, а мужика грабят. И тут-то «младороссы», силясь поспеть за революцией и как можно больше «узаконить» — и ничего, ничего не понимая в происходящем, — берут слово *грабеж* в иронические кавычки и требуют его узаконения: тем самым они солидаризуются с коммунистами против ограбленного мужика. Они могут быть спокойны: русский мужик сумеет оценить эту солидарность «узаконяющего» монархиста с грабящим коммунистом и сумеет отблагодарить младоросса, если тот попадется ему в составе «пореволюционных» агитаторов.

Из этого конкретного примера ясно уже, к кому приспособляются и подделываются «младороссы», делая ставку на «человека революционного стиля». Они идут совсем не к русскому крестьянину (83% населения); и не к русскому рабочему, впервые постигшему весь ужас государственно-коммунистической монополии в области работодательства; и не к замученной и униженной русской интеллигенции, — а к коммунистам. Они сближаются с угнетателями России: они принимают именно их за русских, за Россию; с ними они братаются и ассимилируются; в этих религиозно-нравственных и умственно-искалеченных болтунах они видят «нового» русского человека. Они братаются с отбросом коммунистической революции. Нет, не «братаются», а со свойственной им комической заносчивостью они пытаются его «приручить». Они могут быть спокойны: двигаясь по этой «генеральной линии», они не «приручат» революцию, а будут поглощены ею.

Обреченности этого пути и позорности его «младороссы» не видят. Да и самое слово «позор» они относят не к большевизму, а к героической попытке бороться с ним: так, «крушение» Белого Движения было, по их мнению, «позорно», а большевистская революция... это есть своего рода «новая религия»... Хаос и соблазн царят в их душах. Подумать только, как распределились для них начала добра и зла: позор на стороне Корнилова и Врангеля, а новая религия и творчество на стороне Сталина и Менжинского.

Из всего этого духовного извращения должна родиться русская монархия? На самом деле отсюда может возникнуть только ее крушение; и для этого крушения за всю эмиграцию никто еще не сделал столько, сколько младороссы. Трезвому человеку с здоровой совестью достаточно присмотреться к ним и вдуматься в их генеральную линию, чтобы стать непредрешенцем. Идейному монархисту остается только отпрянуть от такого монархизма — ибо поистине лучше антисоветская и антикоммунистическая республика, чем монархия, братающаяся с коммунистами и со всею советчиною.

«Царь и советы». Вот мудрый лозунг младороссов. Это значит: «честь и бесчестие», «правда и ложь», «милость и свирепость», «молитва и кощунство», «служение и продажность», «патриотизм и интернационализм», «рыцарственность и гепеу». Или, может быть, это будут «особые», «младоросские» советы, приемлемые для царя? Вот откуда у младороссов это влечение к единому фронту с большевизмом: создать новые советы сможет только такой царь, который сам окажется приемлемым для нынешних советов. Отсюда их «генеральная линия»: зарубежный монархизм должен настолько обольшевиться, насколько это необходимо, чтобы вытеснить собою внутрироссийский коммунизм. Над этим они уже «перекинули через рубеж приводной камень» и «мотор их уже надрывается от полезной работы»; а несогласным они любезно советуют «покончить самоубийством» (все это выходки г. Казем-Бека). Для этого-то они и предлагали (столь искренно и нелицемерно) всей «остальной» эмиграции объединиться вокруг них.

Мы не можем помешать им вкладываться в единый фронт с большевиками. Пусть вкладываются. Этим они вершат сами свою судьбу; и в то же время дают наглядный урок всей эмиграции, подтверждающий правильность непредрешения.

Но пусть они не повторяют во всех своих журнальчиках заведомую для них неправду о непредрешенцах -- будто они реставраторы. Нет, реставраторы не мы. Мы по этому вопросу открыто, честно и недвусмысленно высказались уже тогда, когда о «младороссах» еще и помину не было.

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ

I. Новый дух

Европа не понимает национал-социалистического движения. Не понимает и боится. И от страха не понимает еще больше. И чем больше не понимает, тем больше верит всем отрицательным слухам, всем россказням «очевидцев», всем пугающим предсказателям. Леворадикальные публицисты чуть ли не всех европейских наций пугают друг друга из-за угла национал-социализмом и создают настоящую перекличку ненависти и злобы. К сожалению, и русская зарубежная печать начинает постепенно втягиваться в эту перекличку; европейские страсти начинают передаваться эмиграции и мутить ее взор. Нам, находящимся в самом котле событий, видящим все своими глазами, подверженным всем новым распоряжениям и законам, но сохраняющим **духовное трезвение**, становится нравственно невозможным молчать[1]. Надо говорить; и говорить **правду**.

Но к этой правде надо еще расчистить путь... Прежде всего я категорически отказываюсь расценивать события последних трех месяцев в Германии с точки зрения немецких евреев, урезанных в их публичной правоспособности, в связи с этим пострадавших материально или даже покинувших страну. Я понимаю их душевное состояние; но не могу превратить его в **критерий добра и зла**, особенно при оценке и изучении таких явлений мирового значения, как германский национал-социализм. Да и странно было бы; если бы немецкие евреи ждали от нас этого. Ведь коммунисты лишили нас не некоторых, **а всех** и **всяческих прав** в России; страна была завоевана, порабощена и разграблена; полтора миллиона коренного русского населения вынуждено было эмигрировать; а сколько миллионов русских было расстреляно, заточено, уморено голодом... И за 15 лет этого ада не было в Германии более пробольшевистских газет, как газеты немецких евреев — «Берлинер Тагеблатт», «Фоссише Цейтунг» и «Франкфуртер Цейтунг». Газеты других течений находили иногда слово правды о большевиках. Эти газеты — никогда. Зачем они это де-

лали? Мы не спрашиваем. Это их дело. Редакторы этих газет не могли не отдавать себе отчета в том, какое значение имеет их образ действия и какие последствия он влечет за собою и для национальной России, и для национальной Германии... Но наша русская трагедия была им чужда; случившаяся же с ними драматическая неприятность не потрясает нас и не ослепляет. Германский национал-социализм решительно не исчерпывается ограничением немецких евреев в правах. И мы будем обсуждать это движение по существу — и с русской национальной, и с общечеловеческой (и духовной, и политической) точки зрения.

Во-вторых, я совершенно не считаю возможным расценивать новейшие события в Германии с той обывательско-ребячьей, или, как показывают обстоятельства, улично-провокаторской точки зрения, — «когда» именно и «куда» именно русские и германские враги коммунизма «начнут совместно маршировать». Не стоит обсуждать этого вздора. Пусть об этом болтают скороспелые политические младенцы; пусть за этими фразами укрываются люди темного назначения. Помешать им трудно; рекомендуется просто не слушать их соблазнительную болтовню. Их точка зрения — не может служить для нас мерилом.

Наконец, третье и последнее. Я отказываюсь судить о движении германского национал-социализма по тем эксцессам борьбы, отдельным столкновениям или временным преувеличениям, которые выдвигаются и подчеркиваются его врагами. То, что происходит в Германии, есть огромный политический и социальный переворот; сами вожди его характеризуют постоянно словом «революция». Это есть движение **национальной страсти и политического кипения**, сосредоточившееся в течение 12 лет, и годами, да, годами лившее кровь своих приверженцев в схватках с коммунистами. Это есть реакция на годы послевоенного упадка и уныния: реакция скорби и гнева. Когда и где такая борьба обходилась без эксцессов? Но на нас, видевших русскую советскую революцию, самые эти эксцессы производят впечатление лишь гневных жестов или отдельных случайных некорректностей.

Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних «зверствах», или, как ее называют, «зверской пропаганде». Есть такой закон человеческой природы: испугавшийся беглец всегда верит химерам своего воображения и не может не рассказывать о чуть-чуть не настигших его «ужасных ужасах». Посмотрите, не живет ли Зеверинг[2], идейный и честный социал-демократический вождь, на свободе в своем Билефельде? Тронули ли национал-социалисты хоть одного видного русского еврея-**эмигранта**?

Итак, будем в суждениях своих — **справедливы**.

Те, кто жили вне Германии или наезжали сюда для обывательских дел и бесед, не понимают, из каких побуждений возникло национал-социалистическое движение. Весь мир не видел и не знал, сколь неуклонно и глубоко проникала в Германию большевистская отрава. Не видела и сама немецкая масса. Видели и знали это только три группы: коминтерн, организовывавший все это заражение; мы, русские зарубежники, осевшие в Германии; и вожди германского национал-социализма. Страна, зажатая между Версальским договором, мировым хозяйственным кризисом и перенаселением, рационализировавшая свою промышленность и добивающаяся сбыта, пухла от безработицы и медленно сползала в большевизм. Массовый процесс шел сам по себе; интеллигенция большевизировалась сама по себе. Коминтерн на каждой конференции предписывал удвоить работу и торжествующе подводил итоги*. Ни одна немецкая партия не находила в себе мужества повести борьбу с этим процессом; и когда летом 1932 года обновившееся правительство заявило, что оно «берет борьбу с коммунизмом в свои руки», и никакой борьбы не повело, и заявлением своим только ослабило или прямо убило частную противокоммунистическую инициативу, — то процесс расползания страны пошел прямо ускоренным путем.

* Те, которые интересуются этим процессом, найдут богатый и достаточно объективно освещенный материал по этому вопросу в книге Эрта и Швейкерта: Dr. Erth und Schweikert. Entfesselung der Unterwelt. Querschnitt durch die Bolschewisierung Deutschland. Eckart-Verlag. Berlin. 2 Aufl. 1933.

Реакция на большевизм должна была прийти И она пришла Если бы она не пришла, и Германия соскользнула бы в обрыв, то **процесс общеевропейской большевизации пошел бы полным ходом** Одна гражданская воина в Германии (а без упорнои, жестокой, бесконечно кровавои борьбы немцы не сдались бы коммунистам!), нашла бы себе немедленный отклик в Чехии, Австрии, Румынии, Испании и Франции. А если бы вся организаторская способность германца, вся его дисциплинированность, выносливость, преданность долгу и способность жертвовать собою — оказались в руках у коммунистов, что тогда? Я знаю, что иные враги немцев с невероятным легкомыслием говаривали даже. «что же, тем лучше»... Как во время чумы. соседний дом заражен и вымирает, ну что же из этого? Нам-то что? Слепота и безумие доселе царят в Европе. Думают о сегодняшнем дне, ждут новостей, интригуют, развлекаются, от всего урагана видят только пыль и бездну принимают за простую яму.

Что сделал Гитлер? Он **остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе**. Этот процесс в Европе далеко еше не кончился, червь будет и впредь глодать Европу изнутри. Но не попрежнему. Не только потому, что многие притоны коммунизма в Германии разрушены; не только потому, что волна детонации уже идет по Европе; но главным образом потому, что сброшен либерально-демократический гипноз непротивленчества. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию — европейской культуре дается отсрочка. Поняла ли это Европа? Кажется мне, что нет... Поймет ли это она в самом скором времени? Боюсь, что не поймет...

Гитлер взял эту отсрочку прежде всего для Германии. Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-духовного и социального обновления страны. Но взяв эту отсрочку, он дал ее и Европе. И европейские народы должны понять, что большевизм есть реальная и лютая опасность; что демократия есть творческий тупик, что марксистский социализм есть обреченная химера; что новая война Европе не по си-

лам, — ни духовно, ни материально, и что спасти дело в каждой стране может только национальный подъем, который **диктаториально и творчески возьмется за «социальное» разрешение социального вопроса**.

До сих пор европейское общественное мнение все только твердит о том, что в Германии пришли к власти крайние расисты, антисемиты; что они не уважают права; что они не признают свободы; что они хотят вводить какой-то новый социализм; что все это «опасно» и что, как выразился недавно Георг Бернгард (бывший редактор «Фоссише Цейтунг»), эта глава в истории Германии, «надо надеяться, будет короткой»... Вряд ли нам удастся объяснить европейскому общественному мнению, что все эти суждения или поверхностны, или близоруки и пристрастны. Но постараемся же хоть сами понять правду.

Итак, в Германии произошел **законный переворот**. Германцам удалось выйти из демократического тупика, не нарушая конституции. Это было (как уже указывалось в «Возрождении») **легальное самоупразднение демократически-парламентского строя**. И в то же время это было **прекращением гражданской войны**, из года в год кипевшей на всех перекрестках. Демократы не смеют называть Гитлера «узурпатором»; это будет явная ложь. Сторонники правопорядка должны прежде всего отметить стремительное падение кривой политических убийств во всей стране. Сторонники буржуазно-хозяйственной прочности должны вдуматься в твердые курсы и оживленные сделки на бирже.

И при всем этом то, что происходит в Германии, есть землетрясение или социальный переворот. Но это переворот не распада, а **концентрации**; не разрушения, а **переустройства**; не буйно-расхлестанный, а **властно дисциплинированный и организованный**; не безмерный, а **дозированный**. И что более всего замечательно, — вызывающий **во всех слоях народа лояльное повиновение**. «Революционность» состоит здесь не только в ломающей новизне, но и в том, что новые порядки нередко спешно применяются в виде административных распоряжений и усмотрений, **до издания соответствующего закона**;

отсюда эта характерная для всякой революции тревога и неуверенность людей ни в пределах их правового «статуса» вообще, ни даже просто в сегодняшнем дне. Однако эти административные распоряжения быстро покрываются законами, которые обычно дают **менее суровые, более жизненные и более справедливые формулы**. Это во-первых. Во-вторых, эти новые распоряжения и законы, изливающиеся потоком на страну, касаются только **публичных** прав, а не частных или имущественных. В них нет никакой экспроприирующей тенденции, если не считать опорочения прав, приобретенных спекулянтами во время инфляции и возможного выкупа земель, принадлежащих иностранным подданным. О социализме же в обычном смысле этого слова — нет и речи.

То, что совершается, есть великое **социальное переслоение**; но не имущественное, а государственно-политическое и культурно-водительское (и лишь в эту меру — служебно-заработанное). Ведущий слой обновляется последовательно и радикально. Отнюдь не весь целиком; однако, в широких размерах. По признаку нового умонастроения; и в результате этого — нередко в сторону омоложения личного состава. Удаляется все, причастное к марксизму, социал-демократии и коммунизму; удаляются все интернационалисты и большевизаны; удаляется множество евреев, иногда (как, например, в профессуре) подавляющее большинство их, но отнюдь не все. Удаляются те, кому явно неприемлем «новый дух».

Этот «новый дух» имеет и отрицательные определения и положительные. Он **непримирим** по отношению к марксизму, интернационализму и пораженческому бесчестию, классовой травле и реакционной классовой привилегированности, к публичной продажности, взяточничеству и растратам. По отношению к еврейству этой непримиримости нет: не только потому, что частное предпринимательство и торговля остаются для евреев открытыми; но и потому, что лица еврейской крови (принимают во внимание два деда и две бабки, из коих ни один не должен быть евреем), правомерно находившиеся на публичной службе 1 августа 1914 года; или участвовавшие с тех пор в военных операциях; по-

терявшие отца или сына в бою или вследствие ранения, или находящиеся на службе у религиозно-церковных организаций — не подлежат ограничению в правах публичной службы (указ от 8 мая с. г.). Психологически понятно, что такие ограниченные ограничения воспринимаются евреями очень болезненно их оскорбляет самое введение презумпции не в их пользу — «ты неприемлем, пока не показал обратного», и еще «важна не вера твоя, а кровь». Однако одна наличность этой презумпции заставляет признать, что немецкий **еврей, доказавший на деле свою лояльность и преданность германской родине**, — правовым ограничениям (ни в образовании, ни по службе) не подвергается*.

«Новый дух» национал-социализма имеет, конечно, и положительные определения: **патриотизм**, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство **чести**, готовность к **жертвенному служению** (фашистское «sacrificio»), дисциплина, социальная справедливость и **внеклассовое, братски-всенародное единение**. Этот дух составляет как бы субстанцию всего движения, у всякого искреннего национал-социалиста он горит в сердце, напрягает его мускулы, звучит в его словах и сверкает в глазах Достаточно видеть эти **верующие**, именно верующие лица, достаточно увидеть эту дисциплину, чтобы понять значение происходящего и спросить себя. «да есть ли на свете народ, который не захотел бы создать **у себя** движение такого подъема и такого духа?.. »

Словом — этот дух, роднящий немецкий национал-социализм с итальянским фашизмом. Однако не только с ним, а еще и с духом русского белого движения.

---

* В прусской адвокатуре, напр<имер>, это удаление получило такие размеры К февралю 1933 года имелось всего 11 814 адвокатов, из них 8299 «арийцев» и 3515 евреев Из адвокатов-евреев 735 участвовали активно в воине, 1383 оказались адвокатами довоенного стажа Все они сохранили свои права Подверглись запрещению 923 еврея и 118 коммунистов и большевизанов (данные от 12 мая с г) Общее число всех евреев в Германии составляет 1% ко всему населению

Каждое из этих трех движений имеет несомненно свои особые черты, черты отличия. Они объясняются и предшествующей историей каждой из трех стран, характером народов и размерами наличного большевистского разложения (1917 г. в России, 1922 г. в Италии, 1933 г. в Германии), и расово-национальным составом этих трех стран. Достаточно вспомнить, что белое движение возникло прямо из неудачной войны и коммунистического переворота, в величайшей разрухе и смуте, на гигантской территории, в порядке героической импровизации. Тогда как фашизм и национал-социализм имели 5 и 15 лет собирания сил и выработки программы; они имели возможность подготовиться и предупредить коммунистический переворот; они имели пред собою опыт борьбы с коммунизмом в других странах; их страны имеют и несравненно меньший размер и гораздо более ассимилировавшийся состав населения. А еврейский вопрос стоял и ставился в каждой стране по-своему.

Однако основное и существенное единит все три движения; общий и единый враг, патриотизм, чувство чести, добровольно-жертвенное служение, тяга к диктаториальной дисциплине, к духовному обновлению и возрождению своей страны, искание новой социальной справедливости и непредрешенчество в вопросе о политической форме. Что вызывает в душе священный гнев? чему предано сердце? к чему стремится воля? чего и как люди добиваются? — вот что существенно. Конечно, германец, итальянец и русский — болеют каждый о **своей стране** и каждый **по-своему**; но дух **одинаков** и в исторической перспективе **един**.

Возможно, что национал-социалисты, подобно фашистам, не разглядят этого духовного сродства и не придадут ему никакого значения; им может помешать в этом **многое**, и им будут мешать в этом **многие**. Но дело прежде всего в том, чтобы мы сами верно поняли, продумали и прочувствовали дух национал-социалистического движения. Несправедливое очернение и оклеветание его мешает верному пониманию, грешит против истины и вредит всему человечеству. Травля против него

естественна, когда она идет от коминтерна; и противоестественна, когда она идет из небольшевистских стран. Дух национал-социализма не сводится к «расизму». Он не сводится и к отрицанию. Он выдвигает положительные и творческие задачи. И эти творческие задачи стоят **перед всеми народами**.

Искать путей к разрешению этих задач обязательно для всех нас. Заранее освистывать чужие попытки и злорадствовать от их предчувствуемой неудачи — неумно и неблагородно.

И разве не клеветали на белое движение? Разве не обвиняли его в «погромах». Разве не клеветали на Муссолини? И что же, разве Врангель и Муссолини стали от этого меньше?

Или, быть может, европейское общественное мнение чувствует себя призванным мешать всякой реальной борьбе с коммунизмом, — и очистительной, и творческой, — и ищет для этого только удобного предлога? Но тогда нам надо иметь это в виду...

О БОЛЬШЕВИЗМЕ И СОЦИАЛИЗМЕ

ОЧЕРКИ ВНУТРЕННЕЙ РОССИИ

Об оставшихся

Я прожил пять лет под властью большевиков. Я много видел, много перечувствовал и передумал. И, может быть, есть в этом опыте такое, что интересно и важно не одному мне. Жизнь коротка; мемуаров я из осторожности не писал... Пусть же сохранится здесь кое-что из существенного.

Конечно, я вынужден буду умалчивать о многом. Но все записываемое — не вымысел, а правда.

В зарубежной России постепенно сложился и окреп предрассудок, будто все честное, патриотическое и независимое уехало из России в первые же годы большевизма, так что оставшееся там осталось или от бесхарактерной вялости, или от прямого сочувствия. Давно уже пора покончить с этим предрассудком, исторически несостоятельным и духовно вредным...

Правда, было немало таких, что не уходили от растерянной вялости, от безволия, были и такие, что остались от сочувствия: ибо настал их день, пришел их час, — перед ними впервые раскрылись небывалые, нежданные возможности... Но огромная масса русского населения не эмигрировала вследствие здорового, органически верного инстинкта оседлости; вследствие глубокого нежелания оставлять свою страну, свой очаг, свой город; вследствие глубокой, бессознательной, национально зиждущей инерции...

И как же глубоко ошибаются те, кто думает, что внутренняя Россия исчерпывалась за эти годы или исчерпывается теперь «слизняками» и «большевиками»! Подумайте только, что в скорбную книгу большевистского террора только за пять лет, и притом «официально», занесено свыше двух с половиной миллионов убитых. Подумайте, сколь многие из них могли уклониться от ареста, сколь многие из арестованных могли купить себе жизнь и свободу ценою отречения, предательства или хотя бы просто «лояльной службы»... Ведь пресмы-

канием спас свою жизнь в 1918 году распутинец Варнава[1]; ведь я сам видел пресловутого Илиодора[2] ожидающим обещанной субсидии в московском совете; ведь жандармы и охранники, если хотели, находили свою службу в чека... Большевики расстреливали не слизняков, а стойких. Учтите это и поймите, что внутренняя Россия в первые же пять лет дала не менее трех миллионов мучеников, часто исповедников, принявших внешнее унижение, муки и смерть, но не принявших сатаны и духовного унижения[3]. Зная это, можно ли поносить всю внутреннюю Россию? Можно ли отчаиваться в нашем будущем?

Нет, люди оставались там не только от безволия.

Когда большевики захватили власть, то царило общее убеждение, что это будет короткая авантюра, что у сумасшедших нет перспективы, что бандитизм быстро пожрет сам себя. Краткосрочными, почти обреченными считали себя и сами большевики: и не верили в свои мероприятия; и потому сами, под рукою, скупали за бесценок только что аннулированные государственные бумаги. Все в один голос говорили «о двух неделях», и будущее было скрыто от всех.

Правда, отъезд начался и уже шел. Но уезжали или те, которые желали активно, вооруженно бороться с большевиками, или те, которые до смерти перепугались в октябрьские дни, — т. е. уезжали герои и трусы. Но основная масса интеллигенции как-то не верила ни в силу, ни в будущность большевиков, презирала их и даже готова была к известному, мужественному, но пассивному отпору. Вспомните забастовку городских учителей, длительный процесс бойкота и саботажа...

Время шло. Никто не предвидел, насколько большевики бесстыдны, свирепы и цепки; никто не мог предвидеть, насколько попутен окажется им черный вихрь истории. И все продолжали говорить о «двух неделях». Потом говорили о «двух месяцах». Потом откладывали с осени на весну, с весны на осень.

Еще в 1919 году уверенно ждали конца. Весною этого года Н. Н. Щепкин, ведший тогда в Москве конспиративную военную организацию и в августе героически погибший в чрезвычайке[4], говорил, что лето должно принести перелом и что если осенью большевики не

падут, то придется заново пересмотреть вопрос о формах борьбы с ними... Ведь в августе того же года большевики выработали уже план эвакуации «Москвы» на восток и, — я знаю это из среды совнаркома, — недели две прожили «на чемоданах». Ведь еще в 1920 году ждали спасения от Врангеля и от войны с Польшей... И каждую весну всё, не скомпрометировавшее себя работой с большевиками, грозило интервенцией!..

Нет сомнения, что если бы мы там знали заранее о предстоящих годах большевистской республики, то меньше было бы пассивных, прячущихся и трусливых. Одни, вероятно, эмигрировали бы, другие, наверное, ушли бы к белым... И активных борцов оказалось бы больше.

Но насколько больше? Можно ли было бы ждать массового активного героизма?

Надо различать активный героизм и пассивный героизм. И вот, активный героизм всегда был и всегда будет достоянием огромного меньшинства. А это меньшинство в России было жестоко растрачено во время Великой войны и ее бесснарядья[5] и, далее, во время солдатского террора при Временном правительстве. Еще до большевиков события страшно разредили кадры русских, героически-воинственных характеров. Их оставалось немного, они уходили на юг, и внутри очередь была за пассивным сопротивлением.

И при таком положении дел имело полный смысл оставаться на месте и вести эту пассивную борьбу.

Не будем говорить о простонародье, о рядовом крестьянине и рабочем. Эта основная масса русского коренного населения никуда уйти не могла и не сможет. Она вынуждена была оставаться в России. И оставалась — не только потому, что она-то именно и болела революцией и теснила интеллигенцию, захватывая ее имущество и ее места, но уже потому, что стомиллионному простонародью эмигрировать некуда, не на что, да и умственного горизонта, необходимого для эмигрированья, у нее нет. Словом, эмиграция есть проблема для человека, стоящего в духовном и умственном отношении выше известного уровня.

И вот я утверждаю, что этот кадр людей, духовно достаточно зрелых, чтобы понимать и бороться, но волею или телом недостаточно сильных для того, чтобы воору-

женно бороться в белых рядах, — имел *прямое призвание*, прямую *обязанность остаться там*, терпеть голод, болезни, все беды и притеснения, испытать непосредственно все, что несет с собою революция, вести невооруженную борьбу со злодеями и поддерживать прямое общение с простым народом.

Это совсем не значит, что вооруженная борьба была «не нужна» или «менее нужна». Да вряд ли кто-нибудь и захочет понять мое утверждение «так». Но это значит, что помимо вооруженной борьбы были еще необходимы формы невооруженной, — культурной, правовой и бытовой, — борьбы, формы ответственные, трудные, опасные, невидные, скромные, но необходимые. И люди, почему-либо неспособные бороться с оружием в руках, должны были найти для себя *эти* формы.

Был некий здоровый, органический инстинкт, который говорил нам, что надо не уходить, а принять борьбу на месте, цепко отстаивая русскую жизнь и русскую культуру шаг за шагом от надвигающегося разрушения. Когда на родину идет стихийная беда в виде телесной или духовной заразы, то нельзя оставлять свою страну и спасать себя или даже живой «кусок» родины в своем лице. Было когда-то, до революции, общее здоровье и им мы пользовались на месте, совместно и сообща, пришла общая беда, и ее мы должны принять на месте, совместно с нашим народом и сообща с ним. Или мы — кочевники, меняющие зараженное и обглоданное пастбище на другое, нетронутое? Или мы — заицы, робко бегущие прочь, как только злой охотник спустит на нас злых собак? Или наша Россия есть дикое поле, на котором селится и властвует первая вторгшаяся шайка разбойников, не встречая ни протеста, ни противодействия?.

Пусть наши белые, свергающие, — свергают и свергнут, и те из нас, кто душою безоговорочно с ними, сумеют найти формы тайного содействия им. Но нужны еще отстаивающие и охраняющие внутри, ведущие цепкую, стоикую, черную работу, направленную на то, чтобы *не выдать* злодеям нашу Россию и сберечь от нее все, что возможно.

Что сказали бы мы, если бы, в ответ на татарское завоевание, православное духовенство в виде протеста эмигрировало бы из России?

А помните ли видение, бывшее Апостолу Петру — гады кишели в некоем вместилище и голос был «встань, Петр, заколи и ешь»?..[6]

Далеко нашей современной интеллигенции до апостольства и до духовенства татарской эпохи.. Но разве наше простонародье — не дети, не дети, соблазненные злодеями? И разве его духовное воспитание не является нашей задачей? И, не отстояв внешнеи и внутреннеи культуры, разве можно было бы думать о его воспитании?

Надо понять это решение наше, — не «резолюцию», не «директиву», а массовое, органическое, молчаливое решение. кто не идет прямо в белую армию, тот останется на месте, чтобы принять бунт черни и травлю большевиков, чтобы отстаивать Россию внутри, идя на растерзание и расстрел.

Ибо ведущему — место там, где болеет, бунтует, страдает и гибнет ведомый. Таков завет, оставшийся нам от православия, от русских царей и лучших представителей русского дворянства, и тому, кто знает русскую историю, не нужно приводить многих примеров.

Да, это был органически-верный инстинкт патриотического само-отстаивания. Надо было сохранить для будущей России все, что возможно было сохранить, — и материально, и духовно. Соблюсти — до прихода белых, для грядущего исцеления, до всенародного восстания и возрождения, когда бы оно ни началось и какими бы путями оно ни свершилось. За это мы несли ответственность перед будущими поколениями. Сколько раз мы это там думали так и говорили: «Жить надо на родине, жить с родиной и умирать с нею, отстаивая ее лик и достояние»...[7]

И как уклониться от этой общей беды, когда она почти всеми поголовно испытывалась как общая вина. Об этой своей вине люди говорили редко и неохотно, но чувствовали ее все, все, для кого революция не была «достижением» и «праздником». Чего-то недоделали, недолюбили, недоумели; чего-то недооценили, что-то выдали, не отстояли, предали; чему-то попускали, в чем-то заблуждались... И вот — последствия. Сквозь все личные тревоги, заботы и опасности, на всех неискаженных лицах, во всех неожадневших и неизолгавшихся

глазах — читалось это сознание своей вины; иногда даже у меньшевиков и эсеров... И это чувство вины одних вело в белые ряды, других приковывало к месту: наше дело, наша беда, наша вина, нам и расхлебывать. Сколько раз мы выговаривали и это вслух: «Смотри, казнись, изживай, учись, — хотя бы ценою утраты всего, что любишь, здоровья и жизни...»

Уходят ли от постели больной матери? Да еще с чувством виновности в ее болезни? Да, уходят — разве только за врачом и лекарством. Но уходя за лекарством и врачом, оставляют кого-нибудь у ее изголовья.

И вот — у этого изголовья мы и остались.

Мы считали, что каждый, кто не идет к белым и кому не грозит прямая казнь, должен оставаться на месте. Иронически относились мы к тем, кто уезжал «от усталости», «не могу больше», «хочу вырваться из ада»... Помните ответ Сократа, данный им в тюрьме ученикам, когда они уговаривали его бежать от несправедливого смертного приговора? — Когда родина давала тебе покой и благо, ты умел брать, а когда пришла беда и опасность, и несправедливость — ты бежишь? — Именно «бежишь»: ибо уезжавших для борьбы мы провожали как героев, — они духовно не бежали, хотя их отъезд, по внешней видимости, и имел облик «бегства»...

Годы прошли с тех пор, как большевики захватили власть в России. И теперь, восемь лет спустя, я даю тот же самый ответ на вопрос «следовало оставаться или уходить?». И мой ответ таков: следовало уходить, но для борьбы; следовало и оставаться, но тоже для борьбы.

Это значит, что все эмигрировавшие, поскольку они стремились только унести ноги и выйти из борьбы, — предавали Россию большевикам; и нередко это были, — к отвращению грядущих поколений, — прямые или главные виновники совершившегося крушения. Но это значит также, что оставшиеся, поскольку они обывательствовали, хотели только «притулиться» или приспособиться к обстоятельствам, — выдавали Россию большевикам. Однако между теми и другими оставалось еще различие, глубокое, роковое; эмигрировавшим обывателям фактически удавалось уклониться от борьбы и испытаний; они так и ложились в духовный гроб обыва-

тельства и поныне остаются «премудрыми пискарями»[8], теми «теплыми», о коих сказано в Евангелии[9]. Те же оставшиеся, которые думали «притулиться» и «переждать», обречены были рано или поздно на испытание, выбор и решение; им фактически не удавалось уклониться от этого; сила революционного давления не оставляла их в первоначальном обывательском состоянии: им неизбежно было стать перед лицом смерти или утвердить свою духовную свободу, или предаться страху и покориться; и, покорившись внешне, — или соблюсти свою лампаду, или возжечь ее перед сатаною.

И вот, эта невозможность обывательствовать — оставалась и осталась их преимуществом: в лишениях и опасностях, не связанная абсолютно никакой организацией или заговором, рассеянная по всей России, наша интеллигенция в медленном и беспросветном умирании — доныне пьет отвратительный яд революции, отраву ее страхов и соблазнов, то падая, и в падении находя свое чистилище, то возносясь на высоту героизма и исповедничества. Для меня всегда останется непонятной склонность осуждать оставшихся: если они, вопреки всему, не пали — то это герои, и вправе ли мы упрекать их за то, что они не обнаружили еще большего героизма; если они пали и в падении нашли или найдут свое чистилище — то они драгоценные и полезные камни будущей России: если же они так и погибнут, соблазненные и развращенные, то соблазн все же пришел не чрез них[10], — они его жертвы, а не творцы. Острие же нашего негодования должно принадлежать не им, а их соблазнителям.

Так сложилось это, что многие не эмигрировали. И больше скажу, — только о себе и за себя, — если бы меня не изгнали и не расстреляли, то я, вероятно, и теперь все еще был бы там...

Заранее слышу два вопроса и отвечаю на них.

Первый: значит ли это, что следует теперь возвращаться в Россию?

Отнюдь нет. Ибо всякий, открыто возвращающийся в Россию из эмиграции, должен быть твердо уверен, что он значится в скорбных листах большевистской полиции; что он окажется в положении человека, который сам на себя подал донос в своей неблагонадежности; и

что такой донос непременно и вовсю будет использован большевиками. Служить русскому делу или бороться ему будет невозможно; как борец, он там бессилен, бесплоден и ненужен. Пусть не сомневается он, что он будет жертвою большевиков: они или замучают его, заставляя его, в доказательство своей «лояльности», служить им, или они замучают его за то, что он не захочет им служить. Надо понять, что возвращающийся эмигрант выдает большевикам — публичное удостоверение в том, что они исправились (ибо к ним можно вернуться!), а себе — волчий паспорт для ГПУ: первым он творит вредную ложь, вторым он готовит себе унижение и гибель. Только неумным и сентиментальным людям могут показаться убедительными сладкие, соблазнительные, и, ввиду[11], столь непритязательные призывы г. Пешехонова[12] к репатриации. В Россию следует возвращаться при большевиках только сменовеховцам[13] да еще тем, кто болтает об «общих задачах с большевизмом» — только они нуждаются в амнистии, бирже труда, уплотнении, в одиночке без передачи, в фотографировании при ГПУ и прочих унижениях.

Второй вопрос, — что же мы там «сберегли» и что можно охранять там теперь?

Что сбережется, покажет будущее. Знаю, что под напором большевиков, из года в год, обороняемое достояние России отчасти суживалось в объеме, отчасти углублялось в содержании. И ныне остались: храмы, библиотеки, музеи, памятники старины, живой состав русского народа, железные дороги, леса и недра. И, главное, духовно: русская душа, русская вера, русский характер, русский уклад. И в материальном и в духовном есть невосстановимое.

Огради его, Господи!

ОТЧУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЕГО МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Дамы и господа!

То, что я намереваюсь изложить вам по этой теме, имеет 10-летнюю историю. Я был непосредственным свидетелем этих событий вплоть до 1922 года[1]. Следующие 5 лет я следил за ними уже издалека, из Берлина. Если говорить кратко, то весь процесс современной

революции в России надо воспринимать как грандиозную, единственную в истории, уникальную экспроприацию собственности. Уникальность ее выражается в духе социального радикализма и сопутствующих ему потоках крови, в размерах охваченной этим процессом территории, а также в грядущих последствиях как для самой России, так и для общей истории человечества. Сразу же был положен конец мечтам о «закрытом торговом государстве» (Фихте)[2] и об искусственных барьерах против массового психоза и идеологической эпидемии. Человечество, особенно европейцы, в сфере экономики и мысли становится все более единым, сложным, взаимозависимым и взаимовлияемым. Отдельные государства экономически нуждаются друг в друге, но и наносят друг другу урон, вовлекаясь во взаимный психоз вооружения. Именно поэтому колоссальная экспроприация собственности, имевшая место в ходе русской революции, не может не сказаться в известной мере и на остальной части мира.

Во-первых, потому, что *разрушена* нормальная хозяйственная жизнь шестой части земли — страны, вклад которой в мировую торговлю в 1913 г. составлял 4% ее объема, а в 1925 г. снизился до 0,6%*.

Во-вторых, потому, что методом экспроприации впервые в мировой истории был проведен чудовищный *коммунистический эксперимент*, связанный с неистовой волей к мировому господству, для которой все средства хороши, в распоряжении которой оказались все возможности технической и политической цивилизации и которая будет идти до конца, чтобы шаг за шагом обессилить и завоевать мир.

В-третьих, потому, что эта полная и беспощадная экспроприация происходит отнюдь не сама по себе, не изолированно от мира, а напротив, является симптомом, или показателем, назревающего в Европе *кризиса частной собственности*, который упорно ищет выхода.

Попытаемся для начала ознакомить вас с конкретным планом и основополагающими установками экспроприации в России.

---

* По данным секретариата Лиги наций.

Экспроприацию понимают двояко: во-первых, как принципиальное упразднение права собственности; во-вторых, как фактическую конфискацию реальных вещей.

Уже в ходе первого года революции принципиально было отменено всякое право собственности, особенно той, которая относилась к денежному капиталу и недвижимости. Это означало, что «все будет национализировано»: дом, фабрика, земельные угодья, товары, деньги, мебель, одежда, книги... Покупка и продажа были запрещены, только кое-где допускалась частично и временно мелкая торговля на стихийных рынках, причем наличный товар по требованию коммунистов мог быть конфискован в любую минуту. Тем самым все в стране становилось зыбким, неопределенным (все регламентировалось формулировкой «впредь до отмены»), ненадежным, забитым, спорным, парализованным, закоснелым, непродуктивным. Все ждали реальной конфискации, она не замедлила произойти.

Реальная конфискация проводилась четырьмя способами. Это была:

1) либо централизованная бюрократизация в целях *коммунистического производства* (средства сообщения, фабрики, капитал, отчасти помещичьи имения);

2) либо централизованно-бюрократическое распределение по карточкам, хотя пайки были крайне неравнозначны (коммунист получал все; рабочий, занятый физическим трудом, — кое-что; бывший буржуа — совсем ничего или почти ничего). Это означало *потребление по-коммунистически* и касалось промтоваров, продовольствия, одежды, топлива;

3) либо конфискованное имущество предоставлялось во временное пользование и под ответственность («впредь до отмены») разного рода коммунам, советам, товариществам: это означало *децентрализованный коммунизм* и касалось жилья, малых предприятий, мастерских и отчасти поместий;

4) или, наконец, конфискованное просто отдавалось другим людям — особенно как революционное вознаграждение или знак отличия коммунистам, заслуженным соратникам или для подкупа «знаменитостей» в сфере технической и духовной культуры. Так, палач получал

одежду казненного, доносчик — часть имущества жертвы доноса, бывший лакей — часть вещей и одежды своего господина; один — чужую квартиру, другой — чужой дом, третий — чужое имение с дворцом и т. д.

То, чем владел человек, пока еще не классифицированный как «буржуй» и не приговоренный к казни, можно было бы обозначить как минимум и как максимум: минимум сохранялся, в частности, в тех городах, где увлекались методом так называемого «ущемления буржуазии» — тогда у людей было или только то, что они носили на себе, или еще немного белья да к тому еще пара стульев; как максимум сохранялось то, что было надежно спрятано и лишь случайно не найдено все перерывающими вверх дном коммунистами да еще, может, комната с мебелью для двух-трех членов семьи и кое-что из одежды.

Итак, это была чудовищная организованная расправа с любым имуществом и собственностью; захват, передел; крах для одних, нажива для других. Общий итог для основных сословий можно было бы вкратце подвести так:

1. В России 80% населения составляют крестьяне. В 1916 г. была проведена в последний раз точная перепись сельского населения. Глубокий знаток русских аграрных отношений проф. Косинский приводит следующие данные, касающиеся площадей, пригодных для земледелия, в дореволюционной европейской части России: 41 млн. десятин принадлежал помещикам, индивидуальные владения которых чуть превышали 50 десятин* (так называемое «капиталистическое хозяйство»); 154 млн. десятин принадлежало мелким собственникам, индивидуальные владения которых не превышали 50 десятин; из этих 154 млн. в полной собственности крестьян было больше 70 млн. десятин; остальные 84 млн. принадлежали им по праву сельской общины. Около 79% сельскохозяйственных земель составляли мелкие угодья; больший процент мелких собственников имели, быть может, только Дания и Болгария.

Теперь, после революции, дело обстоит так, что в целом из 299 млн. десятин едва ли 4 млн. отведено под

* 1 га составляет 9/10 десятины.

так называемое «государственное имущество» советского правительства. Бывшие помещики полностью истреблены, а их земли разбиты на мизерные участки. 290 млн. десятин принадлежит крестьянам. Сегодня крестьянин имеет на душу земли только на 2/5 десятины больше, чем перед революцией. А если еще принять во внимание, что крестьянство ведет почти исключительно экстенсивное хозяйство*, что русское население за 5 лет увеличилось не меньше, чем на 8 млн. человек, что в революционном перераспределении земли приняло участие немалое число прибежавшего на село городского пролетариата, что в массив разделяемой земли была в значительной мере включена и частная собственность крестьян и что, наконец, революция способствовала усиленному процессу индивидуализации в крестьянстве и тем самым всеобщему стремлению к разделу внутри отдельных крестьянских подворий, т. е. к дроблению и увеличению числа отдельных хозяйств, то становится вполне очевидным, что нынешнее крестьянское сословие переживает колоссальное разочарование и что Советская Россия страдает от относительного аграрного перенаселения. Согласно новым статистическим данным, крестьянские хозяйства в 1924 г. были в среднем хуже обеспечены пахотной землей, чем за 19 лет до этого (в 1905 г.): раньше средний размер составлял 8,5 десятины, сейчас — 7,4.

Экспроприация в России вызвала у крестьян крайнее неудовлетворение и привела к грандиозному *процессу дифференциации* жизни, о котором ярко говорят следующие цифры советской статистики.

Перепись населения 1927 г. свидетельствует о том, что в течение последних примерно четырех лет город-

* Интенсивность сельскохозяйственных угодий в России при помещичьем землевладении была столь высокой, что в 1916 г., например, с 8 млн. десятин, обрабатываемых в больших хозяйствах, собрали 32% всего урожая зерновых; с 64 млн. десятин, обрабатываемых крестьянами, — остальные 68%. Но рыночная продажа была обеспечена тем, что помещики одной девятой своих посевных площадей обеспечили 48% проданного зерна (по данным гр. А. А. Салтыкова, Мюнхен).

ское население в России выросло на 24% (на 5 млн. человек). Каждый год свыше миллиона человек покидает деревню, перебирается в города, пополняя списки безработных; работу, конечно, не находят, образуя таким образом резерв будущей контрреволюции.

30% крестьянских хозяйств, по советским данным за 1928 г., являются безлошадными, а это означает, что около 5,5 млн. крестьянских хозяйств пролетаризированы, хотя по подсчетам коммунистов процент зажиточных крестьян возрос: перед войной их было около 5%; теперь же, как сообщают, свыше 12%. Еще в 1926 г. один из коммунистических лидеров Рыков выражал опасение по поводу политической реставрации.

Так обстоит дело с крестьянским сословием.

2. Класс бывших помещиков был сведен к нулю. Полная конфискация земли проводилась без всякой компенсации. Большинство помещиков постепенно арестовывалось ЧК и расстреливалось (по поводу, без повода, отчасти в качестве «заложников»). Многие бежали. Какая-то часть их сегодня сама обрабатывает маленькие участки земли и все еще преследуется, лишается собственности, ссылается, уничтожается.

3. Сходным образом обстояло дело с фабрикантами и купцами. Полностью, без всякого возмещения экспроприированный, собственник фабрики был уже счастлив, если оставался в живых или если ему удавалось устроиться на этой фабрике каким-нибудь бухгалтером или конторщиком (что было исключением).

Бывший купец, часто начиная со всякой мелочи, время от времени пытался пробить себе дорогу, особенно с 1921 г., с введением так называемой «новой экономической политики», но его постоянно придерживали: или обкорнают, как овцу, или сошлют в Сибирь.

4. Примерно то же самое происходило и с домовладельцами. Дома были «конфискованы», как и все остальное, без возмещения убытков и отданы в распоряжение сомнительных «дворовых коммун». Повсеместно создавались «домовые комитеты», которые были обязаны следить за жилищным хозяйством. Затем последовала муниципальная «жилищная политика» с ее терроризмом и взяточничеством.

Так называемая буржуазия насильственным образом из своих домов выселялась и в них тут же вселялся пролетариат: дом становился рабочей коммуной, которую возглавлял коммунистический комендант.

Деревянные дома, которых по стране было довольно много, разбирали в связи с топливным кризисом. Из-за этого сильно сократилось количество жилой площади. Нового строительства не было и нет ни в коммунистическом, ни в бесследно исчезнувшем частном владении. Показатель строительства, по сравнению с довоенным временем, стоит на отметке 265, и это при всей неудовлетворительности строительного материала. Численность городского населения, как уже говорилось, постоянно растет.

Появилась пресловутая «политика уплотнения жилья», которая сегодня проводится еще более жестко. Все было измерено, все просчитано. Квартиры, а затем и комнаты, продолжают делить. Чужие друг другу люди вынуждены жить рядом в одной маленькой комнате; и везде внедрен коммунист, который ведет политический надзор и постоянную слежку, так что человек боится даже собственных мыслей. Нынешним идеалом советского жилищного хозяйства являются 8 кв. м жилплощади на человека; в реальности средняя норма составляет 6 кв. м и ниже; кое-где она доходит до «гробовой нормы» (специальный термин советских политиков). Часто можно видеть две семьи, живущие в одной комнате; четыре-пять семей, пользующихся одной кухней. Часто на 18—20 человек — единственный туалет.

К тому же надо учесть, что коммунальные дома рассматриваются как никому не принадлежащие. Пролетарий, который первые годы революции вообще ничего не платил за жилье, теперь платит смехотворно мизерную сумму, которая не покрывает ни ремонта, ни подновления*.

Ни у кого нет ни интереса, ни желания поддерживать в порядке дом, лестницы, водопровод, полы. Следствием этого является систематическое сокращение

* Согласно советской статистике от января 1928 г., «революционная арендная плата» покрывала только половину необходимых издержек.

жилого фонда* и частного жилья**. Год назад коммунисты сообщали (буквально): «Чтобы поднять жилплощадь до уровня 6 кв. м на человека, необходимо в течение следующих пяти лет (1927—1931) вложить 4,5—5 млрд. руб. Однако пятилетний бюджет Госплана*** может выделить на жилищное строительство сумму около 2,4 млрд. Из этого следует, что в ближайшие годы размер площади на одного человека будет сокращаться».

О проблеме домовладения достаточно.

5. Больше всего выиграл рабочий класс и особенно верхушка коммунистической партии.

Но если подойти к этому вопросу реально, то приобретения рабочего класса в целом нельзя считать высокими****. Согласно данным советской статистики, потребуется 10 лет, чтобы реальная зарплата рабочего достигла довоенного уровня, и это притом, что расходы на жилье составляют не 20% его бюджета, а в среднем только 4%. 8-часовой рабочий день введен чисто номинально, поскольку очень часто работают больше (сверхурочно). Безработица с каждым годом растет. И если остается что-то, что можно считать основательным, это некоторое количество мебели, одежды и посуды, прежде изъятых у других.

6. По-настоящему выиграли только коммунистические вожди, которые распоряжаются всем в стране, которые скупают все подряд и прячут за пределами страны, чтобы обеспечить себе будущее.

Таков в целом конкретный итог экспроприации и передела собственности в России.

---

* Согласно подсчетам за 1927 г., в различных городах до 30—40% муниципальных домов не используется.

** С 1921 г. были сделаны попытки вернуть прежним владельцам (и, вероятно, *новым* претендентам) небольшие, находящиеся в плохом состоянии дома на слишком невыгодных условиях — с целью «управления» и «ремонта». Но эти попытки особого успеха не имели.

*** Высший советский орган, осуществляющий восстановление страны.

**** См. тонкую и проницательную работу лучшего знатока советского хозяйства д-ра В. Гефдинга (Берлин).

Теперь попытаемся понять поучительный внутренний смысл процесса в целом. Что дает стране такая экспроприация?

Во-первых, разрушение хозяйства и огромный национально-экономический ущерб. Некоторые советские экономисты с большой осторожностью пытались в прессе показать, что за время революции народное богатство сократилось всего на 30%, и исходя из этого подсчитать общую стоимость ущерба; в действительности эта цифра гораздо выше. Известно, что в ходе такого процесса любой гражданин (в том числе и экспроприатор, который получает явную выгоду) как член общества теряет бесконечно больше того, что ему удалось так или иначе присвоить как частному лицу. Ибо общий уровень жизни, культуры, производства, трудовой занятости, реальной заработной платы, а также общего потребления падает в такой степени, что нахвативший экспроприатор не в состоянии ни пользоваться, ни наслаждаться захваченным им имуществом. Добыча, так сказать, тает в его руках и стоимость ее исчезает.

Здесь достаточно указать только на то, что перед войной за пуд ржи* крестьянин мог купить 4,5 м текстильных товаров, а теперь (согласно советским данным) едва 4/7 м; что качество товаров все больше снижается, что до войны повышение цены на предметы розничной торговли составляло 20%, а теперь — 64%, что несколько миллионов лишенных родителей беспризорных детей блуждают по стране, как маленькие дикие звери, проституированные, зараженные сифилисом, отравленные кокаином, бездомные, ищущие, где бы чего стянуть, жертвы чудовищной экспроприации. Этому соответствуют и остальные — хозяйственный и культурный — уровни несчастной страны.

Это говорит о том, что экспроприация есть основательное обнищание лишенного собственности культурного слоя и, следовательно, всеобщее культурное опрощение и деградация. Ибо культурные ценности не могут создаваться по приказу. Целые поколения самоотверженно трудились над тем, что было снесено и раз-

* Один пуд составляет около 17 кг

громлено в течение каких-нибудь 3—4 лет. К тому же надо иметь в виду, что перед войной состоятельный слой в России был очень тонким. Если, например, (по данным Войтинского[3]) возьмем скромный уровень годового дохода в 3 тыс. марок, то увидим, что в 1910 г. в США доходы выше этого уровня имело 47%, в Англии — 12,5%, в Пруссии — 6%, в России — 1,2% населения. Россия страдала от явно замедленной и недостаточной концентрации капитала, а потому была вынуждена постоянно его ввозить. В России практически не было многочисленного, экономически зажиточного среднего сословия, и поскольку богатый слой в стране был недостаточно богат, низший слой не был подготовлен к хозяйственному методу обогащения путем интенсивного землевладения.

Не следует забывать, что дореволюционная Россия была самой непролетаризированной из всех европейских стран. В то время как из каждых ста самостоятельных в хозяйственном отношении человек* в Англии, к примеру, пролетарии составляли 77%, в Швейцарии — 66%, в Австрии — 63%, в Германии — 61%, во Франции — 48%, в Италии — 45%, в Греции — 22%, в России в 1921 г. (то есть после экспроприации) — 13%, а до войны — только 7—10%.

Статистика говорит и о том, что в довоенной России вовсе не приходилось бороться с экономическим и культурным обнищанием — напротив. Достаточно указать, что в течение 20 лет (1894—1914) при росте численности населения на 40% прирост валового годового продукта был куда более заметным. Так, валовое производство зерна в последние предвоенные годы увеличилось на 70%, количество рогатого скота — на 63%, добыча каменного угля — на 300%, нефти — на 80%, сахара — на 245%, хлопка — на 380%, золота — на 43%, меди — на 375%, чугуна — на 250 %, железа и стали — на 224%. Золотой запас государства вырос на 146%, а годовой бюджет министерства духовных дел — на 628%**. Показатели экономического и культурного роста в целом

* «Мир в цифрах».

** Ср. «Мир в цифрах».

намного превосходили показатели прироста населения. Так не выглядит нищающий народ, для которого единственным шансом остается неизбежность революции. Россия и не была таковой. Работали себе во благо, и работали весьма успешно. Аграрная реформа Столыпина (1909 г.) была таким мощнейшим побудительным толчком, какого Россия не переживала со времени крестьянской реформы (1861 г.); это был конец экономически тормозящей деревенской общины; это был путь к частной собственности, к интенсивному хозяйству, к среднему сословию, к правосознанию...

Все это свидетельствует о том, что социальная революция в стране произошла, смогла и должна была произойти не из-за неравного распределения имущества; если бы это было так, то жизнь всех других народов была бы вечной революцией. Имущественное равенство вообще является противоречащей природе человека утопией, химерой, возникающей из чувства неполноценности и зависти.

Социальной революции благоприятствует не то, что немногие имеют больше остальных, многих, а прежде всего то, что в стране имеется громадное большинство, которое в абсолютном выражении имеет слишком мало. Итак, чем многочисленнее нищающее большинство, тем легче назревает социальная революция (это относится и к Великой французской революции 1789 г.).

Далее, революции способствует и то, что большие массы людей (совершенно независимо от их исходного уровня) пока еще не нашли пути к продуктивному, успешному труду, ведущему к самообогащению (если народ молод), или уже не найдут (если народ дряхл и утомлен). Тогда в массах возникает навязчивая иллюзия: «если бы присвоить себе все, что держат в руках те, наверху, мы стали бы сверхбогачами и могли бы поделиться с теми, кто внизу, ведь справедливость требует равенства» и т. д. Так как люди не находят выхода (например, через интенсивное хозяйствование, умножение собственности, прилежание, дух предпринимательства) или им действительно ничего не достается (как при карточной системе), — они меняются, становятся завистливыми, склонными к брожению, особенно там, где средний слой не-

достаточно надежно заполняет разрыв между верхами и низами и где недостаточно заинтересованных людей, готовых к защите сложившегося порядка имущественного распределения (это касается России).

И наконец, революции благоприятствует то, что появляются широкие слои, которые не знают или забыли о благодетельном влиянии собственности, о ее благе, отраде и силе. Я имею в виду пролетарский класс. Это касается и европейских государств. Неимущий постепенно теряет правильный взгляд на собственность — созидательную, творческую, любимую, собирающую, животворную. В результате собственность как таковая лишается святости; инстинкт собственника становится пресным, пошлым, легкомысленным, безответственным; собственность воспринимается вне связи с производством и совершенствованием, но ценится как потребительская возможность, за которую борются. Однако с этой точки зрения ее существование, сила и дух становятся проблематичными; теперь это реально означает захват, отмену собственности, остается только потребление как таковое. В вопросе о собственности пролетариат в целом психически и социально ущербен. К тому же являются коммунисты, превращающие этот недостаток в добродетель, преподнося эту ущербность как признак истинного нового социалистического образа жизни. И пролетаризированный человек масс, который всего лишь хотел оспорить сложившееся распределение собственности богачей, благодаря своей партийно-классовой идеологии видит себя ниспровергателем собственности вообще, хотя на самом деле он — поддавшийся моде деградант.

Проблема грандиозного кризиса собственности тем самым не является неразрешимой, важен поиск способа его преодоления; иначе — вместе с водой из ванны выплескивается и ребенок. Извращенная установка пролетария становится бесценным идеалом, вводятся необычайные нормы и правила, чтобы эта превратная установка насильственно подавила и пролетаризировала весь мир (одним ударом или постепенно — неважно; все зависит от темперамента сокрушителей собственности, уже снискавших дурную славу).

Теперь ясно, что описанный мною процесс ликвидации собственности находится в тесной взаимосвязи с обсуждаемым и обдумываемым здесь грандиозным мировым кризисом в понимании собственности вообще. Этот процесс следует понимать как симптом уникальной, в высшей степени знаменательной и серьезной всеевропейской болезни*. Не только потому, что стоящая во главе русской экспроприации коммунистическая организация (называемая третьим интернационалом) заимствовала свою идеологию и программу у европейского рабочего движения и действительно состоит из «пролетариев всех стран»; но главным образом потому, что другие страны Запада чреваты некоторыми крайне благоприятными условиями для такой (или, быть может, несколько иной) ликвидации собственности и медленно для этого созревают. Конечно, экспроприация может идти разными путями — различаться по темпам, кровопролитию и т. п.; она может быть не социалистической, а либо чисто демагогической (типа цезаристской или республиканской — Древний Рим знавал обе), либо националистической, как в сегодняшней Польше — и т. д. Но в основе своей все придет к одному и тому же, будь то революционная экспроприация или вполне хладнокровная — организованная на «демократических» началах передача собственности в другие руки; а вот будет ли при этом принцип собственности как таковой противоречить коммунистическим принципам, в реальном плане вопрос второстепенный.

Для Европы давно настало время осмыслить и взвесить, насколько серьезно придерживаются в ней на деле принципа частной собственности, одобряет она или нет уже начавшуюся и прогрессирующую мировую экспроприацию. Ведь это же поистине всемирное движение. Оно ухватилось за старую коммунистическую безумную идею, модернизировало ее, теоретически обосновало ее с национально-экономической и социологической точки зрения (марксизм) и путем суггестивной и демагогической

* Интересно отметить, что Европа охватывает ровно четверть человечества (25%) и при этом дает в совокупности 65% организованного рабочего класса.

пропаганды превратило ее в массовую установку и в массовый психоз. В таком виде она была импортирована в Россию, где методом насилия, террора и коварства навязывалась как ментальность и как программа европейского пролетариата культурно отсталым крестьянам.

Примечательным здесь является то, как в этой установке и психозе до сих пор в известной мере взаимопереплетаются исторически унаследованная концепция христианства и материалистически-коммунистическое антихристианство. Именно христианство, поскольку оно обращено к потустороннему, в некоторой степени склонно к отрицанию мира — отрицанию отчасти пассивному, отчасти потаенному. Поскольку оно проповедует совершенство и неземную святость, оно предлагает отказ от частной собственности как высшую их ступень. А антихристианство, исходя из материалистических установок и доктрины о классовой борьбе, пытается добиться захвата частной собственности. Итак, с одной стороны, «ты должен из любви к ближнему добровольно отказаться от своей частной собственности, чтобы не предаваться излишне земным благам», а с другой — «ты должен силой захватить чужую частную собственность из классовой ненависти». Или еще короче: сам себя лиши собственности из любви; других лиши собственности из ненависти.

Творческий подход к обоснованию частной собственности был одним из самых трудных пунктов христианской социальной философии. Даже теперь, в эпоху концентрирующегося и организующегося капитализма, христианину необычайно трудно противопоставить конфискационному пафосу коммунистов адекватный пафос, утверждающий собственность. Может быть, это проясняет, почему антикоммунистический фронт до сих пор еще не выработал руководящей и понятной массам идеи собственности и вместо того, чтобы начать мощное наступление, застрял в вялой обороне.

Оба приведенные выше лозунга содержат не правильное решение проблемы, а бегство от нее, бегство от основополагающей проблемы человеческого существования — проблемы частной собственности. Будущее мира может строиться не на отречении от мира и не на отказе от собственности, а только на ее утверждении и обосно-

вании. *Необходимо признать принцип частной собственности*, высоко ценить его и поддерживать в нем силу; *обосновывать его в религиозном, социологическом и философско-правовом отношении и постепенно добиваться его всеобщего духовного признания, которое, содействуя частному, хозяйственно-творческому инстинкту и удовлетворенности собственностью* (римское «uti et fruti»[4]), способствовало бы подъему всеобщего развития и процветания.

Надо сказать, что такое решение проблемы — дело далеко не простое, но это, пожалуй, *единственное* решение. Мы не должны впадать в отрицание проблемы частной собственности, как бы оно ни называлось — «христианским социализмом», «безрелигиозной социал-демократией» или «антирелигиозным и антихристианским коммунизмом»; но мы должны подойти к ней смело и трезво и подчинить ее социально- и культурно-созидательной целесообразности.

Ведь самым неопровержимым выводом современной революции в России является то, что *отрицание частной собственности не компрометирует, а реабилитирует эту собственность и именно в том плане, что заставляет хотя бы понять и почувствовать необходимость ее*, даже если в этом нельзя признаться сразу, честно и открыто. Ведь место экспроприированного собственника занимает не коллективная сущность (как бы нагло и беспощадно она себя ни вела), а новый, присвоивший себе чужое собственник, революционный нувориш, вышедший из рядов коммунистических противников собственности.

При коммунизме речь идет не только об установлении нового вида собственности, а именно «коллективной собственности», но прежде всего о конкретной «здесь и теперь» собственности более богатых людей и о конкретном «здесь и теперь» разделе отнятого имущества алчущими малоимущими. То есть не по формуле: «Не было ни у кого, а теперь будет у всех», а по формуле: «Счастливы имущие, теперь и мой черед».

Вместе с тем мы должны отметить одно существенное различие, а именно: процесс экспроприации собственности нельзя путать с процессом ее социализации. Можно хотеть конфискации чужой собственности и нового ее передела и тем не менее с полным неприя-

тием противостоять социализации и национализации, именно так обстояло дело с русскими крестьянами перед революцией, которым казалось, что у помещиков, Бог знает почему, так много земли, и было бы неплохо и не без пользы отнять ее и присвоить себе, вследствие чего они легко были соблазнены и подчинены коммунистами. Не всякая экспроприация исходит от убежденных социалистов и ярых коммунистов, не всякая экспроприация несет на себе печать коллективистских целей. Зависть и корыстолюбие — вот источники болезни всемирного собственнического сознания; именно посредством противоправного переворота и крови ищут богатства и власти. Так называемый коммунист теряет, однако, очень немного: не удайся его коммунистический эксперимент, он все равно в результате становится «знаменитостью» как «мужественный» раздатчик и жертвователь сохранившихся после эксперимента жалких остатков некогда роскошного имущества.

Ничто не действует так сильно на души, как мнимые «грандиозные нововведения» в мало известной, чужой стране. Неосознанная детонация и осознанное подражание действуют безотказно. Что осталось на сегодня, в послевоенное время от социализма в Греции, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Польше, Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии? Ничего, кроме ряда министерских устроений. И тем не менее и на эти страны нахлынула катящаяся с Востока волна экспроприации*. А уже имеющая место конфискация частной собственности происходит на основе двойного принципа: *мелкособственничества и национализма*, то есть удовлетворение мелкого крестьянства, неизменно жаждущего земли, и устранение землевладельцев, недостаточно националистически настроенных.

В Восточной Европе началась яростная и кровавая коммунистическая экспроприация; неистовая, демагогическая, националистическая, она захватила народы.

* Нужно только объективно использовать высоко компетентный и объективный взгляд проф. Гефдинга, редактировавшего коллективный труд по аграрному вопросу в «Восточной Европе».

Остановится ли она милостиво и покорно у ворот европейского Запада?

Частная собственность потрясена и подточена во всем мире; в целом этот процесс вместе со связанными с ним опасностями остается единым и губительным для всех.

РУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Стосемидесятипятилетие Московского Университета... Но разве мы имеем основание праздновать его? Разве он дожил до этого юбилея? Разве это *Университет* — то, что там творится? Разве это Академия? Разве возможна Академия в этом потоке всеобщего порабощения и поругания?

Это поругание и извращение происходило на моих глазах, и воспоминание о нем никогда не изгладится из моей души. Я видел это бесстыдное действо; но я видел и то достоинство, то мужество, с которым русские академики отстаивали свою Академию. Я знаю те традиции, которые они внесли в эту борьбу и которые они из нее вынесли. И свидетельствую: *жива Русская Академия, жив Московский Университет.*

Началось с прообраза.

Отстреляли по Москве октябрьские пушки, стихли *первые белые пулеметы.* Перемирие и сдача оружия. Я в анатомическом театре Университета. Он завален трупами, подобранными на улице. Лежат сплошными рядами, на сдвинутых столах и на полу. Как много студенческих тужурок... На лицах застыло как бы недоумение, вопрос — и мука. Сторож называет их «белыми дружинниками» Хаос трупов и мертвая тишина. *Обреченная Академия подобрала с улицы своих первых героев.*

Коммунисты не сразу принялись за нас: целый год им было не до Университета. Было только две попытки «заманить»; две ставки на продажность. Одна — в «Обществе младших преподавателей»; где небольшая группа большевиков, человека три, буйно требовала «классовой» борьбы с профессорами и «демократической реформы» Университета, суля от имени власти позорные прибавки к жалованью; буйство встретило должный отпор. Другая — в Совете профессоров: коммунисты хотели «признания» и «сотрудничества» и предлагали

«новые ставки» (инфляция была в полном ходу). Помню негодующие, презрительные речи профессоров: «Будем голодать, — говорил один, ныне покойный, — но не примем тушинских пожалований от воров!» «Голод в наших семьях, — говорил другой, ныне находящийся за рубежом, — но зажмем наше сердце, стиснем зубы и будем терпеть: Русская Академия не примет позора!»

Помню последний диспут в Московском Университете: диссертант, недавно выпущен из чрезвычайки[1]; у одного из оппонентов в эту ночь произвели обыск, забрав все его рукописи и оставив на квартире засаду — вернуться домой с диспута он уже не мог; другому оппоненту предстояло пробыть на легальном положении всего три месяца...[2]

Осенью нас настигла «первая реформа»: все «трехлетние» приват-доценты были переименованы в «профессоров». «Реформа» была встречена молчаливым презрением: ведь еще Хлестаков сказал: «пусть называются»... Но атака уже готовилась по всей линии. И уже попадались на университетском дворе подозрительные фигуры, которые, сильно грассируя, спрашивали: «товарищ, где здесь записывают в красные профессора?»; и уже поговаривали о рабфаке, а в Совете профессоров стали появляться какие-то темные личности «с мандатами»; и уже бывали случаи, что арестованные профессора — в чеке[3] или Бутырках — принимали зачеты у арестованных студентов и давали им указания по «литературе предмета»...[4]

Помню «отмену» юридического факультета: должен был быть создан факультет «общественных наук», к которому пристегивались все историки, отделенные от историко-филологического факультета.

Началось с факультетского собрания юристов, на которое от наркомпроса явился плюгавый мальчишка наглого тона: «Товарищи профессора! — картавил он, брызгал слюной и кокетничал шоферским шлемом, — октябрьская революция овладевает университетом; если вы не захотите признать этого и подчиниться, то вы будете завтра же на улице». И после этой подготовки — новое заседание: 13 профессоров и 13 человек «ученых» коммунистов из наркомпроса, — целый музей обиженного и притязательного подполья, целые снопы злобы

в глазах. А за нами стояло 70 человек неприглашенных профессоров и доцентов, которым грозило немедленное увольнение; и коммунисты добивались от нас «добровольного согласия» на то, что такие-то назначенные ими раритеты из подполья тоже будут «преподавать». Мы не могли помешать назначению; но выбирать и признавать отказывались наотрез. Заседание тянулось пять часов. Нам ежеминутно грозили увольнением семидесяти неприглашенных. В начале шестого часа — ультиматум: или мы выберем Стеклова-Нахамкеса[5] на кафедру «истории третьего интернационала» (Sic!), или мы все (13+70) увольняемся «на улицу». Мы совещались недолго и категорически отказали: «на улицу — так на улицу». И когда на следующий день мы (13) передавали коллегам (70), как мы боролись и как нас всех «уволили» — мы оказались все солидарны, ни слова возражения или упрека. *Один* не согласился; *один* уговаривал нас идти в Каноссу[6] и просить о примирении, — тот самый, кто впоследствии служил спецом при торгпредстве в Лондоне и в Россию более не вернулся[7]. А «с улицы» нас скоро вернули назад.

Помню первого декана на новом факультете «общественных наук» — С. Н. Прокоповича. Мы предложили ему этот пост, как бремя, как боевое задание; и сейчас отрадно вспомнить, как смело и твердо держал он наше боевое знамя...

Помню нашего мучителя, почетного чекиста М. Н. Покровского: это остановившееся лицо маньяка, эти вытаращенные, всегда отвертывающиеся глаза с выражением злобного испуга, эти холеные руки с острыми ногтями, вечно тревожная оглядка на дверь и вскипающие на губах пузыри.

Помню еще борьбу с коммунистическим напором, которую мы вели в качестве «союза профессоров». С марта 1918 года во главе его стал В. И. Ясинский[8], наш директор Русского Научного Института в Берлине, человек большой воли и мужества, непреклонный в своем противобольшевизме, всегда разговаривавший с коммунистами тем тоном категорического отпора, от которого они терялись и шли на уступки. Десяток ордеров на арест и три увоза нисколько не поколебали его, и

наш совет, стоявший за ним, знал, *как* он понимает академическое достоинство, шел за ним до конца. Имея его во главе, наш союз категорически отказал коммунистам в 1920 г. вступить в красный «профсоюз», предоставляя им выполнять все их угрозы и готовясь к худшему... И победа осталась за нами.

Помню «прощальное собрание» закрываемого историко-дипломатического факультета в 1921 году. Помню и никогда не забуду вещие слова, сказанные одним из умерших ныне коллег: «смотрите, на нашем Акрополе нарастает слой персидского мусора; мы призваны оставаться на месте и бороться с этим мусором до последнего вздоха»...

Помню еще... но не пришел еще час вспоминать вслух все то, что запомнилось навсегда, в чем горела и закалялась душа. Не умолчу только о расстрелянных и замученных русских профессорах: мы насчитываем их до *шестидесяти*, с А. А. Волковым[9], А. И. Астровым[10] и Н. И. Лазаревским[11] во главе, не упоминая о тех, что умерли от голода, предпочитая смерть унижению, и тех, что наложили на себя руки, не вынеся позора и отвращения... Не умолчу еще о тех, что взялись за оружие вместе с В. Х. Даватцем, и о тех, что оставили свои кафедры, семьи и очаги и пошли бороться к белым вслед за П. И. Новгородцевым, князем Е. Н. Трубецким и П. Б. Струве, и о тех, что ныне мученически томятся в Соловках (помоги им, Господи!). Их имен не забудет ни Россия, ни Русская Академия.

Вот уже 12 лет, как Русская Академия, возглавляемая старейшим Московским Университетом, борется за свое звание и достоинство. Вот уже двенадцать лет, как русские ученые стали *мучениками* или *изгнанниками*; а их мучители и изгонятели стали говорить от лица Русской Академии. Бесстыдное, свирепое, обезьянье действо! Кого обманет оно? Кто поверит его ужимкам и наваждениям? Кто назовет Академией школы партийных болтунов и кафедральствующих фигляров?

Русскую Академию, Московский Университет видим мы ныне так, как не видели еще никогда. Ибо к славным традициям, унаследованным нами, наши поколения прибавили еще одну: *бороться до конца за достоинство*

ученого и за независимость науки. К традициям *науки* прибавилась традиция *волевой, патриотической воинственности,* к традиции *исследования* — традиция *исповедничества*; к завету *«жизнь для науки»* — завет *«смерть за науку»*.

Не бывает вечного гонения. Всякое гонение временно. Всякое гонение укрепляет духовные традиции и закаляет сильнейших. В старину было поверие, что непобедим тот город, в стену которого замурован живой человек. Это *стояние на живых костях* дало гонение коммунистов: Русская Академия куплена ныне ценою мучений и крови; и что может лишить нас этого достояния?

Нет, не в зданиях живет Академия; а в духе: в живых и священных, наследственно блюдомых духовных традициях. И правы мы, что празднуем ныне стосемидесятипятилетие Московского Университета.

ЯД БОЛЬШЕВИЗМА

I. Постановка вопроса

Современное человечество не уясняет себе значение того, что происходит в советской России: оно не понимает ни возникновения большевизма, ни его сущности, ни его намерений, ни его опасности. Задача русской эмиграции состоит прежде всего в том, чтобы *уяснить себе мировое значение русских событий* и затем — *разъяснить его всем народам.*

Коммунистический большевизм как движение давно уже вышел за пределы России. Цели его с самого начала были мировые; и ныне его движение разливается по всему свету. Русская большевистская революция не есть какой-то «опыт» или «эксперимент», предпринятый для осчастливления «будущих поколений». Это есть *борьба за мировую власть*, которая уже *началась*: — борьба за *общечеловеческое духовно-религиозное разложение и хозяйственно-политическое порабощение.* Эта борьба уже развернулась, и человечество разрезано ее фронтом больше и глубже, чем оно было разделено фронтом великой войны. Между обеими борющимися силами нет промежутков и пустоты, нет нейтральных сил или безразличных величин. Коммунистическая организация есть волевой центр, который не признает ни уступок, ни

примирения, ни сотрудничества: для него существуют только *враги* и *порабощенные*. Все не порабощенные — суть его враги; все враги подлежат порабощению; и все порабощенные всегда подозреваются в скрытой вражде. Коммунистический центр всегда смотрит на врага, как на своего *будущего раба*; и всегда видит в своем *рабе* — своего *бывшего врага*. Тот, кто заключает с ним договор или союз — может быть уверен, что чаша с ядом уже поднесена к его губам и что удар сзади последует в скором времени. В этой борьбе все наивные и доверчивые становятся орудием своего и чужого порабощения, особенно *в тот момент и там, когда они меньше всего ожидают*. А там, где, по-видимому, имеется еще якобы «нейтральная» сила или «безразличная» величина, там коммунист еще не добрался до своего врага, или же ему удалось ослепить его и *использовать его незаметно*.

В этой борьбе никто не имеет «иммунитета» — ни люди, ни организации, ни государства. Всюду уже намечена внутренняя грань распада и борьбы: люди только не умеют осмыслить ее или не хотят принять и признать ее волею. Через весь мир проводилась и вот уже прошла линия — сплошного соприкосновения и напора, линия отравы и отправляемости. Хотят этого люди, или не хотят; видят это и сознают, или не сознают и не видят — линия уже проведена, яд разливается, эпидемия распространяется, опасность растет. И в этой развертывающейся мировой борьбе русская эмиграция имеет ответственную и почетную задачу — разъяснить всем народам духовное значение большевистской революции.

Мир, подвергающийся ныне коммунистически-большевистскому напору, отнюдь не является сам по себе полным силы и здоровья Он борется со своими внутренними — духовными, хозяйственными и политическими трудностями и *не справляется с ними*. Он внутренне делится и распадается на церкви и государства, на расы и нации, на классы и партии, ведущие между собой давнишнюю и не прекращающуюся борьбу. Он ослаблен великим духовно-религиозным кризисом, еще не осознанным и не осмысленным, подрывающим силу и сопротивляемость человеческого духа. Он *изъеден теми самыми соблазнами и полон тех самых опасностей*, которые со-

ставляют самое естество большевизма-коммунизма и над углублением которых большевики работают, как мыши, день и ночь. И все эти затруднения, деления, соблазны и опасности образуют как бы некие *каверны* или *ямы для вливания большевистского яда* или большевистской заразы. То, что в древности виделось в видениях великим подвижникам и пустынникам православного Востока, стало ныне мировою действительностью. сила вражьего яда или заражения («приражения») стала сплошной и непрерывной стеной. Эту силу не надо преувеличивать. *с ней можно и должно бороться; ее необходимо победить.* Но именно для победы необходимо открыть глаза себе и другим.

Сущность этой борьбы мы должны продумать и усвоить до конца. Все то, что составляет недостаток, затруднение или внутреннюю опасность на одной стороне, ее минус, — есть победное преимущество, шанс на успех, или плюс на другой стороне. Всякий недостаток разумения, бдительности, силы, воли, умения, образования, таланта, храбрости, чести, организованности, гениального водительства, политического искусства, вооружения или денежных средств в белом, духовном стане — есть выигрыш и успех *в красном стане сынов погибели.* И они это знают, и зная, стараются и умеют использовать все это к своей выгоде и победе. Они делают ставку на все на борьбу между державами, особенно между Германией и бывшей «Антантой», на отделение колоний от Англии и от других держав, на замыслы черной расы и на брожение среди желтой расы, на настроения среди национальных меньшинств, на религиозно-завоевательные планы католической церкви, на слишком медленную эволюцию евреев и масонов слева направо, на мировой хозяйственный кризис (значение демпинга), на подготовку мирового пролетариата к социализму и интернационализму, на крушение парламентского строя и на демократические свободы, на латинскую революционность и на англо-саксонскую медлительность, на безбожие современного школьного учителя, на расшатанность современной семьи, на робкое безволие европейской и американской профессуры, на безыдейность и жадность руководящих хозяйственных кругов в мире,

на честолюбивую раздорливость русской эмиграции, на ее нужду, усталость и короткомыслие; на доверчивость одних, на легкомыслие других, на продажность третьих. И больше всего — *на всеобщее маловерие и смуту в умах.*

Успех большевизма в мире объясняется, во-первых, его волевой энергией; во-вторых, тем направлением, в котором он движется; в-третьих, состоянием остального, еще не завоеванного им мира.

1. Итак, во-первых, — волевая энергия большевиков.

К началу революции Россия представляла собою странную и поучительную картину, как если бы вся *воля* ушла справа налево, в злобу и разрушение. люди, настроенные созидательно и трезво, люди государственного образа мысли и патриотизма пребывали в каком-то безволии и безверии, в какой-то растерянности, напротив, чем дальше налево, тем энергичнее, агрессивнее, злее и бесстыднее вели себя люди. Воля к бесчестию, к разрушению и грабежу — была сильна и сосредоточенна. Воля к спасению родины, к порядку и верности, к отпору большевикам — пребывала в бессилии и бездействии.

Ныне это состояние в большей или меньшей степени распространяется по всему свету. Коммунисты знают, *чего* они хотят, и ломятся к своеи цели беззастенчиво, искусно, неутомимо, у них есть идея — правда, извращенная и гибельная, у них есть *план борьбы* — правда, лукавый и свирепый. и все-таки у них есть и то и другое. Не коммунисты не знают, чего они хотят, их воля находится в состоянии величайшего разнобоя и взаимного противоборства. они только и делают, что обессиливают друг друга и сами себя. у них нет идеи — духовнои, политическои и социальной, которую они могли бы противопоставить коммунистам и которою они могли бы увлечь за собой массы. у них нет и плана борьбы с мировою заразою, и если где-нибудь появляется зачаток такои идеи (напр. в фашизме), то им пользуются, как домашним снадобьем, целебным для себя и опасным, а может быть, и гибельным для всех соседеи. Народы продолжают жить так, как прежде люди жили во время чумы. только бы самому не заразиться, да еще бы нажиться от общей беды; а остальные как хотят... И вот — воля крепнет во зле и слабеет в добре. А этого только и надо сынам погибели.

2. Успех большевизма-коммунизма в мире объясняется, во-вторых, тем направлением, в котором он движется, это есть *движение по линии наименьшего сопротивления*. Дух человека, когда творит и созидает движение всегда *по линии наибольшего сопротивления*. Духовная культура — в науке и в искусстве, в политике и в хозяйстве — требует всегда *обуздания страстей, напряжения, труда, аскеза*; она невозможна без *лишений, страданий и воли*; она всегда творит *высший закон* и предполагает в человеке *верность и силу характера*. Напротив, большевистская пропаганда движется по линии *страстей и вожделений*, потакая самым сильным, самым дурным, самым разрушительным из них. Большевик берет человека как существо, жаждущее удовольствий и прибытка, как существо утомленное и подлежащее разнузданию. Этому существу большевик несет распаляющие слова и посулы, с тем чтобы затем одурачить его. Он говорит как бы голосом и словами этого существа, с тем чтобы увлечь и поработить его.

Дух требует внутренней дисциплины. Большевизм создает *массовый психоз, заразу, эпидемию*. Он движется по линии наименьшего сопротивления и ведет в пропасть.

3. В-третьих, *успех* большевизма объясняется состоянием остального, еще не завоеванного им мира. В этом мире царит жадность, взаимная ненависть и, главное, слепота. Этот мир имеет многочисленные *каверны*, приспособленные для восприятия большевистского яда, или, если угодно, очаги воспаления, как бы созданные для бактерий большевизма. Эти каверны и очаги имеет и русская эмиграция: их надо прежде всего осознать и устранить.

В чем же сущность большевизма? И в чем эти опасности?

II. Большевизм как состояние души и бытовое явление

Большевизм есть не только политический и хозяйственный строй, т. е. *диктатура партии, водворяющей социализм посредством принуждения и страха*. Всякий строй, и республиканский и монархический, социалистический и частно-хозяйственный — зарождается и

созревает в *человеческой* душе; в строении и настроении человеческих душ его главная опора. Пока одни люди умеют приказывать, а другие готовы повиноваться — строй будет существовать; и разрушить его будет невозможно. Для того, чтобы он пал — в одних душах должна *разложиться воля к власти*, а в других должен *сложиться отказ от повиновения, отказ* во что бы то ни стало. Искусство править есть искусство организовывать и повелевать: и еще — искусство не допускать подчиненных до отказа от повиновения.

Вот почему *большевизм* следует рассматривать как душевное состояние. Россия рухнула потому, что большевизм водворился в душах. Большевистская пропаганда и есть не что иное, как подготовка *душ*. И если большевизм овладеет душами на Западе, то рухнут одно за другим все западные государства.

Что же есть большевизм?

Большевизм есть *разложение душа и разнуздание алчности в человеческой душе*.

Это разложение и разнуздание не ново в истории человечества: ново его современное название, обоснование и проповедь. Доселе в истории человечества такое разложение духа и разнуздание алчности вспыхивало лишь периодами, наподобие эпидемии — в эпохи смут и гражданских войн, а также в эпоху чумы, когда ожесточившиеся души, *рискуя всем, начинали посягать на все и разрешать себе все*. В разные эпохи, в учении тайных сект, можно найти попытки *обосновать* это духовное разложение, превратить его в *учение* и систему и *распространить* его посредством пропаганды; однако эти попытки никогда не имели решающего *успеха* и всегда находили себе предел — то в сопротивлении здорового инстинкта и здоровой религиозности, то в отпоре государственной власти, то в невозможности выйти за пределы данного языка и национальности. Заболевшая часть человечества *обуздывалась* или *искоренялась* здоровым большинством и не успевала заразить его своею душевною болезнью.

Большевизм не есть помешательство, но он есть несомненно *душевно-духовная болезнь*; этим, между прочим, и объясняется то обстоятельство, что во главе большевистских восстаний и переворотов оказываются нередко

люди или психически неуравновешенные, или нравственно дефективные, или просто находящиеся в стадии начального помешательства; так было и в Мюнхене, и в Венгрии, и в России (паранойя Ленина была установлена врачами по его речам и поступкам за несколько лет до его обострившегося слабоумия[1]).

Большевизм, как душевная болезнь, состоит в том, что в человеке *разлагается и слабеет духовное начало* и начинает преобладать *начало животного инстинкта*. Животный инстинкт, сбросив с себя духовный закон, оказывается *безудержной алчностью*, требующей чувственных удовольствий и земного благополучия (бытовая форма материализма). Его формулы: — «*все немедленно мне*» и «*все средства хороши*». Это настроение может охватить целый класс, и тогда он станет *революционным* классом: он начнет *гражданскую войну* и в случае успеха создаст тиранию или *классовую диктатуру. Требования его оказываются максимальными*; его борьба становится *беспощадною и свирепою*. Поэтому большевизм должен быть обозначен, как *максимализм и терроризм*.

Такое желание — «всех задавить и все себе забрать» (все имущество и всю власть) — может быть связано с социализмом и коммунизмом; но оно может быть и не связано с ними. Древняя Греция и Древний Рим знали такие гражданские войны, в которых ни та ни другая сторона *не* стремились к отмене частной собственности, и в то же время обе стороны предавались взаимному истреблению, изгнанию и грабежу; *сословно-классовый большевизм* владел тогда и «аристократами», и «демократами»; боролись за власть и за перемещение богатств из рук в руки, клялись ненавидеть друг друга и вредить друг другу до конца; доходили до того, что захватывали детей своих политических врагов, жгли их живыми в смоле или бросали под ноги быкам.

Итак, большевизмом могут заболеть не только социалисты, но и классы и партии, признающие частную собственность*; не только левые, но и правые; не только

* Напр., *крестьяне*: в первые годы революции крестьяне, настроенные революционно, не раз говорили коммунистам в Сибири и на Украине: «мы большевики, но не коммунисты». См. в сочинениях Ленина Т. XVIII ч. 1 стр. 327. Именно таково было все движение Махно на Украине.

люди, стремящиеся к захвату государственной власти, но и анархисты. Большевизм есть по существу своему *разбойничье настроение: вторжение разбоя в политику* или *превращение политики в разбой*. Это разбойничье настроение может таиться в подполье (период нелегальной борьбы), но может выступать и открыто («грабь награбленное»). Мало того, это настроение может укрываться в оттенках и проявляться в таких поступках, которые обычно не называются «большевистскими», но которые подобны и равноценны большевистским.

1. Так, *беспринципный карьерист*, который меряет все дела своим личным успехом, своею *алчностью*, считая, что *все средства хороши*, — близок большевикам, даже и тогда, когда он, по-видимому, выступает как «крайний правый»; вот почему в русской революции мы видим, как множество беспринципных карьеристов из *всех* партий охотно пошли на службу к большевикам. Именно поэтому беспринципные карьеристы всех стран являются и сейчас уже готовым кадров и будущим орудием большевизма: страна, в которой вспыхнет большевистская революция, увидит, как все ее беспринципные карьеристы повалят, под тем или другим предлогом, «на службу» к большевикам.

2. Такова же участь и всех *политических авантюристов*: совсем не надо быть коммунистом для того, чтобы оказаться в стане большевиков: достаточно быть *безыдейным* и *безответственным честолюбцем*. Есть люди, которые только и делают что пристегиваются к повозке «победителя», в которых живет неодолимая потребность говорить о всякой власти «мы» и пробираться в ее сердцевину. Есть и такие, — а в наши дни *их* повсюду особенно много, — которым всякая смута кажется желанною, потому что она сулит им «благоприятную» конъюнктуру; или же такие, которым необходимо утопить их печальную репутацию в революционном половодье, подрывающем в душах всякое понятие о добре и зле. Чем больше *таких* людей в стране, тем ближе она к большевизму: и многие из них окажутся впоследствии у большевиков на службе.

3. Сюда же относятся и все *продажные люди*, которые готовы за свой личный прибыток предать общественное

и национальное дело. Общественное дело есть для них не более, чем поле охоты или личного промысла, — большая дорога, на которой они «промышляют» себе «добычу». Государственное здание всегда подобно обороняющейся крепости, продажный человек подобен сторожу, который потихоньку распродает на сторону пороховой запас или впускает врага в крепость за деньги. Душевно кривые люди вообще не знают верности и спокойно предают всякое дело. Судьба их в том, чтобы большевики купили их, а потом за ненадобностью *расстреляли*. Понятно, что всякая страна тем ближе к большевизму, чем больше в ней таких людей.

4. К разряду таких явлений, предвозвещающих большевизм и облегчающих его наступление, относится и *хулиганство*, столь близкое к бытовому *самодурству*. Хулиганство есть проявление злых и необузданных страстей. Человек ищет *злой потехи* и для этого не останавливается не только перед шиканой*, но и перед прямым преступлением. Его всегда тянет нарушить закон и запрет и поставить другого в трудное или мучительное положение. Чужие страдания забавляют и утешают его; всякое вредительство — иногда совершенно «бескорыстное» — доставляет ему удовольствие; разрушение становится его стихией. Двигаясь по этому пути, он легко доходит до *свирепости* и до *кощунства*; и всегда несет с собой атмосферу *вседозволенности*.

Большевизм есть не что иное, как *хулиганство в политике*, а хулиганство есть *бытовой большевизм* (отсюда близость Есенина, Маяковского и других им подобных — к большевикам). Русское хулиганство, расцветшее в 1905—1908 годах и не раз обличенное в русской художественной литературе, было прямым *предвестником большевизма*. Ныне явление хулигана, обозначаемого иностранным словом «рауди», известно уже во всей Европе и особенно в тех странах, где русские коммунисты беспрепятственно и успешно ведут свою пропаганду. Таким образом можно сказать с уверенностью, что *в европейских странах рост хулиганства и рост большевизма будут идти*

* Шиканой называется в юриспруденции пользование своим правом исключительно во вред другому.

рука об руку; и что страна, захваченная большевистской революцией — увидит своих хулиганов в рядах коммунистического чиновничества и поймет на деле, что есть хулиганство в политике.

5. Еще в большей степени все это относится к *профессиональным преступникам* из уголовного мира. Они тоже своего рода беспринципные карьеристы, но они работают не «по службе» и не по законам, а вопреки законам; они тоже авантюристы — но ищут не политической власти, а обогащения; их дело тоже продажное и предательское, но зато они не симулируют ни «служения», ни «верности». Большевистский дух выражен в них наиболее откровенно: *алчность и пользование всеми средствами*. Правда, бандит — не политик, но разве вся жизнь его не есть вооруженное восстание? И разве в этом вооруженном восстании нет оттенка «социального протеста»? Политический революционер может с своей стороны избегать (по возможности) уголовных правонарушений; но разве возможна нелегальная борьба без нарушения законов, и разве возможно вооруженное восстание без убийств и грабежей? Нет возможности установить, где кончается разбойник и где начинается политический восстанец в Спартаке, в Фоме Мюнцере[2], в Разине, в Пугачеве и других, подобных им. Движение Махно на Украине (1918—1921) было не только разбойное, но и политическое. Недаром еще Бакунин и Нечаев настаивали на сближении русских революционеров именно с разбойно-каторжным элементом. Недаром Достоевский отметил сотрудничество Петра Верховенского с Федькой Каторжным. Не случайно русские большевики и левые социалисты-революционеры развязали движение «экспроприаций» в 1906—1907 году, организуя и поощряя мелкие и крупные вооруженные грабежи по всей стране. В разгроме помещичьих усадеб (1903—1906 и 1917) элементы уголовный и социально-политический сливались до полной неразличимости. При водворении советской власти множество уголовных, амнистированных Временным правительством, влилось в ряды коммунистической бюрократии и лишь самые отчаянные предпочли звание вольного бандита и пулю чекиста. Уже в 1921 году

в Москве уголовный розыск отмечал, что все преступления совершаются неопытными новичками: бандитов-профессионалов больше не было на воле — одни были на службе у большевиков, другие были расстреляны...

Понятно, что большевизм тем более угрожает стране, чем многочисленнее, безнаказаннее и организованнее ее уголовное подполье (конечно, при прочих равных условиях). У Разина и Пугачева было в обычае по взятии города прежде всего разбивать тюрьму и выпускать на волю колодников, которые тут же и зачислялись в ряды их дружины. Не воспроизвела ли русская революция эту традицию по своему? Не будет ли она воспроизведена и в Европе, где песня о Разине уже поется по всем углам?

Ясно, что большевизм имеет способность *проникать в быт* и укореняться в нем до того, как он захватывает власть и становится политическим движением.

III. Политическая сущность большевизма

Однако было бы совершенно ошибочно сводить большевизм к карьеризму, авантюризму, продажности, хулиганству и преступности. Большевизм есть по существу своему движение *политическое* и притом *революционное*.

Всюду, где алчность в политике осиливает патриотизм и верность, где она обессиливает *правосознание*, приводит к молчанию чувства *чести* и *долга* — начинается большевизм. Напрасно думать, что большевизм есть порождение «Востока» или «Азии», что это есть «чисто русское явление»... Нет, большевизм есть порождение *общечеловеческой алчности и бессовестности в политике*; и эта алчность и бессовестность может разыграться на Западе нисколько не менее, чем на Востоке; и эта бессовестная низость в политике встречалась в Греции, в Риме, в Византии так же, как она встречается в современных парламентских демократиях. Большевизм есть душевное и политическое состояние, характерное для *черни*, — не для «народа» и «простонародья», а именно для черни, т. е. для алчно и разбойно, а потому *противогосударственно* настроенных людей, которых можно встретить на *всех* ступенях общественной лестницы. Всюду, где государственная власть рас-

сматривается, как добыча или *путь к добыче*, — всюду зарождается большевизм, причем в истории нередко бывает так, что эта государственная деморализация захватывает сначала правящие и образованные круги и лишь потом, именно благодаря этому, распространяется в народных массах. карьеризм, алчность и бессовестность на верхах разжигают бессовестность, алчность и карьеризм в низах, и революционное брожение начинается Тогда достаточно, чтобы человек *разрешил себе все средства*, ведущие к захвату этой добычи, — и большевизм из настроения превращается в революционное движение

Это означает, что большевистский яд заложен в *классовом понимании государства*, столь распространенном в наши дни В самом деле, если государство состоит из нескольких классов и соответствующих им политических партий, и каждый класс (или партия) стремится захватить власть в свои руки (избирательная борьба[1]), чтобы «повернуть все по-своему» и провести свою *классовую* программу, — то *дух большевизма* уже налицо Правда, еще не «все средства» считаются дозволенными бороться за власть и за торжество своего класса позволяется только законными, «конституционными» средствами Но основное настроение *уже отравлено* Большевик говорит «все немедленно мне», а современные классовые партии говорят. «как можно больше — как можно скорее — мне»... Достаточно, чтобы такая партия *потеряла терпение и разочаровалась* (хотя бы на время) в *законном пути* — и политический большевизм развернется вовсю

К сожалению, идея партийной и классовой диктатуры отнюдь не чужда современному демократическому строю *бороться за власть — посредством подсчета голосов — для проведения классовой программы* — это есть идея, *предрасполагающая* души к принятию большевизма

1 Если политика состоит не в братском единении и не в служении сверхклассовым целям народа, а *в борьбе за власть*, то жизнь народа неминуемо оказывается *прикровенною гражданскою войною* пусть она пока еще протекает в с виду «мирных» и «законных» формах, довольствуясь агитацией, демагогией, клеветои, интригои и подкупом избирателей, но стоит людям потерять терпение, разочароваться или ожесточиться (от неудачной

войны, от инфляции или хозяйственного кризиса), и борьба примет иные, кровавые формы; победивший захватит власть, и ему будет безразлично, что о нем говорят и как о нем судят. Народ вступит в период большевизма.

2. Далее, если вопрос решается *подсчетом голосов*, добываемых путем демагогии, интриги и подкупа, то дело идет уже не о качестве, не о правоте, или справедливости, или национальном спасении; напротив, с самого начала признается, что *количество может задавить и качество, и правоту.* Но если дело не в качестве и не в правоте, то почему же не заменить число голосов — *сплоченной силой*, почему не разрубить узел заговором или переворотом, особенно если заговорщики непоколебимо уверены, что всяческая «правота» на их стороне, или что они несут миру «новое слово». А это есть уже начало революции, гражданской войны и политического большевизма...

3. Наконец, если каждая партия представляет определенный класс (рабочий, землёдельческий и т. д.) и желает проводить *свою* классовую программу, то ей естественно желать и добиваться *партийно-классовой диктатуры.* Что именно она сделает после захвата диктатуры, — искоренит ли другие классы (как делают большевики в России), или позволит им «дышать», — это уже вопрос не права, а силы, не права, а доктрины и гуманности. Несомненно только, что идея классовой диктатуры, исповедуемая и проповедуемая западноевропейскою социал-демократией, воспитывает души к принятию большевизма.

Политическая сущность большевизма не сводится, однако, к классовому пониманию государства. Здесь лишь начало большевизма; завершение его — в отрицании идеи права.

Государственное дело состоит в том, что *власть* указывает людям их *права, обязанности и запретности, и понуждает* их соблюдать указанное — не превышать своих прав, исполнять свои обязанности, не нарушать запретов. В этом заложены две идеи: идея *права* (свободного лица, законности и справедливости) и идея *понуждения* (угрозы, силы, суда и возмездия).

Политическое учение современного большевизма *отвергает идею права* и строит все на своеобразно понятой *идее принуждения*

1. Всюду, где есть *право* — есть и *свободное лицо*, т. е. духовное существо, действующее по собственной инициативе, управляющее своими поступками и ответственное за них. Это свободное лицо называется *субъектом права*. ему даются права и полномочия. на него возлагаются обязанности; ему закон запрещает («не смей»); ему суд вменяет противозаконные поступки, его судят и наказывают. Где *нет* свободного лица (напр. в мире вещей и животных), там нет ни права, ни правопорядка, ни государства.

Сущность большевизма в политике состоит в *подавлении свободного лица, его инициативы и его духовного самоуправления*. Человек есть для современного большевика *материальный атом, покорная машина* или *раб*. Его внешние поступки и его внутренние переживания — не нуждаются в свободе и подлежат приказу и заказу. Человек не нуждается в свободе и не смеет требовать: ни в вопросах веры и религии (он должен быть безбожником), ни в вопросах любви и брака (он не должен дорожить семьей), ни в вопросах воспитания (оно будет передано государственным учреждениям), ни в вопросах жилища (ему отводится обязательный для него угол), ни в вопросах хозяйства, торговли и труда (частная собственность отменена, все становятся пролетариями, государственными наймитами), ни в политических убеждениях (допускается только одна партия, коммунистическая; не-коммунисты подлежат подавлению или искоренению)... Свобода вероисповедания, религии, слова, печати, союзов и собраний отменяется. Частная инициатива подавляется. Всякое строительство, организация, творчество становится *государственной монополией*; всем ведают государственные учреждения и чиновники; есть только *бюрократы* и *безнравственные рабы*. Большевизм есть не правопорядок, а последовательный и законченный *деспотизм*.

2. Далее, большевизм по самому существу своему враждебен *закону* и *законности*, что не мешает ему, однако, издавать бесконечное множество все новых и новых «законов» и «декретов». Современный большевизм родился на свет как крайнее революционное течение, презирающее всякие законы и считающее их нарушение

доблестью. Однако современные большевики отнюдь не анархисты; они признают *власть* и пользуются ею в невиданном доселе объеме и с неслыханною свирепостью. Но, умея злоупотреблять *властью*, они не умеют и не хотят уважать *законность*.

Закон ставит предел не только обывателю, но и *чиновнику*; не только чиновничьему произволу, но и *самой государственной власти*. В большевистском строе — *власть не связана ничем* (ни законом, ни правосознанием, ни верою, ни честью, ни совестью), а чиновник — *почти ничем*. У большевиков законы пишутся и издаются для обывателей, а не для правительства и его чиновников. Но именно поэтому они не дают обывателю — ни свободы, ни прав, ни уверенности, ни безопасности. Большевики строят жизнь не правом, а *произволом*: и законы ихние не связывают произвол, а *развязывают* его. Большевистская власть может «объявить вне закона» любого обывателя (как «контрреволюционера», «врага народа», «буржуа», «священника», «кулака»); но она может сделать с ним все что угодно и *без* всякого «объявления». Имея «права», обыватель должен пользоваться ими с крайней осторожностью, ибо за пользование ими он может быть сослан и казнен (напр. за богослужение, за торговлю). Сумма налога, причитающегося с него по закону, указывает не *максимум* его повинности, а *минимум* (с него могут потребовать в десять и двадцать раз больше). За ложные показания судят: но большевистская власть нередко требует от допрашиваемого ложных показаний («вредительские» и вообще политические процессы). Советский «гражданин» должен быть всегда готов к тому, что позволенное окажется запрещенным: что без всякой вины и преступления он будет подвергнут «суду» и возмездию: что запрещенное окажется обязательным, а предписанное — наказуемым (напр<имер>, коммунисты, зимой 1929/30 г. проводившие по требованию центра принудительную коллективизацию в деревне, были наказаны за нее весною 1930 г.: некоторые из них от страха и отчаяния лишили себя жизни). Итак, большевизм есть не правопорядок, а возведенный в систему *произвол*.

3. Наконец, большевизм отвергает и третий принцип права — *справедливость*. Весь состав народа делится у

большевиков: на *привилегированное сословие* — рабочие пролетарии; и на *бесправную народную массу* — крестьянство и все непартийное население. Большевистская власть есть *партийная*, не только потому, что правит *одна* партия, но еще и потому, что эта партия правит *в свою пользу*. Эта власть классовая — не потому, что «рабочий класс правит», а потому, что большевики *правят от его имени* и предоставляют ему некоторые блага и удобства, остающиеся *после* удовлетворения коммунистической партии. Большевики открыто отвергают справедливость: коммунист и не-коммунист, рабочий и не-рабочий — обеспечиваются неодинаково, выдвигаются на службу неодинаково; по-разному судятся и пользуются разными правами; то, что «прощается» одному, не прощается другому; там, где один бывает снабжен и обеспечен, другой оказывается лишенным и заработка и жилища — то есть обреченным на голодную смерть.

Большевизм есть строй *сословных привилегий*.

4. Но отвергая идею права (свободного субъекта, законности и справедливости), большевизм строит свое государство на *принуждении и страхе*.

Большевистскую власть никто не уважает: она лишена всякого авторитета — и морального, и государственного. Мало того, все, кто не продался ей — питают к ней презрение и отвращение. Она сама это знает, и ее деятели не раз открыто признавали это. Зато эта власть создала такую атмосферу *доноса и страха*, с которой не могут сравниться даже худшие времена испанской инквизиции. Лишив всех имущества, самостоятельности и свободы, большевики стремятся регулировать все приказом и запретом; а так как никто, кроме них самих, не заинтересован в повиновении им, то все закрепляется *угрозой, тайным доносом и казнью*. Самый суд их есть *трагикомедия устрашения*; самое наказание их есть *расправа*. Они пытаются угасить *инстинкт личного и народного самосохранения* и заменить его распоряжением центральной власти; и так как эта противоестественная затея обречена на неудачу, и хозяйственные и организационные провалы следуют один за другим — то они *заливают немощь своей затеи кровью невинных или неосто-*

рожных людей. Мир не видал еще такой *слепой веры во всемогущество приказа и устрашения*; история не отмечала еще столь свирепой и столь сознательной в своей свирепости политической машины; никогда еще государственное начало не стремилось *поглотить всю жизнь народа* и не создавало столь извращенного и унизительного строя. Эта унизительность выражается наиболее ярко во всепроникающем политическом доносительстве и в том, что советские граждане обязаны по первому указанию правящей партии выступать с восхвалением террора и с публичным требованием смертной казни для очередных невинных или неосторожных жертв.

Таким образом, большевизм есть *строй принципиального бесправия и принуждения.*

IV. Коммунизм

Но для современного большевизма особенно характерно то обстоятельство, что он выступает под флагом *коммунистической доктрины.* Именно этим объясняется его стремление подавить человеческую личность, обесправить ее и лишить ее всякой хозяйственной самостоятельности. «Идея» коммунизма состоит: 1. в том, чтобы погасить личную инициативу в хозяйстве и заменить ее *организационным распоряжением, идущим из центра*; 2. в том, чтобы погасить в душах *личную заинтересованность* в труде и его продуктивности и заменить ее *революционным пафосом принудительного сотрудничества*; и наконец, 3. в том, чтобы заменить буржуазную свободу неравных людей — *равенством бесправных наймитов.*

1. Коммунист не верит в личную инициативу, но верит во всемогущество централизованной бюрократии. Он считает, что творческая интуиция единоличного хозяина *вредна* в хозяйстве; что она растрачивает силы в ненужной и вредной конкуренции и ведет *к анархии* производства и рынка, к кризисам, безработице, голоду и так далее. Государственный центр якобы может лучше предвидеть, руководить и строить народное хозяйство.

Опровергнуть это ложное гибельное воззрение может по-настоящему только жизненный опыт, который и будет извлечен человечеством из русской революции.

Нам достаточно здесь установить, что эта ложная идея весьма распространена в современном человечестве, и что всюду, где народы увлекаются всяческой «социализацией», «муниципализацией» и «национализацией», подавляя частную инициативу, передавая городам, общинам или государству хозяйственную *монополию* и безоглядно ее расширяя, — они *уже* идут по пути коммунистов. По-видимому, всякая будущая война будет содействовать этой тенденции, ибо она будет вызывать к жизни нечто вроде осадного положения или «военного социализма», т. е. судорожного подчинения всего хозяйства и всей жизни страны государственно-военному распоряжению.

2. Идея коммунистов — погасить *личную заинтересованность* человеческой души в том, что она делает и что она производит, — обнаруживает с наибольшей наглядностью *извращенность и притязательность* всего их замысла. Пока человек ведет земную жизнь — он таит в себе *личный инстинкт самосохранения* и потому руководится *личной* заинтересованностью. *Физический голод* и *половой инстинкт* суть состояния, испытываемые *индивидуально*; и никакие коммунистические попытки закрыть себе на это глаза или игнорировать это — не будут иметь успеха. Напрасны все их притязания — переплавить или перестроить человеческие инстинкты; природа, «изгнанная в дверь, ломится в окно»; а коммунисты не «боги», властные над природой.

Опровергнуть это ложное и гибельное воззрение может только жизненный опыт, который и будет извлечен человечеством из русской революции. Нам же достаточно здесь установить, что эта извращенность и претенциозность характерны вообще для современного *рассудочного и полуобразованного* человека. Успешно завоевывая природу, побеждая ее своими изобретениями и заставляя ее служить себе (машины!), современный человек не постиг еще, что человеческая душа есть создание *сложное, иррациональное и своеобразно-закономерное*; что она имеет свою *природу*, над которой человеческий рассудок *не властен*; и что попирать законы этой природы нельзя безнаказанно.

За коммунистами идут люди, отравленные *рассудочным полуобразованием*; и понятно, что этот яд, разливающийся по свету, содействует распространению коммунизма.

3. Идея *равенства бесправных наймитов* порождена в основе своей — *завистью*. Сила зависти есть главная сила и страсть, на которую коммунисты рассчитывают и к которой они неустанно обращаются. Их тактика в России и во всем мире состоит в том, чтобы натравливать низшего на высшего, необразованного на образованного, подчиненного на начальника, бедного на богатого, бездарного на даровитого, младшего на старшего, детей на родителей. И всюду, где они работают, они сеют зависть, чтобы пожать разрушение и кровь.

Что есть зависть?

Зависть есть уязвленное самочувствие низшего. Это есть ненависть лишенного к обладающему; злоба на чужое преимущество; жажда отнять у другого это преимущество и присвоить его себе. Зависть есть разновидность ненависти; и удовлетворение свое она находит или в *разрушении чужого преимущества* (красоты, богатства или самой жизни — пусть совсем не будет лучшего и высшего!..), или же в отнятии и *присвоении* его. Вот почему зависть всегда ведет к *нападению* — или открытому (обливание лица серной кислотою, ограбление, поджог, погром, убийство, гражданская война), или прикровенному (интрига, клевета). Зависть вообще не строит и не творит, — она разрушает. Из двух возможностей — 1) примириться с чужим преимуществом или 2) отнять его ценою разрушения — она, не колеблясь, всегда выбирает второе.

Россия рухнула в большевизме от накопившихся в ней запасов *зависти*, которую большевикам удалось разжечь и разнуздать. Третий интернационал есть прежде всего *штаб мировой зависти*: ее средоточие, ее распространение, ее углубление; *его* победа будет *ее* победа; победа той самой зависти, которая однажды привела сатану к отпадению и подняла руку Каина на Авеля. Ныне во всех странах агенты его, пользуясь трудностями частно правового хозяйства, основанного на собственности, и остротою социального вопроса, — пытаются разжечь и сорганизовать массовую зависть для повсеместного переворота и захвата власти в свои руки. И люди самых различных партий и народов, не видя опасности, играют в ту же игру, рассчитывая разыграть

ее в свою пользу и не понимая, что они, как неумелые дилетанты или подмастерья, будут вытеснены, покорены и раздавлены великим мастером зависти.

Две тысячи лет тому назад миру было даровано божественное *противоядие*, могущее побороть зависть как начало мировой гибели. Ныне это противоядие живо лишь в немногих душах. За последний век яд зависти осознал себя, стал «научной» теориеи (марксизм), подорвал в душах понимание частной собственности, ослепил людей несбыточной и вредной утопией равенства и организовал миллионы людей вокруг идеи социализма.

Социализм есть идея разрушительная и демагогическая, но *волевая и революционная*. Однако по мере того как руководители социалистического движения за последние десятилетия переходили от митингового фразерства к реальному политическому строительству, они убеждались в *малой жизненности этой идеи* и в чрезвычайных *затруднениях*, связанных с ее осуществлением. Они стали или открыто уходить из социалистических рядов, или же усваивать точку зрения выжидательную, мирную, эволюционную. К сожалению, у большинства из них не хватало и не хватает мужества дать отбои и разъяснить социалистически настроенным и революционно взбудораженным массам — общее заблуждение и пережитое разочарование. И вот, ныне на смену им идут большевики-коммунисты. *Волевая идея революционного социализма*, поколебленная в среде международнои социал-демократии, *оживает во всей своей фанатичности и агрессивности у коммунистов*, и может приити час, когда демагогический напор коммунистов заставит социал-демократов или *самим всерьез* приняться за проведение в жизнь их вредной утопии, или же *уступить* свое место волевым и безоглядным коммунистам.

Чтобы искренно верить в социализм (или коммунизм), нужно соединять в своей душе целый ряд условий. Однако для этого совсем не надо быть непременно «злым» или «порочным» человеком, как думают иные. для этого безусловно необходима лишь *своеобразная слепота*, — слепота жизненная, умственная и моральная. На этой слепоте строит свой успех не только социализм, но и коммунизм. Эта слепота не видит, во-первых, *жи-*

вого человеческого инстинкта, который может творить и напрягаться только тогда, если он *свободно* (т. е. по собственному возбуждению), *доверчиво и цельно* вкладывается в труд, во внешние вещи и в хозяйственные процессы, и который поэтому нуждается в личной свободе и в частной собственности. Во-вторых, эта слепота не видит живого *человеческого духа* во всей его нематериальности, силе и самоценности и слепо верит в силу материального интереса и в «святость» классовой борьбы. В-третьих, эта слепота не видит живого человеческого *своеобразия и разнообразия*, воображая, будто все люди на самом деле равны, и ошибочно смешивая справедливость с равенством: поэтому она требует *всеобщего уравнения во всеобщем бесправии* или еще хуже — требует *нового неравенства*, обратного тому, которое существовало доселе. Все это вместе предполагает в человеке *слабое развитие духовного и личного начала*, склонность к *упрощенному пониманию мира и человека*, и главное — *неразвитую силу суждения*. Социалисты и коммунисты суть в своем огромном большинстве *упростители*, которые стремятся упростить чужую личную жизнь и весь общественный строй по образу и подобию их собственной души: они мыслят отвлеченными и в то же время элементарными и плоскими понятиями; но за этим упрощенным и упрощающим мышлением живет — особенно в коммунистах — *волевой заряд*, переходящий в упрямство или даже в фанатизм, и *властолюбие*, готовое не останавливаться перед любыми средствами. Чем больше в мире таких *полуобразованных, но волевых плоскодумов*, тем больше шансов на распространение имеет коммунизм. К сожалению, современное полуобразование и современный социализм выдвигают таких людей во множестве; и так возникает та общественная, хозяйственно-психологическая каверна, в которую свободно и беспрепятственно вливается яд большевизма.

Вот почему коммунистический яд так опасен для современного человечества.

V. Большевизм как духовное разложение

Однако яд современного большевизма действует и в более глубокой сфере души. Он есть явление *духовной культуры* — и притом явление *разложения и гибели*.

Современный большевизм отличается от сходных явлений истории тем, что он вырастает из сознательного *воинствующего материализма*. Он есть не просто душевное состояние, он есть не только политический строй Он есть прежде всего *доктрина*, теория, учение и, далее, соответствующая этой доктрине *фанатическая одержимость*

Доктрина эта состоит в отрицании всего, что нематериально и нетелесно. человеческой *души*, с ее свободои и бессмертием, человеческой *духовности* и вырастающеи из нее внутренней и внешнеи культуры, высшего смысла, присущего человеку и миру, Божества, веры, религии и церкви. Кроме материи, тела и телесных потребностеи (якобы) *ничего нет*. Человек есть высшее животное, происходящее от человекообразнои обезьяны и отличающееся от нее только употреблением орудии и ведением хозяйства. Вся жизнь человека определяется хозяйством и хозяиственным производством. Кто владеет орудиями производства на праве частнои собственности, тот угнетает и эксплуатирует других. поэтому все орудия производства (земля, скот, фабрики, машины, станки, пути и средства сообщения) должны быть *общими*. Люди делятся на социальные классы по тому, владеют они орудиями производства или нет Классы борются друг с другом не на живот, а на смерть В этои борьбе пролетариат, т. е. рабочии класс, лишенныи орудий производства, должен победить. восстанием он начнет гражданскую войну, в гражданскои воине он захватит власть и руками «своей» (коммунистическои) партии перестроит всю личную и общественную жизнь людеи Другие классы будут *лишены собственности* и *пролетаризованы*. промышленники, купцы, помещики и интеллигенты — сразу, духовенство и крестьяне — постепенно Все сопротивляющиеся будут казнены, все неприспособившиеся — вымрут от голода или на принудительных работах. Всюду останется один пролетариат религия исчезнет, индивидуальнои семьи не будет, нации смешаются и утратят свои особенности, все будут говорить на общем новом языке (Сталин) Все хозяиственное производство станет машинным и будет организовано планомерно, из единого центра, так же — обмен и распределение. Денег не будет, из золота сделают отхожие

места (Ленин). Все будут равны и будут беспрепятственно удовлетворять все свои потребности.

Но главное — будет «переделана» человеческая душа: *она освободится от всякой духовности*, которая (якобы) есть не что иное, как система вредных предрассудков. Вместе с тем она отделается от всех индивидуальных особенностей, от всякого *личного своеобразия*, которое было вызвано к жизни делением людей на классы. Живя и работая одинаково, люди станут *равны* не только внешне, но и *внутренно*: все будут *материалистами, безбожниками и коммунистами*: все будут сообща всем владеть или же пользоваться; жены и дети будут общие; дети будут воспитываться государством и не будут знать своих родителей. И так все будут — в покорности и равенстве — мало работать и «наслаждаться» земной жизнью.

Для того чтобы переделать человеческие души, необходимо *разрушить прежний душевный уклад и подорвать все старые духовные основы*: надо постепенно порвать — то уговором, то примером, то угрозой — все путы и удержки общечеловеческой морали; надо революционно разложить души людей; внушить им «дерзновение»; соблазнить их высшей безнаказанностью; убедить их в том, что они «молятся пустым небесам» и что «не Бог создал человека, а человек создал своего бога» (Ярославский); надо заразить их идеею вседозволенности; — и затем угрозой, примером и доказательством выработать в них новую коммунистическую безбожную и аморальную душу.

Такова социальная и духовная сущность большевистски-коммунистической доктрины, согласно которой большевики и ведут во всем мире свою пропаганду и подрывную работу. Отсюда уже ясна противодуховная природа этого учения и этой работы.

Дух есть начало внутреннего *закона* и *меры*; напротив, современный большевизм насаждает внутренний произвол и безотлагательность. Дух всегда несет человеку идею священного *запрета* и *долга*; большевизм проповедует духовное разнуздание, вседозволенность и безудерж. Дух открывает человеку *путь к Богу*; большевизм внушает ему безбожие и воинственную противорелигиозность. Дух утверждает в человеке *высшее*

достоинство и взывает к его *чести*, большевизм соблазняет человека бесчестием и ведет его через унижения к рабству. Дух воспитывает в человеке *характер*, большевизм подменяет его слепым фанатизмом и свирепою одержимостью. Дух учит различать *добро* и *зло*, большевизм угашает это различие в понятии «классовои пользы пролетариата». Дух показывает человеку *художественную красоту*, большевизм ищет только классовых удовольствий и развлечений для пролетариата. Дух ищет *истину* и создает *науку*, большевизм заменяет науку мертвою схемою, штампованными банальностями марксизма. Дух утверждает в человеке своеобразную и самобытную *личность*, большевизм стремится погасить личность в коллективе, а ее своеобразие — во всеобщем принудительном уравнении. *Дух* дышит свободно и требует *свободы*; большевизм несет человеку страх, подавление и покорность. *Дух* взращивает в себе верное и глубокое *правосознание*, большевизм приучает душу к произволу, деспотизму и рабству. *Дух* говорит человеку о *справедливости*, большевизм учит следовать личному и классовому интересу. *Дух* освящает *частную собственность* творческим трудом, изобилием и щедростью, большевизм зовет к ограблению, приучает человека к безразлично-машинальному труду и дает ему нищенскии паек. Дух освящает *брак* и *семью* — любовью и молитвою, большевизм снимает все святыни и запреты и губит семью в открытом многобрачии и кровосмешении. *Дух* творит *национальную культуру*, дает человеку *родину* и пробуждает в его душе *патриотизм*; большевизм ведет к национальному всесмешению, издевается над патриотизмом и зовет к предательскому интернационализму.

Дух на высшей ступени своей являет человеку Сына Божия и учит его молиться *Небесному Отцу*, большевизм, рожденный сынами погибели, ведет человека по путям кощунства к «отцу лжи» и его бездне.

Из этого уже ясно, что выступление современного большевизма есть одно из проявлений того великого *религиозного кризиса*, который переживает человечество за последние века. Сущность этого кризиса состоит в том, что человечество, с одной стороны, привыкло верить *чувственному опыту* (создающему естествознание и

технику) и *рассудку* (отвлеченно и самодовольно резонирующему по законам формальной логики); с другой стороны — разучилось верить *духовному опыту* и беречь свою *бессознательную духовность*. Небеса по-прежнему открыты человеку; но человек потерял к ним доступ, заблудившись в перепутиях и распутиях собственной души. Современный человек верит *материи* и *рассудку*, он ослеплен *их* доказательствами и ждет истины только от них. Он не замечает, что жизнь его становится благодаря этому *узкой*, *плоской*; что центр ее благодаря этому уже передвинулся из бессознательной глубины на поверхность дневного сознания, и что дневное сознание беспомощно, бескрыло; что оно не может ни ставить высшие цели жизни, ни *вести* к ним, ни строить *дух*, ни воспитывать *характер*. Современный человек пренебрегает своим бессознательным и, главное, его духовностью; он забросил и запустил его; а оно продолжало жить в духовной беспризорности, плутая по темным лесным тропинкам, уходя в глубину своей животности «по следу вепрей и волков»... Вот почему в современном человечестве ослабли и продолжают слабеть *все органы бессознательной духовности*; религиозная вера и молитва, сила прозрения и интуиции, чувство таинственного и священного, совесть, художественный вкус, чувство права и правосознание, чувство родины и семьи. Именно вследствие этого современному человечеству, поскольку оно захвачено этим духовным кризисом, — *нечего противопоставить большевизму*. Ибо большевизм есть *последовательный материализм, последовательная рассудочность и последовательная бездуховность*.

Невозможно человеку жить без инстинкта. Но есть возможность жить инстинктом — *неодухотворяя его*. Это значит предоставить инстинкт его животности, и предоставить своему животному инстинкту и его эксцессам — преобладание и господство в жизни. Законченным проявлением этого будет *большевизм*, религиозным символом этого будет *черная масса* (попытка создать религиозный обряд из разнузданного бессознательного). Ибо *человек, не одухотворяющий своего бессознательного — неминуемо становится рабом собственной животности*.

Вот трагический смысл современного *безверия*, той последней и опаснейшей каверны, в которую вливается и которую разъедает яд современного большевизма. Современный «просвещенный» человек, с развитым сознанием и запущенным, безбожным бессознательным — *не верит* ни во что и *не предан ничему высшему*, он живет *без Бога, без религии, без идеала и без идей; у него нет ничего такого, за что ему стоило бы умереть*; а это значит, что ему не стоит жить тем, чем он живет. Вот почему его жизнь *лишена пафоса и высшего смысла*. И именно поэтому *сатанинский пафос большевизма ему так опасен*. Движимый этим разрушительным, сатанинским пафосом, большевик-коммунист борется не на живот, а на смерть; он способен не только *умирать* за свою противоестественную химеру и утопию, но и *замучивать других, отвергающих ее*. Напротив, современный «либеральный буржуа» озабочен прежде всего тем, чтобы сохранить свою жизнь и провести ее с наибольшим удобством; но *умирать* за это ему нет смысла; а остатки его «морали», давно уже выродившейся в лицемерно-сентиментальную бесхарактерность мешают ему даже оказывать настоящее сопротивление большевистскому напору. Поэтому он и не борется насмерть; поэтому шанс на победу не у него. *Сатанинскому пафосу коммунизма — в современном мире — не противостоит религиозно-осмысленный пафос духовной личности, свободы и частной собственности.*

Однако мало того, что современное образованное человечество, захваченное этим духовным кризисом, не *борется* с большевизмом; оно в значительной степени *облегчает* ему его пропаганду своим внутренним разложением.

Дело не только в том, что мировая интеллигенция, не имея *своей идеи*, «прислушивается» к гибельной идее коммунизма; и, не имея *своего волевого пафоса*, с интересом наблюдает одержимость и напор коммунистов. Это было бы психологически понятно: заблудившемуся и растерянному может импонировать самый дикий план, только потому, что он все-таки «план»; уверенность нередко внушает «уважение» безвольному человеку даже тогда, когда она есть лишь *слепая самоуверенность*. Дело в том, что духовно ослепший инстинкт не

умеет *ни отличить уверенно добра от зла*, ни поддержать необходимую для всякой жизни форму бытия.

Этот своеобразный процесс *смешения* и *разложения* наблюдался и в русской интеллигенции в предреволюционную эпоху; и питался он из тех же корней и источников. Люди разучались понимать, где кончается святость и где начинается грех; в чем сущность религии и в чем сущность распутства; что такое искусство и почему оно не может и не должно превращаться в чувственное возбуждение и бесформенный хаос. На самых верхах русской интеллигенции образовался такой угол и такой уклон, где все понятия были перевернуты и все подходы были извращены; где священное совлекалось в блуд, и распутство принималось за нечто священное; где, по-карамазовски, стыд бесстыдно подмигивал, а бесстыдство притворялось стыдом; где кощунствовали о святом и целомудренном, а нецеломудренное «смаковали и размазывали». Соблазн духовного хлыстовства захватывал тогда — и религиозный: кружки, и философскую публицистику, и поэзию, и музыку, и политику, имея во всех этих областях своих ярких и зловещих представителей, духовно подготовляя все извращения русской революции и предвыявляя все ее надвигающиеся мерзости. Смута царила в *интеллигенции* прежде, чем она воцарилась в *стране*. Сначала водворилась духовная вседозволенность, и лишь затем — *социально-политическая*. Сначала растеряли духовные содержания, разложили духовную форму и забрели в духовное болото; а потом все поползло врозь, по всем швам; подточенное, изъеденное правосознание интеллигенции не могло уже нести бремя государственности.

Именно это духовное болото *вседозволенности* и *разложения формы* возникает за последние десятилетия там и сям среди мировой интеллигенции. От своей безбожной пустоты и скуки люди давно уже пытались искать развлечения во вседозволенности и бесформенности; сплин требовал невиданной жизненной остроты: снобизм гнал души в порочность. Коммунистическая пропаганда умеет давать все нужное сразу: и вседозволенность, и всесмешение, и жизненную остроту, и порочность. И вот люди начинают «интересоваться»

советскими «успехами», советским «искусством», советской пропагандой и находить как раз то, чего им не хватает. И так, от безбожия и снобизма, соблазняясь невиданной «свободой» и новым *бесчестием*, — они медленно сползают в *коммунистическое рабство*.

Есть мировой закон, в силу которого *за распущенностью следует порабощение*: ибо тот, кто не умеет *сам* держать свой *духовный хребет*, — не сумеет отстоять и свою *общественную* свободу: он неминуемо станет рабом того, кто заставит его работать по-новому.

И вот большевизм несет человечеству своеобразное сочетание «свободы» и рабства. Эта большевистская «свобода» есть свобода *от духа*, от его благодатных *содержаний*, от его благотворных *законов* и от его необходимой формы — *личного духовного характера*. В этой «свободе» человеческая личность заживо разлагается и идет ко дну; она растворяется в болоте древнего докультурного всесмешения; она возвращается *к тем* первобытным временам, когда человек *жил* ордою, пребывая душою в самых элементарных животных потребностях, наслаждаясь на низменном уровне и не ведая священных законов и запретов. Этот уровень душевной жизни, насаждаемой большевиками, лучше всего характеризуется тем, что они объявили *веру* и *молитву* — лицемерием, *нравственность и целомудрие* — предрассудком, а *кровосмешение* (сожительство между отцом и дочерью, матерью и сыном, братом и сестрою) — ненаказуемым. Эта «свобода» есть *свобода разнуздания и вседозволенности*. Она должна *вознаградить* человека за утраченную им свободу духовного и хозяйственного творчества: «отныне ты будешь работать, творить, верить и жить по приказу, за это тебе позволяется разнуздать свои страсти и наслаждаться свободою разврата» — вот смысл этого «освобождения». Морально-духовная вседозволенность должна компенсировать человека за его религиозное, хозяйственное и политическое порабощение. В этой вседозволенности человек становится рабом своего животного инстинкта и, следовательно, *рабом того, кто разжигает этот инстинкт и потакает ему*.

Так шло с самого начала революции. Первая ставка большевиков была на *утомление от войны* и на *шкурный*

инстинкт. Вторая ставка их была на *алчность, зависть, ненависть и мстительность*. Третья на *половую распущенность* (законы о семье и браке) и на *честолюбивый карьеризм нового пролетарского чиновничества* («выдвиженцы»). Четвертая ставка готовится ныне на *завоевательный авантюризм* (подготовка всеевропейского грабежа) и *инстинктивный шовинизм масс*. Вся сущность большевистской революции состоит в *разложении духа, разжигании страстей и порабощении распаленных душ*. И вот, люди с разнузданными и распаленными страстями мечутся, как одержимые, по всей России и по всему миру; стращая сами себя, друг друга и все население для того, чтобы судорожными толчками проводить в жизнь — всеобщее духовное разложение и противоестественную, а потому и неосуществимую, коммунистическую утопию.

Им необходимо сначала разнуздать в душах *некоммунистического большевика*. Они стремятся духовно *растлить* человечество, чтобы ослабить его; ослабить — чтобы перелить, переплавить, перековать его на свой материалистически-безбожный и коммунистический образец.

Большевик *силен во зле*. Именно поэтому ему ненавистны все люди *сильные в добре* и он стремится, где только может, замучить или убить их. Ему годятся и люди *слабые в добре* — ибо он надеется напугать, поколебать и соблазнить их, довести их до предательства и поработить окончательно. Ему годятся и люди *слабые во зле*: он укрепит их в ожесточении и бесстыдстве; и присоединит их к своему победному шествию. Кого можно — он соблазняет и покупает; кого нельзя — он стремится оклеветать или убить.

Унижение — одно из главных его орудий: предавший унижен своим предательством и стал его добычей; продавшийся унижен своей подкупностью и не видит путей назад; испуганный унижен своим страхом; договаривающийся с ним — своим договором; молчащий — своим непротивленческим молчанием; просящий у него пощады — своею зависимостью и пресмыканием. Все они, по выражению коммунистов, — «поставлены на колени»; духовный хребет их сломлен; сопротивляться они уже не могут; остальное доделает борьба за существование, влияние среды и время.

Так всюду, во всем мире, где только имеется душевная каверна, большевик вливает в нее свой яд, подготовляя себе победу.

VI. Как бороться с ядом большевизма

Первое и основное: нельзя бороться с закрытыми глазами, или в сонном состоянии, или нося в самом себе смуту и разложение. Необходимо духовно проснуться, открыть глаза, напрячь всю свою зоркость и продумать, прочувствовать кровью сердца, *пострадать скорбью и отвращением* — до конца — сущность современного большевизма-коммунизма. Затем надо залечить в русском *зарубежье* все те *личные и общественные* щели, в которые большевики вливают свой яд. И одновременно — найти те огненные слова и доказательства, которые смогут открыть глаза *иностранцам* на их каверны и на вливающийся в них яд большевизма.

Большевистский яд грозит всему миру, и все народы должны бороться с ним сообща. В этом вопросе они все солидарны друг с другом той высшей солидарностью, перед которой отходят на задний план, как несущественные, все их разногласия и распри. Национальная Россия заинтересована в том, чтобы все народы поняли это как можно скорее и чтобы большевистская зараза не захватила весь мир. Ибо *коммунистическое разложение мира не спасет Россию, а только продлит и закрепит ее порабощение.*

А. *Русское зарубежье.*

I. Русское зарубежье должно всегда помнить, что оно чрезвычайно ослаблено самым положением своим: во-первых, *оторванностью* от своего народа, от его территории, от его личных ресурсов и производительных сил; во-вторых, своею *бедностью*, необходимостью жить черным или механическим трудом, *отсутствием досуга* и свободных средств; в-третьих, — своею *рассеянностью* по разным странам и постепенной *денационализацией*, которая выражается больше всего в незаметном отождествлении *своих* интересов с интересами того народа, который приютил эмигранта. Все это — затрудняет, осложняет нашу борьбу; следовательно — все это со-

ставляет *огромное преимущество коммунистов*, которые властно и нещадно располагают всеми ресурсами русского народа, всеми исконными богатствами России.

Помня об этом, *мы не смеем позволять себе «роскошь» волевого и организационного разъединения.* Повальное единомыслие невозможно. Но *возможно и обязательно согласование и объединение сил в борьбе против сынов погибели и их дьявольского дела.*

Мы можем временами врозь идти; но мы должны всегда *вместе бить.* Мало того, если понадобится, то мы должны будем и *идти вместе...*

Посему наша первая опасность — *неделовая, беспредметная раздорливость*, личная и партийная. Все, что ведет к ней, что обостряет ее — должно нами обличаться и подавляться. Все личные и партийные очаги раздоров — должны быть изолированы и обезврежены. Мы должны помнить, что в нашей среде незаметно работают агенты большевиков, имеющие прямое поручение обострять и углублять раздоры в эмиграции. Мы вряд ли когда-нибудь сумеем разоблачить их всех до конца. Но именно поэтому мы должны *неустанно гасить все распри*, вспыхивающие из-за личного или партийного честолюбия. И еще одно: мы должны помнить, что среди иностранцев есть течения, организации и партии, которые со своей стороны делают ставку на *религиозное, политическое или национальное расщепление России* и которые уже готовят соответственное *расщепление и в эмиграции* (пропагандой, посулом, отпуском средств, клеветой и т. д.). Ответ на все это может и должен быть один:

русский есть прежде всего сын единой России, а потом уже все остальное.

Пока мы в эмиграции, мы не должны предаваться делениям, *исключающим необходимое согласование сил в борьбе*:

ни партийно-политическим (монархисты, республиканцы, социалисты);

ни религиозно-церковным (православные, католики, лютеране, иудеи, магометане; или еще антониевцы, евлогиане, дионисианцы, платоновцы);

ни возрастным (отцы и дети);

ни национальным (великороссы, украинцы, грузины, армяне, евреи);

ни организационным (как бы эти организации не назывались и где бы они не возникали).

Мы не должны растрачивать свои силы на разлагательство инакомыслящих: это значило бы облегчать задачу большевикам; ибо всякое разлагательство идет им на пользу.

Мы не должны из-за организационных распрей вести в иностранных судах бесконечные процессы, растрачивая на это национальные средства, силы и время. Это в интересах коммунистов.

Мы должны решительно отказаться от мелкого, безнадежного бонапартизма: из него кроме интриг, суеты, разложения не выйдет ничего.

II. Мы должны побороть в себе всякое *непротивленчество*, какими бы покровами оно ни прикрывалось: особым ли пониманием христианства, или сентиментальностью, или пессимизмом, или вынужденною переменою подданства, или надеждою на эволюцию большевиков, или подсказкою иностранцев, или просто личным утомлением.

Все это есть или заблуждение, или лукавое криводушие, или лень и трусость.

Мы должны понять и запомнить, что большевики прямо заинтересованы в нашем непротивленчестве, и что поэтому тот, кто его проповедует, делает (хотя бы несознательно) их дело, дело, вредное России.

III. Мы должны побороть в себе *слепую доверчивость* к людям, которые с нами знакомятся, разговаривают и начинают подсказывать те или иные практические шаги.

Мы живем в суровое, опасное, ответственное время. Наши ряды пронизаны щупальцами врага. Мы должны меньше говорить, больше слушать и думать. Мы обязаны всесторонне взвешивать наши шаги, отнюдь не впадая в безволие или пассивность. Всякая излишняя доверчивость и болтливость идет на пользу врагу. Только помня это, мы справимся с опасностью *провокации*.

IV. Четвертая опасность, которая угрожает русскому зарубежью, есть опасность незаметного *приятия вражеской идеологии*. Это приятие имеет самые различные формы и может касаться и *целей*, и *средств*; оно совершается иногда в прикровенном виде и тогда является особенно соблазнительным и опасным.

Таково «признание советской власти», обычно начинающееся с газетных статей о «достижениях революции» или о «несомненной эволюции коммунистов» и кончающееся поступлением на службу в заграничные советские учреждения или вступлением в «союз возвращенцев».

Таково «отвержение коммунизма с приятием советского строя», хотя бы по формуле «царь и советы». В пользу советского строя могут говорить только люди, *не представляющие себе* ту систему *лжи, продажности, насилия и террора*, с которой *исторически отождествился строй советов и в действительности, и в сознании всего населения России.* Поэтому формула «царь и советы» означает: «честь и бесчестие»; или «правда и ложь»; или еще — «милость и свирепость», «служение и продажность», «молитва и кощунство» и т. д.

Таково, далее, всякое увлечение большевизмом, как «планетарной идеей»; или «новым видом национального империализма»; или (еще глупее) — «исканием новой социальной правды»; или (еще хуже) — «новым видом боготворчества». Есть софисты, которые возводят большевизм к Петру Великому, или выводят его из идей Сперанского, или характеризуют его как «злое благо» и проявление «религиозной стыдливости». Мы должны понять, *чье* дело делают эти «идеологи», выдвигая свои ядовитые выдумки.

Такова, наконец, идея «национал-большевизма» — безразлично, идет ли речь о *цели* или о *средствах борьбы.* Большевизм, как уже показано, есть духовное разложение, разбой в политике, хозяйственное порабощение лица, растление семьи, карьеризм и продажность в быту. Может ли русский *националист* отстаивать *духовное разложение* своей родины? Можно ли проповедовать разбой в политике, или хозяйственное рабство, или классовое ожесточение, или растление семьи — во имя *русского национального идеала*? Это может искренно делать только тот, кто совершенно не осмыслил большевистского яда.

Сюда же относится идея о том, что в борьбе с большевиками «хороши все средства». Тот, кто признает это, тот *разрешает себе все*; вступает на путь *вседозволенности*; и эта вседозволенность быстро размягчит, разложит его духовный хребет и выведет его из строя; яд

большевизма *уже проглочен им*, и губительное действие этого яда неизбежно обнаружится в его духовном организме. Напрасно он будет думать и говорить, что он разрешил все средства *не себе лично*, а себе *как борцу с врагом*. Эта оговорка не поможет ему: в «борце» пребывает *он сам* и его личность не справится с этим *выдуманным раздвоением*. Как скоро он приступит к осуществлению этой тактической вседозволенности, он скоро с ужасом увидит себя идущим по путям *обычного бандитизма*, и враги не замедлят разоблачить и казнить его как простого бандита.

Таковы четыре основные опасности русского зарубежья в борьбе с ядом большевизма: *разъединение, непротивленчество, слепая доверчивость и отравление ядом вражьей идеологии.*

Б. *Иностранцы.*

Каждый народ развивается по-своему, имеет свои особые исторические пути, трудности и задания; он по-своему болеет, по-своему переживает смуту и разложение. Поэтому русский эмигрант, где бы он ни жил, имеет задачу присмотреться к тому народу, среди которого он поселился, познать исторические источники его *духовного здоровья*, корни его *государственной силы* и установить *те каверны*, в которых уже гнездится или в которые еще вливается яд большевизма. Это даст русскому эмигранту не только возможность противодействовать распространению большевизма и коммунизма в мире, но откроет ему еще доступ к глубочайшим корням человеческого духа и государственной культуры. На этом пути он сможет многому научиться и впоследствии научить своих братьев в России. В слепом подражании нет спасения; но *идейное, творческое, национально-видоизмененное заимствование* — может принести немалую пользу.

Большевизация отдельных народов протекает различно. И тем не менее кое-что основное и одинаково важное для многих народов установить возможно.

Из всего сказанного раньше ясно, что большевикам выгодно всякое религиозное, нравственное и духовное разложение народов; все подрывающее наличные авторитеты — религиозные, нравственные, художественные, научные, государственные и партийные — все, что ком-

прометирует вождей в глазах массы, всякие скандалы, разоблачения, процессы, клевета и сплетни. Большевикам выгодно всякое жизненное расстройство у других народов, всякие затруднения: политические и особенно хозяйственные — перенаселение, кризисы, безработица, стачки, неурожаи, голод, эпидемии, инфляция, таможенные войны, отпадение колоний и т. д. Большевикам выгодно все, что уменьшает сопротивляемость и гибкость частно-хозяйственного строя, в особенности же полное разоружение народов; все, что ослабляет внутренние скрепы государства, в особенности гражданские и международные войны. Большевикам выгодно все, что выталкивает другие народы из равновесия, из правопорядка и законности — всякие уличные столкновения, всякое нарушение дисциплины, хулиганство, увеличение преступности и развитие бандитизма; все, что расшатывает правосознание и вызывает в народе склонность к бунтам и восстаниям; всякое брожение в армии; развитие партийности (особенно левой) в полицейских кадрах; всякое разложение общественной морали и публичной корректности, чувства чести и долга; всякая продажность, где бы она ни обнаружилась. Большевикам выгодно все, что разлагает семейную жизнь и характер; все, что разлагает форму в искусстве, заражая этим разложением человеческие души; все, что мутит общественное мнение, смешивает добро и зло, повышает общественный и личный цинизм, словом, *колеблет последние основы и необходимые устои бытия.*

В частности, необходимо отметить следующее:

1. *Религиозное состояние народа.*

Всюду, где исторически сложившиеся церковно-вероисповедные организации утратили свое воспитывающее влияние, где авторитет священства поколеблен или подорван; где церковь стала нежизненная, а жизнь — не религиозна; где церковь противопоставляет свой авторитет родине или государственной власти, или где она проповедует (словом и делом), что «цель оправдывает средства»; где религиозность отрывается от добродетели и героизма, где она не вросла корнями в национальное чувство, где она враждует с научной культурой, где она не умеет освящать быт, не находит себе социального примене-

ния и служения — там всюду дана почва для антирелигиозной пропаганды большевиков. Священник будет очернен как враг истины, справедливости, прогресса и народа.

2. *Национальный состав народа.*

Всюду, где имеются национальные меньшинства, тщетно добивающиеся *культурной автономии, свободы вероисповедания, языка и школы*,— почва для интернационалистической пропаганды большевиков дана. Коммунисты умеют искусно сплетать свою интернациональную агитацию с социальной и политической; выдвигать национальный состав землевладельческого и торгово-промышленного класса, противопоставляя их крестьянину и рабочему; сулить меньшинствам полное освобождение; разжигать в них склонность к полному государственному обособлению и т. д. В настоящее время почти все национальные меньшинства Европы ошибочно убеждены в том, что в советской России существует «национальная свобода» и что коммунисты создали в этом отношении «образцовый строй».

3. *Классовый состав народа.*

Чем острее в стране классовые противоречия, тем легче большевикам вести свою пропаганду. Им выгодна всякая пролетаризация, всякое обнищание населения; особенно разорение среднего сословия (напр<имер>, через инфляцию); разорение крестьянства; развитие и обострение в стране капиталистических противоречий — неравенства, зависимости, эксплуатации, накопление злобы, зависти и ненависти. Большевикам важно, чтобы как можно большее число людей было оторвано от частной собственности и от производства, основанного на ней; чтобы люди разучились творчески владеть и пользоваться частной собственностью; чтобы инстинкт собственника поколебался, развратился и потянулся к грабежу, к переделу имущества, к социальной и, далее, к социалистической революции. Напротив, всякое укрепление среднего сословия; все меры, прививающие народу инстинкт частной собственности и дисциплинирующие его; снабжение пролетариата своими домами и огородами; паевое участие рабочих в прибылях; повышение их культурного и имущественного уровня и т. д. — *невыгодно* коммунистам, ибо все это смягчает и оздоровляет классовое расслоение (дифференциацию) народа.

4. *Государственное состояние народа.*

Чем *бесправнее народ* и чем *слабее государственная власть* в стране, тем легче дается большевикам победа. Бесправный народ обычно озлоблен, политически несознателен, неорганизован и способен только к разрушительному бунту, а не к государственному строительству. Большевикам нужен не организованный народ, а *дезорганизованная чернь*, которая верит демагогам и бежит за ними. Если же чернью управляет слабая власть — *лишенная государственной воли и идеи*, опирающаяся на *расшатанный аппарат продажных* чиновников и на подорванную коммунистическими ячейками армию — то большевики имеют в чужой стране наивыгоднейшую комбинацию. Вот почему им наиболее благоприятствует все, что расшатывает наличную государственную власть и подрывает доверие к ней, как-то: парламентская продажность; партийная грызня; частая смена министерств; бесправное положение главы государства; безыдейность вождей; затруднительность диктаториального объединения страны для борьбы с коммунизмом; режим произвола и террора; неудачные перевороты справа; драки в парламентах и муниципалитетах и т. д.

5. *Семья.*

Здоровая семья есть оплот национальной жизни: она хранит священные традиции народа; она приучает человека к любви и жертве; она укрепляет начало наследственной собственности. Поэтому коммунисты стремятся разложить ее. И всюду, где семейный уклад жизни поколеблен; где угасает начало мужской верности и женской чести; где родители не умеют блюсти свой духовный авторитет; где углубляется рознь между отцами и детьми; где молодое поколение утрачивает чувство священного и заболевает голодным тщеславием — большевизму открыт доступ к самому сердцу народной жизни. Ныне каждый народ должен поднять движение за оздоровление своей семейной жизни; распадение ее выгодно только большевикам.

6. *Воспитание и школа.*

Всякое *формальное* воспитание, непробуждающее в ребенке религиозное и нравственное чувство, не зажигающее в нем любовь к родине и веру в свой народ, —

открывает его душу для большевизма. Все то, что озлобляет и ожесточает душу ребенка, — будит в ней большевистские настроения. Большевизму благоприятствует все, что подрывает авторитет учителя, что превращает школьную дисциплину в каторгу, что приучает детей к трафаретному мышлению, что прививает им хулиганские настроения и ослабляет в них чувство чести. Особенно ядовито преждевременное и беспринципное трактование в школе полового вопроса, разрешение детям «товарищеского брака» или «пробной женитьбы», а также вовлечение их в партийную политику, в уличные свалки, в политический шпионаж и т. п.

7. *Общественное мнение и интеллигенция.*

Завоевание общественного мнения и сочувствие местной интеллигенции есть одна из главных задач большевизма. Это достигается общественным внушением. Настойчивое волевое повторение того, что советский строй есть государство нового типа, именно *социально-справедливое государство*, и что он несет миру *новое освобождающее и осчастливливающее слово*, — повторение этого в наивных или продажных газетах, в брошюрах и книгах, на собраниях и выставках, в салонах, в театральных пьесах, в фильмах, в парламентах и в муниципалитетах создает настоящую каверну для большевистского яда. Люди не замечают, как они *начинают верить величайшей исторической лжи*, они раскрывают свои умы и сердца для сынов погибели и ждут от них обновления и спасения. Пропаганда среди ученых (ВОКС[3]) и заманивание торгово-промышленных кругов заказами и поставками — довершает дело, и общественное мнение страны оказывается «обработанным».

8. *Возможность новой войны.*

Самой серьезной и глубокой опасностью для некоммунистического мира является новая война. Мир, закончивший великую войну 1914—1918 гг., не создал условий, обеспечивающих устойчивость международного равновесия, — ни в политическом, ни в экономическом отношении. Народные же массы *не способны выдержать бремя новой войны*, не впадая в *политическую деморализацию* со всеми ее революционными последствиями. Несомненно, что новая европейская война вызовет такие

потрясения — духовного, политического и хозяйственного характера, которые превзойдут многое, виданное доселе в истории; *большевистский яд разольется в душах стихийно и захлестнет ряд европейских государств*. Мировые последствия этого несчастия будут иметь катастрофический характер.

Таковы основные опасности и каверны в жизни других народов, над углублением и использованием которых неустанно работают коммунисты. Яд большевизма вливается в души и отравляет их, вызывая духовное слабоволие и подготовляя полный духовный маразм. Это необходимо увидеть, понять и продумать до конца. Борьба же с этим ядом является настоящей исторической и мировой миссией русского национального зарубежья, которую оно должно понести и выполнить с честью.

МУЧЕНИЧЕСТВО РУССКОЙ ЦЕРКВИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ДРУГИХ СТРАН[1]

1

Приняв любезное приглашение председателя «Помощи русским братьям», считаю своим долгом поведать вам о мировом значении мученичества Русской Православной Церкви. Конечно, мы далеки от намерений поучать другие христианские церкви или давать им советы. Упаси нас Боже от подобного самомнения и от подобных притязаний! Мы, кого вот уже 18 лет подвергают тяжелейшим испытаниям и опасностям, кто с неколебимой верой, а порою и с отчаяньем, борется до конца из последних сил, — мы испили чашу смирения до дна и научились искать и находить силу и источник этой силы: она — только в Боге. Теперь мы доподлинно знаем, что означает «блаженны нищие духом» (Мф. 5.3)*, т. е. те, кто с явным смирением признает свою малость.

Наши сердца и наш разум приобрели тем не менее новый духовный опыт, который обязывает нас открыться без утайки, до конца, и пред Ликом Господним пове-

* Библия. Перев. Мартина Лютера. Терция, изданная Немецким Еванг. Церковным союзом. 1929.

дать о том, *что* мы, стоя на краю пропасти и держась за края Ризы Господней, пережили, что узнали, узрели и чему научились; *где* у нас открылись глаза, и *каким* видится нам положение христианской церкви в мире в целом. А чтобы вы все это увидели своим духовным зрением, мне сначала придется рассказать вам об источниках и фактах гонений на христиан в сегодняшней России и кое-что о русской церкви как таковой*.

С 1918 года идет преследование, выкорчевывание христианской, как, впрочем, и всякой другой, веры в Советском государстве. При этом едва ли можно предположить, что подобное преследование является чем-то неожиданным для просвещенного европейца. Ведь хорошо известно, что марксизм как таковой дышит анти-христовым духом, а не духом любви, смирения, духом сверхчувственного; он дышит не любовью к Отечеству, миру и праведному жизнепорядку, а духом ненависти, классовой вражды, духом чрезмерной человеческой гордыни, духом чувственно-земного, духом интернационализма, гражданской войны и лживого, несправедливого и недостижимого равенства. Хорошо известно и то, что в марксизме существуют два различных течения: непоследовательное и последовательное.

Представители *первого*, социал-демократы, или не делают ничего из того, что обещают, или делают незначительную малость. По этой причине они свою марксистскую бессмыслицу пускают по белу свету в нимбе «вожделенного рая», а из всего этого выходит невероятный социально-политический обман: в заблуждение введены массы и дискредитирован демократический «идеал». Неосуществимая программа не бывает тем не менее до конца скомпрометированной, а ее нежизнеспособность остается скрытной. Представители *второго* течения, коммунисты, делают как раз то, что обещали, и даже пытаются свою марксистскую бессмыслицу провести полностью и незамедлительно в жизнь. В определен-

* Все, о чем я буду говорить в этом плане, мне известно отчасти из своего собственного опыта (1917—1922), отчасти из аутентичных коммунистических источников, или от добропорядочных, христиански настроенных, строгих очевидцев.

ном смысле можно даже сказать, что коммунисты проводят свою программу «честно», во всяком случае — решительно, последовательно, неотступно. И делают они это со всей скрупулезностью и свирепостью; пускают в ход, как правило, ложь и обман, оставаясь верными своему неизбежному и противоестественному идеалу. Когда коммунист начинает проповедовать «материализм», «безбожие», «экспроприацию», «социализацию», «пролетаризацию» и пр., можно быть уверенным, что он реализует сказанное на деле при первой же подвернувшейся возможности. Так начались в коммунистическом государстве и преследования христиан.

Менталитет образованного европейца, поставившего себя вместе с Ницше «по ту сторону добра и зла» и мечтающего об «антихристе»[2] или, вместе с Марксом, отвергающего частную собственность и грезящего о социальной революции, не задумываясь о реально-политических последствиях всего этого, — коммунисту чужд; такой менталитет он презирает. Его установка совершенно другая: задумано — решено; решено — пущено в ход методом насилия. Так, диктаторским методом насаждалось безбожие, искажалась вера и распространялось безверие — всеми способами и всеми путями, причем самые злые способы и самые дурные пути, как правило, казались коммунистам недостаточно злыми и недостаточно свирепыми...

И тем не менее, как это ни парадоксально прозвучит, я все-таки скажу, что эта последовательность, эта прямая яростная атака на веру и на церковь имеет свою *положительную* сторону. Теперь враг выступил открыто, теперь ясны его менталитет и воля; теперь он показал свое лицо; и любой, у кого открыты глаза, может и должен разглядеть сатанистские черты этого лица. Мы знаем отныне, мы теперь доподлинно знаем, *кто* перед нами; знаем, что речь идет о последнем; знаем, какие опасности, какое мнимое* унижение, какие муки, какая длительная опустошенность нам предстоит, — если мы останемся верными и пойдем по правильному пути. Мы видим, чего нам не хватает и как нам очиститься, мы

* Да, мнимое, потому что несоотносимо с именем Христа.

видим путь, ведущий к победе; мы уверены, что наша конечная победа не за горами. А Господь милостиво поведет нас по этой дороге страданий. Мученичество русской церкви началось.

2

Но прежде, чем поведать вам об этой дороге страданий, хотелось бы сказать несколько слов о православном благочестии, в лоне которого вот уже тысячу лет пребывает, страждет и борется русский народ.

Россия, ее история, культура, вера, характер русского народа в целом здесь, на Западе, довольно мало известны. В этой области царит тьма не весьма благосклонных предубеждений. Чаще всего здесь полагаются на данные несведущих, безответственных людей, и в результате получается, что знают вроде бы много, а на поверку — ничего. Прошу вас — отриньте разом все предрассудки и отважьтесь вкусить живого опыта. Поговорите хоть с кем-нибудь из немецких военнопленных, которым пришлось побывать в нашей стране с визитом, хотя и недобровольно, но в духе спокойной немецкой военной солидности. Почитайте нашу литературу, в частности Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, а средь великих современников — труды нашего тончайшего художника Ивана Шмелева. Прислушайтесь к нашим песням, и особенно — к нашему церковному пению, которое так проникновенно и с таким благоговеньем исполнялось церковным хором[3] «Помощи русским братьям» в городах Германии. Может быть, русская православная музыка откроет вам нечто самое важное*.

Она льется из искреннего, любовью согретого сердца. И это — самое главное; в этом же и источник православной веры: она не из воли, не из мысли происходит, а рождается, прямо по Иоанну, из *любви к Богу*. Именно эта любовь открывает в православном человеке сверхчувственное созерцание. Любовь и созерцание создают атмосферу благочестия и служения Богу — веру. Вера означает здесь так же много, как и слова любить и со-

* О духе русской православной церковной музыки см. мои комментарии в «Любите друг друга», 1936, № 1.

зерцать, любить — искренне, созерцать — отдаваясь всецело, а потом — ревностно, по-детски, да — по-детски, молиться. Тогда только обретается воля, разум и собранность. Нам всё как-то ставят в упрек этот недостаток в собранности и свободе воли, даже отчасти и в теологии. В какой-то мере с этим можно согласиться, но истоки, последние истоки веры пересмотру не подлежат: они истинны.

Если продолжить, то наше церковное пение музыкально, гармонично, лирично, воздыхательно, страдательно, смиренно и исполняется с великой силой страстотерпия. Таково и наше смирение; так воспринимаем мы и Евангелие; так понимаем и учение Спасителя. Благодаря своей выносливости в страданиях, своему терпению и стойкости наш народ смог преодолеть и тяготы своей истории, пережить их, построить свое государство, создать культуру, не только не утратив свою музыкальность, гармоничность, лиризм, а наоборот, сделав все это как бы сущностью своей души. Два изречения руководят жизнью русских православных людей: «Христос страдал и нам велел» и «Бог правду видит, да не скоро сказывает». В свете этих изречений можно судить и о теперешнем состоянии народа и понимать его.

И, наконец, наше церковное пение по традиции многоголосно: ведут его, по меньшей мере, четыре гармонично звучащих голоса. Так же обстоит у нас и с обычными светскими, народными песнями. Простые крестьяне и крестьянские девушки, зачастую безграмотные, абсолютно несведущие в нотном письме, а как бы по законам природы, споют любую песню на четыре голоса, в верной тональности и ритме*. В церковном хоре это соблюдается неукоснительно. Однако это вовсе не означает, что народ или церковная община представляют собой примитивную толпу, как это нередко думают на Западе. Тем более что менталитет нашего народа склонен к чрезмерному индивидуализму и даже к анархизму... Так что, если кто хоть раз слышал наше церковное пение, да к тому же если кто еще и сам

* Часто даже с усложненной импровизацией, что принято в церковном пении.

музыкален, тот уже никогда не поверит в легенду о толпе. Русская православная церковь дышит соответственно духом религиозной автономии и свободы и в этом отношении стоит гораздо ближе к евангелической конфессии, чем к римско-католической.

Тем самым я никоим образом не собираюсь утверждать, что русская православная церковь лишена недостатков и что в ней все безупречно... Нет! Но если существует теперь, после 18 лет гонений, церковь, которая перед лицом земной смерти и пред Ликом Господним действительно видит свои изъяны и свои недостатки, то это — Русская Православная Церковь. А если кто хочет получить доказательство этому и хоть немного понимает по-русски, тому я бы мог порекомендовать одну, единственную в своем роде, в истории христианства книжечку, изданную в 1931 году в Иерусалиме, под названием «Положение Церкви в Советской России». Она написана православным священником, Михаилом[4], из Москвы; который лично знал Святого Патриарха Тихона и ускользнул из России только в 1930 году, пройдя, как мученик, все тюрьмы и концлагеря. Его разрывающая душу искренность, поразительная ясность его взглядов, касающихся суждений о православной церкви и ее путях, его неброское религиозное мужество, его описание церковной борьбы — стоят того, чтобы всецело довериться его слову. Заканчивает он свою книгу победным зовом, который зародился в нем, в его полном смирении, из веры в Бога и из провиденья в очистительную силу нового мученичества. Словно молния освещает его книга дорогу страданий церкви в России.

Позвольте теперь вкратце поведать вам об этой дороге.

3

Преследования верующих и особенно христиан со стороны коммунистов имеют как бы четыре периода, причем за периодом яростных жестоких нападок следовал период относительного послабления. Однако полностью нападки эти никогда не прекращались и никогда не прекратятся, потому что они являются неотъемлемым компонентом большевистско-марксистской системы мышления, воли и политики. И, когда до нас доходят слухи,

что преследования прекратились, мы знаем, от кого они исходят: это или обманутый чужеземец или просто агент третьего интернационала.

Как только коммунистической экономике грозит новый обвал или коммунистическое правительство страшится военных действий извне, волна гонений на верующих начинает спадать; оно пытается симулировать кое-какой гражданский мир, особенно в глазах стран зарубежья, которые при случае могут дать взаймы, выделить кредиты и пр. Но так называемые «достижения» в области безбожия и давление на церковь продолжают иметь место всегда. Порою создается впечатление, что коммунистическим ищейкам самим становится невмоготу их собственная одержимость и что уже можно говорить о таком буйстве сатанизма, что даже «твердокаменное», «переламывающее кости» нутро коммуниста кажется притомленным. Но в сущности своей эти люди остаются верными до конца своему духу, своим планам и замыслам. Потому что прекрасно понимают, что, оставив в покое верующих и церковь, они тут же снимут печать с единого источника духа. Тогда разольется по всей стране и в народе поток духовного воскрешения и обновления, который, рано ли, поздно ли, но сметет всю систему в бездну вечного проклятия...

Вот почему преследование веры — это не мимолетный, судорожный эксцесс, а первостепенная, необходимая компонента в системе большевистских установок и притязаний на завоевание мира. Время этого систематического преследования можно разбить примерно на четыре периода. *Первый* период: 1918—1922. Штурм и натиск. *Второй* период: 1922—1928. Некоторое послабление и постепенная подготовка к дальнейшему. *Третий* период: 1929—1933. Новый нажим в связи с насильственной коллективизацией. *Четвертый* период: 1933—1936. Снова усталость и послабление.

Окинем взглядом эти периоды.

1. Первый период (1918—1922) являет собой картину организованного, но пока еще не до конца подготовленного наступления. В это время коммунистическому правительству целых три года пришлось иметь дело с гражданской войной. По сравнению с так называемой

Белой армией церковь как «классовый враг» казалась ему тогда меньшим злом. Поэтому борьба с церковью в провинции нередко предоставлялась на полное усмотрение коммунистических партячеек, коммунистических отрядов и отделов чека*, оснащенных подстрекательскими лозунгами и секретными директивами. От политики, от помощи Белой армии епископам и священникам во избежание травли пришлось устраниться. Однако верными долгу своему они не могли не оставаться: они наставляли, судили, осуждали, в открытую говорили правду, исповедали свою веру. Коммунисты-фанатики и отчасти совращенные ими люди смотрели на все это как на контрреволюцию. Политкомиссары или сами хватали мужественных пастырей, или отдавали их на расправу воспаленных коммунистов. Кровь мучеников потоками лилась по стране. Священников и епископов подвергали медленной смерти, расстреливали, закалывали, топили в реках, замуровывали в стенах. За эти первые пять лет таким способом умертвили 52 епископа, архиепископа и митрополита и свыше 1200 духовных лиц младшего чина. Арестованные чекистами или уже сидящие в застенках могли «легко» спасти свою жизнь: стоило только предать церковных иерархов на допросе или одобрить программу коммунистов. Мужественно, спокойно, с величайшим достоинством шли эти люди на смерть.

Последние два года (1921—1922) церковь преодолевала еще более тяжкие преследования.

Нещадная конфискация хлеба у крестьян и два неурожая подряд вызвали небывалый голод в стране. Это послужило для коммунистов поводом к повсеместной конфискации церковной утвари и церковных ценностей. Все понимали, что дело не в голоде, а в фондах коммунистической мировой пропаганды. Церковь и тут попыталась оказать сопротивление, но любое промедление или непоставка требуемого наказывались застенками и смертью.

А параллельно с этим коммунисты принялись за изощренную работу по разложению церковной органи-

* Чека, затем ГПУ, а теперь особый отдел комиссариата внутренних дел — все это атрибуты политической полиции коммунистического государства.

зации. Два-три утративших совесть или подкупленных священника под руководством мнимо «рукоположенных» агентов чека «основали» «новую церковь»[5], выступали против Патриарха Тихона, доносили на него и, наконец, объявили его отстраненным от должности, возложили на себя высокий сан, основали синод и раскололи церковь. Патриарха власти предали суду, 9 месяцев держали под стражей и до самой смерти методично измывались над ним и истязали. Когда в июне 1923 года его освободили, к нему снова примкнуло почти все обманутое духовенство (по крайней мере после торжественного снятия с него епитимьи). Его местоблюститель митрополит Петр[6] был почти сразу же после вступления в должность изгнан и до сих пор в изгнании. Путем Тихона идут все мужественные митрополиты, епископы и священники...

4

2. Второй период преследования длился примерно шесть лет (1922—1928). Нельзя сказать, что в это время у коммунистов наступило «отрезвление» или что они пересмотрели свою программу. Нет, они лишь предусмотрительно изменили методы борьбы применительно к новым условиям.

Эти условия, однако, в ходе первых лет революции заметно изменились. Коммунистический эксперимент в сфере экономики, политики и культуры и гражданская война впридачу вызвали невиданные волнения в стране. Полная разруха; голод в городе и деревне; развал в экономике, индустрии и на транспорте, горькое разочарование во всех слоях населения...* Коммунисты, в частности, должны были признать, что кровавая, неистовая,

* Социализированная промышленность давала в среднем только 6% продукции по сравнению с довоенным уровнем. Прибавок земли, как признавали крестьяне, был предельно ничтожен — едва ли 2/5 гектара на душу. Людские потери вследствие революции (смертные казни, эпидемии, гражданская война, голод) составили уже в 1922 году ровно 17 млн. человек (по данным непосредственно коммунистических источников).

богохульная атака на церковь и ее святыни не только не привела к безбожию, а вызвала прямо противоположный резонанс. Народ потоком устремился в церковь; нищета привела людей к осознанию своей греховности и своего святотатства; повсеместно начались торжественные молебны покаяния, зачастую по ночам; стали появляться новые общины сестер и братьев; громовые проклятья советскому правительству из уст Патриарха повсюду находили свой отклик. Дело коммунистической партии явно одержало крах, она уже увидела себя на обочине дороги, и с виду победа над врагом в гражданской войне на деле оказалась плачевным крушением и экономики, и культуры.

Лозунгами дня стали предосторожность, приспособленчество, «передышка»! На какое-то время была дана даже некоторая, хотя и ограниченная, свобода для частной инициативы в области культуры и экономики. Теперь речь пошла о том, чтобы окончательную социализацию и пропаганду безбожия перенести на более отдаленный срок, но никоим образом не оставлять глубокую, широкую и на перспективу подготовительную работу, чтобы в нужный момент разом нанести решительный удар.

С 1922 года и началась эта кропотливая, далеко идущая, разрушительная работа, направленная на подрыв веры и церкви и на окончательную их ликвидацию. Замучили до смерти медленными пытками Святейшего Патриарха. Одного за другим арестовывали и ссылали самых лучших и самых мужественных пастырей церкви. К концу 1927 года уже были изгнаны или сидели в камерах 117 епископов. Все новые законы лишали духовенство каких бы то ни было прав, подавляли деятельность церковных приходов, распускали монастыри, разрушали семейный уклад, создавали коммунистические союзы безбожников и пр.

Весной 1929 года уже можно было подводить некоторые итоги этой разрушительной, преследовательской акции.

Здоровая жизнь религиозных общин была почти под запретом. Вся собственность церквей и приходов считалась национализированной и в распоряжение их не выдавалась впредь до отмены. Законно зарегистрированные общины в качестве правового субъекта уже не числились; личную ответственность за все дела в общине нес

староста. Общинам запрещалось все: благотворительность, воспитание, религиозные наставления, культурная работа. Ни один священник не имел права проповедовать где бы то ни было, кроме своей общины. Любая церковь, согласно постановлению местного совета или по желанию союза безбожников, отныне могла быть закрыта, конфискована или подвержена еще каким-нибудь гонениям. Одним словом, готовились к полной ликвидации церкви.

Духовенство в целом, независимо от конфессий и санов, стало причисляться к «праволишенцам». Теперь на него уже смотрели как на «социально-опасный» элемент, достойный преследования наподобие преступников — бывших офицеров, чиновников полиции, купечества и помещиков. У них отнимались все жизненные права: право на хлебную карточку и на трудоустройство; детей духовенства лишали образования, членов их семей не принимали в кооперативные товарищества. Любого из этих «социально-опасных» граждан могли в любой момент арестовать и без всякого суда и следствия засадить года на три в концлагерь. Так что духовенство страны было доведено до крайней нищеты и обрекалось на голодную смерть. Советское правительство методом карцеров и изгнаний также делало со своей стороны все, чтобы ускорить это вымирание.

Наряду с этим прилагались все усилия к тому, чтобы вырвать из-под влияния религии и церкви те сферы жизни, которые особенно касались вопросов религиозного обучения, школы и быта семьи.

Религиозное обучение в школах было строжайше запрещено; позже оно стало невозможным и в частном порядке. Подготовительных школ для духовного обучения уже не существовало. Святое Писание печатать запрещалось. Образы святых и иконы подлежали конфискации и прилюдному сожжению на кострах. Старшее поколение духовенства, согласно этому плану, было обречено на вымирание; младшее в прежнем духе воспитывать запрещалось.

Школу настраивали не просто на безбожие, а на активную *антирелигиозность*. Все было направлено на то, чтобы у детей вызвать отвращение к религии. Так что

«планомерному охвату» подвергались и детские души. В этих целях литература для детей, хрестоматии, учебники пересматривались и издавались заново; все идеалистическое, преисполненное тайны, все христианское полностью вымарывалось. Учителей вынуждали к систематической прививке у детей безбожия и пафоса ненависти; всякая молитва предавалась издевкам; всякое религиозное упование или надежда критиковались и подавлялись. Детям постоянно вбивалась мысль, что никакого Бога нет и что религия не что иное, как «классовый предрассудок» и «опиум для народа».

А параллельно с этим коммунисты старались вовсю развенчать брак и радикальному распаду подвергнуть семью. В длинном ряду новых «декретов», вылившихся позже в закон (от 1917 г.), до предела упрощалась и облегчалась процедура заключения и расторжения брака; особо неправомочным считался отныне церковный брак, прежде обязательный для всех конфессий. Правомочным считался или просто «заключенный» брак, или вовсе не заключенный, попросту — сожительство, именуемое «фактическим» браком. Любой мужчина при этом мог иметь две, три и более жены, равно как и любая женщина — двух, трех и более мужей. Были случаи сожительства с 4—20 женами. Открыто разрешалось кровосмешение; брат с сестрой, сын с матерью, отец с дочерью могли вступать в брачные узы, и они считались вполне законными. Обоюдосторонние обязанности членов семьи сводились к минимуму. Делалось все, чтобы дети открыто отрекались от родителей, а родители лишались права на воспитание.

При этом возникало неслыханное неустроение семьи, нравственный распад и детская беспризорность, жертвами которой вследствие нескончаемой смертной казни, гражданской войны, голода и эпидемий стали уже миллионы, и эта цифра продолжает расти. Закинутые, безродные, бездомные дети бродят по стране, организуясь в маленькие разбойные банды, проституируя, страдая сифилисом, вымаливая на хлеб и кокаин. Только быстрая смерть способна избавить их от такой жизни; нередко доходит до того, что коммунисты строчат по ним из пулеметов...

Пропаганда безбожия, проводимая правительством и полуофициальным Союзом безбожников, становится все более вызывающей и бесцеремонной. Насмешки и издевки над Богом Отцом и Спасителем, над Богоматерью и всем святым открыто ставятся в заслугу безбожникам. Крайне неприличные процессии проходят по улицам, особенно на Рождество и Великую Пасху, даже во время официальных парадов. Все делается для того, чтобы внушить людям мысль о том, что они молятся «пустым небесам» и что «не Бог создал человека, а человек — Бога».

А тем временем в так называемых «коммунистических академиях» выращивается новое поколение: это ему придется проводить новую атаку на церковь и на крестьянство.

5

3. Выход на арену этой коммунистической молодежи (1929 г.) означает собой начало третьего периода гонений на веру (1928—1933).

Новая орда безбожников имела перед собой две большие задачи: любым способом загнать насильно обобранных и затравленных крестьян (80% всего населения страны) в колхозы и провести массовое закрытие молельных домов по всей стране. Не описать убожества этой коллективизации. Тех, кто медлил или как-то противился ей, выгоняли из собственных домов и в забитых вагонах отправляли на Север на принудительные работы. Целые поезда этих обреченных гибли где-нибудь по дороге от холода и голода. Создание колхозов означало то же самое, что закрытие или взрывание динамитом церквей в окрестности. Закрытие и взрывы их имели место и в городах. Это называлось «работой по искоренению религии до основанья». Время от времени коммунистическая печать поставляла данные отчетов о своих «геройских» делах . Так, например, только за первую половину 1929 года было закрыто 166 православных церквей, 60 мечетей, 10 часовен, 34 синагоги, 16 монастырей; все они были превращены в клубы, амбары и пр. В 1930 году за 3 месяца было закрыто 980 церквей и около 200 мечетей и синагог. В январе 1930-го взлетело в воздух великолепное сооружение Симонова монастыря

под Москвой. В 1931 с помощью динамита был уничтожен Храм Христа Спасителя в Москве, а потом и дивный Николаевский собор в Харькове. Очень часто такие разрушения преподносились как деяния по «настоятельной просьбе трудящихся», но никто не сомневался в том, что это было делом рук коммуноячеек или местечковых союзов безбожников.

Всякий протест, всякое открытое слово, всякое сопротивление кроваво подавлялись, заканчиваясь массовыми расстрелами или ссылкой. Судорогой воинствующих безбожников сводило страну. Так, в течение 1929—1930 годов было уничтожено огромное число священнослужителей только из-за того, что их приходы медлили с закрытием своих церквей. Священников, продолжающих исполнять свои обязанности, третировали нещадно: утративших работу видели гибнущими на улицах. Один из очевидцев рассказывает: «Было 20° ниже нуля. Я увидел на улице согбенные фигуры священников в обветшавших рясах, с замерзшими слезами в глазах, с потупленным взором, молившихся за народ и за его врагов-гонителей...»

4. Но вот наступил 1934 год, а с ним — и четвертый период, знаменующий собою как будто бы новое послабление.

Не то, чтобы прекратились гонения или были сданы «завоеванные позиции». Нет. Однако оголтелые набеги на время как бы замедлились. Результаты индустриализации и коллективизации были просто плачевными. Продукция была предельно низкого качества; транспорт был парализован. Глубокая усталость и разочарование одолели людей, а международное положение Страны Советов было столь неблагоприятным, что коммунистическое правительство снова сочло целесообразным симулировать гражданский мир и даже сделать некоторую уступку конфессиям.

Террор, однако, продолжался. Уже в 1934 году нам снова пришлось в благоговении склониться перед новыми мучениками и героями. Были уничтожены архиепископ Архангельский Антоний[7], епископ Воскресенский Вениамин[8], архиепископ Владимир Соколовский[9], викарий-епископ Дмитрий Вербицкий[10] и целый ряд

евангелистов-священников. Из церковных приходов былых времен уцелело менее половины. Из 320 церквей в Москве к моменту последней Пасхи (1936 г.) осталось только 32. Из концлагерей до нас доходили подлинные вести о том, что торжественная пасхальная служба, венец нашего служения Господу, в тюрьмах и бараках отправлялась шепотом, но даже и тут молящихся оскорбляли, разгоняли, били. Когда один священник пришел к умирающим в бараке концлагеря для больных, чтобы дать им, лежащим на голом полу, хоть какое-то утешение, он был за это избит и брошен в карцер. Мученичество, как видим, идет своим ходом, пока не наступит час...

Церковную жизнь такого рода можно было бы уподобить краху — но это только на поверхностный взгляд. То, что для человека крах, для Господа — новые всходы на новой почве, которые уже блестят в утренних лучах восходящего духовного солнца. Было бы неверным предполагать, что вере в России конец. Даже если коммунисты насчитывают в стране 40 млн. неверующих, откуда им знать, что происходит в глубинных пластах души этих «неверующих»? А что же остальные 130 млн., которые не дали пока никакого повода считать себя безбожниками, несмотря на все угрозы и все посулы сделаться хоть вполовину «безбожными»? Как быть с этими миллионами?

Несколько лет тому назад, в период особо ярых гонений на церковь, коммунистам пришлось признать, что вопреки всем их потугам в стране появилось «новое по-церковному настроенное поколение». Способные, прилежные, молчаливые, погруженные в себя, посещают молодые люди лекции и семинары коммунистов, почти наизусть знают марксистскую литературу, корпят в библиотеках и готовятся в священники. «Это, — делается вывод, — новая армия недобитой христианской церкви!»... Вот почему потянулось в глухие леса множество монастырей, там люди чтут православное благочестие, готовят себя к возрождению церкви, под покровом необъятных просторов своей страны, спасаемые милостию Христа. Простые рабочие заводов образуют новые приходы, строят деревянные церкви. По-братски, во Христе, помогают друг другу разные конфессии и скиты; право-

славная, лютеранская, реформаторская, баптистская общины в складчину собирают средства, снимают избенку, которая в определенные дни служит им молельным домом... Невозможное прежде становится возможным теперь. Что было шатко-валко, ушло, что оставалось важным, дышит духом *первозданной глубины и силы.* Коммунистический ад взял на испытание человеческое сердце. Что было трухой — сгорело; что было истинно духовным зерном — дало свои всходы и сулит хороший урожай.

Да сбудется воля Всемогущего!

6

Тяжкою, мрачною тучею лежит на наших сердцах картина этого исторически единственного в своем роде гонения на веру. И, словно молния, рождаемая этою тучей, наше сознание пронзает вопрос: кто победит?

Однако лично я в такой форме вопрос не приемлю. Скорее его надо бы поставить так: *кто уже победил?* Ибо скажите: как может сатана одержать победу над Христом? В том, что нам приходится иметь дело с элементом сатанизма, сомневаться не приходится; несомненным остается и факт, что это сатанинское движение может привести и нас, и все человечество к пропасти.

Сатану в образе человека с копытами, рогами, хвостом мы должны отвергнуть, как бы мы тому ни противились. Но то, что сатанинские силы существуют в мире, и то, что они с сладострастием беснуются в большевиках-коммунистах, я знаю из своего собственного опыта. Сатанистом становится человек, когда он осознанно, методично лишает свою душу духовности; когда он, так сказать, выкалывает свое духовное око и становится в результате духовно незрячим; когда он иронизирует и издевается над своей верой; когда он свою совесть — этот Божественный в нас голос — заставляет умолкнуть; когда он разнуздывает в себе животные инстинкты (единственное, что осталось в его душе); когда он это жалкое состояние слепого чудовища почитает единственно правильным и не мытьем так катаньем навязывает его другим людям, *всем* людям, и в частности — детям, слабым, бедным, политически от него зависимым (а в коммунистическом государстве *все* бедны, *все* зави-

симы, *все* подначальны)... В своих преступных целях используют сатанисты и остатки некогда высокой духовной культуры, безусловно в ее извращенном, формальном, пошлом виде; используют «науку», «правосознание», «искусство», оставляя на всем печать тупого безбожия, поставленного на службу порабощения людей и лишения их духовности. Все это и есть в сущности своей сатанинские планы и методы, из которых получается величайшие в человеческой истории ложь и обман.

Сатанист — это вовсе никакой не теоретик. Наоборот, он борется, как оголтелый, всеми способами, чтобы вызвать к жизни «безбожных» людей. Он нацелен на власть и завоевание; он работает с утонченной изворотливостью, чтобы превратить человеческую душу в пустошь. Он создает жизнь, полную страха, мучений и крови; создает рабство, где сатана — господин. «Здесь, — как говорил Достоевский, — борются Бог и сатана, а поле битвы — душа человеческая»[11]...

Но мы должны признать, что этот человек-сатанист, со всем его нигилизмом и безбожием, давным-давно культивируется в Европе. Начало ему было положено во Франции — при Вольтере и пресловутых «энциклопедистах». Кровавую французскую революцию (1789—1793) можно считать первым плодом этой подготовки. Со временем этот яд проник и в Германию. Поучительно понаблюдать, как ловко современное большевистское безбожие оперирует аргументацией распада, ссылаясь на французских и немецких материалистов, на Давида Штрауса[12], Карла Маркса и особенно — на Фридриха Ницше. Революция в России сложилась из двух различных элементов: из *большевизма*, т. е. из безбожия, нигилизма и необузданной воли к власти и из *коммунизма*, т. е. из классовой ненависти и классовой борьбы, из поголовной экспроприации, пролетаризации, социализации и порабощения методом террора и монополии работодателя. Все это может служить доказательством того, что Маркса можно назвать истинным отцом современного коммунизма, а Ницше — считать пророком большевизма.

Весь комплекс религиозных сущностей (Бог, душа, добродетель, грех, загробная жизнь, истина, вечная

жизнь) Ницше принципиально считал «ложью, проистекающею из дурных инстинктов в глубоком смысле ущербных натур»*; отрицая все и вся («нигилизм»**), он прославлял безбожность. «Христианское понятие о Боге»*** для него «одно из самых продажных понятий, когда-либо существовавших на земле»****. В понятии «Бог» он видел «весь вред, всю отраву, всю клевету, всю смертельную враждебность к жизни, слившиеся в ужасающем единстве»*****. Христианство в целом для него не более чем «побасенка о чудотворцах и спасителях»******. С отвращением относился он к христианству, «со смертной ненавистью»*******, называя «*все* понятия церкви» «самым злонамеренным фальшивомонетничеством из всех существующих»********, а «самого священника — паразитом опаснейшего свойства, настоящим ядовитым пауком жизни»*********... «Впереди богохульники, аморалисты, типы, пользующиеся правом свободного передвижения и повсеместного проживания, — артисты, евреи, игроки, — собственно, все самые дискредитированные слои людей»**********, — восклицает Ницше.

То, за что он ратует и что превозносит, — это прежде всего «цинизм», бесстыдство, которое он называет «самым высоким», чего можно достичь на земле»***********. Он будит в человеке бестию, «своенравного» зверя, которого надо разнуздать************; он жаждет

---

* Фридрих Ницше. «Ecce Homo». — С. 95. Я цитирую труды Ницше по изданию Бонг. Том VII.

** См., напр., «Ecce Homo», 101. «Воля к власти», 151, 152, 158, 161, 166 и многие другие места.

*** Напр., «Ecce Homo», 80, 86—87, 108. «Воля к власти», 234—235, 236, 239 и т. д.

**** «Антихрист». С. 12.

***** «Ecce Homo». С. 147.

****** «Антихрист». С. 28.

******* «Воля к власти». С 323.

******** «Антихрист». С. 29.

********* «Антихрист». С. 29.

********** «Воля к власти». С. 178.

*********** «Ecce Homo». С. 96.

************ «Воля к власти». С. 154, 175, 195, 200, 203, 329, 365.

«человека-дикаря», «злого человека»* с «ликующей нижней частью живота»**, он хочет «жестокости» и «прямого зверства»***, «потрясающего бурного, дикого потока, несущегося из души»****, «Нет ничего великого в том, — говорит он, — в чем отсутствует великое преступление»*****. «В каждом из нас сидит варвар и дикии зверь»******. И превозносимый им нигилизм он считает не одним лишь своего рода наблюдением, не чистои теорией, а «отрицанием деяния», т. е. везде надо «приложить руку к разрушению»*******, отсюда у него появляется «наслаждение от уничтожения самого благородного»********.

При этом он хорошо знал, что вызывает своей проповедью и каковы будут ее последствия. «Свой жребий я знаю. С моим именем некогда будут связываться воспоминания о чем-то чудовищном — о кризисе, какого еще не бывало на свете, о глубочайших коллизиях совести, о некоем решении, ниспровергающим все, во что до сих пор верили, чего добивались и чему поклонялись Я не человек, я динамит»*********. «Когда правда вступит в борьбу с тысячелетней ложью» (т. е с христианством), «мы получим такие потрясения, такие судороги землетрясений, такое смещение гор и долин, о каких мы и не догадываемся. Понятие «политика» полностью растворится тогда в битве духа, все прежние институты власти будут взорваны — все они покоятся на лжи, произоидут воины, каких еще не было на земле»**********.

Так он стал предшественником, наставником и пророком большевистского сатанизма, создал атмосферу религиозного и духовного нигилизма, пророчил соци-

---

* «Воля к власти» С 326, 341, 359, 389
** «Ecce Homo» С 96
*** «Воля к власти» С 209
**** «Воля к власти» С 210
***** «Воля к власти». С 179, ср 341—344, 381
****** «Воля к власти» С 177 и др
******* «Воля к власти» С 163
******** «Воля к власти» С 230
********* «Ecce Homo» С 146
********** «Ecce Homo» С 141

альное землетрясение. Маркс, теоретизирующий революционер, создал материалистическую порочную доктрину этого социально-политического землетрясения. Оба питали отвращение к Богу и разнуздывали человека. Ленин, их ученик и уже практикующий революционер, сдвинул камень с места; Сталин с соратниками покатил его дальше.

Так зародился этот сатанинский плацдарм. Теперь делается попытка возвести новый мир на ненависти и классовой ненависти, на животной основе, на безнравственности и всеобщем порабощении.

Это разлагающее безбожие, выпестованное в Западной Европе, было преподнесено усталому от войны народу России и властно навязано ему. Теперь оно всеми силами пытается пробиться в Европу. А что если ему это удастся? Кто зрит и любит Бога, кто верует в Спасителя, тот не может сомневаться в исходе этой борьбы. Ему только надо просить у Господа силы и постоянно очищать душу свою для этой борьбы.

Вот что пишет в этой связи священник Михаил в заключении своей книги: «Господь направляет нас и сами себя мы направляем... Православие заколебалось, чтобы укрепиться. После поражения грядет победа. Все изъяны и промахи теперь для нас очевидны. Мы прошли через все испытания. И что бы ни случилось с нашим народом, истина православия его уже укрепила, а все, что он выстрадал, не прошло для него бесследно, не прошло без пользы».

Все проблемы духа проверяются великими страданиями. «Я это утверждаю потому, что сам побывал в этой лаборатории. Православие никогда не пыталось разрешить существенные жизненные и религиозные проблемы с помощью исключительно разума и изобретенных им теорий: они решались в борьбе и страданьях». «Господь всегда будет милостив к нам, будет поддерживать нас и укреплять; Он хочет только, чтобы мы понимали волю его, то, чего Он хочет от нас в создавшемся положении. И как только мы это поймем, придет победа, наступит освобождение». «За истину нам опасаться нечего. Господь нас не оставит».

В это верим все мы. Мы знаем и то, что свершившееся очищение не только во благо православной церкви, но и братьев-евангелистов в России, потому что

и они, подобно нам, претерпевали гонения, молились и боролись до последнего...

Вот тут-то нам и открылось, чего хочет от нас Господь. Если попытаться выразить это на слабом, условном человеческом языке, то воля Господня заключается в следующем.

Господь хочет от нас, чтобы мы свое отношение к Богу рассматривали и переживали как самое важное и самое существенное в своей жизни, как источник этой жизни и созидания. Рано или поздно, в большом или малом, в личных или церковных вопросах, в политических или духовных делах — во всем мы должны быть сынами и слугами Господа, прислушиваться к голосу говорящего в нас Бога, да так, чтобы этот голос заглушал все земное и водительствовал нами.

Господь хочет от нас, чтобы мы, стоя на распутье меж Богом и сатаной, свободно, самостоятельно предпочли святой и праведный путь, выбрали его бесповоротно и решительно и оставались верными избранному пути до конца.

Господь хочет от нас, чтобы мы преодолели страх перед сатанинским укладом, чтобы смело и с достоинством заглянули в глаза сатаны, спокойно произнесли его имя, а затем обратились к Богу: из глубины своего покаяния, из последней глубины любви своей к Богу, исходящей от достойных сынов, признавших Отца своего Небесного.

Господь хочет от нас, чтобы мы научились грудью стоять за Дело Его на Земле, не страшась ни мучений, ни смерти; чтобы мы очистились сердцем, волею, жизнью своею; чтобы мы только то любили и только тем жили, за что можно и живот положить, за что есть смысл бороться и умереть.

Господь хочет от нас, чтобы мы в этом очищении обрели и полюбили друг друга как братья; чтобы мы стояли, как братья, плечом к плечу; чтобы мы забыли о ненависти и вражде; чтобы мы святое Дело Господне с благоговением и полной ответственностью ставили превыше всего преходящего; чтобы мы засветили и разожгли в себе священный огонь, в котором раз навсегда исчезли все уколы и укусы нашего тщеславного «я», нашей заносчивости и своенравия.

Господь взывает к нам. Увещевает нас, потому что любит нас, потому что хочет поставить (и уже ставит) нас перед новой очевидностью Его вечной Праведности.

В молниях и громах ведет Он нас и очищает, чтобы мы по-новому узрели святость Его и величие.

Последний смысл сегодняшних гонений на христиан состоит в том, чтобы повернуть христианскую церковь мира к самому святому источнику жизни, а именно к непосредственному единению с Богом и тем самым — к единению в Боге наших сердец. Самым важным для людей на нынешнем этапе было бы то, чтобы они, всему вопреки, в светлом луче Божественного Откровения обрели свое очищение, обновление и единение.

Кому Господь посылает такое увещевание, тому дает Он и духовный слух, дабы он внял Его увещеванию. Воздадим же хвалу Ему за Его радение о нас! Да будет благословен в веках путь к Нему, за Ним и с Ним![13]

КРУШЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА

Час первый

1

Когда человеку плохо живется на земле — он мечтает наяву и во сне и ему кажется, что эти мечты и сновидения утешают и вознаграждают его. Это общечеловечно, это психологически естественно и понятно; так всегда было и будет. Не следует только принимать эти мечты за осуществимый план жизни, за реальную политическую программу; не следует думать, будто эти мечты и сновидения — содержат какое-нибудь положительное, верное творчество; кто это забудет, того настигнет разочарование, а может быть, и целое жизненное крушение.

На протяжении тысячелетий несем мы, люди, в трудах и страданиях возложенное на нас Высшею Рукою бремя жизни и утешаем себя в ночных сновидениях и в дневных грезах, в простонародных сказках и в кабинетных утопиях — представлениями о жизни, свободной от трудов и страданий, полной удовольствий и наслаждений.

«Ах, эта проклятая жизнь, чтоб ей провалиться; а ведь все могло бы быть *совсем иначе*» — вот припев нашей жизни, из века в век. Что это за «совсем иная»

жизнь — мы сами не знаем; и времени не хватает, чтобы все додумать, и воображение наше не справляется с этой задачей. И если бы заставили нас договорить, чего же мы хотели бы, то мы наверное сумели бы дать только отрицательный ответ: пусть все неприятное, утомительное, обременительное — исчезнет; и пускай все обратное — настанет и осуществится («чтобы сладкий виноград сам рвался и нам в рот клался...»).

Человеческое бессознательное не любит лишений, напряжений и огорчений; оно стоит за удовольствия, за легкую жизнь. И при этом оно одновременно — страстно и наивно, ненасытно и легковерно; его влечения древни и устойчивы, как вселенная, а притязания и надежды его всегда ребячливы.

Человеческое бессознательное не мыслит, а цепляется за свои расплывчатые желанности и с детской доверчивостью прислушивается к туманным сказкам о блаженной стране и о блаженной жизни в ней. Трезвые речи о «необходимом» и «невозможном», о том, что в лишениях есть творческая сила; что неутомимость есть залог победы; что надо двигаться по линии *наибольшего сопротивления*; что жизнь состоит в *ношении* бремен, а не в *стряхивании* их; что смысл жизни не в удовлетворении всех потребностей, а в творческом преображении страстей; что вообще дело не столько в человеке, сколько в Боге — все это человеческое бессознательное слушает неохотно или не слушает совсем. Это — язык мудрости и разума, и звучит он не для инстинкта, а для духа.

И вот на протяжении тысячелетий человеческому бессознательному снится массовый сон о блаженном тридесятом царстве; о сказочном, утопическом счастии; о райской жизни в стране вечного досуга, где не будет ни болезней, ни слабости, ни старости, ни заботы, ни труда, ни лишений, ни голода, ни запрета, ни греха, ни преступлений, ни наказаний, ни принуждения, ни несправедливостей.

Иногда это сновидение относится к прошлому, к воспоминаниям: так было — где-то, когда-то — в раю — в Эдеме, что значит «сад упоений», — но потом это состояние утратилось, исчезло; иногда это сновидение толкуется пророчески и относится к будущему: нас ждет

некий золотой век — некое блаженное тысячелетнее царство, и так как — никто не знает, *когда* оно придет, то оно может настать скоро, может быть, со дня на день.

Одни утверждают, что это состояние ждет человека в *потусторонней* жизни, в Валгалле Вотана, в раю Магомета; другие настаивают, что это блаженство осуществится в *земной* жизни, и даже уверяют, будто они знают, *как* осуществить его; и понятно, чем сильнее уверенность людей в *посюстороннем* осуществлении этого вожделенного порядка, тем нетерпеливее он становится, тем менее у них согласия и способности принимать и переносить реальную земную жизнь, полную — ненавистных трудов, лишений, болезней и всяческих запретов.

И вот, вся история человечества может рассматриваться с точки зрения этого *тысячелетнего сновидения*, или, выражаясь научным термином, — *хилиастической утопии*. В глубине души своей человек есть *хилиаст* — и *утопист — беспочвенный мечтатель о тысячелетнем царстве счастия*. Христианство переломило всю историю человечества — и в этом пункте, как и в других, оно открыло человеку, что *блаженство доступно только духу*, чистому духу, не смешанному с плотию и не влитому в земную душу; что все земное существование, со всеми его бременами *надо принять*, не требуя блаженства на земле, но совершая земную жизнь, как *служение* и *подвиг*; что блаженство надо *заслужить через это*; что блаженство состоит в *созерцании Бога*; и что оно может быть доступно человеку и в этой жизни, поскольку дух утвердит свою победу над своеволием и самозаконием противодуховной или недуховной плоти; этим христианство научило человека — восходить по линии труднейшей, по линии наибольшего сопротивления — и побеждать; именно принятие *горечи* — открыло человеку путь к *сладости*; и *не к сладости земли*, а к *радости неба*.

Это богооткровенное учение — не только приковало взор человека к Богу и к потусторонней жизни, но сообщило христианскому человеку *заряд величайшего жизненно-земного творческого реализма*. Подумать: *Сын Божий* пришел на землю, — принял плоть и недуг, и слабость, и возраст, и труд, и лишение, и запрет, и несправедливость, и муку, и смерть — *и победил*; *и восшел к*

Отцу; *и нам заповедал творить тако*; и заповедал нам принять земное бремя, *терпеливо* нести его, *умерить* свои похоти и притязания; не требовать многого, брать даваемое; и из малого, может быть, из ничего — творить ценное, великое, божественное; не ждать земных услад, а хотеть большего. А это означает — принимать мир земной таким, каков он есть, и в нем со смирением творить Закон Божий.

Бог дает нам этот мир через природу и через наше рождение в свет; от Него каждый из нас приемлет со смирением общий закон бытия и свою личную свободу. И христианину непозволительно буйствовать в бесплодном и бессмысленном мироотвержении, в горделивых и заносчивых покушениях переделать мир, или заново создать тело и душу человека и т. д.

Надо понять, какой заряд творческого реализма заложен в этом христианском мироприятии и духовном смирении. Этого заряда хватило на 2000 лет. Вся современная культура создана из него, создана им. Вера в Бога, в духовность и потусторонний мир научила человека ясному воззрению на мир, творческому спокойствию, духовному терпению, нравственному смирению, миролюбивой общественности, государственной лояльности, здоровому правосознанию.

Тысячелетний сон был обезврежен для земной жизни во всей его химеричности, беспочвенности, безнадежности и революционной кровавости. Христос как бы заклял судорогу утопизма и беспочвенной жадности; мы сказали бы теперь: судорогу классового интереса и социалистической революционности; Христос научил людей *не посягать на земле, во имя предстоящих небесных достижений*. Ибо: нет на земле райских блаженств — ни для кого в отдельности, ниже для всех сообща.

И если бы люди начали верить в достижимость земного рая, требовать его друг от друга и наивно подозревать друг друга в тайном обладании им, — вырывать друг у друга клочки земной сытости и призраки чувственного счастия, — то вся жизнь превратилась бы в войну всех против всех, мир и тишина исчезли бы навсегда, творчество стало бы невозможно и духовная культура не состоялась бы никогда.

Две тысячи лет человечество держалось и созидало на этой великой, вечной основе: «на земле мир, в человеках благоволение»[1]. На христианской готовности людей — *служить не посягая* и *строить не гоняясь за неосуществимыми химерами* — трудясь и неся бремена во имя Божие. Нетрудно понять, что эпоха, уходящая от христианской веры, поставила все на голову. Потерять Христа, Сына Божия, потерять Его завет, оторваться от духовного блаженства в потустороннем мире — значит прилепиться к земле, вернуться к земным посяганиям, возродить в себе тысячелетний сон о блаженной жизни и приступить к ее осуществлению во что бы то ни стало.

Такая эпоха неизбежно станет эпохой брожения и волнений, революций и крови.

В такую эпоху начинает казаться, будто массы переутомлены, не могут больше терпеть, потеряли мужество и силу; затаившаяся в бессознательном утопия просыпается, всплывает наверх и пытается вступить в жизнь; и как будто в ответ этому пробуждению выступает множество мнимых пророков, начинающих заговаривать с этой химерой, будоражить ее, говорить от ее лица и защищать ее «великие» и «священные» интересы; это отчасти наивные мечтатели, которые сами болеют этой сонной химерой, сами заболевают ее пафосом и начинают что-то вроде религиозно-сектантского брожения; отчасти же это честолюбивые демагоги, которые затевают безответственную и злую игру с массовой душой, будя и дразня ее, агитируя и пропагандируя, вызывая к жизни слепые страсти, с тем чтобы выехать на них и добиться власти; это люди без веры и совести, без родины и без сострадания, интернациональные карьеристы, коим, по слову Пушкина, — и своя шейка копейка, а уж чужая головушка — просто полушка.

И вот конец XVIII века дал первые ростки безбожия и революционности во Франции. Весь XIX век ушел на подготовку и взрыхление почвы и на революционный посев будущего. В середине XIX века появился главный теоретик и основоположник социалистической химеры Маркс. Сложились первые интернационалы. После него несколько десятков лет длилось колебание — между демократически-эволюционным движением и диктато-

риально-революционным. В начале XX века окончательно оформилось второе — дальнейшие события всем нам известны. Ни обозначать точно их месторазвитие, ни описывать их развитие на месте — нам нет надобности.

И ныне нам остается только подвести итоги и осмыслить происшедшее.

2

Произошли чрезвычайно значительные, невиданные по размерам попытки осуществить социализм.

Эти попытки, как и следовало предвидеть и ожидать, были антихристианские в высоком и непрерывном напряжении: надо было раскачать тысячелетнюю химеру, поднять ее со дна души и бессознательного и, главное, устранить все препоны, все удержи, все великие заветы, зовы и усилия христианства.

Христианский уклад души оказался главною помехою для безудержного изживания земного утопизма, для классовой ненависти, для веры в быстрое осуществление райской жизни сонмищем безбожников.

Оказалось, что человек христианского склада не годится для свирепых мер, для материалистического мировоззрения, для всеобщей экспроприации и социализации.

Оказалось, что *социализм в жизни* — это не сладенькая утопия о всеобщем равном благополучии, изобилии и наслаждении, а суровый фанатизм, дело великой беспощадности, великой крови и безмерного всеобщего страдания.

Оказалось, что реальный социализм — не полнота жизненного христианства, как мечталось кабинетным утопистам, а дело противохристианское, с христианством несовместимое, требующее исчезновения или искоренения христианства.

Оказалось, что социализм есть дело не любви, а ненависти; не демократии, а диктатуры; не права, а произвола; не свободы, а порабощения; не справедливости, а попрания ее; не равенства, а классовой привилегии; не сытости, а голода; не блаженства, а страха; не экономии сил, а растраты сил.

Оказалось, что попытка пойти против Христа и заменить христианское общество — социалистическим — повела к кризису социализма, к великому разочарованию, в конечном итоге — к крушению социализма.

Оказалось, что строит любовь, а ненависть разрушает.

Оказалось, что человечество потеряло в этой битве ту химеру, в которую оно так долго верило, ту программу разрешения социального вопроса, которую оно за XIX век считало единственною и спасительною.

3

Будущий историк нашего века отметит, что эти годы были высшим взлетом и в то же время поворотным пунктом в истории социалистической химеры. Время величайшего подъема социалистических надежд и жесточайшего разочарования для всех честных и идейных социалистов. Конечно, сами вожди европейского социализма поняли это не сразу; поняв, не хотели верить; поверив, боялись высказать. Это понятно — сколько поколений выросло на этой химере; ею клялись, за нее умирали.

Для множества людей, наивно уверовавших в эту химеру, — социализм обозначал «добро», а буржуазность — неравенство, эксплуатацию, зло. Это был, с позволения сказать, «идеал», почти религиозный идеал, заменивший для многих христианскую веру. Идейные и честные люди наивно верили в социализм потому, что они считали его программу последним словом социальности. <А> ведь «социальный» и «социалистический» совсем не равнозначные понятия.

Мыслить и чувствовать «социально» значит заботиться о своих согражданах и особенно о слабых и нуждающихся; это значит бороться против эксплуатации человека человеком; это значит иметь душу братски-сострадательную, искать справедливости; это значит строить народное благосостояние на благосостоянии всех граждан, взятых порознь; это значит будить и оживлять качественные, творческие силы человеческого инстинкта и человеческого духа во всех слоях народа. Вот что значит мыслить и чувствовать социально. И вот эта сущность дела вытекает целиком из христианского духа, а не из материализма и безбожия: в материализме и безбожии, оказывается, заложено обратное.

Отсюда вывод: кто мыслит социально — совсем не должен быть материалистом, безбожником и социалистом; а кто идет за материализмом, безбожием и социализмом, тот будет мыслить и действовать *анти-социально.*

Разрешить социальный вопрос значит найти справедливый, братский строй. И вот оказывается, что социализм не только не разрешает социальный вопрос, но доводит его до невиданной в мире трагической остроты: порядок жизни, вводимый социалистами, оказался законченно анти-социальным.

Так социализм ставит себе прямую, последовательную задачу превратить всех своих граждан не просто в нуждающихся, а *в безусловно и бесповоротно зависимых нищих*. Ибо *первая задача социализма* есть *поголовная экспроприация* населения — *отнять всего*[2] *у всех* — от банкира и фабриканта — до последнего крестьянина, до всех общественных союзов — церкви, кооперации, ученых обществ. Первая задача социализма — лишить всех всего и истребить тех, кто на это не согласен. Социалистическая страна наводняется вследствие этого — бесхозяйными, бездомными, бессемейными, безродными, беспризорными и безработными. И заметим: социализм не то что «не успевает бороться с этими явлениями» — но планомерно создает эти общественные слои, сознательно лишая всех имущества и превращая всех в беспочвенных пролетариев.

Вторая задача социализма состоит в том, чтобы насытить всю страну духом классовой ненависти и гражданской войны: для того, чтобы осуществить социализм — нужны, оказывается, такие душевные запасы *ненависти, зависти* и *мстительности*, такие запасы взаимной *вражды*, которых буржуазно-капиталистический строй не сумел выработать и запасти. Все школьное и внешкольное воспитание масс, вся печать, все искусство, все законы — систематически выращиваются из духа взаимной злобы и нещадной борьбы.

Социализм с самого начала и до конца — отметает начало всенародного братства: человек человеку не брат, а шакал и гиена. И дух этот не случаен — он записан в социалистических библиях (Маркса и других): он первый двигатель социализма.

Третья задача социализма — выделить слои людей, считающихся носителями социализма, обещать им все, обеспечить их всем, поставить их в привилегированное положение и создать из них оплот для социалистической диктатуры. Этот оплот сам добывает себе свою

забронированную долю из трудов и продуктов остального населения. Оно составляет не более двух-трех % населения и становится привилегированной кастой, от которой все зависит и за пределами которой во всей стране имеются только — *подачки* и *нищета*.

Таким образом, социализм есть идея — построить благосостояние государственно-ведущей касты на нищете граждан, силу государства на страдании личности. Личность человека в социалистическом строе не только бесправна, но и хозяйственно порабощена, нравственно унижена, творчески обессилена и абсолютно не обеспечена в своих элементарнейших потребностях.

Пролетариат не только остается пролетариатом; он не только по-прежнему продает свой труд на рынке труда; но он видит перед собою рынок труда, закупоренный и урезанный отовсюду, — тупик без исхода и без конкуренции с одним-единственным работодателем — государственно-диктаториальным аппаратом. Социализм не обеспечивает личность, а подавляет ее и эксплуатирует ее по законам замкнутого, монопольного рынка.

Социализм создает строй *вампиристический*: государственный центр высасывает из живых людей их жизненные соки; социализм снижает этим качественный уровень культуры в своей стране, растрачивает качественные кадры измором и нищетой, отучает свой народ от качественной культуры; падает уровень умений и способностей, уровень промышленности и торговли, искусства и науки, добросовестности и трудолюбия.

Одним словом: *социализм оказался анти-социальным строем*. И тот, кто хочет найти разрешение социального вопроса, тот должен отвернуться от социалистической доктрины и искать разрешения на других путях: к чему ныне и обращаются одно за другим европейские государства — каждое по-своему.

Новая социальная идея будет *анти-социалистическая*, ибо *старая социалистическая идея* оказалась *анти-социальной*.

4

Таково это великое, переломное разочарование, которое выпало на долю современного социалистического ведущего слоя.

Мы не должны делать себе никаких иллюзий: это разочарование не скоро и не легко проникнет в душу массы; чужая болезнь мало кого научает; чужим опытом люди не умнеют. Но тем, кто думает не по книжкам и не по партийным трафаретам, — перспективы уже ясны. Им уже понятно, что социализм затевает величайшую тяжбу и борьбу — между человеческим *произволом* и *человеческою природою*; что в конечном счете победит не произвол, а природа; но что и временная победа этого произвола и такого произвола сулит народам черные годы, поистине неслыханные в истории.

В попытках провести и осуществить последовательный социализм обнаружилось, что он действительно противоречит природе человека; но радикальные социалисты, увидев это, сделали не тот вывод, что *социализм плох* и не годится для человека, а тот вывод, что *природа человека плоха*, ибо она не годится для социализма; а это означало для них, что надо переделать природу человека — какими средствами? Любыми, какими угодно, ибо цель оправдывает все <и> всякие средства.

Непримиримость между социализмом и человеческою природою была некогда упущена Платоном и вскрыта Аристотелем. С тех пор *личное* начало в человеке исторически укрепилось и духовно углубилось и утончилось; и вместе с этим укрепилась и углубилась и эта непримиримость. Но это не останавливает фанатиков: природу человека они подводят под понятие *буржуазного* уклада души и считают, что этот буржуазный уклад можно и должно вытравить из человеческой души: стоит только «отучить» и «приучить», и человеческая душа будет переплавлена или создана заново.

Что такое «природа» для невежды? — раздражающее препятствие. Что такое препятствие для фанатика? — повод для ярости и свирепых мер. На самом же деле эти свойства и тяготения человека, которые делают душу его неподходящею для социализма — характерны совсем не для буржуя, испорченного буржуазными предрассудками и привычками, не меняются на протяжении тысячелетий, входят в самую суть человеческой природы, они лежат в основе всей исторической культуры. Подавлять их — значит разрушать культуру, отменить их — не удастся никогда.

Человек есть личность с личным духом и инстинктом; силы этого духа и инстинкта цветут и плодоносят только в свободной самостоятельности. Общественный строй, который не считается с этим, — есть строй противоестественный; он будет порождать только беды, унижение и всяческий упадок; человеку от природы присущ инстинкт личного самосохранения и самосозидания — таинственная творческая сила, подметить ее в себе может и должен каждый из нас; угасить ее в себе можно только в порядке самоубийства. Ее действие начинается во чреве матери и в акте рождения; ее действием растет, зреет и лечится организм; она есть источник жизненного равновесия — в питании и в самоисцелении, в потребностях и в отвращениях, в выборе труда и в сладости отдыха, в распределении дня и в ночных сновидениях.

Человеческий рассудок может, по глупости своей, презирать эту таинственную силу; и за это он рано или поздно будет наказан. Напротив — жизненная мудрость состоит в том, чтобы внимать голосу своего инстинкта и жить им, не рабствуя ему, но одухотворяя его. Этот инстинкт присущ каждому отдельному человеку; он есть *начало личное* — ибо он обслуживает, ведет и питает каждый раз только одну личную жизнь. У людей нет *общего инстинкта* — одного на двоих, семерых или на миллионы людей; у них есть лишь множество личных, отчасти похожих в жизни, но самостоятельных и замкнутых инстинктов.

Первое и основное проявление этого инстинкта есть *личный жизненный интерес* человека — который каждый носит в себе, считая его естественным и законным и относя его к эгоизму и своекорыстию у других людей. Этот интерес во всех его формах — начиная от голода, любопытства и физической любви и кончая имущественным приобретением и честолюбием большого полководца — есть начало естественное, необходимое и творческое.

Проявления этого личного интереса неравноценны — один ограбит и изнасилует, а другой создаст великую поэзию или великое государство. Но погасить или вытравить его из души человека невозможно. Иметь личный интерес и жить им — свойственно человеку от природы: таков способ бытия, присущий ему. И всякий обще-

ственный строй должен с этим считаться. Все попытки подавить его — нелепы. И не нужны. Своекорыстие надо не запрещать и не давить, а прилеплять его силу к более духовным содержаниям и к более социальным целям.

В эгоизме предосудительна не жажда удовлетворения, не страсный интерес и не желание «присвоить себе все прекрасное» (Аристотель), но тупая прилепленность души к своему животному «я», к узкому закоулку своей особы и неспособность выйти любовью *за* его пределы — к другим людям или к священным предметам...

Воспитание состоит не в угашении личного инстинкта и интереса в душе человека — от этого ребенок был бы присужден к пожизненной скуке безразличия, к ненужности себе и людям, к пассивной и тупой лени. Политика совсем не должна создавать человека, не заинтересованного в личном преуспеянии — от этого возникло бы только всеобщее лицемерие, и природный источник общественной и хозяйственной энергии оказался бы закупоренным.

Бессмысленно и вредно подавлять в хозяйстве частную инициативу и ее естественное жилище — частную собственность, — ибо народное хозяйство в целом должно пожинать плоды личной заинтересованности, а не приковывать безразличного раба к социалистической тачке.

Вообще: *личное начало — есть естественная и величайшая сила мировой истории.* Без него нет инициативы и творчества. Покуситься на личное начало — значит покуситься на самое естество человека, на его природный способ жить и творить. Но если покушаться на него, то надо упразднить не только частную собственность, но и частную семью, кровное родство и все родовое чутье человека. Надо погасить семейный очаг, воспретить семейное воспитание детей, выветрить семейные традиции; надо так или иначе узаконить и многобрачие, и кровосмешение; надо отучить человека от собственного мнения и частных, личных убеждений; надо остановить и подавить всю духовную индивидуализацию, выстраданную человечеством на протяжении тысячелетий — в религии, в искусстве, в науке, в праве и хозяйстве.

Последовательный социализм должен социализировать не только имущество, труд и быт, но и челове-

ческую душу, ибо *не* социализированная душа *опять* вернется к индивидуализму, свободе и собственности. Последовательный социализм должен вытравить из души не только тягу к имущественной наживе, но *всякое*, всякое, ***всякое*** проявление человеческой самостоятельности. Душа человека «созреет» для социализма только тогда, когда в ней угаснет *жажда быть самостоятельным, самобытным центром воззрений и поступков*; чем тогда станет человек — человекообразной амебой, слизняком, устрицей, губкой или просто безличным подлецом, — нам неизвестно, но творцом хозяйства и культуры — он перестанет быть.

Социализм и личная духовность — исключают друг друга. Социалисты, если они хотят победить, должны *подготовить в массе примитивное существо с вытравленной личностью* — они должны социализировать человеческую душу. И вот эта затея обречена на неудачу. Природа человека не подчинена социалистическому произволу. *Духовность* личности можно временно растлить, разложить, совлечь; но личную форму *инстинкта* — не разрушить никогда, никому.

Социалисты могут запрещать и застращивать, долго, крикливо и назойливо проповедовать свои марксистские пошлости — на время может воцариться умственный и волевой трафарет, на время померкнет в людях духовное своеобразие, снизится духовная культура; но ***лично-животное*** начало, неискоренимое и не слабеющее, останется и только утвердится.

Социалисты могут приготовить несколько миллионов особей, умственно и нравственно похожих друг на друга, — но по-прежнему индивидуальных в своем расцветшем классово-личном своекорыстии; это будут *духовно — уже не личности*, но особи животно сильные в своей вечнозвериности, бесстрашные в толпе и ничтожные порознь; толпа самодовольных и безыдейных умственных и нравственных смердов, неспособных созидать, но способных разрушать. Такое меньшинство выдрессировать можно; но остальное большинство не переплавится и отчасти по инстинкту, отчасти по расчету встретит социалистическое хозяйство лютым и неисчерпаемым сопротивлением, которое поведет к крушению.

Социализировать душу нельзя. Это обеспечено — Божиим изволением и природным устройством. Человек создан личностью и призван быть ею. И то, что нужно социализму — массовый человек, человек-орудие, человек-машина; не незаменимая личность, а заменимая особь, человек-материалист, чувственное животное без Бога, вне морали, права, свободы и страстного личного интереса — это существо не способно творить ни прочное общение, ни национальную духовную культуру, ни цветущее хозяйство.

Социализм идет против человеческой природы, он игнорирует законы человеческого инстинкта и попирает законы духа и этим он подрывает сам себя. Все попытки такого противоправного строительства могут дать людям море страданий и великий отрицательный урок — как не следует жить и строить. Крушение здесь неминуемо. И люди поймут однажды и усвоят надолго, что затея «отменить тайну личного инстинкта и надругаться над таинством личного духа» — есть затея безбожная и безумная, противоестественная и обреченная.

Час второй

1

Раскрывая перед вами кризис и крушение социализма, я указал доселе на его *противо-христианские, противо-общественные* и *противо-естественные черты.* Этим дело, однако, не ограничивается — нам надо идти дальше и смотреть глубже. Мы должны установить, что социализм по самой идее и практике своей неизбежно *террористичен.* Мы знаем, что есть социалисты, не признающие этого. от Каутского — до анархиста Кропоткина. Но это социализм мечтательный, кабинетный, митинговый. А нам надо иметь в виду не социализм *слова*, а социализм *дела.*

А дело это таково:

всеобщий имущественный передел,
экспроприация собственников,
превращение всех в пролетариев,
уравнение всех в нищете и абсолютной зависимости,
подавление личного начала и частной инициативы,
централизация всего хозяйства,
социализация культуры, семьи, жилищ, быта и образа мыслей.

Так вот, маниловски болтать и мечтать о социализме можно и без террора; осуществлять же все это — можно только насильственно, *силою страха* и *крови*. Почему? Да потому, что социализм противоестествен; потому, что живая и здоровая природа инстинкта и духа не приемлет его и может понести его только как ненавистное иго, как проклятое и бессмысленное бремя, как попытку превратить живой организм в машину, как своего рода насильственное оскопление души. На все это нельзя идти доброю волею, — все это можно только навязать человеку угрозою, унижением, мукою голода и страхом крови; превратить человека в машиноподобного раба — может только террор; привести всех к исповеданию марксистских пошлостей — может только террор; заставить людей хозяйствовать только по бюрократическому велению — может только террор.

Только террор может погасить в человеке желание иметь частную собственность, частную семью, частное жилище и личные, независимые убеждения. Как ни трудно подчас бывает людям в буржуазном обществе — все они имеют *свои* великие трудности и несправедливости, — но здесь человек является активным *субъектом права*; в социалистическом строе человек перестает им быть — он становится *пассивным объектом социалистического эксперимента и социалистического террора*. Здесь террор *необходим*.

Социализм есть попытка *заставить* людей — в корне изменить их строй души, их воззрения, их жизнь, *все*. Чем можно *заставить* людей? Заставить массу? *Зависимостью, голодом, угрозой, тюрьмой, кровью*. Вот почему самый *замысел* социализма — террористичен. Здесь террор — не случаен; это не взрыв, не эксцесс, не временный психоз, а *система*. Достоевский устами Шигалева — выговорил это с изумительной точностью и верностью. Здесь *террор* есть система — крепко, последовательно продуманная *система управления*, без которой ничего нельзя сделать, — ибо строить социализм значит навязывать народу противоестественный строй хозяйства, культуры и жизни.

Всех несогласных и непокорных — необходимо заставлять, застращивать, унижать, обезвреживать, изоли-

ровать, нравственно разлагать и истреблять; а согласных и уверовавших в социализм — всегда было и будет меньшинство. Это теоретически ясно; это практически неизбежно. И нам остается только понять, как это объяснимо психологически.

I. Это объясняется, во-первых, тем, что социалисты — суть *материалисты*.

В качестве материалистов они презирают, разлагают и попирают духовное начало в людях. Они видят в человеке не душевный организм, а механизм рефлексов; не духовное достоинство, а животный расчет и классовую жадность; трудовую машину, и притом нравственно мертвую и безразличную машину.

Этот механизм должен повиноваться, безоговорочно покоряться; для этого необходим страх. Материалист не верит в духовное начало; а потому он не может верить и в духовный авторитет государственной власти. Но за вычетом духовного авторитета государственная власть сводится к силе и страху. Социалистическая власть может импонировать только совсем темным и жадным людям. Остальным она несет перспективу доноса и страх перед казнью. Вот почему именно материализм, именно безбожие связывает в единый узел социализм и систему террора.

II. Во-вторых, социалисты всегда будут нуждаться в терроре потому, что они веруют до фанатизма во *всемогущество государства*.

Как будто бы в самом деле — государство может «все»... В действительности государственная власть не только не может «всего», но может совершить лишь *очень немногое*: ибо творческая жизнь инстинкта и духа ему *не* подчинена. Любить, творить и молиться человек может *только свободно*.

Но социалисты не могут считаться с этим: у них большой, всеобъемлющий, централистический и бюрократический замысел: захватить всю жизнь и подчинить ее марксистски настроенным, социалистическим чиновникам; для этого им нужна абсолютно-покорная, несопротивляющаяся среда, психическая глина, люди без самостоятельного суждения и характера, социалистически заряженные автоматы.

Социалист предрасположен к *деспотизму* и *диктатуре*. он призван повелевать и требует слепого повиновения, он не организует свободное множество частных начинаний, но стремится навязать людям силу, темп и направление их труда и жизни. Мотивы людей ему сравнительно безразличны; в покорности тонет все.

Социализм есть не просто государственная программа, государство есть его лучшее, всемогущее орудие. орудие, могущее все осуществить силою и страхом.

III. В-третьих, социализм нуждается в терроре потому, что он прет противу рожна — *против природы*.

Силу природного инстинкта, навыки тысячелетий, уклад бессознательного — можно ломать только системою страха, кровавым потопом; ломать, но не сломить; ибо природа отступит только для того, чтобы победить, она, как живая вода, будет подтачивать всякую плотину, подмывать всякий мол, просачиваться через все препятствия. И противопоставить ей можно только силу голода и пулю палача.

Кто ополчается на природу — тот должен заранее разрешить себе все средства и забыть о белых перчатках.

IV. В-четвертых, социализм террористичен потому, что он, начиная от Карла Маркса, стал революционным.

Революция же есть действие, которое не может останавливаться перед жестокими, коварными, кровавыми мерами. Революционер должен сначала разрушить — а это есть кровь. Время течет для него слишком медленно и он пытается ускорить его ход. Революционер не видит, не чует силу наследственности и традиции, власть времени, укорененность иррациональных тяготений человека; он не чтит природу; он верит в свои храбрый произвол. Он стремится осуществить невозможное в кратчайший срок; он нетерпим и упрям. Он презирает всякую постепенность; он желает немедленных и бесповоротных достижений. Вот почему он грозит и нагоняет страх: ему надо залить кровью и завалить трупами бездну непокорного времени.

Революция не фраза, а террор; так всегда было, так будет и впредь.

V. Социализм же выходит на борьбу со всем прошлым человечества.

Он относится непримиримо к его истории, проклиная и презирая ее за буржуазность. Именно поэтому он всегда готов заострить борьбу до последнего предела — вызвать на бой все человечество; оторваться от всяких традиций и заветов; он ожесточает и своих врагов, он наслаждается своей непримиримой позой и стремится отрезать отступление и себе, и врагу. Террор нужен ему, как окоп, как гарантия того, что ни прощения, ни примирения искать негде; этим он жжет корабли и отучает своих приверженцев от примиренчества, оглядки и тяги к компромиссам; ему нужно побольше непрощаемого, непростимого, непоправимого. А что же неотвратимее смерти?

Вот в силу этих всех оснований — социализм связан с террором в самом замысле своем и в осуществлении свей программы. И тот, кто предотвращает социализм в своей стране, тот избавляет ее от потоков крови и должен по праву считаться ее благодетелем.

2

Что особенно поучительно в кризисе социализма — это то, что он сам впадает в те грехи, которые он приписывал буржуазному строю.

Социалисты громили капиталистический строй за то, что он создал пролетариат — класс людей, не имеющих *своих* орудий производства, но работающий за наемную плату на чужой земле и в чужих фабриках, но социализм сам — превращает весь народ в пролетариев, и притом зависящих от единственного, *монопольного* работодателя, социалистического, партийного государства, а монопольный работодатель властно и окончательно диктует рабочим нищенские условия жизни и заработной платы и продолжительность и темп труда; таким образом, социализм не только не устраняет отрицательных сторон капитализма, но воспроизводит их в преувеличенном, небывалом размере.

Так и в других отношениях. И больше всего в вопросе об экономии и растрате сил. Дело в том, что социалисты всегда особенно корили буржуазный порядок за то, что в нем царит *свободная конкуренция*, в силу которой каждый действует на свой риск и страх, многие делают одно и то же, душат и давят друг друга в борьбе за

существование — вызывают анархию производства, перевоплощение форм капитала, перепроизводство, кризисы и растрату сил. На самом же деле весь социалистический <порядок> есть не что иное, как сплошная и непрерывная растрата сил. Эта растрата начинается с того, что социалисты не хотят пользоваться и не умеют пользоваться силою живого инстинкта и пытаются вытеснить и заменить его — *силою мертвого произвола.*

Что сказали бы социалисты о правительстве, которое решило бы воспретить всем гражданам пользование естественными руками и главами и постановило бы заменить их искусственными протезами и гляделками? Они объявили бы такое правительство сбродом безумцев и потребовали бы его свержения. Вот так и мы объявляем затею социалистов безумием. Ибо душевная мотивация хозяйствования есть первый источник и первое орудие экономики; и эта мотивация должна быть естественной. Электрическая энергия не выдумывается и не предписывается, а берется из природы; подобно этому нельзя предписать хозяйственные стимулы (побуждения), нельзя *заставить* людей творить, нельзя принудить человека к тому, что он может делать только *своею охотою, доброю волею, из личного интереса.*

Есть экономическая аксиома. В ней говорится о человеческой душе, о тех *мотивах*, которые побуждают ее к хозяйствованию; о тех стимулах, которые делают это хозяйствование наиболее *интенсивным, целесообразным* и *продуктивным.* Согласно этой аксиоме только тот способ владения и хозяйственного распоряжения вещами верен и жизнеспособен, который *поощряет* человеческую душу — творчески предаваться хозяйственному самовложению в вещи, изживаться в этом самодеятельно и интенсивно, *инициативно* создавать свое хозяйственное благосостояние и обеспечивать будущее своих детей без опасливых оглядок на уголовного или социалистического экспроприатора; словом — уверенно и спокойно отдаваться хозяйственному творчеству. *Частная собственность*, закрепленная правовой свободой и правовым порядком создает такой стимул и дает такую *гарантию. Социализм* же игнорирует и попирает эту *хозяйственно-психологическую аксиому*: он застращивает, обессиливает и обеспложивает

человеческую душу в хозяйственном отношении; он возводит в принцип *хозяйственное скопчество души*, он *подавляет естественную мотивацию труда* и растрачивает силы в попытках создать *искусственную мотивацию*.

Вот как выглядит баланс социализма как растратчика личных и общественных сил.

I. Он растрачивает силы, во-первых, тем, что подавляет естественную энергию личного инстинкта, личного интереса и личной инициативы, вся *творческая самодеятельность всей массы единоличных хозяев* должна быть списана, как погубленная и растраченная.

II. Во-вторых, должна быть списана в растрату вся та масса энергии, которая необходима для *самого подавления* этих личных сил: все эти учреждения, чиновники, контрольные инстанции и карательные отряды, весь этот аппарат хозяйственного сыска, доноса, «конфискации» и преследования «классового врага» — вся *подавляющая* и *искореняющая* работа социалистической бюрократии.

III. В-третьих, в растрату должна быть списана вся та масса энергии, которая должна *создать новую* искусственную, теоретически выдуманную и произвольно навязываемую мотивацию труда, — весь этот огромный и сложный аппарат, который старается отучить человека от его здорового инстинкта, от частного интереса, от желания трудиться на *своем* земельном участке и самому пожинать плоды рук своих; все эти усилия, пробуждающие в душах восторг перед нелепой и жизненно обреченной химерой и готовность впрягаться в сизифову работу и нести мучения голодного Тантала.

IV. В-четвертых, растрачивается та масса энергии, которая пытается осуществить хозяйственное *всепредвидение, всеучет, всеруководство*, которая навязывает правительству ложную и безнадежную задачу стать всезнайкой, всеучителем, всепогонщиком. Словом, растрачивается вся та сила, которая нужна для замены во всенародном масштабе *живого организма* — *выдуманным механизмом*; вся сила, убиваемая на затею безумную и бесплодную: сварить на огне всенародной муки в социалистической реторте искусственного человека (гомункула) и его никому не нужную искусственную жизнь. Все вместе — дело невежды, который стал *доктринером*;

дело *авантюриста*, который стал *фанатиком*; дело *извращенной души*, впавшей в безудержное *честолюбие*. И судьба этого честолюбивого невежды и фанатика в том, чтобы стать *всебанкротом* и собрать на свою голову проклятие всего живого.

Если частно-хозяйственный строй растрачивает силы, то не потому, что он отрицает хозяйственную энергию живого (личного и народного) организма (напротив!); не потому, что он *еще не научился координировать творческие усилия частных хозяйств*, а машинный способ производства и вызванная им концентрация капитала обострила *потребность в этом координировании*. Искусство согласовывать и уравновешивать множество самостоятельных хозяйств — есть искусство трудное; особенно потому, что *самостоятельность* хозяйств может ограничиваться или нарушаться *только до известного предела*. Этот предел лежит в живой человеческой душе — в ее *мотивации*: организация частных хозяйств не должна подрывать волю частных *хозяев*, иначе *организация будет убивать организуемое дело*; и тогда в лучшем случае получится кладбищенский порядок, а не народное хозяйство. Дирижер, который изобрел бы новый способ дирижирования, состоящий в пробивании музыкантских голов и в замене живого мозга мертвой машинкой, — не разрешил бы проблему оркестра; он не исполнил бы ни одной симфонии, и в лучшем случае был бы признан душевнобольным. Есть старая басня о скряге, который имел курицу, несшую золотые яйца, и который, желая получить сразу побольше золотых яиц, вспорол куриный живот.

Социализм поступает так же и еще хуже. Он убивает главную производящую силу народного хозяйства, *личный интерес*. И затем приступает к систематической планомерной растрате оставшихся еще сил на то, чтобы заменить отпавшую силу речами, заседаниями, резолюциями, приказами, угрозами и казнями. И еще на то, чтобы внушить своим подданным и всем другим народам, будто этот способ хозяйствования самый лучший и самый продуктивный.

Итак, социалистическое хозяйство не экономит народо-хозяйственные <силы>, а растрачивает их. Но за-

коны природы и законы экономики объективны и неумолимы — и действие их является настоящим приговором социализму.

3

Еще один шаг, и мы поймем морально-общественное крушение социализма.

Целый ряд европейских поколений вырос на некоторых вредных и несостоятельных предрассудках, которые и лежат в основе социализма:

I. Будто люди равны от природы

и

II. Будто справедливость требует равенства и всеобщего уравнения.

Социализм и обещает людям *равенство*, уверяя их, что водворение равенства равносильно торжеству *справедливости*. Но на самом деле люди от природы *неравны* ни по полу, ни по возрасту, ни по физической силе, они не равны ни умом, ни волею, ни воображением, ни памятью, ни страстью, ни талантом, ни гениальностью. А справедливость требует, чтобы эти неравенства принимались в расчет — и чтобы с *неодинаковыми людьми* и обхождение было *неодинаковое*. Поэтому бывают *справедливые* привилегии: женщины не отбывают воинской повинности, беременные женщины пользуются особой охраной, инвалиды войны не становятся в очередь, только волевым людям поручается командование армией, ученые и поэты пользуются особым покровительством государства, при прогрессивном налоге — бедному облегчение. Но бывают и *несправедливые привилегии*: напр<имер>, феодальное право барона на первую брачную ночь своей крестьянки; крепостное право, с его пережитками, вообще; безнаказанность богатого по суду при системе взяточничества и т. д.

Итак. ясно, люди совсем не равны от природы, и справедливость требует не всеобщего уравнения, а только уравнения одинакового; она требует *предметного и жизненно-творческого неравенства*. Дело совсем не в повальном уравнении людей, а в *устранении несправедливых и вредных неравенств* и *в установлении новых, справедливых и жизненно-полезных привилегий*.

Что же происходит в социализме?

Кабинетные социалисты уверяют всех, что люди равны от природы; и на этом строят всю свою доктрину – всех лишить имущества, всех превратить в неимущих пролетариев, всех сделать зависимыми наемниками, всех уравнять во всех правах и т. д.

Практически социалисты очень скоро убеждаются в том, что люди от природы таки вовсе не равны. И тогда они, вместо того, чтобы пересмотреть все свое заблуждение, — начинают искусственно и насильственно *уравнивать людей*, не желая считаться с их явным неравенством, то закрывая себе глаза на него, то приводя к одному знаменателю: женщин в армию, школьников в педагогические советы, слабых на черную работу, необразованных в руководители, ученых на лесозаготовки, бездарных болтунов в поэты, поэтов на канцелярскую работу.

Но уравнять людей *нельзя вверх*: нельзя сделать всех людей здоровыми, красивыми, умными, талантливыми, образованными, богатыми. Уравнять можно только *вниз*, отнимая, лишая, свергая, уродуя, запрещая и убивая. И вот в этом-то и состоит судьба социализма и его крушение: во имя ложно понятой справедливости *все снижается*: все становятся — одинаково нищими, одинаково плохо одетыми, одинаково ютящимися в каморках, одинаково больными, голодными, истощенными, малообразованными.

Социализм ведет к *падению качества в жизни*, к *снижению уровня*, к *сокращению потребления*, к *вырабатыванию плохого продукта*, к дурному упрощению и огрублению культуры: отчасти потому, что все утрачивают личный интерес к преуспеянию, подъему, усовершенствованию; отчасти же вследствие принудительного всеуравнения.

Однако и на этом дело остановиться не может; государство — даже самое элементарное и произвольное — невозможно *вне ранга*: непременно сложится *слой ведущий* и *ведомое большинство*; и ведущий слой непременно получит известные преимущества в правах. Естественно, чтобы в этот ведущий слой собирались люди ума, обра-

зования, порядочности, воли, люди стойкого патриотизма и здорового правосознания. И очень важно, чтобы они *не* присваивали себе несправедливых привилегий. Обычно бывает при этом так, что каждый режим отбирает себе правящий слой, разделяющий его основную идею и программу.

И вот, естественно и неизбежно, что социализм тоже отбирает себе людей, разделяющих его основную идею и программу: и в этом его судьба. Социализму нужны люди — проникнутые классовой завистью и ненавистью материалисты, лишенные Бога, отрицающие дух, презирающие совесть и право; люди, способные уверовать в спасение посредством всеобщей нищеты и абсолютной зависимости; люди, готовые давить несогласных голодом и террором; люди, прилепившиеся к противоестественной программе и вдохновившиеся идеею всеобщей растраты сил. Социализм *вынужден* создавать из них свой ведущий и *правящий* слой; он не может иначе.

Он должен далее защитить этот слой, обеспечить его и, конечно, *обуздать его* — ибо этот слой по самой идее своей — презирает совесть, право и патриотизм.

Вот один из главных корней кризиса, вот почему социализм нежизнеспособен.

Самая *идея* его делает ставку не на лучших, а на *худших*; самая программа его отбирает такую элиту, которая неизбежно провалит *всякую* программу и *всякую* государственную форму. И из этих людей — социализм создает *новую партийную касту, новое привилегированное сословие*; ради них и для них он устанавливает новый строй, суровый и последовательный; новую систему привилегий, новую *аристократию социализма*, которая, сама находясь в *абсолютной зависимости*, — всегда будет беспредельно одушевлена *карьеризмом* и *раболепием*.

И все это неизбежно и последовательно: все это вытекает из самой идеи материалистического социализма.

4

И вот еще одна, последняя черта этого крушения.

Еще одно разочарование, еще одно несбывшееся ожидание, одна обманутая надежда! Социализм *не осво-*

бождает людей и *не может освободить* их; и все обещания Маркса и его последователей — осуществить «прыжок из царства необходимости в царство свободы» — оказываются пустою фразою.

Когда социал-демократы ратуют за «освобождение пролетариата», то они обычно настаивают на том, что «свободу» не следует понимать *формально*: дело не только в том, чтобы предоставить пролетариям *отвлеченные права*, которыми они все равно не смогут пользоваться как следует; надо освободить их от *трудовой зависимости*, от положения *подневольных наемников*, от высасывания их жизненных соков (*эксплуатация*!), от *деспотизма работодателей*, от количества труда (*рабочий день*!), от его одуряющей механизации, от безработицы, от страха за будущее, от низкого уровня внешней и внутренней жизни... Словом, если суммировать эти «свободы», то окажется, что пролетария следует поставить в те условия жизни, в которых живут состоятельные *непролетарии*: «свобода» состоит в том, чтобы не быть объектом эксплуатации, работать мало, иметь высокий уровень жизни, спокойствие и досуг. А так как историю назад не вернешь, и надо считаться с совершившейся индустриализацией и пролетаризацией, то надежда возлагается на *хитрую механику социализма*.

Однако надежда эта совершенно напрасна. Надежды социал-демократов на парламентарно-демократическое введение социализма — *суть надежды детские*.

Социализм надо вводить *насильственно*, и для этого необходимо *отменить все «формальные» права* и *свободы*: отменить свободу слова и печати, задавить свободу ассоциаций, залить кровью свободу совести.

Во-вторых, социализм по самому существу своему *осуществляет высшую и безусловную форму трудовой зависимости*, наемничества и даже хозяйственного холопства, *эксплуатации, деспотизма работодателей*, необеспеченности и повального снижения уровня жизни. Социализм устанавливает *монополию работодательства*, и притом законченную и завершенную; он стремится закупорить в этом отношении *все щели трудового рынка*; он стремится поставить *все население страны* в положе-

ние безусловной зависимости от государственной власти, т. е. от монопольно правящей политической партии, ее клевретов и чиновников. <Кто> хочет жить или как-нибудь влачить жизнь при социалистическом строе, тот должен обратиться к *единственному* в стране *источнику труда* и *заработка*, бесконкурентно владеющему рынком, — и *просить* о работе, *заранее безоговорочно принимая все условия*. И этот источник заработка, *монополист власти и рынка*, поставит пролетарию поистине *монопольные условия*, распространяя их не только на размеры рабочего дня и жалования, но и на *вид* труда (не по специальности!), на место труда (переброска) и на *пищевое* и *жилищное довольствие*.

Социализм не освобождает труда, а *порабощает его*. Это не может быть иначе. Ведь социализм по самому существу своему есть *всеохватывающее плановое хозяйство*, которое возможно *только при государственной монополии* в области *производства*, *обмена* и *распределения*. Социализм не может мириться с тем, что в стране остаются *независимые источники труда и дохода*. ибо, поскольку они *еще имеются*, постольку *социализма нет*, а есть частное хозяйство, конкурирующее с социалистическим и *наверное его побивающее*. Почему «наверное»? Потому что в душе частного хозяина — будь он производитель, или торговец, или организатор потребления — *трудовой процесс мотивирован верно; самоокупаемость и доходность* есть для него закон, а *растрата сил* для него «не обязательна».

Надо понять, продумать и запомнить этот закон. хозяиственная зависимость и самостоятельность частных лиц *несовместима с социализмом*. Социализм не только «регистрирует» и «организует» пролетариев, как думают социал-демократы. Он сознательно и систематически *создает* этот класс, экспроприируя и отрывая от средств производства все новые и новые слои. *Нищета* и *трудовая зависимость* суть прямые условия и проявления социализма. Социализм *ставит* людей, *всех* людей — на колени перед центральною властью и перед господствующей партией; и притом не только политически и

хозяйственно, но и в вопросах семьи, школы, веры и науки. К сожалению, это мало кто понимает на свете, особенно же в голодных массах.

Люди все еще не понимают того, что *трудовая самостоятельность* есть первая, живая и необходимая основа свободы; и что там, где ее нет (у пролетариата!), — спасает кое-какую свободу только *конкуренция частного рынка* и *свобода ассоциаций*. Социализм разрушает все эти основы; он закупоривает *все* каналы, несущие свободу. Он последовательно и планомерно порабощает людей. И в этом *самый замысел его*; в этом его социально-политический рецепт: *нездоровое, тягостное, приниженное положение фабричного пролетариата — довести до полного завершения и распространить на весь народ.* Осуществить всеобщее освобождение посредством всеобщей зависимости... О, премудрая «диалектика»! И бедный, истинно мудрый Гегель перевертывается в гробу от отвращения к этому извращению и от бессильного гнева...

Есть старая истина, что *в основе свободы лежит частная собственность.* И не в том смысле, что «частная собственность нуждается в свободе», как обычно толкуют социалисты либеральную доктрину. А в том смысле, что *свобода*, т. е. *жизненная самостоятельность и духовная независимость людей невозможны без частной собственности.*

И если социализму суждено победить в Европе, то все европейское человечество скоро начнет со скрежетом твердить эту истину и проклинать себя за то, что не сумело защитить ее в теории и на практике.

5

Мне остается подвести итоги.

Первое, что надо установить: *идея социализма*, спасающего человечество от капиталистического неустройства — *потерпела крушение и пала.* Социализм не противоположен капитализму и не преодолевает его. Он сам есть разновидность, и притом *худшая, противоестественная* и *унизительнейшая разновидность капитализма.* Те неурядицы, бедствия и несправедливости, которые

мы видим в капиталистическом строе, — не только не устраняются социализмом, но доводятся им до высшей степени и распространяются поголовно на всех. То обстоятельство, что в социализме не много капиталистов-работодателей, а один-*единственный*, да еще диктаториально властвующий, — бесконечно и безнадежно ухудшает положение всенародного пролетариата. Перед лицом этого монополиста-работодателя, этого дающего работу диктатора, этого террористически эксплуатирующего государственного фабриканта все становятся пролетариями и все пролетарии становятся беззащитными рабами. Социализм есть *потогонная система, закрепленная голодом и террором.* Социализм есть абсолютная зависимость рабочего от работодателя, зависимость не только в источнике дохода, но и в жилище, в питании, в семейной жизни, в воспитании детей, в воззрениях и в вере. В социализме личность перетирается до гибели между машиной фабрики и машиной государства. И это неизбежно, ибо идея социализма по самому существу своему старается не расширить духовные отдушины капиталистического строя, а закупорить их до конца; не преодолеть болезнь пролетарского состояния, а закрепить ее и распространить на всех граждан; не озонировать души свободой и творчеством, а внушить людям, что свобода им не нужна, и поработить их творчество плоскою, ровною и обязательною схемою.

Поэтому верить в социализм, как в спасительную социальную идею, может только тот, кто его не испытал, или же тот, чья скудная и злая душа удовлетворяется *таким* строем.

Второе, что необходимо установить: социализм есть продукт материалистического и формально-рассудочного воззрения на мир и на человека; и в этом отношении он кость от костей всей современной культуры, которая верит чувственному и презирает неосязаемое, культивирует формальное и механическое, поклоняется машине и не желает знать органического и духовного. Именно поэтому социализм и впал в свою величайшую ошибку: он истолковал человека и его труд, человеческое общество и его хозяйство как *механизм*; он пренебрег глав-

ным в хозяйствовании — душевной и духовной *мотивацией трудового процесса*; и вообразил, что, отменяя частную собственность, уродуя и обеспложивая этим здоровую интенсивную мотивацию труда, — он может построить здоровое и творческое народное хозяйство. Не напишет слепой картины; нелепо женить кастрата; *не будет хозяйственно творить человек с закупоренным или удушенным инстинктом самосохранения.* Стоило человечеству отменять рабство, чтобы насаждать социализм! Стоило народам воспитывать себя к свободе, растить в себе автономную личность и нерабское правосознание, чтобы распластаться перед новою элитою материализма и отречься от всей своей истории!

Третье, что необходимо установить: вместе с социализмом, через него и в нем будет поколеблена и скомпрометирована идея *государственного всемогущества.* Всего нельзя приказать людям. Мало того: самое *главное* в жизни человека — любовь, молитва, творчество, познание, убежденность — не может быть вынуждено никакими законами, никаким террором. Террор может вызвать к жизни только холопство и лицемерие; и лицемер однажды предаст своего угнетателя, а холоп расправится со своим поработителем так, как это не раз уже видела история.

И если современные западноевропейские массы, обкормившиеся демократическими свободами и обольщенные социалистическими обещаниями, — продадут реальную свободу за напрасно чаемую сытость, то они переживут жесточайшее разочарование и завершат его в дальнейшем свирепою местью.

И наконец, четвертое: попытка социализма построить государство — не на безбожии, нет, — на противобожии и противорелигиозности даст плоды, от которых человечество будет содрогаться в течение веков. То духовное опустошение и оголение инстинкта, которому социалисты подвергают душу массы, делает ее, эту душу, *государственно неспособною* и *социально извращенною.* Этого нельзя раскрыть в двух словах; но тот, кто пристально всматривался в историю человечества, кто пытался измерить живым опытом природу человеческого

правосознания, тот поймет мою мысль сразу. Современный кризис социализма есть в последнем счете кризис современного безбожия, и природа, не терпящая пустоты, вырастит неизбежно из человеческого инстинкта, оторвавшегося от Бога, — явления такои порочности, такого сатанизма, от которого человечество будет еще долго содрогаться.

Социалистическая химера, отпав от христианства и выидя из-под благодатной руки, - должна была рано или поздно развернуть себя в действительности. Она должна была проити через осуществление — и потерпеть крушение. И во что же превратится это крушение? Что даст оно? Это будет величайшее жизненное оправдание христианства И величайшая школа частнои собственности В этом опыте — *христиане научатся ценить и отстаивать начало частной собственности, а частная собственность будет искать и найдет новые христианские формы.*

Там, в не слишком далеком будущем уже зарождается и слагается *новая социальная идея — социально-братская,* но *не социалистическая.* Человечество стоит перед *новой социальной идеей и программой,* перед *новым правосознанием.* Нам всем надлежит думать об этих новых путях жизни — *денно и нощно.*

И призывом к этому я и закончу мою сегодняшнюю лекцию.

РЕЧИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ВОЗЗВАНИЯ

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ

I

Историческая эпоха, ныне переживаемая народами, должна быть осмыслена как эпоха великого *духовного разоблачения* и *пересмотра*.

Всё продолжающаяся мировая война и революционное брожение, потрясающие всю жизнь народов до самого корня, являются по существу своему явлениями стихийными; и потому они только и могут иметь стихийные основания и причины. Но всюду, где вспыхивает стихия и где она, раз загоревшись, овладевает делами и судьбами людей, всюду, где люди оказываются бессильными перед ее слепым и сокрушающим порывом, — всюду вскрывается несовершенство, или незрелость, или вырождение *духовной культуры* человека: ибо дело этой культуры состоит именно в том, чтобы подчинить всякую стихию *своему* закону, своему развитию, своей цели. Стихийное бедствие обнаруживает всегда поражение, ограниченность и неудачу духа, ибо творческое преобразование стихии остается всегда его высшим заданием; и *ее* победа являет всегда *его* неудачу и *его* поражение. Но как бы ни было велико это бедствие, как бы ни были подавляющи вызванные им страдания, дух человека должен принять свою неудачу и в самой остроте страдания усмотреть призыв к возрождению и обновлению. Это и значит осмыслить стрясшуюся беду как духовное разоблачение и духовный кризис.

Стихия, ныне вовлекшая человечество в злосчастную войну и влекущая его далее по путям духовного, политического и хозяйственного разложения, — есть стихия неустроенной и ожесточившейся человеческой *души*.

Как бы ни было велико значение материального фактора в истории, с какою бы силою потребности тела ни приковывали к себе интерес и внимание человеческой души — *дух* человека никогда не превращается и не превратится в пассивную, недействующую среду, по-

корную материальным влияниям и телесным зовам. Его призвание — власть над материей; его задача — подчинить ее и организовать ее служение духовным целям. Слепое, бессознательное повиновение ее умаляет его достоинство; ибо назначение его в том, чтобы быть творческою причиною, творящею свою жизнь по высшим целям, а не пассивным медиумом стихийных процессов в материи. Всякое воздействие, вступающее в душу человека, перестает быть мертвым грузом внешней причинности и становится живым побуждением, влечением, мотивом, подверженным духовному преобразованию и разумному руководству. И, поскольку дух человека не руководит жизнью этих влечений, а подчиняется им, постольку обнаруживается его незрелость; постольку перед ним раскрываются новые задания и возможность новых достижений.

Но для того, чтобы достигнуть этой власти и использовать ее во всей ее миропреобразующей силе, дух человека должен овладеть своею собственною стихиею, — стихиею неразумной и полуразумной *души*. Невозможно устроить мир материи и жизнь на земле, не устроив мир души; ибо душа есть необходимое творческое орудие мироустроения. Душа, покорная хаосу, бессильна создать космос во внешнем мире, — в природе и в общественности. Грубая и своевольная, жадная и упрямая, с порочными и разнузданными страстями, она бессильна создать технику и организовать хозяйство, тем более не способна она строить здоровую государственность и творить духовную культуру. Духовно разлагающаяся душа не созидает и не властвует; она рабствует своим страстям и через них беспомоществует перед лицом материи.

Ныне, на наших глазах, новый мир повторяет путь древнего страдания; новый опыт дает старые выводы. Эти выводы снова научают нас тому, что человек отличается от животного *духовным самообладанием*; что самопознание и самовоспитание человеческого духа должно лежать в основе *всей* жизни, дабы она не сделалась жертвою хаоса и гибели. Они научают нас тому, что *духовное разложение человеческой души делает невозможным общественное устроение, а разложение общественной организации ведет жизнь народов к позору и гибели*. Сквозь все страдания мятущегося человечества восстает и загорает-

ся древняя истина, зовущая людей к новому пониманию, признанию и осуществлению: *жизнь человека расцветает и оправдывается только тогда, если душа его живет из единого, духовно-предметного центра, — движимая подлинною любовью к духовному предмету.* Эта любовь и рожденная ею воля лежат в основе всей осуществляющейся духовной жизни человека и вне ее душа блуждает, слепнет и падает. Вне ее знание превращается в ворох неосмысленных, распыленных сведений; искусство вырождается в крикливую и пошлую видимость; религия превращается в нечистое самоопьянение; добродетель заменяется лицемерием и притворством; право и государство становятся *орудием зла.* Когда в душах людей иссякает *любовь к божественному* — тогда мелеет и вырождается вся духовная культура, тогда искажается облик человека, отравляется злобою его воля, расшатываются общественные связи и жизнь народов становится уделом хаоса, унижения и мора.

Войны и революции наших дней свидетельствуют с очевидностью о том, что духовная жизнь современного человечества слагалась неверно, что все стороны ее находятся в состоянии глубокого и тяжелого кризиса. Человечество заблудилось в своих духовных путях, оно *утратило живое, цельное и искреннее отношение к высшим предметам и целям жизни*; оно *религиозно оскудело и растерялось.* И вследствие этого в нем расшатались воспитывавшиеся в нем веками *глубокие основы миросозерцания и характера.* Жизнь личная и общественная замутилась потому, что глубокие, страстные силы человека отвратились от подлинных духовных предметов и прилепились к таким предметам и целям, служение которым расшатывает все строение духа и ослабляет его зиждущую силу.

А между тем духовное творчество требует от человека особого внутреннего и внешнего уклада, особого подхода, особой душевной организованности, волевой сосредоточенности и умственной направленности. Духовно живущая душа имеет особый творческий ритм жизни, — и в науке, и в искусстве, и в нравственности, и в политике. Восстановить этот ритм, исследовать его, оправдать и возродить его составляет великую очередную задачу наших дней. И, прежде всего, если задача организовать мирное

и справедливое, творческое сожительство людей на земле есть задача права и государства, то мы должны, пережив то, что нам ниспослано, начать наш духовный пересмотр с того способа жить правом и подходит к государству, который усвоен современным человечеством.

Современное правосознание должно быть поставлено в фокус научного внимания, анализа и диагноза.

II

Всегда и во все времена правосознание является *реальною и священною основою общества и государства.*

Человеку невозможно не иметь правосознания. Его имеет каждый, независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением; каждый, кто живет и сознает, что на свете кроме него есть еще другие люди. Ибо *право есть незримо присутствующая, но объективно обстоящая грань, отделяющая* каждый живой человеческий дух от другого и в то же время *соединяющая* его с ним.

Обычно люди не замечают в себе правосознания и не воспитывают в себе его верного, духовного ритма, вследствие этого оно часто оказывается в них беспочвенным и бессильным, оно легко теряет из вида свою верную цель, перестает пульсировать в душе и отдает ее во власть дурных страстей. Напротив, человеку, духовно не разложившемуся, свойственно глубокое, непосредственное убеждение в том, что во внешних взаимоотношениях людей возможно и необходимо отличать *верное* и допустимое поведение от неверного и *недопустимого*; — уверенность в том, что *есть* верная и справедливая (*на самом деле* верная и *на самом деле* справедливая) грань личной свободы, *до* которой *можно* (правовое полномочие), *за* которую *нельзя* (правовая запретность) и поддерживать которую *должно* (правовая обязанность). Смутное «осязание» в своем внутреннем опыте этой незримой, но объективно-верной грани — и есть *первичное проявление правосознания*, его «протофеномен»[1].

Если внимательно отнестись к этому брезжущему в душе «осязанию», чаще и бескорыстнее испытывать его и укреплять его в себе, то в душе обнаружится духовная функция, которую можно назвать *правовою совестью* или

голосом здорового, *нормального правосознания*. По мере укрепления предметного интереса к нему, по мере сосредоточения *внимания* на нем, по мере жизненного *осуществления* его зова всякий человек убеждается в том, что правосознание живет в людях постоянно; что показания его имеют устойчивое и определенное содержание; что оно имеет волевую и притом духовно-волевую природу; что поэтому оно открывает свой предмет и показывает его в виде *единой, высшей цели* и соответственно в виде верных путей и средств, ведущих к ее осуществлению; наконец, что опыт правосознания имеет особое, верное, — надлежащее и обязательное, — *строение*, приближение к которому приближает и к самому предмету этого опыта.

Понятно, что чем зрелее, крепче и глубже правосознание, тем определительнее и вернее оно направляет всю общественную жизнь человека, — и в договоре с соседом, и в тягании на суде, и в уплате налога, и в гражданской службе, и в политических выборах, и в искушениях кривды, взятки, укрывательства и войны. *Вся общественная жизнь пропитана правосознанием*, несома им, только через него и осуществляется; так, что каждый заработок и каждая покупка осуществляются в функции правосознания не менее, чем газетная инсинуация, международное предательство или ограбление расстрелянного. Понятно также, что патриотический подвиг и уголовное злодейство, одинаково проявляя правосознание человека, проявляют правосознание *не одинаковое* по строению и по духовному качеству, не равноценное и не равно-созидательное.

И вот, каждый человек, каждый народ и все человечество имеют задачу: воспитывать в себе верный правовой опыт, т. е. *нормальное правосознание*, построенное на целостной преданности некоторой высшей цели и делающее человека *личностью* с ее самостоятельными *убеждениями*, с ее духовным *самообладанием*, с верным видением *чести*, *свободы* и *справедливости*.

Бывают эпохи, когда общества и народы быстро делают большие шаги по пути государственного «прогресса», иногда проходя в несколько десятков лет расстояние нескольких веков. Но беда, если эти успехи остаются

внешними и поверхностными; если они не закрепляются самою глубиною души, теми основами ее, которые образуют ее *иррациональную духовность*, или, тем более, если эта драгоценная, одухотворенная глубина души пребывает в состоянии смуты или разложения. Тогда поверхностная гражданская *цивилизация* отрывается от глубокой политической *культуры*; правовая жизнь мелеет, формализируется, сводится к внешним процедурам и механизмам. Поколение поколению начинает передавать все более вырождающийся правовой опыт; человек привыкает воспринимать право, как что-то внешнее, формальное, насильственное; он перестает сочувствовать ему, дорожить им, уважать его, и если борется за «права», то не за *предметную* и *содержательную правоту* жизни, а за внешнее формальное развязание своей силы и закрепление своего влияния. Тогда правовая жизнь, постепенно отрываясь от глубоких, религиозно-священных *родников духа* и от высших, религиозно-священных *целей духа*, вырождается — и в пренебреженном содержании и в жизненно-воспитывающей силе своей. Человек перестает присутствовать своею глубокою иррациональною духовностью в правовой жизни. Благородные струи душевной жизни или иссякают, или текут в сторону, прочь от правовых устоев бытия. Право остается без духовного наполнения, без живоносной плэромы (полноты бытия) и превращается сначала в *необлагораживаемую*, хотя все еще *общественно-организованную силу*, а потом и неизбежно в *свирепое* и *дезорганизованное насилие*.

III

Именно на этом пути возник и современный правовой кризис, ныне изживаемый нами вместе с другими народами.

Этот кризис исторически связан с процессом *секуляризации* всей духовной культуры, с процессом отмирания в ней религиозного духа.

Такой кризис наблюдается в мировой истории не впервые. Когда с разложением языческой религиозности поколебались и разложились основы античного правосознания, римская государственность прошла через траги-

ческий период длительного замешательства, смуты, гражданских войн и бессилия перед лицом надвинувшихся варваров. Религиозная беспочвенность неизбежно породила обще-духовную и общественную беспринципность; индифферентизм естественно заострился в нигилизм и вызвал к жизни разнузданное посягание. Религиозно-беспочвенное правосознание оказалось неспособным поддерживать общественный порядок и монументальную государственность Рима.

Однако в явном распадении старого общественного уклада уже слагался и креп тот новый религиозный опыт, на котором суждено было возрасти и окрепнуть новому *христианскому правосознанию.*

Христианская религия учила человека новому отношению к Богу и к людям. Она призывала его к *живому единению с Божеством* в акте целостного *боголюбия*, и *к живому единению с ближним* в акте целостного *боголюбивого человеколюбия.* Здесь не было еще никакого прямого учения о праве и государстве, о законах и суде, о «правах» и «сословиях»; мало того, здесь было некоторое отодвигание всех этих предметов на второй план, а в понимании первых веков даже отвержение их. И тем не менее в христианском откровении был некий глубочайший *религиозно-этический дух*, искреннее пребывание в котором усвоивало человеку особый подход ко всему миру, а потому и к праву, и к государственной жизни. В человеческой душе раскрывалось глубокое и чистое средоточие *любви*, обновлявшее все ее духовные акты, сообщавшее им новые цели и новые силы.

Христианство учило, что божественное *выше* человеческого и духовное выше материального. Но божественное не противостоит человеческому в недосягаемом удалении; оно таинственно *вселяется* в человеческую душу, одухотворяет ее и заставляет ее *искать подлинного совершенства на всех земных путях.* Что бы ни делал христианин, он ищет прежде всего *живого единения с Богом*, Его совершенной воли, чтобы осуществить ее, как свою собственную. Жизнь христианина не может быть поэтому ни бесцельною, ни страстно-слепою: он во всем обращен к Богу, поставляя Его выше всего прочего, подчиняя Ему все, и в себе, и в делах своих, его

внутренняя направленность — *религиозна*; его религиозная направленность — *всепроникающа*.

Эта религиозная обращенность естественно и неизбежно вносила в общение людей и в процесс общественной организации особый дух, дух глубокого и чистого *христианского правосознания*. Полнота боголюбия и богувнимания приковывала волю человека к единой, высшей и объективной *цели*, научала его ставить *духовное выше* материального и *подчинять личное*, как начало посягания, своекорыстия и гордости, *сверхличному*, как началу достоинства и совершенства. Этим правосознание прикреплялось к своим аксиоматическим основам: *достоинству*, *самообладанию* и *общительности*. Полнота любви, всюду, где она благодатно расцветала, порождала полноту *совестного доброжелательства*, *примиряющей справедливости*, *жертвенной щедрости*. И когда христиански верующий человек, поборов в себе склонность к общественному миро-отвержению, стал утверждать себя как субъекта права, он внес в это гражданское самоутверждение начала самообуздания, скромности и отречения. Он уже впитал в себя глубокую бессознательную уверенность в том, что необходимо подавлять в себе беспредметное честолюбие, жадность, враждование, склонность к озлобленному напору и отпору; его правосознание уже привыкло квалифицировать эти противоправные влечения как *греховные*; и на этом пути человек осознал *миро-творческую* функцию права. Христианство вносило в душу гражданина дух *миролюбия* и *братства*, дух не-формальной, *не* всеуравнивающей, *живой справедливости*. Оно приучало его не видеть в *подчинении* ненавистного *бремени*, и в то же время воспринимать *власть* как великое бремя ответственности. Давая ему объективное мерило человеческого совершенства, оно научало его отличать лучших людей от худших; указуя ему высшую цель властвования и подчинения, оно тем самым определяло, кто именно способен стоять во главе. Христианство учило гражданина *любви*; любви и доверию к соподчиненным гражданам; любви, и доверию, и уважению к предлежащим *властям*. Так пропитывало оно общественный строй духом *лояль-*

ности и *солидарности*, тем духом *органического единения*, который *углубляет, накопляет и сосредоточивает национальную силу и политическую гениальность народа.*

Именно с этим связана та, выношенная средними веками уверенность, согласно которой государство имеет *религиозное задание* — служить своею властью Божьему делу на земле. Это задание церковь то указывала государству, то пыталась взять в свои руки; а государство религиозно понимало свою высшую цель даже тогда, когда эмансипировалось от церкви. В те времена человек, делая государственное дело, созерцал, как умел, высшее; и делал, как мог, религиозно осмысленное дело. Теократия не осуществлялась или осуществлялась дурно; но правосознание, приемля бремя властной борьбы с человеческою слабостью и порочностью, *не* растворяясь в нравственном делании и не совпадая с христианскою добродетелью, имело глубокую и могучую религиозную основу; и на этой основе государству удавалось ограждать и растить всю духовную культуру. Христианство своим религиозным светом *осмысливало* и *облагораживало* дело права и государства; и в то же время оно утверждало в человеческой душе такую благодатную природу, оно пробуждало в ней такую силу, которая вдохновляла правосознание и придавала ему некую неразложимую, абсолютную опору.

IV

В общем процессе обособления духовной культуры от христианской церкви, от ее влияния и от духа христианского учения, — в так называемом процессе секуляризации[2], — обособилось и правосознание; оно провозгласило свою самостоятельность и утвердилось на светских началах. Но подобно всей духовной культуре, не просто освободившейся от прямого подчинения церкви, но порвавшей с духом Христова учения и вообще утратившей религиозный смысл, ушедшей в безрелигиозную мертвенность и пустоту, — и правосознание оторвалось от всякой абсолютной основы, забыло о своей единой и высшей цели, заглушило в себе голос своих аксиом и развеяло творческий дух христианства. Став безрелигиозным, оно стало в высшем смысле бессмысленным и

беспочвенным, оно обмелело, утратило свою благородную направленность, растеряло свои принципы и, естественно, подчинилось духу *противоположному*.

Безрелигиозное правосознание неизбежно выветрило религиозный дух и смысл из всей правовой и политической жизни. Оно переродило самую *обращенность* человека к человеку, а вместе с нею самую *скрепу* государственного бытия, весь живой *ритм* политического тела. Все то, что христианство с таким вдохновением и трудом взращивало в душе, будило в чувствовании и влагало в волю человека, — все стало отмирать и вырождаться в безрелигиозном правосознании. Самый способ воспринимать право и государство стал иным. Правосознание мало-помалу стало жертвою политического *релятивизма* и государственной *беспринципности* и, далее, духовного *нигилизма* и прямой *порочности*.

Этот дух жил и креп, и не только бессознательно, и не только в массах. Сочетаясь с течениями слепого материализма и узкого, духовно наивного, но самодовольного чувственного позитивизма, этот дух, от Макиавелли до Маркса, не раз находил себе *идеологов* и *апологетов*, с тем чтобы в начале двадцатого века найти себе свирепых и последовательных в своей порочности *осуществителей*.

Девятнадцатый век, выдвинувший целый ряд глубокомысленных обоснований права и государства, но не возродивший вместе с ними и через них здоровых глубин правопереживания, явил невиданный расцвет отвлеченной юридической науки и подготовил небывалый *кризис правосознания*. Развертывая и осуществляя свой основной духовный недуг, он формулировал основы нового, секуляризованного и противорелигиозного правосознания так: *государство есть условное механическое равновесие равных человеческих атомов, подлежащих чисто материалистическому рассмотрению и чисто количественному расцениванию, разделяющихся по имущественному принципу на классы, борющихся друг с другом, класс против класса, на жизнь и на смерть за обладание земными благами, и влекущихся через угашение духовно и хозяйственно-самобытной личности к свободному от всяких неравенств и различий потребительному благополучию.*

Это новейшее правосознание *слепо* по существу, *преступно* по форме и *немощно* по силе. Строго говоря, оно имеет только видимость правосознания. Само же оно считает себя просвещенным и предназначенным к водительству. Будучи «просвещенным», оно не верит в «старые сказки» и сентиментальности. Оно верит в силу, в организованный напор, в массу, в количество; оно ценит накопление, захват, власть и ловкость; оно борется *всеми* средствами, — посулом, клеветою, подкупом, рекламою, интригою, террором. Оно ищет победы на демагогической трибуне, в техническом прогрессе, в международной или гражданской войне; оно рассматривает общественную жизнь как беспринципную конкуренцию своекорыстных воль; оно предпочитает опираться не на право, а на требование, подкрепленное угрозою, на софистическое истолкование своих и чужих слов, на тяжелую артиллерию.

Но главное не в этом: общественный разброд, мятежи и войны вспыхивали во все времена. Главное в том, что современное правосознание *лучшего и не видит, и не хочет*, и не ищет: оно не стыдится открыто выговаривать, что в этом и состоит сущность права и государства; оно «научно» «доказывает», что право есть сила; оно *учит* строить власть на расчете, на подкупе и страхе; оно находит угодливых софистов, восхваляющих злодейство как достижение, или доказывающих, что всякий договор обязателен только rebus sic stantibus[3].

Не естественно ли, не неизбежно ли, что в наши дни государственный строй насыщается духом гражданской войны, политика становится чуть ли не синонимом обмана и подкупа, а патриотизму противопоставляется, как высшее, классовый и личный интерес?.. Не неизбежно ли такому правосознанию извратить всякое право и унизить государственность?.. Что может спасти его от конечного разложения в международных и гражданских войнах и революциях?.. Осуществляемое и руководимое таким правосознанием, чем же может стать современное государство, как не орудием массовых страстей и личных интриг, как не орудием классовой злобы и разрушения, т. е. орудием зла и гибели?..

V

Кризис современного правосознания прошел через три последовательных этапа; и ко всем этим этапам было приобщено наше поколение. Каждый из них связан с предшествующим связью преемственности и причинности; каждый последующий, предопределенный в своем составе и развитии, сохраняет все вывихи и недостатки предшествующего, усиливает их, раскрывает их по-своему и придает им характер зрелости. Но все эти этапы являют цельную картину единого крушения и вырастают на почве единого духовного недуга.

I. *Первый этап*, подготовлявший бурное течение кризиса, был длительным и сложным процессом, с критическою вспышкою в виде первой французской революции и наглядным назреванием в течение девятнадцатого века.

В девятнадцатом веке, с одной стороны, падает *сила и сопротивляемость* секуляризующегося *духа*; с другой стороны, безмерно *возрастает бремя* тех задач, которые встают перед слабеющим и расшатывающимся правосознанием. Открытия естествознания, рост промышленной техники и развитие путей сообщения; выступление и расцвет промышленного капитала; развитие мирового торгового оборота; потребность в рынках и колониях — все это вызывало к жизни *новую, обостренную классовую* и *государственную дифференциацию* и предъявляло к правосознанию, строящему общественную жизнь, неизмеримо более сложные требования.

С одной стороны, хозяйственный интерес *принимает форму государственного размежевания* и, вследствие этого, взаимная конкуренция государств приобретает остро выраженный экономический характер. Междугосударственная борьба обостряется, и это требует от граждан особой патриотической дисциплины и спайки, т. е. особенно сильного и духовно-обоснованного правосознания. А между тем государства оказываются, как никогда, атомистически распыленными и расщепленными на противоборствующие классы; во всех государствах имеется сложившийся рабочий класс, достаточно открепленный от собственности, чтобы стать духовно беспочвенным, достаточно зависимый и неудовлетворенный, чтобы стать

озлобленным, достаточно многочисленный, чтобы осознать свое вожделение и стать разрушительною силою. Можно ли ожидать от беспочвенного и озлобленного правосознания сверхклассовой мудрости и патриотического героизма?

С другой стороны, хозяйственный интерес, вырождаясь в жажду богатства и потребительного благополучия и сплетаясь с классовою и расовою борьбою за власть и влияние, принимает форму *междугосударственной*, «интернациональной» *организованности*, то явной, то прикровенной. Пересекая вертикальное деление человечества на государства, слагаются горизонтальные объединения лиц и классов, принадлежащих к различным государственным образованиям. Социальная дифференциация творит новые деления и новые союзы; и эти новые союзы то пытаются не считаться с вертикальным делением, то силятся прямо разрушить его. В наши дни мир кишит людьми, которые или фактически не имеют родины, или пытаются уверить себя, что они ее не имеют. И деятельность этих людей и классов подрывает последнюю основу секуляризованного правосознания — *патриотизм*.

Беспочвенное правосознание девятнадцатого века перед лицом новой, обостренной социальной дифференциации, *отвергающей и попирающей самые принципы прежнего единения*, оказалось беспомощным, неспособным не только к творческому обновлению, но и к борьбе с надвинувшимися искушениями. Оно не сумело вернуться к созерцанию своей высшей цели и, утратив свою опытно-интуитивную глубину, предалось *юридическому формализму*. Оно привыкло рассматривать право как *отвлеченную форму*, как *логическую категорию*, как *внешний порядок* жизни, как *механизм поступков*, как организованную силу. Оно привыкло рассматривать право в отрыве от внутренних мотивов, от духовных побуждений, от его аксиом и от его цели. Оно привыкло к беспредметному и беспринципному обхождению с правом.

Это означает, что в правосознании девятнадцатого века все более исчезало верное строение и искажалась верная направленность; все более водворялось пренебрежение к духовной природе права, к его внутреннему смыслу и к его священной цели. Правосознание стало терять свою духовную глубину и свою творческую силу.

брежение к предметно-верному содержанию. Самая лояльность становилась все более формальною, культивируя *букву закона*, а не *дух* и не *цель права*, и внешняя видимость правопорядка не покоилась на подлинном и предметном правовом опыте.

Понятно, что это несоответствие между заданиями правосознания и его духовными силами само по себе уже предрешало и ускоряло надвигающуюся катастрофу.

II. Разразившаяся мировая война, доныне продолжающаяся в новых и скрытых формах, явилась воплощением этого расшатанного, формализовавшегося и, во всеобщей конкуренции, ожесточившегося правосознания; она довершила его разложение и образовала *второй* этап кризиса.

Эта война, как и всякая война, открыто превратила вопрос *права* в вопрос *силы*; она превратила борьбу в *насилие* и указала для конкуренции исход в *истреблении*.

Заменить вопрос права вопросом силы — значит погасить в правосознании идею *верного, справедливого размежевания интересов*, снять проблему *правового обоснования* и *доказательства*, заглушить волю к *мирному, братскому сожительству*; это значит объявить несущественным различение *правового добра и зла*.

Превратить борьбу и соревнование в насилие и истребление значит погасить в правосознании идею *взаимного признания*, подавить склонность ко *взаимному уважению* и *доверию*, объявить праздными начала *договорной верности* и *гуманности*; это значит развязать в глубине души *зверя и утопить правосознание в его неистовых порывах*.

Понятно, к каким последствиям это должно было повести. Правосознание открытыми повелениями отрывалось от своих аксиоматических основ; его главный верный источник, — *воля к цели права*, — отметался, как ненужный и неприменимый в жизни; его верная санкция, — испытание своей *предметной правоты*, — устранялась, как излишняя. Самая *воля к праву и вера в право* начинали казаться пустыми предрассудками. Грани допустимого и недопустимого стирались и утрачивались.

Война искушала беспочвенное правосознание такими соблазнами и «противоречиями», которые могут быть по плечу только духовно зрячему и зрелому человеку: обязательность и доблестность убийства, этого тягчайшего и непоправимейшего из всех правопопраний, — и недопустимость беспорядка в одежде; разрешенности военной добычи, — и запрещенность мародерства, кражи и взятки; правомерность военной конфискации, — и преступность самочинного имущественного захвата; все это развинчивало и притупляло правосознание в захваченных войною массах; и все это довершалось длительностью войны, ее исторически небывалой интенсивностью, ее психически потрясающими внешними формами.

В судорогах промышленно-торговой конкуренции, взаимно добиваясь изнеможения и упадка, народы боролись насмерть, истощая свой уже расшатанный патриотизм и свою уже непрочную государственную спаянность; разоряясь духовно и материально в безнадежном расчете обогатиться от этого материально; подрывая ради своего упрочения главную основу государственной прочности — духовно могучее правосознание; пропагандируя в международном мировом масштабе *идею вседозволенности*, — то в форме голодной блокады, то в форме взаимного заражения революционною чумою.

III. Воплощением этого правосознания, оторвавшегося от правовых аксиом, от мотива, обоснования и санкции, неразличающего добро и зло, окончательно уверовавшего в насилие и захват, упоенного идеею вседозволенности, — явилась *революция*. Она образует третий этап кризиса.

Революция явила в невиданных еще человечеством формах и размерах *разложение духа и правосознания*. Да и могло ли быть иначе?

Революция никогда не была и не будет признаком государственного здоровья; напротив, ее приближение всегда свидетельствует о том, что в развитии государственного организма не обретаются и не строятся здоровые правотворческие пути; а это означает,

что *правосознание руководящих групп* не умеет оформить и *оздоровить* мутящееся правосознание масс. И если революция фактически разражается, то она всегда является разрушительным эксцессом болеющего правосознания.

Революция всегда была *попранием права*; не «этого» только, исторически данного, положительного права данной страны, но самого *существа права*: ибо в самое основное существо права входит эта способность — *мирно обновляться и совершенствоваться на своих правовых путях через блюдение драгоценной лояльности.*

Революция есть всегда отказ от социального мира, от мирного спора о правах, от обоснования, доказательства, от единения, сговора. Она есть *выпадение из права и предпочтение праву — факта и силы.* Именно поэтому она порывает со всею основною формою правовой жизни, вне которой правопорядок невозможен. *Источник* права перестает быть *единственным*; их оказывается два, три, множество; он распыляется, он атомизирован; индивидуум объявляет «правом» свое хотение, — и право исчезает. *Компетентность* правоустановителя не определяется уже конститутивною *нормою*; она определяется посяганием, захватом и силою; компетентен всякий; и *мера* его компетентности измеряется только его властолюбием и напором. *Порядок* правоустановления не регулируется уже *законом*; он определяется фактически, «на местах», инерциею массы и изобретательностью авантюриста; он становится безразличен; *все гарантии падают* — и право отмирает.

Самая сущность революции направлена против права и правосознания, ибо она есть *принципиальное провозглашение и фактическое водворение произвола*, — произвола лица, лиц, группы или класса. И действительно, революция осуществляет режим, построенный на системе *норм произвола* или «произвольных норм».

Произвольная норма устанавливается *фактическим захватчиком власти.* Проистекая из неправомерного источника, она не блюдет и правомерности по существу. Она не связывает самого правоустановителя, и он не признает своей обязанности блюсти ее: он *может приме-*

нить ее, но, по усмотрению, он *может и не применять ее*; а может применить и *не ее*, а такую «норму», которая совсем не была установлена; он может, не отменяя первую норму, установить наряду с нею другую, ей противоречащую, но с тем, чтобы, по усмотрению, не применять и ее; он может прямо нарушать и попирать свои собственные веления и запреты; и вот, ссылаясь на свое «революционное самосознание», он фактически провозглашает, что *сущность революции состоит в непрерывном нарушении всякого права, и даже права, ею только что установленного.*

Естественно, что такие нормы не вычерчивают *ни для кого никаких определенных полномочий, обязанностей и запретностей*: позволенное всегда может оказаться в то же самое время запрещенным; запрещенное оказывается предписанным, и никакая жизненная одинаковость двух случаев не влечет за собою одинаковой квалификации. Правовое равенство одинакового перед лицом закона отметается и попирается; устанавливается произвольное уравнение неодинакового и произвольное различение подобного. Предметно немотивированный произвол ищет себе реальных мотивов и, предоставленный самому себе и своему революционному изволению, развертывает невиданную картину всеобщей *революционной продажности*...

Для здорового правосознания в этом режиме, конечно, *нет права*: это нагромождение правовых идиотизмов; это попрание аксиом логики, совести и правосознания; это бредовые эксцессы разложившегося духа... И тем не менее это есть *строй*, остановивший и продливший, стабилизировавший революцию, — задержавший и закрепивший кипение вскипевшего хаоса.

Это восстание хаоса, этот напор замутившегося и ожесточившегося духа, это влечение заменить право самозваным произволом, нападением, попранием и захватом — отнюдь не есть случайная черта или несущественность в революции; напротив, в этом ее *подлинная природа*. Это кипение посягающего и попирающего массового правосознания может быть во времени длительнее и короче; изоляция, запугание, одо-

ление законной власти может не удаться; разрушения в праве и в жизни могут не получить катастрофического характера, — но историческая и политическая сущность революции всегда была именно такова: саморазнуздание больного правосознания, судорога ожесточившейся слепоты...

Естественно, что современная революция, сложившаяся на почве исторически недугующего и сокрушенного войною правосознания, явила свое отвратительное лицо с особою наглядностью и химерическою резкостью. Задуманная в атмосфере безбожия и духовного нигилизма, разразившаяся в среде с незрелым и переутомленным правосознанием, она выговорила и осуществила идею *революционной вседозволенности*, установив это разнуздание в виде особой привилегии для максимально порочных лиц и групп населения. Она сознательно работала над тем, чтобы расшатать в душах все нравственные и культурные сдержки, чтобы окончательно разложить правосознание, извратить патриотизм, истребить лучших людей и осуществить в небывалом еще масштабе кощунственное вторжение черни в святилища...

Таков третий этап современного кризиса.

VI

Современное правосознание должно быть поставлено в фокус научного внимания, анализа и диагноза. Это есть одно из основных условий и требований общечеловеческого исцеления и возрождения.

Разложение современного правосознания так велико, и коренится оно столь глубоко, что продолжение этого процесса грозит всей цивилизации и всей культуре реальною гибелью. На наших глазах началось и открыто подготовляется мировое восстание завистливого, жадного и злобного Нибелунга; я разумею не промышленный пролетариат; нет, это название служит только для прикрытия, — а *безбожную и хищную порочность*.

Мы, воспринимавшие это конечное разложение правосознания на самом дне революции, в самой лаборатории озлобленного порока, — мы имеем некий драгоценный

духовный опыт, познавательное исчерпание которого вменено нам в священную обязанность перед нашей родиной, перед человечеством и перед грядущими поколениями. Нам необходимо поставить перед вниманием недугующих народов проблему правосознания во всем ее размере: проблему его истории, его нормального строения, его недугов и его обновления. Нам надо соблюсти, осмыслить и передать наш трагический духовный опыт молодым поколениям России и вместе с ними приступить к осознанию новых задач юриспруденции и правотворчества.

Необходимо поставить перед собою задачу верного воспитания верного правосознания в наших детях и в детях наших детей; чтобы избавить их и их внуков от того горя и того стыда, в котором ныне медленно сгорают наши души.

Здесь, в стенах Русского Научного Института, суждено нам, изгнанникам, начать это дело. Отсюда должен зазвучать наш свободный академический голос, исследующий и учащий.

И пусть главным источником нашего вдохновения в этом трудном и ответственном деле будет глубокая и предметная любовь к нашей чудесной и страдающей России!..

РЕЧЬ И. А. ИЛЬИНА

Не сетуйте на меня, господа, если я углублю здесь вопрос о партийности. Я говорю от себя лично и не обязан я поэтому придерживаться того уровня, на котором ведутся партийные и фракционные разговоры. К тому же я не политик, — я ученый и патриот, и трудно мне изменить самому себе и трактовать вопросы упрощенно. Задолго до Съезда я думал о его основном и глубоком смысле: не программном и не тактическом, а духовном. Вот поднимаемся мы, зарубежные русские, со всех концов чужих земель. Из всех стран нашего рассеяния.

Впервые делается попытка не партийного, надпартийного русского национально-патриотического сговора; впервые за восемь-девять лет; впервые через семь лет после того, как у нас в России замучили нашего Царя — и не стало нашего государства.

Вот уже девятый год, что мы, допустившие до этого, держим наши головы поникшими и наши глаза опущенными. Вот съедемся мы — и посмотрим друг другу впервые в глаза; и спросим себя — поняли ли мы случившееся? Умудрились ли мы? Очистились ли? Обновились ли духовно? Научились ли тому, что Россия строилась и цвела духом монархическим, и что она распалась от водворения в ней духа республиканского — духа партийной политической интриги, классового интереса и жадного честолюбия?

Излечились ли мы от духа революционности и республиканства?

Ибо и в будущем цвести нашей родине только под Царем и мучиться и чахнуть ей в интригах республиканской партийности.

Это не случайно, что революция водворила у нас республику<:> они обе сродни по существу, по духу, по укладу душевному.

От этого душевного уклада и духа — распалась на части единое тело нашей России, — на части, на партии, на центробежные воли, на поползновения, ставящие частное выше общего.

Россия распалась потому, что *мы*, мы *сами* (по слову древнего летописца) «*несли ее розно*»; — несли ее розно до тех пор, пока не образовалось дикое, хмельное восстание, в котором некультурное большинство, руководимое сплоченно партией слева, — не подавило, не разорило, не искоренило, не изгнало культурного и непартийного меньшинства.

Я спрашиваю себя: поняли ли мы, что идея монархии — учит непартийности и несет в себе дух всенародного единения?

И сумеем ли мы проявить это и доказать это на Съезде?

И сумеем ли мы «дело царево нести честно и грозно» — раскрылись ли для этого наши души?

Знаю я — нет у нас еще счастья иметь Царя; — не знаю, *будет* ли оно у нас и *когда* будет.

Знаю только, что будет он не раньше, чем восстанет в наших душах чистое и верное монархическое правосознание.

И знаю я еще, что уже дано нам счастье иметь *персонально вождя*: в обращении к нему нам дана возможность проверить себя — можем ли мы, выдавая его за Царя и скорбя вместе с ним о сиротеющей без Царя России, приготовить в себе самих, в душах наших, — и в обращении к нему, — *духовное умное место грядущему Царю всея Руси.*

Не всякий, кто говорит о Царе, — способен иметь его; и ведь и перед революцией он *был* у нас, а мы не *умели иметь его.*

Да, надо уметь иметь царя.

Мы потеряли Россию, потому что разучились иметь его, и не будет его у нас, пока мы этому не научимся.

Не здесь и не сейчас развертывать мне красоту и глубину — религиозную, художественную и политическую силу подлинной царской идеи; но основного я не могу не коснуться здесь.

Царь вне партий, классов и сословий.

Широко его сердце — всей стране есть в нем место.

Он не царь большинства, и не царь меньшинства, — а царь всея страны, всего народа.

Он царь всех своих людей — как тех, кто думает правее, — так и тех, кто заблуждается, и тех, кто думает верно — всех, кто волею сердца хочет нести дело его, дело всей родины — честно и грозно; всех, кто хочет служить и прямить ему перед Лицом Божиим. Царь партии — есть не более, чем лидер ее, ее ставленник, ее угодник, ее орган; а стране своей он чужак.

Горе партиям, хотящим полонить сердце царя, — они делают его республиканским лидером, а страну обрекают гражданской войне!

Горе стране от этих партий! Нельзя идти к царю с партийными словами!

Ибо эти слова разделения и ненависти и они чреваты гражданской войной.

И если дух партийный, дух гражданской войны не откипел в наших сердцах, то мы не способны к единению.

Прав наш вождь[1] и мудр древнею исконною, православною мудростью, что не хочет он становиться партийным вождем.

И если мы к вождю нашему пойдем с партийными словами и партийным органом — то это значит, что мы несем ему дух лукавый и незрелый.

И прав он будет, если нас не одобрит и не примет. И как будем мы говорить о своем монархизме и мечтать о царе, когда мы вождю, еще вождю, а не царю — несем слова партийного лукавства. Царя надо иметь не только во главе, но в голове, в душе, в воле.

Кто монархист и служит Царю, тот усвояет невольно и искренно его надпартийную и внепартийную ширину сердца и воли.

Иметь Царя — не унижение и не рабство, а повышение и окрыление; — политическое расширение духа и вознесение себя до *Его* ширины и до Его всецелости.

Кто этого не понимает, тот идет к Царю — не с Царем в душе, а с полуреспубликанским обывателем, полуреволюционным холопом.

Перед лицом Царя — надо мыслить от целого, — *собирая это целое* и говоря *про* него, *за* него, *для* него, во имя его.

Все иное — будет *криво* и покажет только, что к вождю мы идем неверными путями и что Царя нам не иметь.

К Царю надо идти с правдою, со всякою мыслью благою, независимо от ее левизны и правизны.

Всем искренним убеждениям есть место в духе Царя и в его восприятии.

Все искренние мнения имеют здесь значение правды.

И тот, кто отсекает и урезывает мнения, несогласные с его личным мнением, — умаляет и искажает царскую и царственную правду.

Всякое искреннее убеждение есть достояние Царя.

Не чтущий этого — организующий глухоту, неосведомленность, партийное искажение — творит дело кривое, противонародное и противомонархическое, каким бы словом он ни прикрывался.

К Царю надо идти доброю волею, не вынужденным признанием, свободною любовию и свободным доверием.

Не построишь царства страхом и окриком, угрозою и заподозрением, понужением и клеветою.

Не холопы нужны царю, а сыны и рыцари.

Россия распалась потому, что было слишком много кривизны и холопства и слишком мало рыцарственной, свободной преданности.

Так обстоит всегда, — и во время благополучного царствования.

И это важно, как никогда в эпоху смуты и рассеяния; в эпоху свободного собирания монархической Руси и ее сил.

Нет у нашего вождя еще ни территории, ни власти, ни правительственного аппарата. Только началось свободное собирание сил; только еще идет испытание.

И мудр и прав наш вождь, что не объявляет себя диктатором, обреченным на бессилие.

Мудр и прав он, что ждет свободного единения, добровольного подчинения, что не грозит он никому, и не вводит никакой принудительной организации.

Дух партийности царит еще среди зарубежной эмиграции. И пока этот дух царит, не заслужим мы царственного обновления России.

Нет еще мудрости; нет надпартийного парения; нет государственной зрелости.

И пока нет ее — всякий орган, всякая организация будет партийным и гибельным делом.

Вождю полнота доверия и власти. Пусть НАЗНАЧИТ он тех, кому верить.

А нам, созерцающим партийный напор справа, не подобает сковывать его партийно избранными людьми.

Это было бы зловредно и гибельно.

И да не будет партийного совдепа ни слева, ни справа.

К ЦЕРКОВНОМУ СОБОРУ 1938 ГОДА

Я вижу воззвание недлинным, простым, провозглашающим право по-своему и веровать по-своему в дарованных нам, как и всем народам, дарах Духа Святого, предупреждающим и от дружбы с сатаною и от попыток воспользоваться якобы его созревшими плодами, и

устанавливающим, что дело так «посещенного» и так страдающего народа просто совпадает с Делом Божиим в истории человечества — составляя Его (Божьего Дела) подлинную и живую часть. Мученик есть победитель. Победителя в духе — чтут и берегут. Победная над сатаною осанна русского народа суть дело мировое: разумейте языцы!..

(не написано)[1]

Принято предсоборным присутствием; на соборе я не был.

Тема первая

О мученичестве православной Церкви в России

июль 1938

Проект резолюции

Обсудив положение Православной Церкви, православного духовенства и верующих мирян в России, созданное двадцатилетними гонениями советской власти, Собор постановляет:

1. Всем священномученикам и мученикам, приявшим и ныне принимающим муку или смерть за Православную Веру и Церковь в России, воздать о Христе братское преклонение как победителям соблазна и безбожия, исповеднически запечатлевающим свою верность Христу Спасителю и нас научившим стоять за веру до конца несоблазненно.

2. В своем христианском смирении русское православное духовенство никогда не считало себя достойным, или призванным, или способным принять это мученичество ранее других исповеданий или иноисповедных пастырств, и стояние свое за веру оно относит всецело к силе Господней, руководившей, укреплявшей и осенявшей.

3. Гонение сие Собор воспринимает как великое попущение и посещение Божие, посланное нам по грехам нашим, одним в наказание, другим в научение, третьим в испытание, овым в укрепление и закаление, овым в

прославление; всем — в покаяние, в духовное очищение и религиозное обновление. И так воспринимая, Собор исповедует во всеуслышание мира, что гонение сие послано не в сокрушение и не в погибель и что врата адовы не одолеют Церковь Христову Православную.

4. Произнося сие исповедание, Собор ведает, что этот духовный соблазн и это гонение исторически зародились не в самой России, но возникли замыслом, созрели подготовительно и вступили в жизнь русского народа из недр западноевропейской культуры — из недр западноевропейского безбожия, рассудочной науки, не-христианского правосознания и противохристианского социализма. Сей дух безбожия, сочетаясь с духом нехристианской государственности, заразил образованные и полуобразованные слои русского народа и породил советскую власть во всем ее сатанинском злопыхательстве на Церковь и ее верных служителей и сынов.

5. Разумея сие и выговаривая, Собор полагает необходимым братски о Христе указать на это всем христианам иных исповеданий, дабы они своевременно постигли природу этого соблазна и гонения, молитвенно и покаянно обратились к источнику всякого света и чистоты и прияли необходимые усилия и меры к одолению духа сего. Ибо вопрошает Господь нам: «мните ли, яко галилеяне сии грешнейши паче всех галилеян бяху, яко тако пострадаша?» (Лук. 13. 2).

6. Нарочито же Собор обращает свое слово к русским образованным людям, чтобы сказать им: освободите себя от духа западного безбожия и гордыни, от духа рассудочного самодовольства, от светски оскудевшего нехристианского правосознания, от противохристианской государственности и всяческих соблазнов века сего. Вернитесь ко Христу, благость и мудрость коего во веки живы и неисчерпаемы. И создайте из Духа Его, обещанного всем нам, культуру истинную, Христовым Духом вскормленную и для Православной России единоспасительную. Мука мучеников наших и отрада страдающего народа нашего да обратит вас, да поведет и да вдохновит к новому творчеству в духе обновленном.

РАЗВАЛ «МОНАРХИЧЕСКОГО СОВЕТА»

(От нашего корреспондента)

Одним из самых оздоровляющих последствий Зарубежного Съезда является обнаружившийся и закрепленный развал так называемого «Высшего монархического совета». Эта организация, не переизбиравшаяся в пределах своей партии уже несколько лет и руководившаяся бывшим до революции председателем «Союза русского народа» г. Н. Марковым, вышла из Зарубежного Съезда с репутацией настолько определенной и для всех расшифрованной, что даже самые ярые сторонники крайнего курса должны были поступиться известными позициями.

Зарубежный Съезд затевался на основах коалиции и соглашения. Это значит, что выдвигаться и разрешаться должны были те вопросы, по которым могло быть достигнуто *единогласие*; даже и в том случае, если бы единственным таким вопросом оказалось бы отрицание большевизма и борьбы с большевиками. Именно так мыслился Съезд целым рядом групп, входивших в него на этих основаниях. Понятно, что только на этих условиях Съезд мог бы послужить *соединению*, а не разъединению эмиграции. Понятно также, что при таких условиях всякие попытки захватить на Съезде большинство голосов теряли всякий смысл и должны были бы отпасть: ибо на первый план выдвигалась *общая цель*, общая платформа, общая борьба; а эта общая платформа могла бы сама собою сильно расшириться благодаря не партийной, а патриотической постановке вопроса.

Совсем иначе подошли к этому г. Марков, г. Тальберг и г. Скаржинский[1]. Правда, открыто г. Марков твердил о «свернутых знаменах» и о готовности «работать с республиканцами». Но прикровенно были даны обратные директивы — и во Франции, и в Германии, и в Сербии: во что бы то ни стало, всеми уловками, посулами и еще чем угодно проводить на Съезд «как можно больше своих», захватить на Съезде большинство, провозгласить великого князя[2] «диктатором» **всей** «внутренней и зарубежной России», образовать при нем «свой»

партийный орган с «весьма солидными окладами» и для этого «принудительно» «обложить налогом всю эмиграцию». Напрасно благоразумные и умеренные элементы из партийной же среды указывали этим людям, что непартийные элементы отойдут от этой знати, что великий князь на это не согласится, что «обложение» провалится, что «принудительность» вызовет только всеобщее пожимание плечами, а диктатура окажется эмигрантской керенщиной. На все были готовы ответы: непартийные монархисты — это «интриганы» и «масоны», пускай уходят; великий князь не сможет отвергнуть «всенародного» желания; принудить, конечно, никого нельзя, но грозить и шельмовать можно...

И началось: пошли нажимы, подтягивание «своих», самые невероятные уловки с противниками... и «обещания»... Ваш корреспондент расспрашивал непартийных делегатов из разных стран: всюду, что называется, стон стоит от этих приемов с «крайнего права». Особенно марковские старички и скаржинские молодцы отличились в Сербии и в Германии. И вся борьба их сопровождалась потоком инсинуаций по адресу противников, — и до выборов, и после выборов. Жертвы этих инсинуаций от изумления и негодования — слов не находили, узнавая о том, что при них эти молодцы и старички насочиняли.

То, что затевал «монархический совет», было определено где-то самим г. Марковым так: превратить Съезд в «плацдарм» (буквально!) и провозгласить диктатора. А потом? Потом 1) командующая вершина захвачена; 2) «солидные оклады», о коих г. Марков собственнолично говорил в кулуарах Съезда (со свойственной ему грубой беззастенчивостью); 3) навязывание своей воли провозглашенному диктатору. Один молодой юрист из членов Съезда очень деликатно высказал Вашему корреспонденту, что точка зрения «экономического материализма» весьма многое объясняет в некоторых грубых политических выступлениях. И вот на Съезде мало-помалу **все** это поняли, все, кто вообще способен что-либо понимать...

При таких условиях борьба, которую повели центральные непартийные элементы, получила значение

борьбы **за достоинство Съезда и** за **независимость Великого Князя** от партийного давления. Конечно, это получило на Съезде другую видимость: говорилось о «независимом» от великого князя «органе», о ненужности и недопустимости органа вообще и т. д. Но на деле понималось, что речь идет о несравненно большем: об ограждении всех от того постыдного и скандального, что с невероятной беззастенчивостью варит г. Марков и его приспешники. Они были в большинстве: трюки и нажимы помогли, и за Марковым ходило по Съезду целое стадо неустроенных старичков и юношей вызывающего поведения, непартийным пришлось дать бой на **качестве**. И надо правду сказать, что **качество победило**. У крайних не было ни мысли, ни чувства, ни аргументаций, ни ораторов. Безобразно кричал Марков, два раза пролепетал какие-то ехидства ничтожный Тальберг, подолгу жевал резинку бездарный Алексинский — и все.

Крайние действовали «с места»; и было на Съезде два часа (после проигрыша позиции), когда нам, представителям печати, прямо казалось, что мы слушаем озлобленное рычание без смысла и без конца...

Качество победило. Непартийные ораторы выходили один за другим, один восполнял другого, и от позиции крайних правых оставалось все меньше и меньше допустимого. Один обнаруживал вредность их затеи; другой — неискренность; третий — немонархичность ее; четвертый — ненужность ее для великого князя; пятый — ее противогосударственность; шестой — ее большевистскую природу...

Никогда не забудется отвратительная речь г. Маркова. Видя, что вся затея рушится, и зная, что никаких заранее подготовленных «жизненных» позиций для «отступления» у него лично нет, он не говорил, а злобно и неприлично кричал. Было противно и страшно видеть это дергающееся от злобы лицо и слышать этот свирепый вопль... Вся грубость и злость его обнажились; он потерял самообладание и жестоко проболтался: он заявил, что орган «все равно создан» и что противники его начнут пробираться в него через задние двери; он заявил, что разрыв в ихней партии есть разрыв с самой Россией и что в России по возвращении непокорных будут ставить за этот разрыв к «правой стенке»...

Впечатление было тягостное, невыносимое. Сколько бы ни прожил г. Марков еще на свете, сколько бы неискренних извинений и двусмысленных разъяснений он бы еще ни пробормотал, — это впечатление не изгладится **никогда**. Все почувствовали и поняли, что это были **не слова, намерения**; не пустая угроза, а замысел свирепой расправы; было что-то глубоко деморализованное, хочется сказать, дьявольское в этом вопле. И ведь все уже понимали — **во имя чего** все это... Имея перед собою цвет патриотической, мужественной, честной интеллигенции, участников Ледяного похода[3], офицеров Белой армии, ученых, не беглецов, не двусмысленных политиканов, из которых каждый мечтает в душе о спасении России и среди которых трудно даже найти республиканца — грозит им смертью «у правой стенки» за непокорность расчетливым интригам «монархического совета»... Есть же предел и бесстыдству, и... глупости!

Чаша была полна и переполнилась. Никто не мог разоблачить г. Маркова так, как он сам себя разоблачил. И нам, не принимавшим участия в Съезде, отчетливо было видно со стороны, что произошло и какие от этого будут последствия. Марков совершил над собою **акт политического самоубийства**. Пока в России жива честь и совесть, до тех пор все будут с отвращением проходить мимо этой разбойнической формы борьбы. Нельзя, уважая себя, грозить расстрелом таким людям, как Н. Н. Львов, П. Б. Струве, В. И. Гурко, В. П. Носович[4] и другие. Не допустив себя до этого, нельзя даже требовать уважения к себе со стороны других. Есть шаги, которые не прощаются и не забываются. И таким шагом г. Марков увенчал и закончил свою политическую карьеру. Во всяком случае было бы в его собственных интересах не пытаться возобновить ее. Все запомнят и навсегда, что в планы г. Маркова входит вырезать русскую независимую и честную правую интеллигенцию, и в душе слышавших его вопли — навсегда останется уверенность, что он не погорячился, а **проболтался**. И на это надлежит ответить не замазыванием, а **изоляцией** злоумышленника.

Мудрено ли, что вслед за этим на состоявшемся партийно-монархическом Съезде в Париже обнаружился целый ряд потрясающих всю организацию обстоятельств.

Первым еще во время Съезда вышел из состава «монархического совета» почтенный А. М. Масленников[5]: удрученный и расстроенный, он со скорбью и отвращением рассказывал своим знакомым о мотивах своего ухода. Далее из состава «монархического объединения» вышел мудрый и глубоко корректный А. В. Трепов, который всегда тяготился грубой и глупой стихией марковщины. Совсем ушел от них и рыцарственный старец князь А. А. Ширинский-Шихматов. Не попал в новый состав «совета» и всеми уважаемый барон Б. Г. фон Кеппен. Наконец, свыше дано было понять г. Маркову, что ему самому невозможно более председательски связывать свое имя с идеей монархического движения, и приверженцы его принуждены были отвести его «на покой». Правда, как мне пишут из Берлина, тамошние клевреты его распространяют слух, будто его «ушли» потому, что ему предстоит быть «всероссийским диктатором»... так чтобы не умалить его имя и его роль. Но из этого следует сделать только тот вывод, что среди его сторонников есть люди, делавшие «плацдарм» и заявлявшие «беспрекословное подчинение» не великому князю, а ему, Маркову, крикуну от правой стенки.

Кто бы теперь ни начал править «монархическим советом» — неумный Крупенский, юркий и ничтожный Тальберг, или Оболенский с Городецким, — факт тот, что встряска дана, что качество одержало победу над количеством, что Съезд, помимо своей резолютивной и подготовительной работы, отмежевал политически живое от политически мертвого и в пределах самого крайне-правого лагеря заставил мудрое и верное отделиться от вульгарного и двусмысленного.

Это работа, не бросающаяся в глаза, но важная и очистительная. Нужна переорганизация всех национальных кадров эмиграции. И эта новая организация получила от Съезда могучий толчок.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часть I

ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИЛЬИНЫХ

1

КАТЕХИЗИС

Сыну моему
Ивану Ивановичу Ильину
мое родительское благословение

Тебе известно, из какого состояния я произошел.

Ты видишь, чего я достиг.

Пятидесятилетняя опытность мой учитель.

Родители мои не могли дать мне более просвещения, как только научить меня чтению и письму отечественного языка, познанию Закона Божия, и отчасти гражданского, и в общежитии быть скромным и почтительным.

В восемнадцатилетнем моем возрасте я <был> предоставлен самому себе, не имея ни в чем излишества, кроме родительского благословения.

Убогое рубище, охраняющее в переменах стихийных от зноя и хлада, с сохранением возможной благопристойности, составляло все мое наследство.

Я имел способов более доставить тебе в воспитании просвещения, и в теперешнем твоем 19-летнем возрасте поставил тебя на такую стезю, которой я не мог достичь прежде сорока лет моей жизни.

Ты сам будешь против себя виновен, ежели не удержишься на сем пути.

Помни, мой друг, что человеку определено жить до 70-ти лет не более.

Надобно располагать жизнию так, чтобы она была утешительна, как в молодости и совершенстве лет, так и в глубокой старости.

Ты сам уже можешь чувствовать, что деяния твои теперешние и собственные твои рассуждения кажутся тебе гораздо лучшими тех деяний и рассуждений, которые ты имел в десятилетнем возрасте.

Верь мне, мой друг, что достигнувши 30-летнего возраста, ты много сам будешь порочить из теперешних твоих действий

и рассуждений. В 50-летнем возрасте ты почувствуешь еще перемену как в телесных силах и чувствах, так и в душевных способностях. В 70-летнем возрасте, ежели я до того доживу, то уверен, что подвергнусь еще новому опыту.

И для того должно всегда иметь в твердой памяти[1], чтобы за действия свои и нравственность во всех возрастах впоследствии не иметь раскаяния, которое определяет нам в наказание строгий судия тайных помышлений — совесть.

С нею должно быть всегда в теснейшем союзе; ибо невнимающим ей наказание ее бывает строже всех казней и доводит до отчаяния.

Чтоб быть полезным и приятным в общении и вкушать чрез то самому удовольствие и чтобы после не жаловаться напрасно на свою судьбу и себя не упрекать, я начертал правила, во-первых, те, которыми в жизни своей я руководствовал, присовокупляя к ним из опытов мною почерпнутые, которые считаю для тебя нужными и полезными.

Первые.

Частое посещение храмов Божиих, тщательное внимание молитв, славословия, Благовестия Евангельского, посланий апостольских и проповедания Слова Божия — было во всех случаях руководителем моим и давало мне силу и крепость к пренесению встречающихся неприятностей и к преодолению всех бедствий.

Вера христианская есть истинное спасение, путеводительница смертных.

Мораль Евангельская и апостольских посланий наилучшая всех философских нравоучений. Даже самые атеисты в том согласны.

Присовокупление для тебя.

Отнюдь не скучай службою, — тщательно исполняй все ее обязанности, не оставляя ничего без внимания, а паче без уважения.

Приобретай благорасположение начальников, — любовь и доверенность товарищей, уважение и приверженность подчиненных, и заслуживай от всех и везде имя честного и доброго человека.

Остающиеся свободные часы обращай на дальнейшее изощрение себя в науках; из них я считаю для тебя необходимыми:

наилучшее познание отечественного языка, по правилам грамматическим, риторическим и логическим;

языки французский и немецкий знать сколько возможно совершеннее, а для того считать не излишним прочитывать весь лексикон в год несколько раз, уделяя на то хотя бы несколько часов в неделю;

стараться усовершенствовать себя в чистописании; прилежание приведет к неожидаемому успеху, это я испытал;

геометрия во всех частях, фортификация и все прочия военные науки по роду принятой тобою службы должны быть из первых предметов;

познания: истории, географии, астрономии, физики, химии, архитектуры всех родов, рисованья, живописи, поэзии, музыки и нужны, и утешительны во всяком возрасте и состоянии;

фехтованье и волтижированье — полезны;

танцеванье — развязывает в обществах;

познание отечественных законов, судопроизводства и обрядов в оном употребляемых по военной и гражданской службе не должно почитать последним предметом, и весьма не худо также несколько часов назначить в каждую неделю для чтения их.

Я обращаю твое внимание первоначально на:

учреждение для управления губерний;

устав благочиния;

воинский процесс;

наказ Великой Екатерины, данный комиссии составления законов;

указ о поединках 1784 года апреля 21 изданный;

учреждение для управления Действующих Армий;

учреждение для министерств;

коренной Закон в России: Уложенье Царя Алексея Михайловича — из оного в судопроизводстве употребляются многие статьи и многое отменилось как состоявшимися впоследствии узаконениями, так и лучшею нравственностию обитателей России против прежнего.

Чтоб иметь случай более вникнуть в обряды судопроизводства, для сего будет нелишним знакомство с полковыми аудиторами, с городничими, исправниками и членами уездных судов; а по знакомству с ними из разговоров можно заимствовать нужные сведения и видеть даже самое производство и существо дел, как оные начинаются, продолжаются и оканчиваются.

Сведения сии в течение жизни по встречающимся случаям бывают весьма важны; во всех случаях — лучше советоваться с другими, а на самого себя не должно много полагаться.

Сказав все сие, я должен присовокупить, что природа потребует от тебя еще особенной дани.

Любовь к женскому полу возьмет свое действие.

Между женским и мужеским полом существует союз наиприятнейший и утешительнейший; он действует на чувства и душевные дарования, и есть наилучший, когда к оному руководствует здравый рассудок.

Он почитается священнейшим потому, что муж и жена могут быть и лучшими, и вернейшими друзьями.

Иметь детей утешительно. Утешение сие вливает в чувства наши сама природа. Сие ее действие ощутительно во всех животных.

Как строгая разборчивость, так и необузданное стремление к женскому полу — вредны.

Средний путь во всяком случае почитается благоразумием.

А для того нужно тщательно стараться познать себя, свои страсти, склонности и желания, и представляя их на суд здравого рассудка, всемерно преодолевать те, которые усиливаются и могут подвергнуть неудовольствию.

Священное правило.

Не желай того другому, чего не желаешь себе. Ежели ты никому не желаешь вреда, то и всякий другой, познавший тебя таковым, также оного тебе не пожелает.

Любовь и сострадание к ближнему имей впечатленны в твоем сердце.

Слова Св. Евангелия.

Любите враги ваша!
Благословите клянущие вы!
Добротворите ненавидящим вас.

Точное исполнение сей Святой Заповеди поставляет человека выше смертных.

Мы с тобою разлучаемся и может быть надолго. Ты будешь принадлежать самому себе.

Горячая чистая слеза, оросившая сие начертание, — тебе моя награда и лучшее от меня наследство твоему нежному, невинному и чувствительному сердцу.

От соблюдения сих кратких правил зависит твое счастие.

Все пособия, каких ты ожидать можешь по мере моего состояния, не могут быть тебе столько полезны, как сии правила, кои я запечатлел моим родительским тебе благословением.

16 сент. 1814. С.-Петерб.

ПИСЬМА И. А. ИЛЬИНА К РОДНЫМ

2

А. И. Ильину ***<18.XI.1911>***[1]

Александру Ивановичу Ильину
Ст. Хрущево Рязанской губ.
Russie. Via Moscou
Exp. Jean Illyne. Paris. Boulevard du Montparnasse. 144 bis.

Дорогой Папа! Спешу тебе ответить, чтобы разъяснить неверный и невозможный слух, сообщенный тебе из Заречья В. А. Алфимова очевидно неверно поняла **мои** ***собственные*** слова в письме к ней: «придется возвращаться в Москву и браться за лекции». Вот и весь огонь, из которого возник дым заречного известия. На самом деле *никакого подобия* такого призыва быть не может. Оглашение этого известия мне *очень* неприятно, ибо может создаться впечатление, что я его *сам* пустил, а Байков и Вышеславцев *уже* распространили про меня достаточно ложных и неверных слухов. Если есть *какая-нибудь* возможность, дай отбой и разъясни сообщителям известия его фантастический характер. Спасибо тебе за письмо. Думаю ответить скоро. Париж зимой очень нехорош и неприятен. Целую крепко тебя и маму. Твой В.

1911 18/5

<Приписка рукою И. А. Ильина на открытке > «№ 317 Бошр. 10 нбр. 11 г.»

3

А. Ю. Левкович ***<1.IV.1912>***[2]

Аделаиде Юльевне Левкович
Ст. Хрущево Рязанской губ.
Russie. Via Mosca
Abs. Dr. Iljin. Firenze Via Cavour 79. Pensione Wisnowatof.

Дорогая тетя Адя! Поздравляю тебя с днем рождения и праздником Пасхи и от души благодарю тебя за подарок, оказавший мне существенное подспорье. Я получил его перед самым отъездом из Берлина Прошла всего неделя после этого отъезда, а мне кажется, что улетел целый месяц так много впечатлений, сильных и значительных Пишу тебе из Рима, мы приехали сюда вчера и устроились в пансионе (адрес все-таки даю на Флоренцию) Кажется сказкой, что я вот-вот увижу своими глазами тот Храм Петра и башню св Ангела и сикстинскую капеллу, которые я ребенком видел у тебя в альбомах!.. Мы пробудем здесь дней 10, а потом думаем проехать

на 4 дня в Неаполь и Помпею, к Везувию. Чувствуем себя бодро и хорошо; утомляет и раздражает только езда в третьем классе: грязь, пыль и бесконечное плевание итальянцев. Крепко тебя целую. Иду спать. Под окном воют трамваи и хрюкают автомобили. Твой Ваня. 1 апр. 1912.

Часть II

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕКРЕТНОГО АРХИВА ЦК ВКП(б) ИНВ. № 205 ПО ВЫСЫЛКЕ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ НЕЕ В 1922 ГОДУ

1

Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика
Н. К. В. Д.
Государственное Политическое Управление
22/VII 1922 г./ № 81371
Москва, Б. Лубянка, 2.
Телеф. Г. П. У. коммутатор.

СОВ. СЕКРЕТНО

При ответах ссылаться на №, число и Отдел
Отдел.....

В ПОЛИТБЮРО Ц. К. Р. К. П. *т. Сталину*[1]

Сведения, полученные нами из зарубежных источников, определенно устанавливают, что заинтересованным кругам белой эмиграции стало известно о предполагающихся в Советской России репрессиях против анти-советской интеллигенции.

Некоторая тревога в профессорском и литературном мире наблюдается в последнее время и в Москве: ждут каких-то массовых арестов, высылок.

Эта осведомленность контр-революционного лагеря указывает на то, что проводившийся нами метод опрашивания представителей заинтересованных центральных ведомств и отдельных ответственных товарищей об известных им кругах антисоветских деятелей привел к тому, что необходимая в подобных случаях строгая конспирация была нарушена и при дальнейшей проволочке в проведении операции — последняя

ни для кого не будет неожиданностью и *вовсе* не даст необходимых результатов.

Следует отметить также и то, что профессура разъезжается на летние каникулы.

Ввиду этого представляется крайне необходимым спешное проведение намеченной операции, о чем и доводим до Вашего сведения.

ЗАМПРЕДГПУ: *Уншлихт*

2

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! **СТРОГО СЕКРЕТНО**
(Всесоюзная. — зачеркнуто) *Российская* Коммунистическая Партия (большевиков)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№ П19/13.
.....193....г.

Подлежит возврату в ОС ЦК ВКП(б) 2 часть не позже, чем в 7-дневный срок (пост. ПБ ЦК от 5/V— 27 г., пр. № 100, п. 5)

Выписка из протокола № 19 *заседания Политбюро ЦК от* 27. VII 193...*22 г.*...г.

13. — **Доклад т. Уншлихта об исполнении постановления Политбюро от 20. VII. 22 г.** (пр. № 18, п. 13).

Поручить комиссии в составе т.т. Уншлихта, Курского и Каменева разработать вопрос о техническом осуществлении предписанных Политбюро мер, как в смысле установления необходимых расходов, так и в смысле получения виз.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

3

Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика
Н. К. В. Д.
Государственное Политическое Управление
31 июля 1922 *г. № 81418*
Москва, Б. Лубянка, 2.
Телеф. Г. П. У. коммутатор.
На №.....
От..... 1922 г.

При ответах ссылаться на №, число и Отдел
Отдел.....*Секретариат Коллегии*.....

ПОЛИТБЮРО тов. СТАЛИНУ

Во исполнение постановления Политбюро от 8 июня § 8 п. «г», посылаю разработанный нами проект постановления ВЦИК об административной высылке.

ЗАМПРЕД ГПУ *Уншлихт* /УНШЛИХТ/[2]

4

ПРОЭКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В. Ц. И. К.
Об административной высылке.

В.Ц.И.К. ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Создать при Народном Комиссариате Внутренних дел под его Председательством Особое Совещание из представителей НКВД и НКЮ, коему предоставить право в тех случаях, когда имеется возможность не прибегать к более суровому наказанию, заменять его высылкой за границу или в определенные пункты Р.С.Ф.С.Р.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состав Особого Совещания утверждается Президиумом В.Ц.И.К.

2) Постановления о высылке каждого отдельного лица должны сопровождаться подробными указаниями причин высылки.

3) Особое Совещание при утверждении высылки точно указывает район высылки <и> срок ее.

4) Список районов местностей высылки утверждается Президиумом ВЦИК по представлению Особого Совещания.

5) Срок административной высылки не может превышать 5 лет с утратой для высланного активного и пассивного избирательного права на все время высылки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Высылка за границу может быть и без указания срока, т. е. впредь до постановления об отмене ее.

6) К месту высылки, для проживания совместно с высылаемым могут следовать семьи высланных.

7) К месту высылки высылаемый может ехать за свой счет при согласии на то соответствующих органов, внесших представление в Особое Совещание о высылке.

8) Высланный в определенный район поступает под гласный надзор местного органа ГПУ.

9) Местожительство высылаемого определяет орган ГПУ, в район которого поступил высланный, согласно указаний Особого Совещания.

10) Побег с места высылки или пути следования к нему карается по суду согласно ст. 95 Уголовного Кодекса с последующей за отбытием наказания высылкой на первоначальный срок.

11) Особое Совещание составляет инструкцию в развитие настоящего постановления.

5

Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика
Н. К. В. Д.
Государственное Политическое Управление
2 августа 1922 *г. № 81425*
Москва, Б. Лубянка, 2.
Телеф. Г. П. У. коммутатор.
На №.....
От..... 1922 г.

При ответах ссылаться на №, число и Отдел
Отдел.....*Секретариат Коллегии*.....
Тов. СТАЛИНУ

Во исполнение постановления Политбюро, посылаю протокол заседания Комиссии Политбюро, список анти-советской интеллигенции Москвы, список анти-советской интеллигенции г. Петрограда и два списка к указанным спискам с характеристиками упомянутых лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.

ЗАМПРЕД ГПУ *Уншлихт* /УНШЛИХТ/[3]

6

СПИСОК
АКТИВНОЙ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ/профессура/ Москва

Профессора I-го Москов. Университета.

1. СТРАТОНОВ Всеволод Викторович.
2. ФОМИН Василий Емельянович.

Профессора Московского Высшего Технич. училища.

4. ЯСИНСКИЙ Всеволод Иванович.
5. БРИЛЛИНГ Николай Романович[4].
6. КУКОЛЕВСКИЙ Иван Иванович.
7. ЗВОРЫКИН Владимир Васильевич.

Профессора Петровско-Разумовской Сельско-Хозяйств. Академии.

8. АРТОБОЛЕВСКИЙ Иван Алексеевич
9. УШАКОВ

Профессора Института инженеров Путей Сообщения.

10. ТЯПКИН Николай Дмитриевич.

По делу Вольно-Экономического Общества.

11. УГРИМОВ Александр Иванович.

Профессора разных учебных заведений.

12. ОВЧИННИКОВ /Казань/
13. ВЕЛИХОВ Павел Апполонович[5].
14. ЛОСКУТОВ Николай Николаевич.[6]
15. ТРОШИН /Казань/
16. НОВИКОВ М. М.
17. ИЛЬИН Н. А.[7]

Список анти-советских профессоров археологического института.

18. УСПЕНСКИЙ Александр Иванович.
19. ЦВЕТКОВ Николай Николаевич.
20. БОРДЫГИН Василий Михайлович.
21. КОРОБКОВ Николай Михайлович.

Общий список активных антисоветских деятелей по делу издательства «Берег».

22. ТРУБЕЦКОЙ Сергей Евгеньевич.
23. ФЕЛЬДШТЕЙН Михаил Соломонович[8].

Список лиц проходящих по делу № 813 /группы Абрикосова/

24. АБРИКОСОВ Владимир Владимирович.
25. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Дмитрий Владимирович.
26. БОЙКОВ Алексей Львович.
27. АРБУЗОВ Алексей Дмитриевич.

Список антисоветских агрономов и кооператоров.

28. РЫБНИКОВ Александр Александрович[9].
29. ЛЮБИМОВ Николай Иванович.
30. МАТВЕЕВ Иван Петрович.
31. РОМОДАНОВСКИЙ Николай Павлович.
32. РОМОДАНОВСКИЙ Николай Павлович.[10]
33. КОНДРАТЬЕВ Н. Д.[11]
34. КИЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Агафонникович.

35. БУЛАТОВ Алексей Алексеевич /Новгород/.
36. СИГИРСКИЙ Александр Иванович.
37. ШИШКИН Матвей Дмитриевич /Вологда/.
38. БАКАЛ /левый с.-р./.
39. МАЛОЛЕТНИКОВ Николай Васильевич.
40. КЛЕЗЕЦКИЙ /Тверь/.

Список врачей.

41. ИЗРАИЛЬСОН /Орел/
42. ФАЛИН /Вологда/
43. РОЗАНОВ /Саратов/.

Список антисоветских инженеров /Москва/.

44. ПАЛЬЧИНСКИЙ Петр Иакимович.
45. ПАРШИН Николай Евграфович.
46. ЮШТИН Иван Иванович.
47. ВАЙСБЕРГ.
48. КОЗЛОВ Николай Павлович.
49. САХАРОВ Андрей Васильевич.

Список литераторов.

50. ФРАНК Семен Людвигович.
51. РОЗЕНБЕРГ
52. КИЗЕВЕТТЕР А. А.
53. ОЗЕРЕНЦОВСКИЙ Вениамин Сергеевич.
54. ЮРОВСКИЙ Александр Наумович.
55. ОГАНОВСКИЙ Николай Петрович.
56. АЙХЕНВАЛЬД Юлий Исаевич.
57. БЕРДЯЕВ Н. А.
58. ОЗЕРОВ Иван Христофорович[12].
59. ОСОРГИН Михаил Андреевич.
60. МАТУСЕВИЧ Иосиф Ал-дрович.
61. ЕФИМОВ /Профессор/.

31/VII-22 Л. КАМЕНЕВ, Д. КУРСКИЙ, УНШЛИХТ

Дополнительный список
Антисоветской интеллигенции
/профессура/ Москва.

1. КРАВЕЦ Торичан Павлович[13].
2. ИЗГАРЫШЕВ Николай Алексеевич[14].

Список литераторов.

3. КУДРЯВЦЕВ Василий Михайлович.
4. СЯКОТИН Венедикт Ал-дрович[15].
5. ПЕШЕХОНОВ Алексей Васильевич[16].
6. СТЕПУН Федор Августович.
7. ЧЕРНОЛУССКИЙ Владимир Иванович.
8. ИЗЮМОВ Александр Филаретович.

Л. КАМЕНЕВ, Д. КУРСКИЙ, УНШЛИХТ.

31/VII-22 года.

7

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Российская Коммунистическая Партия Большевиков
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Отдел *Бюро Секретариата*

№ 9795/с *10.....Августа.....*1922....г.

Товарищу У Н Ш Л И Х Т У.

Выписка из протокола № 21 заседания Политбюро ЦК.РКП от 10/VIII-22 г.

С Л У Ш А Л И:

7. Утверждение списка.
/т. Уншлихт/.

П О С Т А Н О В И Л И:

7. а) Утвердить.
б) Предложить ГПУ подвергнуть обыску всех, арестовать же только тех, относительно которых имеется опасение, что они могут скрыться, остальных подвергнуть домашнему аресту.

Секретарь Цека
/2МБ/

8

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСЫЛАЕМЫХ ЛИЦ

Профессора разных учебных заведений.

11. ОВЧИННИКОВ

Профессор Казанского Университета. Ярко и открыто выступает против политики Соввласти в отношении в<ысшей> школы.

Произвести обыск, арест и выслать за границу.

Главпрофобр за высылку.

12. ВЕЛИХОВ Павел Апполонович.

Проживает по Бахметьевской д. 15 кв. 8. Имеет крупные связи с к-д.[17] и в среде профессуры ВУЗ. Имел отношение к национальному центру. В настоящее время связан и оказывает содействие активной белой антисоветской организации. Программа, выработанная ВЕЛИХОВЫМ, близка к программе организации ПДД[18].

Произвести обыск, арест и выслать за границу. Комиссия с участием т. БОГДАНОВА и др. за высылку. Главпрофобр за высылку.

13. ЛОСКУТОВ Николай Николаевич

Юрист, член партии к-д., в 1918 г. и 1919 г. состоял членом «Совета Общественных Деятелей». Был арестован по делу Тактического Центра весной 1920 года и привлечен к суду Верховного Трибунала. Имеет близкую связь с кругами ВЕЛИХОВА, связан с военной организацией.

Произвести обыск, арест и выслать за границу.

14. ТРОШИН

Профессор Казанского Университета (декан Медфакультета). Организовал вокруг себя значительную группу контр-революционных профессоров. Определенный противник Соввласти. Антисоветскую агитацию ведет даже на лекциях. В своей работе декана ведет определенную политику против студентов евреев и коммунистов.

Произвести обыск, арест и выслать за границу. Комиссия с участием т. Богданова и др. за высылку. Главпрофобр за высылку.

15. НОВИКОВ М. М.

Бывш<ий> ректор Московского Университета. Кадет. Был арестован по делу Тактического Центра весною 1920 года. Определенный активный противник Соввласти; саботирует декреты Соввласти в отношении в<ысшей> школы. Работает в научно-техн<ическом> отделе ВСНХ.

Арестовать и выслать за границу. Комиссия с участием т. БОГДАНОВА и др. за высылку. Главпрофобр за высылку.

16. ИЛЬИН И. А.

Профессор философии. Проживает по Крестовоздвиженскому пер. 2-12 кв. 36. Весною 1920 года был арестован по делу Тактического Центра в связи с происходившими у него

на квартире собраниями членов Нац<ионального> Центра. Настроен определенно антисоветски. Весною сего года посещал нелегальные собрания на квартире профессора АВИНОВА, где читались рефераты и доклады контр-революционного характера.

Арестовать, выслать за границу. Главпрофобр за высылку.

Список антисоветских профессоров Археологического Института.

17. УСПЕНСКИЙ Ал-др Иванович.

Ректор Археологического Института. Сорганизовал группу монархической профессуры. Имеет тесную связь с патриархом Тихоном и с окружающими Тихона церковниками. На квартире УСПЕНСКОГО происходят нелегальные собрания церковников. В Ревтрибунале Запфронта имеется дело об УСПЕНСКОМ в связи с противодействием изъятию церковных ценностей. Выслать за границу. Главпрофобр за высылку.

9

Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика
Н. К. В. Д.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
23 августа 1922 г.
№ *81521*
Москва, Большая Лубянка, 2.
Телеф. Г. П. У. коммутатор
На №.....
От.....1922 г.

При ответах ссылаться на №, число и Отдел
ОТДЕЛ.....*Секретариат Коллегии*
Тов. СТАЛИНУ

По поручению тов. УНШЛИХТА, посылаю рапорт о состоянии операции по высылке анти-советской интеллигенции на 23-е августа 1922 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
Секретарь Коллегии ГПУ *Езерская*
/Езерская/

10

т. Сталину ЗАМПРЕДГПУ тов. УНШЛИХТУ

РАПОРТ

СОСТОЯНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЫЛКЕ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА 23 АВГУСТА 1922 ГОДА.

1. За отчетные 2 дня присланы согласно наших телеграмм арестованные <из> Вологды ШИШКИН и из Новгорода — БУЛАТОВ

2. Нами арестовано из оставшихся до сих пор не розысканными 3 человека Л. Н. ЮРОВСКИЙ[19], ОСОРГИН и ИЗЮМОВ и профессор ВЕЛИХОВ переведен с домашнего ареста во внутреннюю тюрьму.

3. Итого по Московскому списку из 67-ми человек, подлежащих аресту и высылке заграницу, нами арестовано:

1. А. Домашним арестом 11 человек:

1. МАЛОЛЕТНИКОВ Николай Васильевич
2. ЛЮБИМОВ Николай Иванович
3. РЫБНИКОВ Александр Васильевич
4. НОВИКОВ Михаил Михайлович
5. КИЗЕВЕТТЕР Александр Александрович
6. ФОМИН Василий Емельянович
7. ОЗЕРОВ Иван Христофорович
8. УГРИМОВ Александр Иванович
10. ЮРОВСКИЙ Александр Наумович
11. ОСОРГИН Михаил Андреевич

Б. Арестованы и содержатся во внутренней тюрьме: *14 человек*:

1. ТЯПКИН Николай Дмитриевич
2. БРИЛИНГ Николай Романович
3. КРАВЕЦ Торичан Павлович
4. ТРУБЕЦКОЙ Сергей Евгеньевич
5. БАКАЛ Илья Юльевич
6. КИЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Агафонович
7. УШАКОВ Иван Иванович
8. КОНДРАТЬЕВ Николай Дмитриевич
9. ВЕЛИХОВ Павел Апполонович
10. ПЕШЕХОНОВ Алексей Васильевич

11. КОРОБКОВ Николай Дмитриевич
12. УСПЕНСКИЙ Александр Иванович /временно в Смоленске на съезде церковников/
13. БУЛАТОВ
14. ШИШКИН.

В. Освобождены после заявлений о желании выехать заграницу за свой счет: *21 человек*:

1. АРБУЗОВ Алексей Дмитриевич
2. САХАРОВ Андрей Васильевич
3. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ
4. БАЙКОВ Александр Львович
5. АБРИКОСОВ Владимир Владимирович
6. МАТВЕЕВ Иван Петрович
7. ЗВОРЫКИН Владимир Васильевич
8. КУКОЛЕВСКИЙ Иван Иванович
9. ПАРШИН Николай Евграфович
10. МАТУСЕВИЧ Иосиф Александрович
11. КУДРЯВЦЕВ Василий Михайлович
12. ФРАНК Семен Людвигович
13. ЦВЕТКОВ Николай Николаевич
14. БОРДЫГИН Василий Михайлович
15. ЯСИНСКИЙ Всеволод Иванович
16. ФЕЛЬДШТЕЙН Михаил Соломонович
17. БЕРДЯЕВ Николай Алексеевич
18. РОЗЕНБЕРГ Владимир Александрович
19. АРТОБОЛЕВСКИЙ Иван Алексеевич
20. АЙХЕНВАЛЬД Юлий Исаевич
21. СТРАТОНОВ Всеволод Викторович

Все они дали обязательства в недельный срок закончить свои дела и выехать заграницу.

Г. Не арестованы по Москве 8 человек:

1. ИЗГАРЫШЕВ Николай Алексеевич
2. ОЗЕРЕЦОВСКИЙ Вениамин Сергеевич
3. ИЛЬИН Иван Александрович
4. СИГИРСКИЙ Александр Иванович
5. СТЕПУН Федор Августович
6. ЛОСКУТОВ Николай Николаевич
7. МЯКОТИН Венедикт Александрович
8. ПАЛЬЧИНСКИЙ Петр Иакимович

Д. Находятся в других городах 11 человек

1. Казань — профессора ОВЧИННИКОВ и ТРОШИН
2. Тверь — КЛЕЗЕЦКИЙ
3. КАЛУГА — Ромодановский
4. Орел — Израильсон
5. Саратов — Розанов
6. Петроград — Уштин, Вайнберг, Козлов
7. Батум — Огановский
8. Гомель — Черноусский

Сделан вторичный запрос местным Губотделам о результатах арестов.

Е. Всего таким образом по списку не достает не указанных два человека — ФАЛИНА арестованного ранее и высланного под надзор органами ГПУ, и Ефимова, который содержится в Таганской тюрьме.

4. Из содержащихся во внутренней тюрьме 14-ти человек — 4 /ШИШКИН, КРАВЕЦ, БРИЛИНГ и ВЕЛИХОВ/ переданы вместе с делами в ИНОГПУ. Остальные 10 человек подлежат высылке заграницу за счет ГПУ и под конвоем.

5. С Украины сведений не поступало, послана вторичная телеграмма с предложением поспешить с ответом.

6. Петроградский Губотдел предоставил следующую сводку о результатах операции: с 16 на 17 августа арестовано согласно распоряжению ГПУ по списку антисоветской интеллегенции города Петрограда 30 человек:

1. СТРОЕВ Василий Николаевич
2. САВИЧ Константин Иванович
3. ЗУБАШЕВ Сергей Лукьянович
4. СЕЛИВАНОВ Дмитрий Федорович
5. ЕРМОЛАЕВ Николай Николаевич
6. ЕВДОКИМОВ Петр Иванович
7. ЛАПШИН Иван Иванович
8. ЛАРГЕЛЬС Николай Константинович
9. ЛУТОХИН Долмат Александрович

10. КОЗЛОВ Николай Павлович
11. ОСТРОВСКИЙ Андрей Андреевич
12. ПЕТРИЩЕВ Афанасий Борисович
13. ЮШТИН Иван Иванович
14. ГРУЦКУС Борис Давыдович
15. КОГАН Абрам Саулович
16. ПОЛЬНЕР Сергей Иванович
17. ПЕЛЬТЕРСКИЙ Алексей Васильевич
18. ГУСАРОВ Игнатий Евдокимович
19. ЕРЕМЕЕВ Григорий Алексеевич

Все вышеуказанные лица будут высланы за границу под конвоем за счет ГПУ.

1. ПУНПЕНСКИЙ Леонид Алексеевич
2. ЗАМЯТИН Евгений Иванович
3. ХАРИТОНОВ Борис Иосипович
4. ИЗГОЕВ Ланде Александр Соломонович
5. КАРСАВИН Лев Платонович
6. ВОЛКОВЫСКИЙ Николай Моисеевич
7. ЛОССКИЙ Николай Ануфриевич

Вышеуказанные 7 человек согласно их желания будут отпущены за границу за свой счет.

1. САДЫКОВА Юлия Николаевна
2. КАНЦЕЛЬ Ефим Семенович
3. ГУТКИН Абрам Яковлевич
4. БРОНШТЕЙН Исай Евсеевич

Вышеуказанные 4 человека высылаются в восточные губернии для использования по специальности по борьбе с эпидемиями.

7. Виза на въезд в Германию на всех подлежащих высылке уже получена. При своевременном получении денег всех подлежащих высылке за счет ГПУ можно выслать в течение ближайшего времени.

НАЧСОГПУ: *Самсонов*
НАЧАЛЬНИК 4 ОТДЕЛЕНИЯ СО ГПУ: *И. Решетов*
22 августа 1922 года.

11

Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика
Н. К. В. Д.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
27 августа 1922 г.
№ *81558*
Москва, Большая Лубянка, 2.
Телеф. Г. П. У. коммутатор
На №.....
От.....1922 г.

При ответах ссылаться на №, число и Отдел
ОТДЕЛ..... *Секретариат Коллегии*
Тов. СТАЛИНУ

По поручению тов. УНШЛИХТА, посылаю копию рапорта о состоянии операции по высылке анти-советской интеллигенции на 26 августа.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
Секретарь Коллегии ГПУ *Езерская*
/Езерская/

12

Копия.

РАПОРТ
СОСТОЯНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЫЛКЕ
АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
НА 26 АВГУСТА

1. За отчетные два дня согласно наших телеграмм прислан из Калуги арестованный РОМОДАНОВСКИЙ.

2. Арестованы из оставшихся не разысканными 2 человека ПАЛЬЧИНСКИЙ и ИЗГАРЫШЕВ.

3. Итого по Московскому списку из 67-ми человек, подлежащих аресту и высылке за границу, нами арестовано:

а/ домашним арестом 11 человек, указанных в предыдущей сводке, и арестованный 24 августа ИЗГАРЫШЕВ — итого 12 человек.

б/ арестованы и содержатся во внутренней тюрьме 14 человек, указанных в предыдущей сводке, и арестованы 25 августа ПАЛЬЧИНСКИЙ и РОМОДАНОВСКИЙ — итого 16 человек.

в/ Не арестованных в Москве 6 человек.

г/ Находятся в других городах 10 человек.

д/ И освобожденные для выезда на свой счет указанные в предыдущей сводке 21 человек.

4. Из числа подлежащих высылке:

а/ освобожденных и отправляющихся за свой счет 33 человека, из них заполнены анкеты и сданы в ИНОГПУ документы 16-ти человек на получение паспортов — итого со сданными ранее 23.

б/ Как наиболее активные и серьезные анти-советские деятели высылаются под конвоем 6 человек.

5. Новых сведений о результатах операции по Петрограду и Украине не поступало. Украине сделано повторное предложение поспешить сообщением о результатах.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 4 ОТД. СОГПУ ЗАРАЙСКИЙ

25 августа 1922 года.

Верно *Езерская.*

Часть III

ДОКУМЕНТЫ, В СОЗДАНИИ КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ И. А. ИЛЬИН

<ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ>

При внимательном и беспристрастном анализе акт 31 августа 1924[1] оказывается юридически несостоятельным и никого не обязывающим, политически же вредным и чреватым величайшими опасностями для России.

А) Юридически.

I. Необходимо признать, что законы о престолонаследии НЕ благоприятствуют кандидатуре ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА и книга Зызыкина[2] толкует их ПРАВИЛЬНО. Аргументация в пользу его кандидатуры — груба, невежественна и, главное, НЕ объективна.

II. Однако и голоса ЗА его кандидатуру и голоса ПРОТИВ его кандидатуры ЮРИДИЧЕСКИ НЕ ВЕСЯТ; не весят даже личные мнения членов Династии. Юридически все это ЧАСТНЫЕ МНЕНИЯ, никого не связующие и ни для кого не обязательные. Если закон о престолонаследии неясен или

спорен, то он должен быть подвергнут ЮРИДИЧЕСКОМУ ТОЛКОВАНИЮ, а не частным кривотолкам. Для этого необходим юридически компетентный орган: законы в России толкует ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СЕНАТ. При нормальном положении дел было бы так: Царствующий Государь передал бы вопрос в Сенат и утвердил бы его толкование. Вел. кн. Кирилл — провозглашая САМ свои права — совершает акт произвола, и никакие признания со стороны других вел. кн. в этом ничего не изменяют.

Этот акт попирает одну из основ легитимизма: Престол не может быть приобретен актом произвольного истолкования закона со стороны одного из вел. князей; легитимизм требует не только законного наследника, но и законного восхождения на престол. Достаточно помыслить, что вел. кн. Дмитрий Павлович[3] истолковал бы закон в свою пользу и тоже провозгласил себя Императором; также поступили бы и другие члены Династии — и юридическая недопустимость этого порядка станет бесспорна.

Посему все сторонники вел. кн. Кирилла, считавшие себя доселе «легитимистами» (не симпатии, не аспирации), отныне легитимистами быть перестали.

III. Опубликовывая свой акт, вел. кн. Кирилл попрал одну из основных аксиом монархического правосознания, ибо выпустил его без контрассигнования. Аксиома гласит: «Король не может быть неправ; за всякий акт его отвечает контрассигновавший министр». Правы те, кто не признают его манифестом: это не манифест — ни по издавшему его субъекту, ни по форме. Это и не рескрипт. Это воззвание. За содержание этого воззвания отвечает политически не вел. кн., а те, кто склонили его к этому акту. Они вовлекли его в дело самозванства.

IV. Однако юридические затруднения идут глубже. Необходимо констатировать, что престол свободен. Напрасно сторонники в. к. Кирилла в своем воззвании указывают на то, что по Осн<овному> Зак<ону> «факт кончины предшествующего Императора удостоверяется старшим в порядке престолонаследия» и что поэтому вел. кн. вправе «удостоверить» кончину ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II. Эта аргументация покоится на предположении, что вел. кн. Кирилл есть таковой «старший в порядке престолонаследия». Но, как показано, таким старшим он признал себя произвольно. Посему это удостоверение не может быть произведено, пока компетентное истолкование закона не укажет «старшего».

Все это, оставляя в стороне эмпирическую неосновательность самого удостоверения. В 1922 г. были известны те же данные, но в<ел>. кн. не признавал их достаточными; также и

династическое совещание 22 года. А в воззвании сторонников в<ел>. кн. Кирилла написано буквально: «Ежели нет достаточных материальных доказательств факта кончины Дорогих нам всех Царственных Мучеников, то, в свою очередь, нет равно никаких материальных доказательств противного». Откуда же, при таком отсутствии данных, удостоверение. И откуда «обязанность удостоверить» (то же воззвание), если нет ни юридического права, ни эмпирических оснований. И можно ли советовать своему Государю ставить подпись — под таким удостоверением, заведомо для всех, и для самих удостоверяющих, недостоверном и при отсутствии всякого, сколько-нибудь свободного и оформленного расследования.

V. Но помимо всего этого есть сомнения, несравненно более глубокие. Государь НИКОЛАЙ II отрекся от престола свободно и добровольно; за себя и за сына. Как бы ни указывали на то, что все ему изменили и «советовали», он мог не принять «советов» и идти на Петербург усмирять непокорных (хотя бы с корпусом графа Келлера[4]). Он не делал борьбы и отрекся. Посему, при сохранении его драгоценной жизни, престол не был бы занят, и занять его он мог бы только по вторичном восшествии на престол.

Отказ в. к. Михаила[5] последовал также в условиях полной свободы. В<ел>. кн. Михаил с момента отречения Государя Николая II — практически занимал в течение короткого времени престол и отрекся, обусловив приятие престола решением Учредительного Собрания. Возникает вопрос: было ли это отречение за себя только или за всю Династию. Допустимо ли по Русским Основным Законам условное отречение Государя от Престола впредь до переизбрания. Чье переизбрание имелось в виду: Государя Михаила II. Но Государи лично в России не переизбираются, и это отречение нарушило Основные Законы. Или имелось в виду переизбрание Династии Романовых. Но тогда его необходимо осуществить.

Отсюда вывод: прежде, чем подвергать юридическому толкованию Закон о Престолонаследии, необходимо юридически истолковать оба отречения 1917 года. В связи с этим все разговоры о том «праздeн Российский Престол или нет» остаются столь же частными беседами, сколь и суждения о правах вел. кн. Кирилла. До компетентного юридического толкования — это все не весит.

VI. Если этот, единственно-законный путь к Престолу отвергнуть, то всякий иной путь окажется не легитимным. Безразлично — какой именно это будет путь: произвольного толкования, самопровозглашения, соглашения членов Династии друг с другом или же организованного отречения всех

членов Династии. Основные законы устанавливают не только порядок престолонаследия, но и порядок своего собственного истолкования и применения. Легитимизм обязывает не только признавать Наследника, но он обязывает признавать Наследником именно того, кто является им по закону, а не по самопровозглашению. Посему акт в<ел>. кн. Кирилла есть акт не легитимный, а революционный. И замечательно, что самый текст его акта умалчивает и об источниках его права, и о законности самопровозглашающегося порядка, а указывает на необходимость кормить голодающих в России.

Б) Не менее несостоятелен акт вел. кн. Кирилла и политически. И самый акт и дальнейшая деятельность его сторонников несут России унижение и злой вред.

I. Объявленная в условиях спорного права и непопулярной в лучших слоях кандидатуры, вне России и помимо ее, сколько-нибудь сложившегося народного воззрения и сочувствия, эта «монархия» оказывается не объединяющим началом, а разъединяющим; она творит не согласие, а разброд; объединения она и не ищет, ибо сторонники ее еще при объявлении «блюстительства» видели и знали, что кандидатура в<ел>. кн. Кирилла не может образовать национального центра и не создаст его. Именно поэтому они и торопились с провозглашением «монархии», желая восполнить страхом и легитимистическою видимостью то, что не слагалось в свободной любви и доверии.

Посему эта монархия сознательно несет с собою разъединение и утверждает себя на почве не гражданского примирения, а гражданской войны и распада.

II. Объявленная за границей, без территории, без военной силы, без организационной власти, без народа — она является беспочвенной и бессильной; это пустая видимость, злоупотребление словом и формой. И самый «манифест» вел. кн. Кирилла написан не для Европы, а только для русских людей; и в письме своем к вел. кн. Николаю Николаевичу — вел. кн. Андрей Владимирович[6] указывает на то, что сила этого акта одинаково обязательна как <для> Императорского Дома, так и «для всех монархистов». Самим вождям «движения» предносится не Монархия — а дело заграничной партии, котерии, объединившейся для агитации и борьбы за престол.

«Монархия» эта вынуждена влачить свои дни за границей, не повелевая, а прося, не царствуя, а суетясь, не карая, а бранясь, не принуждая, а торгуясь. Это безвластие и бессилие, обреченное на унижение, на нищебродство и попрошайничество. Русские республиканцы, русские монархисты другой

ориентации — суть для нее не подданные, а «другие партии». Эта монархия, не могущая издать ни одного закона, не могущая даже оградить своего «Монарха» от неуважения или личного оскорбления.

Посему все это дело является организационным унижением для России, для русских монархистов. Естественно, что она и теперь уже делает дело врагов России.

III. Все это течение вынуждено торопиться и угрожает, особенно вследствие личной непопулярности в<ел>. кн. Кирилла. Ныне являются установленным (записки Ден<икина>), что великий князь Кирилл 2 марта 1917 года собственным распоряжением снял охрану подчиненного ему Гвардейского Экипажа и увел его из Дворца, оставив Государыню, Наследника и Великих Княжон без охраны. Это нарушение присяги и долга чести, широко известное русским людям, ведет и поведет к тому, что люди верности и чести не пойдут на борьбу за вел. кн. Создалось уже объединение не лучших, а худших: к нему идут беспринципные честолюбцы, карьеристы, авантюристы, люди, безразличные к идее, к чести, развращенные революцией и болеющие тщеславием.

Если так пойдет и дальше, то Россию ждет монархия бесчестия и авантюризма, правление худших, имеющее подорвать самую идею монархии и подготовить новые революционные волнения.

IV. При таком положении заранее ясны пути и споры, имеющие определить собою будущее такой монархии.

Не имея никаких перспектив для переворота (отсутствие популярности, военной силы, организационного умения, денег, такта, гения) — группе в. к. Кирилла остается рассчитывать только на соглашение с коммунистами, конечно не со всеми, а с наиболее буржуазными, продажными и дальновидными группами (Красин, Троцкий). Условия можно определить заранее: амнистия предателям, перекраска прощенных, образование нового правящего слоя из беспринципных авантюристов монархии и беспринципных авантюристов революции. Один кирилловец, разъясняя прямо эту возможность, указывает в интимной беседе, что неизбежным последствием такого соглашения будет «поголовное истребление» всех недовольных этой комбинацией» — как монархистов, так и республиканцев и социалистов. Характерно то, что он говорил это не в виде угрозы, а со вздохом сочувствия к обреченным, прямо признавая, что неизбежно погибнет множество благородных людей, и советуя иметь «заручку» среди кирилловцев.

При наличности сильной воли к власти (если она есть) — группе этих деятелей другого пути, кроме соглашения, не будет.

V. Бессилие и беспочвенность этой закордонной монархии — неизбежно поведет ее к соглашению с другими, враждебными подлинной России силами: масонством и католицизмом.

Масонство пойдет на всякую монархию в Россию, которая обеспечит ему власть, влияние и окружение. Не говоря о левом масонстве, которое может выступить посредником между коммунистами и кириллистами, надо признать, что русское т<ак> наз<ываемое> правое или т<ак> наз<ываемое> национальное масонство ищет прежде всего власти для себя и относится весьма скептически к Парижскому объединению. Несколько месяцев тому назад один франко-швейцарский масон, перечисляя антураж в. к. Виктории[7], прямо указывал на то, до какой степени она окружена влияющими на нее масонами (Grand Orient[8]).

С другой стороны, соглашение с Ватиканом, по-видимому, уже состоялось.

Перспектива масонской монархии, попускающей униатству, намечается ныне довольно определительно.

VI. При таком положении дела нет сомнения, что окружающие в<еликого> к<нязя> Кирилла мечтают о навязанной, насильственной, революцию-приявшей монархии, которая поведет не национальную, а классовую политику. Такая политика надолго еще может сделать Россию жертвою интернациональных влияний и повергать ее в национальное безволие.

Все это готовится группами, окружающими в<еликого> кн<язя> Кирилла едва ли не с полным сознанием. И нужно надеяться на то, что вся эта затея будет столь же которически[9] несостоятельна, сколь политически эфемерно ее влияние.

РЕЗОЛЮЦИИ БЕЛОГО СЪЕЗДА

(Подлинный текст некоторых резолюций, принятых на Съезде Белых Организаций, имевшем место в Румынии в августе—сентябре 1938 г.)
(Все резолюции о мерах борьбы опущены по понятным причинам.)

1. О БЛАГЕ РОССИИ

Съезд признает, что каждый русский человек, любящий Россию и верный ей, должен руководиться в своих политических суждениях и поступках только благом национальной России, не подменяя его никакими иными интересами, будь то русскими партийными, будь то интересами иных держав или каких-либо явных или тайных международных организаций. Члены Съезда обязуются судить обо всем по совести, имея в виду только благо России.

2. ОБ ОБЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Советский строй в России вступил в период острого кризиса. Хозяйственная противоестественность коммунизма и бессмысленное инвестирование советского капитала привели страну в экономический тупик. Народ воздерживается от здорового участия в труде. Правящий кадр чиновников сверху донизу не удовлетворяет требованиям опыта, знания и добросовестности. Затея коммунистов все предвидеть и всем управлять была с самого начала безнадежной и останется таковой до конца. Ни потогонная система (стахановщина), ни террор, ни мелкие уступки, заманивающие хозяев, не помогут. Все это завершается кризисом в партии и кризисом в армии.

Отсрочить окончательное крушение коммунизма могла бы только новая мировая война и новые, имеющие возникнуть из нее вспышки мирового большевизма. Сталин знает это и добивается этой отсрочки любой ценой. Партийные расстрелы были вначале расправой над утомленными партийцами, потерявшими веру в сталинский максимализм и пытающимися начать «спуск под гору». Эти расстрелы усилили деятельность заговорщиков. Преследования родили манию преследования. Кровь вызывает жажду мести. Коммунисты, подобно паукам в банке, приступили ко взаимному пожиранию. Здесь не исключено и участие иностранных денег, своекорыстно вливающихся в ГПУ. Это усиление террора захватывает не одних коммунистов, но всю страну. Страдают и гибнут невинные, мученически уходит из жизни наше духовенство, мужественно идут на расстрел наши белые братья. Бессмыслие коммунизма запутывается в бессмыслии террора. Этот страх вскоре породит мужество отчаяния, и крушение может начаться с недели на неделю. Страх имеет свой предел, после которого паника охватывает самих террористов. Тогда русский народ приступит к ликвидации коммунизма и к самоосвобождению. К этому часу мы должны быть готовы. Он может наступить без внешней войны и не вследствие нее. Это есть наиболее желательный для России исход, ибо на внешнюю войну слабые соседи России не решатся, а сильные соседи, напав на ослабленную страну, непременно попытаются завоевать и расчленить ее. Красная же армия после последних казней и реформ отнюдь не окрепла, но ослабела и сможет бороться с внешним врагом только ценою стратегического отступления и сдачи больших пространств.

Итак: национальная Россия заинтересована отнюдь не в «интервенции», но в быстром назревании внутреннего переворота и самостоятельного внутреннего восстания. А в дальней-

шем ее может спасти только национальная диктатура, не опирающаяся ни на какие иностранные штыки.

3. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ И ВОПРОС О ВОЙНЕ

Европейская политика оставалась в течение 20 лет близорукою и ошибочною. Люди боялись ближайших врагов и не понимали великой мировой опасности. Американцы, англичане и французы, изобретя вредный и несправедливый версальский мир, предались бесконечности и просмотрели главное: заразу большевизма, вырождение демократического строя и зарождение новой воинственности в диктаториальных странах. В результате всего этого назревает новая, чудовищная война, к которой все лихорадочно готовятся и которой все боятся. Никто не готов к ней, никто не знает технических и дипломатических сюрпризов своего врага, и все предчувствуют, что в этой войне не будет победителей, а будет всеобщее разрушение, разложение и кровавая революционная бойня. Всякая держава, вступившая в эту войну, рискует рухнуть от нее внутренно, или экономически, или политически, или психологически. От революционной бойни не уйдет никто. Никакая политическая полиция не сумеет предотвратить ее. Никакие линии Мажино не спасут от нее. Этой войны может хотеть только Сталин. Только ему она будет выгодной. А он предаст в ней всех своих мнимых европейских союзников.

Эта война станет неизбежной, как только какая-нибудь держава решится на интервенцию в России или на вторжение в нее. Ждать спасения России от такой интервенции безнадежно и нелепо. Если весь мир закипит большевизмом, то исполнится давнее вожделение III Интернационала, и большевизм в России не сокрушится, а затянется. В интересах национальной России не мировая война, а вооруженное мировое равновесие, в котором ни одна держава не позволит другой напасть на Россию, завоевать ее или расчленить. Спасать Россию от большевизма посредством иностранного завоевания ее есть мысль нелепая, упадочная, противонациональная и предательская.

4. О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Русская эмиграция в общем и целом выполняет свою мировую задачу: всюду и везде оставаться живым напоминанием миру о мировой опасности безбожия и большевизма. В особенности заслуживает признания созданная русской эмиграцией противосоветская обличительная литература.

В активной борьбе с советской властью русская эмиграция выдвинула целый ряд героев, бесстрашно шедших на смерть и

находивших ее. Их имена останутся в истории России незабвенными. Но сколько-нибудь заметных успехов внутри России русская эмиграция не добилась. Главные причины этого: заговорческая неумелость, увлечение активистской фразой, недооценка сил и техники врага, неумение узнавать внутренних провокаторов, партийное дробление, недостаток финансовой поддержки, предательство иностранных полиции и разведок.

За последние годы в широких кругах русской эмиграции наблюдается, к сожалению, упадок духа, уход в иностранный быт, неверие в самостоятельные силы русского народа, партийная грызня и интрига, неумение разбираться в качестве и нравственном уровне людей, выступление целого ряда авантюристов, выдающих себя и принимаемых другими «за» вождей, вредоносная и бессмысленная вера в иностранных «спасителей» и интервенционистов, снижение воли и идейного горения.

В частности, необходимо отметить совершенно ребячливую доверчивость, которой предаются широкие круги русской эмиграции. Достаточно какому-нибудь иностранному правительству провозгласить себя противобольшевистским, и русские эмигранты начинают слепо доверять его якобы благим намерениям и видеть в нем «друга» и грядущего избавителя России, тогда как на самом деле этот противо-большевизм есть не что иное, как политическая дымовая завеса, необходимая для подготовки похода на Россию, ее завоевания и расчленения. Точно так же достаточно какому-нибудь приезжему из советской России невозвращенцу или беглецу (Федорову-Якушеву, Дмитриевскому, Беседовскому, Бальяну, Солоневичу) объявить себя врагом большевизма-коммунизма и поярче, поразвязнее расписать себя в порядке саморекламы, наболтать о своих сведениях и планах, и уже русские эмигранты готовы видеть в нем храбреца, героя, светлого деятеля и чуть ли не вождя.

Если весь вышеописанный процесс распада будет продолжаться и углубляться, то русская эмиграция как политическая сила рискует сойти на нет в течение ближайших лет. Она должна помнить, что в мире имеется русский национальный и политический центр, раз навсегда укрытый от большевиков и внимательно следящий за всеми процессами в эмиграции. Честные и годные отбираются уже теперь. Авантюристов и предателей ждет судьба, которая будет их достойна.

В особенности русская политическая эмиграция должна побороть в себе большое честолюбие, от которого люди лезут в «вожди», не имея к тому ни малейших данных, и склонность играть в контрразведку, которая ведет неопытных и неумелых людей в объятия ГПУ и иностранной полиции. Постыдно видеть, как русские люди доносят друг на друга иностранцам.

Постыдно видеть, как русские зарубежные организации стараются разложить или подчинить друг друга посредством взаимного «тайно-политического» сыска и интригования. Русские белые организации должны победить в себе эту склонность, иначе их ждет полное разложение.

5. ОБ УКРАЙНЕ

Украйна признается наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания. Украинский сепаратизм есть явление искусственное, лишенное реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги. Малороссы суть ветвь единого, славяно-российского народа. Эта ветвь не имеет причин враждовать с другими ветвями того же народа и отделяться в отдельное государство. Отделившись, это государство предает само себя на завоевание и разграбление иностранцам. Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой. Иностранцы, подготовляющие расчленение, должны помнить, что они объявляют этим всей России вековую борьбу. Не будет мира и хозяйственного расцвета на востоке при таком расчленении. Россия превратится в источник гражданских и международных войн на века. Расчленяющая держава станет ненавистнейшим из врагов национальной России. В борьбе с нею будут пущены в ход все союзы и всякие средства. Россия переложит свой центр на Урал, соберет все свои огромные силы, разовьет свою технику, найдет себе могучих союзников и будет бороться до тех пор, пока не подорвет в конец и навсегда мощь расчленяющей державы. Национальная Россия не ищет ничьей погибели, но она сумеет ответить своевременно на всякую попытку расчленения и будет бороться до конца. Всякой державе выгодней иметь Россию другом, а не врагом. История еще не сказала своего последнего слова.

6. О ДИНАСТИЧЕСКОМ ВОПРОСЕ

300-летнее царствование дома Романовых навсегда вписано славою в историю России и никогда не исчезнет из нашего сердца. Мученическая кончина Императора Николая II и его семьи всегда пребудет днем национального траура. В каждом отпрыске Дома Романовых мы чтим наше великое прошлое.

Но это прошлое должно повести нас в славное будущее. В противном случае историческая роль его окажется законченной. Династия призвана не только блюсти русское национальное достоинство, но и служить активно всероссийскому

национальному интересу, выдвигая обязанности своего служения, а не преждевременное провозглашение своих прав на трон со стороны зарубежных партий, среди которых имеется даже одна советская. Не народ существует для династии, а династия для народа. Спасти Россию может только человек воли и мудрости, человек больших решений, великой храбрости и политического умения. Мы будем счастливы, если такой человек выдвинется из династии Романовых. Но если этого не случится, то мы будем помогать всякому русскому человеку, который мужественно поведет Россию к спасению от большевизма и от иностранного вторжения.

7. О ЦЕРКОВНОМ РАСКОЛЕ

Мы понимаем значение православия в истории России и в силу одного этого горько оплакиваем церковный раскол в зарубежной церкви. Однако здесь нет расхождения в догматах, в вероучении и обрядах. Ссылка обеих сторон на церковные каноны мало убедительна, ибо ни одна сторона не соблюдает канонов в их полном составе, но каждая ссылается на них лишь в меру соответствия их своим воззрениям и толкованиям. В основе раскола лежит, с одной стороны, состязание отдельных иерархов о церковной власти и чести, с другой стороны, влияние укрывающихся за иерархами зарубежных политических группировок. Ввиду этого мы, оплакивая раскол, не признаем его существенным в пределах Православия и отказываемся признавать правоту какой-либо одной стороны. Но мы уверены в том, что чем сильнее будет влияние политических партий на какой-либо стороне, тем более умалится ее церковный авторитет и тем более вреда эта сторона принесет православной церкви, ее мировому значению и возрождению России.

Мы констатируем с чувством глубокого удовлетворения, что Собор в Сремских Карловцах нашел в себе духовную силу для того, чтобы противостоять всяческому партийному политиканству и найти пути для вящего углубления церковной работы.

8. О «ТОТАЛИТАРНОМ» ГОСУДАРСТВЕ

«Тоталитарное», т. е. всевластное государство есть явление противохристианское и в России неприменимое. Оно не преодолевает партийности, но доводит ее до высшей степени, создавая в стране политическую, религиозную, хозяйственную и культурную монополию одной партии. От партийной монополии Россия стонет вот уже 20 лет. Бессмысленно и недопустимо искать ее спасения в такой же монополии со стороны другой партии. Россия будет нуждаться в освобождении творческой инициативы народа, а не в новом обратном зажиме.

Мы должны искать нового устройства, которое устроило бы партийный дух и партийное засилие, а не раздувало бы их до порабощения веры, творчества, личности, частной собственности и племенного своеобразия. Мы признаем право иных народов искать спасения в фашизме и предоставляем истории решить вопрос о том, найдут ли они в нем свое спасение. Но мы протестуем всеми силами против попытки навязать этот рецепт спасения национальной России.

Поэтому т<ак> наз<ываемый> «русский фашизм», не имеющий ничего общего с организациями, созданными Муссолини и Франко, есть течение больное. Это новый вид слепого подражания Западу. Это есть проявление творческого бессилия в эмиграции. Мало того: когда это течение соединяется с беспринципным личным честолюбием, тогда оно стремится захватить власть в эмиграции при помощи иноземной политической полиции и пропаганды, а впоследствии захватить власть в России при помощи иностранных штыков. Пусть иностранные державы сами блюдут свои интересы, как умеют и хотят. Но русские национальные круги должны оградить себя от влияния таких господ.

9. О РУССКОМ ОБЩЕ-ВОИНСКОМ СОЮЗЕ

Русский Обще-Воинский Союз есть драгоценное достояние России и ее национальной эмиграции. Мы должны всячески поддерживать его дух и крепость. Его неудачи суть наши общие неудачи, его ошибки суть наши общие ошибки, его враги суть наши общие враги. Иностранные правительства, ограничивающие его самостоятельность и деятельность, вредят самой России.

Поэтому мы осуждаем все и всяческие попытки расколоть этот Союз, или разложить его, или вовлечь его в партийную борьбу, или повести в нем внутреннюю интригу, или завести в нем тайную полицию, или сманить его членов в другие недружественные организации, или вовлечь его в т<ак> наз<ываемые> «фашистские» группировки, или подчинить его указаниям иностранной тайной полиции, или перестроить его в какие-то нелепые и политически-двусмысленные «штабс-капитанские» ячейки, или подчинить его закулисным, то масонским, то антисемитическим влияниям. Все это затеи внутриэмигрантского честолюбия или же иноземного порабощения. Все это противоречит русскому национальному интересу.

Русский Обще-Воинский Союз призван сам осознать свои промахи, ошибки и недостатки и исправить их. Резолюция по этому вопросу не подлежит опубликованию.

10. О НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМ СОЮЗЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

При оценке этого союза мы должны различать, с одной стороны, общий дух и личный состав его членов, с другой стороны тактику этого союза, его программу и его газету. Общий дух этого союза есть национальный и белый. В личном составе его имеется драгоценный запас людей с благородной волей, чистым сердцем и государственным будущим. Но тактика этого союза во многом ошибочна: деление эмиграции на поколения несостоятельно и вредно. Фразеология активизма создает самообман и нарушает элементарные правила конспирации, борьба с Русским Обще-Воинским Союзом, протекавшая на личной почве, вредила русскому национальному делу. От нее надо было во что бы то ни стало воздержаться. Программа союза отвертывается от исторического прошлого России и не считается с ним, в ней есть немало наивного и противоречивого. Идеология союза удовлетворяется общими фразами и лишена религиозной основы. Газетная полемика союза часто обидчива и несправедлива.

Союз призван сам осознать свои промахи, ошибки и недостатки и исправить их. Мы обязаны открыто высказать ему правду.

11. О КРАЙНИХ ПРАВЫХ ТЕЧЕНИЯХ

Крайние правые течения в эмиграции на протяжении 20 лет революции оставались верны себе и своим приемам борьбы. Вся идеология их сводилась к поношению «жида» и «масона», и притом во имя реабилитации своего собственного прошлого и ради захвата власти. Своей вины они не понимают и к творчеству они не способны. Их программа исчерпывается требованием «царя», способного беззаветно подчиниться их партийному влиянию. Их тактика сводится к партийной грызне и к оклеветанию лиц, с ними несогласных. Разложение Русского Обще-Воинского Союза было с самого начала их излюбленной целью. Ныне в одной из тоталитарных держав сложилась даже такая группа крайних правых, которая пытается сделать ставку на вооруженную интервенцию в России и на водворение в России оккупационного режима. Ее главари поносят русскую интеллигенцию и засыпают ее политическими доносами по месту жительства. Они требуют, чтобы русская интеллигенция в будущем была добита или подчинена иностранной оккупационной власти. Их подчиненность иностранной политической полиции установлена окончательно. Их попытка использовать Православную Церковь для благо-

словения интервенции и оккупации ясна каждому. Режим, который они создали бы в России, был бы новым большевизмом навыворот. Монархическое начало в России было бы непоправимо скомпрометировано ими. Русское Национальное движение было бы ими извращено и направлено в сторону племенных погромов. Их успех принес бы России неисчислимые беды. Вторая советская партия («младороссы») является истинным порождением этого духа.

Нет надежды на то, что они передумают и исправятся.

12. ОБ ЭМИГРАНТСКОЙ ПРЕССЕ

Необходимо признать, что эмигрантская пресса, выходящая на русском языке, переживает за последние годы период духовного упадка. Целый ряд газет обслуживает не русское национальное дело, а совсем иные интересы. Так, две большие ежедневные газеты усвоили точку зрения германского национал-социализма. Одна еженедельная газета, совершенно беспринципная и безыдейная, развязно меняла свои задачи и оценки каждые три-четыре месяца, высказывая тем самое неприкрытое презрение к своим, ничего не замечающим, демагогически оплетаемым читателям. Чисто партийные ежемесячные газеты по большей части бледны и бессодержательны.

Живые слова можно найти только: в «Галлиполийском Вестнике», в «Мече» (Варшава), в «России» (Нью-Йорк), в «Новом Пути» (Женева) и в «Православной Руси» (Чехословакия).

13. ПО ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ

Страстное участие евреев в русской революции не поддается сомнению и никем не оспаривается. Широкие кадры революционного еврейства, действуя в союзе с левыми масонскими ложами, считали и считают большевистскую революцию «своей конъюнктурой» и потому поддерживают коммунизм в России всеми силами. Несправедливо было бы, однако, приписывать всему русскому еврейству такое отношение к большевизму. Множество евреев потеряло в революции свое состояние. Целые ряды евреев и полуевреев боролись против коммунистической революции и геройски шли на смерть. Евреи в России делятся на угнетающих партийцев и подавляемый пролетариат. Синагоги закрываются, раввины ссылаются. За рубежом мы знаем не только левое революционное иудейство, но и Союз Отечественных Евреев.

Ввиду этого мы должны признать, что антисемиты не заботятся о правде и ведут демагогическую агитацию. Их попытки переключить нашу борьбу с большевизма-коммунизма на

иудейство продиктованы тайной целью: создать дымовую завесу лжи и ослепленной ненависти, за которою антисемиты могли бы успешно осуществлять свои планы партийного захвата власти в России или империалистического вторжения в Россию. Антисемиты стремятся не к освобождению русского народа от еврейства, а к покорению доверившихся их пропаганде масс. Поэтому антисемитизм несет не свободу, а новое рабство.

Борьба с революционным еврейством необходима, гнет его в России губителен и нестерпим. Но этот гнет, организуемый коммунистами всех наций и рас, не дает нам ни малейшего основания желать замены его новым гнетом — гнетом русских авантюристов-антисемитов, желающих заменить коммунистов у руля, и гнетом оккупационных сил, желающих вовлечь измученный русский народ в бесконечную, как в Китае, гражданскую войну, субсидируемую из-за границы.

Еврейский вопрос в России должен быть разрешен не антисемитскими погромами, а новой, сильной и самостоятельной властью, мыслящей христиански, национально и государственно.

14. ПО МАСОНСКОМУ ВОПРОСУ

Съезд удовлетворяет на основании несомнительных данных, что в составе его не было ни одного масона и ни одного члена, так или иначе принадлежащего к прикровенно масонским или полумасонским организациям.

Рассылая эти резолюции, Съезд разрешает всем печатать или перепечатывать их. Учитывая, однако, дурные нравы некоторых зарубежных газет, Съезд объявляет, что всякое неполное воспроизведение вышеизложенных резолюций исказит их смысл. Поэтому он заранее снимает с себя всякую ответственность за неполное или искаженное воспроизведение их.

В этом оригинале шесть страниц и триста тридцать пять строк машинописи.

ПРЕЗИДИУМ Съезда Русских Белых Организаций
Румыния, август—сентябрь 1938 года.

КОММЕНТАРИИ

Этот том адресован прежде всего читателю подготовленному, вдумчиво изучившему творения И А Ильина, опубликованные в предыдущих томах Собрания его сочинений, хорошо знающему жизненный путь философа и способному в контексте времени разобраться в сложнейших проблемах, рассматриваемых в настоящей книге Здесь собраны публицистические работы Ильина 1906—1954 годов — рецензии, статьи, выступления, воззвания, которые объединены тематически в отдельные разделы, где они помещены в хронологическом порядке Названия разделов даны нами В комментариях мы опускаем, за редким исключением, те персоналии, о которых рассказывалось в предыдущих томах, и заранее отсылаем читателя к указателям имен в 9– 10 томах и в томах писем

Читатель будет приятно удивлен тем, что рецензии на книги — чаще всего забытые и ушедшие со своим временем и своими проблемами — читать крайне интересно Прежде всего потому, что они написаны Ильиным кратко, строго и поучительно В них философ как бы определяет некий критерий оценки *критической литературы* и *критического жанра*, напрочь отсутствующего в наше время Любопытны его оценки таких известных писателей и публицистов, как Н А Бердяев, С Н Булгаков, В И Ленин и других, в чьих довольно ранних работах он усматривает те *слабости*, которые им не удастся преодолеть и в дальнейшем, что говорит о прозорливости Ильина Более того, в его критических обзорах известных учении — анархизма, индивидуализма, социализма и т п (а внимание к ним совершенно подорвано сегодня из-за навязчивои пропаганды и тех клише, без которых они никогда не упоминаются) мы видим много такого, что было вольно или невольно опущено и обойдено предыдущеи критикой как в смысле соблазна этих идей, так и в оценке опасностеи этих учений

Определенный интерес, конечно, вызовут статьи мыслителя о фашизме и национал-социализме Во-первых, потому, что они были написаны в самом начале зарождения и развития этих явлении уходящего века, а сам Ильин был свидетелем и непосредственным очевидцем событии происходящих в Италии (1924—1926) и в Германии (1933 1938) где он жил или бывал в эти годы Во-вторых, потому, что он не умалчивает о *положительных* чертах этих явлении, позволивших им окрепнуть и получить поддержку в этих странах, о чем сеичас не принято говорить В-третьих краине важно сравнить, как уже в 1928 г изменились взгляды философа на фашизм («О русском фашизме» Русскии Колокол № 3 Берлин, 1928 - С 54—64), который он определяет как *«видовое* понятие» более широкого *«родового* понятия» – «белого движения», появившегося в России

в 1917 году, а затем проявившегося во всем мире как реакция на организованный революционный беспорядок — коммунистический социалистический или либеральный, все равно какой «В мире развелась пишет Ильин, — бездна безбожия, бесчестия и свирепой жадности Современное человечество отзывается на это возрождением рыцарственного начала» Ильин определяет, в частности, итальянский фашизм как *«спасительный эксцесс патриотического произвола»* «И в этом, — продолжает он, — сразу заложено — и его обоснование и его опасности» «Белое движение *шире* фашизма потому, что оно может возникать и исторически возникло по совершенно другим поводам и протекало в совершенно иных формах, чем фашизм Оно *глубже* фашизма потому, что именно в фашизме совсем не проявляется или недостаточно действует глубочайший, *религиозный* мотив движения»

Что касается национал-социализма, то уже в следующем после написания статьи «Национал-социализм *Новый дух*» году (1934) Ильин был уволен из Русского научного института в Берлине за отказ следовать установкам официальной германской пропаганды и идеологии и в 1938 году фактически бежал в Швейцарию от преследований нацистской власти В 1939 году он опубликовал в варшавской газете «Меч» статью «Враг моего врага», в которой писал «В русском зарубежье незаметно сложился и воцарился несостоятельный и вредный предрассудок, будто *враг моего врага — есть мой естественный друг и союзник*» Ильин дает четкий ответ «Враг моего врага может быть не другом мне а врагом» и этим врагом являлся Гитлер (см «Наши задачи», бюллетень № 15) В следующих бюллетенях № 16—17 «Стратегические ошибки Гитлера» философ приводит 12 крупнейших ошибок вождя третьего рейха, сводящего на нет пафос подзаголовка его статьи о национал-социализме

Не менее интересны аргументы Ильина против движения *евразийцев*, получившего прямо-таки магическое возрождение в современной России

Неприятие философом движения *младороссов* и их проталкивания «кирилловичей» как единственно законных преемников дома Романовых и наследников престола имеет продолжение в дискуссиях и коллизиях монархических и властных кругов нашего времени

Статьи «Они нас обличают» и «Католик о православии», написанные под псевдонимами «Ослябя» и «Пересвет», проливают свет на современную конфронтацию католичества и православия в России, которая началась еще в 20-е совдеповские годы, когда едва не произошел конкордат между папским престолом и большевистской властью в борьбе с Православной церковью в нашей стране

В отдельную рубрику собраны статьи Ильина о выдающихся личностях В этот раздел включена также пропущенная в предыдущих томах по техническим причинам лекция о нашем великом национальном поэте «Пушкин как человек и характер»

В рубрику о большевизме и социализме вошли пропущенные ранее по указанным выше обстоятельствам лекции о мученичестве церкви, об экспро-

приации частной собственности и русский вариант брошюры «Яд большевизма» Вместе с тем впервые публикуется лекция «Крушение социализма»

Документы, помещенные в Приложении к настоящему тому, вскрывают и подчеркивают глубину и драматизм всех поднятых Ильиным проблем

О КНИГАХ И УЧЕНИЯХ

Р у д о л ь ф Ш т а м м л е р **Хозяйство и право...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Критическое обозрение» (М , 1907 — Вып IV — С 56—61)

Печатается по указанному источнику

[1] *Штаммлер* Рудольф (1856 — 1938) — немецкий теоретик права, сторонник марбургской школы неокантианства, был близок к кателер-социализму Утверждал первичность права по отношению к экономике и государству

Ф и х т е. **Назначение человека...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Критическое обозрение» (М , 1907 — Вып V — С 25—29) В ней имеется следующая сноска «Редакция считает возможным, в виде исключения, поместить отзыв о названных выше двух книгах, вышедших в 1906 г , полагая, что следует обратить внимание русских читателей на эти единственно имеющиеся на русском языке произведения великого мыслителя, тем более что эти творения нуждаются в специальной характеристике — ввиду их особого положения в системе философа»

Печатается по указанному источнику

[1] *Маймон* (наст фам Хейман Соломон) (1753 или 1754 — 1800) — философ-самоучка, субъективный идеалист Родился в местечке Мирц (ныне территория Белоруссии), будучи воспитанным в духе иудаизма, стал поклонником философии еврейского средневекового философа, теолога и врача Маймонида, в связи с чем изменил свою фамилию Критиковал философию Канта с позиций субъективного идеализма и явился в этом отношении предшественником Фихте

Б е р д я е в Н и к о л а й **Новое религиозное сознание...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1908 — № 1 — 1 июня — С 42—46 Раздел XII Социология)

Печатается по указанному источнику

[1] ibidem (ib , ibid) (*лат*) — там же

[2] Хилиазм (χιλιασμός — тысячелетие) — учение о наступлении земного *тысячелетнего* царства Христова

[3] Обычно Бердяев употреблял слово «показывается», ссылаясь на богословие В этом есть некоторый смысл, что не противоречит и дальнейшей философии Ильина, считавшего, что истина должна быть «доведена до очевидности» («Путь к очевидности»), другими словами,

истина должна быть рано или поздно очевидной, то есть быть показанной или видимой (не темной и замутненной) Но для этого нужно пройти весьма непростой путь и научного, и рационального, и мистического, и другого опыта, чтобы философ, обладая «теоретическою совестью», мог истину не только доказать, но и показать У Бердяева эта предварительная работа напрочь отсутствовала, и его «показательства» вроде «Бог не властен над Свободой» были афористичны, но соблазнительны и темны, как бемовский Ungrund (пропасть), который он (Бердяев) так любил

[4] *Антонии Падуанскии* (1195 — 1231) — святой католической церкви Прекрасно знал Священное Писание, за что папа Григории IX именовал его Archa Testamenti (муза Завета), был глубоко богословски начитанным и прославился своим проповедническим талантом Его проповеди — это искусно аранжированные богословские опыты, суровые обличения пороков клира и миряк, угрозы Божьим судом и призыв к общему покаянию

[5] Здесь уместно сделать следующее методологическое замечание по самому выражению «социализм как религия», часто встречающемуся в философской литературе и публицистике *Религия* по своему определению (лат religio — связь) предполагает *связь с трансцендентным*, другими словами, *премирным* Те установки, к которым относятся в частности, социализм, коммунизм, материализм и т п , принципиально отвергают трансцендентное, или премирное, и поэтому не могут быть сравнимы с какой-либо *религиеи*, не говоря о христианстве, с которым постоянно и ошибочно сравнивают социализм и коммунизм

[6] *Солипсизм* (от лат solus — единственный и ipse — сам) — крайняя форма субъективного идеализма, в которой несомненной реальностью признается только мыслящий субъект, а все остальное объявляется существующим лишь в сознании индивида

Булгаков С Н **Карл Маркс как...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1908 — № 1(6) — 1 июня — С 46 Раздел XII Социология)

Печатается по указанному источнику

[1] *Ноумен* (от греч νοούμενον — постигаемое) — термин, широко распространенный в философии средневековья и нового времени, обозначающий, в противоположность *феномену*, умопостигаемое У Канта — синоним понятия «вещь в себе»

М Штирнер **Единственный...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Критическое обозрение» (М , 1907 — Вып IV — С 56—61)

Печатается по указанному источнику

[1] *Маккей* (Mackay) Джон Генри (1864 — 1933) — по происхождению шотландец Вырос и получил образование в Германии в университ-

тетах Киля, Лейпцига и Берлина Писатель, поэт (принадлежал к авангардной группе берлинских писателей), публикатор трудов Штирнера, автор его биографии «Макс Штирнер его жизнь и его труды», впервые опубликованной в 1897 году

[2] *Яковенко* Борис Валентинович (1884 — 1949) — философ, историк философии, издатель и переводчик

Ш е л л и н г **Философия исследования**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Критическое обозрение» (М , 1908 — Вып VI(XI) — С 27—30)

Печатается по указанному источнику

[1] *Ich (нем)* — я

[2] *Philosophie und Religion (нем)* — философия и религия

С т о л и ц а З **Очерки по философии...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1908 — № 3(8) — 1 дек — С 109 Раздел I Общая теория права)

Печатается по указанному источнику

[1] *Дузе* Элеонора (1858 — 1924) — итальянская актриса Выступала с огромным успехом во многих странах мира, в том числе и в России

[2] *Бернар* Сара (1844 — 1923) — французская актриса, выступала вначале в «Комеди Франсез», а после в «Театре Сары Бернар» (Париж)

Ц о к к о л и Г е к т о р, проф **Анархизм**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1908 — № 3(8) — 1 дек — С 130 Раздел XII Социология)

Печатается по указанному источнику

[1] *Жирар* — не установлен

[2] *Сорен* — не установлен

[3] *Моста* — не установлен

[4] *Альбер* Эжен д' (1864 — 1932) — немецкий композитор, пианист-виртуоз, ученик Ф Листа

[5] *Морис* Шарль (1861 — 1919) — французский поэт, прозаик, критик, представитель позднего символизма

[6] *Годвин* Уильям (1756 — 1836) — английский писатель, анархист, в трактате «Рассуждение о политической справедливости» (1793) выдвинул утопический проект построения общества независимых работников, продукты труда которых распределяются между всеми по потребностям Оказал влияние на Р Оуэна

Очерки по философии марксизма...

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1908 — № 3(8) — 1 дек — С 130—134 Раздел XII Социология)

Печатается по указанному источнику

[1] *Богданов* (Малиновский) Александр Александрович (1873 — 1928) — деятель российского революционного движения, врач, философ, писатель, экономист Имел огромный авторитет в партии, вместе с Красиным руководил акциями экспроприации денег для партии После увлечения махизмом подвергся резкой критике Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм», главной целью которой было не установление истины, а ниспровержение авторитета Богданова, что Ленину удалось сделать

[2] *Суворов* С А (1869 — 1918) — социал-демократ, литератор и статистик Вначале был народовольцем, потом стал социал-демократом и большевиком После первой революции 1905 г примкнул к группе махистов, написал статью «Основания социальной философии» (1908) и подвергся резкой критике Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм» С 1910 г отошел от партии и работал статистиком Погиб во время Ярославского восстания 1918 г

[3] *Интроекция* (от лат intro — внутрь и (in) iectio — вбрасывание) — введенное Авенариусом понятие о недопустимом, с его точки зрения «вкладывании» чего бы то ни было воспринимаемого в сознание индивида, а равно чего бы то ни было *идеального* в познающее мышление субъекта

[4] *Субститут* (от лат substitutus — подставленный) — лицо, замещающее другое лицо

[5] *«Kritik der reinen Erfahrung»* (*нем*) — «Критика чистого опыта» Груд Р Авенариуса в двух томах (1888) Русский перевод в 1907—1908 гг

[6] *Базаров* (Руднев) Владимир Александрович (1874 — 1939) — русский философ и экономист, социал-демократ, один из переводчиков «Капитала» К Маркса на русский язык (1907 — 1909) Пропагандист эмпириокритицизма

[7] *Юшкевич* Павел Соломонович (1873 — 1945) — философ, публицист, переводчик философской литературы По образованию математик Участник социал-демократического движения (меньшевик)

[8] *Гельфонд* Осип Исаакович (Иося Ицкович) (1863 — 1942) — врач-венеролог, философ, автор работ «Философия Дицгена и современный позитивизм» (1908) и «Об эмпирической теории познания» (1908) Занимался революционной деятельностью и пропагандой марксизма После революции работал по специальности Отец известного математика Гельфонда Александра Осиповича, решившего 7-ю проблему Гильберта

[9] *Берман* Яков Александрович (1868 — 1933) — юрист и философ, социал-демократ

[10] *Шмидт* Конрад (1863 — 1932) — немецкий экономист и философ, близкий к марксизму, разделял экономическое учение К Маркса

[11] *Давыдов* (Давидов) Иосиф Александрович (1866 — 1942) — экономист, философ-эмпириомонист

[12] *Чулков* Георгий Иванович (1879 — 1939) — прозаик, поэт, критик

[13] *Дицген* Иосиф (1828 — 1888) — немецкий рабочий, философ, самостоятельно пришедший к материалистическим и диалектическим взглядам

[14] *Оствальд* Вильгельм Фридрих (1853 — 1932) — немецкий физик и философ

Штирнер Макс **Единственный**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1909 — № 4(9) — 1 февр — С. 177—178 Раздел XII Социология)

Печатается по указанному источнику

[1] Речь идет о клятве французского короля Франциска I испанскому королю и императору Карлу V во время его плена и подписания мирного договора 14 января 1526 года «не нарушать мира ни единожды в жизни» Но будучи отпущенным, сразу же решил нарушить клятву и получил в этом поддержку у папы Климента VII, враждовавшего с императором

Тэкэр Вениамин **Вместо книги...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1909 — № 4(9) — 1 февр — С 179—181 Раздел XII Социология)

Печатается по указанному источнику

[1] *Такер* Бенжамин (1854 — 1939) — американский социалист, приверженник свободного рынка по причине своих симпатий к анархизму

[2] *ad hoc* (*лат*) — *букв* к этому, для этой цели, кстати

[3] *genus* (*лат*) — род

[4] *laisser faire* (*фр*) — не мешать

[5] *фритредерство* (*англ* free trade — свободная торговля) — течение в экономической политике промышленной буржуазии (возникло в Англии), считавшее, что основой экономической политики является свобода торговли и невмешательство государства в хозяйственную жизнь, основная цель фритредерства состояла в отмене таможенных пошлин и вывозных премий, в установлении свободного ввоза и вывоза товаров

[6] *манчестерство* — течение в экономической политике промышленной буржуазии в Англии, возникшее в связи с борьбой против хлебных пошлин, защищало свободную торговлю и отказ от всякого вмешательства государства в экономическую жизнь страны

Вольский С А **Философия борьбы...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1909 — № 1(11) — 1 июня — С 35—37 Раздел XII Социология)

Печатается по указанному источнику

[1] *Энергетизм* — философское направление, считающее первоосновой всех явлений в мире *энергию*, которая трактуется как неуничтожи-

мая субстанция, способная к разнообразным превращениям, а не как атрибут материальных объектов.

[2] *en grand* (*фр.*) — в натуральную величину, широко.

[3] *Протозоа* — одноклеточные животные организмы (простейшие).

[4] *quaternio* (*лат.*) — учетверенность.

Бутру Э. **Вильям Джемс...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Юридическая библиография, издаваемая Демидовским Юридическим Лицеем» (Ярославль, 1909. — № 1(11). — 1 июня. — С. 37—38. Раздел XII. Социология).

Печатается по указанному источнику.

[1] *Бутру* Эмиль (1845 — 1921) — французский философ-идеалист, представитель спиритуализма.

[2] *Геффдинг* Харальд (1843 — 1931) — датский философ-идеалист, историк философии.

[3] *Дю-Прель* Карл (1839 — 1900) — немецкий философ, исследователь мистического опыта, писавший по проблемам оккультизма, сомнамбулизма, спиритизма. Вышли переводы его работ на русском языке: «Философия мистики или двойственность человеческого существа» (СПб., 1895), «Спиритизм» (М., 1904), «Моническое учение о душе: Пособие к решению загадки о человеке» (М., 1908).

О СОВРЕМЕННЫХ ТЕЧЕНИЯХ В НЕОКАНТИАНСТВЕ

Впервые рецензия опубликована в газете «Русские ведомости» (М., 1909. — № 89. — С. 5).

Печатается по указанному источнику.

[1] *Марбургская школа* — одно из основных направлений неокантианства конца XIX — начала XX столетия. Главные представители — профессора Марбургского университета Г. Коген, П. Наторп. Эта школа объявила о необходимости привести философию Канта в соответствие с современным естествознанием и очистить ее от «дуализма», создаваемого учением «о вещи в себе», аффицирующим (возбуждающим) человеческую чувственность.

[2] *jurare in verba magistri* (*лат.*) — «клясться словами учителя»; слепо следовать словам учителя.

[3] *Гейдельбергская школа* (также фрейбургская школа, или баденская школа) — одно из основных направлений субъективно-идеалистического (аксиологического) неокантианства конца XIX — начала XX столетия. Главные представители — профессора Фрейбургского и Гейдельбергского университетов (земли Баден, отсюда название школы) В. Виндельбанд и Г. Риккерт. Критикуя Канта «справа», эта школа устранила из его учения материалистические элементы и развила его априоризм и рассматривала философию как науку о должном, как критическую науку об «общечеловеческих ценностях» (отсюда название аксиологическое неокантианство).

[4] *genitivus subjectivus* (*лат.*) — родительный падеж подлежащего.

[5] *genitivus objectivus* (*лат.*) — родительный падеж дополнения

[6] Schärfe des beslchtspuncts (*нем.*) — остроты мнений

[7] *durch scharf festzuhaltende Unterscheidungen* (*нем.*) — в резкой форме указывая на различия

И л ь и н В л. **Материализм...**

Впервые рецензия опубликована в газете «Русские ведомости» (М., 1909 — № 222 — 29 сент. — С. 5)

Среди многочисленных откликов на работу В. И. Ленина, появившихся в русских газетах и журналах в 1909 году, рецензия Ильина самая короткая, но и самая глубокая и беспощадная. В ней не только дана подобающая оценка книге и ее автору, но высказан ильинскии взгляд на содержательную критику.

Печатается по указанному источнику

[1] *Вл. Ильин* — псевдоним В. И. Ленина (Ульянова)

П р о ф. Н. И. П а л и е н к о **Учение о существе права...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (М., 1909 — № 10 — Октябрь — С. 241—244)

Печатается по указанному источнику

[1] *communis opinio* (*лат.*) — общее достояние

[2] *Бергбом* (Бергбум) Ф. (1785 — 1830) — финский философ, популяризатор немецкой философии

[3] *Фулье* (Фуйе) Альфред (1838 — 1912) — французский философ-эклектик, в учении которого существенны также элементы волюнтаризма и особенно позитивизма

ПРЕДПОСЫЛКИ АНАРХИЗМА

Впервые рецензия опубликована в журнале «Московский еженедельник» (М., 1910 — № 9 — 27 февр. — С. 37—46)

Печатается по указанному источнику

[1] *Карпократианы* — последователи Карпократа, гностика первой половины II века, александрийца, учившего, что мир создан низшими звездными духами, возмутившимися против истинного всеблагого божества, или безначального Отца. Карпократиане считали, что путь освобождения от рабства этого мира состоит в отрешении от него и лучший способ презирать материальный мир — это совершать всевозможные плотские грехи, сохраняя свободу духа, или бесстрастие, не привязываясь ни к какому отдельному бытию, или вещам, и внешнюю законность заменяя внутренней силой веры и любви. Свободная любовь, или общность жен, составляла главное практическое применение этой доктрины.

[2] *Адамиты* или адамиане — так Епифаний Кипрский называл секту, последователи которой собирались в своих церквах нагими. Сведения об этой секте, но под другим названием, дает и Климент Александрийский. В XV веке это движение возродилось в Богемии, и его подавление

связано с именем Жижки Приверженцы секты существовали до конца XV века и частью примкнули к Чешским братьям

[3] *Хельчицкий* Петр (ок 1390 — ок 1460) — идеолог умеренных таборитов в Чехии Выступал за создание общества, основанного на равенстве и обязательном труде Оказал влияние на Чешских братьев

[4] *bona fide* (*лат*) — чистосердечно

[5] *per compromissum* (*лат*) — через соглашение

ИДЕЯ ЛИЧНОСТИ В УЧЕНИИ ШТИРНЕРА

Впервые рецензия опубликована в журнале «Вопросы философии и психологии» (М , 1911 — Кн 106(2) — С 55—93)

Печатается по указанному источнику

[1] *«Der Einzige und sein Eigenthum»* (*нем*) — «Единственный и его собственность»

[2] *universalia* (*лат*) — универсалии, общие понятия Философский термин средневековой философии От признания универсалий первичными или производными по отношению к отдельным, единичным вещам возникли два направления схоластической философии — номинализм и реализм

[3] *ultima ratio* (*лат*) — последний, решающий довод

[4] *Ich, der Mensch* (*нем*) — Я, человек

[5] *der wirkliche Mensch* (*нем*) — действительный человек

[6] *Hans oder Kunz* (*нем*) — Ганс или Кунц

[7] *der leibhaftige Kunz* (*нем*) — телесный Кунц

[8] *ganze und leibhaftige Person* (*нем*) — вся и телесная личность

[9] *leibhaftiges Ich* (*нем*) — телесное Я

[10] *der Mensch, wie er liebt und lebt* (*нем*) — человек, как он любит и живет

[11] *das Nichts von allem Andern* (*нем*) — ничто всякого другого

[12] *ganz eigen* (*нем*) — собственный

[13] *Befriedigung des ganzen Kerls* (*нем*) — удовлетворение молодца

М а р к е л о в Г **Личность...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (М , 1912 — № 3 — Март — С 91—92)

Печатается по указанному источнику

А Л у н а ч а р с к и й **Религия и социализм...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (М , 1912 — № 3 — Март — С 92—93)

Печатается по указанному источнику

С е р г е й В о и н о в **Христианство...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (М , 1912 — № 3 — Март — С 93—94)

Печатается по указанному источнику

[1] *par excellence* (*фр.*) — по преимуществу, в особенности.

Е. С п е к т о р с к и й. **Александр Львович Блок...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (М., 1912. — № 3. — Март. — С. 94—95).

Печатается по указанному источнику.

[1] *Блок* Александр Львович (1852 – 1909) — юрист и философ, профессор Варшавского университета.

[2] *Лоренц Штейн* фон (1815 — 1890) — немецкий экономист и социолог. Разработал взгляд на историю как на экономический процесс, что повлияло, вероятно, на учение Карла Маркса.

П р о ф. Л е о п о л ь д В и з е. **Сущность...**

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (М., 1912. — № 3. — Март. — С. 96—97)

Печатается по указанному источнику.

[1] *Визе* Леопольд фон (1876 — 1969) — немецкий социолог, представитель формальной социологии.

Россия и латинство

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (Прага; Париж, 1923. — Кн. 3—5. — С. 402—406).

Печатается по указанному источнику.

[1] Далее идет примечание редактора «Русской мысли» Петра Струве: «Печатая настоящую рецензию, я должен оговориться, что некоторые уклоны мысли, обнаруживающиеся в разбираемом сборнике, представляются мне уродливыми и опасными одинаково и с религиозно-церковной и с государственной точки зрения. *Русская Мысль* еще вернется к этим темам».

[2] От *греч.* κενός — пустой, порожний.

[3] *ex opere operato* (*лат.*) — *букв.* из делания дела, из произведенного действия, *перен.* из действия действительность. Это известный церковный принцип, касающийся теории таинств. По православному учению, условиями для совершения и действенности *таинств* признаются наличие обеих сторон таинств: объективной и субъективной Первая сторона (объективная) заключается в правильном совершении таинств законно поставленным иерархическим лицом, при выполнении известной определенной внешней формы и словесной формы таинства, согласно божественному установлению; субъективная сторона таинства заключается во внутреннем настроении и расположении христианина, принимающего таинство. Первая сторона таинств составляет условие для *действительности* таинств; вторая служит условием для их благодатной *действенности*. Действительность таинств, по православному учению, не зависит от заслуг или достоинств лиц, совершающих и приемлющих таинства; спасительное же действие таинств обусловливается известным нравственным состоянием человека, приемлющего таинства; оно требует от

человека веры, сознание великого значения и важности таинств и, наконец, искреннего желания и полной готовности принять его При отсутствии этих последних требований приятие таинств служит к осуждению человека (1 Кор 11, 26—30) Древние еретики — донатисты, с которыми боролся Бл Августин, и средневековые — вальденсы, альбигойцы, последователи Виклифа, — учили, что для совершения и действенности таинств требуется священнослужитель не только законно поставленный, но и благочестивый, так что таинства, совершенные порочными служителями алтаря, не имеют никакого значения По учению лютеран, действительность каждого таинства зависит от веры лиц, его приемлющих По учению католической церкви, от достоинства и качества лиц, совершающих таинства, не только не зависит действительность таинств, но не зависит и спасительное их деиствие Эта теория известна под особым латинским термином «opus operatum»

[4] νοέομαι (*греч*) — постигать мысленно

[5] *ens realissmuss* (*лат*) — высшая реальность

[6] *in barba magistri* (*лат*) — в бороде учителя

Карсавин Л Диалоги...

Впервые рецензия опубликована в журнале «Русская мысль» (Прага, Париж, 1923 — Кн 3—5 — С 406—408)

Печатается по указанному источнику

[1] *ventre pellere ventos* (*лат*) — *букв* чревом гнать ветры (испортить воздух)

[2] *зенчуг* — жемчуг

ПАМФЛЕТ РУССКОГО О РОССИИ

Впервые рецензия опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1927 — № 607 — 30 янв — С 3—4)

Печатается по указанному источнику

[1] Sergius Gogel «Die Ursachen der Russischen Revolution vom Jahre 1917 Ein historisch-soziologische Skizze» Серия «Quellen und Studien», издание Osteuropa-Institut in Breslau

[2] *Драгомиров* Михаил Иванович (1830 — 1905) — русский военный теоретик, генерал от инфантерии

[3] *Макаров* Степан Осипович (1848/49 — 1904) — русский флотоводец, океанограф, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных плаваний

[4] *Кондратьев* Николай Григорьевич — генерал-лейтенант, начальник главного штаба в 1911 г

[5] *Лечицкий* Платон Алексеевич (1856 — 1923) — русский генерал от инфантерии В первую мировую войну командовал 9-и армией, а в марте—мае 1917 г — Западным фронтом После Октябрьской революции — в Красной Армии

ГЕНИЙ И РАНЫ РОССИИ

Впервые рецензия опубликована в газете «Слово» (Рига, 1925 — № 37 — 24 дек — С 2) Название статьи и эпиграф придуманы и даны редакцией газеты

Публикуется по указанному источнику

[1] *Гурко* Владимир Иосифович (1863 — 1927) — потомственный военный, сын русского генерал-фельдмаршала и брат генерала Василия Иосифовича Гурко Действительный статский советник, камергер политически деятель, член Государственного Совета В 1918 г — член «Правого центра» В эмиграции входил в состав Русского парламентского комитета В 1921 г в Берлине издал «Воспоминания о войне и революции»

[2] Воспоминания В И Гурко назывались «Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу·1917—1918 гг »

ГИБЕЛЬ ОТ НЕВЕЖЕСТВА

Впервые рецензия опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1927 — № 625 — 17 февр — С 3—4) Вторично — в газете «Слово» (Рига, 1927 — № 429 — 25 февр — С 3) Здесь печатается по первому изданию Во втором издании имелся подзаголовок «К лекциям проф А А Кизеветтера» и статье предшествовало следующее предисловие редакции газеты «Когда заканчивается цикл лекций проф А А Кизеветтера о «России на рубеже революции», нельзя, для исчерпывающей полноты исторической картины и для всесторонней объективности, обойти молчанием блестящую статью проф И А Ильина, только что опубликованную в русской парижской прессе

Эта статья, которую, по техническим условиям, мы приводим, к сожалению, в сокращениях, служит как бы естественным дополнением к лекциям проф Кизеветтера, как замечательный анализ той русской предреволюционной «общественности» к «спору» с которой свел всю недавнюю историю А А Кизеветтер»

Кизеветтер Александр Александрович (1866 — 1933) — историк, политический деятель, профессор Русского научного института в Берлине Эти лекции вошли в книгу «На рубеже двух столетий (1881—1914)» (Прага, 1929)

[1] Книга В И Ленина «Государство и революция» была написана в августе—сентябре 1917 г и впервые издана 11 мая 1918 г в Петрограде

«ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ В РОССИЮ»

Впервые рецензия опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1937 — № 4403 — 29 окт — С 9)

Печатается по указанному источнику

НЕПРАВДА О РОССИИ

Впервые рецензия опубликована в газете «Русский еженедельник в Бельгии» (Брюссель, 1938 — 5 авг — С 2 4)

Печатается по указанному источнику

[1] *Салтыков* Александр Александрович (1873 — 1940) — граф, поэт, историограф Работал в газете «Возрождение»

[2] *Le secret de la Russie* (*фр*) — секрет (тайна) России

[3] *nous ne comprenons point la beaute elle nous offense, comme toute inegalite* (*фр*) — мы не понимаем красоту она нас оскорбляет, как всякое равенство

[4] *le chaos et la destruction* (*фр*) — хаос и разрушение

[5] *une absence d'amour* (*фр*) — недостаток любви, *букв* отсутствие любви

[6] *nous haissons toute forme* (*фр*) — мы ненавидим любую форму

«ПОДВИГ ЛЖИ» Г. БЕРДЯЕВА

Статья И А Ильина, опубликованная им под псевдонимом «Старый Политик» в нью-йоркской газете «Россия» за 11 марта 1947 г предварялась следующим редакционным вступлением «Мы просили нашего парижского сотрудника собрать достоверные сведения о г Бердяеве, которые могли бы объяснить его просоветскую агитацию и осветить политическую роль этого явно запутавшегося писателя Ответ нашего сотрудника мы приводим в дальнейшем без изменений»

Печатается по указанному источнику

[1] Известно, что Н А Бердяева допрашивал в 1922 г Ф Э Дзержинский

РОССИЯ И ЕВРОПА

Впервые рецензия опубликована в журнале «Возрождение» (Париж, 1949 — Кн 5 — С 171—173)

Печатается по указанному источнику

[1] *Alexander von Schelting Russland und Europa im russischen Geschichtsdenken Bern* (*нем*) — Александр фон Шелтинг Россия и Европа в русской исторической мысли

ОТЗЫВЫ О ЖУРНАЛЕ «ДЕНЬ РУССКОГО РЕБЕНКА»

[1] Напечатано в «Дне русского ребенка» Вып VII — Сан-Франциско, 1940 — Май — С 4

[2] Напечатано в «Дне русского ребенка» Вып XV — Сан-Франциско, 1948 — Май — С 14

[3] Напечатано в «Дне русского ребенка» Вып XVII — Сан-Франциско, 1950 — Апр — С 5

[4] Напечатано в «Дне русского ребенка» Вып XVII — Сан-Франциско, 1951 — Апр — С 3—4

[5] Напечатано в «Дне русского ребенка» Вып XIX — Сан-Франциско, 1952 — Апр — С 12—13

[6] Напечатано в «Дне русского ребенка» Вып XX — Сан-Франциско, 1953 — Апр — С 7—8

[7] Т е пророческое От *лат* propheta — прорицатель, жрец, маг *церк* пророк

О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЯХ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН КАК ЧЕЛОВЕК И ХАРАКТЕР

Автограф лекции «Александр Пушкин как человек и характер» на немецком языке («Alexander Puschkin als Mensch und Charakter») хранится в Архиве И А Ильина в Мичигане (США) (Courtesy of Special Collections, Michigan State University Libraries, East Lansing, MI 48824—1048), кор 29, д 3 На титуле стоит дата *Elite-Zurich 1943 Februar* Последнее означает, что И А Ильин впервые прочел эту лекцию в гостинице Элите, где ему часто предоставляли возможность выступать и с другими его лекциями цикла о «Сущности и своеобразии русской культуры» Перевод с немецкого сделан О В Колтыпиной, текстологическая работа любезно проведена З Г Антипенко Впервые полностью работа была опубликована в сборнике «А С Пушкин К 200-летию со дня рождения» (М , 1999 — С 5—32)

Мы даем ссылки на книгу В е р е с а е в В В Пушкин в жизни В 2 т М —Л , 1932

[1] Речь идет о немецкой лекции И А Ильина «Alexander Puschkin als Wegweiser der russischen Kultur» («Александр Пушкин как путеводная звезда русской культуры»), которую он прочитал в феврале 1943 г в Цюрихе, ее автограф хранится в Архиве И А Ильина в Мичигане пакет 194 (микрофильм № 4), док 33, № 1 Русский перевод этой лекции опубликован в Собрании сочинений И А Ильина в 10 томах (Т 6 — Кн 3 — М , 1997 — С 213—240)

[2] Срв Мф 24, 33

[3] *Per matrimonium per concubinatum* (*лат*) — в законном браке в свободном сожительстве

[4] Подразумевается Хайле Селласие I (1892 — 1975), император Эфиопии с 1930 по 1974 г

[5] В е р е с а е в — Т 2 — С 167 (А С Хомяков по записи Бартенева Рус Арх , 1899, II, 146)

[6] В е р е с а е в — Т 2 — С 167 (Арк Ос Россет Русский архив, 1882, I — С 246)

[7] В е р е с а е в — Т 1 — С 229 (Кн Павел Вяземский (род в 1820 г , сын поэта кн П А Вяземского) Собр соч П П Вяземского СПб , 1893 — С 511—513)

[8] В е р е с а е в — Т 1 — С 212 (М П Погодин Русский архив, 1865 — С 97)

[9] В е р е с а е в — Т 2 — С 8 (М В Юзефович «Воспоминания о Пушкине»// Русский архив, 1880, III — С 434)

[10] В е р е с а е в — Т 2 — С 91 (И И Лажечников «Знакомство мое с Пушкиным» Сочинения, ч VI, 1884 — С 240)

[11] Вересаев. — Т. 2. — С. 93 (Бывший студент. «За 16 лет». Ведомости СПб. городской полиции, 1848. — № 235).

[12] Там же. — С. 93—94 (И. А. Гончаров. Воспоминания. В университете).

[13] Там же. — С. 93—94 (И. А. Гончаров. Воспоминания. В университете).

[14] Вересаев. — Т. 2. — С. 121 (В. А. Нащокина. Воспоминания// Новое время, 1898. — № 8115. Иллюстр. прилож.).

[15] См.: «Евгений Онегин». Гл. I, XXV //Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. 5. — С. 17.

[16] Вересаев. — Т. 2. — С. 175 (П. В. Анненков. Материалы. — С. 157).

[17] Вересаев. — Т. 2. — С. 180 (В. А. Нащокина// Воспоминания. Новое время. — 1898. — № 8115).

[18] Имеется в виду «Поэт и толпа».

[19] Вересаев. — Т. 1. — С. 212 (М. П. Погодин. Русский архив, 1865. — С. 97).

[20] В подтверждение этой кажущейся с виду невероятной информации (60 км!) приводим воспоминание современника поэта: «Пушкин был неутомимый ходок и иногда делал прогулки пешком из Петербурга в Царское Село. Он выходил из города рано поутру, выпивал стакан вина на Средней Рогатке и к обеду являлся в Царское Село. После прогулки в его садах, он тем же путем возвращался назад». П. В. Анненков, *Материалы*, 225. (Вересаев. — Т. 2. — С. 24). По-видимому, именно этим источником пользовался Ильин; от Петербурга до Царского Села приблизительно 25 км, не учитывая расстояния ходьбы по самой столице.

[21] Вересаев. — Т. 1. — С. 164 (Ек. Ив. Фок в передаче В. П. Острогорского. Мир Божий. — 1898. — № 9. — С. 227).

[22] Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому, 1825 г. // Полн. собр. соч. — Т. 10. — С. 148.

[23] Вересаев. — Т. 1. — С. 245 (Ф. Н. Глинка — А. А. Ивановскому// Русская старина. — 1880. — Т. 63. — С. 123).

[24] Вересаев. — Т. 2. — С. 148 (П. А. Плетнев. Соч. и переписка. — Т. III. — СПб., 1885. — С. 242—243).

[25] Здесь у Ильина неточность. На самом деле в конце письма к своему брату Л. С. Пушкину (конец февраля 1825 г.) А. С. Пушкин приписал: «Слепой поп перевел *Сираха* (смотр. Инвалид № какой-то), издает по подписке — подпишись на несколько экземпляров». См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. 10. — С. 101.

Слепой поп — Г. А. Пакатский; в 1825 году издал «Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова...».

[26] Пушкин А. С. Письмо Н. Н. Пушкиной, 1834 г. //Полн. собр. соч. — Т. 10. — С. 381.

[27] «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вооб-

разить ты не слишком сильно ошибешься Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво Никогда не принимай одолжений Одолжение чаще всего — предательство Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает Никогда не делай долгов, лучше терпи нужду То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею Однако забава эта достойна старой обезьяны XVIII столетия Никогда не забывай умышленной обиды, — будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблениями на оскорбления» Ильин приводит отрывки (порядок их изменен) из письма А С Пушкина к Л С Пушкину, 1822 г См П у ш к и н А С Полн собр соч — Т 10 — С 40

[28] *grand-monde* (*фр*) — высший свет, *beau-monde* (*фр*) — бомонд

[29] На полях сноска Ильина «Верес IV 52 » Речь идет о первом издании Вересаева «Пушкин в жизни» 1929 года в пяти томах Последующие издания хотя и были дополнены, но некоторые фрагменты из первого издания были изъяты

[30] В е р е с а е в — Т 1 — С 278 (А Н Вульф Дневник 16 янв 1829 г //Пушкин и его современники, XXI—XXII — С 51)

[31] В е р е с а е в — Т 1 — С 223 (А Н Муравьев Знакомство с русскими поэтами Киев, 1871 — С 11)

[32] В е р е с а е в — Т 1 — С 69 (И И Пущин Записки // Л Майков «Пушкин» — СПб , 1899 — С 70—71)

[33] В е р е с а е в — Т 1 — С 289 (М М Попов Русская старина, 1874 — Т 10 — С 694)

[34] В е р е с а е в — Т 1 — С 242 (Ф В Булгарин — В А Ушакову, 6 янв 1929 г // Щукинский сборник, IX — С 161)

[35] В е р е с а е в — Т 1 — С 165 (А А Дельвиг — Пушкину, 28 сент 1824 г // Переписка Пушкина, I — С 133)

[36] *Арапова* А П — урожд Ланская, дочь Наталии Николаевны от второго брака

[37] В е р е с а е в — Т 2 — С 101 (А П Арапова Новое время, 1907 — № 11413)

[38] В е р е с а е в — Т 1 — С 186 (Иван Павлов, крестьянин, дер Богомолы, по записи Евг Шведера // Исторический Вестник, 1908 — № 10 — С 137)

[39] Курсив Ильина Он прочел это стихотворение в немецком переводе Фиддлера

[40] Письмо Н Н Пушкиной, около 14 июля 1834 г // А С Пушкин Полн собр соч — Т 10 — С 393

[41] В е р е с а е в — Т 1 — С 181 (А П Керн Воспоминания // Л Майков «Пушкин», СПб , 1899 — С 240—243)

[42] В е р е с а е в — Т 1 — С 264 (Н В Путята Из записной книжки // Русский архив, 1899, II — С 352)

[43] В е р е с а е в — Т 2 — С 57 (М П Погодин Дневник, 7 янв 1831 г // Пушкин и его современники, XXIII—XXIV)

[44] Вересаев — Т 2 — С 155 (С М Сухотин Из воспоминаний молодости // Русский архив, 1864 — С 981)

[45] Вересаев — Т 1 — С 79 (А И Тургенев — кн Вяземскому, 26 авг 1819 г // Останкинский архив, I — С 296)

[46] Цитата в этом издании Вересаева не найдена

[47] Вересаев — Т 2 — С 316 (А А Краевский — кн В Ф Одоевскому, 15 февр 1837 г // Русская старина, 1904 — Т 118 — С 570)

[48] В настоящем издании Вересаева цитата отсутствует

[49] Вересаев — Т 1 — С 207 (П И Бартенев Русский архив, 1865 — С 96 и 389)

[50] Вересаев — Т 1 — С 290 (Мицкевич А Биографическое и литературное известие о Пушкине <Le Globe, 25 мая 1837 г> // Соч, т VII — С 315)

[51] Вересаев — Т 2 — С 34 (А С Пушкин — кн В Ф Вяземской, в конце апреля—начале мая 1830 г // Полн собр соч — Т 10 — С 222)

[52] Вересаев — Т 2 — С 302 (П А Ефремов Русская старина — 1880 — Т 28 — С 536)

[53] Вересаев — Т 2 — С 242 (Ек Мещерская-Карамзина — кн М И Мещерской // Пушкин и его современники, VI — С 94, 97)

[54] Вересаев — Т 2 — С 293 (В А Жуковский — С Л Пушкину // П Е Щеголев Дуэль и смерть Пушкина 2-е изд СПб, 1917 — С 189)

[55] *Deo favente* (*um*) — даст Бог

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО СТОЛЫПИНА

Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1926 — № 481 — 26 сент — С 2—3)

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Впервые статья опубликована в газете «Новое Время» (Белград, 1926 — № 2131 — 12 июня — С 2—3)

Печатается по указанному изданию

РУССКОМУ РЫЦАРЮ

Впервые статья опубликована в газете «Русский инвалид» (Париж, 1928 — № 4 — 22 мая — С 2)

Печатается по указанному изданию

РЕЧЬ ПРОФЕССОРА И. А. ИЛЬИНА

Впервые статья опубликована в сборнике «Светлой памяти Короля Витязя Александра I Объединителя» (Белград, 1934 — Октябрь—ноябрь — С 15—21) Русский Дом Императора Николая II

Печатается по указанному изданию

[1] Интересно сопоставить здесь высказанную Ильиным идею «народной монархии» с той, которую позже подхватит Иван Солоневич

О НАШЕМ ЛЮБИМОМ ПАСТЫРЕ

Впервые статья опубликована в сборнике «Пастырь добрый Пятидесятилетие пастырского служения протопресвитера отца Сергия Орлова» (Издание Русского Трудового Христианского Движения Женева, 1941 — С 21—23)

Печатается по указанному изданию

Отец Сергий (Орлов) (1864 — 1944) — протопресвитер, основатель и организатор всех соборных православных приходов Русской Зарубежной Церкви в Швейцарии

КУЛЬТУРА СЕРДЦА

Светлой памяти Протопресвитера Отца Сергия Иоанновича Орлова

Эта речь Ильина была опубликована в «Листке православных приходов в Швейцарии» (Женева, 1946 — № 13 — С 4—5)

Печатается по указанному изданию

[1] Эта речь была произнесена в Женевском храме в мае 1945 г (примеч И А Ильина)

О ПОЛИТИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПИСЬМА О ФАШИЗМЕ

В 1924 году Ильин провел много времени в Италии, работая в библиотеках и архивах над своей книгой «О сопротивлении злу силою» и был невольным свидетелем событий в период правления Бенито Муссолини В следующие два года он опубликовал в газете «Возрождение» 9 опусов на тему фашизма под псевдонимом «Ивер»

Статьи этого цикла печатаются по указанным ниже источникам с учетом правки (внесены пропуски), сделанной Ильиным на газетных вырезках, хранящихся в его архиве в Мичигане, кор 47, док 1 (письма 1—5), кор 47, док 2 (письма 6—9)

[1] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1925 — № 130 — 10 окт — С 2) Озаглавлена «Письма из Италии Страницы борьбы (от нашего корреспондента)» (первоначально было «Письма о фашизме», т е название изменила редакция газеты) и подписано инициалом «И » На вырезке из газеты рукою Ильина сделана пометка «Флоренция»

[2] *Фариначчи* Роберто (1892 — 1945) — радикальныи итальянскии политический деятель, местный фашистский партийный босс, помогшии Муссолини прийти к власти в 1922 году и ставший важнои фигурои во время фашистского режима в Италии

[3] *Версальский договор* — мирный договор, подписанный в 1919 г , подводивший итог первой мировой войне, согласно которому часть территории, захваченных Германией, отошла соседним странам-победительницам, но территориальные споры с Италией, входившей в группу стран победителей не были учтены

[4] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1925 — № 194 — 13 дек — С 2) Озаглавлена «Письма о фашизме 2 Месяц спустя» и подписана «Ивер» С этой статьи рубрика и подпись остаются и в последующих материалах На вырезке из газеты рукою Ильина сделана пометка «Берлин»

[5] Имеется в виду Виктор Эммануил III (1869 — 1947) — последний король Италии

[6] *Маттеотти* Джакомо (1885 — 1924) — лидер итальянских социалистов 10 июня 1924 г Маттеотти исчез Позже был найден убитым фашистами, что вызвало так называемый «кризис Маттеотти», угрожавший падению режима Муссолини

[7] *Troppo molto, troppo molto!* (*um*.) — Излишне много, излишне много!

[8] *Фавоний* Марк — ученик и последователь Марка Катона Утического По словам Корнелия Тацита, «эта самая школа породила Туберонов и Фавониев — имена, ненавистные даже старой республике Чтобы низвергнуть единовластие, они превозносят свободу, но, низвергнув его, точно так же посягают на свободу» (Анналы Кн 16, 22)

[9] Порций *Катон* (Младший, или Утический) Марк (95 — 46 до н э) — государственный деятель, оратор, республиканец, противник Цезаря

[10] Срв с идеями Ильина «О сопротивлении злу силою»

[11] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж 1925 — № 201 — 20 дек — С 2) Озаглавлена «Письма о фашизме 3 Борьба с масонами» и подписана «Ивер»

[12] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1926 — № 222 — 10 янв — С 3) Озаглавлена «Письма о фашизме 4 Биография Муссолини» и подписана «Ивер»

[13] *Парето* Вильфредо (1848 — 1923) — итальянский экономист и социолог

[14] Позиция социалистов на Циммервальдской конференции 1915 г состояла в осуждении империалистической мировой войны и социал шовинизма Позиция левых социалистов во главе с Лениным состояла в более радикальных лозунгах поражения правительства в войне и превращения империалистической войны в гражданскую

[15] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1926 — № 229 — 17 янв — С 2) Озаглавлена «Письма о фашизме 5 Личность Муссолини» и подписана «Ивер»

[16] В ноябре 1799 г Наполеон совершил переворот (18 брюмера по республиканскому календарю), в результате которого стал первым консулом и сосредоточил в руках всю полноту власти

[17] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1926 — № 276 — 5 марта — С 2) Озаглавлена «Письма о фашизме 6 Проблема Тироля» и подписана «Ивер»

[18] *Штреземан* Густав (1878 — 1929) — германский рейхсканцлер и министр иностранных дел

[19] *Тироль* — местность в западной Австрии После первой мировой войны Италия захватила южный Тироль с немецко-говорящим населением

[20] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1926 — № 279 — 8 марта — С 2) Озаглавлена «Письма о фашизме 7 Одна из опасностей» и подписана «Ивер»

[21] *Вальтер фон дер Фогельвейде* (1170 — 1230) — великий германский лирический поэт средневековья

[22] *фанфаронада* (*фр* — fanfaronnade) — хвастовство, бахвальство

[23] Впервые статья опубликована в газете «Возрожденне» (Париж, 1926 — № 287 — 16 марта — С 2) Озаглавлена «Письма о фашизме 8 Муссолини социалист» и подписана «Ивер»

[24] Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1926 — № 375 — 12 июля — С 2) Озаглавлена «Письма о фашизме 9 Вопрос качества» и подписана «Ивер»

КАТОЛИК О ПРАВОСЛАВИИ

Впервые статья опубликована в газете «Новое время» (Белград, 1925 — № 1153 — 4 марта — С 2, № 1154 — 5 марта — С 2) Подписана псевдонимом Ильина «Пересвет»

Печатается по указанному изданию

[1] *Orientalia Christiana* (*лат*) — труды по восточному христианству

[2] *L'âme religieuse des russes d'apres leurs plus recentes publications* (*фр*) — религиозная душа русских согласно их недавних публикаций

[3] *feuilletons* (*фр*) — фельетоны

[4] *Антонин* (в миру Грановский Александр Андреевич) (1865 — 1927) — обновленческий епископ

[5] *contre le Christ, contre le Pape* (*фр*) — против Христа, против папы

ИДЕЙНЫЙ ОПОЛЗЕНЬ

Впервые статья опубликована в газете «Новое время» (Белград, 1925 — № 1281 — 7 авг — С 2 — 3, № 1282 — 8 авг — С 2, № 1283 — 9 авг — С 2)

Печатается по указанному изданию

[1] *Евразийство* — идейное и общественно-политическое движение русской эмиграции, пытавшееся осмыслить причины Февральской и Октябрьской революций 1917 г и найти пути преобразования большевистской власти

[1] *Муцухито* (1852 — 1912) — 122-й император Японии с 1867 по 1912 г Его настоящее императорское имя Моэйдзи Его эпоха носит название моэдзинской эпохи В 8 лет принц, в 14 император За время своего правления Моэйдзи из отсталого государства сделал Японию сильным империалистическим государством, заложил и развил основы абсолютной монархии

ЧЕРНОСОТЕНСТВО

Впервые статья опубликована в газете «Слово» под названием «Черносотенство — проклятие и гибель России» (Рига, 1926 — № 88 — 1 марта, № 89 — 2 марта, № 90 — 3 марта) На вырезке из газеты, хранящейся в Архиве И А Ильина в Мичигане (кор 71, д 1), стоит его пометка «Мое заглавие было просто «Черносотенство»» Мы сохраняем первоначальное название этой статьи, данное Ильиным

ОНИ НАС ОБЛИЧАЮТ

Впервые статья опубликована в газете «Новое время» (Белград, 1926 — № 1621 — 24 сент — С 2 — 3, № 1623 — 26 сент — С 2—3) Подписана псевдонимом Ильина «Ослябя»

Печатается по указанному источнику

[1] Католический епископ *Шапталь* оказывал благотворительную помощь русским эмигрантам, а аббат *Кеко* напечатал против этого злобную статью, где утверждал, будто митр Евлогий боролся с католиками и насильно обращал униатов в православие (*Комментарий А Е Климова*).

[2] Псевдоним И А Ильина

[3] В конце статьи написано «Продолжение следует», однако продолжения больше не было

САМОБЫТНОСТЬ ИЛИ ОРИГИНАЛЬНИЧАНИЕ?

Впервые статья опубликована в журнале «Русская мысль» (Париж, 1927 — Кн I — С 24—30)

Печатается по указанному источнику

О МЛАДОРОССАХ

Впервые статья опубликована в газете «Россия и славянство» (Париж, 1932 — № 174 — 26 марта — С 2—3) Второе издание в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1932 — 17 апр — С 2, 8)

Здесь печатается по второму изданию

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ

Впервые статья опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1933 — № 2906 — 17 мая — С 2—3) Исправления внесены по вырезке из газеты, хранящейся в Архиве философа в Мичигане (кор 47, док 3)

Печатается по указанному изданию

[1] В газетном варианте стояло слово «терпеть» В газетной вырезке Ильин своею рукой исправил это слово и вставил «молчать»

[2] *Зеверинг* Карл (1875 — 1952) — немецкий политический деятель, лидер социалистической демократической партии во время Веймарской республики и долгое время министр Пруссии (1920– 1926, 1930– 1932)

О БОЛЬШЕВИЗМЕ И СОЦИАЛИЗМЕ

ОЧЕРКИ ВНУТРЕННЕЙ РОССИИ

Об оставшихся

Впервые статья опубликована в двух номерах газеты «Новое время» (Белград, 1925 — № 1347 — 24 окт — С 2—3 и № 1348 — 25 окт — С 2—3) Общий заголовок и подзаголовок с нумерацией говорят о том что И А Ильин собирался написать серию статей на эту тему, однако в дальнейшем статьи не появились

Публикуется по указанному источнику

[1] *Варнава* (1860 — 1921) — монах, архимандрит При содействии гр Витте стал настоятелем монастыря в Коломне, затем олонецким

викарным епископом При содействии Г Распутина был назначен епископом в Тобольск Обер прокурор Синода А Д Самарин в 1915 г попытался сместить Варнаву с епископской кафедры но Г Распутин помог ему сохранить место, а Самарин получил отставку

[2] *Илиодор* (Сергеи Михаилович Труфанов) (1880 — 1952) — иеромонах один из организаторов «Союза русского народа» был дружен с Г Распутиным, но затем стал его смертельным врагом В 1914 г он организовал покушение на Распутина, подослав к нему некую Феонию Гусеву, которая ранила Григория ножом в живот Спасаясь от возмездия, Илиодор бежал в Норвегию, где написал книгу «Святой черт» обличавшую Распутина

[3] Одним из первых документальных свидетельств зверства большевиков по отношению к верующим стало издание Русского Национального студенческого объединения «Черной книги» («Штурм небес») (Париж, 1925 — 294 с) Это был сборник документальных данных характеризующих борьбу советской власти против всякой религии против всех исповеданий и церквей составленный А А Валентиновым с вводной статьей Петра Струве Позже опубликован знаменитый двухтомник протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики российские» В наше время вышли два тома трудов иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники Русской Православной Церкви XX столетия» (Т 1 — Гверь, 1992 — 237 с Т 2 Тверь 1996 — 527 с)

[4] О гибели Н Н Щепкина имеется следующее свидетельство «Проф А А Айхенвальд, находившийся на излечении в Яузской больнице рассказывал мне (врачу Михаилу Михайловичу Новикову — *Ю Л*) впоследствии, как однажды утром он увидел перед своим окном, на дворе больницы, сваленные туда ночью трупы Н Н Щепкина и трех Астровых и других видных общественных деятелей расстрелянных по обвинению в сношениях с заграничными белогвардейцами» (см Новиков М М От Москвы до Нью-Йорка — Нью-Йорк 1952 — С 294) Расправа чекистов была столь скорои и самодеятельной что в деле Н Н Щепкина нет ни приговора, ни документа о расстреле (см ЦА ФСБ РФ, дело № Н-206), однако известен фактический убийца «При Дзержинском состоял, а теперь у Сталина дошел до высших чекистских постов кровавейший следователь ВЧК Яков Агранов (настоящая фамилия Сорензон Яков Саулович, р в 1893 году, а 1 августа 1938 года приговорен к расстрелу и в тот же день приговор приведен в исполнение — *Ю Л*), эпилептик с бабьим лицом, не связанный с Россией, выходец из Царства Польского, ставший палачом русской интеллигенции Он убил многих известных общественных деятелей и замечательных русских ученых проф Тихвинского, проф Волкова, проф Лазаревского, Н Н Щепкина, братьев Астровых, К К Черносвитова, Н А Огородникова и многих других» (см Гуль Р Дзержинский — М , 1991 — С 29)

[5] В работе «Основные задачи правоведения в России» употребляется прокомментированное слово «безнарядье» Вероятно, оно должно быть и здесь

[6] Деян 10, 13

[7] См диалог Платона «Критон» П л а т о н Собр соч В 4 т — Т 1 — М , 1968 — С 124—125

[8] То есть героями рассказа М Е Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь», которые забиваются в свою норку и дрожат за свою жизнь

[9] «Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч, о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр 3, 15—16) Приведем толкование этих строк Апокалипсиса «Тепловатый — ни истинный христианин, ни закоренелый язычник, ни явный грешник, он равнодушен к православному учению и к нечестивым ересям Тепловатый находится в состоянии забывчивости, самообольщения, духовного сна и потому не видит и не чувствует опасности своего положения В своем самообольщении и беспечности тепловатый зашел так далеко, что утверждает, что он богат и ни в чем не имеет нужды Но он богат только в смысле мира сего, на самом же деле он несчастен и жалок, и наг Он решительно не имеет ничего доброго, что прикрыло бы его грешную душу пред очами Божьими» (см Толковая Библия — Т 3 — Петербург, 1913 — С 532)

[10] «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф 18, 7) У И А Ильина реминисценция на евангельскую тему

[11] Так в тексте Возможно свиду

[12] *Пешехонов* Алексей Васильевич (1867 — 1933) — русский политический деятель, публицист Один из организаторов и лидеров партии народных социалистов, министр продовольствия Временного правительства в августе 1917 г В 1922 г выслан из Советской России В эмиграции выпустил брошюру, в которой писал «Конечно, нужно возвращаться Нельзя долго оставаться в положении людей, лишенных отечества, — безнаказанно это не пройдет» (см П е ш е х о н о в А В Почему я не эмигрировал? — Берлин, 1923 — С 28)

[13] Группа эмигрантов первой волны Ю В Ключников, Н В Устрялов, С С Лукьянов, А В Бобрищев-Пушкин, С С Чахотин, Ю Н Потехин издали сборник статей «Смена вех» (Прага, 1921), в котором попытались по-новому оценить сложившуюся обстановку, считали, что советская власть в основе своей выражает чаяния народные и с ней необходимо сотрудничать

ОТЧУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЕГО МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Данная работа — это доклад И А Ильина на немецком языке «Die Enteignung in Russland und ihre Bedeutung für die Welt», прочитанный им в октябре 1928 г в городе Герлице на съезде союза немецких домовладельцев и земельных собственников Отчет о выступлении поместила парижская газета «Возрождение» (№ 1182 от 30 октября 1928 г) Ввиду исключительного успеха доклада союз организовал повторное выступление русского ученого уже в Берлине 30 октября, сняв для этого самое большое помещение «Neue Welt Hasenheide» с четырьмя залами общей вместимостью 14 тысяч человек Ильин выступал у микрофона в глав-

ном зале перед пятитысячной аудиторией, в остальных залах, набитых до отказа, его речь слушали по радио Выступление было настолько впечатляющим, что неоднократно прерывалось бурными аплодисментами и одобрительными выкриками (Подробнее см об этом в № 1252 газеты «Возрождение» от 5 ноября 1928 г)

В том же году доклад появился в печати в немецком серийном сборнике «Schriften des Zentralverbandes deutscher Haus- und Grundbesitzervereine Bericht über den 49. ordentl Zentralverbandstag in Görlitz» Berlin, 1928 — 5 Heft (Труды центрального союза немецких домовладельцев и земельных собственников Известия 49-го планового собрания Центрального союза в Герлице — Берлин, 1928 — № 5)

На русском языке печатается впервые по указанному изданию Перевод с немецкого сделан И С Андреевой Текстологическая работа проведена З Г Антипенко

[1] Подробности высылки антисоветской интеллигенции из Советской России см в приложении № 2 к настоящему тому

[2] И А Ильин имеет в виду идею немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте (1762 — 1814) о создании самодостаточного, замкнутого в себе, экономически изолированного от остального мира национального немецкого государства Это центральная идея книги Фихте «Замкнутое торговое государство» (1800), в которой он обосновывает свой проект устройства немецкого общества

[3] *Войтинский* Владимир Сергеевич (1885 — 1960) — русский экономист и статистик. Во время революции 1905—1907 гг — большевик, с февраля 1917 г — меньшевик, после октябрьского большевистского переворота находился в Грузии и сотрудничал с местным правительством до его падения в 1921 г Затем эмигрировал в Германию, а в 1935 г — в США

[4] *«uti et fruti»* (*лат*) — «пользуйся и наслаждайся»

РУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Впервые статья опубликована в газете «Россия и Славянство» (Париж, 1930 — № 61 — 25 янв — С 3) Этот номер был целиком посвящен 175-летию Московского университета Здесь печатается по указанному источнику

[1] Диссертантом, выпущенным из чрезвычайки, был сам Ильин, первым оппонентом — его научный руководитель Павел Иванович Новгородцев, вторым оппонентом – кн Евгений Николаевич Трубецкой Защита диссертации «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» состоялась 19 мая/1 июня 1918 г

[2] Речь идет о П И Новгородцеве и Е Н Трубецком

[3] Имеется в виду ЧК

[4] Например, «профессор-юрист Н А Каблуков экзаменовал своего студента Свободного времени у студента в тюрьме было много, и он блестяще подготовился к экзамену» (см Новиков М М От Москвы до Нью-Йорка – Нью-Йорк, 1952 — С 291—292)

[5] *Стеклов* (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873 — 1941) революционный деятель, меньшевик, после Февральской революции как и

Троцкий, большевик Вместе с Троцким как член Исполкома Петросо вета летом 1917 г был фактическим правителем в Петрограде — Вре менное правительство пасовало перед его наглыми выходками После октября 1917 г стал редактором газеты «Известия», журналов «Новый мир» «Красная нива» Специалист по истории марксизма и революци- онного движения, академик Ильин описывает его превращение из революционера и политика в «ученого»

[6] *Каносса* — замок маркграфини Матильды в Северной Италии, где с января 1077 года в ходе борьбы за инвеституру отлученный от церкви и низложенный император Священной Римской Империи Генрих IV униженно вымаливал прощение у своего противника римского папы Григория VII В переносном смысле «идти в Каноссу» — согласиться на унизительную капитуляцию

[7] Фамилию этого «невозвращенца» установить не удалось М Кани вез жена дипломата Ф Ф Раскольникова в своих воспоминаниях упо минает, что одним из первых «невозвращенцев» был Беседовский, со ветник полпредства в Париже, убежавший через забор полпредского сада в 1929 году (см Минувшее Исторический альманах — М 1992 — Т 7 — С 62)

[8] *Ясинский* Всеволод Иванович (1884 — 1933) — русский ученый инженер, в 1922 г выслан из Советской России, был «старостой» высы- лаемых на «философском пароходе»

[9] *Волков* Александр Александрович — профессор математики

[10] *Астров* Александр Иванович — профессор механики и гидравли- ки, брат известного кадета Астрова Николая Ивановича (1868—1934) входившего в «Союз возрождения России»

[11] *Лазаревский* Николай Иванович (1868 — 1921) — профессор пра ва и законодательства Петроградского университета

ЯД БОЛЬШЕВИЗМА

Впервые работа вышла отдельной брошюрой в издательстве «Борьба за культуру» (Женева, 1931 — 48 с) Имеется немецкий вариант этой брошюры (см наст Собр соч , т 7) Переведена на многие европеи ские языки, в частности на шведский Bolsjevismens anda och vilsen /vers av G Nordstrand Stokholm Svea Rikes Fore, 1933 70 S

Публикуется по первому изданию

[1] По этому вопросу отсылаем читателя к современному обширному исследованию П е т р е н к о Н Ленин в Горках — болезнь и смерть (Источниковедческие заметки)// Минувшее Т 2 — М , 1990 — С 143—287

[2] *Мюнцер* Томас (ок 1490 — 1525) — немецкий вождь и идеолог крестьянско-плебейских масс в Реформации и Крестьянской войне 1524—1526 гг в Германии В религиозной форме проповедовал идеи на- сильственного ниспровержения феодального строя и передачи власти наро- ду и установления общества без эксплуатации и частной собственности

[3] Всесоюзное Общество культурных связей с заграницей (1925—1958)

МУЧЕНИЧЕСТВО РУССКОЙ ЦЕРКВИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ДРУГИХ СТРАН

Лекция Ильина впервые была опубликована в брошюре на немецком языке «Was hat das Martyrium der Kirche in Sowjet Rußland den Kirchen der anderen Welt zu fragen?» (О чем говорит мученичество церкви в Советской России церквам остального мира?), которая была издана в 1936 г. в германском городе Лемго при поддержке общества «Russische Bruderhilfe» («Помощь русским братьям»), — организацией, созданной евангелическим пастором К. Эвербеком для помощи русским православным священникам. Ее помощь распространялась также и на патриотически настроенную православную русскую эмиграцию. Ильин сотрудничал с этой организацией и напечатал в ее издательстве несколько брошюр, первой из которых была именно эта. Последующие три были переведены и опубликованы нами в т. 7 наст. Собр. соч.

Указанная работа на русском языке публикуется впервые. Перевод с немецкого сделан З. Г. Антипенко.

[1] На обложке брошюры после названия идет следующий текст: *«Доклад проф. д-ра И. Ильина, ныне жителя Берлина; прежде — жителя Москвы.*

Послесловие — пастыря Штенцеля, прежде священника приходов на Волге и на Урале — прочитанное им перед пастырями Шлезвиг—Гольштейна, Гамбурга и Берлина.

Лемго, 1936.

Издано общиной «Помощь русским братьям» в Лемго».

Брошюра И. А. Ильина предваряется вводным словом пастора Эвербека, которое мы приводим ниже:

«Вводное слово

Доктор И. Ильин, автор предлагаемой брошюры (с 1909 года доцент, затем профессор, преподаватель философии права в Московском университете), после множества арестов, грозящих ему смертной казнью, был (в 1922 году) выслан из страны и сейчас проживает в Берлине в качестве приват-ученого.

В предлагаемой работе, на основании личного опыта и глубокого научного анализа, он говорит о своих расхождениях с ныне действующими силами и течениями, порожденными большевизмом. А поскольку он судит о них с христианской точки зрения, он обращается к христианским церквам (которые на сегодняшнем этапе тоже находятся в тяжелейших условиях духовной борьбы), указует им путь, по которому они должны следовать, если когда-нибудь захотят устоять перед судом Божиим.

Сначала эти записки были прочитаны автором в форме доклада перед представителями епархий Шлезвиг—Гольштейна (в Нойминстере и Флейсбурге), а затем и Гамбурга (декабрь, 1935).

Прием, который вызвал доклад И. А. Ильина, показался нам достойным того, чтобы сделать его достоянием более широких общественных кругов.

К тому же на этих собраниях была представлена возможность выступить с заключительным словом пастору Штенцелю (из Берлина—Нойкёльна), который до своего побега из России служил в приходе люте-

ран-немцев Поволжья и на Урале и на собственной шкуре вынес опыт знакомства с большевиками

Доклады такого рода задуманы как дополнение к проводимым общиной «Помощь русским братьям» торжественным собраниям и вечерам с епископом, это больше всего подходит широкому кругу общины, которая ставит своей задачей обстоятельно знакомить епархию с происходящим в России, касающимся непосредственно церкви и христианского учения

Надеемся, что публикация этих документов окажет услугу множеству братьев по роду службы, старейшинам, членам наших общин в делах, связанных с современным положением церкви

Лемго (Липпе), 5 июня 1936

Подпись Эвербек, суперинтендант»

[2] Подразумеваются два произведения Ф Ницше «По ту сторону добра и зла» (1886) и «Антихрист» (1895)

[3] Этим церковным хором руководил русский эмигрант Орлов Николай Степанович, проживавший в г Лемго (Германия) Он был организатором пропагандистских поездок общества «Russische Bruderhulfe» («Помощь русским братьям»), во время которых читался доклад о положении дел в России и выступал хор Часто на эти мероприятия приглашался с лекциями И А Ильин

[4] Имеется в виду Польский Михаил Афанасьевич (1891 — 1960) — протопресвитер Русской Православной Церкви Бежал из России в 1930 г после заключений в тюрьмах и лагерях Жил в Палестине, потом был настоятелем прихода в Лондоне Умер в Америке

[5] Речь идет о так называемой «обновленческой церкви»

[6] *Петр* (в миру Петр Федорович Полянский) (1862 — 1937) — митрополит Крутицкий, местоблюститель патриаршего престола 10 декабря 1925 г был арестован органами ГПУ и провел 12 лет в полной изоляции в одиночной камере Его жизнь и мученическая смерть подробно описаны в книге иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия» (Кн 2 — Тверь, 1996 — С 314—369)

[7] Антоний (Быстров) (? — 1932) — архиепископ Архангельский, умер в тюрьме, священномученик

[8] Вениамин (Воскресенский) (? — 1932) — епископ Тутаевский, викарий Ярославской епархии, священномученик, умер в заключении

[9] Владимир (Соколовский-Автономов) (? — 1931) — архиепископ Екатеринославский

[10] Дмитрий (Вербицкий) (? — 1932) — архиепископ Киевский

[11] См Достоевский Ф М Полн собр соч В 30 т — Т 14 — Л , 1976 — С 100

[12] *Штраус* Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий теолог и философ-младогегельянец В своем сочинении «Жизнь Иисуса» отрицал достоверность Евангелий и считал Иисуса Христа исторической личностью

[13] В конце брошюры напечатано заключительное слово пастора Штенцеля, которое мы здесь помещаем

«Заключительное слово к докладу г-на д-ра И Ильина «О чем говорит мученичество Церкви в Советской России Церквам остального мира?», прочитанному им 10 декабря 1935 года в Фленсбурге перед собранием пас-

торов (их родственниками и сослуживцами) евангелическо-лютеранской церкви Шлезвиг—Гольштейна в связи с манифестациями общины «Помощь русским братьям» в Лемго

Высокочтимые отцы и братья, любезные матери и дочери! Позвольте мне сделать кратенькое послесловие, о котором попросила меня «Помощь русским братьям» во главе с ее председателем г-ном Эвербеком, суперинтендантом земли в Лемго (Липпе), и ее представителем здесь г-ном проповедником Орловым

Почему и для чего потребовалось от меня это послесловие?

Господин профессор доктор Ильин и господин проповедник Орлов — люди русские и, как таковые, говорят нам в основном о своем Отечестве и о Русской Православной церкви, я же намереваюсь выступить перед вами как евангелист-лютеранин, как немец из России, как бывший пастор общины волжских немцев, чтобы рассказать вам о том, что означает великая драма русских для диаспоры немцев-лютеран в России (на службе у которых я состоял 20 лет), а может быть, и для немецкой евангелическои церкви здесь, на родине Реформации, которой я отныне, как беженец, намереваюсь служить в качестве пастора церковного прихода в Берлине, полагаю, что мы отбросим в сторону надменность, обретем слух, чтобы слышать, и сердце, чтобы поддержать

Все мы бесконечно благодарны г-ну проф-ру д-ру Ильину за его речь, преисполненную основательных познаний и теплом его души И не только за научную безупречность сказанного мы благодарны ему, но и за то волнение, которое он, так или иначе, вызвал в нас, чтобы мы многое из его мыслей, обдумав и прочувствовав в дальнейшем, перенесли на свой народ и на немецкую евангелическую церковь

В чем же заключается русская драма и в чем ее значение для мира? Не в том, что русский народ лишили сил и отняли благополучие — с этим как-то справился бы любой народ А в том, что мы, христиане, видим, как у русского народа отнимают последнее — его веру, его свободу, его святую Апостольскую Православную Церковь

А она, свидетельствую как немец-лютеранин, выросший в России, была великой, это была не столько государственная, сколько, прежде всего, народная церковь — могучее царство духа

Русская Православная Церковь, если подходить к ней с внешней стороны, насчитывала 46 437 церквей, 21 747 молельных домов и часовен, 50 900 священников, 15 210 дьяконов, 45 703 псаломщика, 497 мужских монастырей (17 430 монахов), 419 женских монастырей (52 032 монахини), Святая Православная Русь, как писал великий Достоевскии, насчитывала 100 млн верующих

Гораздо меньшим числом римско-католических христиан, в 2 млн немецких лютеран, защищали мы, плечом к плечу, Восточное православие — защищали христианство там, далеко, на Востоке, у самых границ с Азией под покровительством российского двуглавого орла

И вот взошла над Россией красная звезда и спалила дотла эту землю сегодня проходит, как видно, Русская Православная Церковь, пользуясь своим Апостольским правом быть лучшей носительницей древней традиции — и блаженна она в осознании этого — вместе со своей младшей сестрой, немецкой лютеранской церковью, свой последний путь

Сегодня, с точки зрения ее организации, она лежит в развалинах — мученическим венцом увенчанная, кровью истекающая

Но даже этот большевистский сатанизм, при всех человеческих слабостях со стороны верующих, о которых мы теперь заговорили, не спосо бен искоренить религию

Христианская церковь России уже доказала это миру миллионы верующих ее сыновей стали мучениками, стали святыми

Христиане в сегодняшней России говорят нам «То, что мы сейчас порабощены, — не самое худшее, то, что мы голодаем, означает всего лишь более быструю смерть, самое худшее в том, что нам запрещают веровать Передайте христианской церкви мира наш привет и скажите, пусть постоянно молится за нас, чтобы мы пребывали достойными оставаться верными ей до конца своей жизни»

А в пределах этой великой Руси все еще жива, хотя и смертельно больна, дочь немецкой евангелической церкви маленькая лютеранская церковь нашей диаспоры на русской земле, к ней обращены сердца и уста около 2 млн немцев-лютеран

Из 800 протестантских, преимущественно евангелическо-лютеранских да и евангелическо-реформатских церквей, уцелели пока только 10, и из 230 протестантских пасторов живы пока 83 Из них 47 сосланы на Север России на принудительные работы, для 20 — служба запрещена, 18 пока что служат

Наша маленькая, в основном евангелическо-лютеранская церковь, когда-то гордая принцесса, сейчас нищая батрачка в лохмотьях! Наследие Лютера в России!

Русская душа! Ужасные гонения на христиан XX века! Если сравнить их с гонениями на христиан в Древнем Риме, то беспримерность их состоит, во-первых, в том, что Россия являет собою самую великую прочную империю в мире, насчитывая 100 млн христиан, в то время как в древнеримской империи христиан было куда меньше, а во-вторых, в том, что гонения на русских христиан были организованы со стороны государства по всей обширной империи (которая в 50 раз больше немецкого рейха), одновременно и сразу, в то время, как в Риме они вспыхивали в отдельных провинциях и зависели, как правило, от дружелюбия или враждебности тогдашних прокураторов

Вот почему мы с полным правом можем сказать, что такой борьбы, которая с завидным упорством и напряжением ведется вот уже 20 лет, история пока не знала

По степени социальной и политической тирании эти гонения есть нечто невиданное, нечто небывалое пред ними меркнут все кошмары инквизиции, а для нас, лютеран, и все ужасы 30-летней войны

Как очевидец происходящего беру на себя смелость заявить, что проблема антихриста нашла в наше время свое разрешение в идеологии большевизма

Чем же ответит русский православный народ, весь православный мир, в том числе и наши лютеране, на эти организованные государством гонения?

Что касается лютеранских приходов, то я считаю, что мы все знаем, с какой преданностью относится евангелическая община нашей диаспоры к своей церкви она для нее не только религиозный, но и национальный центр, которому она всегда готова отдать свою любовь, свою веру, готова принести себя в жертву

Русский стал теперь вести интенсивную религиозную жизнь, теряющуюся нередко в невиданных глубинах его сердца и обретающую такие формы, которые для стороннего, нерусского взгляда непостижимы, вот почему в Западной Европе нередко говорят о застывшем в своих формальностях православии, в рамках которого дальнейшее развитие невозможно, да и ни к чему

Но что мы видим на Востоке?

Великие испытания не только не притупили религиозный дух в русском народе, а наоборот — пробудили и очистили его сердца, видно, не зря берлинский профессор-теолог, занимающийся историей миссионерства, д-р Юлиус Рихтер, сказал недавно нам, немцам в России, такие слова «Русский народ — самый религиозный христианский народ на Земле»

Однако нельзя закрывать глаза и на тот факт, что разрушительная работа коммунистов, — в ходе которой одни, более стойкие духом, возвышались и очищались, другие, более слабые, гибли, имела для духовной жизни народа в целом те последствия, — привела его к смертельной усталости и утрате духовных ценностей

Последнее столько же относится к русским православным, сколько и к немецким лютеранам С историко-религиозной точки зрения в тяжкую годину весомо не только поведение верующих, но и духовенства И здесь я должен сказать, что усилия патриарха Московского и всея Руси Тихона по достижению внутреннего согласия и внешнего единения духовенства все же не смогли сдержать сатанинского натиска коммунистов

О том, что православное духовенство вместе с лютеранским повело оборонительную борьбу, говорит число мучеников и пролитая ими в этой борьбе кровь, которая, как говорится в одной православной молитве, именуемой тропарем, «словно пурпуром-виссоном украшает Божий храм»

И чем глубже был раскол среди духовенства, тем явственнее была вина тех, кто способствовал ему Новые деноминации типа «живая церковь», «обновленческая церковь», различие во мнениях порождали напряженность, напряженность вела к противоречиям, противоречия приводили к расколу При этом зачастую речь шла исключительно о посторонних вещах, вовсе не касающихся сущности церкви

В том, что в период этих смут и раздоров внутри православной церкви враги ее извлекали для себя немалую выгоду, сомнений нет Мрачный капитал, однако, эти раздоры и этот раскол в христианской церкви!

Посетуем, взывая к Богу истории церкви с самого начала знакомы эти распри, которые приводили к расколу И всегда при этом был tertius gaudens <(лат.) «третий радующийся» — третье лицо, извлекающее пользу из борьбы двух противников>, всегда был третий, который радовался этому и извлекал из этого пользу когда-то это было древнее язычество, теперь — большевистское безбожие, или то же неоязычество

Однако ж, и возблагодарим Бога эти расколы преодолевались таким проникновенным примирением, что от них в памяти верующих не оставалось и следа

Духовенство в России оставило славную страницу в своей истории оно побороло церковные распри, укрепило в людях доверие, они борются плечом к плечу, они умирают, они побеждают Все эти смуты ценны лишь как доказательство того, что их преодоление для здорового, пропитанного христианским духом примирения религиозного сознания возможно

Удавалось же оно и может удаваться только тогда, когда у всех живо сознание единства церкви и когда ни одна из церковных партий не считает себя абсолютно непогрешимой

Неминуемый раскол в церкви неизбежно наступает тогда, когда христиане (как представители различных стран и народов) так далеко расходятся в своей морали, в своих мировоззренческих установках и своих исторических судьбах, что кажутся уже друг другу чужаками

А мы, немцы-лютеране, думаем, что есть византийско-восточная, римско-романская, виттенбергско-северная <вера> Мы знаем, особенно из опыта нашей евангелической немецкой диаспоры Евангелие всегда преломляется через призму народов

Как христиане мы всегда радуемся малейшему примирению, малейшему воссоединению

Вы как члены евангелическо-лютеранской церкви земли Шлезвиг—Гольштейн, все мы, принадлежащие к немецкой евангелической церкви, думаем при этом и о современном положении немецких протестантов не пора ли бы и им объединиться, пока не поздно

В надежде на единство верующих евангелистов и немецкого народа позвольте мне, лютеранину, пастору немецкой диаспоры в бескраиних степях Поволжья России, закончить и передать вам одну мысль из Нового Завета если мы дети, значит, мы и наследники

Вдумываясь в смысл сказанного, мы находим в нем отклик и себе раз мы дети народа, немецкого народа, значит, мы наследники веры, лютеранской веры

Не об этом ли говорит нам с точки зрения немцев-лютеран мученичество церкви в Советской России

Пастор Штенцель
Берлин—Нойкельн»

КРУШЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА

На титульном листе рукописи, хранящейся в Архиве И А Ильина (кор 22, д 2) стоит пометка философа «*Крушение коммунизма* Публичная лекция Рига 1937 2 марта (завуалированный материал из семи фельетонов моих в Возрождении)» Речь идет о семи статьях Ильина 1931 г в газете «Возрождение» под общим названием «Кризис социализма» Здесь печатается по указанной рукописи

[1] Лк 2, 14

[2] Так в тексте Подразумевается «все»

РЕЧИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ВОЗЗВАНИЯ

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ

Эта работа представляет собой публичную речь, произнесенную И А Ильиным на открытии Русского научного института в Берлине 17 февраля 1923 г Впервые опубликована отдельной брошюрой в издании общества «Прессе» (Берлин, 1923 — 32 с) Из письма И А Ильина к П Б Струве от 4 IV 1923 г узнаем «На днях вышлю Вам мою речь на открытии Института, она вышла отдельной брошюрой Отдель-

ный экземпляр передам в Редакцию Русской Мысли За эту речь меня пакостно полаяли уже Керенский и Милюков» (РГА, ф 5912, оп 1, ед хр 60, л 9 об, см также дополнительный том к наст Собр соч «Дневник Письма Документы (1903—1938)» — М, 1999 — С 123)

Печатается по первой публикации

Русский научный институт — организован в Берлине в январе 1923 г русскими эмигрантами для русской эмигрантской молодежи Было открыто 3 факультета историко-филологический, юридический, коммерческий и сельскохозяйственные курсы В первом зимнем семестре 1923/24 г читались обязательные курсы «История древней философии», «Логика», «Этика», «Введение в языкознание», «Древняя история», «История средних веков», «Древняя русская история», «Новая русская история», «Новая русская литература (Толстой и Достоевский)», «Латинский язык», «Новые языки», «Общая теория права», «Учение о правосознании», «История русского права», «История римского права», «Русское государственное право», «Конституционное право», «Политическая экономия» и др Лекции читали профессора института С Л Франк, С И Гессен, Н А Бердяев, Э Г Штерн, Л П Карсавин, А А Кизеветтер, Ю И Айхенвальд, Н Н Алексеев, И А Ильин, Д Д Гримм и др (подробнее программу см РГА, ф 5774 оп 1, ед хр II, л 24)

[1] *Протофеномен* — слово, образованное от *греч* πρото — первый (первая часть составных слов, означающая первенство, первичность или первобытность чего-нибудь) и φαινόμενον — *букв* являющееся, то же, что и явление (в некоторых философских системах — внешняя, чувственно-данная сторона явления, в отличие от скрытой, постигаемой только умом ее сущности — ноумена)

[2] *Секуляризация* (*лат* saecularis — светский) — освобождение от церковного влияния в общественной и умственной деятельности, в художественном творчестве

[3] *rebus sic stantibus* (*лат*) — при данном положении вещей

РЕЧЬ И. А. ИЛЬИНА

Речь, произнесенная на Российском Зарубежном съезде Впервые опубликована в газете «Возрождение» (Париж, 1926 — № 312 — 10 апр — С 1) Здесь печатается по газетной публикации, сверенной с машинописным текстом, хранящимся в Гуверовском архиве Hoover Institution P B Struve Collection Box 39, folder 1

[1] Речь идет о Великом Князе Николае Николаевиче

К ЦЕРКОВНОМУ СОБОРУ 1938 ГОДА

Воззвание хранится в Архиве И А Ильина (кор 70, д 1) Автограф Публикуется впервые по этому источнику На рукописи пометка «Послано Лопухину 1938 20 V»

Лопухин Петр Сергеевич — публицист, русский зарубежный церковный деятель

[1] Первая часть этого документа представляет собой подготовительный незаконченный материал к его второй части

РАЗВАЛ «МОНАРХИЧЕСКОГО СОВЕТА»

Статья хранится в Архиве И А Ильина (кор 70, д 2) Машинопись Подписана псевдонимом Ильина «Юстус»

Публикуется впервые по этому источнику

[1] *Скаржинскии* Петр Васильевич (1883 — 1956) — член Высшего Монархического Совета, его председатель с 1940 года, издавал в Мюнхене «Известия Высшего Монархического Совета»

[2] Имеется в виду Великий Князь Николай Николаевич

[3] Речь идет о Ледяном походе Корнилова

[4] *Носович* В П — не установлен

[5] *Масленников* А М — член Высшего Монархического Совета

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часть I. ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИЛЬИНЫХ

Автографы материалов, помещенных в этом разделе, хранятся в семейном архиве родного племянника И А Ильина Святослава Игоревича Ильина (Москва), которому мы выражаем глубокую благодарность за сохранение этих ценных документов и предоставление их для издания в настоящем томе

1

КАТЕХИЗИС

Автограф представляет собой небольшую (30 страниц) рукописную книгу, содержащуюся в специальном красном кожаном футляре с выбитой на нем буквой «И» Эта книга — наставление прадеда И А Ильина Ивана Ильича Ильина своему сыну — Ивану Ивановичу Ильину Подробнее о семье Ильиных см альбом «Иван Ильин и Россия» (М Русская книга, 1999)

Этот важный документ не только дает возможность установить год рождения прадеда философа — Ивана Ильича Ильина (1764), но и почувствовать атмосферу семейной жизни и процесс воспитания в семье Ильиных

Публикуется впервые

[1] Так в тексте Возможно, пропуск

ПИСЬМА И. А. ИЛЬИНА К РОДНЫМ

1

[1] Открытка, посланная Ильиным из Парижа своему отцу Александру Ивановичу Ильину во время научной командировки в Западную Европу (1911 — 1912)

Публикуется впервые

2

[2] Открытка, посланная Ильиным из Флоренции своей родной тетке Аделаиде Юльевне Швейкерт (в замужестве Левкович) во время научной командировки в Западную Европу (1911 — 1912)

Публикуется впервые

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕКРЕТНОГО АРХИВА ЦК ВКП(б)

Копии публикуемых документов были переданы составителю известным архивистом Габриелем Суперфином (г Бремен), которому мы выражаем огромную благодарность Мы воспроизводим эти документы по первоисточникам с сохранением стилистических и некоторых грамматических особенностей и явных неточностей, для того чтобы показать степень осведомленности карательных органов того времени, в спешке проводивших акцию по высылке за границу из Советской России в 1922 году ученых, философов и литераторов Эти документы дополняют уже известные материалы по этому вопросу, опубликованные нами ранее Они интересны также тем, что показывают важную роль Сталина, о чем при освещении этих событий обычно не упоминалось, руководство этой акцией приписывалось Ленину, Троцкому, Каменеву и Зиновьеву

1

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 31) Стоит печать Дата *24/VII-22 № 9464 с* На документе имеется еще три печати Секретный Архив Ц К В К П (б) Инв № 205, Прот П Б № *10* п *8*, Дело № *41, 33*

[1] Тексты документов напечатаны на машинке Вписанное рукой мы даем курсивом, подчеркнутое карандашом даем полужирным шрифтом

2

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 32) Интересно отметить, что этот единственный документ из предлагаемой подборки напечатан на типографском бланке, заготовленном для *тридцатых годов*, т е более позднего периода Может быть, этот документ был восстановлен в тридцатые годы

3

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 33) Стоит печать Дата *31/VII-22* На документе имеются еще три печати Секретный Архив Ц К В К П (б) Инв № 205, Прот П Б № *10* п *8* (зачеркнуто), Дело № *41, 33 382*

[2] Подпись заверена круглой печатью Государственного Политического Управления НКВД

4

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 34) На документе имеются три печати Секретный Архив Ц К В К П (б) Инв № 205,

Прот. П. Б. № *10* п. *8;* Дело № *41, 2,* а также пометка: «Политбюро. Сталину!!»

5

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д. 5, л. 35). Стоит печать: Дата *12/VIII-22.* Вх. № *10477/с.*

[3] Подпись заверена круглой печатью Государственного Политического Управления НКВД.

6

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д. 5, лл. 37—39).

[4] *Брилинг* Николай Романович (1876 — 1961) — ученый-инженер, академик, специалист по автомобилестроению, двигателям внутреннего сгорания, теплотехнике.

[5] *Велихов* Павел Аполлонович (1875 — 1930) — кадет, профессор, инженер путей сообщения, ученый-специалист в области строительной механики, строительных материалов и мостостроения. 22 августа 1922 г. арестован по обвинению в «антисоветской деятельности», 23 апреля 1923 г. освобожден под подписку о невыезде из Москвы, 21 апреля 1927 г. его дело было прекращено в связи с неподтвержденными обвинениями. Но 12 июня 1929 г. был вновь арестован, а 4 апреля 1930 г. приговорен к высшей мере наказания и 27 мая расстрелян. Посмертно реабилитирован. Судьба его характерна для людей, избежавших высылки 1922 г.

[6] *Лоскутов* Николай Николаевич (1871 — ?) — проходил по делу «Тактического центра» в 1920 году, в 1921 освобожден, но позже подвергся репрессиям.

[7] В документе стоит ошибочный первый инициал. Ясно, что речь идет об Ильине И. А.

[8] *Фельдштейн* Михаил Соломонович (1884 — 1939) — профессор-правовед, проходил по делу «Тактического центра» в 1920 году, в 1921 освобожден, но позже расстрелян.

[9] *Рыбников* Александр Александрович (1877 — 1938) — профессор Тимирязевской академии и МГУ. Позже в 1932 проходил по делу «Трудовой крестьянской партии», был осужден на 5 лет. После отбытия срока был вновь арестован и приговорен к расстрелу.

[10] Так продублировано в списках.

[11] *Кондратьев* Николай Дмитриевич (1892 — 1938) — эсер, входил в «Союз возрождения России» (1918), В 1932 проходил по делу «Трудовой крестьянской партии», был осужден на 5 лет. После отбытия срока был вновь арестован и приговорен к расстрелу.

[12] *Озеров* Иван Христофорович (1869 — 1942) — экономист, профессор финансового права Московского университета.

[13] *Кравец* Торичан Павлович (1876 — 1955) — профессор, физик, специалист по физической оптике, скрытому фотографическому изображению.

[14] *Изгарышев* Николай Алексеевич (1884 — 1956) — профессор, электрохимик, специалист по защите металла от коррозии.

[15] Имеется в виду *Мякотин* Венедикт Александрович (1867 — 1937) — народный социалист, входил в «Союз возрождения России» (1918) В 1920 г проходил по делу «Тактического центра», был объявлен «врагом народа» и заочно приговорен к расстрелу

[16] *Пешехонов* Алексей Васильевич (1867 — 1933) — народный социалист, входил в «Союз возрождения России» (1918) В 1920 г проходил по делу «Тактического центра», был объявлен «врагом народа» и заочно приговорен к расстрелу

7

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 45)

8

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 50) У составителя имеется только содержащий сведения об И А Ильине л 50 этого перечня характеристик

[17] кадетами

[18] не установлена

9

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 77) Имеется рукописная пометка (Езерской) «Вражд<ебные> партии и группировки»

10

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, лл 78—81)

[19] *Юровский* Леонид Наумович (1884 — 1938) — профессор Московского планово-экономического института, начальник валютного управления, член Коллегии Наркомфина СССР В 1932 г проходил по делу «Трудовой крестьянской партии», был осужден на 8 лет После сокращения срока был вновь арестован и приговорен к расстрелу

11

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 82) На документе виза Валериана Куйбышева Имеется рукописная пометка (Езерской) «Вражд<ебные> партии и группировки»

12

Оригинал хранится в архиве РЦХИДНИ (д 5, л 83)

Часть III. ДОКУМЕНТЫ, В СОЗДАНИИ КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ И. А. ИЛЬИН

<ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ>

Материалы хранятся в Архиве И А Ильина (кор 70, д 2) Машинопись Документ был прислан Ильину его соратником (не установлен) Другая пометка неизвестного лица *«Для И А И»*

Публикуется впервые по указанному источнику

[1] Год вставлен рукою Ильина Здесь речь идет об акте самопровозглашения Вел Кн Кирилла Владимировича Императором

[2] *Зызыкин* Михаил Валерьянович (1880 — 1960) — историк, правовед, монархист Проживал в Аргентине Речь идет о книге М Зызыкина «Царская власть и закон о престолонаследии в России» (София, 1924)

[3] Вел кн Дмитрий Павлович (1891 — 1942) — сын вел кн Павла Александровича, младшего сына императора Александра II, один из убийц Григория Распутина

[4] *Келлер* Федор Артурович (1857 — 1918) — граф, генерал от кавалерии, командир 3-го Конного корпуса, вместе с ген Хан Нахичеванским выразил преданность царю Николаю II в момент его отречения от престола и готовность вести свои войска для усмирения мятежа В 1918 г — Главнокомандующий гетманской армией на Украине, затем отстранен от должности, убит вошедшими в Киев петлюровцами

[5] *Вел кн Михаил* Александрович (1878 — 1918) — младшии брат Императора Николая II

[6] *Вел кн Андрей Владимирович* (1879 — 1955) — третий сын вел кн Владимира Александровича, сына Императора Александра II

[7] *Вел кн Виктория* Федоровна (1876 — 1936) — урожденная принцесса Саксен-Кобург-Готская Виктория-Мелита, дочь вел кн Марии Александровны и герцога Эдинбургского Альфреда, внучка Императора Александра II и английской королевы Виктории

[8] *Grand Orient (фр)* — Великий Восток

[9] Так в тексте

РЕЗОЛЮЦИИ БЕЛОГО СЪЕЗДА

Материалы хранятся в Архиве И А Ильина (кор 65, д 2) Машинопись Имеется сопроводительная заметка Р М Зиле «Пояснение к «Резолюции Белого Съезда»

Съезд был созван Ив Ал Ильиным По соображениям политической целесообразности (в связи с переездом Ив Ал Ильина летом 1938 года на жительство в Швейцарию — из Берлина) *дата* и *место* Съезда были в разосланных видным русским эмигрантским деятелям «Резолюциям» (примерно около 150 экз) *закамуфлированы* Съезд состоялся в Locarno-Monti в июле 1938 года (а *не* в августе—сентябре 1938 года, и *не* в Румынии)

Съезд представлял собой закрытое совещание ряда виднейших представителей русской национально-политической элиты в эмиграции

Цюрих, 26 окт 1965 года Участник Съезда и помощник И А Ильина по организационной части Съезда Р М Зиле»

Текст, по всей видимости, готовился Ильиным, но в окончательном виде является коллективным

Публикуется впервые по указанному источнику

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абрикосов В В — 484, 490
Августин, св — 520
Авель — 372
Авенариус Р — 34, 35, 37, 57, 58, 514
Авинов, профессор — 488
Агранов Я (Сорензон Я С) — 531
Айвазовский А — 163
Айхенвальд А А — 530
Айхенвальд Ю И — 485, 490, 541
Аксаков Н П — 123
Аксаковы К и И — 157
Александр из Гэльса — 30
Александр I — 124, 130
Александр I Карагеоргиевич — 214-216, 526
Александр II — 163, 290, 546
Александр III — 132, 134, 163
Александр Невский, св — 216
Алексеев М В — 134
Алексеев Н Н — 541
Алексей Михайлович, царь — 477
Алексий, митр — 264
Алексий, свт — 126
Алексинский Г А — 472
Алфимова В А — 479
Альбер Э д' — 32
Альфред, герцог Эдинбургский — 546
Амальрих Бенский — 65
Анастасий (Грибановский), митр — 163
Андерсен Г-Х — 251
Андреев И (Андриевский И М) — 163
Андреева И С — 533
Андрей Владимирович, вел кн — 497, 546
Анненков П В — 524
Аннунциата, св — 228
Ансельмо Кентерберийский — 30
Антипенко З Г — 523, 533, 535
Антоний Великий, св — 125
Антоний Падуанский, св — 21, 512
Антоний (Быстров), архиеп — 405, 536
Антоний (Храповицкий), митр — 263, 266, 267
Антонин (Грановский А А), еп — 264, 529
Апрелев Б П — 166
Арапова А П (Пушкина) — 187 525
Арбузов А Д — 484, 490
Аристотель — 109, 118, 422, 424
Арсеньев Н С — 161, 269
Артоболевский И А — 483, 490
Архимед — 250
Астров А И — 353, 534
Астров Н И — 139, 534
Астровы — 531
Ахматова А А — 164

Базаров В А. (Руднев) — 35-37, 514
Байков А Л — 479, 490
Байрон Д Н Г — 183
Бакал И Ю — 485, 489
Бакунин М А — 32, 42, 69, 136, 363
Бальмонт К Д — 166
Бальян — 502
Бандинелли — 224, 225
Баратынский Е А — 191
Бартенев П И — 523, 526
Бауэр Б — 33
Бах И С — 149
Беме Я — 22, 28, 49
Бергбом Ф — 60, 517
Бердяев Н А — 16, 18, 20-22, 37, 152-156, 266, 485, 490, 509, 511, 512, 522, 541
Березов Р — 166
Беркли Д — 57

Берман Я А — 36, 38, 39, 514
Бернар С — 31, 513
Бернгард Г — 320
Беседовский Г З — 502
Беччиолини — 225
Бисмарк О — 290
Биссолати — 237
Бицилли П М — 124, 269
Блаженная Анджела, св — 127
Блаженный Диадох, св — 125
Блок А А — 116, 164
Блок А Л — 116, 117, 519
Блудов Д Н — 192
Бобрищев-Пушкин А В — 532
Богданов А А (Малиновский) — 34, 49, 487, 514
Бойков А Л — 484
Бок М П (Столыпина) — 163
Болдырев Н — 117
Бордыгин В М — 484, 490
Борзов Н В — 160, 162-165
Борзова С Н — 166
Боровиковский В Л — 280
Бородин А П — 150, 280
Браманте Д — 223
Бриллинг Н Р — 483, 489, 491, 544
Броган Ж — 297
Бронштейн И Е — 492
Бруно Дж — 27-30
Брусилов А А — 251
Брут Марк Юний — 229
Брюллов К П — 174
Будберг А Р — 160
Булатов А А — 485, 489, 490
Булгаков С Н — 22, 23, 294, 509, 512
Булгарин Ф В — 186, 525
Бунин И А — 155
Бутру Э — 51, 52, 516
Бухарин Н Н — 143

Вагин А Н — 161
Вагнер Р — 31, 32
Вайнберг — 491
Вайсберг — 485
Валентинов А А — 530
Варнава, архим — 328, 530
Васильев Вен — 166
Васнецов В М — 31
Введенский А И — 264, 302
Вебер М — 10, 11, 12
Велихов П А — 484, 487, 489, 491, 544
Величко — 164
Вениамин (Воскресенский), еп — 299, 405, 536
Вересаев В В — 523-526
Вернадский Г В — 124, 269
Вестфаль Р — 149
Ветвинский — 160
Визе Л — 117, 519
Виклиф Дж — 520
Виктор Эммануил III — 528
Виктория Федоровна, вел кн — 499, 546
Виктория, королева — 546
Виленкин А А — 144
Вильгельм II — 158
Виндельбанд В — 54, 60, 516
Витте С Ю — 530
Владимир (Соколовский-Автономов), архиеп — 405, 536
Владимир Александрович, вел. кн — 546
Владимир Мономах — 280
Воинов С — 114, 518
Войтинский В С — 343, 533
Волков А А — 353, 531, 534
Волковыский Н М — 492
Волконская Н — 166
Вольский С А — 47, 50, 51
Вольтер — 408
Воровский В В — 301
Врангель П Н — 202, 205, 207, 210, 314, 324, 329
Врубель М А — 280
Вульф А Н — 525
Вульф М О — 30
Вырыпаев В — 164
Вышеславцев П И — 479
Вяземская В Ф — 186 526

Вяземский П. А. — 188, 209, 523, 524, 526
Вяземский П. П. — 186, 523

Габричевский Г. Г. — 163
Гамбачиани — 225
Ганнибал — 172
Ганнибал Н. О. — 172
Гафиз Ш. — 193
Гаэтано — 225
Гегель Г. В. Ф. — 15, 21, 24, 29, 38, 39, 51, 52, 71-74, 90, 136, 439, 533
Гельфонд А. О. — 514
Гельфонд О. И. — 35, 37, 38, 514
Генрих IV — 534
Гераклит — 91, 171
Гермоген, св. — 126
Герцен А. И. — 161
Гессен С. И. — 541
Гефдинг В. — 341, 349
Геффдинг Х. — 52, 516
Гильберт Д. — 514
Гиммельфарб — 24, 39
Гинс Г. — 163
Гитлер А. — 158, 319, 320, 512
Глинка Ф. Н. — 184, 524
Глинка М. И. — 150, 280, 306
Гогель С. К. (Gogel) — 129, 135, 520
Гоголь Н. В. — 157, 166, 191, 192, 280, 309, 395
Годвин У. — 32, 66, 513
Годунов Б. — 178
Гончаров И. А. — 175, 176, 524
Горемыкин И. Л. — 199
Городецкий — 474
Горчаков Н. — 164
Гохшиллер — 24, 39
Градовский А. Д — 116
Гребенщиков Г. Д. — 166
Григорий Синаит, св. — 125
Григорий VII — 534
Григорий IX — 512
Гримм Д. Д. — 541
Гримм И. Д. — 288
Грот Я. К. — 190
Грудкус Б. Д. — 492
Гуль Р. Б. — 531
Гурвиц Ф. — 31
Гурко Василий И. — 521
Гурко Владимир И. — 135, 136, 137, 139, 473, 521
Гус Я. — 236
Гусаров И. Е. — 492
Гусева Ф. — 530
Гуткин А. Я. — 492
Гюйо Ж. М. — 102

Даватц В. Х. — 353
Давыдов Д. В. — 175, 191
Давыдов И. А. — 7, 37, 514
Давыдова О. — 27
Дамаскин (Орловский), иером. — 530, 536
Данилевский Н. Я. — 157
Дарем Е. — 164
Дельвиг А. А. — 182, 186, 191, 193, 525
Деникин А. И. — 272, 273
Державин Г. Р. — 280, 306
Дерюжинский Г. В. — 160
Джемс В. — 51-53, 516
Джотто ди Бондоне — 223
Дзержинский Ф. Э. — 156, 522, 531
Дидковский М. — 145
Дидро Д. — 49
Дионисий — 280
Дицген И. — 37, 38, 514, 515
Дмитриевский — 502
Дмитрий Донской, св. — 284
Дмитрий Павлович, вел. кн. — 495, 546
Дмитрий Самозванец — 178
Дмитрий (Вербицкий), архиеп. — 405, 536
Добровольский — 286
Достовалов — 286
Достоевский Ф. М. — 22, 31, 128, 129, 142, 146, 157, 158, 170, 171, 184, 193, 279, 280, 306, 363, 395, 408, 427, 536, 541

Доулин — 302
Драгомиров М. И. — 132, 520
Драгони — 228
Дудоров Б. — 161, 163
Дузе Э. — 31, 513
Дуйе Ж. — 152
Дурново П. Н. — 199
д'Эрбиньи М. — 261-268, 294, 296, 298, 301, 302
Дю-Прель К. — 53, 516

Е. Ч. — 164
Евдоким, митр. — 263
Евдокимов П. И. — 491
Евлогий (Георгиевский), митр. — 530
Езерская — 488, 493, 545
Екатерина II — 133, 477
Еленин В. — 162
Елена Иоанновна, дочь Иоанна III — 166
Епифаний Кипрский — 517
Еремеев Г. А. — 492
Ермолаев Н. Н. — 491
Есенин С. А. — 362
Ефимов, профессор — 485, 491
Ефремов П. А. — 526

Жаковский И. И. — 166
Жаров С. А. — 149
Жирар — 32, 513
Жижка Я. — 518
Жуковский В. А. — 182, 189, 191, 192, 195, 280, 526
Жуковский Д. Е. — 12, 22, 27, 30

Забелин И. Е. — 206
Завалишин — 160
Зайцев К. И. (игумен Константин) — 163
Замятин Е. И. — 492
Зароченцев М. Т. — 166
Зворыкин В. К. — 166
Зворыкин В. В. — 483, 490
Зеверинг К. — 318, 530
Зеелер В. Ф. — 161
Зиле Р. М. — 546
Зиновьев Г. Е. — 283, 543
Зубашев С. Л. — 491
Зызыкин М. В. — 494, 546

И. Р. (криптоним Николая Трубецкого) — 285
Иванов Вяч. И. — 37
Ивановский А. А. — 524
Иерей (псевд.) — 164
Изгарышев Н. А. — 485, 490, 493, 544
Изгоев А. С. — 492
Израильсон, врач — 485, 491
Изюмов А. Ф. — 486, 489
Иисус, сын Сирахов — 524
Илиодор (Труфанов С. М.) — 328, 530
Ильин А. И. — 479, 542
Ильин В. Н. — 126, 269, 283, 284
Ильин Вл. (Ленин В. И.) — 57, 58, 517
Ильин И. А. — 58, 126, 159, 162, 164, 166, 269, 283, 284, 463, 484, 487, 490, 509-513, 517, 521-537, 540-542, 545, 546
Ильин И. Ильич — 542
Ильин И. Иванович — 475, 542
Ильин С. И. — 542
Ильины — 475
Иоанн III — 166
Иоанн IV Грозный — 178
Иов — 184
Ипатьев В. Н. — 166
Иринарх Отшельник, св. — 150
Исихия Иерусалимский, св. — 125

Каблуков Н. А. — 533
Казем-Бек А. Л. — 315
Казы-Гирей — 308
Каин — 372
Каменев Л. Б. — 481, 485, 486, 543
Канивез М. — 534
Кант И. — 7, 10-15, 17, 27, 31, 51, 54, 55, 81, 114, 511, 512, 516

Канцель Е. С. — 492
Карамзин Н. М. — 195
Карамзина-Мещерская Е. — 526
Карафф, кардинал — 300
Карл V — 41, 515
Карл XII — 158
Карпократ — 517
Карсавин Л. П. — 126, 283, 286, 492, 520, 541
Карташев А. В. — 122, 123, 125, 165, 269, 293
Кассо Л. А. — 197
Катон Утический — 229, 528
Каутский К. — 426
Каченовский В. — 175, 176
Кедровский И. — 302
Келлер Ф. А. — 496, 546
Кенэ, аббат — 293, 294, 296-298, 530
Кеппен Б. Г. фон — 474
Керенский А. Ф. — 541
Керн А. П. — 525
Кизеветтер А. А. — 485, 489, 521, 541
Кильчевский В. А. — 484, 489
Кипренский О. А. — 179, 280, 306
Кирбицкая Н. — 166
Кирилл Владимирович, вел. кн. — 494-499, 546
Кирилл, св. — 158
Кларк, судья — 302
Клезецкий, агроном — 485, 491
Климент Александрийский — 517
Климент VII — 515
Климов А. Е. — 530
Клокачева В. — 164
Ключевской В. О. — 279
Ключников Ю. В. — 286, 532
Коган А. С. — 492
Коген Г. — 54-57, 516
Козлов И. И. — 191
Козлов Н. П. — 485, 491, 492
Кокошкин Ф. Ф. — 141, 144
Колтыпина О. В. — 523
Колчак А. В. — 280
Кольцов А. В. — 191
Комиссаржевская В. Ф. — 31
Кондратьев Н. Г. — 134, 520
Кондратьев Н. Д. — 484, 489, 544
Конради М. — 301
Консолэ, адвокат — 225
Корнилов Л. Г. — 134, 280, 314, 542
Коробков Н. М. — 484, 490
Корсак В. — 164
Кравец Т. П. — 485, 489, 491, 544
Краевский А. А. — 190, 194, 526
Красин Л. Б. — 498, 514
Красницкий — 264
Кратил — 91
Кривошеин И. А. — 155
Кропоткин П. А. — 66, 68, 70
Крупенский А. Н. — 474
Косинский В. А. — 337
Кудрявцев В. М. — 486, 490
Кузьмин-Караваев Д. В. — 484, 490
Куйбышев В. В. — 545
Куинджи А. И. — 161
Куколевский И. И. — 483, 490
Курский Д. И. — 481, 485, 486
Кюстин А. де — 157

Л. И. Г., переводчик — 24
Л. М., переводчик — 12
Лавров П. Л. — 66
Лажечников И. И. — 523
Лазаревский Н. И. — 353, 531, 534
Лапшин И. И. — 491
Ларгельс Н. К. — 491
Ласк Э. — 54
Левкович А. Ю. (Швейкерт) — 479, 543
Ле-Дантек — 37
Лейбниц Г. В. — 28, 31
Ленин В. И. — 143, 260, 265, 307, 360, 376, 411, 509, 514, 521, 528, 534, 543
Леонтий (Туркевич), митр. — 166, 302
Лермонтов М. Ю. — 195, 280

Лечицкий П А — 134, 520
Ллойд Джордж Д — 138
Лобачевский Н И — 279
Ломоносов М В — 306
Лопухин П С — 541
Лоренц Ш фон — 116, 519
Лоскутов Н Н — 484, 487, 490, 544
Лосский Н А — 492
Лосский Н О — 12
Лукин А П — 161
Лукьянов С С — 532
Луначарский А В — 37, 38, 113, 114, 143, 518
Лупорини Д (Luporini) — 223- 226
Лутохин Д А — 491
Львов Н Н — 263, 473
Любимов Н И — 484, 489
Людовик XIV — 127
Людовик XV — 127
Лютер М — 392, 538
Люциан — 30

Магомет — 415
Маевский В А — 163
Майков Л Н — 525
Маймон (Хейман Соломон) — 14, 511
Мак-Авай — 302
Макарий Великий, св — 125
Макаров С О — 132, 520
Макиавелли Н — 454
Маккей Д Г (Mackay) — 24, 39, 41, 512
Маклаков В А — 155
Малинин А — 117
Малолетников Н В — 485, 489
Мария Александровна, вел кн — 546
Мария, монахиня — 160
Маркелов Г — 112, 113, 518
Марков Н Е — 470-474
Маркс К — 22-24, 33, 35, 38, 42, 47, 143, 394, 408, 411, 417, 420, 429, 437, 454, 512, 514, 519
Мартин — 302
Масленников А М — 474, 542
Матвеев И П — 484, 490
Матильда маркграфиня — 534
Маттеоти Дж — 228, 528
Матусевич И А — 485, 490
Мах Э — 34, 35, 38, 57
Махно Н И — 260, 360, 363
Маяковский В В — 362
Меерович Л С — 27
Мейер А А — 7, 12
Мейерхольд В Э — 143
Менделеев Д И — 279, 306
Менжинский В Р — 156, 314
Мерсье, кардинал — 267
Метнер Н К — 150, 280
Мефодий, св — 158
Мещерская М И — 526
Миллер, издатель — 24
Милюков П Н — 139, 541
Милютин Д А — 280
Михаил Александрович, вел кн — 496, 546
Михаил II — 496
Михаил (Польский М А), свящ — 161, 164, 397, 530, 536
Мицкевич А — 192, 526
Мнишек М — 178
Моисей — 190
Морис Ш — 32, 513
Моррель — 302
Моста — 32, 513
Муравьев А Н — 186, 525
Мусоргский М П — 150, 280
Муссолини Б — 225-234, 236-245, 247-250, 253-256, 259, 261, 324, 505, 527, 528
Муцухито Моэйдзи (Мутсу-Хито) — 290, 529
Мюнцер Т — 363, 534
Мякотин В А — 486, 490, 545
Мясоедов А — 166

Н Г-ая, переводчица — 24
Нанни Т — 242
Наполеон Бонапарт — 158, 240 241, 313, 528

Наторп П — 516
Нащокина В А — 176, 177, 524
Нелидова-Фивейская Л — 164
Нестеров М В — 280
Нечаев С Г — 363
Никифоров-Волгин В А — 160, 163
Николай I — 163, 192
Николай II — 132, 133, 280, 495, 496, 503, 546
Николай Николаевич, вел кн — 131, 134, 154, 497, 542
Ницше Ф — 243, 394, 408, 409, 536
Новгородцев П И — 27, 30, 60, 153, 353, 533
Новиков М М — 484, 487, 489, 531
Носович В П — 473, 542

Оболенский Н Л — 474
Овчинников Б М — 484, 486, 491
Одоевский В Ф — 526
Огановский Н П — 485, 491
Огородников Н А — 530
Озеренцовский В С — 485, 490
Озеров И Х — 485, 489, 544
Октавиан Август — 240
Ордын-Нащокин А Л — 150
Орлов Н С — 536
Орлов С И — 217-220, 527, 536
Осоргин М А — 485, 489
Оствальд В Ф — 38, 515
Островский А А — 492
Острогорский В П — 524
Отрепьев Г — 178
Оуэн Р — 513

П В (Петр Волконскии) — 294
Павел I — 163
Павел Александрович, вел кн — 546
Павлов И , крестьянин — 525
Павлов И П — 279, 306
Пакатский Г А — 524
Палиенко Н И — 58, 59, 62, 517
Пальчинский П И — 485, 490, 493
Пальяричи А дель — 300
Парето В — 235, 528
Паршин Н Е — 485, 490
Пельтерский А В — 492
Пересвет — 294
Петр I Великий — 136, 157, 158, 163, 172, 191, 198, 277, 279, 280, 285, 306, 386
Петр, ап — 264, 303, 331, 479
Петр (Полянский П Ф), митр — 400, 536
Петр, свт — 126
Петражицкий Л И — 60, 62
Петренко Н — 534
Петрищев А Б — 492
Пешехонов А В — 486, 489, 532, 545
Писарев Д И — 142
Платон — 67, 422, 532
Платон, митр — 302
Плеве В К — 132
Плетнев П А — 184, 524
Плеханов Г В — 36
По Э — 235
Погодин М П — 175, 178, 188 191, 523, 524, 525
Подрекка — 237
Покровская М К — 7
Покровский М Н — 352
Полунин А — 301
Польцер С И — 492
Попов М М — 525
Потебня А А — 279
Потехин Ю Н — 274, 286, 532
Прескотт В — 294
Прокопович С Н — 352
Прудон П -Ж — 32
Пугачев Е — 136, 363, 364
Пунпенский Л А — 492
Путята Н В — 525
Пушкин А С — 136, 149, 157 169-179, 181-196, 279, 280, 306 395, 417, 510, 512 523 524 525, 526

Пушкин Л С — 185, 524, 525
Пушкин С Л — 173, 526
Пушкина Н Н — 524, 525
Пущин И И — 186, 525
Пыпин А — 166

Радек К Б — 260
Радлов Э Л — 27
Разин С Т — 178, 363, 364
Раскольников Ф Ф — 534
Распутин Г Е — 530, 546
Рахманинов С В — 150, 280, 306
Ремизов А М — 261
Репин И Е — 31, 161
Решетов И — 492
Риккерт Г — 54, 516
Римский-Корсаков Н А — 280
Рихтер Ю — 539
Розанов В В — 129, 151
Розанов, врач — 485, 491
Розенберг В А — 485, 490
Розов, переводчик — 39
Романовский — 301
Романовы — 131, 496, 500, 503, 504
Ромодановский Н П — 484, 491, 493
Россет А О — 523
Рощин Н Я — 155
Руест (Ruest) — 41
Руссо Ж Ж — 46
Рыбников А А — 484, 489, 544
Рябушинский В П — 163

Саблин В М — 24, 39
Савицкий П Н — 123, 269, 272-274, 276, 277, 282, 283
Савич К И — 491
Садовский Я — 269
Садыкова Ю Н — 492
Салтыков А А — 146-148, 149-151, 338, 522
Салтыков-Щедрин М Е — 532
Самарин А Д — 157, 530
Самсонов, работник ГПУ — 492
Сахаров А В — 485, 490
Сеземан Э — 269
Селиванов Д Ф — 491
Семенов П П — 191
Сенявин Д М — 163
Серафим Саровский, св — 150
Сергий Радонежский, св — 126 150
Серов В А — 280
Сигизмунд III — 158
Сигирский А И — 485, 490
Симановский М Г — 42
Синьори, еп — 301
Скаржинский П В — 470, 542
Скобелев М Д — 134
Слонимский Л — 117
Соболевский С А — 186
Сократ — 332
Соловьев Вл С — 22, 31, 146
Соловьев Н — 51
Соловьев С М — 279
Солоневич И Л — 502, 526
Сомов К А — 306
Сорен — 32, 513
Спартак — 363
Спекторский Е В — 116, 117, 166, 519
Спенсер Г — 49, 60
Сперанский М М — 280, 386
Спиноза Б — 28, 38
Сталин И В — 314, 411, 480, 481, 483, 488, 493, 500, 501, 531, 543, 544
Старк Ю К — 166
Стеклов Ю М (Нахамкис) — 352, 533
Степун Ф А — 486, 490
Стерлигов — 311
Стивенс Р — 164
Столица З — 30, 513
Столыпин П А — 161, 196-202, 280, 290, 306, 344, 526
Стратонов В В — 483, 490
Строев В Н — 491
Струве П Б — 154, 160, 271, 277, 288, 353, 473, 519, 530, 540
Ступницкий А Ф — 155
Суворов С А — 34, 35, 514

Суворов А В — 166, 280
Сувчинский П П — 123, 269, 272-274, 281, 283
Суперфин Г — 543
Сухотин С М — 188, 526

Тальберг Н Д — 470, 472, 474
Тарановскии Ф — 116
Гарсаидзе А — 163
Тацит — 528
Тимирязевы — 189
Тимошенко С П — 166
Тихвинский М М — 531
Тихон (Лященко), архим — 263
Тихон (Белавин), патр — 161, 163 264, 280, 301, 302, 397, 400, 488
Толстой А К — 162
Толстои Л Н — 31, 32, 395, 541
Торквато Нанни — 242
Тотомианц В — 31
Трепов А В — 474
Троцкий Л Д — 265, 498, 534, 543
Трошин, профессор — 484, 487, 491
Трубецкой Г Н — 154, 266, 294
Трубецкой Е Н — 54, 60, 533
Трубецкои Н С — 122-125, 269, 270, 272, 277, 279, 283
Трубецкой С Н — 22
Трубецкои С Е — 484, 489
Трянкин Н Д — 484, 489
Тургенев А И — 189, 526
Тыркова А В — 155
Гэкер В (Такер Б) — 32, 42-47 65, 66, 70, 515
Тэффи (Лохвицкая) Н А — 155
Тютчев Ф И — 157, 195, 280

Уваров С С — 176
Угримов А И — 484, 489
Ульрих В — 24
Унгерн Ю — 164
Уншлихт И С — 481, 483, 485, 486 488 493
Успенскии А И — 484, 488, 490
Устрялов Н В — 274, 532
Уткин Н И — 179
Ушаков В А — 525
Ушаков И И — 483, 489

Фавоний Марк — 229, 528
Фалин, врач — 485, 491
Фариначчи Р — 223 225, 228 231, 527
Федер Г — 24, 27
Федоров-Якушев А А — 502
Фейербах Л — 24, 36, 71
Фельдштейн М С — 484 490, 544
Феодосий Печерский, св — 280
Филипп II — 294
Филипп, свт — 126
Фихте И Г — 12-16, 27, 28, 31, 51, 54, 72, 80, 83, 118, 236, 243, 335, 533
Флоровскии Г В — 122, 125 126, 269
Флуг В Е — 166
Фогельвейде В фон дер — 250, 528
Фок Е И — 524
Фомин В Е — 483, 489
Форд, судья — 302
Франк С Л — 485, 490
Франко Б Ф — 505
Франциск I — 40, 515
Франциск Ассизский — 127
Фрейд З — 128
Фульс А — 60 517

Хайле Селласие (Расс-Тафари) — 173, 523
Хан Нахичеванский — 546
Харитонов Ь И — 492
Хельд, министр — 245, 250
Хельчицкии П — 66, 518
Хомяков А С — 157, 158, 174, 279, 523

Цаннибони — 228, 229
Цветков Н Н — 484, 490
Цезарь — 229, 528
Цокколи Г — 31, 32, 513

Цуриков Н. А. — 161

Чаадаев П. Я. — 157, 161
Чайковский П. И. — 280
Чахотин С. С. — 532
Чернолусский В. И. — 486, 491
Черносвитов К. К. — 531
Чернышевский Н. Г. — 142
Чингисхан — 285, 305, 306
Чичерин Б. Н. — 279
Чичерин Г. В. — 301
Чулков Г. И. — 37, 514

Шапталь, еп. — 293, 296-298, 300, 301, 530
Шахматов М. В. — 269, 288
Шведер Е. — 525
Швейкерт Юлиус (Schweikert) (псевд. И. А. Ильина) — 318
Шевырев С. П. — 178
Шеллинг Ф. В. — 21, 27-30, 513
Шелтинг А. фон (Schelting) — 156, 158, 159, 522
Шиллер И. Ф. — 171
Шингарев А. И. — 144
Ширинский-Шахматов А. А. — 474
Шишкин М. Д. — 485, 489, 490, 491
Шишков Л. Н. (псевд. Леонтий Мечов) — 145
Шмелев И. С. — 160, 161, 163, 164, 166, 395
Шмидт К. — 24, 36, 514
Шопенгауэр А. — 236, 243
Шпет Г. — 158
Штаммлер Р. — 7-12, 60, 63, 511
Штейн Л. — 116
Штенцель, пастор — 535, 536, 540
Штерн Э. Г. — 541
Штирнер М. (Stirner) — 22, 24-27, 32, 39, 40-42, 51, 66, 68, 70-75, 80-112, 243, 512, 513, 515, 518
Штраус Д. Ф. — 408, 536
Штреземан Г. — 245, 249, 250, 528
Шувалов П. И. — 280
Шуйский В. — 178
Шульгин В. В. — 288
Шумм Д. — 43

Щеголев П. Е. — 526
Щепкин Н. Н. — 144, 280, 328, 531

Эвербек К. — 535, 536, 537
Экхарт И. (Eckehart) — 22, 28, 103
Эльцбахер — 32
Энгельс Ф. — 36, 39
Эрт А. (Erth) — 318

Юзефович М. В. — 175, 523
Юлиания Милостивая, св. — 150
Юровский А. Н. — 485, 489, 545
Юровский Л. Н. — 489
Юшкевич П. С. — 35, 38, 514
Юштин И. И. — 485, 491, 492

Яковенко Б. В. — 24, 27, 39, 513
Якубовская Е. — 164
Ярославна — 280
Ярославский Е. М. — 376
Ясинский В. И. — 352, 483, 490, 534

СОДЕРЖАНИЕ

О КНИГАХ И УЧЕНИЯХ

Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории 7
Фихте Г. Назначение человека 12
Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность 16
Булгаков С. Карл Маркс как религиозный тип 22
Штирнер М. Единственный и его собственность 24
Шеллинг Ф. Философия исследования о сущности человеческой свободы 27
Столица З. Очерки по философии идеализма 30
Цокколи Г. Анархизм 31
Очерки по философии марксизма 33
Штирнер М. Единственный и его собственность 39
Тэкэр В. Вместо книги 42
Вольский С. А. Философия борьбы 47
Бутру Э. Вильям Джемс и религиозный опыт 51
О СОВРЕМЕННЫХ ТЕЧЕНИЯХ В НЕОКАНТИАНСТВЕ 54
Ильин Вл. Материализм и эмпириокритицизм 57
Палиенко Н. Учение о существе права и правовой связанности государства 58
ПРЕДПОСЫЛКИ АНАРХИЗМА 63
ИДЕЯ ЛИЧНОСТИ В УЧЕНИИ ШТИРНЕРА 71
Маркелов Г. Личность как культурно-историческое явление 112
Луначарский А. Религия и социализм 113
Воинов С. Христианство и культура 114
Спекторский Е. Александр Львович Блок, государствовед и философ 116
Визе Л. Сущность политической свободы 117
Россия и латинство 118
Карсавин Л. Диалоги 126

ПАМФЛЕТ РУССКОГО О РОССИИ....129
ГЕНИЙ И РАНЫ РОССИИ....135
ГИБЕЛЬ ОТ НЕВЕЖЕСТВА....139
«ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ В РОССИЮ»....145
НЕПРАВДА О РОССИИ....146
«ПОДВИГ ЛЖИ» г. БЕРДЯЕВА....152
РОССИЯ И ЕВРОПА....156
ОТЗЫВЫ О ЖУРНАЛЕ «ДЕНЬ РУССКОГО РЕБЕНКА»....159

О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЯХ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН КАК ЧЕЛОВЕК И ХАРАКТЕР....169
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО СТОЛЫПИНА....196
ПАМЯТИ ГЕРОЯ....202
РУССКОМУ РЫЦАРЮ....210
РЕЧЬ ПРОФЕССОРА И. А. ИЛЬИНА....212
О НАШЕМ ЛЮБИМОМ ПАСТЫРЕ....216
КУЛЬТУРА СЕРДЦА....219

О ПОЛИТИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПИСЬМА О ФАШИЗМЕ....223
КАТОЛИК О ПРАВОСЛАВИИ....261
ИДЕЙНЫЙ ОПОЛЗЕНЬ....268
ЧЕРНОСОТЕНСТВО....288
ОНИ НАС ОБЛИЧАЮТ....293
САМОБЫТНОСТЬ ИЛИ ОРИГИНАЛЬНИЧАНИЕ?....303
О МЛАДОРОССАХ....309
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ....316

О БОЛЬШЕВИЗМЕ И СОЦИАЛИЗМЕ

ОЧЕРКИ ВНУТРЕННЕЙ РОССИИ....327
ОТЧУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЕГО МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ....334
РУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ....350
ЯД БОЛЬШЕВИЗМА....354

МУЧЕНИЧЕСТВО РУССКОЙ ЦЕРКВИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ДРУГИХ СТРАН 392
КРУШЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА 413

РЕЧИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ВОЗЗВАНИЯ

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 445
РЕЧЬ И. А. ИЛЬИНА 463
К ЦЕРКОВНОМУ СОБОРУ 1938 ГОДА 467
РАЗВАЛ «МОНАРХИЧЕСКОГО СОВЕТА» 470

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часть I. ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИЛЬИНЫХ 475
Часть II. ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕКРЕТНОГО АРХИВА ЦК ВКП(б) 480
Часть III. ДОКУМЕНТЫ, В СОЗДАНИИ КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ И. А. ИЛЬИН 494

КОММЕНТАРИИ 509

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 547

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН

Собрание сочинений

Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии.
(1906 – 1954)

Редактор **Т. И. Киреева**
Художественный редактор **Г. И. Метченко**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Н. Д. Бучарова**
Компьютерный набор и верстка **О. В. Лисица**

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 010058 от 23 октября 1996 г.

Подписано в печать с оригинала-макета 21.12.2000.
Формат 84 x108/32. Бумага типогр. На вкл. офсетная.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29,51 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 31,39 (в т. ч. вкл. 0,04).
Тираж 4000 экз. Изд. инд. НА – 72. С – 40. Заказ № 4270.

Издательство «Русская книга»
Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38

Отпечатано на Государственном
издательско-полиграфическом предприятии «Вятка»
610033, г. Киров, ул. Моековская, 122